84(2
З-81

НАРД ЗОЛОТАРЕВ



ЛИПА ВЕКОВАЯ

Книга рассказов

Орел
«Вешние воды»
2002

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

Орловская
библиотека им. Бунина,
июнь 2012 г.

ЛИПА ВЕКОВАЯ

Книга рассказов

А 269034

Орел
«Вешние воды»
2002

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ИМ. И.А. БУНИНА

ББК 84(2р)
З–80

«Липа вековая» — книга поэтичная, патриотичная, из народных недр. А еще и таинственная, биоэнергетическая. От самого названия до многочисленных эпизодов и фактов, составляющих летопись перелома веков и даже тысячелетий. Мы осознаем, в какое время живем, в какие сферы входим, какие космогонические изменения ждут нас впереди. Однако от земного, родного, от «почвы» своей отказаться не в силах. Каждый найдет здесь сюжет по душе. Эта книга насквозь еще и орловская, среднерусская — от первой до последней страницы, по которым развеяны приметы близкой сердцу Орловщины, нашей серединной России. Это книга духовная, интеллектуальная; многозначностью веет от шатра «Липы», устремленной к Водолею — этому доброму знаку России.

* * *

Русский писатель Леонард Михайлович Золотарев известен читателю не только как романист, но и, прежде всего, как мастер лирико-эпического, бытового, психологического рассказа, философско-мистической новеллы, рассказа малой формы. Его книги выходили в московских и местных издательствах, это «Берестяные песни», «Костровый пояс», «Мед из подснежников», «Перепелиное поле», «Шептун-трава», «Чистые пруды» и другие. Не менее тепло принята читателем его трилогия романов («Кормильцы», «Берегиня», «Два пророка»).

Новая книга рассказов создана в духе лучших, обновленных традиций самого автора, русской классической литературы. Художника слова отличает яркое, своеобразное видение, палитра его широка, слово народно и в то же время огранено талантом, философским, поэтическим воззрением на мир. Его сакральный, божественный «крест» — это по «горизонтали» — калейдоскоп лиц, характеров, типов, летопись событий и фактов, а по «вертикали» — устремленность к возвышенно-космическому началу, подкупающему лиризму, к мистике предвидений и озарений.

Повествование «Седмица» — единственно в своем роде. На уровне сюжета — в нем есть что-то от «Декамерона» Боккаччо, в художественном плане — выразительно взаимопроникновение реального и инобытийного, ирреального, даже мистического. Аналитичны подходы к художественному воплощению принципов эстетики будущего.

Книга интересна широкому кругу читателей.

ISBN 5-87295-136-1 © «Вешние воды». 2002 г.

Акт свободы творчества

ДИАЛОГ С МИРОМ

Поэт восклицает, пишет, читатель — читает. Однако поэт способен читать и самого себя. И тогда рождаются мысли, воззрения, литературные манифесты...

Вот уже какое время, особенно XVII — начало XIX века, классицисты, реалисты сражаются с романтиками, взаимообогащая друг друга. Француз Э. Дешан пишет: «Когда заключен мир и армия возвращается в казармы, наступает подходящий момент для гражданских распрей. Организуются партии, общество делится на два лагеря... Тогда призывают на помощь армию... война прекращается, но озлобление остается. С политической арены сражение переносится в область религии либо в литературный лагерь. Льется кровь или чернила — неважно...»

Итак, литераторы находятся в резком противостоянии. Предлагается такой небольшой диалог. Начинают классицисты:

«— Мы осуждаем литературу, потому что она романтическая.

— А что такое, по-вашему, романтическая литература, а что такое классическая?

— Классические произведения написаны как пример для подражания. Все произведения романтические абсурдны...»

Э. Дешан характеризует романтизм не эпохой в литературе, из которой берутся сюжеты, а, скорее, тенденцией тех, кто стремится преодолеть устоявшиеся, замшелые правила искусства. Согласно апологетам таких правил, романтики оскорбляют принципы вкуса, законы языка, стиля, в каждой строке они якобы совершают революцию.

И вот против каждого нового поколения романтиков образуется обширная система гонений. Этот литературный террор в чем только не обвиняет, даже в том, что романтики любят друг друга и откровенно признаются в этом всему миру. В своих произведениях они ищут красоту, губительным для искусства считают восхищенье посредственностью. И говорят об этом в глаза. Все дело в том, что романтики предвосхищают будущее, отвергая устаревшие догмы, — как этические, эстетические, так и социальные, затрагивающие общественное устройство.

«Дух веет, где хочет», — говорили древние римляне. А. Блок в своей статье «О романтизме» заявляет, что романтизм не только литературное течение, но и «высший способ проживания жизни», «следствие глубокого перелома, совершившегося в душе, которая помолодела, взглянула на мир по-новому, потряслась связью с ним... захлестнулась восторгом от близости к Душе Мира».

Подлинный романтизм не отрешение от жизни, наоборот, он преисполнен жадным стремлением к ней. Гетевский Фауст в созерцании Духа Земли «точно пьянеет от молодого вина, чувствует в себе отвагу кинуться наудачу в мир, нести всю земную скорбь и все земное счастье, биться с бурями и не робеть при треске кораблекрушения». А. Блок характеризует романтизм

как «дух, который струится под всякой застывающей формой и в конце концов взрывает ее».

Романтизм находится в первых порывах всякого народного движения, восстания против мертвой инерции, косности, заставляя не только прыгнуть, как говорится, на танк, но и плясать на его броне новый танец, отвергая прежний. Романтизм, являясь самим по себе восстанием против материализма и позитивизма, в какие бы одежды они ни рядились, есть вечное устремление вперед, пронизывающее всю историю человечества, ибо «единственное спасение для культуры — быть в том же бурном движении, в каком пребывает стихия».

Известно, фантастика — один из ярких, романтически усиленных приемов художественного постижения реальности. Исследователь Ш. Нодье в статье «О фантастическом в литературе» прослеживает эволюцию художественной мысли от известного к неизвестному. «Она (эта мысль) изучила скрытые пружины устройства вселенной, в тиши ночей прислушалась к чу́дной гармонии сфер». Благодаря открывшейся силе поэт стал общаться с земным, обозревая с вершин мир Олимпа и Парнаса. Казалось бы, обычная, бытовая литература была сведена до уровня постижения реальной жизни, однако она не утратила духа, освещавшего ее в первые времена. Приняв реально существующее и постигнутое реально за истину, художники «намеренно сбились со своей дороги и ушли в воображаемый мир», в литературе родился вымысел. Ему была присуща высокая чувствительность, не охлажденные опытом, смутные восприятия ночных ужасов, болезней и снов, мистические грезы. Литература быстро расширяла область постижения чудесного, инобытийного, и эти открытия были гораздо более поразительны и многолики, нежели то, что представляла реальность. Все эти фантазии согласовывались и отливались в определенную форму, ища промежуточный мир

между реальностью и инобытийностью. И он, этот мир, был найден. «Из последовательных деяний, совершенных непостижимым разумом, сотворившим материальный мир, боговдохновенный художник предугадал мир духовный, а его воображение создало фантастический мир, так образовалось обширное царство человеческой мысли» (Ш. Нодье).

Литература средневековья питалась из недр язычества, а чуть позже, в эпоху Ренессанса, Просвещения, книгопечатание ввело в обращение произведения античности, проникнутые духом ушедшей мертвой религии, мертвой культуры, мертвого языка. «С нашествием мавров, столь благоприятным для духовного развития средневековья, на европейскую почву был перенесен яркий и плодотворный гений восточной поэзии». Все это — и Древний Рим, и Восток — в соединении с инновациями средневекового времени порождало причудливые сказки, озарявшие Европу на протяжении нескольких веков (развалины замков, таинственные привидения, силуэты фей, пламя карбункулов, падающие звезды, блуждающие огни и т. д.). Дух сказки царил везде: вечером у гостеприимного очага, в суде, в церкви, в театре, в кабинете философа, в химической лаборатории. Влияние фантастики никогда не будет забыто в литературе и в грядущем будет оценено на новом витке внимания. Именно фантастике как романтически усиленному средству изображения мы обязаны тем, что возникли рыцарские романы, картины любви, сказочно благородного героизма, доблесть ратников, козни предателей, укрощаемые разве что только магией, стихийные бедствия, вмешательства злых, потусторонних сил, возникавшие по прихоти изощренного воображения средневекового романиста.

«...Не постыдная кровавая распря двух народов, жаждущих уничтожить друг друга, чтобы содействовать похищению и дружеской измене или отомстить

«зреет зародыш будущих народных дел», с ними полемизирует наше отечественное сознание. «В основе этого лежит сократическое представление о диалогической природе истины и человеческой мысли о ней» (М. М. Бахтин). «Сократический диалог» противостоит официальному монологизму, претендующему на окончательное решение благодаря обладанию якобы готовой истиной. Наивно полагать, что истинное как данность рождается в одной голове пусть даже гениального человека. Общечеловеческая истина — продукт творчества многих людей, их диалогического общения. Такова природа фантастики как сильнейшего романтического средства познания.

С мотивированной фантастикой реалистов проще — все фантастическое реально объясняется и мотивируется фактами, случаями, событиями. Однако и немотивированная фантастика реалистов участвует в познании, но только косвенным образом, через само существование первого — реального плана в двуплановом произведении, где первый план — это быт, нравы, жизнь людей, общества, а второй — духовный, невидимый, даже инобытийный, где, собственно, и совершается тайная работа души. И все это совместно, в едином сплаве — в «сократическом диалоге» всего человечества, в литературе как в тайнописи сфер деятельности души человеческой.

ПОЗНАВАЕМОЕ ИНТУИЦИЕЙ

Уже в самом названии этой книги рассказов «Липа вековая» угадывается нечто куда более одухотворенное, нежели просто материальное название дерева. Чувствуете? «Липа вековая» — это нечто длительное, духовно-неоднозначное, какое-то обещание, если хотите — тоска по удаче, чему-то счастливому. И это сразу

же, будто скрипку, настраивает на тонкость, на невыразимо элегичное ощущение существования первого — явного плана и смутно угадываемого второго.

Так и пишу. Балансируя между реальностью и ирреальностью, как между Сциллой и Харибдой, манипулируя временем, предвосхищая будущее и не отрываясь от настоящего. Смотрю на себя как бы со стороны в двух проекциях: сверху — с инобытийных, небесных, духовно-божественных сфер и снизу — от «почвы», реалий быта, собственных шагов по росе. При этом не покидает опасение, как бы не оторваться от земного, не улететь. Разумеется, дивная сила таланта в человеке — от его самого, от подключенности к сферам, однако все это — высокое и духотворное — реализуясь, материализуется в слово, художественные образы, сюжеты, то есть в земное, житейское, человеческое. И только тогда становится фактом литературы...

И как тут не вспомнить всю эту свистопляску с Шолоховым, с его «Тихим Доном»? Беру лист Шолохова и Крюкова или Кудинова—большего мне и не надо. Сразу видно, кто есть кто. Я чую Шолохова изнутри, биоэнергетику его, искрой божьей бьет от его текста! А тут — дискуссия. Не Шолоховым, дескать, писано, а кем же еще? Да в «Тихом Доне» оправдание всего нашего литературного существования в XX веке, ради чего хоть стояла Россия. Это с Нобелевским лауреатом вот так-то, а что же тогда с другими?

Архивы шолоховские найдены, дискуссия об авторстве «Тихого Дона» закрыта. Хотя лично для меня вопроса и не существовало. Но об этом я к слову, на радостях...

Итак, еще когда я чувствовал в себе такую способность: скажем, из двух фактов реальных создавать как бы третий — нереальный, иллюзорный, словно подвешенный в воздухе; вот он висит, существует за реальностью, за наборностью текста. Это отношение чита-

за них, а нравственная тяжба правды и неправды, проходившая во имя блага людей между небом и адом на глазах какой-нибудь Елены, которая была наградой победителю... То была, надо признать, чу́дная поэзия, сильное и очаровательное воображение, и его больше не воскресишь, о нем будут всегда сожалеть...» (Ш. Нодье).

Беды того общества готовили ему гибель. Трубой, как говорится, архангела ангелы, вторгшись во все пределы души и искусства, вещали эту гибель, делая ее более ощутимой и близкой. И тогда раздался крик грубой и невежественной ярости апологетов самих устоев общества и классицизма, защищавшего изношенные формы общественных отношений.

Глубокая интуиция гениев позволила им услышать предупреждение музы и оценить литературу и общество. Так, И. С. Тургенев, начавший свой творческий путь с реалистических «Записок охотника», завершил его фантастическими произведениями, переведенными на французский язык Проспером Мериме. Кстати, и Мериме прошел сложный путь реалиста, применявшего, особенно в последние годы творчества, в своих новеллах такое романтически сильное средство художественного постижения действительности, как фантастика.

Вот цитаты, где речь идет о свободе, воле воображения: «Какую еще награду позволит поэт своей мятущейся, глубоко уязвленной жизнью душе после краха надежд, которые несут революции?» — «Пусть реальный мир принадлежит вам — это факт, но разбейте те постыдные цепи, в которых находится мир духовный и которыми упрямо стараются сковать воображение поэта...» И, наконец, просто необходимо, чтобы фантастический жанр вернулся к нам и снова торжествовал.

Таковы романтически сильные, духотворные мысли европейских исследователей (Э. Дешан, Ш. Нодье и др.). Они провоцируют диалог, ответные чувства, в которых

теля к происходящему, его согласие или отрицание, выводы, сопоставления, неожиданные повороты мыслей, порой едва ли не обратные по своему общему смыслу. То есть за «наборностью» образуется целый мир, он живет по своим законам — обоюдный, духовный, внутренний мир, вырабатываемый читателем с подачи писателя, при их совместном создании и воспроизведении.

Это тоже своего рода «двуплановость» — текст *внешний* и текст *внутренний*, образуемый текстом внешним, участвующим — самим фактом своего существования — в преодолении материальной наборности текста. Условно назовем этот процесс «*двунаборностью*», когда писатель с помощью художественных средств воздействует на духовность читателя, на выработку его активности, его внутренней мировоззренческой раскованности. Это уже акт свободы читателя, диалогический акт взаимного доверия писателя и читателя. В таком случае, как отдельные эпизоды, главы, так и все произведение в целом (как главы в данной книге короткие рассказы «Озарения» — произведения малой формы) получают дополнительный ресурс, связанный с усилением внутренних возможностей всего произведения, с повышением его, так сказать, коэффициента полезного действия.

Тогда даже небольшое творение (те же «Озарения») может получать как количественное (по объему), так и качественное (по духовному потенциалу) усиление. Рассказ короткий, а по воздействию на читателя мощный, если автор обладает способностью создавать «двунаборность» текста. Это же новый подход, связанный с профессионализацией, интенсификацией писательского и читательского труда.

Для примера взять хотя бы рассказ «Загадка двух деканов» из «Чистых прудов» или еще что-либо из раннего (отдельные штрихи, моменты, эпизоды, куски из романов). В данной книге такая тенденция прояв-

ляется уже в самом выборе темы, в рельефно фантастическом, предфантастическом изображении через интуицию инобытийного, ирреального («Человек, выросший из леса», «Магнетизм белого», «В лунную-лунную ночь» и др.).

В «Седмице» такое качество еще более выразительно. Это повествование вообще стоит особняком. Главное в нем — даже не заявленное в начале «мистическое освещение», а сам авторский стиль, смешение в предложении реального с инобытийным, фантастическим, неуловимы переходы во времени. Не все мотивировано, объяснено сразу, объясняется и мотивируется потом — по ходу действия, всей атмосферой.

Вот образец такого текста. «И тут пена пошла изо рта у Алеши; он скорчился, осел на колени и стал биться лбом о каменный выступ, чтобы сделать себе больно, страшнее, хотя страшнее того, что увидел он сейчас в этом потоке, возможно, и не бывает. И воздел он руки к Небу тогда и так закричал, что перекрылись все ветры свистящие, все грачи на липах галдящие, тузы все по банкам стеклянно-бетонным сидящие, валеты во креслах смердящие.

— Боже! До чего допускаешь в своих владениях!

И эхо пошло, покатилось за речку Седмицу по широкой степи, по городам и весям, по всей, всей Руси Великой. И кто-то открыл малую форточку и тут же захлопнул, а кто-то распахнул и окно...»

Интуиция прокладывает дорогу от малого к большому, даже от, казалось бы, незначительных фактов к крупным обобщениям, продираясь сквозь заросли обветшалых мыслей и чувств, освежая натуру самого автора и читательское впечатление от этой натуры. Иные вещи в авторском исследовании и изображении по-иному и осознать невозможно, кроме как интуицией. Это, фигурально говоря, как «генпрокурор»: что «гены» порочны — знаем, а как доказать? Только опосредованно — так сказать, «нюхом» своим и чутьем.

Это когда, скажем, документов в электричке при проверке на «вшивость» (из-за Чечни) нет при тебе, а все кругом знают, кто ты и что ты...

Интуиция — она планируема или не планируема? Сама стихийно является или же ты ее ловишь за хвост? Конечно, ты что-то чувствуешь, где надо искать это нечто эфирное, неуловимое, в каких пределах. Уж потом, как мне кажется, все это «обрастает» этаким «мясом», что ли, то есть земным выраженьем таланта...

Такой магической силой шибает от Шолохова, когда распахиваешь том. И такая благость идет от Крюкова. А мы говорим — интуиция! Где и когда? Здесь и сейчас.

«АЛГЕБРОЙ ПОВЕРЯЕМАЯ ГАРМОНИЯ»

Всем известно выражение, кажется, Горького: самый сильный протест раздается из груди слабых. Ну и что за этим стоит? Извечный спор «физиков» и «лириков»? Конечно, это «физики» и «полководцы» причисляют себя к «сильным» мира сего. Попробуйте усомниться, мигом напомнят, кто есть кто. У них на это целый арсенал средств. Но ведь нравственное здоровье общества зависит от того, как слышится голос каждого, даже самого слабого.

И если уж «слабый» — «лирик» возопил, что это?

Самая великая поэтическая легенда — об Иисусе Христе. И самый известный из поэтов-страдальцев — сам Иисус Христос. Насколько мощнее была Империя и один из наместников ее Понтий Пилат, и где они? А голос, казалось бы, «слабого» — Иисуса слышим и через 2000 лет...

Такие-то парадоксы. Давно слышим, в зубах навязло: физики и лирики, математики и поэты. А вот что

настоящие поэты — это еще и самые настоящие математики, редко кому в голову приходит. Как же так? А вот так. Чтобы слово единственное отыскать и на место поставить, сколько надо всего перелопатить? Сколько произвести операций — биоэнергетических, электрических, микроволновых, харизматических? «Мелькнет и исчезнет удача твоя, как спинка Лох-Несс, как морская змея». А слово, смотришь, стоит, и дело живет.

Я утверждаю: самые сильные поэты — это сильные математики. Вот Пушкин, его поэма «Цыганы». Как вы думаете, поэт сидел и высчитывал строки, где ему доминанту ставить? Сколько строчек до «того», сколько строчек после «того»? Но ведь получилась доминанта эта (по Эвклиду) в самом центре, разница в «до» и «после» всего в несколько строк. Вот тебе и «алгеброй поверяемая гармония» — на уровне интуиции...

Так и тут, в этой книге прозы. Что — случайно, что ли, Дни в «Седмице» — строка в строку, как и строки в рассказе ином? Тут математика интуитивная, внутренний расчет. Оглядел сюжет с высоты собственного духа, обозначил его внутри себя в качественных и количественных очертаниях — и пищи, клади на бумагу, выражай, что имеешь в виду. Ползешь ли по строчкам, пешком ли идешь, а то и летишь (это когда как повезет), а к финишу точно должен прийти. Если, конечно, обладаешь чувством формы как составной, непременной части таланта...

Вот пишу свою «Седмицу» — нечто вроде «Декамерона». Только у Боккаччо десять молодых людей, сбежав в горы из зачумленного города, десять дней рассказывают истории. А у меня тут семеро забираются в звонницу, что в православном Храме на Перуновом Холме, и неделю рассказывают друг другу всякие россказни. Бывальщины и небывальщины, древние и современные. Любовь, Вера, Надежда в Белой Мантии, в Черной Мантии — все это слито, в единой, естественной, биоэнергетической связи. И должно укладывать-

ся в свои математически выверенные пределы, работая на конечный художественный результат. Как яичко должна быть эта «Седмица»! Эта в ней луковица колоколенки, где заседают молодые люди, этот купол, построенный предками, — параметры рассчитанны и художественно как влиты, чеканны.

Это и есть пластика в ощущениях, форма, ее гармония с окружающим миром. Содержание должно быть оформлено, а форма обязана быть содержательной.

Сатрап дурачил мудреца:
— Отлей от целого яйца...
Вот! У начала нет конца.
— О, хан! Зачем искать яйцо,
Когда перед тобой лицо?
Открой и ты, великий, мне,
Как, не нарушив форму эту,
Проникла жизнь в нее извне?
— Молчи! Ты молишься не мне,
А только моему портрету...
И показал на палача
С мечом у царского плеча.

СИМВОЛИЧЕСКИЙ КРЕСТ

В моду вошли короткие рассказы, или жанры малой формы. То ли от лени писать, то ли от лени читать. Однако еще Тургеневу друзья советовали опубликовать содержимое записных книжек, накопленное за жизнь. То же самое делаю и я, изымаю из своих записок то мысль, то штрих — деталь, то двумя-тремя строками духовное ощущение. И назвал я все — «Озарения».

Что же хотелось «озарить» и чем «озариться»? А вспышками чувств, предчувствий, переворотов, оформленных мысленно и духовно. Это все символический крест. Он, по-моему, довольно убедительно проявился в малой форме. А суть «креста», на мой

взгляд, в таких моих стихах из цикла о языческом боге Пане:

Голубое и зеленое

Я хватаю с небес убегающий миг
И сажаю на дерево слету.
Я люблю мой зеленый березовый стих
И мою голубую работу.

Высоко-высоко надо мной небеса,
Голубое хмельно и бездонно.
Я зеленые слышу в себе голоса,
Из меня выпирают иконно...

Голубое до неба — моя вертикаль,
А зеленое — по горизонту.
Сквозь меня этот крест,
Через сердце — эмаль.
Фаберже, что ли, по Геллеспонту?

Мое сердце возьмет голубой океан
И вернет его мне — золотое.
Под березой сижу я — задумчивый Пан
И любуюсь и ей, и собою.

Таков он — мой сакральный, символический крест. Зеленое — это земное, горизонтальное, реально-бытовое, это первый план изображения. И голубое — вертикаль, устремленная в божественные небеса, соединяющая художника с инобытийными, потусторонними силами. Такова двуплановая условность в этом стихотворении, налицо объединение внешнее обоих планов в единственно внутреннем — в человеческом сердце. Нечто подобное заключено и в цикле малых рассказов из моей записной книжки — «Озарения».

В этом цикле — встреченное как в молодости, так и последнее время: первые впечатления о любви, непридуманные рассказы, эпизоды «живьем» еще от очевидцев войны, нынешнее вскользь брошенное кем-то сло-

во. Факт — житейский случай — деталь, и все это должно быть огранено, аранжировано, определено на место — вставлено в перстень, в кольцо, в золотую оправу, весь этот изумительной свежести и чистоты «темно-зеленый изумруд» из народных речений, первородного бытия, созидающих себя по «горизонту» и вздымающихся по «вертикали»...

Общаясь с профессурой, спрашиваю, какой будет литература грядущего, куда эстетика двинется, как будет выглядеть художественное слово? Задаю три вопроса:

1. Есть Бог или нет, как по-вашему?

2. Останется литература или будет задушена СМИ?

3. Чего больше будет в эстетике XXI века — реализма или романтизма?

Ответ. Больше символического, фантастического как усиленных средств романтического способа изображения реальной действительности.

Сейчас так. У реалистов есть фантастика мотивирования — объясняемая поступками и переживаниями. А есть фантастика немотивированная. У романтиков же фантастика всегда не мотивирована. И вот у реалистов даже немотивированная фантастика косвенным образом, через само существование первого — бытийного плана, как бы оттеняя его, в отличие от немотивированной фантастики «чистых» романтиков, все же участвует в познании действительности. Так вот, символы укрупняют средства изображения, в том числе и фантастику, расширяя изобразительные возможности. Абстрагируя, усиливая средства художественной выразительности количественно, кардинально-качественных основ реализма, самого его существа эта его символико-фантастическая окрашенность, однако, не изменяет. Разница между романтизмом и реализмом остается, хотя и в едва уловимых пределах, граница между ними не пересекается.

Все мы живем на земле реальной человеческой жизнью, а не порываем с ней ради космоса, не улетаем в небытие, ибо это означало бы конец земного и сущего. Таковы вкратце мои мысли на этот счет, об этом «кресте символическом».

ТАЙНЫ РУССКОЙ ДУШИ

В нашей земной юдоли из главных остается идея о национальном характере. Многие поколения пытаются разгадать самих себя — свою истинную натуру. Все изучаем мы генотип русского человека и никак не изучим, не проникнем в него. Главное — кто мы, чего больше в нас — Азии или Европы? А не поняв себя, не можем выработать ни тактики, ни стратегии. Материально жить хотим без утеснений, раскованно, по-европейски, как они там с их генотипом и ихними там возможностями, выработанными за века. А живем как живем — со своими «раскосыми и жадными очами». Все коллективы у нас, коллективизм, пространства громадные требуют. Так, может, чего там, действительно, мы есть Азия?..

Однако я о другом хочу сказать. Вот Гоголь, скажем, не до конца прояснен. От чего это слова у него такие вырвались из-под самого сердца? «Русь-тройка! И куда же ты несешься? Дай ответ. Не дает ответа». Именно Русь, а не Россия даже. А Русь — это «тройка» наша, мы нынешние как единый народ (русские, украинцы, белорусы). Так куда же мы несемся, несут нас, несет? С тех самых запредельных времен, когда наш пранарод, спустясь с Гималаев, распадаясь и снова соединяясь и опять-таки распадаясь, чтобы снова соединиться в своем центростремительном и центробежном беге, начал лететь на конях своих по широкому «евразийскому коридору».

Через Иран — от Балхаша по этому Северному Причерноморью. По Передней Азии — до Дуная, а с Дуная как бы назад уже — до Киева (по «Велесовой книге»). И далее — до Москвы, через всю Сибирь, через Тихий океан — на Аляску, до Калифорнии. Так и летим «по горизонтали», как сросшись то с конями, в массе своей — Кентавриада, а то уже без коней, а все равно по пространствам — от горизонта до горизонта. В то время как на Западе, из-за ограниченности территории, все давно уже идет вверх и по спирали, то есть по «вертикали»... Хотя, во времена Колумбовы, европейцы прыгнули и за океан, однако сброс населения не отразился существенно на генотипе...

Вот где собака зарыта, где корень всего. По мифам древним — в пранароде нашем, выработавшем себя и передавшем нам сюда по генетическому коду свою психологию и физиологию — в этой безудержной скачке «по горизонтали». Скачем все, пространства прямо-таки «съедаем», а заодно со временем «съедаем» и себя, «недра» свои...

Давно всем известно о всемирной отзывчивости русской души. Благодаря этому, может быть, и оправдано наше существование. У нас это выразилось, прежде всего, в формуле: сам не съешь, а отдай бедному, сирому. Вот и отдаем поныне. Но как быть теперь — в «рыночных отношениях», когда сам по себе — каждый рот, род и народ? Тут-то и возрастает сплачивающая роль духовного начала, которое, на мой взгляд, по-прежнему прежде всего идет от литературы. Настало время сильнее воздействовать на тайные пружины души, на недра народные, в основе которых — *семья*, интерес *к молодежи*. Чтобы сохранить нацию, продолжить свой «бег» не только «по горизонтали», а и ввысь — к божественному, духотворному началу, к высшей человеческой нравственности. Однако, здравствуйте! Тут-то и ждут нас новые испытания и метаморфозы...

Да, скифы мы, с раскосыми и жадными очами (А. Блок).
Сарматы мы. Мы все еще кентавры.
Куда летим по вехам и эпохам,
По континентам — мистике числа,
Кентавры, обрастающие мохом...
Косясь на перелом ночей и дней?
К каким гремим пределам?.. Я к тому,
По Азии — ход бешенных коней,
А по Европе — шорохи к нему.

Так кто же ведет нас или правит? Если по-европейски — прагматики, избранные, руководители. Если по-азиатски — вожди веры. Гляньте по кабинетам — явный признак азийской хитрости и выживания. Так и живем. Все «окно» прорубаем. «Прорубим, а оно зарастает, прорубим, а оно зарастает» («Седмица»).

Если вдуматься, главная наша тайна в чем? Живем и сами не знаем, чего от себя хотим. Если по-европейски жить, то надо себя переламывать: к чертовой матери с печки Иванушку-дурачка, на хрена ему там тридцать лет и три года сиднем сидеть. А как слезет он, меняя себя, когда он считается положительным героем? И еще — бедность; может быть, хватит проповедовать ее, а? Деньги — что это, хорошо или плохо? Вперед пойдем, а инстинкты нашептывают: а вдруг да назад повернем — азийское восторжествует. И опять давай глазом косить на Европу, опять «окно» прорубать?.. А что делать? Не рассыпаться же еще и на семь кусков, мало нам на три...

Вот и болит головушка горькая, когда начинаешь думать.

КЛЮЧ КО ВСЕЛЕННОЙ

Самый глубокий кризис сейчас из всех муз — у Мельпомены, в театре, по-моему. Почти не ставят ведь современных спектаклей, все классику на разные лады

переделывают. И как это можно без современности? Представьте себе начало XX века. Зачем бы и МХАТу рождаться с его чеховской «Чайкой» и горьковским «На дне»? И также являться на свет божий частной антрепризе Зимина с Федором Шаляпиным? Когда есть императорские театры... Так и с литературой примерно. Зачем нам новые имена, новые переводы? Как было несколько ранее — зачем, дескать, тот же Блок, Есенин, когда у нас уже был Пушкин, Лермонтов, Фет?

Зачем нам переводы французской поэзии, когда поэтов Франции уже переводили как сами русские поэты, так и наши профессиональные переводчики (И. Анненский, К. Бальмонт, Б. Пастернак, В. Левик, М. Кудинов, Э. Линецкая и другие). Ах да затем, что каждое поколение имеет свою позицию, эстетику, выражает себя, жизнь не стоит на месте! И в области перевода, и в мире театра, и в искусстве слова, разве не так? И чего тут душой кривить: живем мы все-таки настоящим, опираясь на прошлое и заглядывая в будущее...

Вот хотя бы такой пример. Не то, что в России, у нас грешных, но и в целом мире нечто подобное. В Америке еще в 70-х годах XX века двое ученых астрономов сделали величайшее открытие, способное в корне изменить мир. С помощью новейшей телескопической техники они открыли запредельную галактическую сверхсистему, которая своим притяжением оказывает весьма сильное воздействие на нашу галактику, изменяя ее движение в целом, в том числе нашей Солнечной системы, нашей Земли.

В таком случае все надо кардинально менять. Нужен новый ключ ко Вселенной. Однако это же ломка всего, чревато это. Вот и замалчивают этих первооткрывателей, не слыхать что-то об их Великом Притягателе — Великом Аттракторе, меняющем всю игру, духовную и прагматическую конфигурацию человечества.

Взглянем, скажем, на геометрию в связи с движеньем эстетики...

По Эвклиду — две параллельные прямые не пересекутся, сколько бы их ни продолжали. Это — в плоскости. Такой мыслилась когда-то Земля.

По Лобачевскому — две параллельные пересекутся при достаточно длительном продолжении. Это — когда Земля круглая, шаровидное тело в космосе.

И новая эстетика, изменяющаяся в связи с открытием Великого Аттрактора. По Эвклиду — красота, гармония исходит из уравновешенности; справа и слева, допустим, по окну, а в центре как доминанта — труба. По Лобачевскому — красота исходит уже от дисгармонии; два окна слева, а справа — труба ввысь, в качестве доминанты. На этом базируется какофония в музыке, дисгармония света, слова и краски в живописи, поэзии...

Взглянем на ту же самую красоту, гармонию с точки зрения Великого Аттрактора. Две параллельные уходят в пространство и вообще, может быть, не возвратятся. А если, допустим, гипотетически, все-таки возвратятся, то каковыми? Речь уже не идет, что они пересеклись или не пересеклись где-то в космосе. Речь уже о другом — допустим, параллельные ушли с положительным зарядом, а вернулись — с отрицательным? В связи с этим все должно перейти в свою противоположность. И как это отразится на эстетике, а через нее — на поэзии, музыке, на производстве? Естественно, все надо будет перестраивать, перенастраивать — страшно подумать...

Вот тебе и Великий Аттрактор.

Вот тебе и театры, которые ныне, как страусы, суют голову в песок и что видят? Так-то выполняются художественные, просветительские и прочие функции перед обществом. «Полба была хороша, а куда теперь без пашанички? Батат хорош был, а картошечка лучше» (из моей повести «Не манна небесная»).

И про это все — где-то в недрах моей новой книги. В циклах рассказов «Завтрак на траве», «Озарения», где хотелось бы выразить саму суть современного челове-

ка, подключенного, как антенна, к звездным и даже суперзвездным мирам.

Мальчика из рассказа «Звезда среди яблонь» тянет лунными ночами на крылечко — выйти и глядеть на одинокую звезду среди яблонь, с которой на него, как ему кажется, смотрит умерший когда-то отец. Невыразимо, таинственно, странно-красиво и тревожно в то же время.

— Гляди не свихнись, — предупреждает мать.

К. КЕДРОВ И ЕГО ПОЭТИЧЕСКИЙ КОСМОС

Константин Кедров в своей книге «Поэтический космос» анализирует мифологию народов мира, в том числе и славян, устанавливая зависимость вековой жизни человека от всеобщих мирозданческих законов. И, что интересно, рождается глубококосмическая мысль о диалоге с природой, о тонком, интеллектуальном, эмоционально насыщенном содружестве человека с каждым элементом Вселенной на каждом шагу. Еще на памяти слова И. В. Мичурина о том, что просто так нам ничего в этом мире не дается, мы должны брать «милости» у природы — «вот наша задача». В противовес тем, кто считал, что природа — «храм», на который, созерцая, можно только молиться. Базаров из тургеневских «Отцов и детей» выражал мировоззренческие взгляды Писарева, когда говорил о природе как о «мастерской», где «человек — работник».

К. Кедров, обладая современным арсеналом, строит свои современные отношения с миром природы. Человек не просто прагматик, «работник». Общество — по Кедрову — создает справедливую систему на паритетных началах, опираясь на вселенские законы. Используя их, человечество меньше наносит вреда живому, вписываясь в биосферу Земли. И человек в мире при-

роды уже не агрессивен, скорее, наоборот, гуманен, гармоничен в лоне ее. И это непременно сказывается также и на качестве человеческой жизни в тесных пределах Земли.

На мой взгляд, этика и эстетика XXI века будут учитывать и этот важный момент в своих отношениях с поэтическим космосом, изображая жизнь в монолитной связи с мирозданческими, вселенскими законами.

Вот отрывок из рассказа «Хочу жить под Москвой» из этой же книги:

«Земля наша — энергетический сгусток, сплошь магнитные бури. То жара несусветная, а то антарктический холод: как задует — прямо тебе «севера», фуфайку летом хоть не снимай. Кто владеет погодой — управляет человечеством. По радио только что сообщили еще об одних учениях, открывших в ближайшем космическом теле — в какой-то голубой планете океан глубиной в 180 километров, то есть в 20 раз глубже, чем на нашей Земле Мариинская впадина. Значит, возможна в космосе жизнь? Однако то же самое говорили и про другую — красную планету Марс — символ войны и агрессии...»

Это я к вопросу о предчувствиях, догадках, предначертаниях. О том, что, сами того не ведая, по Вернадскому — мы порой попадаем в русло естественных законов биосферы Земли. И, когда нарушаем их, идем как бы в противоток, мы чувствуем это на своей шкуре. Следовательно, вся наша задача — вписаться, подпасть под действие этих законов. Тогда, наращивая оболочку эту биосферическую, мы усиливаем ее духотворность и жизнестойкость, как и себя вместе с ней в своей собственной жизни. А не даем гасить в себе все живое, самоуничтожаясь. Еще Аристотель впереди ставил «Поэтику» с ее высоким духотворным смыслом, а затем уж практическую «Метафизику»:

«Расходящееся — сходится,
и возникает прекраснейшая из гармоний,
и все создается через борьбу».

Вписаться в космос, в естественную природу, судить через призму вселенских законов — таковы новые задачи, стоящие перед обществом, культурой, литературой. Задачи, конечно, колоссальные в свете открывающихся возможностей. А человек-то перед ними мал и в то же время велик. Кто несет собою энергию, накапливая ее вместе со всеми в биосфере Земли, а кто только черпает, берет из нее. Мы — за героя дарующего, а не только берущего. Мы — за сюжеты с высокой биоэнергетикой духа. Однако мы и за старую, вековую этику Добра и Любви, вечно меняющуюся, обновляемую жизнью эстетику, признающую литературу как *акт свободы* — раскованного творческого сознания и созидания.

От автора

Липа вековая надо мной шумит.
Песня удалая вдалеке звучит.

Из народной песни

ЛИПА ВЕКОВАЯ

Книга рассказов

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ БЛАЖЕНСТВ

Блаженны — милостивы те,
Кто милосердны, сострадальцы.
Ведите падших к Красоте,
Как к алтарям бредут скитальцы.

Скрываясь в тернии души,
В никем не видимые слезы,
Спускайтесь со своих вершин,
Чтоб отвести от павших грозы.

Дадут ли голому одежды,
Возьмут ли на себя чей грех, —
Они несут тебе надежды,
Что ты ведь тоже Человек.
За подвиг их, великий труд
Им Боги руку подают.

Из книги стихов «Моя Орлея».

Земля моя добрая

О светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами ты нас дивишь: дивишь озерами многими, реками и источниками местночтимыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями и селами чудными... Всего ты исполнена, земля Русская...

Неизвестный поэт XIII века

Кленовым листком лежит в глубинной России земля моя добрая с прожилками речек и большаков, на песчанисто-соломенной ткани полей, в шелестящей недреме дубрав. Она — каких, верно, немало, а вот поди-ка отъедь, оторвись от нее хоть на время, нагрустишься, измучишься, станешь откидывать дни, километры: ну когда же, когда она за вагонным окном? У каждого в этом мире подлунном должен быть свой корень, точка опоры, родник, куда в тяжкие поры опускает он душу, чтобы, испив свое, вновь воспрянуть и жить. Сердце мое — на этом кленовом листе, обволоклось полями, левадами, речками, обросло хуторами, деревнями, поселками, и живу я меж ними какие века — берестяный, полынный, ромашковый, и веками, сколь жив мой народ, дышу его духом таланным, болею его потаенною болью, люблю его жадно открытой любовью. Посумерничай у правления, потолкуй хоть с одним, хоть с другим на рыбалке — человечишка, сказать, незавидный: картузишко да клок русых волос, да глаза за всем этим — два омута, а поди полыхнет таким непритоптанным словом, таким, мать честная, сравнением, что и ахнуть не можешь, стоишь, млеешь сердцем, и все тут. Все, чем жив, что вокруг него и в самом в нем — земли, воды, желанья, надежды — расшвырял он в названьях селений, расшвырял-порассеял, как озимь иль ярь.

Вообразим вдруг: сидят на околице мудрецы-россияне, собрались на большое вече по причине называния хуторов, деревень, поселков и сел. Сидит общество, решает все ладком, по порядку:

— Сначала дадим имена-названия тем, у кого они будут растущи, живущи.

Не одну исходили стежку-дорожку, не одну обсмотрели лесину-долину, пока слово не приладили к делу. И получилась поэзия, тонкое в именах стояние слова: поселки Зеленый Шум, Ольхов Круг, Калинов Куст, Моховой Верх, Красные Рябинки.

Без земли-матери что за крестьянство? Растеклись по «листу кленовому» земные названия, только слушай да разумей: поселки Золотое Дно, Мирная Долина, Степь, деревни Окуневы Горы, Чистое Поле, Апушкины Луги, Самохин и Сонин луга, что по реке Зуше у Бежина луга. А «полян», «полян» сколько! Словно мерились люди, кто к ним лучшее слово приставит: Золотая, Красная, Ясная. Ведь кому не хочется жить-пожить под спокойной, обласканной крышей, где жизнь кажется и яснее, и чище, и обточенной мыслями.

И без влаги-воды что за крестьянское, хлеборобское дело? Сколько, гляди, прирубилось-приладилось к именам поселений, хоть к такой связи «колодезь — колодец»: Студеный, Серебряный, Синий, Белый, Зеленый, Рогозин, Рубленый, Гремячий. А к срубу тому все льнут-льнут слова, как опенки: деревни Ключ-Колодезь, Конь-Колодезь, поселки Живой Ключ, Ключики, Блестящий Родник, Добрая Вода. Задержи, подержи на ладошке каждое слово — ишь, журчит, переливается в именах-названьях вода и спасает в жару путника своей мятной прохладой и желает добра человеку.

Как ядрено и сочно, вовсю — не вполсилы видел, чувствовал вокруг себя мужичонка-крестьянин. Коль цвета, так цвета, коли краски, так краски. И ходили они по земле часто гнездами, парами. Будь один поселок Белый Куст, то соседний — Зеленый Куст, а по-

близости еще Красная Зорька. Будь одно село Красная Поляна, то в округе — Красная Заря, Красный Брод. Мудрено, что и бродов по синим прожилкам «кленового листа» было несколько: к Красному Броду прибавится еще и Царев, и Татарский, и Русский, Михайлов. По соседству с бродами так и звенят боевыми секирами имена поселений: Курган, Половецкий, Кочевая, Колчанка. Зорко стояли на страже кромы своей пращуры...

Высоко одаряло крестьянское вече щедрый труд на земле. Потому нарекало селения именами такими, что и взглянуть на них хочется, а не то чтоб в них жить: деревни Трудолюбовка и Счастливка, Желановка, Приятная, Щедровка, поселки Приволье, Раздолье.

Здесь, на «кленовом листе», а не только в есенинской «Анне Снегиной», есть и свои Криуши. Есть и свои поселки Дубровский, Онегин. И уж столько поселений связано с именами писателей: поселки Тургеневский, Толстовка, Чеховский, Апухтино, село Шеньшино. Вот оно, целое литературное гнездышко: Пушкинские поселки, село Бунино, поселки Демьян Бедный, Максим Горький.

Есть в России такие места, что для нас — как для предков святые колодцы: припадешь к ним — дух занимается мыслью, расправляются плечи, и ходишь по земле Человеком. Сколько здесь таких мест! Идешь ли льговскою луговою травой, так и ловишь себя на мысли: здесь же падали переспелые росы на охотничьи ботфорты Тургенева. А в Шаблыкинском парке — Лев Толстой слушал всплески тихого пруда...

Сквозь поэзию пробивалась, однако, и горечь. Буйствовали непогоды крутые, скудны были поля, и крестьянское вече давало иным поселениям имена-горемыки: Неживка, Зяблое, Рыдань, Роковое. Здесь былье была дума думная, сила сильная — берегись, заклокочет.

И иные пришли времена — хутора и поселки приба-

вили к своим названиям слово праздничное «красный», взяли новые имена: Красная Степь, Красная Сосна, Красный Клин, Советский, Майский. Зашелестели, запахли землей, затревожили душу именами своими кооперативы «Дубовая роща», «Золотой колос», «Заветная мечта»... Величаво зазвучали поселок Красная Площадь, скромная деревушка Кремль. И теснятся к ним вековечным символом дружбы и единения села Рига и Льгов, деревни Литва и Калуга, поселки Винница, Кавказ и Сибирь. Земля моя — «кленовый лист», за «кленовым листом» вижу все древо...

Да, щедра рука сеятеля!

Так пойдем же в мой край — в светло светлую и красно украшенную землю отцов, где живут россияне — простые, таланные, сильные, где березы поют свои берестяные песни.

Берестяные песни

По утрам дымится река — значит, бабье лето кончается, нет уже той теплыни, что прежде. «Да ить дело не к петрову, а к покрову, — лениво судачат в автобусе. — Цыган, гляди-тко, покупает шубейку...» Невесть какая сила подхватила меня с постели, привела к этому рейсу с третьими петухами, в экую рань заставила поспешать на далекий хутор Одинок, к Бояну Ипатычу Павину, о котором наслышан и к кому давненько тянет на его берестяные песни.

Юлит торопыга-автобус. Все берегом. И бугор не бугор — медведица придремнула за речкой, выгнула свой лесистый бок; по зеленой крепи дубов — золотистые свечки — березы. Березоньки... Если глянуть с горы, так и Зуша утрами не Зуша, а вроде береза; по руслу сизоватым стволом улегся туман, по туману — темные пятна разрывов, а над всем этим маковки ЛЭП, и поют провода свои песни где-то в теле «березы».

— Ну и как там Павин, играет?

— Еще как... играет, — кокетничает молодайка.

— Будет скоморошничать-то, — останавливает ее та, что постарше, и смягчается, поворачивает ко мне лицо: — Он намедни жоровлей остановил...

А было все утром, вот так же на зорьке. Вышел Павин за порог под ракиту: хутор вроде на месте, сады и прудишко тоже. Через дорогу калины-рябины гнут долу ядреные кисти. Тянуло отволглою тиной, лежалым хворостом. Павин отыскал в сенях топор, подошел к возу, подтащил к колоде крутую охапку разной хворостяной мелочи.

Солнце, едва оторвавшись от горбунцовского верха, уже высветлилось, сделалось суше. Павин все махал топором. Вдруг он остановился, отложил топор и прислушался: над леском бродили неясные крики. Павин слегка побледнел, смахнул пот со лба, снял форменную фуражку — свою старенькую «почтарку».

Так и стоял. А крики крепчали, бились о крыши, о рябое зеркало пруда, о плечи; тревожные — отдавались в садах. Вожак вел караван. На подлете обозначились два каравана. Темные нити их выгибались, завивались друг к другу хвостами, вытягивались за вожаками.

— Журавли-и-и! — бежал по юру соседский парнишка Славик, и в голосе его, утонувшем в журавлином курлыканье, было столько восторга, столько юного восхищения и золотом осени, и крепнущей силой своей, подступающей жизнью, когда все только лишь начинается. А Павин стоял и грустил: журавли уходили, махая широкими крыльями, вот и кончилось лето, прожит еще один год, это его семидесятые журавли. Когда вожак, словно прощаясь со сжатыми нивами, с лысеющим лесом, с посвинцовевшим прудом, со всеми родными холмами и балками, в низком поклоне поднырнул над Павинским хутором, а за ним закачался и весь караван, Павин не выдержал, поднял руки к губам.

— Курлык-курлык-курлык, — полетели с хутора одинокие крики.

Вожак с минуту парил в блеклом небе, как бы прислушиваясь, потом пошел вниз — караваны смешались, заходили винтом, стали опускаться на землю.

Хутор уже совсем пробудился, за прудами проснулись и Горбунцы. Горбунцовские высыпали на бугор, кричали хуторским, показывая на журавлей:

— Чего это с ними, а?

— Своего, думают, потеряли, — отвечал Славик с этого берега. — Ослаб, думают, или так... приотстал.

Когда журавли почти уже стригли крылами елину, Павин смолк. Повертевшись, птицы кругами стали набирать высоту. Снова выстроились в караваны, завели свою длинную песню — прощание с родиной. Павин глядел, чуть подавшись вслед, про себя повторяя извивы тускнеющих звонов, и светлел от мысли своей.

Подошел Славик, грудью приналег на колоду:

— Чего ж ты не посадил их, дядя Ипатыч?

— Не посадил, — вздохнул Павин. — Да ить не надержишься. Пущай летят кому куда надо. Хорошо, Славик, птице, когда ей летится...

Мы сидим с дядей Ипатычем на том самом месте, где недавно он «закликал» журавлей. Лицо его сухо и выбрито, с прорезью неглубоких морщин. Седина над ушами, тонкая оправа очков и блуждающая улыбка делают его мягким, смиренным. Но, побыв с ним подольше, начинаешь замечать в нем подвижность, даже резкость в движениях, чувствовать иногда какую-то жесткость. Не оттого ли, что жизнь так трясла, колотила его так безбожно? Да не отбила от песни. Павин так и сказал: «Я пою». Не свищу, не играю — «пою». Словно бы и родился с голосом птицы, словно это просто для него и естественно, точно так же, как петь кому-либо русскую песню про рябину или ямщика. Ребенком становится дядя Ипатыч, когда начинает о птицах, — доверчивым и наивным. Затихая до шепота, рассказывает, будто есть где-то в Америке женщина, что поет соловья в два колена, да «кенарку индейскую», да попугая.

— Это мне как семечко слущить... Пою и синицу, и скворца, и перепела, и жаворонка, соловья о шести колен... На двенадцати языках пою.

Дядя Ипатыч снимает с головы «почтарку», достает из-за подкладки заветную берестинку, закрывает глаза. Кажется, где-то в роще встряхивается соловей, осмелев, рассыпается звонкою дробью. И не осень — май шелестит в садах клейкими листьями. А соловей и трещит и туктукает; то защелкает, а то, обмирая, запленькает, то опять, оживая, запулькает. Дядя Ипатыч лишь перебирает губами, улыбается про себя. А соловей еще раз плень-плень-плень-плень, вильнул и умолк. Тишина.

Дядя Ипатыч хмельно оглядывает окрест, словно бы удивляется, да не собственной щедрости — щедрости

этого края, где по чистым березовым рощам и косогорам рождаются песни. «Да ведь здесь в десятке километров Алябьево, — мелькает догадка. — Не отсюда ль пошел знаменитый алябьевский «Соловей»? Это же к соседям, в Спасское-Лутовиново, наезжают веснами из киностудии записывать соловья. Вот она передо мною, Россия!.. Да знает ли дядя Ипатыч, какой у него редкий дар, какое богатство?»

А осеннее небо просторно. Кружатся, собираясь в отлет, грачи. Дядя Ипатыч напрягся, закричал резко, по-ихнему. Грачи продолжали летать.

— Совещаются, — замечает Павин. — Шумят, как на колхозном собрании.

— Где вы всему этому... дядя Ипатыч?

— Э, милой, нешто враз такому научишься? Сколько живу, столько пою. Коли хочешь — слушай историю моего, стало быть, пения...

Родился я еще в прошлом веке здесь, на этом корню. Отец мой крестьянствовал, на помещика Мишку Домогацкого робил. Всю жисть свою жилился, семьищу кормил. Старший, Афонька, пошел по портняжной и плотницкой. Егорка тоже дому подпорой, сапожничал. Только я сыздетства к песням, стал быть, привадился. Ну, а что от песни в крестьянстве? Бил меня батя нещадно, отучал от песни.

Помню, сижу у лесочка, прислушался: дрозд! Вот затевает — мудрено мне. А корова тем часом возьми да и скройся. Пришел ко двору, батя соскреб меня и под себя:

— Ах, родимец тебя задери!

Насилу сосед отнял. Цельную неделю после жил под омшаником, а сестрица, Прасковьюшка, приносила мне хлеба... Беззащитный был. Я к мамке, бывало, а она мне:

— Ты подальше от всех. Сторонись.

Пойду к лесу, берестинку зачищу, посвищу да послушаю иволгу али синичку. Послушаю да опять посвищу. А осенью определили меня в приходскую школу. Любила меня учительница, без обеда не оставляла.

Я, бывало, ей по-вороньему каркаю, по-коршуниному торкаю, а ей интересно. На другой год батя забрал меня: пусть, мол, по хозяйству толкается. Так всего один класс я и кончил. Ну, и тоже крестьянствовал, да неважно, видать. Больше к лесу тянуло. По хутору меня так и кликали то Дроздом, а то Перепелом.

Подступило время — пришла революция. Батя к той поре помер... Приволок я из лесу яблоню, корни почти все обрублены, а поди ж ты — взялась, зацепилась. Дождишком, стало быть, отлило. «К новой жисти, гляди-ко», — подумал я и сказал старшему брату:

— Теперича мы с тобой равные.

А он собрал всю семью, брякнул по столу лапой, да и решили все следом за ним отправить меня в примаки через овраг, на Горбунцы. Там и жил я с Апросьюшкой до самой Отечественной... Ну, а дальше сказывать некогда, надоть почту везти.

Дядя Ипатыч проходит в сени. Снимает старую, надевает новенькую фуражку —«почтарку»: на люди ж. Идет запрягать мерина в тележку-двуколку.

— Сам сотворил, — подымает оглоблю дядя Ипатыч, — подобрал рессору по вкусу. Двадцать один годок езжу, вожу, стало быть, почту...

Бросает на деревянное сиденье внатруску клеверу и ячменной соломы. Взбираемся по пружинящей оглобле на двуколку, катимся на куцей оси, чуем животом колею и колдобины, каждый думает про свое. Я, к примеру, про то, сколько верст (до Погорельца, где почтовое отделение — четырнадцать) промерил за долгие годы дядя Ипатыч. Погода иль слякоть, мороз иль пуржища, а дело не ждет, не отложишь. Вспоминаю похвальбу дяди Ипатыча резиновыми сапогами и плащом, купленными ему дочерью в «кооперации» где-то за Тулой, и соображаю, значит, крепок еще Павин, еще поездит, послужит людям... Как, должно быть, приметен теперь его, павинский, дом всей округе. Сюда, к яблоне, посаженной дядей Ипатычем в честь «новой

жизни» и которой теперь за пятьдесят, сюда, к этой резной веранде, к почтовому ящику, несут сельчане письма, посылки, телеграммы и деньги; несут все — и с хутора, и с Горбунцов. Да гадал ли, думал отец его, Ипат Поликарпович, что его сын «неудельный» таким нужным окажется людям?

Двуколка идет ходко. На Горбунцы, затем на Борисово. Павин останавливается у голубых ящиков с гербом; завидев двуколку, на крыльце появляются люди, суют свеженаписанные открытки и письма, наказывают привезти конвертов и марок, подписать на журнал и газету.

Павин складывает письма и телеграммы в поднабухшую сумку. Запоминает, что кому нужно. С полчаса едем молча. Наконец дядя Ипатыч оборачивается ко мне:

— Так вот история моей жизни... что, стало быть, дальше-то было.

Попал я перед Отечественной в Красную Армию. Везли, везли нас аж до самого Бреста. Выгрузили и в рощу. Мать честная, — березы! После всего ровно сроду не видел их. Обхватил одну, прижался щекой. А после зачистил берестинку, отошел в сторону, да и запел. Пел и про хутор наш, и про дом, и про своих ребятишек. Ну, что языком говорю, то и ей, берестинкой... Командир батареи услышал и спрашивает:

— Что это? Осень и вроде как жаворонок?

А ему двое, тоже с наших краев:

— Так это же Павин...

Попросил командир меня — спел. Так и пел по клубам соловья, и синицу, и скворца, и жаворонка. Пел и в Польше, и после в Финляндии. Нет там таких берез, как у нас. Слабая, водянистая шкурка. А береста бересте, скажу, рознь. И ее, стало быть, надо воззнать, выбрать какую. Походить, поискать в лесу надоть. Сильно тонкая — свистит резко. Сильно толстая — тянуть силы много, даже в пот тебя кинет. В самый раз

неширокая, несухая, нетолстая — на такой хоть слова выговаривай...

Дядя Ипатыч снимает «почтарку», достает заветную берестинку — свой единственный инструмент. Запевает «Страдания», так и слышишь:

Ах ты, дружечка ты, мой голубочек...

Потом идет веселый наигрыш «Русского», за ним грустная «Ночка».

— А в Отечественную, — опять затевает дядя Ипатыч, — за Москву кровь свою пролил. Отбили, помню, атаку, приткнулись кто как с устатку, а тут, гляди, вот-вот попрут снова. Ну я и запел. Зашевелились, заулыбались ребята, потянулись к винтовкам. А он как зачал минами в шахматном, стал быть, порядке. Тутто ногу мне в небо швырк. Чую: вроде пчела укусила. Вижу: полстопы отвалило. На соловья, сволочь, бил...

Дядя Ипатыч, не жалея слов, все рассказывает. И про то, как над его детишками здесь издевались фашисты, и про то, как вернулся инвалидом на погорелое, как всей семьей бедствовали, как из тринадцати «ребятенков» у него осталось лишь семеро, как работал на колхозном свинарнике, где и получил первую в своей жизни Почетную грамоту.

Тяжко было, куда уж трудней. И у меня закипает в груди, и я думаю: «Да какую же нужно силу, чтобы пройти через все это и тянуться по-прежнему к песне, петь ее берестяным голосом светло и прозрачно, как поют птицы в наших лесах! Сколько надо любви к этой песне, к отчему краю, чтоб оставаться все тем же, из кого выбивала жизнь кулачищами песню, выбивала — не выбила».

Как бы сразу после войны ни было лихо, он затягивал туже опорки, собирался в клуб — не близок свет, аж в Алешино. На концерт. К людям. Потому что в самое трудное время люди все равно должны помнить, как поют соловьи. Павин пел и в агитбригаде, и в рай-

онном Доме культуры, и даже в Москве. На сцене Большого театра...

Мы скрипим на двуколке. Изволоки и спуски. Перед нами, конечно, не рампа Большого — мы у Байдина леса, где дядя Ипатыч когда-то подслушивал «индейскую птицу-кенарку».

— Сейчас я тебе тут театр и представлю, — загорается дядя Ипатыч и натягивает вожжу: — Тпру-тпру! — Останавливаемся. — Только слушай да разумей. Я пою, а лектор, стал быть, рассказывает. Что и как... Грубые голоса иль высокие. Про природу.

Дядя Ипатыч берет в руки палку, начинает выстукивать ею о колесную спицу. Дерево о дерево, сухое о сухое. Так и видишь: идет ночною деревней сторож — человек веселого нрава, колотушка в руках его так и пляшет; слышу в такт принашептывает дядя Ипатыч:

Эх, как старинушка бывала,
Жена мужа бивала.
Ходи в пуньку-то спать...

Удаляется сторож, колотушка слабеет. Раздвигая ряску, вскидывается лягушонок:

— Турл-турл-турл...

И сейчас же ему отвечает мама-лягушка, турлычет со дна басовито и глухо. Спросонья крякнула утка. Где-то тонко и жалобно, однообразно закричала сова, сухо зашлепала языком. Сову заглушил старый филин, заухал с подвывом, рассыпал частое токанье...

И вдруг грянул соловушка. Все смолкло. Только и слышно, что где-то на другом краю пруда бродит с колотушкою сторож:

Эх, старинушка бывала...

Потом — у дяди Ипатыча — наступает рассвет. Проснулся певец утра — жаворонок. Его сменили скворец и синичка, и перепел...

— Трюк-трюк-трюк, — мягко и нежно зовет перепелочка. — Пить-пить, пить-попить.

— Мава-мава, — монотонно откликается перепел.

— Мава-мава, — передразнил его насмешник-скворец и пошел рассыпаться по-всякому. Прислушаешься — уловишь и кудкудахтанье, и соловьиное щелканье. И артист же!

— Любую птицу прикличу, — разглаживает дядя Ипатыч на коленке берестинку. — И сова начнет надо мною кружиться, и перепел на меня нахохлится, как на соперника. Только жаворонок... Этот свой язык твердо знает. Раньше с ночи не подымешь. Головенка, не как у совы, поменьше, а умишка побольше...

И поет жаворонком — светло и просторно, и радостно от раскатистых трелей, будто не осень и поле не сжато, и березняк не изрежен от опавшей листвы.

Проезжаем хутора и поселки: Братский, Обвал и Победа... От Погорельца повернули обратно. Раздаем газеты, посылки, письма и пенсии. Встречаем улыбки и доброе слово и просто приветливый взгляд. Замечательно это — быть на земле почтальоном!

— Одно слово — связь, — раздумчиво говорит дядя Ипатыч. — Что фронт не шел вперед без связи, что мирное время...

Мы едем. Молчим. О людях, о жизни. Я думаю: кому дядя Ипатыч передаст свое мастерство, свой редкий талант?

Скоро и хутор наш. Да вот уже и Горбунцы. В одну улицу, ровным гоном до самых ракит. Перед хатами пуньки, погребицы; за одной из них ребятишки, затевающие чехарду.

— Деда! — бегут они к нам. — Что привез? Покажи!

Скрипнув рессорой, дядя Ипатыч слезает наземь, на подорожник. Роется в своей толстой суме. Достает книжонку, расправляет ее на коленке, поискав местечко, усаживается под калину-рябину. Обступают его ребятишки.

— А ты чего, Петька? — замечает дядя Ипатыч карапуза, выглядывающего из-за яблони. Тот мигом ныряет за ствол.

— А он без штанов, — наперебой объясняют ребятишки. — Порвал о гвоздь, а мать говорит: не барин, походишь теперь и так.

— Дедушка, голубчик, — водит дядя Ипатыч по странице своим заскорузлым пальцем, — сделай мне свисток.

— Посвисти лучше сам, — раздается голос за яблонькой.

— Спой нам, деда, — встряхиваются ребятишки. — Спой синичкой, скворцом... и русской кенаркой... и журавлем...

Дядя Ипатыч снимает «почтарку», что всегда надевает на люди, достает из нее заветную берестинку и, подняв голову, курлычет ввысь, за калины-рябины, за острые ели, в большое и гулкое небо, кажется, на всю Россию. И слышу я, как, проходя на юг, подворачивают к хутору караваны. Шелестят, шелестят, шелестят... Пускай же летят кому куда надо. Хорошо птице, когда ей летится.

Хутор Одинок

Типа вековая

По проселку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется тощий и длинный старик. Ему помогает идти крючковатая палка — давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явственно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем, — беседует он со своей палкой, словно с живым существом. — Каждая нашей будет». Тыкаясь в придорожье, в еще не просохшую канаву, в бурьян и кустарник, палка тянет его все вперед, к горизонту, где на взлобке, подрагивая, разлилось по проселку водянистое марево. Старик несет тело бережно, голову держит ровно и прямо; скашивая вбок глаза, жадно ловит широкими ноздрями густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо все еще — все дожди да дожди. На что полынь, а и та молодится. Хотя в это время ее, бывало, уже собирали да пихали под постели. От блох. А теперь чище жить стали, стоит — не нужна...

Вот из этих мест, лет с полсотни тому, подперев калитку плетневую коромыслом, зашагал он, молодой да здоровый, в город. На деньги. Вон тех белых шиферных крыш тогда не было. И поселка того вон и сада. И поля теперь гонами в два километра. Жили люди тут, пока ты раскатывал. Не сказать, чтоб боялся работы, — работал. Только чуть что, бывало, мастерок иль топор на плечо и айда в другие места, прощевайте. Помотался от Турксиба до Воркуты. Ни с семьею, ни с домом так и не получилось, потому-то и звал сам себя, где бы ни появлялся, Перекати-Колей. Звал невесело, с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей-привязанностей, кроме как одного: был любитель он книжек и читал их запойно, что попадя; в торбе его, которую звал Перекати-Коля «книжной лавкой», перебывала всякая вся-

чина: по истории древнего мира, по учению Канта или про африканских термитов... Пробовал даже сам пописывать — с коих пор в торбе три толстенных тетради. А в последнее время его волновали стихи. Знакомый паренек Ленька Синяев, журналист, подарил ему «Песню о Гайавате». Интересная штука. Перевел ее с английского русский писатель Иван Алексеевич Бунин, когда в Орле жил и работал в газете. Бережет старик Ленькин подарок, завернул даже в целлофан. Увидел как-то на областной карте деревни с названием Бунино, удивился, собрался даже наведать их, а пришлось тащиться сюда вот, к родимому корню, к своей изначальной земле. Остарел, заплошал Перекати-Коля в какой-нибудь год, по утрам уже не в подым, и воды — захворай — подать некому. Да куда, не в артельный же дом как безродственному к старикам. Вот и шел теперь ближе к погосту, где лежат отец-матерь...

— Какая деревня? — спросил он рисовальщика-паренька возле пруда, чтобы как-то заговорить с ним, отпустить свою душу.

— А Полозово.

Постоял, посмотрел ему через плечо. Ловко орудует краской, возникают на бумаге дома под железо и шифер, и спросил, удивясь робости в голосе:

— На заказ, что ли?

— Нет, — сказал паренек и обернулся. Оглядел старика: — Учусь в Москве на художника... А деревня, дед, сия историческая. С нее писал Шварц — слышал, был такой в прошлом веке? Между прочим, — сыпал парнишка, —жил он тут рядом, в Белом Колодезе, в тридцать один год ходил в академиках, родоначальник русской исторической живописи. Известна его еще дорепинская картина «Иван Грозный у тела убитого им сына»... Так вот с нее, с этой Полозовой, и написал академик пейзаж к своей картине «Вешний поезд». Сирые хаты, к весне голые слеги... А писалось им с этой же точки.

— Скажите, — вздохнул старик, потоптался на месте, оглядел еще раз деревню и опять зашагал, застучал по проселку своей крючковатою палкой.

— А мы-то с тобой, дураки, и не знали, — бранил он ее так, для порядка, беззлобно. — Исторический живописец!.. Ты-то, конечно, магнитогорская, а я, гляди, тутошний, мужлановский я...

В это самое время навстречу старику по дорого из Белого Колодезя двигались двое — садовод Семен Семеныч Чубаров и его внук Алешка. Их автобус полуденным рейсом в село почему-то не прибыл, и они шли на большак, чтобы сесть на какой-нибудь проходящий. Солнце висело по-над ракитами, оттого на проезжей тенистой плотине было зеленовато и зыбко. Недлинная улица с давними каменными постройками-мезонинами в узорную кладку, с орнаментом, полнилась нынешней жизнью: всезнающими ребятишками, тюлем на окнах, ящиками из-под вермута у магазина, обязательствами у совхозной конторы...

Был самый сезон сбора яблок: бело-колодезьский воздух бродил, словно сок отборной антоновки. И Чубаров вдыхал его, тяжелея, хмелея. Иногда блики ложились ему на расстегнутую у шеи ковбойку, на торчащий из-под нее треугольник тельняшки, как юпитером, выхватывали на переносице родинку, выделяли смуглость и пористость кожи. И странным было сочетание серебристых висков с темными, буйными по-молодому бровями, и тело его было плотно, но сухо, подобрано — такие, говорят, легки на ногу. Он шел, слегка подаваясь к земле, словно тянули его большие, чугунные руки, и думы его были невеселы. Он представлял, как пройдет и этот сезон — его последний сезон. Полетят белые мухи, и некуда будет спешить утрами, некуда будет деть эти ставшие враз ненужными руки. Не прибавится дел ни весною, ни осенью. И он станет приходить сюда просто так, на прогулку.

Не ведал Алешка, что творилось в душе его деда.

Был паренек блондинист и круглолик, с чуть грустнеющим взглядом; губы сочны и крупны — верная примета доброты и покладистости человека, смеялись люди — ими хоть валенки подшивай. Шли Чубаровы каждый за своим делом: Семен Семеныч — в райсобес, насчет пенсии, Алешка ехал в город впервые — устраиваться.

Но вот и Мужлановский сверток. Стоит огромная липа, стоит распушается. Лет сто ей, а может, и двести. Кора ее обтрескана, обмыта, обтрепана ливнями и ветрами. Любит вверх-вниз по ней пробежаться всякое муравье, особо когда под напором сока лопнет где-либо сладкая кожа; тогда бегут на оказию взводы и батальоны — напрямик через ямы, шершавины...

Когда Чубаров с Алешкой подошли к липе, старик уже сидел под ней, задумчиво трогал своей крючковатой палкой муравьиную кучку. На развернутом вершке лежал кусок сахару. Старик наблюдал, как суетится вокруг него мелкая живность.

— Когда это они все зачинят? — присаживаясь на обочину, интересуется Семен Семеныч.

— А соберут совещание, составят смету, согласуют с начальством, — посмеивается глазами старик и вздыхает: — Гляди, бьются. И у них это так: кто кого смог, тот того с ног.

— Ишь ты, — косится на него Семен Семеныч, — сам-то, должно, натерпелся, вот и... Как зовут-то тебя?

— Перекати-Коля.

— Так и зовут?.. Мудреный ты дед, — сладко вытягивает Чубаров ноги. — А ну, Алешка, чего там у нас?

Алешка долго роется в сумке, наконец извлекает лепешки — свойские, пресные, в рубчик, потом появляются малосольные огурцы. Добрый хлебный дух перемешивается со сладковато-укропным, возбуждает слюну, рождает желание провернуть ее языком.

— Эх-хе-хе, — отворачивается Перекати-Коля. — А мне вот не естся-не пьется, никак не умрется. А что, яблок нетти у вас?

— Да ты, дед, еще справный, — улыбаясь, запускает Алешка свои крепкие зубы в лепешку. — Еще поживешь, потянешь. А что это в торбе?

— Деньки потянутся — ноги протянутся. С год назад внутренность тверже была, а теперь все дрожит... А в торбе-то книжка. Во! «Песня о Гайавате». Слыхал? «Дай коры мне, о береза! Дай мне, ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку...» А что, яблочка нетти?

— Эх, жисть, — жуя, вздыхает Чубаров и косит в сторону, откуда должен показаться автобус. — Молодой боится, что остареет, а старый — околеет.

Перекати-Коля прячет книгу обратно. Сидит молча, глядя прямо перед собой.

— Везу вот Алешку и свои документы, возвращусь обыденкой... На, жевни, — подает старику Семен Семеныч лепешку. — Отрываю от титьки. Нехай там учится справлять телевизоры.

— Эка куда, — оживает Перекати-Коля.

— Десятилетку закончил Алешка. Хочу, чтоб стал человеком. Вернется внук мой в деревню, наденет сверкальные очки, сядет в пузово личной машины, ха-ха...

— А как же, — в ответ посмеивается Алешка. — Сейчас материальная заинтересованность... Только я тебе уже сказал! — твердеет голос Алешкин. — Пойду на художника. Кистью пойду свое брать.

— Ишь ты, Александр Македонский, — удивляется Перекати-Коля. — Кистью города завоевывать! А скажи мне, чем знаменито здешнее Полозово? Молчишь? То-то... И я когда-то тоже был во! Усы аж за ухо закидывал. А теперь, гляди, на губе три хворостинки и спину колом поставило.

— Все гнулся небось, — буркнул Алешка под нос себе, но Перекати-Коля услышал.

— Молодой человек! — старик, когда начинал закипать, всегда говорил неспешно, отделяя каждое слово. — Ты, скажу тебе, еще что картошка июльская: молода рубашка-то, р-раз и нетти. Губа толста,

душа проста... Надо гнуться, не то любого поломает. Жизнь всякого производит восклицательным знаком! А получит человек в зубы — глядишь, загибается, ходит уже вопросительным. Так-то легче. А восклицательных, как гвоздей, в земь по самую шляпку...

— Каждого не загонишь, — тряхнул головою Алешка. — Новые народятся... Стране нужны не загибшие, а здоровые, сильные!

Муравьи уже заделали вершок и по стариковой палке, прислоненной другим концом к липе, потекли жидкой струйкой к стволу, поползли в шелестящую высь.

Призатихли путники, наблюдая за муравьиною братией, упорно лезущей к солнцу и листьям, туда, где крупнела широкая купа. Иногда полевой ветровей, налетая, задирал ее — сверху донизу начинали ходить полосатые волны, солнце вникало в матерые теми, где и лучилось в бисеринках еще непросохших утренних рос. Перебивая суету воробьиной компании, ссорящейся на самой макушке, шелестит, шумит липа, ходит волнами над головой — липа, липушка вековая. Лето — осень, осень — лето пройдут, но все будет здесь, на скрещенье дорог, как и сейчас: муравьи струиться, шептаться над путником купа, но то будут иные люди и времена...

— Интересно узнать, чем все это кончится, — нарушил молчание Перекати-Коля. — Жилось и не думалось, а пришел час, жалко, что и ног на койку скоро не заведу... До погоста доберусь вот и лягу с отцом-матерью рядом. И с бугра все видать будет, и буду с полями я говорить-разговаривать, коли в жизни не наговорился, и ветра принесут дух мне полынный, ромашковый... Хорошо, Алешка, по белу свету побродить-поглазеть. Завоевывай город, а от земли своей ни-ни-ни. Да не шибко бери, а то мигом схрястают, скусят головушку.

— Сирота он у меня, — сказал Чубаров раздумчиво, — боюсь, дюже горяч. Весь какой-то зачитанный. Ищет смысел по книжкам, стало быть, правду жизни.

— Что ты знаешь! — вспыхнул Алешка. — Сам зарылся в сады, а меня в телемастера!.. Техника будет выращивать сады, убирать урожаи, а людям — заниматься искусством, совершенствовать жизнь.

— На язык ты востер, — говорил с грустью Чубаров. — А вот когда дело — в кусты. Цельную зиму проучился на механизатора, а как лето — не на трактор, а в город. Художником ему! Не хочешь на этого... телемастера — сам тянись, на копейках. Скотину и ту держат впроголодь, чтобы на зов хозяина шла.

— В бригадиры б тебя, Семен Семенович, — не унимался Алешка. — А то управляющим...

— Порядок нужен, куда без него? Чего взмыкался: то тебе не так, это не так...

Перекати-Коля сидел затихший и строгий. Затем, словно вспомнив что-то, снял затертую шапку, достал из подкладки иголку с ниткой, принялся зашивать дыру на колене. Смахнул муху со лба:

— Мухи, гляжу, пошли злые. Осень же. Не так кусаются, как щелокотно, полозиют — вроде как ногтями тебя.

— Куснет, брат, и до крови, — отозвался равнодушно Чубаров и, задумавшись, долго глядел на дорогу, сады, темневшие на горизонте.

— Да, кровь, брат ты мой, кого только не тянет... — живо подхватил Перекати-Коля. — Помнится, жил я на Днепрострое, так повадился заяц к хозяйке в сад, глодать саженцы. А я возьми да намажь их бычиной кровью. Нашлось воронье, добела склевало кору...

Так сидели они, рассуждали. Речь то вспыхивала, то затухала. А липа прислушивалась да шевелилась каждым листом, каждою веткой — липа давняя, вековая.

Не дождавшись автобуса, Чубаров с внуком засобирались домой, позвали с собой и Перекати-Колю («а что, не проживешь нас, не объешь»). Но тот отказался, остался под липой, начал устраиваться на ночлег. И пошли они, дед с внуком, заторопились, чтоб дойти домой засветло, побрели по дороге на Белый Колодезь.

Проходили поселком Кубанью, деревенькою Шишкино, мимо нового клуба. Поспешали липовым парком. Аллеи подводили к церквушке — крепенькой, из красного кирпича, со снесенным куполом, отчего она казалась незавершенной.

Замечательны вокруг были сады, новый цех-красавец по изготовлению соков. Шел Чубаров, отдыхая душой, радуясь, что идет с Алешкой снова садами. Редки были яблони здесь тогда, в сорок третьем. Полтора года стояла передовая, полтора года убивала сады. Здесь Чубаров высадил первый свой саженец, денно и нощно трудился. Были почетные грамоты, ордена. И вот уберет урожай да на пенсию. Это его последняя осень в садах. Сады — вот что оставляет он людям. Разве этого мало — сады?..

Подобралась и ночь. Луна еще не взошла, оттого в парке было глуховато и жутко. Ноги то уходили в пустоту, то спотыкались. При свете звезд увиделась кладка из светившихся слежек-берез. На бугре возник чубаровский дом-пятистенник. А позади, в парке, липы все так же стояли стеной; на одной из них репродуктор сочным, глубоким голосом, с затаенной страстью пел арию Далилы. Голос все закипал, закипал, взлетал ввысь, проходил над деревьями, утекал далеко-далеко, на Мужлановский сверток, к одинокой липе на перекрестке, по стволу от макушки спускался вниз к комелю, где приткнулся Перекати-Коля. Он лежал на бушлате, уперев голову в торбу — свою «книжную лавку», и, еще не остыв, продолжал вспоминать спор Чубарова с внуком Алешкой.

«Город тебя пережует да и выплюнет, — горячился Семен Семеныч». — «А я костистый, кремнистый», — огрызался Алешка.

Старик лежал, заложив обе руки под затылок, и глядел вверх, и чуял сквозь липу немигающий свет Полярной звезды, и губы в такт шелестению листьев шептали:

...Пел мне песнь о Гайавате...
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде...

И представлялось ему, что он, Николай Дмитрич, в родимой Мужлановке, на бригадном дворе, пришел сюда с утречка, пока механизаторы еще не отправились в поле. Он читает односельчанам, и люди слушают, внемлют ему, как пророку. А облака все текут и текут, восходя от земли, проникая сквозь нее, как сквозь эту вот липу — липу давнюю, вековую. Были когда-то вон какие писатели — не стало, не станет и его, старика, и тело его исчезнет, сольется с землей, но влага душевная, перейдя вот в такие облака, будет плыть над людьми, над полями, над временем, пока не прольется где-нибудь благодатным потоком.

с. Белый Колодезь

У толстовского родника

Кочеты лежали тремя отдельными деревнями. Главная дорога вводила меня в бывший помещичий сад, где теперь восьмилетняя школа.

Сад как сад, обветшалей обычных. Щемящее чувство заброшенности усиливается, лишь спустишься к пруду, на поддонный голос лягушек. Цветы водосбора — розовые, синие — колотят головками по коленям, плечо трогает куст волчьей ягоды, когда намекнувшейся тропкой врезаешься в околопрудные заросли.

С трех сторон пруд охвачен зеленой подковой, с четвертой — в отдалении хаты. Ивы, орешник, ракиты, береговая трава кое-где заходят в самую воду.

— Глядите: какая же синяя! — с восторгом говорит Егор Кириллович — из здешних, лет сорока пяти, лобастый, с живыми глазами, подрядившийся показать мне Кочеты.

— От глубины?

— Да. И от чистоты... Лев Николаевич Толстой наезжал сюда в последние годы к зятю — помещику Сухотину, к дочери, которая была за ним замужем. К Тане. Говорят, Толстой любил этот пруд. Сиживал здесь вечерами... Да вон на том бугре живет Фроловна, она ему хоры и собирала.

И вновь мы идем через заросли. Предки Егора Кирилловича были здесь крепостными, гнули спину, может, и в этом саду, а вот он, Егор Кириллович, теперь в родимых местах учитель истории, директор той самой школы, что глянула на нас из-за старых лип большими и чистыми окнами. За разговором мы углубляемся в сад. Слабо угадываются аллеи, чернеют дубовые пни в два ряда — плоские, словно столы, на которых можно отобедать не меньше пятерым. А кругом самосев, он развился в подлесок, в частые тощие клены. Под ними ровная зелень хвоща. Сочится ключами берег. Все тенисто и сумрачно, и не-

много таинственно. Где-то здесь похоронена внучка Толстого.

— А вот и родник, — останавливается Егор Кириллович. — В народе бают: если пить эту воду — укрепляется зрение, проясняется разум. Этой стежке уже тыщу лет. Ходил к роднику и Толстой.

Вода как вода. А смотришь в нее— как не задуматься? А задумаешься — обольет она душу и заставит замедлиться в жизненном беге, просветлеть в мысли: а как и чем живешь ты, человек?..

От родника стежка выводит к школе. Липки перекрывают натоптанный двор, делают его зелено-тенистым, уютным. Давно уж пропали старые, сухотинские липы, это их отпрыски. В классах, куда заходим, на столах охапки сирени, бело-розового водосбора. Шел экзамен по литературе. На доске полустерто написанное мелом — темы, наверно. Не по Толстому ль? Вот за этой партой сидел какой-то кочетовский мальчишка, морщил облупленный нос, и брезжил перед ним в своей смутности сложный человеческий путь...

Тележный след поднимался к строениям. Я поразился тому ощущению свободы и легкости, которое давалось простором и неоглядностью, открывшейся с сухотинской усадьбы, обсаженной дубняком. Даль синела слоями километров на двадцать, у горизонта пыхтел паровозик.

— Благодатное, Марьино, — кивнул неназойливый Егор Кириллович. — Лев Николаевич писал: если бы Наполеону пришлось давать сражение в этих местах, для своей ставки он непременно б избрал Кочеты. А это амбар. Смотрите — замчище. Говорят, времен Льва Толстого. А здесь стоял каретный сарай. А вон там подвалы. Вековые. Думалось, не будет им слому...

Егор Кириллович как-то никнет. Энергия, которой полнилась вся его небольшая плотная фигура, пропадает, лицо становится мягким и вялым. Проходим мимо обветшалых подвалов. К флигелю. Здесь когда-то была

библиотека, вот у этих оконцев читывал книги Толстой. Серый кругляк, обшивавший кирпичные стены, кое-где обвалился, обнажив бурую кладку. Время расшатывает и ее. Один угол строения сгорел, другой подгнил и осаживается.

Егор Кириллович оживает, когда речь заходит о делах школы, совхоза, о передовых кочетовцах. Прошлое переплетается у него с настоящим, о прошлом он говорит так, словно это было недавно, вчера.

— А это вот что? — отвлекаюсь я, глядя на заросли диковинных растений у флигеля: лист разлапист, как у подсолнуха, но не шершав, глянцевит.

— Может, лекарственное? — гадаем мы с Егором Кирилловичем. — Иль декоративное?

— Груша это, — подходит старуха, — груша и есть... Земляная. Господа зря сажать не будут.

— Настасья Фроловна Федосеева, — наклоняется спутник ко мне, — урожденная Сенюшкина. Луке Артемычу Сенюшкину, здешнему революционеру, двоюродная сестрица.

— Так вы сестрой ему будете? — спрашиваю я и настраиваюсь на долгий разговор.

— Да. Двоюродная, — поджимает сухие губы старуха.

— Старинную жизнь помните?

— А как же ж, помним. — Голос у Фроловны еще сильный и ровный, глаза смотрят с прохладцей, словно бы изучают нового человека. Лицо строгое, с тонкой, прозрачной кожей. — Помним и братца своего, и Льва Николаевича. — И начинает сразу, как-то заученно:

— Я была у господ подрядчицей, набирала девок дорожки подбивать в парке, за цветниками ухаживать. Начинали от круговых дорожек у пруда и шли выше, сквозной аллеей, до господского дома.

А насчет этой груши... Господа эту самую грушу частью тут потребляли, частью отсылали куда-то. И еще спаржой занимались. Сеяли во-он на том месте, где сейчас Танька Скворцова живет... Но, скажу, хоть и был у

меня деверь в поварах у господ, а какие-такие бисквиты эта самая спаржа и груша — не знаю, не пробовала. Сурьезный был наш хозяин — Михал Сергеич...

И вновь поджимает губы Фроловна. Они уходят куда-то внутрь, и тогда острее становится подбородок, выделительней нос, в уголках губ ложится жесткая складка.

— И вот появляться у нас начал Толстой. — Старуха глядит, не мигая, и все в одну точку, вызывая в памяти воспоминания. — Так, сам он вроде мужик: в длинной светлой рубахе, бородка надвое раскидывается... Приезжал со своим врачом Душаном Петровичем, до осени и гостил... Любил с Лукой Артемычем, с моим братцем, беседовать. Подрядился, помню, Лука крышу господскую красить. Слезет с крыши разводить краску, а Толстой разговор и затеет. И сидят на плетеных диванах под илим-деревом, все толкуют да кофий ли, чай ли там пьют. А про что толковали — не знаю. Лука Артемыч тогда уж с большевиками водился. А вскоре Лев Толстой пришел в деревню Веселую, собрал всех мужиков да вот так и скажи:

— У помещиков, у зятя моего Сухотина сейчас всего много, на серебре едят. А у народа куска нет. Нехорошо. К чему это привести может?

А вот и привело. Брат-то мой, Лука Артемыч, ушел из деревни в матросы, долго от него вестей не было, а потом пошли кругом митинги. Слышу: в уезд приехал мой братец. Побежала туда, а там в кумаче улицы и знамена, словно хоругви, и Лука Артемыч что тебе генерал: не подступись. Народу — стеной за ним, и все с револьверами! Слух прошел: власть Советскую Сенюшкин провозглашает... После к нам в Кочеты приехал коммуну устраивать. Жизнь всю прежнюю переиначили...

С какой-то тайной грустью говорит Фроловна о прежнем. Как все прежнее волнует ее! Почему? Да ведь то ее молодость, золотистые косы.

— А еще хотела сказать, — шевелит губами старуха, — любил Лев Толстой слушать всякое. Сойдутся

мужики у господского дома, присядут в кружок и затеют про то про се. Да вон деды, Квасов и Золотухин, соврать не дадут, их спросите...

Утром Егор Кириллович запрягал мерина, взятого еще с вечера на совхозной конюшне. Мы отправлялись к дедам, на вторую деревню. Солнце уже припекало, препятствовало току сырости с пруда. По двору равнодушно ходили куры. Время от времени на яблоне встряхивался скворец, принимался бить крыльями и квохтать по-куриному, представляя куриную панику. Егор Кириллович швырнул на дрожки соломы. Сидел, поджав под себя по-татарски ноги, и снова был оживлен. А дрожки все тряслись, все звенели колесной чекой.

— Вон то, — показал он через минуту на приземистое, деревянное зданьице, —вон то была школа. Построена для крестьянских детей дочерью Льва Николаевича...

Взобравшись на бугор, проехали полем, въехали во вторую деревню. От колодца, видим, идет старичок.

— Силен, гляжу, ты, полковник, сам еще воду носишь, — здоровается Егор Кириллович и вполголоса мне: — Петрович. К нему и ехали.

— Почему полковник? — спрашиваю и я тихо.

— Да ить как не ходить, коли дело велить, — опускает ведра старик и быстро взглядывает на меня. — У нас в деревне кто коров стережет, тот и полковник. Вчера был мой черед.

Проходим во двор, садимся на лавку.

Весь он — в рыжем своем пиджаке, в диагоналевых галифе, в растоптанных кирзовых сапогах — острый, сухонький, рыжеватый, словно провяленный солнцем. По темной шее разбегается сетка морщинок.

— Человек вот интересуется, — кивает на меня Егор Кириллович, — как ты, по просьбе Толстого, на свадьбе форейтором ездил?

— Ха-ха-а, — живо смеется старик, и светло-зеленые глаза его влажнеют. — Нюшка! — кричит он нео-

жиданно звонко супруге в сторону огорода. — Поди покличь Золотухина!.. Вдвоем будет сподручнее, — поворачивается Петрович ко мне.

— С Левом Толстым, — вздыхает, — как вот с вами встречался. Я ходил тогда уже в женихах. Лев Толстой, говорили, супротив помещиков шел... Нюшка, ты пошла к Золотухину?

— Сичас, — доносится с огорода.

— От дьяволица! — хлопает себя по коленке Петрович. — Не разгонится... Так вот, Лев Толстой все больше с нами вожжался, с крестьянами. Заходил что ни есть в бедную хату. Любил особливо к знахаркам. Была тут одна у нас — Любава Васильевна. Святой водицей лечила. А другая, Ульяна, та слово знала от козюль и от бешенства. Нюшка! — кричит он опять на огород.

— Чего тебя мучит-ломает?! — жена его неожиданно выходит из сенцев и, невозмутимая, плывет мимо нас, через выгон, к золотухинской хате.

— Книжонками снабжал нас, а то сам читал койкогда. Поди сюда, скажет, Димитрий, послушай, что я тебе почитаю. А потом спросит: ну как, брат, понятно?

С того края выгона движется Золотухин — высокий, степенный, худой. Несет тело ровно и бережно. Присаживается, гладит ладонями серебристо-черную бороду. Говорит он мало, давая выговориться дружку.

— Про свадьбу-то расскажите, — не терпится мне.

— Про свадьбу? — не спешит выпускать главный козырь Петрович. — Это можно. — Наконец начинает: — Давно это было. Еще в женихах я был... Так вот, приехал Толстой к нам сюда, в Кочеты. И вздумалось ему сыграть крестьянскую свадьбу. Не настоящую, а так, посмотреть. И чтоб, так теперь рассуждаю, в книгу. Мы играли свадьбу, а Лев Толстой все записывал...

Закрыв глаза, я слушаю голос Петровича и вижу все это так явственно.

На сей раз Лев Николаевич приехал сюда на целое лето. Скрылся у дочери от домашней опеки, от досад-

ных расспросов Софьи Андреевны о завещании, от всего надоевшего... Отцветая, в парке ржавела сирень. Пахло майской землей. Как все было здесь просто и хорошо. И снова жилось надеждами, и близка была молодость, когда устами Оленина выразил он такие слова:

«Счастье, вот что, — сказал он себе, — счастье в том, чтобы жить для других... В человеке вложена потребность в счастье. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие! Любовь, самоотвержение!»

В этих крестьянских избах, на виду перелесков и долов, с прежней властью поднималась в нем потребность исканий, быть единым с людьми, думать их думами, любить их любовью.

В этот приезд, когда на душе было особенно смутно, он хотел видеть народное празднество, общее ликование. Может быть, новым страницам суждено будет стать лучшим из всего, что было писано прежде?

Зашумело игрище в Кочетах, томившихся до покоса в безделии. С женихом трудностей не было, а невесту сыскали не сразу. Наконец, уговорили одну из замужних — Анну, горничную. Послали сватов. Ударили по рукам.

Запестрел луг цветными платками, паневами. На столах — черепняные чашки, деревянные ложки толщиной в детскую руку, из «казенки» бутыли, немудрящая деревенская снедь: холодец с хреном, пшенная каша, вареное мясо, шипучие квасы...

Все ждут свадебный поезд. Десяток крестьянских подвод, украшенных лентами и кумачом, выехали в поле. За околицу. К хлебу. Гремит под дугой колокольчик —

«дар Валдая». Первым на своем буланом — приосанившийся Димитрий. Летят мимо Душана Петровича, мимо Льва Николаевича. Встречают от венца мать-отец, провожают к столу молодых. Ни жива ни мертва сидит Анна в своей жаркой паневе, в золотистом кокошнике. Величальную ей заводит девишник:

У нас ягодка красна,
Земляничка хороша,
На пригорочке росла,
Супротив солнца зрела.
Ах, кто ж у нас,
Ах, кто ж у нас разумница?
Ах, да Аннушка умна,
Аннушка да разумна...

А за столами — веселье. Звон бутылок да пересмешки. Кто-то с кем-то перебросился словом, кто-то залился краской, кто-то, захмелев, затевает невесте свою величальную:

Конопель ты моя, конопелочка...

На него шикают. Высоко и прозрачно ведут женские голоса величальную жениху:

Летел голубь, летел сизый
Со голубушкой.
У голубя да у сизого
Золотая голова,
У голубки, у голубки
Позолоченная.

Наливается силой, плывет молодым величальная, и в такт общей песне начинают качаться ряды — плечо в плечо, плечо в плечо:

У ворот сосеночка зеленая,
Зеленая сосеночка земляная.
У Захара жена молодая,
У Яковлевича дорогая...
Белу свету сына породила,
Она свекору, свекрови угодила...

Долго еще в уже потемневшее небо, в звезды летят широкие крестьянские хоры, пересмеиваются балалайки, плачут пискуньи-ливенки. Плывут по лугу хороводы. Бежит карандаш по сереющим в сумерках строчкам. Лев Николаевич закрывает записную книжку, довольный — кладет свободную руку за пояс блузы...

— Нюшка песни вам эти сейчас и представит, к-хе, — откашливается Петрович и возвращает меня в сегодняшнее. — Нюшка! Да где же она? — суетится Петрович. — А вон у золотухинской хаты лясы, гляди, с бабами точит. Нюшка-а!

— Сичас, — не спешит отзываться его супруга.

— А вон-он, за хатами, — оживает степенный Золотухин, — лесок Бездонный. Там ложок двухрукавный. Порточки мы называем... Так вот в сенокос Лев Толстой в те Порточки похаживал. Возьмет у кого-либо косу, попробует. Не умеешь косу блюсти — враз поймет. У тебя, говорит, незакладная. У другого возьмет: у тебя хороша. И пройдет несколько строчек. Умел мужицкую работу...

— Нюшка!! — перебивая его, опять суетится Петрович.

— Ну, сичас, сичас, — отвечает супруга с того края выгона. Наконец, приближается к нам. — Чего взмыкался?

— А ты спой человеку песни, какие на свадьбах певала.

— Дак это давно, — ломается Петровичева жена, — это еще при Толстихе, когда она новую школу построила.

— Во-во, — вскидывается Петрович, — новую школу!.. А за то, что фалетором был, Лев Толстой заплатил мне десятку, а жениху пятнадцать, а невесте двадцать пять рублей. А Анну мужик после бросил. Пошло про нее по деревне: Захарова, дескать, жена да Захарова, сам Толстой венчал. Так и бросил мужик ее. И Захар не женился, бобылем всю жисть прокрутился. Такто вот. Да... У меня в святом углу патрет Толстого.

Смотрит этак сурьезно, ровно святой. А у сына, так у того есть железный столик, за которым Лев Толстой сиживал. Из музея приезжали, просили — не отдал...

— Помрем скоро, — вздыхает Золотухин и трет кулаком сырое приотставшее веко. — Ничего не нужно будет.

— Как это не нужно? — подскакивает Петрович. — Пока живы, все нужно. И стол, и патрет, и Лев Толстой...

Прощаясь с Кочетами, я еще раз пришел к амбару, к обгорелому флигелю, к уютной, вместительной школе. Заглянул в окно: на доске детской нетвердой рукой было написано: «Широка страна моя родная». Со всех трех деревень сюда, в запретный когда-то сад сухотинский, сходились ребятишки — потомки тех, давнишних крестьян. И снова виделось далеко. Дорога была вся в ракитах, струящихся на ветру серебром.

д. Кочеты

В ПАРКЕ СТАРИННОМ

Тне не терпелось в парк, в знаменитый Киреевский парк, навеявший некогда лучшие страницы в «Войне и мире» Толстому. И вынесло меня к входу полуподковой, к одиночному дереву, где на лужайке играли дети.

— Не смейте! — вскочил вдруг мальчуган лет восьми — тонкий и русоголовый. — Не смейте ее, она делает людям добро!

Не знаю, за какую такую живность горячо вступился мальчишка, но его искреннее желанье добра так и пронзило меня, засветило отсюда каждый мой шаг. Все теперь было во мне, все в элегической грусти: давность кленов и тополей, бледная хилость подлеска, тщетно пытающегося выбраться к солнцу, но довольствующегося пока что лишь бликами. В сумеречных аллеях царили спутанность и запустение. Пруд, в темных водах которого еще с времен войны, говорили, таится смерть — ржавые мины, затянулся ряской, порос кугою и тростником. Прислонившись к столетнему тополю, слышишь щекой верховую гулкость ствола, гудение пчел в долбленой колоде, припрятанной кем-то по обычаю предков — в развилке мощных суков, и перешепоты листьев переходят в слова, а гулкость — гудение — в музыку. И ожидаешь чего-то, чего же? У темной воды на плотине скамейка. На скамейке забытый кем-то томик стихов: Тютчев. Аромат тонких духов. Знакомые, певучие строки:

Я встретил вас...

И музыка — гулкость сильнее, напевнее, звучит бархатным басом Штоколова; в такт всему поднимается и опускается плоскодонка у берега. Славно, наверно, плыть с шестом в этой лодочке, глядя с воды на просветленные осенью клены.

Солнце уже на исходе; по углам серьезнеет пруд, и

только вершины сосен на карлике-острове, окруженном кугой, еще держат розовыми стволами заходящее солнце. Налетавшись, грачи хлопочут в своей колонии, устраиваются на ночлег. И текут, все текут вокруг кленовые листья, обнажая в былой гущине, в развилье ветвей, гнезда синичек, малиновок, соек. Как увядающее мило!.. Да, но кем забыт тютчевский томик? Чей в нем аромат? А мысли уносят в ушедшее.

Человек стоит у окна, распахнутого в лунный парк. В человеке все смутно, отрадно, все в ликованье, полнится близостью дорогого юного существа. А оно, божество это, рядом, над ним, Андреем Болконским; тоже смотрит в седой мудрый парк, отраженным зачарована светом. Безотчетно в такой миг желанье любви... Человек должен любить, должен искать человека, того, кто способен поднять в нем великие глуби, зажечь, озарить на годы всю его жизнь. Угадать, не пройти, озарить — озариться любовью. В наши дни, когда властно железо, когда людей столько, сколько нет в парке листвы, очень важно найти человека, чтобы вместе — рука в руке — высветлить путь себе и другим... Она, конечно, придет сейчас за забытым тютчевским томиком, — трепетная, зачарованная луной, Наташа Ростова. Пусть прочтет, подчеркну ей вот это — самое нужное, важное:

Я встретил вас...

Каблучки затокали неожиданно рядом, по деревянному стоку, я едва успел скрыться в акациях. Обрадовавшись, она взяла тютчевский томик и тут же заметила пометки мои на странице. Улыбнулась. И огляделась. Она была хороша. Серые глаза опушались густыми ресницами, вольные темно-русые волосы ниспадали на плечи и оттеняли светлое платье; и вся она, живая и легкая, была так знакома, привычна, словно видена мною и раньше.

А назавтра я занял пост в акации чуточку раньше и

видел, как уходила она. Оставив — теперь уже, вероятно, нарочно — на скамье тютчевский томик, она протокала каблучками по деревянному стоку и скрылась за поворотом. И вновь этот томик лежал у меня на ладони, вновь держались в нем тонкие запахи, возбуждали былое. Я подчеркнул еще строчку и положил на скамью:

И то же в вас очарованье...

На этот раз она уже не улыбалась. С минуту чутко прислушивалась к гаму мальчишек, гонявших мяч поблизости на стадионе, провожала рассеянным взглядом прохожих и задумчиво смотрела, как догорает на соснах закат.

Наблюдая за нею, я пытался представить всю ее жизнь: босоногое детство, подруг ее, первую, последнюю тайну, и что-то большое и теплое колыхалось в груди моей. На сей раз в оставленном томике было подчеркнуто:

Бывает день, бывает час,
Когда повеет вдруг весною...

Не знаю, но мне показалось тогда от всех этих звуков, от всех этих слов, от органных регистров романса, вдруг вломившихся с силой в меня, очень душно, невозможно доле оставаться в акациях. Я вышел из укрытия своего и побрел куда-то по берегу, по пересохшему гирлу пруда.

Бежит, торопится стежка куда-то за сосновую кладку. Мимо колодчика, мимо шершавого клена, опиленного наподобие головы лося; долго еще лесной зверь следит за мной своим неусыпным зраком. Этот взгляд деревянный, патрон от «мелкашки», найденный у Барсучьей горы, отрезвляют, охлаждают, настораживают меня. Вот она, эта гора, превращенная в тир.

Часть кургана, лицом к тропе, изъязвлена пулями. На макушке плоско и солнечно. Здесь сирень, клен, акации, перевитые хмелем. Дальше спуск к отступившему пруду — хмурый, пологий и влажный. Ни травинки. Деревья с темнеющими стволами и корнями,

словно мангровый лес. Повыше, в комелек серебристого тополя, уходит барсучья нора. Глинистые края еще остры, но чернь входа уже заткана паутиной... И я слышу вдруг выстрелы, чую, как пули впиваются в тело горы; эхо ходит от дерева к дереву, по аллеям, которыми вслед за Андреем Болконским когда-то бродил Лев Толстой, улетает за пруд к той скамейке, к тютчевским строчкам, к Ее белому платью. «Тир. Неужели он нужен именно здесь?»

А назавтра я уже не пришел. Не пришел сюда и через день. А когда пришел —похудевший и строгий, — то не стал забираться в акации: сел на скамью и стал ждать урочного часа. Она подошла мягко, неслышно и стала напротив, и протянула раскрытый тютчевский томик, и, вспыхнув, отвернулась порывисто. Синим горело в нем:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной.

Я взял ладонь ее — она была легка и послушна. Мы шли, и вялые листья стекали у нас по плечам. Сквозили пустоватые клены, в несметных, разноколерных золотах под ногами пышнела земля. И ветер теперь проникал свободней в аллеи и остужал наши лица. В такие минуты кому не захочется показаться талантливым, умным, а у русских — уж так оно есть — все начинается и кончается словом о родине, о будущем края родного, России.

— Вот парк, знатный парк. Сосны, липы и тополя. — Подстраиваясь под нее, перешел я на мелкий шаг. — И знавал я одного садовода, так для него нет лучше дерева, чем, скажем, яблоня. Все другое ему пустяки. Пустяки перед садом целый липовый парк...

— Как это у тургеневского Базарова: не изъясняйтесь слишком красиво. Не надо.

— Зарастает пруд. Видите, вон гирло его затянуло уже тростником, островки примкнули к самому берегу... А в Кочетах заиливает толстовский родник. Редеет гамма тонко подобранных крон в Шестаковском парке, пропадает Воронцовский под Глазуновкой.

— Ну и что, по-вашему, парков теперь не сажают?

— Сажают. Конечно, сажают! Да всегда ли умело?.. Не пора ли, пока они еще целы, всерьез подумать о них, о старинных? Почаще бы обращаться к ним за советом...

Мы шли аллеей близко друг к другу. Иногда, в темноватых местах, она и вовсе придвигалась ко мне, и тогда даже на расстоянии за ее тоненьким ситчиком ощущалось живое тепло. Смотрели на дымящийся пруд, на островные сосны, ловящие стволами закатное солнце, и мне, не остывшему от разговора, все еще воображались липы бело-колодезьские, кочетовские вязы, шестаковские ясени — все деревья парков старинных, от которых, коль глядеть на них снизу, валится шапка: так высоко они встали над нами, и с годами становятся и мощнее и выше — часовые нашей истории, нашей культуры...

— Вы помните? И то же в вас очарованье, — оживляется она. — Что означали тогда для вас эти слова?

Да, у нас с ней, оказывается, уже много общего: этот пруд, эта дымка, эти воспоминания. Почему я тогда подчеркнул эту строчку?

— У вас есть сестра?

— Нет.

— Простите. Значит, вы — это вы?.. Сестра милосердия. Как когда-то Наташа Ростова. Наташа встречала Болконского израненным, уже побывавшим в деле, она...

— Сейчас я, наверно, спасла бы князя Андрея.

— Вы?

— Да, — она улыбнулась просто и нежно и прижала пальцем над ухом тонкую прядку волос. — Я работаю в той вон больничке. Прошу завтра с утра на прием.

— Лучше с вечера, как всегда.

Я поискал губами висок, но нашел тонкие пальцы и прижался к ним — они задрожали и опустились на шею.

— Не надо, — шептала она, глядя в меня большими, потемневшими от волнения глазами. — Не надо.

И сбивалось дыхание: волны вновь и вновь выкатывались на камень, раздвигали сохнущие тростники. И в такт им, скрипя ржавой цепью, поднималась и опускалась легкая плоскодонка. Прислонившись к столетнему дереву, слушал щекой я верховую гулкость ствола, и белое платье переходило в туман, туман — в сизую дымку, дымка растворялась над прудом. А гулкость сгущалась в мелодию, насыщалась словами, звучала бархатным басом Штоколова:

Я встретил вас...

Душе хотелось чего-то большого и сильного, достойного всего этого, такого родного и близкого. Перед глазами проходила Россия — вся в тальнике, полувесенняя, чуткая, когда прекрасные звуки еще закованы в почках, готовые вырваться, пролиться миру зелеными шумами, напомнить тебе, что ты сын своей Родины.

Мы и любим своих россиянок за то, что они нам как часть нашей родины, словно корень ее стержневой. Одни из них вровень с нами — что на ратном кургане, что у огненно-мирных мартенов. Другие, как Ярославны, делят с нами горькую влагу из шелома. А третьи — да каждый по себе отыщет светильник — нам светят всю жизнь и зовут, вдохновляют на доброе.

— Я встретил вас, — сказал я ей, глядя в большие глаза, искренне радуясь, что все былое уступало во мне место надеждам, а значит, и будущему.

Как и во времена Киреевского и Толстого, перед псовой охотой, в слободе перебрехивались собаки-зайчатники, горланили, чуя рассвет, петухи. Первые машины со свеклой полоснули фарами по дремотным вершинам сосен. День начинался.

с. Шаблыкино

Ключ-колодец

Сушь-то какая. В колодцах ведра уже скребутся о дно, речка Хладоструйка и та сошла в теле, показала глазу замшелые камни, прозванные в Ивани «базальтами». Еще так вот подержится, «базальты» и вовсе вымчат на берег, тогда можно по ним, не замочив ноги, перебраться на тот берег, к магазину. А у магазина при закате, известное дело, не заскучаешь. Тот к продавщице Лидии вроде бы за стеклянной «долгоиграющей» конфетой к чаю, этот прямо с трактора мыла-солицы прикупить, просто послушать, что скажут другие. Так и застрянут на час-другой, сидят себе на вольном духу, обсуждают текущий момент.

— Вот Слышун как раз колыхается, — приглядится за речку крючконосый Фрол Парамошкин — мужик острый, себе на уме, непременный член лавочной комиссии при сельпо. — Вот он всем нам и изъяснит с точки зрения мастера по колодцам... Эй, Иван Иваныч! Тут вопрос у нас, обсуждение: что содеялось с нашей природой, с рекой, например, Хладоструйкой? Жилу, что ли, где оборвало?

— Некогда мне тут с вами керосиниться, — ответит подошедший, но все же присядет, пристроит к «базальту» свою деревянную ногу, задумается.

Росту Иван Иваныч Корнеев не гвардейского, но и не малого. Молодые глаза, срезая годы, не пускают за пятьдесят. Рыжеватая борода, начинаясь прямо от глаз, остепеняет вид, делает его серьезнее и тяжелее.

— Так-то оно, мужики, так, — наконец скажет Иван Иваныч. — Шахты, рассуждаю, в Серодворске копают, воду тем и осаживают. А потом ее оттуда, сподизу, насосами, в речку, и в ненадобность. Там аукнется, тут, братишки, откликнется... А то вот в Ташкенте, там, понимаешь, наоборот: там воду в гору тянут, чтоб сверху на землю бросалась. Просо после того вымахивает толщиною в оглоблю. Во культура!



— Ты даешь, ха-ха-ха, — зарегочут, схватятся за живот мужики.

— Да ну вас, — намахнется Иван Иваныч на них так, без всякого сердца, и пойдет, заскрипит дальше своею дорогой. А чего на них обижаться. Ну гробануло ему, матросу первой статьи, колено под Севастополем. Ну отсобачил ногу хирург по самое основание. Так и сосед Сергей Никодимыч, да и бригадир Артем Кириллыч, да и на почте Антон Коровушкин тоже все в дырьях, в осколках ребята. У одного пуля где-то под сердцем, у другого — в костях. А как крутят, как крутят к срыву погоды солдатские раны...

Вот сухмень окаянная. Соку не стало в земле. Пригнал новый председатель машину такую: скважины пробуривать для фермы. Весь Пролетный Верх исчесали, истыкали кротовыми норьями, чуть ли не на коленях исползали — были на Пролетном колодцы, да сплыли, не будет, нету сока в земле... Много ль теперь ему дела — знай, шевелись себе по двору, сараюшку Дарья как раз наказала приладить; только нет, тянет думками к ферме. Да и как не тянуть: сколько жизни ей отдано, сколько всего. Как приехал из госпиталя — куда бы мотнуться? А везде пусто-голо. Бабы одни. Хоть убейся, а иди, колченогий, справляйся, маракуй по технической и по плотницкой. На пузе по бревнам елозил, в воду брякался, откачают бабы и снова на мост. Жить селом начинали со связки, с моста, а то как бы и жить. Нет, не та у него теперь силушка, что тогда, до войны, когда на своем ходу -- в два прицопа-притопа, полнозубый и хохотливый, завербовался он в город Ташкент, но все же... Когда подпришли с фронтов мужики, приставили его кормовозом к ферме. Нагляделся, спаси да помилуй. Коровы, бывало, уже с ползимы на веревках. Оно и верно, кормочку было внатруску, да если б его все не мимо, не мимо, а в общее дело. Не вытерпел, согласился заведующим фермой. Кой-кому его новая должность пошла, как кость в горло. Он и в

Тюлькино поле, к гречишным скирдам, не поленится сбегать, и в Сумцах не осквернится в клевера рукой пхнуть, не загорелись ли. Намыкается, пока где-нибудь по пути не завалится: лога вроде бы круче стали треклятые да километры длиннее.

Бежит к дойке на ферму, а Дарья Крутилина — востра баба:

— Вон скурлык, скурлык, липовая нога снова по нашему адресату... Ты бы, Корнеев, дома за лавку, что ли, на момент зацепился — не даст клока унести.

А он только взглянет на нее, Дарья после говорила, как перепел протащится с перебитым крылом, сердце у нее так и отвалится. Да и правда, какой же там дом, когда нету никакого дома у человека: всех у него под корень каратели в Стылых оврагах... Пожалела Дарья по-вдовьи и себя и его. Так и жили какой уже год, рядком да ладком. Завели сына Володьку. Пробовала поначалу наладить самого на кормок: вон, мол, Гришка Ермолкин тоже, гляди, ветеран и ноги в лютых битвах с врагом не потерял, а гляди, как живет, но качнулся он тогда от нее вгорячах без своей деревянной упряжки и упал у стола на культю, застонал, так что холодом ее окатило. Да сгори оно все, пусть у них будет, как у людей, много ль надо.

Так и жили, крутились день-деньской оба на ферме, пока на культе у него по рубцам не нарвали свищи и врачи не определили его на бессрочную увольнительную. Подлечившись, чтоб не сидеть без трудов, потому как срамно от людей и к голове чернота прибывает, вспомнил он свое старое дело — колодцы. Как бывало в мальцах с отцом, стал ходить местами привычными, по поселкам и деревням, хуторам — ладить людям колодцы, давать людям питье. Больше чистил, какой с деревягой работник?

На низы и не звали. Зачем? Там известно: взял на штык — тут тебе и вода. Его вотчина — селенья высокие, колодцы глубокие, понимать надо — Среднерус-

ская возвышенность. Сами в таких селеньях за колодцы брались кой-когда, но — копай не копай — редко кому ловилась водица. «Слышуна, — старики скажут, — нужно позвать». И пошлют за Иваном Ивановичем. А он, что ж, придет, посидит — покалякает, перекурит с мужичками махорочки, поскрипит на своей липовой ноге до околицы, обглядит да обстукает лога и овраги. Облюбует местечко, приложится ухом — слушает и размышляет, как и что там внутри Земли деется — хлюпает ай не хлюпает, живо или мертво без движения влаги. Все нутро разверзается ему, словно переслоенный маком пирог, который матушка испекала, бывало, к отцову дню ангела — на Ивана Купалу. Вся земная глыбь сообщает ему, куда и какие идут горизонты, какие из них держат твердью своей ту желанную воду и куда та вода истекает уклонами, где тут ближние к уху сломы. Можно дать ведь любую воду — ядовито-соленую, тухлую, горькую, желтую, на зубах хрусткую. А постараться, подойти с уваженьем к народу — такую, что не оторвешься, особо в жару; в зубах звенит и сахаром в мягкотелое небо кидается, картошку суглинистую в вареве разлохматит, три хворостинки на голове при мытье раскудрявит. «Копайте здесь», — скажет Слышун и как в воду глянет.

А тут, в своей-то деревне, без него решили. Известное дело, — в своей. Пригнал председатель машину с буром, бур, мол, черта пропорет, просквозит до самой Америки. Да что бур без ума? Так, неодушевленная тварь, только зря камень грызть. Он, Иван Иванович, не гордый, не позвали — сам наведается; председатель — молоденький, мало обстуканный, а земля на Пролетном Верху всегдашняя, землю жалко.

Так в думах, размышлениях продолжает Иван Иваныч свой путь на Пролетный Верх. Место это высокое, знатное, словно магнит: молнии в грозу сюда так и нижут, журавль перелетный, на что любит поймы, а и тот опустится рядом, на болотистом блюдце, чтобы с

высей озирать речную долину, все поля и деревни, перелески до самых сине-серебряных далей.

Под рябиной, в тени, стоит вездеход. Тот самый, с буром. Сапоги торчат из-под прицепа, накрытого брезентом: сапожищи! Да, нарыто, и все в бесполезность. А вот в этой ройке вода быть должна. Ну, конечно. А пусто: загадка... Иван Иваныч начинает зорче осматривать местность, спускается ниже, к Журавлиному блюдцу. Затем, неловко сползая с кручи, проглядывает сочащийся берег. Кряхтя, снимает штаны, лезет в колючую воду, и уже в речке отстегивает свою деревяшку, сует и сует ее в одному ему видимое тело ключа, узнавая его направление. Все нынче перемешалось: вода и та иные пути себе ищет. Пойми ее... Он поднимается снова в гору, снова стоит в размышлении. Отсюда вот лопухи пошли книзу жирной грядкой, пополз к речке шиповник.

— А ну, парень, проснись, на закате спать вредно... Копни вот тут, — толкает сапожищи Иван Иваныч. — Копни, говорю.

— Отвали, дядя, — равнодушно отзывается голос из-под прицепа. — Отвали, не нервируй.

— Копни, парень, — присаживается, вытягивая перед собой деревяшку, Иван Иваныч. — Копни шворнем своим.

— Я те копну, — вылезает наконец из-под прицепа белобрысый парнишка с перепачканными руками, в гимнастерке со следами погон. — Ходят тут всякие, а тут, может, военная техника, военный объект.

— Дура ты, — обижается Иван Иваныч, — а еще недавно, видать, отслуженный. Да у меня самого такой, как ты, сын на подлодке...

Парень перегнал машину пониже. Настроил ее. Уперев железные жерди в грунт, полез в землю вращением штанги. Силился так и этак мотором — замолк.

— Пусто, — подошел он к Ивану Иванычу и вдруг озлился: — А ну ее к такой теще-маменьке! Уезжаю отсюда.

— Как? — взволновался Иван Иваныч. — А ферма?

— Что у меня, других нет деревень? Торчать тут, уезжаю...

Наутро, пока Дарья на ферме, Иван Иваныч, погрузив па тележку шанцевый инструмент, отправляется на Пролетный Верх. На душе тягость какая-то, грузность, словно дурное предчувствие... Это тебе, Корнеев, не ремонтировать-чистить колодцы для освежения вод, заново — дело серьезное. А тут глубина — метров, пожалуй, на двадцать пять... А этот птенец говорит, военный объект. Еще бы, не военный. Потому надо дать воду ферме, и баста. А то и водопровод на деревню отсюда. В «Сельхозтехнику», слышалось, вроде прислали трубы. То-то бы дело, облегчение люду...

Дерн свалился легко, потом пошла осохшая глина. К девяти подъехала буровая машина. Вчерашний парень высунулся из кабины, сказал огорченно:

— Все, дядя, я тебе не помощник. Полетел кривошип.

— Где танк не взял, — махнул лопатой Иван Иваныч, — пехота попробует. Плывуны, должно, — забивает...

Паренек вышел из кабины, оглядел корнеевскую затею, улыбнулся, похмыкал, посидел, повздыхал — принес свою шоферскую лопату, молча начал откидывать землю.

Парнишка оказался ничего, сходный — белорус из-под Пинска, а сюда прикатил по причине: женился тут на одной из Ребровки. В его краях на сушь не обижаются, землю роют, наоборот, чтобы воду дальше спроваживать.

Съездили с парнишкой до хаты. Иван Иваныч покрутил-покрутил да и швырнул в прицеп дубки, припасенные на сарайчик под уголь. На Пролетном их располовинил на плахи, расшил деревом стенки — углубились еще метра на полтора.

И лихо же работали. Дня за два махнули вдвоем метров шесть. Иван Иваныч уходил в землю все глуб-

же, закаты все жиже проникали в темный квадрат.

Корнеев брал грунт где лопатой, где ломом, грузил в поросячью лоханку, приспособленную под бадью, и, дернув за веревку, ждал, когда вверху Виктор начнет качать ворот, и тогда все там заскрипит, заходит ходуном, и приятное томление обольет Ивану Ивановичу на минуту усталое тело, и, отдыхая, он резче учует крепкий глинистый дух, а плечи ощутят сырую земную прохладу. Сколько раз порывался Виктор сменить его, да какое: Иван Иваныч не доверял... «А вдруг жила где рядом ай сбоку, а ты не услышишь, — отговаривал он каждый раз. — Прорвет, и затонешь еще. Вода — дело тонкое, ее надо слышать да слышать...»

А воды все не было.

Слухи шли по Ивани. «Слышун землю хочет пронзить, — разъяснял всем на «базальтах» в перерывах между ревизиями Фрол Парамошкин. — Лесу уже на расшив не хватает, начал сарай свой разламывать». И однажды в числе прочих любознателей явился к Корнеевой яме с двумя чурбаками. Легли в дело и парамошкинские лесины и те, что приносили под мышкой Артем Кириллыч, и Антон Коровушкин, и другие. Нашлись такие, что взялись отволакивать в сторону щебень да глину.

А жилы все не было. «Может, ее по бутылкам в городе того... поразлили, — выступал на «базальтах» Фрол Парамошкин. — А может, Слышун оглох в бухгалтерию земную вникать».

Иван Иваныч входил в раж. Сомнения порою смущали его, но он знал одно: надо идти и идти, с натиском, без ослабления, и заглушал ослабление сильной работой. Должна быть, куда она денется, по всем знакам должна. Глина, камень, опять глина. Пошел сухой, зыбучий песок. С полчаса Иван Иваныч сидел в нерешительности. А сверху уже наклонялись, кричали, дергали за веревку.

Он ставил теперь расшивку из целиковых бревен,

двигался дальше, и голоса наверху были ему не так уже явственны, в квадрат над головой едва вмещались первые звезды.

За зыбуном пошла снова глина. Сырая, резаться стала, как масло. За тугим глиняным маслом — опять песок. Огрузнел, отволг, на совок ложится блином...

Сегодня Иван Иваныч собирался на Пролетный Верх, словно на праздник. Сменил белье, надел новую, расшитую петухами рубаху, которую Дарья еще с вечера привела в твердую хрусткость и ослепительную белизну. Он шел с Дарьюшкой по деревне с гордо поднятой головой, как ходят уважающие себя люди, которым есть за что себя уважать, и каждый встречный оборачивался и, оглядывая Корнеевых с тылу, туго перегонял по памяти всякое, соображал что и к чему, праздник сегодня какой или так.

Долго стоял Иван Иваныч на Пролетном Верху, долго, тягуче окидывал оком хозяйским моткую Хладоструйку — всю от окон истечения до сине-туманных далей, не кончающихся за горизонтом. «С холминкой он нынче какой-то, чудной», — толкнулось было в груди у Дарьи, но тут же вытеснилось заботой о предстоящем. Накручивая веревку на ворот, она таскала бадью за бадьей, думая об Иване, ставя его против многих, тихо радуясь им за его жизненную бессребренность, нужную пользительность всем, общую здравость чувств и рассудка. Песку в бадье между тем становилось все меньше, а вес его тот же.

В яме что-то разом вдруг треснуло, гэхнуло, дрогнула под ногами земля. Шибанувшим из ямины воздухом Дарью отбросило в сторону. Она кинулась к вороту: дно было близко. Бревна торчком городились в песке-зыбуне, еще свиристевшем из обваленных стенок. «Господи, да что же это?», — остро и тонко замлелось в ней, и ноги опустили ее в беспамятстве наземь.

Прошло время. Переполох из Ивани перекинулся дальше. Где-то суетились и что-то решали, а она все

сидела у провала, поглотившего человека — ее Ваню, Ивана Иваныча, тускло глядя в песок, не слыша ни людских бессловесных вздохов, ни утешений. Вдруг ей почудился его, Ванин, голос.

— Дарьюшка, — тянуло к ней из обвала.

Песок в одном месте пришел в движение, засвиристел по-сусличьи.

— Живой, — вздохнула она.

Зыбун, нажавший на плахи и вышибивший их из стен, так что плахи легли друг другу наперекрест, навалился сверху и наглухо отрезал Ивана Ивановича от всего мира. Сначала он растерялся, как сидел, так и остался сидеть на бадье. Прошло время, пока мысли не собрались в какую-то тугость и ясность. Попробовал тронуть плахи над головой, песок засвистел, заструился за воротник, плахи качнулись — он отдернул руку от них, как от огня.

Сел снова, начал соображать. То обливаясь потом, то холодея, отыскал пальцами твердость между лесинами и, раздвигая края ее, начал проделывать щель. Дышать стало легче. Он смог расширить щель так, что различал лица, жадно вслушивался в то, что творилось там, наверху. Подъехал председателев «козлик», загомонили наперебой голоса:

— В район надо... боковое бурение... боковую проходку...

Слова давали надежду. «Ничего, должны выручить, — усмирял он дрожание в пальцах. — Внукам еще буду досказывать, как и что было».

Приходила Викторова «бестарка». Еще одна, из райцентра. Пробовали бурить и рядом, и в боковую. Да что бур, человека надо вытаскивать! Начали боковую проходку, прокладывая галерею.

От всеобщего колыхания песок начинал опять свиристеть Ивану Ивановичу на голову, и тогда он принимался кричать, дергать веревку, слать наверх в котелке ругательные записки.

— Говорю, из метра надо технику, из Москвы, — суетился Фрол Парамошкин. В эти дни он осекся лицом, пригорбатился, Дарью обходил за версту, словно чуял за собой перед нею вину. — Морозилку из метра такую, стенки ею скреплять, чтоб не плыли.

Ему не возражали, надеялись: морозилка — дело великое, вон метро какое с ней выперли, не такое видала. Потом все угомонилось — ждали комиссию. Но отец Парамошкина — шаткий на ноги, древний старик — так прямо и брякнул всем, что комиссия та не управится, что Ивану осталось жить дня три. И Иван Иванович притих, успокоился, приглушил струнный звон в теле, чтоб не сводило всего в затверженную крепь, стал приучать себя мыслью, что, быть может, придется — да всяко может — тут и остаться навеки.

Каждый в Ивани теперь норовил проведать его. Шли прямо с поля и с фермы, после поездки на станцию. Он уловил в тоне всех разговоров небывалую прежде сочувственность, вкрадчивость, как разговаривал сам в диспансере с покойным уж дядей Егором, и вконец утвердился мыслью, что дела его плохи. «А то, ради чего принимаю здесь смерть, так и не сдвинулось, — заходило в сердце и разум. — Помрешь вот, а после тебя что останется? Так, одна яма да едучая жалкость, что был, дескать, коптитель небес, вроде как человек. Мечтал о хорошем для всех, о протяжности жизни, ради того на Сапун-гору, на пулеметы ходил. А когда, мол, еще круче крутнуло, тут и все, в сторону. Лихо, брат, помирать? Лихо, и особенно так, в одиночестве. Перед ней, пустоглазой, все одинаковы — и бригадиры, и просто... Врешь, не все! — туже стягивал он желваки. Крика из меня, боевого матроса, косая, не выжмешь. Помирают тоже по-разному. Уходить надо пристойно, не скорбея душой, выставлять здесь все, что нажил. Что с собой возьмешь и куда? Нету там ничего — пустота, все, что было, все тут, с моей Иванью, с людьми. Вместе праздновали и горевали, хаты ладили и мосты,

распинались до хруста, нажимали на планы... А теперь сосед Сергей Никодимыч, председатель наш деревенский, только вычеркнет тебя из своих красных списков, и сельчане на собрании, коль достойно убыл, перед прахом твоим скинут шапки...»

Дарья являлась на Пролетный Верх прямо с утра, в черном платке, до сипа кричала в бучило:

— Ванюшка, милый, из Москвы, из метра, машину волокут — потерпи... Хочешь в Акинтьево сбегаю, попа позову?

— Нет, — глухо слышалось из-под земли и обрывалось на слове: — Нет!..

— Господи, — кидалась Дарья на землю, — да за что же такое мне, Господи!

Ему еще надо было пожить. Не мог он умереть просто так, не закончив работы. Знобило. Голова и все тело пылали огнем, а он все копал, углублял котелком песок, перекачивая его из одного в другой угол. Три угла уже обошел, оставался последний. Должна же она быть где-то рядом, должна! За те муки, за долю, которую он принимает. Он натуживался, вспоминая расположение углов по отношению к предметам поверхности. Последний выходил, получалось, в рябину, в ту самую, где стояла тогда в тени Викторова «бестарка».

Он разгребал этот угол, затухая чувствами, пугаясь и его бесполезности, зряшности. Под рукой отсырело, захолодало. Его ударил озноб. Попрыгал для сугрева, сжался весь, втянул голову в плечи, копнул еще раз. И вдруг под ним что-то всхлипнуло, засосало, зачмокало — ногу обожгло ледяной струей: жила, родимая жила!

Когда вверху послышался голос Виктора, он, уже стоя в воде по колено, начал кричать ему, где надо бурить.

— Понял, — шумел в ответ Виктор, — все понял, дядь Вань.

А он все рассказывал, ослабляясь и вновь набирая

голос, торопясь и захлебываясь от торопливости, отдавая все, что было известно ему, — и свое, и отцово: по каким признакам ищут водицу, какой звук имеют пустые и полные горизонты...

На Пролетный Верх из Ивани вели теперь хоженые тропинки. Шли по ним сюда и из других деревень, куда докатился слух о человеке, заживо погребенном в колодце, но который живет, не сдается, все ищет какую-то воду.

Бучило теперь молчало. Оно молчало и тогда, когда пьяным к нему притащился небритый, козлобородый Фрол Парамошкин.

— Слышун, ты меня слышишь? — наклонился он вниз и плакался, туго провертывая языком: — Сними с души камень, сними ради бога. Ведь пожалел, зажал тогда я лесок — гнилушки подсунул, вот оно и... Не мучь меня, Иван Иваныч, сними...

А вечером, вызванный по телеграмме, приехал с флота Владимир — Корнеева сын. С ним на Пролетный Верх и пришли ветераны. В бушлатах и гимнастерках, пахнущих нафталином, в орденах и медалях. Вспомнили, что на днях будет День Военно-Морского Флота, что Иван Иваныч тоже ведь моряк. Нашлось и в степной Ивани немало бывших матросов — тихоокеанских, черноморских, балтийских, нашлись просто солдаты. Налили по полной без различия рангов, и тогда встал сосед корнеевский Сергей Никодимыч, поднял рюмку и крикнул в бучило:

— Пьем за тебя, Иван Корнеев, — российский матрос и настоящий ты человек. Потому как не осрамил, понимаешь... не опустил ты флотского флага... И доказал всем своим смыслом, что главное у нас — сила духа и все для людей... И детям, и внукам своим закажу, чтобы вечно чтили тебя, сосед. За жизнь твою долгую, в людях...

Голос Сергея Никодимыча осел звуком, щека передернулась, он крутнулся в сторону.

— Слышишь нас, батьку? — крикнул, перехлестнувшись в бучило, Владимир.

— Слышу, сынку, слышу-у-у... — показалось им, словно эхо выдохнулось из земли, и песок засвиристел в черную щель.

Выпили за погибших на всех фронтах, какие были, за то, чтобы не было больше фронтов. Плакал Володька — Корнеев сынок, лейтенант военного флота. Кто-то тонко тронул давнишнюю горько-соленую песню:

Раскинулось море широко...

Прибавились голоса погрузнее. И Ивань внизу, перевитая Хладоструйкой, все топившей, но так и не утопившей в себе месяц, звезды и белые фонари на столбах, отзывалась молчанием. Песня о кочегаре утекала за повороты и дальше, дальше — по селам и деревням, до смыкания речки с многоводием Дона, до самого Черного моря.

...Теперь на ферме автопоилки. Нажал на железку — хлебай родниковую, ключевую, студеную. А весной сюда доставили водопроводные трубы и саженцы. Всем гужом на Пролетный Верх вышли с лопатами. Хотели прибить дощечку, что парк, мол, имени Ивана Ивановича, да решили: зачем она, и так всем известно. И шумят с того времени на Пролетном Верху ясени и дубки, тянут воду корнями из материка, набираются дерева, чтоб в щедротах своих золотеющих, лиственных принимать всякой осенью пролетающих журавлей.

с. Дубовик

Перепелиное поле

Сегодня дядька Михей не миновал бригадного дома, где после наряда обычно политиковали на крыльце мужики.

Боком-боком проходит он к завалявшейся на земле кабине от дизеля, присаживается и, отмечая свое появление, говорит несмело, как-то вполголоса:

— А солнце-то... к ветру, гляди-ко, а?

Никто не замечает дядьки Михея, никто и не отвечает ему.

— А солнце-то... к ветру, должно, — безнадежно вздыхает дядька Михей н вновь замолкает. Не любитель он лиших слов, все молчит меж людьми, молчит и дома женке, даже когда ругает его тетка Наталья. А все за одно:

— Экий детина, а нраву-то птичьего. Другой такой, верстовой да с медалями, кладовщиком ай учетчиком был бы...

А дядька Михей на «портфель» не зарится. Есть работа — ходит зимой по наряду, нету — сидит себе под окном, вырезает из липовых плашек всякие виноградy да птах, ночами просиживает, бьется, чтоб выходили у него, как живые, а после возьмет и раздаст на потеху мальчишкам.

Кличут его на деревне Блаженным, потому как идет, бывало, по улице, поднимет кленовый листок и стоит с ним хоть полчаса, а то и весь час, все вертит, глядит да разглядывает, пока не загремит сзади телега или машина, тогда положит в карман тот самый лист и пойдет, куда вздумается. А летами, вот уже третий сезон, дядька Михей ездит лафетчиком с Волвенкиным Минькой, косит с Минькой хлеба...

Дядька Михей встает с кабины от дизеля.

— Ты, гляди, завтра пораньше, — шумит ему Минька в спину. — Завтра, бригадир сказал, на Перепелиное поле. Пашаничку будем на свал.

— Да уж само собой, — оборачивается дядька Михей, и вскоре его выцветшая рубаха теряется в густеющих сумерках.

Он идет по просторному лугу, к речке. Веснами вода из Непрядвы затопляет округу и держится почти до Троицы, оттого Жирный луг так и дышит под каждым шагом, вычвиркивает стоялой водой. Но нынче лето сухое до лютости: солнце выпило влагу, в проволоку выдубило траву, и дядька Михей унюхивает едкую пыль, поднимаемую ботинками, догадывается, что даже у речки не выпала сегодня роса. Он глядит на тот берег — там Перепелиное поле.

Здесь, у речки, к першистому запаху пыли добавляется прелая горечь ивы, тины и осклизлых голышей, слабо слышится пресноватый запах пшеницы с Перепелиного поля. А может, и не пшеницы? Какой уж и дух у нее, коль еще не дозрела? А завтра на свал. Известно: скорее дойдет в валках... А помнишь, Михейко, там, где теперь это поле, шумел, заходил языком укосистый луг? Помнишь, когда поспевала трава, с косами сюда высыпала деревня, и батя брал с собою тебя, малолетку, и шел ты следом с граблями, захлебываясь в восторге, оттого что так ходко, в свободном замахе, ходила отцова коса и за сверкающей пяткой ложилась с подхрустом сизо-голубая трава? Главная трава, луговая трава! Такую траву, говаривал батя, корова жует — глаза жмурит, с мечтой, значит, ест. А кругом по лугу бабьи платки, а из-под ног перепела порх-перепорх, один за другим — молодые, неоперенные. А коли встречалось гнездо, так батя обкашивал, потому как гнездо разорить — значило, накликать беду.

Пока все скосят, высушат, сгребут да сметают в стога — глядь, а перепелята и окрепли. Лишь в память о них — голый луг в шапках-рябях, шелестят те ряби переспелой травой аж до снега...

Урожайный был луг. Да и поле на нем не хуже. Года росла кукуруза, а сегодня пшеничка. Где замо-

рыш, а на Перепелином — стена, на круг центнеров этак под двадцать.

«Ну да утро вечера мудренее, — зевает дядька Михей. — Завтра увидим поближе». И идет, успокоенный, к своей хате под соломенной крышей, приткнувшейся за оврагом у студеных ключей.

А на рассвете что-то словно толкнуло в сердце дядьку Михея, он приподнялся и снова услышал в себе глуховатую боль, как тогда, после госпиталя, в сорок четвертом.

— Фу, леший, — мотнул он пудовой ото сна головой.

— Чего тебе? — встрепенулась тетка Наталья.

— Да так, что-то тяжко... Ты спи.

— Повременил бы, Михеюшко, в поле-то. Постерегся б с сердечком. Гляди, какой ты... пергаментный.

— У нас, Натальюшка, у Гриневых, все гонкие. Пойду я. На людях полегше, и от работы, само собой, пупок не развяжется.

Он вышел во двор.

Гриневка еще спала. Петухи и те не орали. Не шелестела листва. Где-то, наверно на тракторном стане, били о железо железом, и одиночные звоны текли по деревне, висели над гулким шифером, тонули в соломенных крышах.

Постепенно на полевой стан сходился народ. Волвенкин охаживал дизель, гладил ладонью свежие вмятины — видно, ночью опять ездил к Дуньке в соседнюю Выпренку.

— А ну, давай сюда краску, — хмуро бросил он дядьке Михею.

Согнувшись, дядька Михей потащился в кладовку к Ермилычу. Вернулся с банкой.

— Чего принес-то?! — озлился вдруг Минька. — Не зеленка, гляди, а... а...

— Бери, какую дают,— вышел из кладовки Ермилыч, степенный бородатый старик. — Распоясался! Андрианыч тебе, сопляку, аж два раза батька, а все утро матерщины, гляжу, не прохлебывает.

Обида застлала глаза дядьке Михею. Присел он на камень, вытер пот со лба рукавом. «Вот стервец, этот Минька, Дашки Криковой сын, вот стервец! Ну, не сладил со своей кралей выпренской, так зачем же бока ломать дизелю и его, Андрианыча, так вот?»

Наконец выехали. Вот и Перепелиное поле.

«Эх, поле, поле, хлебушко ты наш пашаничный. Поднялся бы с погоста батька да глянул, как идет сюда Михей Андрианов не с сохой да косой — с железной техникой. Ишь жеребчина, Минькин-то дизель, черта своротит».

Прет и прет Минькин трактор, скачет за ним стрекотливая жатка, а вбок так и валит яровое со слабою просинью. Ничего, полежит на припеке, прожарится, тогда и запахнет хлебом.

«Ловко это выходит у Миньки, — мелькает у дядьки Михея, — здоров, идол, работать. Не валки ложит, а струны... Эх, кабы тебе такую бумагу-диплом, как Миньке! Кабы скинуть с тебя, Михей Андрияныч, годков тридцать пять...»

Солнце, едва показавшись, укуталось в сизое, светит, словно сквозь молоко. Дрожит в мареве кромка леса. Качает дядьку Михея на шатком лафете; от жары в глазах синие, желтые, зеленые кровавые кольца и щекотно в носу. Тянет в тяжкую дрему. Дядька Михей вскидывает голову и замечает, как в гущу, в нетронутый край, увернувшись от стальных челюстей, шмыгнул рябоватый комок. И еще комок. Потом третий. Зубья сбросили вбок перевитый пучок травы. А под ним — углубление. Никак, гнездо перепелкино? Ну, конечно, ее — перепелкино!

— Стой! — задергал сигнальный провод дядька Михей. — Стой, говорю!

— Ты что? — высунулся из кабины распаренный Минька.

— Гляди, чего делаем. Гнезда давим.

— Тьфу ты! — плюнул с досады Минька. — Нынче,

кость на кость, итоги за пятидневку. Премию и флажок соответственно. А ты мозги тут коптишь. А ну, живее на жатку!

И снова прет Минькин дизель, прыгает на шатком лафете дядька Михей.

А на другом конце, через свежий овраг, надвое разрезавший Перепелиное поле, ходит агафоновский трактор, тоже с лафетом, тоже валит пшеницу. Минька весь извертелся: то и дело взглядывает на Агафонова, верно, прикидывает свои и его гектары. Круг за кругом, все ближе к середке. Вот уж всего гребешок не дострижен — камнем перешвырнуть. Взмыкались куцые перепела, так и снуют по пшенице. Взлетел один, прошумел крыльями, плюхнулся в жнивье, прижался к земле. Прошли жаткой еще раз. И тут в кромке дядька Михей увидел светло-бурые маковки. Никак перепелята? Вытянулись, водят головками, осматриваются. А жатка еще одну ходку. И нет уже в помине татарника, перепелята ушли под колосья, а сзади глазеет пустое поле. А дизель все ближе...

— Стой! — дергает что есть духу сигнальный провод дядька Михей. А дизель все прет. Сейчас — хрясь! и конец. Дядька Михей скатывается с лафета и, припадая на замлевшую ногу, бросается вперед, настигает трактор. Только б успеть! Вон уж рябые маковки.

Обежав агрегат, дядька Михей кулем валится в хлеб. В какой-то миг успевает почуять и колкость жнивья, и сухость земли, и вперившиеся в затылок черные бусинки глаз.

Лязгнув, гусеница замирает перед самой коленкой. Из кабины высовывается Минька, побелевший от злости.

— Ах ты, стервь хромоногая!

Поднимается дядька Михей, страшный — выхватывает рукоятку, идет на трактор, надвигается, словно на танк:

— Уходи, гад, убью!

— Да ты что, ты что? — пугается Минька. — Ай

сдурел? — И щурит в притворной улыбке свои монгольские глаза. — Да мы тихо-мирно, да мы разве нелюди. — И помогает дядьке Михею собирать в картуз застывших от страха, слабо встряхивающихся птенцов.

Потом дядька Михей несет их километра за два, аж до леска, чудом выжившего в войну, выпускает под старой березой, иссеченной осколками.

— Кш, кш, — словно кур, отгоняет их дядька Михей. — Тут-то вам поспокойнее, тут вольготнее. Живите покудова.

Он вытирает изнанкою картуза отсыревший лоб, с незагорелой молочной полоской у самых волос, и стоит так с минуту.

Вдруг что-то острее, чем шилом, вновь пронзает дядькину грудь. Он лезет под рубаху: там под ладонью, словно испуганный перепел, мечется дядькино сердце. Он в бессилии опускается под березу. Сидит и гладит потрескавшуюся бересту, тоскливо думает, что зря не послушался женки, надо было хоть денек отлежаться. И жаль себя становится дядьке Михею за все: за то, что второй уже год не едет домой на побывку младший сын-офицер, за то, что от старшего третью неделю ни слуху ни духу; улетели перепелята, забыли их с Натальюшкой. Оно, конечно, у каждого своих забот выше горла: жизнь-то какая нынче пошла колготная...

Дядька Михей достает из пистона пузырек с валидолом, вытряхивает на ладонь оттуда таблетку и, запрокинувшись, швыряет ее под язык.

Боль по капельке затихает, но стесненность в груди остается.

Выйдя из лесу, дядька Михей видит поодаль Перепелиное поле, а в поле замерший Минькин трактор. Еще дальше за свежим оврагом — агафоновский.

Сворачивает к нему. «Ишь, тоже с лафетом, тоже косит на свал».

Он поспешает. Ноги так и несут, а сердце — что треснутый колокол: бухает с перебоями. Когда вовсе невмочь, дядька Михей останавливается, пережидает: воздух горяч, хватанул бы, да что там. А за Каменкой уже синие молнии, так и рвут блеклое небо.

Когда дядька Михей подбежал к агафоновскому агрегату, все уже было кончено: в последних валках солома-колосья перемешались с кровью и перьями. Дядька Михей бессильно опустился на землю.

— Что ж ты, Иван Тимофеич? Ай не видал, что ли, перепелов?

— Перепелов-то? — переспросил Иван Тимофеевич, продолжая копаться в моторе. — Ах, чертушка! — сбил он отверткою палец. — У меня так: коси, люба-голуба, покудова косится.

— Перепелов, говорю, зачем порубил?!

— Ну, порубил! — повернулся к нему Агафонов. — Не играться, люба-голуба, приехал. Работать, как говорится, строить и созидать. — И замахал кому-то рукой.

Дядька Михей обернулся: из кукурузы выкатывались шустрые шарики — весь агафоновский выводок.

— Вон их, Михей Андрианов, — подобрев, сказал Агафонов, — как понимаешь, кормить и поить нужно. Некогда прохлаждаться.

Гуськом подошли агафоновцы — мал мала меньше, все чернявые, в Марью. Притащили обед. Агафонов расстелил свежую тряпицу, степенно нарезал хлеба и сала, поставил чашку с малосольными огурцами. Ребятишки зорко следили за батькиными руками.

— А ну, садись, братва, да живей! — скомандовал Агафонов. Все пятеро разом потянулись за салом. — Садись и ты, Андрияныч.

— Да ну-у. Я чего-то так... устал, Тимофеич.

— Садись, садись. За этой работой не измотаешься.

Дядька Михей и впрямь чувствовал себя усталым. Хотел было изложить Тимофеичу все по порядку, рассказать, как отец выходил с косою на жито обычно

попозже, к тем дням перепел успевал опериться, от косы мог уйти. Хотел пожаловаться, что теперь вот нету перепелам никакого спасения, особо когда стали валить на свал недозрелое жито, что перепел не агрономовы карты, не приспособился, за то и пропадает, скоро от Перепелиного поля останется только название! Многое хотел сказать Агафонову дядька Михей, да, передумав, махнул рукою: Тимофеич, гляди, не маленький, и без того разумеет...

А к вечеру в доме бригады подводили итоги. В комнате столбилось от курева, пахло соляркой и хлебом.

Приезжий корреспондент крутился вокруг Агафонова, снимал его у окна и у печки, даже ставил на стул, заставлял вертеть головой так и этак. Всегда чинный, спокойный, Агафонов непривычно таращился, лицо делалось чужим, костенелым: беспокойный корреспондент отдувался, вытирался платком, опять начинал вертеть Агафонова.

— Да ты его кверху ногами, — пересмеивались механизаторы.

— Я попрошу, — встал за столом бригадир Ампилогов, — попрошу тишину. Тихо! — и застучал тяжелым, словно чугунным, ногтем по пустому графину.

— Сперва налей, — брякнул было Минька Волвенкин, но его тут же одернули. Сделалось тихо.

— Товарищи! — резанул рукой Ампилогов табачный воздух. — Лучше всех в пятидневке поработал механизатор Иван Тимофеевич Агафонов... Ему, значит, по решению правления, — агроном, сидящий рядом, закивал головой, — ему, значит, это... премия и флажок. Пущай сам тут расскажет, как он дошел до такой замечательной жизни.

— Валяй, даем согласие, — задвигались механизаторы.

— А что я... конечно, — поднявшись к деревянной трибуне, смущенно начал Иван Тимофеевич. — А ничего я, конечно, такого. Вон Минька Волвенкин... У

него трактор новый и сам молодой. Он может — а что? — и на орден. Верно, да?

— Крой, крой, — поддержали в первом ряду. — Верно, Минька все может.

— Четыре дня он шел... значит, стало быть, первым. — Иван Тимофеевич обрадовался, напав на нужную жилу. — А нынче, скажу, полдня простоял. А почему? Рази он виноват? Пока, значит, Андрияныч, напарник его, перепелов собирал по полю.

— Как?! — задвигались сзади. — В горячую пору? Перепелов? Ну и блаженный!

Что-то словно хлестнуло вдруг дядьку Михея, стянуло горло тесным жгутом. Дядька Михей встал, одернул рубаху под поясом, прошел по-военному прямо к столу. Вывернул перед Агафоновым картуз: на кумач посыпались перепелиные крылья и перья, перемазанные ржавою кровью.

— Вот она, премия твоя, Иван Тимофеич! — выдохнул из нутра дядька Михей. —Уложил, говоришь, пашаничку? — и заговорил быстро, горячечно: — А как же с хлебушком... с етим, какой пахнет кровью? Да где же, скажите, такой закон, чтобы живую птаху давить, перепелов порешать? Нету у нас такого закона!

— Полегше, Михей Андрияныч, — застучал бригадир по стакану карандашом, — полегше.

— Да что перепела! — не обращая на него внимания, говорил дядька Михей. — Гляжу я на тебя, комплексный бригадир...

— Не разрешаю, не по повестке, — колотил бригадир по пустому стакану.

— Дай человеку сказать, — зашумело собрание. — В первый раз человек...

— Гляжу и в толк не возьму, — продолжал дядька Михей. — Хозяин ты, Ампилогов, али вредитель? На словах обчество, а на деле? Свел дубки в Косой леваде — говоришь, на слеги для фермы? А теперича полыми водами высадило на леваде овраги! Приказал сгрузить

прямо в поле селитру — говоришь, ближе к свекле? А селитру ту дождями в соседний ставок. Вся вода и протухла...

— Не марай, не марай тут синьфонию, — наконец сумел прервать его бригадир. — Можешь поставить вопрос специально... на обчем бригадном собрании.

— И поставим! — сказал, как отрезал, дядька Михей. — И на бригадном, и на всеобчем поставим.

Не глядя ни на кого, мимо Миньки, мимо множества глаз, мимо стола под кумач протащился он к открытой двери. И, чуя, как падает сердце, как на лбу выбивает испарину, чтоб не упасть, прислонился к раките.

А ветки уж секло сырым теплым воздухом. «Я ж говорил, к ветру, — думал дядька Михей. — Ничего, мы еще поглядим, поставим и на обчем собрании. План он есть план, конечно, серьезная штука. Но и перепела ведь перепелами».

Упали первые капли, шлепнулись на рыжие сапоги, остались темными пятаками.

с. Задушное

Дарьюшка — последняя из хуторян

I

История этого хутора началась, очевидно, с названия, когда какой-нибудь марсофлотец, которых издавна поставляло на корабли здешнее средиземье, завез степнякам необычные, такие красивые и волнующие слова — Мыс Доброй Надежды. История завершалась уже теперь, когда на хуторе осталось одно строеньице — Дарьюшкина хатенка с единственно живой душой — самой бабушкой Дарьей. Остальные вымерли, съехали, растворились. С прошлого лета, когда в Бузулук, на центральную усадьбу, перебрались и Сивачевы, Шевардина Дарья осталась одна. Куры с петухом да воробьи, да мыши, да хорек треклятый где-то в Козлихином погребе — вот и вся наличная живность на хуторе. В одно время с курами Дарьюшка ложится, в одно время с курами и подымается. Маленькая, лицом с кулачок, в последний год еще больше усохла, тело так и подшилось. Ничего, помирать — меньше груза, меньше будет хлопот.

Сын зовет ее в город, а чего она там потеряла, на этажах-то? Душу по земным кружалам измаешь, плечи о стенки пообобьешь. Век в деревне жила, век туда-сюда, как челнок, а там лечь колодой и в потолок носом? Крутится перед ней Алексей, уговаривает — мать же, и от людей стыдно, и самому каково? Хоть бы остаток дней пожила, как у Христа за пазухой. Ни воды тебе не носить, ни печь не топить — однокомнатная квартира, но со всеми удобствами. Ни внуков не нянчить, ни с кем-либо делить в доме женскую власть — нет у Алексея семьи, все пока холостякует. Это и расшибает Дарьюшку.

Вот и сегодня приехал Алексей на выходной. Умылся с дороги, надел чистую рубаху, сидит и пьет чаи в крас-

ном углу — светлоголовый, большегрудый, их, шевардинской породы, вылитый Венедикт Алексеевич. Дарьюшка загляделась на него и сомлела. Косой луч упал ему на переносицу, высветил серые с зеленым крапом глаза. Ишь, сидит и не смотрит сюда, на нее. Чует, и она ему слов припасла. Известно о чем: о внуках. Тогда бы, может, и сдвинула туда к нему старые кости. Для нее он — луч ясный, соколик крылатый, да какая же от такого откажется? Не знает мать, что в последнее время мучить стали его всякие думки, что начал он женщин бояться, развился, что ли, дурацкий комплекс? Иные из друзей заходят в квартиру и прямо с порога:

— Чтой-то у тебя, Алексей, чересчур дух мужской? Засиделся, брат, в девках. Придется женить по повестке, через военкомат.

Что таким скажешь? Нечего с ним равняться. Ему как-никак уж за сорок. Попробуй найди в таком возрасте пару. Какую-либо разведенку не хочется, еще психопаткой окажется, а незамужних много ли, всех разобрали. Так вот она и проходит, жизнь. После института приехал сюда влюбленным, думал век любить Клавочку, ждал, когда закончит она институт, а та р-раз и — за летчика. Так-то. И он, Алексей, потерял уверенность в себе, в своих силах-возможностях. Ему стало казаться, что другие чем-то лучше его: тот красивее, этот талантливее, третий щедрее душой. И он уж не жил, как когда-то спокойно: наступал на горло себе, отказывал даже во взгляде на женщин. Оставалась работа, и он сделался отличным работником, главным агрономом районного управления. Но этого было слишком мало для жизни, и тогда он принялся собирать книги, создал приличную библиотеку, подобной в районе нет, пожалуй, ни у кого. А жизнь пролетала. По пути в магазин он иной раз делал крюк, проходил медленно мимо детского сада...

Под вечер во двор к Шевардиным наведывается му-

жик из соседней деревни — Фадеич. Как всегда, зимой-летом в валенках и с бутылкой. Заступ в свежей земле он оставляет за дверью, проходит в хату, суетливо ставит «Экстру» на стол, приглашает жестом Дарьюшку и Алексея.

— Ты бы руки помыл, — смотрит Дарьюшка прямо перед собой и вздыхает. — Кого Господь еще нынче прибрал?

— Булгактеру... этому... Жилкину копал, — морщит пористое, в синих точках, лицо Фадеич. — Говорил ему, адивоту, поступишь ко мне, не обойдешь. Потому у меня у единственного тут такая, того-этого, пропускная способность.

— За что же ты на него серчаешь, а, Фадеич? — подходит к нему Алексей.

— Он на меня года три тому эптимию наложил. Оштрафовал. Мешки рваные, мол, принес, не колхозные.

— А что, нешто колхозные? — шевелит Дарьюшка тонкими, сухими губами.

— Не колхозные, — соглашается Фадеич и вдруг багровеет, синие точки на лице делаются незаметными. — А пришли ко мне, не к кому-нибудь: Фадеич, выкопай, Фадеич, уважь... того-этого... Фадеич теперь дорогой. Да я за свою жизнь сколько позакопал, а? Сколько, Дарьюшка, всяких, а? Этих... как их... булгактеров, председателей, инженеров, даже один полковник попался. Сладко ели, командирами были, а все туда, у меня, того-этого, равноправие, у меня, брат, не вырвешься...

— И лизать, и лизать, Фадеич, тебе сковородку, — смотрит Дарьюшка на него не мигая.

Фадеич наливает в жестяную кружку, крякает, обтирает губы рукой. Показывает Алексею: не надо? Ну и не надо.

— А сколько этой вот... дуры за них всех тут попито — и-и-и! А теперь ослаб, Дарьюшк, ослаб, — улыба-

ется Фадеич жалостливо, глазенки его начинают слезиться. — Скоро и мне туда, того-этого, — он проводит рукой по горлу и вдруг меняет тон: — Это какие же, Дарьюшка, мне сковородки лизать?

— Какие! Огневые, какие в аду. И лижи, и лижи за трепню свою.

— Ладно тебе, бесхозная бабка, — поднимается Фадеич и ищет заступ, который оставил наружи. — Не была бы Дарьюшкой, я бы тебя сейчас тут перекрестил.

— Не завались где-нить, — говорит вслед ему Дарьюшка, — а то кто булгактера будет в землю внедрять?.. Это ж надо — под «козырной» помереть! Люди завтра придут родителев поминать, а он помер. Ох-ох-ох, — закрутила она сухонькой головкой, перегнулась в пояснице и засеменила через ложок.

Алексей знал, куда и зачем: на погост, еще раз пройти поправить могилки. Всегда так, особенно перед «козырными», родительскими. Взяла на себя эту долю приглядывать за Шевардинским кладбищем. Кладбище, что ж, историческое. Церковь была здесь когда-то, Мыс Доброй Надежды с селом Шевардино стояли впритык. Церкви не стало еще после революции, села сразу же после войны, а кладбищу что? С окрестных деревень и несут, и несут, привозят даже из Бузулука. Надеждинские, бывало, присматривали, чтобы корова не зашла или какой «анчихрист» не заехал на тракторе — родители ведь лежат, поколения. А с тех дней, как осталась здесь одна Дарьюшка, она и доглядывает.

Алексей берет в руки плетушку, надо отвести душеньку — пройтись по знакомым местам, по логам да корчагам, проверить опят. Теперь так: грибы держатся три-четыре дня, на захват. Проморгал напор — все. И ведь не живут грибники здесь, а что значит техника: продерись гриб — мигом наскочат на автобусах, автомашинах.

Он идет первым делом на Красную куртину — так назвал он эту полянку с южным уклоном среди крас-

ноствольного сосняка. Тут особая влага, теплынь — микроклимат, грибу самая благодать. Первый гриб появляется здесь; если уж тут нет, то нигде не ищи — это точно. Алексей наступает на перезревшую пышку, под ногой пыхает желтый дымок, споры окрашивают нос ботинка. Попадается пара сморщенных, ссохлых грибов — поддубешник, маслята. Нет, еще не сезон. Алексей прямьем — кружно, по скошенным клеверам, мимо черной горбатой скирды, держит путь на погост. Прицелившись издали, проникает с другого прохода, между ракитой и грузным, истресканным камнем. Здесь уютно, неветрено, отава по свободным местам не буйна, свисает космами с застарелых холмов. Кое-где сметано в кучки сено — Фадеичева работа, его первый укос. И ограды, оградки, просто насыпи. Деревянные кресты под рушниками, жестяные звезды. Кто с фамилией, кто уже бесфамильно. Где-то тут его два старших брата, отец, отец отца, пращуры. До седых, беспредельных веков...

Уже с утра на кладбище стал собираться народ. Подъезжали на бортовых машинах, на личных «Жигулях», даже на велосипедах. Ставили технику под уцелевшие яблони, по вишнякам да сиреням. Забегали к Дарьюшке за ведром да за кружкой, за лопатой да за молотком. Кучковались — медведевские, черемшанские, гуторовские. Вытаскивали захваченное с собой, рассаживались прямо по клеверам.

Алексей забился в хатенку с книжкой. С черемшанскими, сказали, должна быть сегодня и Клавдия. Читать не читалось, думать не думалось, лезла в голову всякая ересь.

К полудню автобус подвез из города кой-кого из надеждинских, подходили с центральной усадьбы. И все сюда к Дарьюшке, на жилое, куда же еще? И с такой радостью встречали все друг друга и каждого, с такой искренностью смеялись и обнимались, что не выдержал Алексей, бросил книжку и вышел во двор.

Вот ведь штука какая: Козлиха, бывало, секлась с соседкой Марьей Стефеевной, ну одна одну на спички подрали бы, а теперь так и нет подруг задушевней, сидят, рады, никак не наговорятся.

Ну, пошли, побывали на погосте, помянули. Ну, всплакнули, ясное дело, по родителям, близким, человека слезами не возвратишь. А как двинули хутором да как увидели свой Мыс Доброй Надежды, так душа у всех и рассолодела: погребов пустые глазищи, задичалое вишенье, двухсаженная лебеда. Козлиха возле своей усадьбы и вовсе в голос:

— Ой да окнушки, бывало, отволоку, томлюсь на солнышке, Петечку — молодно, кудрявно — поджидаю... Ой да здесь родила всех троих, отца-матерь похоронила... Ой да что же нас всех засуетило, разбросало, горьких, по белу светушку...

— Ладно тебе отпевать, — остановила Козлиху Марья Стефеевна и кашлянула внушительно, укрыла губы ладонью. — Никто не гнал, сама, небось, разогналась.

— Сама, — перекривилась Козлиха. — Живу тама, а душа — она туточки. — И наклонилась, подняла кусок шифера, подержала в руке.

Алексей почувствовал, как и ему вместе с Козлихой стало трудно дышать.

Вернулись во двор к Дарьюшке, перед хатой, прямо на бывшей дороге, расстелили скатерти, спроворили «общий котел». Сели рядком да ладком, на травку-гусятничек. Помянули. Добавили, чтобы дольше жилось, и за новую жизнь. Дарьюшку дергали справа и слева, все расспрашивали, кто бывал здесь да кто где устроился. «Ты теперь тут у нас за часового, кто ни пройдет, ни проедет — к тебе. Как он, наш Мыс Доброй Надежды, приживается в людях? А ничего приживается, не хуже других».

— Скоро, говорят, посрубят последние яблони, — объясняла Козлиха, — распашут землю, станет здесь голое полюшко. И тогда ищи-свищи место, только в

пачпорте и останется, что родилась ты, Марья Стефеевна, в Мысе Доброй Надежды, а самого Мыса уж нет. И буду я приезжать с центральной овес сеять, где была моя хата...

— А ты как бы хотела, землю забросить? — возвышала голос Марья Стефеевна, чтобы слышали все. — Вот я сейчас работаю в швейной, так у нас экономия, каждый клочок на учете. А тут — земля. Да за нее государства сражаются, люди мильонами гибли. И чтоб так ее — р-раз и на ветер? Земля нам дорога. Из нее мы вышли, и в нее мы уйдем.

Алексей наклонялся к матери: по его мнению, для решительного разговора был самый момент. Ну чего она сторожем в этом поселке, как котенок брошенный, «бесхозная бабка»? А ну заболей — воды подать некому. А ну бездорожье — сиди без куска хлеба.

— А-а-а, — смеется Дарьюшка, ей сегодня так хорошо, — ты вот о чем, сынок. А мне много ли надо? Лишь бы тлелось. Слыхал, что говорят о земле? Куда ж я от нее? Туточки и помру.

Провезли и затем пронесли на погост бухгалтера Жилкина. Все затихли, Дарьюшка махнула перстами вслед: прими его, земля-матерь. Тут же забыли про Жилкина, разговор опять хлынул и заветвился, то набирая силу, то усмиряясь, но Алексей уже не вникал в него. Там, через ложок, начиналось движение, раздались голоса, кто-то даже дал песняка «Распрягайте, хлопцы, коней», ему подтянули, их дружно одернули. Белое платье мелькнуло за кривой расщепленной ракитой, скрылось за лебедой: она, Клавдия. Это она. Алексей поднялся, передернул плечами.

— Холодно? — встрепенулась Дарьюшка.

— Холодно, на ком одно, — затрещала Козлиха. — А на нас двое и то худое.

— Ты как скажешь, в тулуп не влезет, — усмехнулась Дарьюшка и вдруг натянулась вся и смотрела вслед сыну, шевелила бумажными, высохшими гу-

бами: «Жена — не пряник, а ржаной ломоть... а ржаной ломоть...»

Женщина в белом вышла из лебеды и закрыла дорогу.

Та же темно-русая челка на левую бровь, тот же молниеносный взгляд из-под челки. Но в глазах уже нет того блеска, лицо покрупнело, сделалось пористее, рыхлее — что ж, годы. И все же это была она, Клавдия. Смотрела на него, как ему показалось, откровенно, ничего не скрывая.

— Вот и встретились, Алексей, — сказала она и улыбнулась, натянула на живот полы кримпленового с серебряной ниткой жакета. Но — странное дело — улыбка эта уже не вызвала в нем прежних чувств. Ну что она скажет ему? Что несчастлива с мужем, что его списали из авиации и он теперь не летает, работает в аэродромной обслуге? Что порой напивается, кроет ее по чем зря, все упрекает за что-то? Да, жизнь для нее повернулась не той стороной... Как могут, однако, женщины смотреть на него, давно, кажется, так не смотрели. Почему-то, предпочтя одного, они сожалеют потом о другом...

— Ну вот и встретились, а поговорить-то и не о чем, а, Алексей? — потянула она с плеч косынку.

— Наш хутор исчез, растворился, — смотрел он на закат: солнце садилось в тучку.

Розовел сырой плотный воздух, поверхность ракит и крапивник у придорожья, красноватее сделался клевер отавный, успевший уже раскуститься, обволокнуться листом. На скатерти, на бутылки, на волосы людям начинал садиться туман, голоса настужались и глохли. Кто-то запалил костерок, дым протянуло в небо. Совсем как в детстве. Не хватало мычания телят, лошадей в ночном, запаха молока. Алексей смежил веки — и перед ним во всех своих мелких подробностях возник прежний хутор...

Мимо, он уже был хорош, проезжал на телеге Фадеич.

— У, каналья! — замахнулся он на кобылу. — Булгактера возила, а нас возить брезгуешь?

На дороге урчали машины, бывшие хуторяне и разносельчане разъезжались по своим новым обителям.

— Ну, мне пора, — повернулась лицом к нему Клавдия.

II

На зазимок Дарьюшка шла с ведром, оскользнулась, так и расселась, едва дотащилась до сенец. С того и вступило в грудь, поясницу и ноги, держит — не отпускает. Взяла на днях курочку щупать, та вздернула крыльями, Дарьюшку в сторону так и поволокло. Да по правде сказать, зажилась в гостях, пора и домой собираться.

Лежит Дарьюшка обострившимся носом вверх, смотрит, как по потолку мухи ходят, не падают, и нет уже сил ничему удивиться. Нет сил подняться, сходить в магазин на центральную. Люди добрые, спасибо, не забывают. Кладбище наведывают и ей, Дарьюшке, принесут — пряник ли, яичко, кусок ли какой. А много ей надо? Отщипнет хлебца и на язык, трет-трет языком, пока не истает.

Недавно в окошко влетела синичка, завертела хвостом, к ночи снег навертела. Три дня ломил, да так лихо, обвально. Пошла утром к колодчику, а там синичка, как вроде та самая, сидит на раките да голоском этак жалостно, тоже, видать, оттуда поилась. Алексея теперь и не жди — бездорожье... Помирать надо, а неохота. Помри — пролежишь тут колодой, пока не исторгнешься смрадом.

В полдень к погосту пробили дорогу бульдозером, заходил Фадеич — «пропускная способность». А к вечеру под окнами загремел самосвал, Алексей влетел в хату, свежий с морозцу, разгоряченный, в момент оценил обстановку, сгреб Дарьюшку вместе со стеганым одеялом и — в дверь. Сидя между шофером и сыном, она колтыхалась по зимнику, и млела у нее грудь от тепла, от прихлынувших мыслей.

Алексей жил в самом центре Дороскова. В комнате у него было сухо, светло; ничего, да только земля далеко. В первое время она окрепала, утверждалась ногами, вроде чище стала с лица, ей понравилась ванна, и она частенько грела в ней старые кости. Зато газ невзлюбила: голова болит и включать страшно.

Нагонявшись по командировкам, в хлопотах, как в репьях, Алексей возвращался теперь пораньше.

А зима сходила на нет. Солнце все рьяней прижигало снега, укрупняло сосульки, в форточку било запахом талой земли. Под окно повадилась щебетуха-синичка, Дарьюшка бросала ей на дощечку хлебных крошек и сала, смотрела на нее, вертихвостку, и делалась все смурней, молчаливей, дня три и вовсе молчала, на четвертый свалилась и уже не поднялась. Приехавший со «скорой помощью» старичок доктор Филиппов объяснил причину: «Двусторонняя пневмония». «Где ж она тут могла простудиться?» — сокрушался Алексей. «А это, молодой человек, не обязательно, — собирал доктор свой чемоданчик. — В таком возрасте пневмония возникает и от неподвижного образа жизни. Легкие, фигурально говоря, слеживаются».

Дарьюшка стонала, металась, прогоняла Фадеича. При закате прояснилась, осветлела. Ей стало легко, так легко, будто вовсе истаяло тело, осталась одна лишь душа да руки, пудовые руки — так набрякли за жизнь, ломят, никуда не пускают, прижимают душу к земле. Она, Дарьюшка, словно сторож, обходит весь хутор Мыс Доброй Надежды, и все его хаты, сады, все его беды и радости, все надеждинские, кого знала — не знала, видела и не видела, вытягиваются за ней, движутся следом, а она торит стежку по первому снегу к колодчику, что под ракиткой, по бокам от нее пробивают снег голубые звонцы-колокольцы, и вьется над нею синичка, и Дарьюшка льнет к ней, приподнимается, тянется ввысь и идет, бестелесная, прямо по облакам...

Алексей чувствовал перед нею себя виноватым: увез

с земли, пожила бы еще. В тот же вечер собрал друзей и знакомых на поминки. Вопреки обычаю помянули до похорон. Попросив на работе автобус, в ту же ночь двинулся с гробом на Мыс Доброй Надежды, чтобы — согласно обычаю — на третий день предать тело земле.

На полдороге, нежданно-негаданно, как это в марте бывает, завернула пурга. Все смешалось, завыло и заструилось вниз под фары, перед автобусом встала стена. Шофер сбавил скорость. Нечего было и думать о том, чтобы съезжать с основной дороги — добраться хотя бы до Бузулука.

Гроб подпрыгивал на рытвинах, Алексей придерживал крышку, смотрел вперед с беспокойством: что же дальше-то будет? Несколько раз выходили в метель и брались за лопаты. Пока им везло. Но у Костинского леска пришлось посидеть. Мотор надсадно ревел, одолевая занос по сантиметру. Алексей, толкая машину, оборвал весь живот. Последний километр, уже перед въездом в село, метель вовсе едва не доконала.

Ночь была уже на исходе. Лишь достигли правления, Алексей тут же воспрянул духом, побежал к председателю, потом на конюшню. Заспанный сторож повертел записку от председателя, вывел немолодого, лохматого мерина.

— Как кличут? — кивнул Алексей на мерина.

— Елпидифор, — зевнул равнодушно конюх.

— Елпидифор? Ничего себе.

Алексей затягивал ногою хомут.

— А он чистопородный, мужики запалили, — потянуло конюха на разговор. — Им, рысакам, имя, вишь ли, дают по отцу и по матери — вроде как фамилия, отчество. Мать у него была Елка, отец — Пилигрим. А наш председатель взял и придумал ему Елпидифор. Да мы так не зовем, мы попроще, у нас он Елка-Палка... Исправная лошадь, но не рысак, нет, — палка нужна, ветра боится...

Алексей тронул вожжой смирного мерина, лихо

причмокнул. Через пять минут Дарьюшка перекочевала на широкие розвальни.

— Жди, — сказал он шоферу вместо прощания. — Утром тебя тут устроят.

По дороге Алексей заехал к Фадеичу. «Пропускная способность» даже слезу уронил.

— Преставилась наша вечная, — вышел он следом, чтобы удостовериться. — И мне теперь собираться.

Между тем пурга все играла-разыгрывалась, но уже сверху не сыпало, заметала поземка. Лежа на боку, Алексей трогал левой Елпидифора, правой придерживал гроб, покрытый попоной. Он уже привык к смерти матери, старался смотреть на нее философски, спокойнее. Меринок шел уверенно, изредка всфыркивая, когда ударяло просыпью в ноздри; меринок хорошо знал этот путь. Снег на щеке Алексея оттаивал, ветер схватывал, леденил, но Алексей не чувствовал холода...

Был человек и нет человека, не воскреснет, не придет к тебе снова. Все колготимся, копаемся, все за что-то сражаемся, все на что-то рассчитываем, а завершаем вот так. И везут тебя под вой пурги к твоим предкам, и ты, леденелый, колотишься на ухабах о доски, а тебе уже все равно. Знал ли ты хорошую жизнь, да и что такое хорошее? Один мудрец сказал, что каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Возможно, и больше прав тот, кто стоит не за то, чтобы втягивать человека в сражения за расширение благ, ибо потребности безграничны и гонка за ними создает натуры воинственные, в конце концов, аморальные, а за то, чтобы уметь себя строить в обычных пределах, учить человека жить по-человечески, пониманию и умению пользоваться высшими ценностями жизни, такими, как личное достоинство, самостоятельность, устремленность к добру. Мать прожила свое очень просто, и счастье-несчастье ее просты, но и сложны в своей простоте. Просто пала овечка, заболел ребятенок — это несчастье, но ведь мир-

то, она знает, от этого не обвалился, все и после нее пойдет своим чередом. Жить на природе вместе с птицами, пчелами — это счастье; счастье — видеть, как одно поколение сменяется на глазах у тебя другим...

Мерин спустился в Лисову балку. Вроде где-то слышался плач. Алексей завел назад голову и уже в мглистом светающем воздухе различил что-то темнеющее, живое: человек.

— Стоп! Тпру, тпру-у! — дергал вожжу Алексей.

Прямо перед собой он увидел лицо, молодое лицо, девичье. Щеки мокры от метели, а может, от слез? Плечи вздрагивают, плачет девушка.

— Чего тебе? — спросил он ее, еще не совсем отвлекшись от мыслей.

— Заблуди-и-илась, — подала она голос.

Губы прыгали, не слушались ее. Он вспомнил, как где-то тут замерзли, прямо у себя в огородах, вот так две студентки, и подвинулся, уступил ей местечко:

— Ладно, голубка, садись.

Она легла боком между ним и Дарьюшкой, потому что лечь можно было лишь так. Алексей почувствовал через пальто ее тело, подумал: «Какая толстючая». Меринок пробирался привычной дорогой, пассажирка молчала, и Алексей опять предался своим размышлениям. Он стал восстанавливать в памяти одну интересную мысль из Мишеля Монтеня, которую собирался вставить в доклад на предпосевном слете механизаторов. В прошлый раз сказал им из Гельвеция, за что его высмеял председатель райисполкома: как же, люди тебя поняли. Теперь он вставит к слову Монтеня. Ничего, поймут. Кажется, у него это так: «Философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой собственный лад, руководствуясь несколькими возвышенными и не получившими распространения правилами. Наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже

общего уровня, не способны выполнять общественные обязанности»... «Силен мужик», — едва успел заключить Алексей о французе-философе, как розвальни на голом, продуваемом месте пошли в раскат.

— Ах, — вскрикнула его пассажирка, и сани вывалили их в снег вместе с гробом, попоной. Крышка так и отлетела.

— А-а-а!!! — заорала в ужасе девушка и бросилась куда-то бежать, упала лицом в снег.

Алексей поставил сани опять на полозья, уложил мать обратно, накрыл крышку попоной. И только тогда подошел к пассажирке.

— Чего орешь, дура? — Только так, пожалуй, можно было ее успокоить. — Чего орешь? Ну, везу на кладбище мать... умерла... Знаешь Дарьюшку с Мыса Доброй Надежды? Ее все тут знают. Вечная бабка, а умерла, — наклонился он над лежавшей. — И потом я же тебя не звал, сама напросилась. А то, думаю, еще замерзнет, а ты всю жизнь после терзайся... Эх, Елки ты Палки, — поворачивался к мерину Алексей и качал головой укоризненно. — Что ж ты вывалил нас, бродяга?

Девушка перестала кричать, села на снег, молча смотрела на Алексея.

— А я тебя знаю, — пригляделся к ней Алексей. — Ты в Бузулуке возле Клавы Плетневой живешь. Ты тогда еще, правда, кнопкой была... Помнишь, к Клаве ходил рыжеватый такой — это я. А это мать у меня, Дарьюшка, в городе померла... А тебя как зовут?

— Феня, — едва продыхнула она и вдруг скорчилась, перевернулась лицом вниз, опять закричала.

— Да чего ты, чего? — суетился возле нее Алексей.

— Ой, — взмолилась она, — ой-ой-ой! Ох, дурной, непонятливый... ребенок у меня... рожаю...

— Рожаешь? — растерялся он. — Как рожаешь? — И вдруг догадался: «Так вот почему толстючая»...

Побежал, подогнал прямо под нее меринка, погрузил ее в розвальни и шел сбоку, погоняя вожжой, на-

клонялся, нашептывал что-то хорошее, ласковое и для себя непонятное.

Вот и хутор, вот хата. Запалившись, толкнул дверь, она без труда отворилась. Схватил с гроба попону, сдвинув при этом крышку. Дарьюшка лежала островатым личиком вверх — наконец-то в своем дворе, следила за сыном, как он, не дыша, боясь сдуть волосы с носа, вводил молодую женщину в сени. А снежинки падали на Дарьюшку, во впадины глаз, таяли и не таяли, наливали впадины снеговой водой.

Он положил Феню на коник, набросил попону, кинулся к печке. Нырял в печку, выкатывал чугунки, открывал вьюшку. Каждый раз, то выбегая с ведерком к колодчику, то пролетая обратно с охапкой дровец, он взглядывал на Дарьюшку: «Прости, мать, я сейчас, погоди».

От печи пошел теплый дух, в чугунке заквохтало. Наткнулся в сундуке на холсты, рушники с петухами («готовила мать приданое, возможно, мне»). Вытянул на загнеток чугун с водой, плеснул в таз, паром швыркнуло в потолок. Вымыл руки с мылом, даже лицо. В горницу — на Фенины стоны — шел на цыпочках...

Родилась девочка. Маленькая или крупненькая — кто ее знает, но по тому, как от первого крика закачалась на окне паутина, Алексей решил: сильный ребенок.

После всех мытарств Феня с дитем лежали, пригревшись, без всяких движений. Спали. Только теперь, когда рассвело, Алексей смог разглядеть гостью получше. Спокойная, строгая, с синими кругами в подглазье. Русые косы поверх одеяла до самого пояса, брови дугой и вразлет. «Красивая», — решил Алексей, и что-то толкнулось в груди.

Поднималось солнце, красный зайчик пополз по стене, Алексей думал о матери, но отойти не решался.

— Спасибо вам, — услышал он Фенин голос.

Когда она приложилась сухими, горячечными губами к стакану, он мягко спросил ее:

— Муж-то где? Кого вызывать?

— А нигде, — выдохнула она. — Никого не надо. — И отвернулась.

— Так. Понятно, — сказал он и вышел в переднюю.

Мерина во дворе не оказалось. «Еще номер, — оторвалось сердце. — Этого еще не хватало. Не привязал, дурак, — ругал себя Алексей. — Чего стоило кинуть вожжи на куст».

Побежал по следу. Мерин ушел недалеко: в последний раз провез Дарьюшку по всему хутору в конец бывшей улицы, к бывшему колодчику у трех ядреных ключей. Его так и называли тогда — колодчик «У трех ядреных ключей». «Прости, мать», — дрогнуло все в Алексее. Ухватил вожжи, привел возок снова во двор. Втащил гроб в переднюю, поставил на стол: мать должна попрощаться с хатой. Оправил на ней все, как надо, присел, положил голову на краешек гроба.

Часа через три Феня пришла в себя: конечно, молодая и сильная. Прежде чем снова забыться, она спешила сказать ему что-либо о себе.

— Закончила школу и поехала поступать, — горячо дышала она. — Я жила у них на квартире, он мне нравился. Вот и все... А потом я жила у одной женщины. Просто женщины. Познакомилась с ней на улице. А потом она стала... ну, в общем, чтоб он женился на мне, и тогда я ушла. Я шла к маме сегодня... домой. И решила заблудиться и...

— Не надо, Феня, — сказал Алексей. — Ты лучше молчи, твоей девочке вредно.

— Хорошо, — сказала она и отвернулась. В сенях загремели ведрами, чертыхнулись — то был голос Фадеича.

— Эй, хозяин! — ступил за порог «пропускная способность». — У меня все исделано. — И, увидев на столе Дарьюшку, поспешно стянул шапку.

— На, — подал Алексей ему бутылку и деньги. — На-ка, брат, помяни.

— А ты как же? — спросил Фадеич его так же шепотом и показал глазами на горницу: — Там что, жена твоя, что ли, с дитем? А говорили, ты закоренелый, весь в сук ушел.

— Тихо ты! — взял за плечо его Алексей.

— Да, верно, верно, — закивал Фадеич и, развернувшись, поклонился гробу. — Земля тебе, Дарьюшка, пухом, хорошим была человеком, трудовым. Последняя, значит, из хуторян.

— Последняя, говоришь? — сказал Алексей и задумался. Помолчали.

— В общем, того-этого, так, — заключил Фадеич. — Завтра приду, кой-кому из села скажу. Помянем честь по чести. Разве ж мы нехристи? Этикет людской знаем.

День клонился к закату. За оконцем откапелилось. Март есть март, голубой месяц марток: днем на солнышке снимешь последнее, ночью наденешь все сорок одеж. «Значит, без мужа она, незамужняя», — пришло Алексею на ум,

С погоста прошел народ. Заметив дымок над трубой, заглядывали к ним, присаживались перед Дарьюшкой на табуретку, вздыхали молча и так же со вздохом молчком уходили. Вздыхали и по Дарье, и по себе, по хутору Мыс Доброй Надежды. Кто знает, о чем кто вздыхает, когда встречается с нею, косою, со смертью?

Алексей завесил проем одеялом, чтобы не глазели, а Фене сказал, чтобы, мол, не выстуживать, тут натоплено, а там, в передней, должен быть холод.

— Как вашу маму звали? — услышал он Фенин голос уже после заката, когда из углов надвинулись сумерки и стало жутковато.

— Зачем тебе, Феня? Ну, Дарьюшка. Если хочешь, Дарья Степановна. Только ее никто так не называл.

— Я назову так свою дочь. Дарья, Дарьюшка, девочка моя, моя маленькая, реснички черненькие, глазки кругленькие, что мы скажем дяде? Скажем: спасибо, дядя...

— Зови меня Алексеем.

— Просто Алексей?

— Алексей, — пожал он плечами и вышел на улицу. К ночи захолодало. Узорчатой пленкой стянуло у завалинки лужицу. Дали разъяснились, проголубели. Он вдохнул, захватил воздуху в легкие до отказа. Вспомнились слова доктора Филиппова о пневмонии у матери («тут бы, пожалуй, ее не подхватила»), и в совершенно ясной голове прорезались слова того же философа, что жил в давние времена, Мишеля Монтеня: «Жить надо согласно разуму. Надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок в обычных условиях...»

«И прежде всего в себе», — подумал Алексей, сломил с крыши сосульку и протянул ее в рот. Всю ночь он просидел перед гробом матери.

III

Солнце вроде бы стало больше в его однокомнатной. Феня перестирала все занавески, хваталась за одно, за другое, призывала Алексея на помощь. Алексею нравилось подчиняться ей в разных мелких делах. Он ловил себя на мысли, что ему теперь интересно быть дома, сидеть у кроватки, утопающей в белом, слушать, как гулькает с Дарьюшкой Феня.

— Время идет, — сказал он как-то Фене, — а девочка, мать, не записана. А у нее должны быть имя, отчество и... фамилия.

Феня взглянула на него, ушла на кухню, ничего не сказала. В субботу они появились в загсе.

— Пишите: Дарья Алексеевна Шевардина, — наклонялся он к той, что заносила сведения. — Шевардина! — повторил он с ударением и держал при этом Феню под локоть, Феня держала сверток с Дарьюшкой.

— Какая звучная фамилия, — улыбнулась та, что записывала. — Славная, боевая: Бородино, Шевардинский редут...

— А может быть, она от другого Шевардино? — смотрел Алексей на Феню («какие у нее длинные, загнутые ресницы и брови вразлет»). — От того Шевардино, что в нашем районе... Ну вот и все, Дарьюшка, — заглядывал Алексей к Дарьюшке и чмокал веселеньким глазкам губами. — Видишь, Дарьюшка, в графе «место рождения» хутор Мыс Доброй Надежды. Теперь ты у нас полноправная гражданка, последняя из хуторян...

В тот же вечер с шампанским нагрянули к Алексею друзья:

— Во колдун, во тихоня. Пошептал, пошаманил — и семья тебе с полным комплектом.

— Долго ли умеючи, — неловко отшучивался Алексей.

На ночь, как обычно, установил себе раскладушку на кухне, заложил руки за голову, улыбаясь, смотрел в потолок, по которому метались блики от проходящих машин. «Она такая молодая, — говорили им в спины женщины в каком-то дворе, когда они шли из загса. — А он такой... мужественный».

«Когда мы молоды, — думал он, — мы стремимся стать на ноги, скорее-скорее, вперед, и в этой гонке прогоняем лучшие годы. Ты и теперь говоришь себе, что не хочешь семьи, что она вяжет по рукам и ногам, забирает лучшие силы, ты и теперь готов отвернуться от женщины, к которой тянешься всем сердцем... Лицемер, убиваешь в себе лучшие чувства...»

Сегодня был выходной. Алексей собирался прошпаклевать и покрасить окна: «Маленькая, но семья». Раздался звонок — на пороге стояла... Клавдия. Алексей едва не выронил кисть, не знал, что и предпринять. Стоял перед ней, стояла она перед ним — блондинка по моде, приятная, немного усталая женщина.

— Пришла вот поздравить. Ты, говорят, с Феней теперь, с нашей соседкой...

И все заглядывала в комнату через плечо, все заглядывала.

— Да-да, спасибо, спасибо, — медленно приходил в себя Алексей.

От Клавдии пахло сильными, возбуждающими духами. Алексей отвернулся и тут же почувствовал на своей шее руку, горячее дыхание ударило в губы. Он увидел ее совсем близко и — отпрянул.

— Ну что же ты, кавалер? — подобрала она свои полные, капризные некогда губы и отступила на шаг. — Женщина хочет тебя поцеловать, а ты... как институтка... Ну, и как ты с ней? Ничего? Расписались? Хорошо, что такая разница в возрасте. У вас будут сильные, умные дети, — вздохнула она. — От матери — сила, здоровье, от отца — ум, таланты... Плохо быть одиноким, Алеша. Прощай.

Едва захлопнулась дверь, из комнаты к нему шагнула порывисто Феня, прижалась к груди, положила голову на плечо. Алексей нашел ее губы, они были туги и послушны.

Сев в этом году закончили рано, сено еще не косили. Не уйдешь сейчас в отпуск — жди глубокую осень. Скорей же, пока отпускают, на травку, домой, на Мыс Доброй Надежды. Обычным рейсовым автобусом подъехали до Бузулука, от Бузулука их подвезли на машине. Все втроем пошли сразу на кладбище. Травы были по пояс, в цвету. Материна могилка еще не просела; на пустую, комковатую землю налезал подорожник, цвели дикие скабиозы, к изголовью клонились поднебесные капли, вроде как слезки, — голубые звонцы-колокольцы. Алексею вспомнилось, как лежала мать острым личиком к небу и снежинки падали ей на прикрытые веки, наливали впадины влагой. Какого цвета были глаза у матери? Неужели не помнит? Кажется, такого же, голубовато-небесного. Он взял в ладонь ком земли, размял.

— Здравствуй, мать, — склонил голову Алексей. — Я пришел к тебе, видишь? Мы пришли к тебе с Дарьюшкой.

Хутор Шамардин

В ПРИМАКАХ

И кто дал ему такое название — Доброе Начало? Хутор, каких, пожалуй, не одна сотня у нас в срединной России, а вот манит он то ли своим добрым именем, то ли здешней благодатью: пойменным укосистым лугом с рыжими будыльями щавеля и кровяными от земляники буграми, слабоструйною речкой Сосенкой с моткими окуньками, снующими по причесанной течением шелковистой траве. А какие сады здесь, соловьи, тополя! Припетляешь сюда по ржи тропкой от мельницы, сядешь на жернов, вросший в землю у приречной околичной хаты, — уходить и не хочется. Сидишь час, а то и два, пока не привлечет внимание одинокий упорный стук топора. Тогда и пойдешь на звук.

Хата за хатой взбирается хутор на длинный взгорок. И по бокам кое-где зияют заросшие лебедой и крапивою плеши — брошенные усадьбы. «На село съехали, — догадываешься, — а то, может, и в город». А стук топора все ведет и ведет — на самый вершок. Тутто и остановишься, переведешь дух и оглядишься. Далеко видать отсюда, аж за излучину, где белеют домики — центральная усадьба.

Свежими венцами высветляется за сиренью сосновый сруб, перед ним еще горка нетесаного кругляка. Наклонившись, плотник гонит с бревна щепу. Что-то в нем самом, в его действиях кажется странным. Когда он разгибается, вытирает пот со лба, не выпуская из руки топора, все становится ясно: у него одна правая, левый рукав пуст и засунут за пояс штанов. А рубаха без единой пуговицы, подпоясана пеньковой веревкой, ноги, в самодельных шерстяных носках, обуты в калоши-шахтерки.

Сам плотник среднего возраста, тощ и длинен, но жилист. Волосы на голове спутаны и темно-русы, а брови лохматы и седы, глаза мелки, но не злы. Широкими ноздрями он жадно хватает воздух и выдыхает

его тяжко, с присвистом. Отдышавшись, он подводит под отесанную лесину ременные вожжи, перебрасывает вожжу на плечо и, пригибаясь к земле, подтаскивает лесину к срубу. Под рубахой у него бугрятся мускулы: лесина покорно ползет за ним по щепе.

Потом он принимается за мудреную операцию по подъему дерева на верхний венец. Поднявшись по лестнице, подтягивает вожжой один конец бревна. Пройдя ввысь, бревно упирается краем в проножку лестницы — и ни с места. Препятствие это для плотника, видно, привычно. Он достает из кармана припасенный на случай гвоздь, молоток и, изловчившись, пытается прибить вожжи к верхнему венцу, чтобы дать свободу себе, слезть маленько пониже и столкнуть лесину с затора. Но гвоздь, взвизгнув под молотком, падает вниз.

Плотник долго стоит в размышлении. Потеря гвоздя, очевидно единственного, ставит его в тупик. Пораскинув мозгами, он опускает вожжу, а сам слезает за гвоздем. И все повторяется.

Тут-то и приходит пора удивиться: неужто один все это, одною рукой? Да кто ж еще! Привык уже. Руку потерял на мельнице, где работал когда-то с мельником. Жерновами и прихватило... Водрузив наконец лесину на место, садится в тенек, под сирень.

— Семе-е-ен! — кричит ему кто-то с дороги. — Семен, а Семен!

— Тимофей, — оживляется плотник, и глаза его от удовольствия прячутся внутрь, за лохматые брови.

— Помогать пришел тебе, — появляется во дворе на своих коротких ногах Тимофей. — У-ух, жарища! — утирает он обильный пот на лбу, на щеках, на груди.

— Ишь ты, шею себе нажевал, — Семен встречает ворчаньем приятеля, но живо отодвигается, дает ему место.

— Я бы еще на той неделе пришел, да совсем закрутился, — Тимофей говорит быстро, словно спешит сказать сразу все. — То в район — то из района, то на

склад — то со склада. Все Тимофей да Тимофей в разных видах. Без Тимофея правленье не может... А на рани бегу мимо Петьки Лудилы, гляжу — голову ясеню пилой отсобачил и стоит обдумывает: как это солнце будет теперь к нему на огород? Дурак, говорю ему, соображать надо, ты бы сначала обдумал, а после пилил.

— Рассказал бы лучше, Тимк, что там в миру делается, — останавливает Семен приятеля.

— В районной так сообщают: за границей бомбы взрывают — солнце, думаю так, охолаживают.

— Да нет, я серьезно. Ты мне скажи, что там в правлении?

— А что в правлении... Кладовщик Митрофаныч кричит вчера на правлении, я, мол, кристаллический человек, а сам, ясное дело, первый нахал в деревне. Я, говорит, предлагаю яблоки нонешней осенью везти продавать на Кавказ. Потому как наше яблоко ценное, а у кавказского шкура рябая и толстая, как у хряка. А председатель ему: ты иди-ка, дьявол, проспись, а то шкуру с тебя самого...

Веселый разговор с приятелем, видно, нравится Семену, глазки Семена становятся маслянистыми, лоб потихоньку разглаживается, становится выше.

— Ты, конечно, мужик не дурак, — достает «Казбек» Тимофей и, не замечая протянутых Семеновых пальцев, говорит хитровато, вроде бы вскользь: — Три иждивенца сидят на моем портсигаре: я, бригадир да щедрость моя... Так вот, не дурак ты, говорю, — голос Тимофея становится тверже, глаза теперь смотрят на Семена пронзительно, строго, — а только одно мне неясно: до коих пор ты, Семен, будешь угибаться в сторону? Почему ты все мимо колхоза? В сторожа бы хотя. Оно б и тебе помощь, не рубил бы вот так, с одним крылом, хату.

— А мне от колхоза, как от твово портсигара, — отвечает Семен врастяжку и отводит взгляд, покашливает в кулак: — Мне сейчас лесок нужон. А в колхозе и самим в зубах нечем поковыряться.

— А, что ж, по-твоему, в колхоз все с неба валится?

— За общественное радеешь, а у самого сарай, гляди, скоро завалится.

— Потому, может, валится, что на колхоз стараюсь.

— Ты мне голову свою не приставляй! — сжимает скулы Семен. — Колхозу не интересно, чтобы я строил хату на хуторе. А мне интересно бросать наш чупахинский корень? Тут-то мы с ним поврозь. Понял?

— Ну, жилься, рви пупок, тяни в одиночку. Жди, когда Настюха тебе и второе крыло-то подрежет.

— Ты это на что намекаешь?! — поднимается Семен неожиданно резко. — А ну, давай катись к ядреной феньке отседова! Ты это про какие такие последствия мне? Все про булгактера, про Болховнина? Радетель!

Тимофей поднимается, стоит перед Семеном глаза в глаза.

— Я — что, за что купил... Любой человек, Сеньк, скажу тебе, по своей натуре свободен, — говорит он тихо, примиряюще. — Спину ему обязано гнуть только в утробе матери. А ты вот всю жизнь свою уложил на свой пятистенник, ничего сквозь него не видишь. А чего злишься на всех? На себя злись, себя и казни.

Весь вечер Семен пьет самогон. Сбивая вишенье, спускается по хутору к речке, к Настюшиной хате.

Ночью, проснувшись, он свешивает ноги с постели, сидит с минутку, бездумно прислушиваясь, как дышит во сне рядом Настюша, как свистит-высвистывает носом сынишка Сергунька, как тоскливо верещит где-то на печке сверчок, сидит и морщится Семен, сглатывает икоту. Поскребывая в затылке, сползает с постели, шлепает босыми ногами к двери и, водя сухим языком по шершавым губам, ищет в темноте деревянный корец и ведерко, а нащупав, пьет крупными глотками, с прибулькиванием тепловатую, нагретую за ночь воду. Стаскивает с гвоздя телогрейку и, пригибаясь, чтоб не рассадить лоб о низкую притолоку, толкает дверь от себя и, как есть в исподниках, выходит через сенцы наружу.

А на дворе тихо, и нет уже той черноты, что бывает в безлуние задолго до рассвета. Млечный Путь стряхивает с себя падучие звезды, и они летят плавно и медленно, пропадая уже возле самой земли. «Благодать-то какая», — размягчается, словно впервые видит все это Семен, и глотает, глотает свежий предутренний воздух.

Отворяет плетневую дверку, выходит за огороды и идет чуть пробитой стежкой в луга, с непонятной радостью различает в брезжущей серости, как, натекая от низин и от впадин, от речки, тонкая, неуловимая дымка сслаивается в туман. Семен наклоняется над замшелой колодой, где обычно поят скотину, видит в спокойно стоящей воде слегка померкшие звезды и долго стоит, не решаясь разбить своими ссохшимися губами их золотой покой.

А потом его тянет к берегу, он взбирается на огромный валун, наклонившийся наполовину над речкой, и, швырнув под себя телогрейку, ложится и смотрит на волны, вяло и туго размышляет «про жисть». Что-то начинает беспокоить его: Семен примечает неподалеку от камня буруны, вчера их не было, стальная вода крутит в водовороте солому, гусиные перья, тальник — все, что плывет по реке.

«Намедни был ливень, — догадывается Семен. — Полой водой, должно, и высадило бурчагу. Лежбище сазану...»

И опять сбивается на мысли «про жисть». Помирал батька, наказывал: «Из мужиков, Сенька, один остаешься в дому. Блюди наш чупахинский корень». А как помер, все пошло вкривь и вкось. Сестрам что: завербовались, разъехались. Звала, правда, его, Семена, к себе в Москву младшая из сестер Ксюша. «А что мне там? — возражал ей Семен. — Ну, по кинам похожу, покатаюсь по метрополитеню — это слово он говорил как-то мягко, по-деревенски, похоже на близкое ему слово «плетень», — а дальше Семену что? Деньжонки раскассирую — и в Доброе? Не нравится мне там, в городах-то.

Людей дюже много, дома здоровенные. А здесь кто Семен? Царь природы. Гляди, кругом как просторно...»

И остался Семен, словно перст, вековать в своей хате. В армию даже не брали его, слабогрудого, девки обходили его стороной. И оно б ничего, только грустно, так волнительно делалось веснами. Уж не мог спать Семен с закрытыми окнами, распахивал их в лунный орешник, подступающий к бревенчатой стенке с другой стороны, и лежал, замерев, и слушал, как вызванивает, едва распустившись, орешник, как изводятся соловьи. Фыркнет лошадь в ночном где-то на ближней поляне, хрустнет ветка под запоздалой телегой — все к нему, все к Семену в окно; и качались, тонули те звуки у самого сердца. «Все продам, — шептал Семен в сладком порыве, — сапоги, годовалую ярку, а гармонь себе справлю. Хромку...»

А оно повернулось по-иному. Брат отцов позвал его к себе в помощь на мельницу. Научил его и мучному делу, и всякому. Человек, говаривал дядька, сам себе голова. Сам себе в кошелек рубля не положишь — никто в шапку и копейки не кинет. С той поры и сидит в Семене думка о пятистеннике на родном чупахинском корне, о пятистеннике светлооконном, вольном, бревнистом, с верандой, о каком батя и не мечтал. Дом бы, может, уже и стоял, если б не это вот, не с рукой. «Куда да кому я такой?» — вбивал себе в голову Семен после случая и мучился, ожесточался, делался на себя не похожим. Вот и с женитьбой... Сколько ни сиживал он перед хатой на обрубке ракиты, сколько ни щурился против солнца на центральную усадьбу, куда вечерами убегали в сельский клуб девчата с Доброго и откуда в погоду иной раз доплескивалась радиола, сколько ни думал Семен о Прониной Зинке, а прибился к вдовой Настюше.

Как-то вышел в орешник он на осиные звени косы, увидал в травостое за мужицкой работой бабу — Настюшу Карпухину. Сильную, с заголенными икрами, в высоко подоткнутой за пояс вельветовой юбке. Притаив-

шись по-за крушиной, все глазел, задохнувшись, пока не заметила, не рассмеялась в сахарные уста. А потом отпирала ночами, встречала самогонкой да ласками, висла под утро у него на плече, оставляла хозяином. Наклонился Семен, куда дунуло, перебрался к Настюше. А родовую хатенку, приехав, продали сестры на свез, и осталась на макушке деревни от чупахинского корня пара старых ракит да груша, да обгнивший колодец, да крапивная заросль на месте завалинки. Да растравливали душу Семену свои же, доброначальские, судачившие про дурного хозяина, сглупу вышедшего к бабе во двор.

А теперь еще Тимофей травит душу.

Затихая, Семен вытягивается на телогрейке.

— «В примаках... В примаках... В примаках», — переплескиваются под валуном серые волны. И пенятся, и ехидно шипят.

— «Вот построю дом... построю дом... построю...» — в тон им отвечает Семен. Недаром уже третий год, как рубит он пятистенник на своем чупахинском корне. На себя одного и надейся, люди — брызги, прижарило солнце — и нет их, как-никак срубит дом, и снова будет все ладно, не окончится род их чупахинский. А Настюшину хатенку не велик грех и бросить...

Так за думками не заметил Семен, как натащило туману, молоком залило и берег, и камень валун, и его самого — Семена. Растворилось все в мягкости, сгладилось. Хорошо бы вот так вот, как в вате, всю жизнь — не толкало бы, не било, не швыряло бы, как за стеной. Голова у Семена наливается гулким свинцом, усталость вконец смаривает его и плывет он, плывет по течению — к своему далекому счастью...

— Семен, а Сем-е-е-ен!

Он с трудом отрывает помятую щеку от зернистого камня: туман уже расступился, на бугре кто-то в красном отчаянно машет рукой. «Настюша, должно», — равнодушно решает Семен и наклоняется за телогрейкой.

А утро в разгаре. Солнце словно бы разломилось — половина его упала в пеструю речку, половина закача-

лась меж кучевых облаков. Семен вышагивает своей гусиной походкой, размахивая рукой, забирая, как заяц, в сторону, блаженно жмурится, чуя худыми торчащими из-под рубахи лопатками солнечное тепло. У замшелой колоды приостанавливается, смотрится в воду, как в зеркало, видит свои давно не бритые щеки, суется в студеную воду, разбивая губами и носом собственное отражение.

— Срамной! — поставив руки в тучные бедра, набрасывается на него Настюша. — В исподниках теперь удумал шататься. Зальет, паразит, глазищи, не знает, что и вытворить! Уйду от тебя на центральную, слышишь? Не молоденькая, по пять километров туда-сюда... Квартиру дают там в стандартном.

— Хватит зарю языком обивать, — Семен говорит вроде бы равнодушно, лениво.

— В сарае нынче почистишь, да сюда гляди, не пяль бельмы на речку! Свиньям замесишь, гусям дашь, корову в луга. А мне нынче некогда, у нас на ферме квартальный отчет. — И, мотнув красным штапельным сарафаном, Настюша по деревянным мосткам загромыхала на тот берег.

Семен стоит, скособочившись, до боли сдавив голой пяткой ком пересохшей грязи, а внутри закипает, хлещется ярость, и сыреет от поту рубаха, сатанеют глаза. Так бывает теперь с Семеном, так бывает. И тогда больше всегдашнего ненавидит Семен себя самого, пришитого накрест к хозяйству, ненавидит всю эту животину, от которой полопались пальцы. И тогда злее, ожесточеннее начинает работать Семен там, на вершке, на своем чупахинском корне. А Настюша примечает это, принимается по-другому.

— Погляди, Сеня, — льнет к нему Настюша ночами, — все хуторские съехали, мы да Пронькины, да Михеев Семен, да Казьма Иваныч остались. Давай и мы на центральную, на новую жисть?

«Знаем мы твою новую жисть, — вспоминая слухи про нее и бухгалтера, темнеет Семен и цыркает через

зубы на землю. — Все понимаем». И, изловчившись, поддевает под зад проходящую мимо гусыню, та, кыгыча жестяным голосом, теряя перья и пух, летит вниз до самой реки и, только коснувшись воды, успокаивается, собирает крылья, задирает вверх глупую голову.

А в закуте уж охает годовалая свинка, глуховатый басок ее срывается на тонкий, щенячий визг. Не выдержав, Семен заходит в сарай, тянется рукой к мешку с комбикормом, подвешенному к березовой матице. С мешка соскальзывает газета, которую Семен положил сюда не читая, еще с вечера, когда приходила почта.

— Знаем мы твою новую жисть, — повторяет Семен и рывком сыплет пшеничные отруби в дубовую кадку, заводит крутое месиво. Управившись, он с минуту стоит в раздумчивости, потом лезет рукой под застреху, вытаскивает бутыль с мутноватой жидкостью, заткнутую сухой кукурузной кочерыжкой. Взболтнув ее, нюхает, смотрит сквозь зеленое стекло на дверной проем, вздохнув, засовывает за пазуху.

Сегодня Семен не берет привычно топор, не идет туда, на вершок. Сегодня Троица, и ему хочется в травостои, в луга.

— Г-гя, г-гя-я! — выгоняет он корову и уже во дворе набрасывает ей на рога толстый пеньковый повод.

— И я с тобой, — увязывается Сергунька.

— Ладно уж, — соглашается Семен, равнодушно отдавая Сергуньке повод.

Корова покорно идет за Сергунькой, мотая из стороны в сторону тощим, выдоенным выменем, состебывая хвостом назойливых оводов.

Семен бредет позади. Наклоняясь, хватает с краю бахчи пупрастые огурцы, швыряет с пяток за пазуху, а одним, обтерев о штанину, хрустит шагов тридцать, жадно всхлипывая, захлебываясь от пресновато-сладкого сока.

«Значит, на новую жисть? На центральную, значит? — бередит свою душу Семен. — И усадебку подыскала, говоришь, по соседству с булгактером?..»

Семен зло сбивает ладонью овода с коровьих мослов.

Не от одного Тимофея наслышан Семен про дела Настюшины с бухгалтером. Но страшнее всех шуточки Кузнечихи, от которых тело у Семена обливает мурашками: белобрысый Сергунька, говорит, не в чернявую мать и отца, а в проезжего молодца, лицом смахивает на бухгалтера.

«Ну, уж это брехня, — словно натолкнувшись на что-то, приостанавливается Семен. И гонит долой глазливую Кузнечиху. — Ну, уж это ты брось, старая ведьма. Мой Сергунька. Конечно, мой...» А старуха никак не уходит, брезжит в смутности памяти, в пухнущей голове.

Он взглядывает на белесую макушку мальчонки, едва торчащего из-за коровы, и таким теплом-хмелем обливает всего Семена, так приятно идти ему рядом с Сергунькой на виду у глинистых оползней и просторных лугов, залитых солнцем и уходящих к синему лесу, так легко, так вольготно Семену, что, откашлявшись, он сипловато пробует голос, затягивает про одинокий развесистый дуб, который стоит веками среди ровной долины, как рекрут, как часовой, охраняя прохожих в погоду и непогодь. Но в самых высоких местах голос Семена натуживается, срывается, и жаль Семену, что не той получается песня, что не может он, что так и не вышло у него дело с гармонью...

Они вытягиваются с Сергунькой на горячей земле и глядят в васильковое небо. В Семене почти что два метра, в головах у него мягкая кротовая кочка, а в ногах— во-он где — рыжий конский щавель. Поначалу Семен порывается рассказать Сергуньке что-то очень хорошее, очень доброе, как те сказки, что слыхал когда-то от бабки, но и этого у него не выходит, и, побасив маленько, Семен замолкает.

А солнце печет вовсю. Корова перестала щипать, прилегла, отдуваясь, уткнула рябую морду, всю в бусинках пота, прямо в конский щавель, который тряпками опустил долу подпекшиеся листья.

Повалявшись, пожарившись этак на солнышке, Семен начинает чувствовать себя нехорошо, одиноко.

Тимофей — годок его, в семилетку с ним бегали, — и тот стал к нему теперь реже наведываться, нужный правлению человек. А тут еще под рукой эта бутыль — и чего без дела, чего лежит греется? Отослав Сергуньку домой, Семен решается спуститься пониже, в пойменный луг, куда дед Сашка пригоняет на дойку сетеневское стадо. Еще издали различает, что часть коров забрела в воду, часть дремлет возле варка, а меж ними разбрелись по зеленому лугу белые гуси. Но Семен-то уж знает, что гуси эти никогда не закыгычут жестяно, что давным-давно превратились они в соль-лизунец, в солевые камни, подточенные, словно ветрами и водами, усердным языком симменталок.

В шалаше, к удивлению Семена, оказывается Тимофей. Ишь, дрыхнет, тонко заводит носом и всхрапывает. Мухи ползают по пухлым губам, Тимофей только отплевывается.

— Эй! — толкает его Семен. Он уж забыл про вчерашнее и сейчас рад приятелю больше, пожалуй, чем деду Сашке. — Эй, ты! Гляди, пчелы брюхо тебе покусали — одулся, ха-ха-ха...

— А? — вскакивает Тимофей и таращит красные тяжелые от сна и жары глаза.

Через минуту он живо выкладывает на газету каленые яйца и ситник, полощет водою стаканы и объявляет Семену:

— Дед Сашка сегодня к внучке в больницу, а меня попросили сюда. Нужный правлению я человек.

— Затычка, — мрачно замечает Семен и наливает по первой.

Постепенно затевается разговор, которого Семен давно желал, да все не решался.

— Ты вот вроде бы сам себе голова, — утирает Тимофей тыльной стороной ладони сыреющий лоб. — А вон как пишут в газете: все хутора сселить и устроить агрогорода. И ванна там, и телефон.

— Угу, — басит Семен и косится на него, чуя, что тот сбивает его на прерванный вчера разговор. — Зем-

лицу, значит, бросать? Отцы, деды холили, а мы, значит, бросать? Да только уйди с нее человек, враз бурьяном зарастет, враз поля, родники оскудеют.

— На машинах из этих городов наезжать будем.

— Не наездишься. Земля, что дитя: глаз да глаз нужон, а не заочность.

— Ты, значит, против будущей жизни? Жизнь есть жизнь, и никуда, Семен, тут не денешься.

— Да что ты понимаешь? У меня, Тимк, земля вот где, в грудях, без нее не дыхнуть. И сказать так: понабьется людей в города, ровно как комарей, а потом опять побегут к земле-матушке, и все сызнова. На центральную не зови — не пойду.

— Ну, не ты, так Сергуха твой.

— Ну, Сергунька нехай, а я неотступный, — рубит воздух рукой Семен.

— Гложет червь тебя, однокрылый, — встает Тимофей решительно. — Вот и водку ты принимаешь чрезмерно. Кособочит тебя одиночество.

И уходит поднимать стадо, а Семен наливает себе и вторую, и третью. Вскоре и сено, и газетка, и яичная скорлупа, и весь шалаш с соломенными скатами начинает вертеться вокруг своей, не известной ему, не ясной дотоле оси. И верчение это все быстрее, все бешеннее: крутится все в одной сплошной пляске. Кровавые, синие, зеленые сполохи мечутся перед глазами; как молния пронзает их, похожая на Бабу-Ягу клешнявая Кузнечиха: «Не твой, не твой Сергунька, — шепелявит старуха. — Дорога-то торная, наезженная дорога». Падает Семен на сено и затихает...

Пробуждается он, когда соль-лизунец успевает уже отсыреть от вечерней свежести, и плетется домой. Настюша встречает его у порога.

— Ишь, раздулся, как бубен, — не сдерживается она, — тебе кобеля самогонкой побрызгай — сожрешь.

— Не надо, Настюша, — вздыхает Семен и глядит на нее покорно и ласково. — Есть там что перехватить? В животе стенка к стенке липнет.

— На, возьми, — швыряет Настюша ему телогрейку. — Спи и ноне где хочешь.

Семен кладет телогрейку на большой песчанистый камень у самого берега, ложится на него и, чуя спиной и затылком сквозь телогрейку прохладу и твердость песчаника, упирается взглядом в звезды, слышит их дальние шорохи, перебиваемые шевеленьем травы, говором речки и соловьями, вслушивается в отдаленный гул тракторов, работающих где-то под Даймино. И вспоминается ему все родное, хорошее: хромка, Сергунька, дед Сашка, даже покладистый Тимофей, телефоны и агрогорода, где все, как и на центральной, в больших электрических звездах. И тогда шевелит, шелестит он, растроганный, сухими губами:

— Ах, кабы гармонь мне, кабы гармонь...

А утром Семену приносят пенсию. Семен заговаривает с почтальоном про то да про се, про кино на центральной, про магазин, про селедку да ситец, но про главное спросить не решается. До обеда ходит по двору, мается. После обеда, не выдержав, гремит по мосткам на тот бок, виляет по лугу на центральную.

Года четыре, а может и больше, не бывал здесь Семен. С тех пор, как связался со срубом. Серые домики легли вдоль реки. Белым шифером сверкают склады и фермы. Семен стоит перед клубом, взметнувшимся на бугре, и вздыхает. «И откуда взялось все, скажите! Вот она, новая жисть-то... А какая, Семен, какая?» Непонятно Семену и больно, и даже тревожно, что не смыслит он почти ничего в этой «жисти», что, как ни крути, а Тимофей, наверное, ближе к ней, что он, Семен, вот отстал, обскакали Семена, уходят от него стороной.

Он останавливается у двухэтажного здания с выбитыми поверху серебристыми буквами: «Сельский универмаг».

Ходит Семен от прилавка к прилавку, оглядывает товары, одно его возвращает к себе: большой, малиновый, в перламутрах баян. Всего раз, лет с десяток тому, был Семен в большом городе у сестренки в Донецке, а и там не видал в магазинах такой красоты.

— Сколько он? — робко спрашивает Семен у продавщицы.

Спрашивает он просто так, для близиру; сознание того, что он может купить этот баян хоть сейчас, хоть сию вот минуту, что «деньжата покудова водятся», возвышает, поднимает его в своих же глазах. Но, прикинув, переводя деньги в лес-кругляк, Семен притишается, затухает.

Ему показывают и что подешевле: гармони и радиолы. Он выбирает себе патефон: чего еще, коли нет на хуторе электричества? Да и вряд ли будет когда. Хутор их, говорят, подлежит сносу и переселению. Так что патефон сейчас самый раз, хорошо. Радуясь покупке, несет Семен аппарат узкой стежкой через луга. Озирается, не летит ли следом Настюша. В хату проходит задами, чтобы никто не увидел. Чтоб никто не услышал, накрывает голову, патефон стеганым одеялом, живо ставит пластинку.

«Среди долины ровныя», — грустно, торжественно запевает во тьме крепкий мужской голос.

— Среди долины... — повторяет Семен, словно эхо, и чует, как закипает в груди.

С улицы прибегает Сергунька, ныряет к нему. Семен слышит дыхание частое, так и видит глаза его и, нащупав, кладет на льняную головку жесткую большую ладонь.

В сенцах что-то застучало, послышались частые шаги, одеяло слетело — перед ним с Сергунькой, лицом к лицу была она, Настя. Удивленно смотрит то на них, то на патефон. Стоит, опершись в бессилии на дверной косяк, глаза затягиваются влагой, плечи начинают подергиваться, все быстрее, все резче, в такт патефонной музыке. Она видит Семена — жалкого, однорукого, Сергуньку, прижавшегося под одеялом к нему, и так больно становится ей за себя и за них, так жутко от песни.

«Ни роду нет, ни племени...»

Она чувствует рядом острое плечо Семена, теплое тельце Сергуньки и, обхватив их руками, уже без стес-

нения, не скрывая слез и лица своего, плачет им в губы, в щеки, в затылки. По-бабьи, навзрыд, причитая.

— Ну, вот и все хорошо, все хорошо теперь будет, Настюша, — слышится ей голос Семена.

— Ой, Сеня, Сенечка, — шепчет она и падает, зарываясь носом, в подушку. — Ой, прости меня, Сенеч-ка-а-а...

А окна уже полны новым звуком — дрожат от натужного рева тяжелогруженной машины. На момент мотор затихает, что-то грохается на дороге перед самой хатой, затем машина поднимается выше.

— Что это? — говорит, охладившись, Семен.

— Столбы, должно, привезли, — утирает Настюша распухший нос. — Электричество будут на хутор тянуть.

— Мы же бесперспективные.

— На вершке птицеферму на правлении решили. Семен стоит и молчит: ишь, как оно — птицеферму.

— Ну, вот, вот, — бестолково суетится он. — Вот видишь? В сторожа пойду теперь, в сторожа.

Постоял, отдышался. Вышел в сени. Поискал топор, попробовал пальцем — острый, вышел через задние двери во двор, побрел наверх, на родной корень.

— Сын! — крикнул он, обернувшись, Сергуньке. — Давай со мной!

Но Сергунька словно и не услышал его. Заколотил по доскам голыми пятками на тот берег вместе с соседским Петрунькой. В кино, должно быть, куда так лететь? А может, на стан к механизаторам? Куда же еще?.. Семен стоял и смотрел, пока русые головы мелькали за ивняком, пока тропинка перед ними не завлеклась в широкий большак и большак не свернул за бугор — к кирпичным домам, водокачке. К центральной усадьбе.

И снова стекал вниз по хутору к речке упорный стук топора. И дом подрастал, высветлялся каждым верхним венцом.

Нептун-трава

I

Мне как белый день ясно, что врачевание без диплома — это варварство, возвращение в каменный век. А когда все заранее ясно, так что писать? Обычный рядовой репортаж под рубрикой «Из зала суда». Нет, пожалуй, надо помягче — суд-то товарищеский. Лучше так: «Судят товарищи».

Пока мы с представителем общества «Знание» товарищем Буркуном едем в Подпечное, в голове у меня уже вызрели первые строчки. Так и начну черным по белому, с места в карьер: «Марья Полыванова — рудимент, печальное эхо проклятого прошлого. Судит таких народ за лечение травами, и вполне справедливо...»

Неразъезженная дорога петляет рощицей. Как не выйти из «газика» в майский дубняк, не оглядеться? Весна есть весна: все живет, здравится, сквозь сушняк что есть силы тянется к свету — живое к живому. Пока по полянам, в подкустье сменялись не буйные в запахе первоцветы (голубовато-розовая медуница — желтым гусиным луком, сиреневые хохлатки — золотыми бубенцами купавы), дерн в это время буравили тугие острые свертки — листья упорного ландыша. И вот, едва сомкнулись сгущенные вершины, дав укромную тень, из зеленого свертка проклюнулся белый глазок — и все захлебнулось в его распахнутом, диковато ликующем запахе. Благодать-то какая! Две невелички, два скромника — ландыш и соловей, а как славят наш русский лес! «Неужели даже такое добро природы, как травы, можно использовать во зло человеку?» — подумал я о предстоящем.

Вот оно, Подпечное, село большое, наполовину новое. Не один окрестный поселок и хутор перенес сюда хаты. И стоят они вместе, особо, на взлобке — крепкие, свежие, еще не обжившись ракитами и вишняком.

Проехали в конец улицы: за красавец клуб, за медпункт и правление, к большому бревнистому дому — сельской библиотеке. Суд состоится именно здесь.

В читальном зале люди стеной стоят, не то что яблоку — слову негде упасть. По свободной территории, отделенной от остальной шпагатом, ходит заведующая библиотекой, расставляет лавки и стулья. Нам, конечно, туда, на стулья.

Гуд обрезается — сквозь народ продираются судьи: бригадир первой бригады Иван Кондратьевич Колыхалов, косая сажень в плечах, но худой телом, кладовщик Семен Копылов и доярка Проконина. В хвосте у них, прокладывая дорогу локтями, держится заведующая медпунктом Валерия Брянская — женщина лет под сорок, пожалуй, из тех, кому хочется, чтоб им было всегда ну хотя бы под тридцать. Она в сильно открытом платье с большим белым воротником; глаза так и нижут вокруг откровенно: какова, мол, я, ничего? Зато лица судей, как и положено, непроницаемы: они потребуют правду, только правду, ничего, кроме правды.

Судьи рассаживаются за главным столом. Валерия — сбоку, почти рядом с нами.

— Попрошу Полыванову Марью Мефодьевну, — встает, обращаясь сиповатым голосом к залу, бригадир Колыхалов.

У двери получается затор, головы раздвигаются, по возникшему проходу движется Полыванова, она уже в возрасте, еще, правда, сильная, загорелая, широкой кости, с хитрым выжидательным взглядом, но уже блекловатая лицом, волосами, тяжелая в походке. Она садится по другой край стола, у окна. И сидит, чуть подавшись вперед, невозмутимо спокойная, только пальцы бегают по толстенной старинной книге, которая у нее на коленях.

Суд идет. Бригадир Колыхалов ведет его как умеет. Известное дело, в первый раз, и потом таким наукам не обучался.

— Как твое... ваше имя, отчество, Марья Мефодьевна? — обращается он, волнуясь, к ответчице.

— Ты чего, Кондратьич, забыл, что ли? — кричат из угла. — Дак Марья Мефодьевна.

— Так... Марья Мефодьевна, — смущается бригадир и, подавив волнение, тут же грозится в угол: — А вы там потише, не то лишу прав присутствия. — И наклоняется к представителю общества «Знание»: — Ну, а дальше ш-шо?

— Спроси ее, на каком основании она занимается незаконным лечением травами? — шепчет Буркун Ивану Кондратьевичу.

— На каком основании вы... почему, в общем, ты, Полыванова Марья, травами, как вот тут выражаются, люд наш калечишь? Все. Объясняйся с народом. — И вздохнул облегченно.

— Это как же — калечишь? — поднимается Марья важно, степенно, видно, уже подготовившись к такому вопросу. — Помогаю тому, кто просит... Вот с тебя самого кто сипоту с горла снимал? Опять засипел. Скоро, небось, ко мне прилетишь? Приходи, сниму хворобу приточной травой. Вот-вот пойдет свежая — на некосях, луговинах, вон уже поднадулись цветом звонцы-колокольцы...

— Не угинайся в сторону, — останавливает ее смущенный бригадир Колыхалов. — Цель ответом своим по той линии, по какой тебе указали. А насчет меня так: заболею — к тебе не пойду.

— По той линии! А вы к малой травке-то наклонитесь: как у нее все мудро, все рядком да ладком. Вон хоть те же колокольцы, по-нашему орлики, — поворачивается она к Буркуну. — Приглядитесь — на ночь пускают к себе насекомых, согревают. Доброта должна везде быть, даже в травах. И они к себе обхожденья требуют. Много ль видели тех колокольцев на стоптанных плешах? Им земля нужна помягче, понетревожнее. Я помогаю народу.

— Это не помощь! — вскакивает Валерия Брянская. — Кто, товарищи, лечит, а кто калечит.

— Кто лечит?! Кто калечит?! — сдвигает Марья свои серпастые брови. Глаза под ними углубляются, из серых становятся темными, косоватыми, странными, в них теперь неловко смотреть. — Я калечу?.. А ну, Никита Никандрыч, скажи, кто тебе хлынучую кровь из носу остановил? Вот она — эта пастушья сумка! И вот что о ней в старинном цветнике-травнике писано. — Марья поднимает книгу с колен, находит закладку на нужной странице. — Вот: «...употребляется противу кровотечений всякого рода». Добавлю: и при внутренних кровоизлияниях.

— Это старая книга, отстала! Как мы можем на нее ориентироваться? — подает голос Валерия Брянская.

— Есть и новая, современная. «Большая флора»...

В зале на происходящее каждый реагирует по-своему. Молодежь почти вся за медичку; постарше, из тех, кому пришлось пользоваться Марьиной травкой, — за Полыванову. Вон в углу схватились двое механизаторов — какой в годах, пожилистей, прижал в шутку к стене полноватого... Буркун явно недоволен колебанием линии. Он делает жесты, теребит за рукав Колыхалова: ну давай, давай, выпускай, кого надо, чтоб свернуть дело в нужное русло! Колыхалов называет фамилию бригадира соседней бригады Анисима Кондаурова, и тот, перекрывая все и вся зыком своего горла, обращается к Полывановой, как ему думается, со сразительным вопросом:

— Кто кого судит, спрашивается: мы тебя или ты нас? До коих пор этой, как ее... своей пастушьей торбой, га-га, будешь народ потчевать? И идти против медицинского закона, как, понимаешь, основного закона диалектики?

— А я против него не иду, — поднимается Марья. — Я и тебе помогаю: поля твоей бригады пропалываю. Развели сору на «балалайках», глянь, огрехи по яро-

вым, по озимым, все в пастушьей сумке... На горчицу ее, что ли, разводишь? Так тебя, Кандауров, за это той горчичкой надо бы по единому месту...

— Эг-га-га-га, — задыхается в хохоте зал, — так его, Мефодьевна. Ишь, глазастая, углядела. Верно, лодыри в Тудастепской бригаде, развели «балалайки».

— Слушай, Мефодьевна, — пока зал шумит, к Полывановой, краснея, наклоняется доярка Проконина, она держит прямо перед собой спеленатый бинтом указательный палец. — Слушай, Мефодьевна, а чем волос можно... того, а? Мучит, подлец, нарывает, дергает, спать невмочь.

— Хорошо подорожник, — также шепотом отвечает ей Марья. — Он хорош от всего: от ожогов, свищей и нарывов. Можно еще золотушной травой, можно... Кому что, от человека зависит. В общем, заходи завтра, взгляну...

— Я протестую! — кричит медичка. — Она использует зал суда в своих целях!

— Прекрати, Мефодьевна, — наконец вмешивается бригадир Колыхалов. —Отвечай на вопрос как положено.

В трудном положении бригадир. У них с Марьей давние связи. Еще с той поры, когда были моложе, когда жива была еще его жинка. Болезная, в чем душа держалась. И потом, когда стал бобылем, кой-когда к Марье заходил по-соседски горечь свою отпустить.

— Так вот я и говорю, что нельзя лечить просто травой, — смотрит Марья прямо в глаза ему. — Надо знать, какую траву где и когда собрать, как приготовить, в каких подать сочетаниях.

— Выпускай, выпускай медичку, — шепчет Буркун Колыхалову. — Поворачивай дело.

— Ладно, Марья! — встает решительно бригадир Колыхалов. — Лишаю тебя, Марья, твоей красивой словесности. Теперь только слушай. Вот так, а то как же!.. Слушай, что скажет тебе научная медицина. И

вы все тоже слушайте. Говорите, товарищ Брянская.

Валерия Брянская поднимается, поправляя белый ворот, подходит к деревянной трибуне, раскладывает мелко исписанные листки.

— Так вот я тут... Итак, мы не можем допустить, чтобы в нашем обществе существовали так называемые чародеи, шаманы, знахарки. Современная медицина вооружена...

— Своими словами давай! — шумят из угла механизаторы.

— Так вот, я и говорю, — поворачивается к ним Валерия Брянская. — Имеются, говорю, три причины, которые не позволяют Марье Мефодьевне Полывановой заниматься лечением травами. Во-первых, она не может дифференцировать, то есть выделять болезни, ставить диагнозы. Для этого нужно специальное образование...

— Да уж гимназиев не кончала, — слышится в зале.

— Не перебивайте! Когда дадут вам слово, тогда и скажете, — взглядывает на шумящих Валерия Брянская. — Во-вторых... э... она не может сделать свои препараты антисептическими, обеззараженными. А препараты должны быть стерильными.

Она откладывает бумажки в сторону и продолжает:

— И, в-третьих, это зачем же, скажите, пожалуйста, пользоваться травами, когда лечебное начало в них или сравнительно небольшое, или затенено привнесением многих других? На то и существуют, знаете ли, экстракты, вытяжки. Иными словами, зачем есть, товарищи, хлеб с мякиной, если можно его есть в чистом виде или в ржаную муку добавить пшеничной? Полыванова не имеет права лечить людей. Она, прямо скажу вам, подрывает авторитет врача и фельдшера, вообще медработника... Всем все ясно, товарищи?

В занавески ударило солнце, легло квадратами по стене, на головы и плечи собравшихся, выслепило воротник на Валерии Брянской.

— Это все так, конечно, — морщась от боли, тихо сказала доярка Проконина. — Авторитет медработника... Во-первых, во-вторых, в-третьих... А вот, скажите, отчего так получается? — повернулась она к Валерии Брянской. — Вот вы, Валерия Федоровна, работаете у нас на пункте годов уж двенадцать. Но, гляжу, как заладили — таблетки, таблетки, таблетки... Почти одни и те же от разных болезней. Голова болит — аспирин, горло — аспирин... А вот не сказать про Поливанову Марью, про соседку мою. Она мне не нужна, чтоб ее защищать, скажу, что вижу. Все она хлопочет, все куда-то едет, идет, топчется по травам-муравам...

— Верно, Валерия Федоровна, — зашумели в зале. — Ты уж не обижайся. На язык ты востра, все у тебя по науке, а на деле? Как ни пойдешь в медпункт — все замок. То в райцентре, то на какой-то профилактике. Что это она воображает из себя, профилактика эта?..

Марья сидела, глядя перед собой, ровно и прямо.

— А вот, извините, — обращаясь к ней, подал голос все тот же пожилой механизатор, — слыхал я от своей бабки, земля ей пухом, что есть такая трава, на которой водку настаивают и котору, вишь ли, в махру добавляют. Верно ай нет?

— Верно, — усмехнулась Марья. — Донник называется... Им еще можно горшки натирать, чтобы летом молоко не скисало. И от моли опять же. И от сверчков. Да, еще! — оживилась она, чувствуя к словам своим интерес. — От сверчков хороша васильковая вода. Настой, знаете, на васильках... Да вы у Валерии Федоровны спросите, что вы все у меня-то спрашиваете? — заблестела глазами Марья. — Вот то-то и оно-то, что не всяк интерес к этому делу имеет. А я уж перерыла все, перечитала. И поняла кое-что. Вот вы меня судите, а вы помогите! Сколько я обращалась в институты по лекарственным травам — ноль внимания. А вот вместе давайте... Сколько добра на земле, а мы ходим порой, как слепые. Не видим, не понимаем и понимать

не хотим. Нам давай иностранное слово на любое лекарство, чтобы язык вывихнуть. Кофий пьют — Африка! А у нас ему в пару — отвар из корней одуванчиков. Вон их сколько за порогом! Только вкус на все надо настроить... Ох, уж эта полынь полыновая — вдовья травушка. Что еще горше полынной-то горечи, разве что вдовья доля? Верно, бабоньки? Я к тому все это: хóдите, люди, так глядите, что топчете.

Марья закончила речь, запаленная села. Люди задвигались, собрание загудело, готовое вновь раскалиться, и тогда встал во весь свой рост бригадир Колыхалов, потоптался на месте и сказал Марье с трудом, медленно, но твердо:

— Ты прости меня, Марья Мефодьевна, но я человек прямой, ты меня знаешь. И вы меня знаете, — обернулся он к залу, и собрание стихло. — Все-то ты, Полыванова, говоришь навроде бы верно — и насчет медпункта нашего, и насчет всяких трав, которые мы позабыли... Устами твоими мед пить, а к чему фактически все твои речи? Я вот тут сидел, думал, думал, да и подошел к такой теме: а речи твои к тому, Марья, чтобы цепче держаться тебе за индивидуальный участок, за свое дело — над людьми быть во власти и с людей получать. Понял я тебя, Марья, да, понял... Вишь оно, Марьюшка, как: любовь к земле нашу тронула, даже вдовью струну натянула, баб с полынью сравнила, чтобы их к себе, на свою межу. Пожалела. А летом, небось, стороной, мимо поля, когда женщины эти на свеколке работали...

— Сам-то бываешь на свекле? — подал кто-то голос в углу.

— Высказался! — загудело собрание.

— Чей это? — раздались голоса. — А, новенький... Да Колыхалов денно и нощно в бригаде... Здоровье в колхозе оставил... Верим тебе, Колыхалов, светлая твоя голова!.. Вон оно как рассудил насчет полыновой травы... И насчет Марьи, верно: себя не обделит, не обидит.

Колыхалов смотрел всем в глаза, краска медленно заливала его лицо. В первый раз за многие годы своей бригадирской работы слышал он о себе суждение односельчан. Ведь и ругал, посылал, бывало, к чертовой матери — в пургу за кормами, за грузами, сам хватался за все вместе со всеми. Думалось, дружба врозь с иными будет до самой смерти, а тут вон оно как. «Да ить как же иначе, — двигал Колыхалов сухим кадыком. — Иначе нельзя». И тут же, совсем успокоясь, сказал залу тихо и проникновенно:

— Нам здоровье нельзя на рыск, так я говорю, дорогие товарищи? Нам оно нужно для дела. Есть у нас эти самые... институты, там пусть травами и занимаются. Раз внимание не обратили, еще надо толкаться, а то как же? У человека, я так понимаю, самое ценное — жизнь, и ее нельзя так просто... на карту.

Он вздохнул, постоял в размышлении, повернулся к Полывановой:

— А ты, Марья, письма носила? Носила. Пенсию себе выносила? Выносила. Ну, и сиди себе на пенсии потихонечку. Так вот, не разрешает народ — я так понял — касательство твое к медицине. Ясно-понятно? Валерию Федоровну люди тут зацепили. И за дело, скажу. Пусть учтет эту самую критику. Но одно, я так понял, справедливо рассудила наша медичка: без научного на то заключения нельзя лечить тебе, вот и все. Разлучаем тебя, Марья Мефодьевна, с травами! А насчет института — что ж, можем написать насчет твоих трав наше общее заявление. Чтоб, значит, оказали содействие.

Сказал и сел сразу и глядел куда-то в окно. И всем в зале стало понятно, что не просто ему было сказать Полывановой те слова. Нет, не просто.

— Спасибочко, Иван Кондратьевич, за любовь да совет, — промолвила Марья и обернулась к залу. — Вот мое последнее слово: не неволю, не ходите ко мне...

Народ расходился. Вышли люди наружу и задержа-

лись. Прямо перед крыльцом все было слито высыпками золотых одуванчиков, словно солнце разбрызгалось по земле. В брызгах этих гудели пчелы, гудели, гудели. Люди обступили Колыхалова, и он, еще не остыв, все говорил, говорил. Марья уходила одна через высохший пруд, на другой конец села.

В дверях показался Буркун.

— Так, выходит, к чему мы, Евгений Александрович, подъехали? — спросил его Семен Копылов.

— К чему? Запретили же! — ответил ему Колыхалов. — Ты, Семен, просидел все собрание, как в рот воды, понимаешь, набрал, а теперь...

— Да, хитра баба, — нахмурился Евгений Александрович. — К ней просто не подъедешь... А вам, — повернулся он к Колыхалову, — надо бы придать делу больше значения. Учителей пригласить, чтоб подготовились, выступили. Народ про все эти травы-припарки не из тех уст должен слышать...

— В общем, меня, если откровенно, заело, — застегивая портфель, заключил Буркун. — Приезжаю вот, поднимаю материалы по травам, готовлю лекцию и к вам...

— Ну, счастливо! — улыбнулся бригадир Колыхалов.

И дорога наша пошла раскручиваться в обратную сторону. По селу, мимо пруда, мимо ландышевого дубняка.

II

Мимо ландышевого дубняка вьется торная стежка, резко падает вниз, в суходол. Всего больше года прошло с той поры, но площадку за станцией уже не узнать: прямо в поле, на непаханом участке вырос цех филиала одного из московских заводов, из-за горизонта к нему прошагала высоковольтная. Вот и сейчас все кипит и горит здесь в работе: на столбах висят в люльках монтажники, над корпусом из силикатного кирпича мотаются сразу два крана, ветер доносит «майну» и «виру». Впереди суходолом, только что с поезда, движутся люди

с заплечной поклажей. Нагнав двоих — короткошажного, прыткого мужичонку и высокого, тощего «интеллигента» лет сорока пяти в нелепой ядовито-зеленой соломенной шляпе и поношенном пиджаке, надетом прямо на исподнюю рубаху, — я притишаю ход:

— Далеко ли путь держим?

— А кто куда, — продолжает мрачно вышагивать шляпа не оборачиваясь. Мысль не скатерть, перед каждым ее не настелешься.

— Жена свалилась, — живо отвечает короткошажный. — Аммиакардит сердца. В стенки, говорит, стукает и в горло ажник подает.

— Ну и куда же ты, в больницу?

— В больнице мы с ней уже были. Врачиха, гори она синим огнем, говорит: у нее это к старости. А где к старости, если сердечко Клавдия порвала на работе?.. Так вот я в Подпечное. К тетке одной, не слыхал? Сосед мой, кормовозчик, разболелся рукой, кость загнила. Попал к Марье — исправила...

Хоть кого сделают близкими километры. Через час я уже знал, что короткошажный — Василий — простецкой души человек, что дома у него куча детишек — «народились еще, когда не было электричества», и теперь ему, хоть и со светом в доме, но без Клавдии надо все самому.

Феагнос, спутник его, оказался фигурой позаковыристей. Он хитрил и юлил, но бродяжья натура так и перла из него, как и подкладка из рваного пиджака. Как бы там ни было, но узнали мы от Феагноса немало: получив в семинарии духовное звание, терся он сбоку-припеку у православных, ходил в попах по приходам. Другие жили хоть перед паствой в благонравии, а Феагнос все сомневался душой и заливал сомнения горькой. Потеряв за дебош приход, он решил начать жизнь свою сызнова, для чего потребовалось первым делом изгнать зеленого змия. И хотя вряд ли верил он в Марьину силу, пожелал начать непременно с нее.

«Так, — подумалось мне, — значит, Марья опять за свое?»

Тропинка привела нас на брошенный хутор. Жилое чувствовалось здесь уже отдаленно; гусиный прудишко затянут кугой, плотина подмыта, очевидно, талыми водами, по влажной луговине буйствует травостой. На пустых усадьбах островами густились лебеда и крапива, отцветали сады. Мне представился август: те же травы тяжелы от семян, яблони кладут на них отягченные ветви, синие, желтые сливы шлепаются оземь. И никому не нужна эта щедрость земли и солнца, разве что случайному путнику...

Я наклонился к дровяному срубу колодчика и обжегся о воду губами; едва оторвавшись, увидел внизу, на воде, синий клок неба, сбоку, в теньке, бился живой родничок; он струился, шевелил донный песок, темной жилой уходил в бесконечность, в самое тело земли. Почувствовав чью-то тень за спиной, я отпрянул: Феагнос смотрел на меня цепким, пристальным взглядом.

— ...А ведь была она баба справная, — продолжает свое Василий. — Ох, и ела, гори оно синим огнем! Огурцов, помидоров в подол на огороде набьет, идет да хрум, хрум. За день столько схрупает, что на бестарке не увезешь... А заболела, повел я ее к тарапету, к Успенскому. Послушал он Клавдию и говорит мне: «Несчастный ты человек. От этой болести нету лекарств. Будешь всю жизнь с нею мучиться». А теперь, вишь, и вправду не ест ничего, чем только тянет?

— Возьми Христопыча... моего дьяка, — не слушает его отец Феагнос. — Как разденется, так весь налитой — спирт! А как пьет, как пьет, милые мои, обалдеть можно. Выпьет первую — еще что-нибудь кинет в рот. А после второй...

— А я, может, тоже пью.

— Не-е, ты слаб. Так вот иду к Марье...

— Эта все может.

— Отвести душу иду. В диспансере лечили: водой холодной, бывало, окатят — затанцуешь.

— А ты когда танцуешь, — оживляется Василий, — до того, как принял, или опосля?

— Танцую-то? И до, и после... Пропущу лампадочку и чую: тянет, чертяка, меня на амвон. Разойдусь и давай, и давай людям. Так, что рты, брат, поразевают.

— Н-да-а, — протянул Василий и подмигнул мне: — Крупный ты, отец Хвеагнос, человек.

Стежка уже бежит полем. Слева, в зеленях, обозначена длинная, темно-густая гривка, похоже, что бывший зимник — санно-навозный след. Справа, на черном пару, навоз лежит рыжими кучками, слышится работа мотора — из-за бугра выползает новенький желтый гусеничный трактор, тянет за собой навозоразбрасыватель. Простоволосый парнишка высовывается из кабины. Уставившись на тощего Феагноса, на его ядовито-зеленую шляпу, что-то кричит ему и хохочет. Живо ныряет обратно в кабину, выравнивает с Феагносом машину. С минуту они движутся рядом. Феагнос, чувствуя себя уязвленным, лишь косит глазком на кабину. Наконец, пустив едкий дым, трактор уходит вперед. А стежка бежит и бежит. Воздух какой-то стоячий, прозрачный, никаких испарений, хотя в это время земля, обычно уж сизая, парует вовсю. Да в холод неплохо озимым: почву не сушит, листья покуда не укрепились, не печет яркое солнце.

— Не иначе, снег где-то выпал, — передергивает зябко плечами Василий. — А надуй дождичек-огурешничек, умоет травам головку, и они скореича двинутся... Вижу, колос уж выкинулся. Значит озимое. Это оно еще зимним дыхается — зима была снежная.

Еще километр, другой — и Подпечное. Здесь, в тенистом измраке вязов, вглубь подавшись от улицы, стоит Марьин дом. В ставнях, свежий и мощный. Пришедшие с поезда раньше уже сидят на лужайке, под вязами, у тесового стола и скамеек. Развязывают су-

мари, принимаются за еду. С полчаса сидят, покорные, присмиревшие, глядя перед собой в одну точку. Ведь прежде чем решиться прийти сюда, каждый из них пережил свою боль-горесть.

— Следующий, — вызывает с крыльца старуха, похожая на монашку. Ближние к двери зорко следят за очередью, у дальних оцепененье постепенно спадает, налаживается разговор. Больше про то, кто когда чем болел, кто кого чем лечил.

— Вот как иногда зубы болят, — говорит женщина лет сорока с обветренным, круглым лицом. — Сама видела, как у мужчины коренник дернули, вышел он из кабинета, рубашку на себе порвал и сбросил. Дюже лихо стало!

— Врачи иной раз, гори оно, — встревает Василий, — зубы дергают, ажник шея трещит. А иной раз — как бураки с хвостами таскают, раз — и нетти.

— А у моей внучки, — подсаживается старичок со сморщенным, пропеченным лицом, — такое вот было. Вставила, значит, зубы железные. А они болят и болят. Что такое? Пошла к врачу. Тот лампочку ко рту преподнес — горит...

— Электростанция? — усмехнулся отец Феагнос. — Своим током, значит, дом освещать может. Подрасчистить бы внучке во рту поболе местечка...

— Я те! — обижается вдруг старик. — Бродят тут всякие охальники, электромонтеры, ох-хо-хо!

— А ты чего, дед, кряхтишь? — глядит на него круглолицая женщина. — С чем к Марье пожаловал?

— Да грызь у меня. Как перемена климата, так и невмочь. В молодости проработался, а теперь прогрызло в паху. Так и просквозило, проело.

— Слабый ноне народ пошел, — вздыхает Василий. — Слабый.

День уже на исходе. У фермы, за оврагом, на все село трубно ревет одинокий теленок. Где-то на подходе стадо — шумит сотней копыт, редким всхлестом кнута. С пруда тянет сладковато-гнилостным запахом.

Неожиданно накатила волна теплого воздуха, обтекла каждую ветку, сделала землю обжитее, уютнее, занесла с другого края села равнодушно-чеканный голос репродуктора. И вдруг налетел порыв ветра, и мгновенно все потемнело, смешалось, перепутались ветви вязов, поднялась пыль винтом, взвилась солома с погребицы. С электрического столба полетели огненные снопы. Искры падали на дорогу, стелились многоцветными хвостами вдоль улицы. Куры со всех ног бросились под навес, люди сбились к крыльцу. Но ветер исчез так же, как и появился. И снова вокруг стало тихо.

На крыльце — она, Марья. Сталкивается с моим взглядом. Смотрит в упор. Глаза ее с диковатинкой, настолько черны, что зрачки, кажется, вытеснили все. И вдруг они мякнут, светлеют: узнала меня, ну, конечно, узнала! Но виду не подает. Я спешу изложить ей, что в Подпечном теперь по другим интересам и что нужно с ней побеседовать. Она удаляется молча, старушка в черном молча же запирает за ней дверь. Проходит какое-то время, я уж не знаю, что и подумать, когда та же старушка высовывается и говорит мне:

— Входите.

Мы проходим все втроем, как и пришли, через сенцы, в переднюю. Вошли, огляделись. Нас встречает густой женский голос:

— В угол глядите? Нет у меня икон, не ищите...

В комнате чисто и пустовато, пахнет всякими травами. В углу стоит стол, накрытый простынкой, с кучкой книг и бумаг. Присутствие стола уравновешивается плиткой, на которой в чану кипятится вода, а там дальше еще дверь — в кладовую и, наверно, во двор.

— Садитесь, — указывает Марья на лавку и ведет ладонью по скатерти, поворачивается к старушке-помощнице:

— Зови, Феклуша.

Входит наш знакомый — старичок с морщинистым, словно бы испеченным лицом.

— Что у тебя? — спрашивает Марья.

— Э, милая, долгая басня, — оживляется старичок. — Так вот жили мы, понимаешь, бо-ольшой семьей. На два стола, понимаешь, обедали. Чашку, бывало, поставят — кобель не пересигнет.

— Короче, дед.

— Дык вот, попала мне палка в глаз, понимаешь, с овсяное зерно. Всю ночь с ней проспал.

— С палкой-то? — фыркает, не выдержав, Феагнос.

— Не богохульствуй, — бросает на него дед рассерженный взгляд. — А что ж я так сразу про нутренность? Нутренность у меня дорогая. Ни один доктор не усек, что почем.

— А я что ж тебе?

— А ты, может, травкой какой. Все равно скоро на слом мне... А то, хе-хех, вспомнил, — удивительно, как это может меняться вдруг настроение у человека, — а то вот, да, вспомнил, в поезде слыхал нонче утром. Приходят, понимаешь, родные в больницу и спрашивают: «А где ж наш Иван?» — «Все, — отвечает им нянечка. — Его вчера это... тю-тю... студент один на операции». Они к профессору: «Раззи можно доверять такое сложное дело студенту?» А он им: «Ничего, мы ему двойку поставили». Хи-хи-хи, ить удумали...

— Стара, дед, побасенка, — хмурится Полыванова. — Ты медицину тут не порочь. Ладно, дам тебе самой лучшей травы. А диагноз-то есть?

— Какой еще диагноз?

— Обыкновенный. От врача. Нету?.. Если нет, не могу. Давай, дед, отсюда. Не задерживай. Проводи, Феклуша. И скажи, что на сегодня хватит, чтоб не стоял народ, не окологлазил.

— Ой, ложка упала, видно, кто-то голодный, — глядит в полуулыбке на меня Полыванова. — Ну, Феклуша, давай самовар.

Появились еще две-три бабки, мигом спроворили самовар.

— А хотите лесного шампанского? — извлекает Марья бутылку из шкафчика и глядит сквозь нее на окно, потом на Феагноса. Феагнос беспокойно ерзает. Сопя и всхлипывая, он работает беззубыми челюстями, хватает Марьино угощение, не обходя даже застарелые в камень пряники. Василий ест благородно.

— Нашему ландышу все на душу, — замечает, глядя на Феагноса, Феклуша. — Селезень тоже все хватьмать целиком. И с зубами за таким не управишься.

Бабки прихлебывают горячую воду из блюдец, усердно дуя в них, сгоняя легкий парок. Полыванова восседает в углу — властная, цепкая, поминутно сверля каждого взглядом. Я сижу и все силюсь понять ее гвоздь, ее стержень, теперь уже лишь для себя, не для статьи: кто она, что она здесь, дома?

— В первый раз у меня? — обращается Марья к Василию.

— А что аза не видала в глаза? — отвечает за него Феагнос и кивает в свой черед на старух: — А это что у тебя?

— Помогают... Живут, как у Христа за пазухой. Легкобыты.

Держа блюдца, «легкобыты» каменно смотрят прямо перед собой.

— Это верно, — говорит тихо Феклуша. — Она у нас всем помогает. Ребятишкам со всего села конфеты-жамки на праздник покупает... А то туча летось ошиблась: возьми да хлопни корову молньей у Дашки Прокониной. Так Марья Мефодьевна дала пострадавшей на телку.

— Много денег, значит, — говорю я.

— Свое берем, — обжигает хозяйка меня черным взглядом.— А ну, потопчись, поищи траву. Какую где, на какой почве да в какое время... А лугов да болот с каждым годом все меньше.

— Хуторок километрах в пяти от Подпечного...

— Знаем, — кривится Марья, словно от боли, — сами там жили, оттуда сюда и сселились. Все вокруг

изучено, изъезжено, исхожено. Богаты травы в логу Непрец, в болотах под Льговом, в урочище Кузилинка, на Апушкиной горе, в Железнице, за Долбенкино. Езжу даже на Галичью гору к Ельцу, в Коренную пустынь под Курском...

— Травка все живое держит, — вмешивается Феклуша. — Помню, от годов отошла, на сенокос уж не брали, так мы со старухами просо пололи, на заднице ездили. А сколько травы, бывало, напалывали! Возами возили. Корову тем один год и кормили. А сейчас даже сору нет на поле, вот и...

— Плохо, что ль? — перебивает ее Василий.

Метнув злобный взгляд на него, одна из старух не выдерживает:

— Оно, конечно, дуба березой не сделаешь.

— Это кто ж такая за девушка? — подогревшись «шампанским», кивает на нее Феагнос. — Что же такая за береза дубовая?

— Хватит! — сверкнув глазами, поднимается Марья. — Пригласили тебя, так сиди. Знаю, что сейчас думает обо мне корреспондент: снова, мол, взялась за свое. Как это в разных брошюрах пишут: занимается незаконным лечением травами? Так вот: от людей отбою нет, упросили.

— Истинный крест, — шепчут старухи.

— Сколько ко мне обращаются. Отовсюду едут. Все готовы отдать, только вылечи, а у меня одна такса — за прием два рубля. Только им же неинтересно. Едет человек издалека, он, конечно, потратился, готов деньги хоть какие отдать, а я его, как и всех: в очередь и два рубля с каждого. Потому у меня все равны, все по справедливости. Не как марьянникова трава под ольхой — всю жизнь в трудах, но богачеств не накопила.

— Не накопила, батюшка, — повторяют старухи. — Она одного тут спасла, так он и на руку ей не наплевал, копейки не дал.

— Для народа я все! — набирает голос Полыванова. —

После того, как судили меня по-товарищески, я сказала себе: все, не буду!! А через неделю прибежала Катюша Нефедова, в ноги бросилась: спаси девочку — супом живот обварила. Одному помоги — другой просит. Идут ко мне — значит, верят, надеются. Как же я отыму эту веру?

— Скажите, горицвет-адонис —успокаивающее? — не унимаюсь я. — Но ведь это же и сильнодействующее! Можно ведь и... Даже врачи его неохотно прописывают.

— Врачи теперь больше химией лечат, — шевельнула Марья бровями. — А я тем, что земля родит.

— Так земля родит всякое — и хлеба, и дурман, — говорю я вслух, а сам думаю: «Больно умная. Справочники по лекарственным травам небось вдоль и поперек изучила. Философией обзавелась». — И наклоняюсь к ней, говорю в глаза: — Что же вы, Марья Мефодьевна, доктор-надомник, лекарь, что ли, крестьянский?

— Крестьян понять надо, — отвечает Марья уклончиво. — Для них важно не просто лечение. Придет такой в город, простоит по приемным — еще сильней разболеется. А здесь все свое — простое, привычное. И умереть легче, свободней... Так что дашь человеку надежду, снимешь камень с души, глядишь — ему легче стало. Известно, что в Отечественную раны у солдат заживали куда спорее, когда пошли наши в наступление... Выпил человек Марьиного отвара, оклемался — спасибо Марье, не поднялся — ну что ж. Главное — верит мне и верою лечится. Надо же человеку верить во что-то...

Всю долгую речь Марьи Феагнос не спускал с нее глаз, как мне показалось, насмешливых. Под конец он потянулся и негромко зевнул:

— Душу свою утишаешь? Сам с амвона пел, знаю.

— Расстрига, что ль? — резко взглянула на него Марья, но Феагнос выдержал взгляд.

— Ладно, — как-то быстро свернула она разговор. — Идите-ка спать... Феклуша, пусть Настасья постелет в омшанике.

Женщина в черном платке провела нас в омшаник. В нос шибануло спертым запахом трав. Травы висели, как веники, на стенах, на гвоздях, вбитых в матицу и потолок. Я прикрыл устало глаза и уже не слышал — видно, обвык — запаха трав, воздух казался густым, как кисель, непродыхаемым, тяжким. Феагнос и Василий, намаявшись за день, крепко спали в углу, на сене. «Говоришь, живешь не как марьянники, не наживаешь «богачеств»? Дались мне эти марьянники твои, Марья, щедроты-угодья».

III

Дались мне Марьины травяные щедроты-угодья. Так и тянуло в них, пока не выбрался в самые ближние, что на южной окраине города, в лог Непрец. Еще в памяти живущего поколения меж полей луговые медоносные степи — Лавровская, Грацкая, Клюевская, Черкасская, Бобринская. Их утесняли, распахивали, и остались от них лишь «кусты» — стрелецкие, драгунские, черкасские. Неудобство земли, песчанистость и взбугренность сохранил и лог Непрец. Он — в конце идущего от Оки суходола за заводами, взметнулся на плоское взгорье, обжат пашней-полями, изрезан кое-где поперечным оврагом. Гудят под ногами шмели, звенит в небе жаворонок; в суходоле, по самому днищу, а то и в боковой леваде, мелькнет разгорбатившейся спиной и завоет позвериному пес-бродяга; и мне вспоминается — еще, наверно, из детства — про собак и кошек, которые убегают в луга лечиться одним им известными кореньями-травами; вольный дух тоже лечит...

Под ногой так и пышут остатки ковылей да шалфеев. Еще до монголов, а может, и раньше было здесь также разнотравно, духовито, цветасто. Недаром в Пятницкой слободе улица, что по пути к логу, называется Половецкая. Прямо за ней — небольшое травянистое поле в красных флажках, здесь обучают фигурно-

му вождению автомобиля. Возле «ГАЗов» и «ЗИЛов» суетятся шоферы. Команда — и всё приходит в движение, шины рисуют на траве «восьмерки» и «змейки», и едва успевают увертываться от них натуральные змейки — медянки и ящерицы.

За красными флажками ковылится утренняя розово-серебристая степь; ветром клонит то в одну, то в другую сторону перья ковыльные, и тогда серебро то тускнеет, то опять загорается розово. Степь ковылями волнуется, а сквозь их седину видны сочные пятна — семьи синего василька, красноватого змеевика, незабудки, а господствует, подымаясь над всей этой ярмаркой красок, шалфей луговой да степная таволга, да козелец, да козлобородник. Степь ветровая, извечная! Сколько всего повидала: осохшие таволги выше пояса, сигналы-костры на вышках, низкорослую монгольскую конницу, проклинавшую наши защитные снега...

Степь ковылями волнуется, пряный дух стоит над травой, припекаемой солнцем. В водянистом мареве дрожит, упираясь в небо, телевизионная вышка. На ее фоне чья-то фигурка: кто-то движется, то приседая, то вновь продолжая свой путь. Вроде Марья. В руке — сумка. Значит, вышла на промысел. Она долго всматривается в меня, словно бы не узнавая. Да, сама сдала, оплыла лицом и ногами. Но все тот же странный, с диковатинкой взгляд. Выбившись из-под платка, липнет ко лбу темноватая прядка.

— А-а, — наконец протягивает она, и глаза у нее светлеют, — путешественник-интересант. — И садится, вздыхает, отирает ладонью сыреющий лоб. — Не под дождем — подождем. Сейчас школьники придут. Помогают мне. — И говорит, приугадывая, опережая мой вопрос: — Да, я теперь на казну работаю, травы для аптеки собираю.

Солнце уже поднялось в зенит. Воздух стал зноен, травы и вовсе горячими. Терпкий чад держится над серебристой полынью, слышится крепкий, камфарный

запах дикой рябинки — пижмы. Сколько ее на порожних землях, на косогорах, куда не дотягивается коса; не выдерживает пижма покоса, но, если что, может и постоять за себя, оборвать больно прыткому полотно косы — не протягивай.

— Так и человек, — улавливает мое настроение Марья. — Сруби его — когда еще-то подымется?

— Так ведь... не срубили, — говорю я, заключая в паузе то, что было тогда, в библиотеке.

Струйкой вдали показались-потекли детишки. Загорелые, шли по плечи в траве. Марья привстала, замахала им: сюда, сюда! Подошли, присели, загалдели:

— Марья Мефодьевна, подорожник, ох и жирен вон там на черноземе... орлики на сухом ручье... чернобыльник у кручи...

— Ладно, ладно, — кивала им Марья. И ковыли кивали, склонялись султанами у нее за спиной — серебристые, мягкие; все шептали, шептали вокруг про недавнее, давнее этих трав — лекарственных, медоносных, декоративных, про то, как в неистовых сечах рекой лилась за степь русская кровь и русичи клали на раны цветы-горицветы, и степь лечила своих сыновей.

— Ковыли, ковыли-то какие! — не сдержался я.

— Хороши ковыли, — взглянула Марья на степь как-то быстро, но цепко и повернулась к детишкам: — А ну, поднимайсь!

Мы теперь движемся вместе. Марья идет, переваливаясь, словно утка, мигом ныряет в чабрецы, таволги и шалфей: что-то срезает ножом, что-то бормочет, говорит между делом:

— Каждая травка свое любит. Какую утром возьми, какую — после обеда. У какой цветок нужен, у какой — стебель или корешок...

Она словно бы позабыла про меня, про детишек, ушла в дело — шепчется с каждым кустиком, с каждой травинкой.

— Ну-ка, ну-ка, — наклоняется она к пустырнику, —

подвинься поближе. Что ж ты, милый голубчик, прячешься за шалфей? Шалфей за себя-то ответит, а вот ты... Жена Василия ждет, что придешь к ней, поможешь, а ты за шалфей... Ну, а вы, Горицвет Иваныч, что скажете? Попадете в аптеку, а оттуда в эту, как ее, Антарктиду, к зимовщикам... Вы, Чабрец Семеныч? Красавец! А ну, полезай, полезай в сумку. Пошлют, например, на Камчатку...

Под ветром кивают, шелестят, шепчут Марье в ответ бессмертники, дуб-трава, иван-чай, чистотелы. Ребятишки крутятся вокруг, наклоняются, отходят, опять приближаются. Мне нравится идти следом за Марьей, думать про эти травы, про их вечную щедрую силу и тайны, которыми они делятся с человеком. Марья разбирает ребячью траву: в сумку — мимо, в сумку — мимо. А я все думаю, вспоминаю.

Сколько трясли человека, сколько пришлось ей перетерпеть, а не бросает, значит, жить не может без этого. Да и так представить: гнет дуги мужик испокон веков — умелец; расписывает в узоры глиняную утварь — умелец; а травы собирать, делать дело то же самое дедов и пращуров — это уже Бог знает что. Понятно, тут все оно сложнее — людское здоровье. Но тем ближе надо к Марье науку приблизить, не отталкивать Марью, перехватить у нее что-то извечное, дельное. А тряхнуть, отлучить человека — раз плюнуть. Тот же суд должен был вести, скажем, кто-то из института по травам. Подложил бы под Марьины травы науку, и решили бы люди: судить Марью за вред и строптивость, а то, может, возвысить?

Часа через два Марья угомонилась. Сразу сникла, сидела на краю давнего окопа, усталая, строгая. Рядом на земле, взмягченной когда-то солдатской лопатой, раскачивала золотыми зонтами наша приятельница — пряная пижма. Собирались тучи, начинало свежеть. Перед нами, с щебенчатого обрыва, открывался город — заводские трубы, каменные дома, сизоватая

дымка. Необычны города с непривычных точек, так все удивительно — парки, улицы!..

Пижма, пижма, красавица пижма! Положи в комнате твой цветущий пучок — всякая дрянь, вроде мух, присмиреет, а то и вовсе в окно. В города тебя, в парки, на улицы — милое дело. Оттого и на Марью смотрю смягченнее, вспоминаю при этом стихи и легенды про ландыши, звончато-синие колокольцы, густостебельные спутники-васильки.

...Прошло еще с полгода. Зимой вспоминать о лете приятно, и я иногда думаю о Марье, ее травах, судьбе. Смутные, сложные чувства рождаются с мыслью о ней. Недавно я встретил Василия. Того самого.

— Ну как, тогда поднялась твоя Клавдия? — спросил я.

— А-а! — раздосадовался Василий. — Умерла Клава. Да и Марья отчиталась, нет больше Марьи.

— Да ты что!

— Разное бают про Марьину смерть. В общем... угорела в избе.

— Ну, а деньги у нее оказались?

— Деньги-то? — цыркнул Василий на землю и растер плевок каблуком. — Не-е. Так, одна мечта, а не деньги. Либо куда, говорят, их определила, либо старухи те...

«Значит, нет Марьи, — думаю я, — значит, кончилась». И в груди что-то томится, тлеет. И чего-то все тянет в луга и леса. Я иду в воскресенье к автобусу и беру с собою сынишку, а сынишка берет с собою торбу, травник, и, сойдя в нужном месте, мы глядим во все глаза под ноги, наземь, осторожно ступаем. И наплывают, вспоминаются мне те же слова, что и летом тогда, засветившие душу: какое это неизъяснимое счастье — носить в сердце Родину, хранить в лучшем уголке самого себя образ пижмы, полынной былки, растущей где-нибудь на меже, — эти тихие, мудрые травы.

— Хóдите люди — глядите, что топчете!

с. Подмаслово — лог Непрец

Аксиньин свет

В полдень с ней случилась беда. Снег, обильно выпавший ночью, навалился на крышу, крыша прогнулась, прогнившая балка наконец хрястнула, и не успела Аксинья мотнуться в сторону из-под коровы, как что-то тяжелое, мощное лупануло ей в спину.

Сколько раз говорила она бригадиру про эту проклятую балку: «Подведет она под монастырь. Ишь, нависла над симменталками». — «Ни черта ей, — отсмеивался бригадир, с утра изрядно хвативший, — перестоит и тебя». А, выходит, не перестояла...

Прискочил из Пантелеевки председатель, сам помогал грузить в свой «козел» пострадавшую. Аксинья пришла в себя, смотрела на председателя укоряющим взглядом, даже и пальцем не двигала.

Прибежали из школы перепуганные ребятишки Аксиньины — Ваня и Олечка, упали перед ней на солому. Аксинья смотрела на них, и крупная, светлая капля, сорвавшись с ресницы, тихо двигалась по щеке...

В больнице Аксинья лежала в двухместной палате. Лежала, провалившись во тьму, три недели. Очнувшись, увидела белые стены, услышала запахи, которые слышала только единожды, когда болел горлом ее меньшой — Ванечка, и потому не сразу-то поняла, где она и что с ней. Потом Аксинья почувствовала неудобство позы, в которой она пребывала: лицом вниз, руки и ноги на привязи, почти все на весу, на каких-то распорках... Она напрягла свою память и вспомнила тот злополучный полдень на ферме.

Соседка ее была давней жительницей этой палаты. Она уже полегонечку двигалась на костылях; иногда, подсев к Аксинье, принималась рассказывать про свою жизнь, про работу. Боль в спине вроде бы притишалась, когда Аксинья вслушивалась в ее неторопливую речь.

— Сюда, милая, — ворковала Мария Степановна, — на короткое время не попадают, так что лежи, терпи.

Привезли врачи — значит, надеются. Была тут до тебя одна — Любочка, с контузией, все плакала. Сгорела совсем. А вот Вера Ивановна до нее, с переломом спинного хребта... сильная женщина... на поправку увезли, на курорт...

Иной раз слова соседки проходили как-то мимо сознанья Аксиньи, не трогали ее, не задевали. Она лежала и думала о своих ребятах Ване и Олечке («кому они теперь, горемычные?»), о своем муже Василии («и вовсе теперь отобьется от дому»). И мысли ее переходили на родное, привычное, давнее: на двор свой, на хозяйство, на ферму...

Проходил месяц, другой. Дело не улучшалось. Кол, однажды вступивший в спину, так и держался. Иногда, удивляясь, Аксинья наблюдала, как Мария Степановна делает по утрам, вечерам какие-то непонятные движения руками, ногами; узнала потом — физзарядку; как массирует усохшие ноги энергичными, сильными пальцами, тяжело дышит, утирая обильный пот полотенцем.

Через полгода Марию Степановну отправили на курорт. Аксинья умолила врачей, чтоб ее отвезли домой, к детям.

Ее провезли на машине в крестах через весь Синь-Колодезь, глохнущий в вишневых садах, пронесли на носилках через двор, на котором с детства она топтала подорожник босыми ногами, положили на постель в клетушке за печкой, где в студеные зимние дни содержался, бывало, теленок. Явились дети ее — Ваня и Олечка. Семилетний Ваня сейчас же стал показывать Аксинье палку, на которой он сделал себе автомат, а двенадцатилетняя Олечка мигом слетала в сад и принесла Аксинье решето, полное чернеющей вишни. Аксинья улыбнулась детям уголками губ, глянула на потолок, знакомый до каждого потека-разводинки, и облегченно вздохнула. И начала ждать Василия.

Василий приехал домой уже ночью. Замерев, Акси-

нья видела, как он осторожно прошел к столу, присел, оперся на локоть и просидел так часа два, глядя прямо перед собой в одну точку. А утром, чуть свет, подошел к ней (она притворилась спящей), постоял, сняв картуз, и снова на дворе загудел Васильев «газон».

Аксинья попросила, чтобы ей подняли повыше постель и поднесли к самому оконцу, выходящему во двор. Отсюда виделась ей и часть улицы. Вот Олечка («моя дорогая помощница») вышла покормить кур, а потом прошла с тяпкой на огород. Вот Ваня погнался за бабочкой и плюхнулся за ней голяком на крапиву. А во-он подальше сосед Чепель спешит с сумкой куда-то. Чепелиха, наверно, послала в лавку за хлебом... Все проходит перед глазами Аксиньи, вся деревенская жизнь: будто бы и не отлучалась Аксинья в больницу, вечно жила здесь, стояла, глядела на все, как вон та старая ракита, которую тоже ведь не сдвинешь с места. Как воткнул прутом в земь еще ее, Аксиньин, дед по отцу, прозванный в Синь-Колодезе Берендеичем, так и стоит...

Наведывались подружки-доярочки, приносили всякие новости. Говорили, что Аксиньину группу отдали вчерашней десятикласснице Алене Ручьевой — дочке старой доярки Матрены Кондратьевны. «У этой твои коровки не пропадут, — тараторили Аксинье подружки. — Уже сейчас выходит девка по колхозу на третье место». Иногда девчата приносили Аксинье гостинцев иль книжек, Аксинья слушала и молчала, и нельзя было понять ее, радуется ли она приходу подружек, желанны ль для нее эти книжки, гостинцы.

Девчата передавали ей все, что носило по деревне досужее «бабье радио»: кто на кого взглядывает томно, в какой хате намечается свадьба, кого выдвинули на орден, а кто на зерноскладе проворовался... Но однажды Аксинья почувствовала в девчатах что-то неладное. Постояли они, потолковали про то про се, затеяли было о зяби, но лишь только Василий, вернув-

шийся вторым рейсом со станции, шагнул за порог и завозился в загнетке, покосились на него и одна за другой потихоньку исчезли.

Допоздна Аксинья пребывала в смутном волнении. Не спалось, да и только. А ночь была серебристая, лунная. Видно было до самого Чепеля — каждую ветку, каждую былку под пепельным светом. Аксинья смотрела во двор, и беспокойство, не покидавшее ее со времени посещения подружек, не уменьшалось и не усиливалось, а стояло в ней ровно и плоско, темной прудовой водой, смягчаемой разве что лунным рассеянным светом. Вдруг Аксинья ощутила вдали движение. Пригляделась: двигались двое... Что-то ухнуло и остановилось в груди. Неужели Василий? Но с кем, кто она? Прижались к раките, к той самой, под которой когда-то встречалась она с Василием...

Жизнь для нее стала невыносимой. Дни казались похожими друг на друга — грузными, вязкими. Для чего я живу, думала она, ну для чего? Лежу пластом, словно каменюка. Да ведь и каменюка лежит до поры, пока не пойдет в работу, например, под фундамент. Сколько хлопот другим с нею, Господи! Вот уж образовались и пролежни, и Василию с Олечкой приходится теперь перестилать простыни каждый день, не наготовиться мануфактуры...

Она ловила себя на мысли, что как-то по-особому, с дрожью и страхом смотрит на свой столик с едой и питьем, на ножик у хлебной коврижки, которым Василий к Покрову резал подсвинков, и каждый раз, задохнувшись, прогоняла из мыслей дурное. Да ведь это ж последнее дело. И люди тебя не простят. Все чаще, когда становилось невыносимо, она вызывала в воображении картины тех мест, тех времен, когда она была юной еще и могла часами, лежа в траве, смотреть в это бездонное небо, наблюдать за бело-кисельными облаками, представляя в них всякие чуда, всякие байки-побаски, слышанные-переслышанные ею от Берендеи-

ча. А как приятно было плыть, словно кречет, по воздушным потокам, не чувствуя тела, махать руками, забираясь все выше... Страшный зуд на спине возвращал ее в хату обратно, и виденья кончались.

Аксинья теперь почти ничего не пила и не ела. И таяла, таяла. Как-то пришел председатель. Еще с порога уловил тяжкий дух в хате, сунул оторопевшим у двери бледно-прозрачным Ване и Олечке огромный пакет с апельсинами, купленными по оказии в городе, молча прошел за печку к Аксинье. Всю жизнь переворошил Егор Тимофеевич с Аксиньей, вспоминал ее молодой и красивой, когда в школе он, ее однокашник, — чего там греха таить! — вздыхал по ней тайно, а женился вот на ней балагур и красавец Василий, пока он, матрос Егор Петрованов, охранял берега Отечества на эсминце.

— А пошла за меня, если бы не Василий? — улыбаясь, допытывался председатель. — Такую б свадьбу с тобой закатили!

— Седой уже ты, — молодея душой, шевелила сухими губами Аксинья. — Моя-то жизнь конченая, детей только бы...

— Не смей так. Не должна так говорить, прав таких не имеешь. Жизнь дается только один раз... И детей на ноги ставить... Так вот, на правлении решили пенсию тебе, Аксинья Сергеевна. И с Чепелихой уже столковался, заплатим ей, пусть ходит за тобой, помогает по дому и так... А по весне выхлопочем на курорт.

— Спасибо вам, — замлелась Аксинья. — Спасибо...

А вечером Василий едва притащился домой.

— Не твое дело, почему пьян я, — сказал он, еле ворочая языком, хотя она и не пыталась ему говорить что-либо. — Я пью вот, и все.

Наутро он не смотрел ей в глаза. Молча гремел ухватом в загнетке, грел воду теленку, замешивал корм курам и поросенку. Проводил ребятишек в школу. Так и не взглянув на нее, сам ушел в мастерские. На ремонт «газона».

Через несколько дней Василий привел в хату женщину.

— Наш завгар, — кивнул он на нее Аксинье. — Переехала в кооператив наш из «Дружбы», просится на квартиру.

Олечка стояла, потупившись, изредка взглядывая то на отца, то на незнакомую женщину с ярко накрашенными губами, в коротенькой плюшке, в новых резиновых сапогах. Ваня стоял, прижавшись к сестренке.

— Что ж, — вздохнула покорно Аксинья, — надо ж человеку где-нибудь притулиться...

Дни стали короче, «с воробьиный хвостик», говорила Чепелиха. Теперь в оконце Аксинье был виден двор в маслянистой осенней грязи, кой-когда уже густеющей от морозца. По лужам ходили куры. И небо, набухшее снегом, висело над ракитой так низко, как будто смыкалось вдали со стальною дорогой, которой теперь Василий с завгаром ходил утрами к себе в мастерские.

Ночами было ей еще муторней: оконце делалось вовсе черным, да в передней на конике ровно дышала Кланя, Клавдия Анатольевна, их квартирантка. Аксинья вслушивалась в каждый ее вдох и выдох, и силы, заснувшие в ней, оживали, трепетали в каждой кровинке ее, во всем ее теле. «Нет, ты еще не пропащая, не изошла еще вся, Аксинья Сергеевна, — истово говорила она сама себе. — Рано себя хоронить-то. Ведь выдюжают, встают на ноги и такие... Вон хоть соседка по палате, Мария Степановна. Уехала на курорт... И дети, гляди, стали пуганые. Смотрит Оля на отца и на квартирантку, ровно зверок, исподлобья. А нехорошо. Ну, кем она вырастет с ненавистью? И учиться стала похуже... А Кланька-то вчера штопала рубаху Василию. Наготовишься ему на такие плечищи!»

Наутро Василий проснулся от легкого скрипа, идущего от постели Аксиньи. Заглянул за печь: Аксинья

поднимала и опускала голову на подушку. Отдохнув, снова поднимала и опускала голову на подушку.

Потом придумала себе упражненья для пальцев. Месяца за два научилась двигать и пальцами. Потребовала рубашки Василия, стала их штопать сама.

Когда главбух сам принес ей первую пенсию, она подозвала Василия, наказала, кому что купить, не забыла и Клавдию. В доме все опять привыкали к подчинению Аксинье. Первыми прежнюю силу ее почуяли дети: Ваня бежал к ней с обидой на соседского здоровилу Николку, который отнял у него на горке ледянку да еще и натер снегом щеки. Олечка приходила из школы и отчитывалась, что получила, что задали. Аксинья напрягала свою когда-то сильную память, вспоминая, как решались задачи по алгебре, которые в школе ей давались легко, но с которыми дочери теперь приходилось сражаться. Василий и тот иногда являлся к ней на совет и, глядя не на нее, а в угол куда-то, на стенку, испрашивал ее мыслей насчет того, что купить на базаре: одного или двух поросят, заводить на лето кур или, может, гусей?

Все постепенно возвращалось к Аксинье: и речь, и память, и прежняя ясность ума. Все могла она рассудить толково и основательно. И только немым по-прежнему было тело, ее ссохшиеся недвижные ноги. Правда, благодаря упражнениям, Аксинья теперь отрывала грудь от подушки, могла понемногу держать на весу тело.

Она попросила Олечку положить на столик зеркальце, извлечь из сундука расписной ларец, подаренный еще Берендеичем в день ее свадьбы, где лежали всякие бусы-мониста. Надев одно из них, то, что нравилось когда-то Василию, она лежала в новой блузке, молодая и праздничная, ожидая мужа с работы.

Началась весна. В оконце уже видны были черные пятна подтаин. Унавоженная дорога горбатилась и днем веселела ручьями, а ночами взвизгивала под кованым полозом «козырей». «Егор Тимофеевич куда-то мечет-

ся по бездорожью. К севу дело, — вздыхала Аксинья и думала о детях, о жизни. — Жить надо, а как же? Ведь это ж если каждый на себя в трудностях руку наложит, что с жизнью-то станется? Изучали, помнится, в школе Корчагина. Павка, конечно, герой. Как портрет, как икона — каждому человеку со школы. Только жизнь мудреватее всяких икон: у одного так случилось в ней, у другого иное. Но у каждого должно быть одно так одно: это сила твоя, вера, дух твой неукротимый. Иначе и портрет не в портрет человеку, а икона — картонка... Жизнь приходит из веков и уходит в века, и мы должны оставлять ее детям лучшей, чем было. Вон хотя б возле речки все пустился в кочкарнике клин, а Егор Тимофеевич включил его в дело. Прошлым годом вспахали...»

В день, когда во двор с поля хлынули полые воды, ушел из дому с квартиранткой Василий. У порога смыло ручьем их следы. Аксинья выдержала все спокойно, не дала себе ни закатиться, ни закаменеть. Приподнялась над подушкой и наблюдала, как складывал в фанерный чемоданишко свои вещи Василий. Напомнила даже про новые брюки, лежащие в сенечном сундуке. Под конец сказала, чтоб захватил ларец, подаренный в день их свадьбы еще Берендеичем, да не забыл бы ключ от ларца.

— На что мне теперь, — глухо выговорила она, — возьми своей Кланьке-то.

Василий упал перед ней на колени. Глаза его помутнели, губы прыгали, он силился что-то сказать.

— Не надо, — откинулась она на подушку.

В окно било яркое солнце. Оно теперь вставало за этой ракитой, грело выболевшие Аксиньины щеки, золотилось в раскиданных волосах.

По двору, по стеклянистым лужам ходил патриархом петух, горланили на бузине слетевшиеся воробьи. А на взгорье, по черной горбатой дороге уходил в соседнее Сдобье Василий.

Когда Олечка прибежала из школы и по привычке крикнула еще с порога: «Мама! Сегодня на экскурсию ходили на твою ферму», — ей ничего не ответили. Аксинья лежала лицом к оконцу, и солнце стояло во влажных глазах. Сжавшись вся, Аксинья слушала, как где-то над головой возникает движение. Она чувствовала, что оно все круче, все властнее входит в нее, отчего крепнут пальцы и бегут по спине мурашки. А движение нарастало, озвончалось, грузнело — по железной крыше наконец-то сползал слежавшийся снег.

— Ступай, дочка, в правление, — твердо выговорила Аксинья. — Скажи, что Аксинья, мол, просит работы. Сюда, домой. Ну хотя бы счетоводкой. Скажи председателю, Егору Тимофеевичу, что, мол, помните, у Аксиньи по математике были только пятерки.

д. Знаменка Орловская

Соломенная грусть

— Ведь вот как бывает, — начал рассказ один мой хороший знакомый. — Случай иногда перевернет всю твою жизнь. Особенно, если тебе было четырнадцать и сердце, только что перенесшее войну, остро чувствовало чужую боль. Мечтал я стать моряком, а стал, как видите, ветеринаром. Случай повернул меня лицом к людям, заставил задуматься... Впрочем, о случае.

* * *

Сенька вышел во двор. Утро было серое и зябкое. Через дорогу, под яблонями, пустынно и дальше, направо, тоже пустынно, и еще, еще дальше. Сколько хат спалено немцами, сады еще не успели отойти от пожаров, застроиться пустыри. Хата, хата, землянка, землянка, землянка...

Сенька привстал на носочки, потянулся до сладкого хруста в плечах и оглядел двор. Сквозь туман проступала двуколка с несуразно большими колесами, с торчащими вверх оглоблями. Темной горой лежала корова Рябинка, уткнувшись в натрушенную маманькой еще с вечера солому. Сенька прислушался: в саду смачно шлепались о лопухи крупные капли оседавшего тумана; в соседнем дворе неожиданно хлопнули топором — звук дошел глуховатый, нерезкий... Топор зачастил. Сенька заглянул в проем между клуней и грушинкой и различил размытые, необычно крупные тени. Тетка Феня вроде бы била топором по макушке дядю Протаса, а тот, согнувшись, продолжал что-то делать как ни в чем не бывало. Куда девалась сонливость! Сенька оторопело протер глаза и придвинулся к загородке: дядя Протас собирал хворост как раз за колодой, по которой колотила топором тетка Феня. «Вот оно что», — успокоился Сенька в повернулся к двери.

С порога пахнуло дымком: маманька топила печь

жидкой старой соломой. Сенька даже икнул от неожиданного перехода с холода в тепло и тут же услышал от матери:

— Батину безрукавку надень — и груди тепло, и рукам развязно.

— Ладно, — буркнул Сенька и чинно уселся на главное место. На этом месте сиживал батя. А с минувшей весны, когда батя помер от фронтовых ран, мать усадила здесь Сеньку. Почти в самый раз Сеньке отцовы штаны и рубаха, а теперь вот и стеганка. Сегодня у Сеньки серьезное дело — ехать за соломой аж во вторую бригаду, потому подняла маманька его с петухами, а на подмогу ему наладила своего любимца Витю-Витюню: небось тоже не маленький, на тот год в школу пойдет.

Витя-Витюня слонялся по горнице, словно куренок после заката. Сослепу зацепился за тумбочку — банка с ромашками, собранными вчера Сенькой в Кубанковском саду, скользнула и, дзынькнув, так и расселась на половице.

— Ой! — маманька чуть не выронила чугунок у печи и поглядела на Сеньку: — Ах, родимец тебя! Ах ты, тюхаматюха! — задевала она по затылку Витю-Витюню.

На шум завозились в постели и выставили из-за полога свои чернявые головы и остальные — Колька, Тоська и Юрик.

— А ну, кыш обратно! — скомандовал Сенька и повернулся к маманьке: — Да хватит тебе!.. Подавай лучше чугунок под разгрузку.

Водрузив на стол чугунок с дымящейся картошкой, поставив рядом жестяную миску с огурцами да положив хлеб, маманька прошла в горницу и, присев за ребячий стол, достала лист чистой бумаги. Прежде чем обмакнуть перо, она поглядела в сизоватое окно и задумалась. Сегодня на Крюковом поле делят солому. Уж она-то знает, что это такое. Раз в год бывает. Каждый в колхозе готовится к этому дню, каждый, небось, уж

нашел, на чем увезти свою кучку. Нелегка вдовья долюшка. Сорвала Сеньку сегодня с занятий у Клавдии Павловны, а у Сеньки класс осенью самый серьезный, седьмой, — готовится Семен на тот год в мореходку... Э, да что там Сенька-то! Сама собралась метнуться, да симменталка в ее группе, по всем видам, вздумала телиться... Промыкалась с ней, мерина у заведующей фермой не успела выпросить, а теперь надо ехать, хоть на своей, на Рябинке. Хорошо еще сбруя, тележка сыскались. Сенька справится, ничего...

Она решительно макнула перо в чернильницу и провела им по бумаге.

— Перо почему-то не пишет, — удивилась она и вздохнула: — Навернушко, жир попал. Всегда так, — рассуждала она, — жир попал — чернила не зацепятся.

— Жир попа-ал, — хихикнули за пологом.

— Это ты, Колька? — строго спросила маманька. — Ты напустил жира в чернила?

— Это не я, это Тоська, — захлебнулся сразу от стольких слов Колька.

— Он врет! — живо вскочила Тоська. — Он бросил туда вчера кусок сала.

— Спите, ироды, — махнула маманька рукой и стала искать карандаш.

«Кирила Маркелыч, — вывела она туго, чуя, как толстые в суставах, грузные пальцы плохо слушаются ее. — Не обидь мальчонку, Сеньку-то, — писала она, помогая пальцам губами. — Он теперь у меня за старшого, за Николая, земля ему пухом. А у меня на ферме корова стельная, ферма сегодня держит. А Сенька у меня хороший, и за бабку, и порточки постирать ребятенкам, и корову когда свою подоить. А как год исполнится, на ту пятницу приходи помянуть друга-товарища, бывшего воина Николая Семеныча. А кому мы теперя без самого? Не обидь, Маркелыч.

К сему доярка-рекордсменка
по нашему колхозу Мария Гамузина».

Она вздохнула, свернула записку вчетверо, положила ее перед Сенькой и стала смотреть, как управляется он неспешными, покрупневшими руками. Покончив с картошкой, Сенька хлебал уж вторую миску лапши. Так всегда едал батя, приговаривая: утро с хлебами — день-деньской с нами. А Витя-Витюня все ладился-прилаживался к миске, дул, что есть силы то на нее, то на ложку.

— Горячая, — смотрел он виновато на Сеньку.

— Погуще, вот и остывает подоле, — ласково говорила маманька. — Зато эдак сытнее... Ничего, ты давай, Витюня, смелее, полегонечку и переплывешь.

Пока Витя-Витюня плыл через миску, Сенька успел запрячь Рябинку и провести ее по двору. Сначала корова недоуменно косилась на сбрую, оглобли, пыталась, освобождаясь, даже крутнуть боками, но годы и смирный характер взяли свое. Мотая из стороны в сторону тяжелым, разработанным выменем, она покорно двинулась за Сенькой по еще сонной, но уже розовеющей улице.

Витя-Витюня нагнал их возле околицы и, засмеявшись, полез в тележку на полном ходу. А ход у коровы был раздумчивый, важный, она шла на восход своей давней, привычной дорогой, которой всегда утрами ходила со стадом в луга. Овода́ пока не докучали ей, было прохладно, она шла, загребая разлапистыми копытами пыль, и пустеющие августовские поля стояли в ее темных, глубоких и влажных глазах. Сенька загляделся в них, корова подняла голову и дыхнула на него таким родным, травянисто-молочным паром, что по спине у него пробежали мурашки.

Сенька тоже взобрался в тележку. Дорога укачала Витюню, он ткнулся в Сенькину спину, обтянутую безрукавкой, и лежал, не подавая признаков жизни. Сенька вздохнул, подломил локоть, поискал затылком мягкий ватник и, повернувшись лицом в небо, весь отдался дороге. Колеса были большие и такие кривые, что каждый раз то одно, то другое словно бы наезжало на стенку, затем падало в кручу, отчего вся тележка скри-

пела и замирала и снова скрипела, и так без конца без начала, затягивая Сеньку в густую, тягучую дрему. Иногда под колесами возникали препятствия, Сенька их слышал затылком и догадывался, что под колесо попадалась норка суслика или тушканчика, высверленная прямо в твердо прибитой дороге. Один раз ему даже послышался чей-то писк — серым комочком метнулся в сторону зайчик. Но снова катились, накатывались на стенку и падали в кручу колеса, и в Сенькиных дремах оживали воспоминания: как три года назад, когда только что кончилась война и еще жив был дедушка, они сладили с ним эту тележку, как возили на корове из лесу бревна, как отправляли маманькину сестру, тетку Наталью, до станции к мужу-офицеру во Львов, на место его демобилизации. Колеса эти ветхие, давно бы рассохлись, рассыпались, если б не дед: намудрил, навертел на спицах железа и проволоки, глядеть страшно, а держатся. Раздвигая ресницы, Сенька с усилием вглядывался в белое облачко над собой — и оно то уходило ввысь, то падало, падало, падало на него.

Дрема слетела с Сеньки, когда совсем близко раскатилось такое мощное, трубное:

— Му-у-у-у!..

— У-у-у!!! — снова пронесся звериный рык, ударился об опушку и, возвратившись, утонул в балке, заросшей березнячком.

Из левады, впереди стада, выходил черный колхозный бугай. Он круто выгнул шею, резко опустил голову и заколотил копытом о землю, которая тут же забила рыжим фонтаном. Сенька дернул вожжами — только бы успеть скрыться в лесу. Только б успеть до опушки! Но Рябинка не спешила набирать шагу — все оглядывалась, интересно ей было.

— Сенечка, ты не гони, — умолял его Витя-Витюня и, ловчась на ходу, вытаскивал из кармана рогатку. — Я си-час его... срежу...

Бык казался уже вовсе рядом. Он снова рявкнул,

так, что звякнуло о зубы запущенное в ноздри стальное кольцо. Сенька ожег Рябинку вожжой, она дернулась в сторону, левое колесо затрещало и, подломившись, просело. Витя-Витюня чуть не вылетел вон. Наконец дорога скользнула за один дубок, за другой, и лес укрыл ребятишек от звериного рыка.

Они шли теперь прежним, медленным ходом, давая Рябинке смахнуть языком то ромашку, то крупный лесной колокольчик. И Сенька хохотал над храбростью Вити-Витюни, над его страшной рогаткой. Подломившееся колесо качало тележку теперь еще и слева направо, справа налево.

На Крюково поле они прибыли первыми. Маркелыч встретил их ласково. Спросил, что это у них за цирк такой — приехали на корове. А когда они рассказали ему, как за ними гнался колхозный бугай, а Витя-Витюня хотел срезать его из рогатки, Маркелыч долго смеялся, потом потрепал Витю-Витюню по щеке, сказал, что он здорово похож на отца — вылитый Колька; между прочим, тот ходил с пэтээром на немецкого «тигра». Потом взял у Сеньки записку, прочитав ее, вспыхнул:

— Чтой-то Мария — спятила? Да мы разве нелюди? Думает, если нету теперь Николая Семеныча, так мы семью у него обидим? Скажи мамке, — наклонился он к Вите-Витюне, — что солому делить будем завтра. Сам, мол, ей привезу. А чтобы ей плохо не думалось, вон берите ту кучку, везите...

Назад они возвращались торфяником. Солнце уже поднялось над леском, и воздух начал прогреваться. Сенька ловил распахнутой грудью то теплые, то снова прохладные токи, но теплых становилось все больше. Он вел корову на поводу, а Витя-Витюня брел где-то сзади. Голые Сенькины пятки бухали о травяную дорогу, и она отдавала глухо, резиново, и идти тут было легко и приятно, зато в бестравных местах, подразбитых телегами, шаг замедлялся, ноги тонули в торфянистом крошеве сразу по самую щиколотку.

По краям лога тянулись заросли серебристого лоха, пониже кустился ольховник, еще ниже — по болотным оконцам — остро торчала осока. Между окнами кучерявились обильные травы. Любил Сенька иной раз с ребятами махнуть сюда, в этот лог, в эти вот травы; здесь вдруг высмотрится на тебя своим иссиня-черным оком черника, ало сверкнет из-за подорожника земляника, клюква уложит у ног свои темно-красные кислые ягоды. И все крупное, сочное... От воспоминаний у Сеньки стало кисло во рту.

— Тьфу! — с шумом сплюнул он в сторону и заметил на березе гриб чагу — темно-коричневый, сильно изрытый, растреснутый нарост. «Созрел уже», — подумал радостно Сенька, вспомнив про дядю Протаса, который, он слышал, искал его от какой-то болезни. — Надо запомнить, — сказал Сенька и огляделся.

Место здесь было обжитое. По сторонам шли налитые водой ямки-выройки, чернели на сушке сырые торфяные клети и уже годные штабеля. Кое-где был виден народ: белели платки, блестели загорелые спины.

Дорога сделалась узкой, свернула на дамбу, и Сенька, пустив корову, побрел за возом вместе с Витей-Витюней. На бревенчатом мостике левое, подломившееся колесо резко просело, воз потянуло в сторону, правое колесо начало отрываться от настила и медленно поползло ввысь. Затем все мелькнуло перед Сенькиным взглядом с ужасною быстротой: тележка кверху колесами, ухнувшая куда-то солома, все четыре коровьи ноги, палками задранные в небо, — и все исчезло. Дорога была пуста.

Сенька кинулся вниз. Берег обрывался; метрах в трех внизу, в тесной выройке, лежали тележка, солома под ней, корова с торчащими вверх ногами. Рябинка силилась приподняться, но оглобли не пускали ее; буруны ходили возле ноздрей, она фыркала, тянула, вытягивала голову, словно хотела вытянуть ее из шеи, из позвонков, но вода уже закрывала уши, глаза... Ужас охватил

Сеньку: корова же! Не помня себя, он ринулся вниз.

Он подобрался к голове, подпер под нее плечо — корова хлебнула воздуха, навалилась на него, ноги его тотчас ушли в вязкое торфянистое дно, в глазах поплыли синие, красные, зеленые кольца. Корова задвигалась — его потянуло под нее. «Раздавит, — мелькнуло у Сеньки. — Живот копытами вспорет».

— А-а-п... а-а-ппп... — крикнул он и захлебнулся взбаламученной жижей

— Лю-ю... и-а-а-а... — метался по дамбе Сенькин братишка. — Тону-у-у-у!.. — орал он не своим голосом, и гулкое эхо катилось по логу, жутко отдавалось в его берегах, в позакрайке опушки.

А люди уже бежали от выроек. Первым достиг дамбы дядя Протас, бросился вниз, полоснул ножом по уздечке, затянувшей корове горло...

Люди хлопотали, вытаскивая из ямы тележку, солому... Рябинка стояла на берегу, изредка вздрагивая, тряся кожей то на брюхе, то на спине. А Сенька, еще не в силах вытащить ног из выройки, лежал, упершись спиной в правый низменный берег, и, ничего не видя, смотрел прямо перед собой. Вдруг он заметил чьи-то глаза, Сеньку передернуло. Он смахнул ладонью со лба комья грязи и повел взглядом по противоположному высокому срезу: на самом верху его, под завесью трав, в корнях крапивы ютилось гнездо. Из гнезда смотрела на него пара живых смородинок. «Не улетела, — обрадовался Сенька овсянке. — Все, значит, видела». И отходил от пережитого все быстрее, представляя, как жила здесь овсяночка с семейкой всего две-три недели, как птенцы тянули к ней пустые, ненасытные рты, а она все носила, носила им птичье свое молоко. Сенька вспомнил и домашних молочников — Кольку, Тоську и Юрика. Сзади в ухо ему пыхнуло густым травянистым теплом, и мягкий, мокрый, шершавый язык проехал от его плеча до затылка...

Дядя Протас снял обломки колесных спиц, посадил втулку на дубовую жердь, связал оглоблю, для чего потребовался Витюнин ремень. Они обмылись в ручье, обмыли Рябинку и двинулись в путь. Жердь шумно чертила за ними бесконечную линию. Витя-Витюня шел теперь рядом, держа обеими руками штаны и поминутно взглядывая на брата. Теплая волна прихлынула Сеньке к самому горлу, он положил руку на острые Витюнины плечи и подмигнул ему, усмехнулся:

— Ну что, брат, живем?

— Да-да, — сморщился Витя-Витюня, и плечи его задрожали. — Ты утопа-а-ть... а я... я...

Сенька глянул в небо и рассмеялся. Так оно хорошо, когда все плохое уже позади, а впереди эта дорога, целый день еще. А день уже разыгрался. Солнце палило вовсю. С песчано-ржистых и красновато-гречишных жнивей тянуло отпаренно пресным, вянущим духом. Где-то бил жаворонок. По полям, вслед за облаками, катились живые рваные пятна. Сенька перевел взгляд на Рябинку, на спину ее, всю в бурых подпалинах, провел длинно ладонью по ним и зашагал ходко, развязно, смело по земле, по которой ему теперь ходить да ходить.

У Тетеркиной балки их встретила тетя Феня — потная, простоволосая, с узелком в руках: несла, должно быть, обед дяде Протасу.

— Сенюшка!!! — остановилась она, остолбенев. — Да ты весь... гнедой! Седой, Сенюшка, милый... — запричитала она и вдруг вскипела: — Мать твоя, ох, прости меня Господи! Ить надо, а?.. Послать по солому на дойной скотине! Да нешто не знает Маркелыча — исполнитель всем... От характер у бабы, от колгота! — забормотала она и двинулась по своим делам, понесла дальше свое крупное, сильное тело.

Они двигались деревенской улицей, и все у хат, у землянок разгибали спины, провожали их молча, сочувственно. Едва Сенька отпер ворота и завел воз во

двор, как в тех же воротах увидел запалившуюся маманьку.

— Ох! — вскрикнула она и упала руками на Витьку. — Ой, сынка!

— Спасибо людям, а то б... — сказал сипло Сенька и отвернулся. Отошел к Рябинке, стал отпускать ей чересседельник. Корова скосила глубокий, грустный и влажный глаз, и Сенька увидел в нем себя, на себя не похожего, и маманьку с Витюней, и двор весь, сарайчик с оторванной дверью. Слезинка выкатилась у коровы из глаза и остановилась. Отгоняя овода, корова ударила себя по животу задним копытом, застонала, вздохнула и грузно опустилась на мокрое прямо в оглоблях...

* * *

Теперь, когда один мой хороший знакомый — бесхозный ветеринар Семен Николаевич Гамузин — на своем двухцилиндровом «черте» пролетает во вторую бригаду, он нет-нет, да и завернет к тому самому логу, прозванному в поселке Гнедым. Постоит, поглядит с мосточка в пересохшую выройку и, сглотнув тугую слюну, распахнув грудь в матросской тельняшке, помчится проселками, стежками на дальнюю ферму.

п. Приволье

Дитя человеческое

По деревне прошелестела молва: Любка Крутилина родила негритенка. Эта новость вызвала в Клейменовой переполох, в каждой хате обсуждались Любкины действия. Знающие мужики уясняли: «Какого там негритенка — африканца. Эфиопа. Негры — те, что в Америке, завезенные». Бабы трещали свое: «Пигалица такая... моль... и нате вам, отчебучила. Такто отпускать дочерей своих в техникумы».

Больше всех, конечно, поражена была Любкина мать. Ну вышла, писала Любочка, за какого-то там иностранца, Господь с ними, любовь. А тут, — как сообщала в письме домой Дашка Медведева, лежавшая с ней в одной палате роддома, — родила черного, как смола. Агафья Степановна так и сомлела вся.

Через год Любочка примчала матери чадо и улетела тем же автобусом. Агафья Степановна взглянула на него, в белых простынях, так и присела, едва успела спросить:

— Нарекла-то как?

— А Степаном, — щебетнула Любочка.

— Степаном, — повторила Агафья Степановна и влага качнулась в глазах: с год назад у нее умер отец. Труженик из тружеников, человек из людей, тоже Степан. — Степан, — позвала она мерно сопящий кулек. — Гуль-гуль-гуль, Степа-а... Степушка-а-а... Ах ты, Степа, Степа — дитя человеческое...

Через год вместе с мужем Любочка окончила свой финансовый техникум и вместе с мужем отбыла в свободную Африку с твердым намерением стать в саванах крупным специалистом. Экономика, финансы — сейчас «нота и вена всей жизни». Об этом Люба сообщала Агафье Степановне в подробном письме. При чем позади шла приписка аршинными буквами: «Приедем, мама, на собственной «Волге».

Когда Агафья Степановна показала приписку соседке Федосье, та сообразила:

— Никак твой зятек приписал? — И добавила: — Как же, жди от них, от зятьев, завезет тебя на машине-то да и сбросит в кручу к чертовой матери.

Мужики в отъезде Любочки в знойную Африку находили иные моменты:

— Финансы поехала им там налаживать, — рассуждал Николай, муж Федосьи. — Она им наладит. Знаем мы ихние порядки, газетки почитываем. Там баб у каждого больше десятка. Люба у него, наверное, третья.

— Ты что! Очкнись, продери свои бельма, — одергивала Николая Федосья. —Любка тебе будет третьей, а?

— Да уж точно, наших клейменовских в тенек не усадишь, — пересмеивались дружки Николая. — Любка теперь у него это... за генерала.

Между тем Степка подрастал. Смуглый, вьюн такой, кучерявый, с серо-стальными Любочкиными глазами. И было ему уже около четырех. Агафья Степановна во всех бумагах называла его сыночком, причем в сельсовете однажды районный уполномоченный, из новеньких, хохотнул даже в кулак и проставил в нужной графе мальчонке — «мулат».

— Что хоть это такое — мулат? — как квочка, растопорщилась Агафья Степановна. — Сынок он мне? Сын! Пиши, стал быть, русский.

После этого разговора Агафья Степановна прибрала в хате все зеркала. Даже тусклое, рыжее, еще бабкино, трюмо, треснувшее наискось и все от старости в пупырышках, вытащила из угла и загнала на потолок. И все-таки видела, как мальчонка, бегая вместе со всеми, сунулся как-то к пруду, глянул и остановился, притянулся, пока не набежали детишки.

Однажды Степка влетел в хату гневный.

— Гаша! — закричал он с порога. Губки его вовсе взбухли, глазенки сверкали. — А чего они длазнят меня чумазый?

— Чумазый-то? — подлетела Агафья Степановна и положила тяжелую, темную от работы ладонь на кур-

чавинки. — Чумазый, сынок, хорошо... Чумазый вон дедушка наш, сосед Николай. Видал, какой? Тракторист. Чумазые хлебушек нам выхаживают, а мы едим его. Хороший хлебушек, да?

— Холосий хлебусек, — согласился Степка. — И тлакторист холосий. Я тлакторист... Я тлакторист! — полетел Степка на улицу.

С той поры и припало к Степке: «тракторист чумазый» или просто «чумазый».

Клейменовская мелюзга уносилась с утра босиком и в одних только трусишках на пруд, в поля, перелески. И все за лето так обгорали, что почти не отличались от Степки, все с головы до пяток чумазые. Вечером, смоленный беготней, Степка падал в постель и засыпал. Поуправившись, Агафья Степановна подсаживалась к нему, клала пахнущие молоком руки на щуплое Степкино тельце и шептала, шептала:

— Скоро вырастет Степка наш большой-пребольшой. Возьмет и уедет Степушка из деревни, забудет свою мамку Гашу, письма даже не напишет мамке, как наша Любочка...

И теплые бабкины слезы капали на голое черное тельце, и Степка шевелился, слышал родной голос и, приоткрыв глаз, хитро глядел сквозь ресницы, шептал так же тихо:

— А я от тебя никуда не уеду. Колмить тебя буду, когда станешь сталенькая... Хлебусек буду выхазывать...

Лучше всех встречали Степку на механизаторском стане. Он прибегал туда рано. «Сменщик наш пришел! — радовались мужики. — Тракторист наш явился». Степка знал уже все марки машин, куда какое горючее заливается, что каким маслом смазывается. Хмурил иногда брови, как это делал дедушка Николай, говорил бригадиру:

— Ты когда калбюррратор пледставишь?

И все вокруг хохотали, хохотал на Степкину выход-

ку и бригадир. Тогда Степка поворачивался ко всем, пожимал — серьезный — плечами:

— С этими запцястями плосто беда.

— Степушка... Степан! — вопили голоса. — Попроси мне пускатель... а мне пальцы на гусеницы... резину...

В полдень, в самый обед, по Клейменовой прошуршала белая «Волга», приткнулась к дому Крутилиных. Агафья Степановна была в это время на дойке, в лугах. Федосьина Зойка прилетела к ней запаленная, закричала еще вон откуда, с бугра:

— Тетя Гаша! К вам на «Волге»... дипломаты какие-то!

— Откуда хоть?.. Вынесла кого-то нелегкая, — забурчала Агафья Степановна и подхватила подойник.

Еще издали углядела белую «Волгу» у хаты и две фигуры в белом. «Мамочка!» —кинулась к ней женщина с высоченной махоткой на голове и припала к груди. Через плечо Агафья Степановна видела, как перед хатой собирался люд. Из палисадника вышел мужчина в такой же длиннополой одежде, а лицо — боже, ноченька темная! И тоже тянул руки, и тоже к ней: «Ма-мочка». Агафья Степановна озирнулась вокруг и нырнула в калитку.

Проворили на стол. «Где Степа хоть?» — допытывалась Люба, чистя картошку. «А на рыбалке, придет, — отмахивалась мать и делала страшное лицо, кивала на горницу: — Что хоть он ест у тебя?» — «А что и все», — смеялась счастливая Люба.

Собрались соседи. Сидели деревянные, словно аршин проглотили. Косились на Любу и ее мужа, как звать его... не запомнили. А Люба-то тоже, гляди, африканка. Завилась, сожгла солнцем кожу, навела губы.

— Вроде была из белесых твоя Любка-то, — сказала Федосья вслух через стол Агафье Степановне.

— Какая она её, она теперь вон чья, — насадил на вилку соленый свинух бригадир механизаторов Никодимыч и показал глазами на зятя Агафьи Степановны.

Агафья Степановна стоит на подхвате, в переднике, стоит и молчит. Горка курятины тает, квас шипит в кружках.

— Да я о чем? — вывернув пальцем мясную нить из зуба, отстраняется от стола Никодимыч и говорит в пространство прямо перед собой: — У некоторых народов до сих пор так: мужики едят — бабы стоят за спиной...

И косится в сторону Любы.

— Да ну! Да ты что, Никодимыч? — отстраняет булдыжку муж Федосьи, сосед Николай. — Где ж сейчас такой обычай найдешь? Похоронили, брат, с етим... с империализмом...

— Да он, подлюка, живуч, — упорствует Никодимыч. — Его похоронишь... Его, говорят, хоронят, а он встает и встает. В разных точках земли...

Разговор всех затрагивает, мнение разделяется: одни стоят за то, что империализм еще попортит кой-кому крови, другие — что к концу века закруглится как таковая проблема.

— Разрешите спросить, как вас... господин или товарищ, — приподнимается Никодимыч. — У вас лично в стране империализм до сих пор или как?

Любин муж смотрит сначала на Любу и улыбается, поднимает указательный палец:

— Республика.

— Видал-миндал? — торжествующе оборачивается Никодимыч к Николаю, мужу Федосьи: — Тоже, значит, республика? Вполне самостоятельный мужик, — заключает Никодимыч свое мнение и улыбается. И все отмякают, становится легче дышать.

— Вот ты скажи мне, — лез через полчаса Николай к мужу Любы. — Ты скажи, как тебя? Иван? Просто Ваня? А по батьке? И по батюшке Ваня? Иван Иваныч, значит? Неловко как-то... Иван Африканыч, во так! Да, скажите, Иван Африканыч: чем ты, извините меня, занимаешься?

— Я владею трактор, ферма, — поднял гость кудрявую голову. — Большая ферма.

— Владеешь? А как же респуб... тада? Ах, владеешь? — соображал Никодимыч. — Значит, ездишь? Как я? Как он, Николай?

— Как же, владеете, — перебила Никодимыча жена Николая Федосья. — А забыл, как в кручу спикировал, едва откачали?

«Африканыч» сидел, кивал головой и улыбался, гонялся вилкой за скользящими свинухами. И уже где на пальцах, где словом вызнали «коллеги», что с женой сообщается он по-английски, и она, значит, чешет по-ихнему; вылавливали у него слова «Килиманджаро» и «негус», соображали: кто ж она теперь, Любка-то, тоже «негуска» — «нерусская» или как?

В дверном проеме стоял запыхавшийся Степка. Агафья Степановна всплеснула руками:

— Степушка! Глянь, кто к нам приехал!

И Люба бросилась:

— Степка, сынок мой!

Степка спрятал лицо в ладони Агафьи Степановны, сверкал оттуда блестящими бусинками. Из-за стола поднялся отец, шел, протянув к Степке длинные, иссиня-черные руки, и говорил, говорил ему что-то. Степка ткнулся в коленки Агафьи Степановны, потом закричал и кинулся в дверь.

Все в доме пришло в движение. Любка убежала в спаленку, мать не знала, чем ее и утешить. И лишь за столом Никодимыч и Николай завершали полемику.

— Я говорю, — стучал Николай вилкой в стол, — дуб свою кожу знает. Вот тада поглядишь.

— А я говорю, Степка нашей кости, — стоял на своем Никодимыч. — Одно слово, наш... тракторист...

— Будя вам, дипломаты, — подошла к ним Агафья Степановна. — Языки бы на сук повесили. Вон налейте на посошок и валяйте отседа. Не вишь, дите мать свою не признало.

Николай с Никодимычем налили по граненому, крякнули, подошли в угол к зятю Агафьи Степановны, поклонились, передали привет всей его черной

Африке, пожелали, чтобы быстрее освобождалась она от всякого там империализма.

— Если что, — ухмыльнулся под мухой уже Николай, — мы баб своих вам подбросим. Империализму, будь спок, покою не будет.

И два друга-товарища заковыляли к двери. А в спаленке, скинув свой пестрый тюрбан, рыдала в подушку простоволосая Любка. Агафья Степановна стояла поодаль, вся сжавшись.

— Ты мне молодость загубила, — кидала слова-камни Любочка. — На лишнее платье, бывало, не дашь... А подружки и в атласах, и в крепдешинах. Надюшка Филонова у меня Витьку отбила, а я Витьку любила... люби-ила...

— Не реви, — наконец, разомкнула рот Агафья Степановна. — Я твово отца жду до сих пор, хотя вон она, похоронная. Уж больно ты прыткая.

— Ладно тебе, прыткая, — поднялась Любочка, слезы как рукой сняло. Говорила низко, словно мужчина. — Будешь учить меня жизни.

— Да где уж. Ты теперча грамотная, — вздохнула Агафья Степановна. — Степку оставьте, не забирайте. Прижился мальчонка, и всем по душе...

Ночевать Агафья Степановна ушла на сеновал. Степка вскоре отыскал ее, поднырнул под одеялку, прижался горячим ладненьким тельцем. Мысли Агафьи Степановны убегали вперед, в завтрашний день. Нет, она не отдаст его. Ни в какую. На что он им? Она его, крохотулечку, выходила, на ноги дальше поставит. Всей деревне Степка по нраву. А они еще родят себе... «Соберу завтра сальца, яичек — пускай уезжают...»

Сильные запахи сена путали мысли. Зашелестел дождик, на сеновал проник хлебный дух. Он рождался на буграх, пролетал по-над оврагами, попадал сюда в приоткрытую дверь. Хлебный дух, запах зреющей ржи. Степка зашевелился, задергал носом. «Ить тоже чует, —

обрадовалась Агафья Степановна. — Как дед... тоже был такой чуткий до хлеба...»

А дождь наддавал, пузырилось у входа. И мысли сбивались в густой узел — о жизни, о дочери, о невиданных землях. Нелегко Любочке там без нас. Оттого такая-то нервная... Попыталась поставить на Любочкино место себя, и тоска облила, захватила всю душу. «Ни дождя о ржаную солому не услышишь. Ни антоновских яблок, ни ржицы не увидишь. Одна, небось, тебе кукуруза». Агафья Степановна ворохнулась, закрыла глаза. «Надо завтра квасу отбить. Чтобы в нос шибал. Чтобы попомнил зятек и Клейменовку, и ее, Агафью Степановну».

— Спи, спи, голубок, — касалась рукой она жестких Степкиных кудрей.

с. Корсаково

Окно в Европу

Свекровь прислала Машеньке свитер домашней вязки из пуха белой ангорской козы. Машенька как прислонила его к щеке, так щека в нем и утонула. Свитер сверкал первозданной, снежнооблачной белизной. Машенька надела его, помолодела сразу лет на пять, карими глазками только поблескивала.

— Как раз к делу, — заключил в объятья жену Олег, — возьмешь его с собой в Питер. Там климат известный: ветра, мороз с сыростью, свитер тебе пригодится...

Машенька надавала своим мужчинам, Олегу и сыну Игорьку-третьекласснику, всевозможных домашних советов и все же в сильном беспокойстве за то, как они будут тут без нее, отбыла в Ленинград на целых четыре месяца повышать свою деловую квалификацию.

Общежитие оказалось на Васильевском острове — этакое старое, пожалуй, еще припетровское здание с низкими сводами, гулкими переходами, коридорами метров по двести. Комната ей досталась на четверых. Все собрались в тот же вечер. Во-первых, перезнакомились: Матильда Грезецкая из Сыктывкара, Светлана Сергеевна Шуба из Рязани, Варя Тулина из Читы и она, Маша Масленникова, из Орла. Во-вторых, Светлана Сергеевна тут же полушутя-полусерьезно толкнула речь о том, что не мешало бы кого-нибудь из них принести в жертву богам, поскольку волею всевышнего они вознесены на второй этаж, а могли быть и на первом, где и холоднее и возможно традиционное наводнение, ибо это все-таки Питер со всеми вытекающими из Невы последствиями, так как весна на носу, а тем более жертва такая необходима, что их теперешний дом своим внутренним и внешним обликом здорово смахивает на монастырь, у которого, как у всякого приличного монастыря, должен быть свой покровитель — святой, коему и надлежит отныне печься об их быте и

нравственности, дабы законные супруги не пострада...

— А в-третьих, не будем говорить периодами, — перебила Светлану Сергеевну Матильда из Сыктывкара. — Давайте, девочки, дадим клятву: хоть здесь не будем умничать, только сюда за порог — о работе... ну, о своих институтах, преподавательской деятельности, о диссертациях... ни звука. Все оставляем там, на курсах. А здесь у нас, как в салоне графини Шерер, только светские разговоры.

Предложение было поддержано. Матильду тут же перекрестили в Мотю, Варюшу Тулину принесли богам в жертву, выбрав старостой комнаты, развешали над изголовьями фото детей своих и возлюбленных, и жизнь в этом прекрасном, революционном, совершенно изумительном городе началась.

Машенька ринулась по театрам, музеям, концертным залам. Ее можно было понять: она училась в провинции и была здесь впервые. Прямо после занятий она бежала по театральным кассам, хватала билеты на две, три, четыре недели вперед — она теперь имела такую возможность, она здесь жила. Боже, сколько же тут всего! Она даже не подозревала. Музеи, товстоноговские спектакли, изящный ленинградский балет. Концерты в Большом зале филармонии, о которых только мечтала. Картины, знакомые по репродукциям, вот они, вот — только перейти через площадь, и, пожалуйста, Русский музей, Эрмитаж. И она может перейти сегодня, завтра, сию минуту, когда только захочет. Звуки русских симфоний смешались в душе ее с красками французских импрессионистов, реплики из «Ревизора» в Большом драматическом звучали на улице...

Машенька сунулась в кошелек, кошелек был пуст. Вспомнились театральные буфеты с пирожными, бутербродики с красной рыбой, икрой. До денежного перевода оставалась почти неделя. Эту ночь она провела беспокойно, в мучениях. Наутро, когда все ушли, а Матильда чуть задержалась, Машенька подошла к ней

и, чувствуя, как краснеет до самых корней волос, сказала, стараясь быть непринужденной:

— А у меня есть кое-что... интересненькое. Смотри, — и достала из своего рыженького чемоданчика свитер из пуха ангорской козы. Он сверкал первозданной, снежно-облачной красотой. Когда Матильда прислонила его к щеке, щека в нем так и утонула.

— Сколько? — спросила Матильда.

— А сколько дашь, — вздохнула Машенька и отвела глаза в сторону.

— Вот, — протянула Матильда три красненьких.

Вечером Светлана Сергеевна довольно прозрачно намекнула Варюше, что «театралка наша», наконец, выдохлась и теперь со своими театрами успокоится. Если Матильда в своем светлом, пышно взбитом парике, всегда модно одетая, производила впечатление человека с достатком, уверенной в себе, не без внимания к своей особе мужчин, достаточно ровной и жизнерадостной, то Светлана Сергеевна, хоть и была ей ровесница и кандидат наук, казалась потускневшей, чем-то обеспокоенной, язвила по поводу недостатков в общественной жизни и работы курсов, слегка брюзжала, но необидно, на всех остальных в комнате. Весьма оживлялась, когда говорила о своем муже — конструкторе, о двойне — пятилетних сынишках, без конца бегала по магазинам, на почту, отсылала домой посылки. Лучший и единственный костюм из кримплена приносил ей, в условиях холода и повышенной влажности, большие страдания, но она стойко переносила их, если не считать кое-какого ворчанья, которое вполне можно было отнести на счет вполне объяснимой тоски по дому. Машенька упрекала себя в том, что она, пожалуй, не так любит свой дом и домашних, как Светлана Сергеевна, даже слегка ей завидовала, когда видела ее в очередной раз на почте, но ничего, кроме писем через день да различных видов Ленинграда, наборов открыток и просто использованных театральных билетов, предло-

жить мужчинам своим не могла, и оттого чувствовала свою вину перед ними и потому любила их с каждым днем и скучала по ним все больше.

Варюша у них была «божьей коровкой»: создал же бог человека без единой отрицательной черты. Светленькая, плотненькая, небольшого росточка, копия Александры Пахмутовой. Более доброго, ласкового человека Машенька в жизни своей не встречала. Прислали из Читы Варюше багульник — тут же раздергала каждой по веточке, как ребенок, прыгала, когда он вспыхнул на тумбочках в банках ровным фиолетовым пламенем. Машеньке жаль Варюшу: Светлана Сергеевна уже съездила в свою Рязань, Мотя в свой Сыктывкар собирается, даже она, Машенька, может в любой момент сесть в скорый, что идет на Кислые Воды, одна ночь — и она в Орле, дома. И только Варюша не может — дорого, далеко. Такова судьба сибиряков...

Деньги Машенька теперь считала-рассчитывала, но все равно от соблазна не удержалась: билеты попались дешевые, всего по рублю, в молодежный народный театр. Она купила билеты на всех.

— Девочки, — говорила в тот вечер Машенька, — вы же совсем-совсем темные. Что же вы за преподаватели, если не хотите знать, чем живут студенты в столицах?

На спектакль «Сто братьев Бестужевых» поехала даже Светлана Сергеевна. В студенческом общежитии, на одном из этажей, при дрожащем свете свечей, декабристы бросали вызов царям, всходили на эшафот, уходили, звеня кандалами, в Сибирь, но последнее слово было за ними, друзьями свободы и Пушкина. Звенит все в Машеньке. О, если бы видел все это Олег, слышал бы Игорь! Сегодня у нее был пушкинский день. Экскурсия в автобусе по Фонтанке, поездка на место дуэли поэта — на Черную речку, его квартира на Мойке, сам Пушкин перед Русским музеем с откинутой, вдохновенной рукой, в движении к живой, неубитой России: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы...»

— Ах, девочки, — сказала взволнованно даже Светлана Сергеевна, когда они возвратились в свой «монастырь», — как это здорово!

Нет, сразу спать было решительно невозможно. Уже в постели, облокотясь на подушку, они переживали перипетии трагедии декабристов, картины их самопожертвования.

— А вы заметили, в пьесе совершенно отсутствуют женские роли, — приподнялась в возбуждении Машенька, задела и уронила с тумбочки Матильдин парик. — Как будто автор не знает, что были в природе Волконская, Трубецкая, Муравьева-Чернышева... Интересно, как поступили бы мы на их месте, поехали бы за мужьями в Сибирь? А, Матильда?

— Ты мне не то что парик, — подняла его с полу Матильда и положила опять на тумбочку, — голову скоро уронишь... Откровенно? Я бы, наверное, не поехала, нет. Не вижу, родная, смысла в бунтах. Ну чего они, декабристы, добились? Царь закрутил гайки, заморозил Россию на десятилетия, до Крымской кампании. Нет, не по мне это.

— Какая же ты... консерватор! — задохнулась Машенька от обиды. — Тебя хоть на трон с Николаем рядом сажай. Царица! Из-за таких и топтали...

— Светлана Сергеевна, —томно, низким голосом сказала Матильда, — скажите хоть вы ей: вы-то ринулись бы очертя голову?

— Мне нельзя, девочки, — вздохнула Светлана Сергеевна и сняла очки. Смотрела на всех подслеповато, с жалкой улыбкой.

— Ну да, вы хотели бы, как Трубецкой, — была к ней безжалостна Машенька. — Отсидеться в квартире, а потом, когда ясно... выйти на Сенатскую и возглавить.

— Мне нельзя, — повторила с усилием Светлана Сергеевна и повернула к Машеньке глаза, полные слез. — У меня двое маленьких и муж... слепой.

— Да что вы все — Сибирь да Сибирь! — вспыхнула

кнопка Варюша. — Да вы приезжайте в Читу к нам, взгляните, как строят в Сибири сейчас, как живут... Какие масштабы! По декабристским местам — Баргузин, Акатуй, Петровский завод — теперь на экскурсию ездят. Всех на лето приглашаю к себе. Приезжайте. Отвезу вас в тайгу — к медведю, багульнику. На Тынду, на строительство БАМа...

— А кто, девчата, больше всех по дому соскучился? — спросила Матильда и засмеялась: — Наверное, Машенька. Скучает, переживает, а мне достается: в царицы определила. Ты бы, Машенька, выхлопотала мне в Зимнем дворце подходящую комнатку. Прописку свою я, пожалуй, не прочь сменить на ленинградскую...

— А летний дворец, Екатерининский, в Пушкино, не изволите осчастливить, Ваше Величество? — расшаркалась перед Матильдой Варюша, эта вертушка Варюша, и подмигнула Машеньке: — Они в Екатерининский не изволят, поскольку дворец после немецко-фашистского варварства отремонтирован пока лишь наполовину. Жизнь в нем умалит достоинство их августейшей особы.

— Ну, девочки, спать, — сказала строго Светлана Сергеевна. — Выключаю.

— А все же я бы, наверно, поехала, — вздохнула Машенька.

— Куда это?

— А за ними... в Сибирь, в неизвестность.

— Ну ты у нас прыткая, — потянулась к выключателю Светлана Сергеевна. — Спи.

Утром их разбудила песня. За окном проходили строем солдаты, залихватски, с посвистом и подголосками взвивалось по улице:

— Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?..

— Эй, жены! — раздался громкий голос Светланы Сергеевны. — Подъем! Проспали все царство небесное, вот оно, как ходить по театрам.

Спохватились: в самом деле, проспали. Машенька с Варей улетели пулею первые, у них сегодня была эстетика, занятие в Эрмитаже, а Светлана Сергеевна с Матильдой задержались: все равно на вторую пару часов.

— А у меня есть кое-что... интересное, вот смотрите, — достала Матильда из блестящего, плотной кожи коричневого саквояжа пуховый свитер. Он сверкал первозданной, ангорской, снежнооблачной белизной. Светлана Сергеевна прислонила его к щеке, щека в нем так и утонула.

— Сколько? — загорелась Светлана Сергеевна.

— Сколько дадите, — сказала Матильда и показала три средних пальца и половину большого.

— Вот, — протянула ей деньги Светлана Сергеевна.

Матильда сунула деньги в карман и заторопилась, чтобы успеть в Гостиный двор, в отдел трикотажа, где вчера присмотрела совершенно немыслимую английскую кофточку с благородной серебряной нитью как раз за тридцать пять.

Свитер Светлане Сергеевне, конечно же, нравился, но уже к вечеру она стала прикидывать бюджет: посылку, выходило, в этот раз домой не пошлет, не из чего. Скверное дело. Что же придумать? «Надо пресекать в себе эгоистические чувства ради близких», — решила она и с нетерпением ждала окончания занятий, вечера, Варюши, у которой, по всей видимости, еще были кое-какие сбережения.

Варюша прилетела раньше Машеньки, Машенька по пути заглянула в Исаакий.

— Варюша, — позвала ее Светлана Сергеевна, чувствуя, что у нее сейчас не свой голос: никогда в жизни не продавала вещи. — Варюша, а у меня что есть... интересненькое, — сказала она совершенно фальшиво («как это нехорошо, даже в жар бросает»). — Вот, смотри, — и достала из своего старенького, видавшего виды чемоданчика свитер — пух ангорской козы. Он сверкал, он блистал, словно облако. Варюша притронулась

к нему и отдернула руку, думала с тоской о деньгах, которые тают у нее здесь баснословно быстро, а платят ей тут, как и всем, без надбавки, а она из зарплаты берет себе лишь половину, другую половину отсылает маме обратно в Читу и в Улан-Удэ брату-студенту. Но Светлана Сергеевна смотрела на нее так грустно, а свитер был так хорош, что Варюша не выдержала:

— Сколько?

— А сколько дадите, — поняла ее затрудненья Светлана Сергеевна и со стыда отвернулась, показала два средних пальца и половину большого.

— Вот, — протянула ей деньги Варюша.

Она положила свитер в свою большую хозяйственную сумку с четырьмя ручками, купленную здесь по оказии, и стала ждать подходящего случая, чтобы блеснуть в комнате перед девчатами.

А вечером затемпературила Машенька. Целую ночь ее бил страшный кашель, съедал жар. Температуру к утру сбили антибиотиками, а кашель продолжал сотрясать. Светлана Сергеевна запретила ей идти на занятия, сама бегала в соседнюю аптеку, принесла кучу лекарств. На другой день Машеньке стало немного лучше, надо было идти на занятия.

Она выпила на дорогу крепкого чая, надела демисезонное пальтецо, укутала грудь легким простеньким шарфом. За окном была обычная для марта василеостровская погодка: дождь со снегом и ветер.

— Нет, я тебя так не пущу, — сказала Варюша и живо нырнула к себе под кровать, вытащила свою знаменитую сумку с четырьмя ручками.

— Вот, — достала она белый, сверкающий, совершенно немыслимый свитер — пух ангорской козы.

— Ох! — качнулась Машенька, и едва удержалась за шкаф. — Твой? Какой же красивый.

— Надевай, надевай, — хлопотала Варюша. — Не стесняйся, ни разу еще не надеванный. Нравится?

— Нравится, — хотела улыбнуться ей Машенька, но улыбка — она это чувствовала — не получилась.

— Бери, — сказала Варюша. — Если хочешь, бери насовсем, а деньги потом. Когда будут.

— Сколько? — спросила Машенька.

— А сколько дашь, — повела Варюша плечом и посмотрела на Машеньку вопросительно, показала ей два средних пальца.

«Неужели он нехорош? — думала о своем свитере Машенька. — Или я ничего не понимаю? Ведь он стоит, если на рынке... рублей пятьдесят. Я Матильде продала за тридцать, а ко мне он вернулся через Варюшу и уже почему-то за двадцать. Странно, неужели он нехорош?» И она прислонила его к щеке, и щека в нем так и утонула. Он оказался как раз по ней, выделил ее тоненькую фигуру, и она в нем помолодела сразу лет на пять, карие глаза только поблескивали.

— Машенька! — всплеснула руками Варюша. — Хорошо-то как, ну ты прямо царица.

— И теплый, как печка, — улыбалась счастливая Машенька.

Вот он, свитер, ее мягонький, козий свитер, мамин подарок.

Утихали волненья, Машенька вдруг подумала, что заболела-то, наверно, от переживаний: как получила письмо от мужа, так почти сразу и заболела. Олег сообщал, что они с сыном едут к ней: он — от завода, в командировку, Игорек — на каникулы. Теперь все позади, не придется краснеть. То-то вышел бы номер, если бы Олег вдруг увидел свитер, связанный его матерью, на Варюше. «А Варюша наверняка бы поехала за ними, декабристами, в Сибирь, — подумала Маша, радостная, возбужденная, вся в предчувствии приезда своих, и вдруг вспомнила: — Да ведь она живет там, в Сибири. Интересно, может, какая ветвь, потомство от декабристов? Ну хоть веточка, хоть в девятом колене...»

Словно сон, увидела утром Олега в двери, за ним Игорька в новой заячьей шапке.

— Ах вы, родные мои, любимые, — обнимала их Машенька и целовала, ласкала, не стесняясь подруг. — Князья мои, дубиннички наши орловские... А я вас только завтра ждала.

— А мы сегодня решили, — Олег поставил чемодан к ней за шкаф. — Мы в воскресенье. — И шагнул из-за шкафа, забасил, загрохотал на всю комнату: — А ну, где тут у вас прорубают окно в Европу? Прошу в проект инженером.

Все проснулись, зашевелились.

— Где, где прорубают? — вертел головой Игорек, готовый все здесь увидеть, все запомнить и записать.

— Подрасти, княже, — потянувшись к тумбочке за париком, засмеялась Матильда.

С.-Петербург, Васильевский остров

Кастальский ключ

— Кастальский ключ... Что это такое? — спросил его сын, большой дока по части всяких словечек и выражений.

— Идем, — сказал отец, и с Невского проспекта они свернули на боковую улицу. Прочитали: «Большой зал филармонии». Вошли в дверь и увидели кассы.

— Извините, — сказал отец в окошко неожиданно громко, Митя услышал, как голос его непривычно дрожит. — У вас сегодня «Шестая патетическая». Окажите любезность, мы с сыном приезжие... Нельзя ли всего два билетика...

— Я постараюсь, — ответили им из окошка и куда-то ушли. Минут через пятнадцать тот же голос произнес: — Вы родились в счастливой сорочке, вот вам два входных.

— Вот и отлично, — облегченно вздохнул отец и наклонился к сыну: — Чайковский вечером тебе и ответит, сам Петр Ильич...

Первый день в Ленинграде и попасть в филармонию на Мравинского — это было прекрасно. Когда подходили к билетерше, строгой, в голубом нарядом костюме, оба почему-то заволновались. Сын протянул билеты, ладони его отсырели.

— Музыкант? — улыбнулась ему билетерша.

— Да-да, пианист, — закивал он с готовностью и, пожалуй, впервые за свои прожитые двенадцать лет понял, что не зря ходил в детскую музыкальную школу, хорошо, что не бросил ее.

Поднимались по мраморной лестнице вверх, в царство музыки. Сын подумал: «Вот бы взлететь одним махом», а отец: «Этот мрамор мели шлейфом княгини». Зал их встретил праздником света: сияли по центру большие хрустальные люстры, интригуя, прятались за колоннами боковые хрустальные, и колонны

сияли — стройные, беломраморные, и люди сияли — было уютно, радостно, хорошо.

И тут они увидели своего земляка. Удивительно, за тысячи километров от родного Заокска, в многомиллионном городе, в одном зале, на концерте симфонического оркестра увидеть своего земляка. И хотя в Заокске они даже не здоровались, встречали его иной раз на улице, знали, что он ведет в городе музыкальный лекторий и что у него богатая личная фонотека, Митя тут же подлетел к нему, а Илья Серафимыч поклонился с почти юношеской пылкостью.

— Рад вас видеть. И где! Замечательно, — засмеялся земляк и пошел, как бы прогуливаясь, рядом. — Видите ли, в любом месте в наши дни можно духовно расти — это мое убеждение. Пожелал черпнуть культуры полной горстью — поезжай в Москву, Ленинград, они тебе не за тридевять земель. Не любишь ездить — черпай то, что имеется. Тут же, поблизости.

Отец купил программу. Прислонившись к колонне, они с Митей читали: «Шестая симфония П. И. Чайковского — величайшее достижение композитора... Написанная перед самой кончиной, она поистине трагедийна, наполнена борьбой темных и светлых сил... Первое исполнение не встретило понимания современников...»

Илья Серафимыч помнил этот зал, эту симфонию еще со студенческих лет. Тогда, купив билет на медные деньги, они стояли именно здесь с Наташей, Натальей Ростовцевой — его однокурсницей. Девятая справа колонна. Она, Наташа, уехала от него к другому, в Москву, оставив ему сына: «Потому что слишком похож на тебя». Он должен был выстоять, но где же взять силы?.. И вот теперь он с Митей здесь, у этой девятой справа колонны, в городе, где были они с Наташею когда-то счастливы...

Вспыхнули аплодисменты: выходил и рассаживался оркестр. Пышная шевелюра гастролирующего в Союзе пианиста-француза качнулась в низком поклоне, белые манжеты взлетели над головой дирижера. Скрипки взвились и унеслись, прорезались духовые; сквозь черные тучи и проблески света рвется, клокочет, взывает к небу душа, полная чистоты и отчаяния. Илья Серафимыч чувствует холод мрамора, тепло прижавшегося к нему сына и закрывает глаза. Он не профессионал, ему не нужно подмечать ни дирижерских акцентов, ни асинхронности пианиста. Он слушает себя самого, свою и ту, гениальную душу, которая входит в него, слагаясь из звуков, полных любви и страдания.

Да, в этом городе они были с Наташей когда-то счастливы. Вот они, старшекурсники, без пяти минут врачи, в Пушкине, Екатерининском парке. Ветер задирает деревья, меняя гамму тонко подобранной зелени, обнаруживая за ветвями дворец. Наташа ловит каждое движение Ильи, каждое слово, она любит его и будет любить до конца своих дней за пылкость характера, за то, что он откроет новые средства борьбы с полиомиелитом, облегчит страданья детей. Она любит его... Потом он всегда вызывал в памяти то, бесконечно далекое время, Екатерининский парк и ее, Наташу, в скользкой шелковой кофте...

В Заокске он, конечно, не открывал америк, не изобретал сывороток против полиомиелита, за него это делали институты. Он был просто врачом, обычным человеком в житейской стихии, честно делающим свое дело, — разве этого мало? После того, как Митя подрос и пошел в детский сад, жена увлеклась театром, пересмотрела весь местный репертуар, потом взялась за живопись.

Павел Мирский появился в их доме вместе с женой — тоже Наташей, для отличия — Нателлой, милой, худенькой, вечно озабоченной женщиной, и сразу же заполнил собой их квартирку, стены, кажется, стали дрожать от его баса. Илья прозвал его про себя «луженой глоткой». Любимым коньком Павла были импрессионисты, он знал и читал с удовольствием поэтов этого направления — Рембо, Бодлера, Верлена, мимоходом мог сказать, как, к примеру, Клод Дебюсси сумел создать нечто подобное в музыке и увлечь, между прочим, нашего молодого Стравинского.

— Вы говорите так, будто у нас в то время не было собственного искусства, — возразил ему однажды Илья Серафимыч. — А постановка Михаила Фокина балета «Жар-птица», а Шаляпин в «Борисе Годунове», а «Половецкие пляски» в «Князе Игоре»? Наконец, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский... Изысканному искусству мы противопоставили поэзию жизненной правды, полную драматизма, борьбы...

— Ты просто злишься, — сказала ему впервые резко Наташа, когда Мирские ушли. — Павел — настоящий художник, он эрудирован, обладает завидным вкусом, чутьем.

И это было началом конца...

Илья Серафимыч вздрогнул: мощные звуки оборвали воспоминания. Здесь Чайковский напряг все оркестровые силы, даже литавры едва пробиваются сквозь исступление звуков. Вдруг напряжение спадает, гобои ведут свою партию пианиссимо умиротворенно, готовя вступление скрипок. Итоги жизни, вершина борьбы...

«Как хорошо быть ребенком, — думает Илья Серафимыч, — только детство счастливо и безотчетно».

— У этой колонны мы стояли когда-то с твоей ма-

мой, — шепчет Мите Илья Серафимыч и отворачивается, и его слезы стекают Мите на плечи, на шею, на пальцы. Митя вздрагивает, пожимает ему руку ответно. И снова взвиваются скрипки, мечется фортепьяно. «Ну почему так? — с тоской думает Митя. — Папа и мама... ведь оба хорошие... Он обманывает меня, она не в командировке, она даже не пишет, хотя пошел уже третий месяц... Когда я был совсем маленьким, папа нес меня до самого леса на плечах, а мама подпрыгивала сзади, шлепала сзади ладошкой, смеялась: «Худой горшок, худой горшок!» Потом он, Митя, гонялся за бабочками, мама, раскинув руки, лежала в ромашках, а папа срывал с них лепесточки... Они думают, что мы, дети, — дети, а они, взрослые, — взрослые... Мама сначала не хотела, чтобы к нам приходил дядя Павел, а папа говорил: «Нет, почему же?..» Чайковский допишет это произведение и умрет, он все же понимает, но не хочет смиряться, все у него сражается — флейты, тромбоны, скрипки, даже английский рожок, лишь молчит фортепьяно. Папа тоже молчал, а надо было сражаться — за всех, за себя, за нашу маму... Мамочка! Напиши мне письмо, ну, пожалуйста...

Оркестр на мгновение сделал паузу. И снова — звуки, в ритме железная четкость, отчего мысли и чувства, охватившие Илью Серафимыча, делаются похожими на солдат. Раз-два-три, раз-два-три.

— Митя, — кладет руку на плечо сыну Илья Серафимыч. — Завтра поедем проведаем дедушку, он погиб где-то тут под Ленинградом. Поедем на Серафимовское кладбище... как будто к нему...

— К дедушке Серафиму? Поедем, — ищет Митя рукой руку отца.

Последняя часть симфонии, как и начальная, снова в метаниях и борьбе. Человек молит о помощи, взывает к людям, и светлые, акварельные звуки, ра-

створяя мрак, вещают победу Добра, вызывают новые образы, обретение новой, более сложной гармонии.

— Вы хоть что-нибудь понимаете? — трогает Митю за локоть их земляк из Заокска, он стоял у восьмой колонны, подошел и встал рядом.

— Ага, — сверкает глазенками Митя.

«Они думают, что они, взрослые, — взрослые, а мы, дети, — дети, — переминается Митя, и паркет под ногами скрипит. — Скорее бы стать большим. Писать тоже симфонии, сидеть за роялем с оркестром... Если бы я был моим папой, я бы не стал играть в кошки-мышки с дядей Павлом, я бы сказал ему еще тогда... когда на Новый год он танцевал с нашей мамой... чтобы он к нам больше не приходил. Или раньше сказал бы, раньше, когда мама ходила смотреть картины к нему в мастерскую... Или еще раньше, когда она говорила папе, что папа, «как тумба, не сдвинешь с места, с ним можно рассчитывать лишь на деревню». А куда из Заокска нам и зачем? Я в Заокске родился... Папа у нас добрый, хороший, но только, говорят, слабохарактерный. Чайковский — я читал — был тоже вроде нашего папы...»

Пианист поднимает руки, выжидает момент, бросая пальцы на клавиши, рассыпает тысячи звуков. Затихая, они тонут в оркестре, Мите вспоминается музей в Клину: зеленоватый фрак композитора, дирижерская палочка, золотеющие книги под стеклом и черный концертный рояль. Митя не удержался, улучил минутку, толкнул мизинцем клавишу — послышался одинокий, трепетный звук. Митя вздрогнул: рояль был настоящий. Интересно, какой марки на сцене рояль? У них в музыкальной школе фирмы «Беккер».

Отец стоит, прислонившись щекой к колонне, и не чует прохлады. Все ко всему привыкают, привыкнет

к своему состоянью и он. Наталье нужен идол, он перестал быть для нее идолом, стал в этом мире слишком обыкновенным, потерялся в массе, растерял все. Женщина верит в силу, в мужество и человека, которому по плечу устройство собственной жизни и жизни близких. Пока современные, железные ритмы не скрутили его, она готова идти рядом, быть вместе, любить. Наталья ушла от него к более сильному. Женщина не понимает, что тем самым становится рабой своих чувств... В институте у нее было двое: он, Илья, и Вадим. Она предпочла его, Илью, и сокрушалась потом (он видел это), почему не Вадима. А если бы тогда предпочла Вадима? Никогда нельзя поручиться, что до конца знаешь даже собственную жену. Он где-то читал: женщина, что тень: ты к ней — она от тебя, ты от нее — она к тебе... Но отойти от нее уже поздно: Наташа ушла...

Сын стоит, прислонившись к отцу, и чувствует его живое тепло. Если бы он, Митя, стал на минутку волшебником, он бы сделал всех на свете счастливыми, как счастливы сейчас все в этом зале. Он видит лица — они, люди, счастливы. Он бы сделал все, чтобы не мучился папа. Папа молчит, но Митя знает: он мучится. Митя сделал бы так, чтобы у этой девятой справа колонны оказалась сейчас и мама, как тогда, когда его, Мити, совсем еще не было. Он бы сделал так, чтобы не страдал, не бился в трагических звуках любимый человек — композитор Чайковский. Не страдал бы? Но тогда бы не было музыки, этой симфонии. «Шестой патетической». Не было бы в зале этого счастья на лицах, не было бы папиных слез, упавших ему, Мите, на шею, не было бы их с папой у этой колонны, не было бы самого зала, филармонии, не было бы ничего. Звуки льются потоком, бесконечной струей. Бьется, мучится в звуках душа композитора, сжимает его, Митину, душу.

— Ты понял, сын, что это такое — кастальский ключ? — сказал отец, когда они вышли на площадь.

— Понял, — ответил Митя. — Это ключ, которым лишь... открывают.

— Да, сын, открывают в себе вдохновение, — сказал Илья Серафимыч.

Перед ними высился бронзовый Пушкин, светлел в отдалении Русский музей, мерцали непостижимые звезды. Невский проспект терял свой железный ритм, машины и пешеходы редели. Илья Серафимыч поискал глазами привычную букву «М» — метро: надо было ехать в сторону Александро-Невской лавры. Спускаться в помещение не хотелось, хотелось постоять, подышать свежим воздухом.

— Одно из созвездий Зодиака — созвездие Девы, — сказал отец, Митя насторожился. — По древнему мифу, дева Астрея с горя покинула землю, когда миновал золотой век.

Митя не шевелился. Он думал о маме.

— В золотой век, — вздохнул отец, — все были счастливы.

— Откуда они знали, что были счастливы? — сказал Митя.

— В поэме «Труды и дни» столь великий, сколь древний грек Гесиод, —продолжил отец, — воспевал золотой век, когда люди не знали ни горя, ни старости, ни тяжелых трудов. В серебряном веке детство длилось столетие, седовласые старцы были юны душой. В медный век люди надели доспехи, начались войны. Это поколение родило героев. С Гесиода начался железный век...

— Папа, — повернул к нему Митя глаза, полные слез, — значит, золотой век был и уже не будет?

— Будет, — сказал отец твердо и вздохнул, — а иначе зачем тогда жить... Сейчас мы с тобой слушали «Патетическую». Свой золотой век мы собираем крупинками.

Пролетали такси, взялся сеянец-дождь. В Москве буква «М» — ярко-красная, здесь непривычная, синяя. Синий — цвет этого города. Цвет синего моря и синей Невы. Синий неон облекал в пепельно-серое угол Гостиного двора, лица редких прохожих, мокрые ветки. В городе мало деревьев, город красит себя металлом и камнем. «На ночь мосты в Ленинграде разводятся, — всматривался в даль проспекта Илья Серафимыч, — чтобы прошли корабли. Днем же их снова сведут».

г. С.-Петербург, Большой зал филармонии

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

Зеркальный эффект

В низенькой светелке

Окошко светится в хатенке, а в окошке — бабушка Митревна. Божий одуванчик, в чем только душа. Топчется на солнышке с зари до зари, пока солнышко за ракиту не спрячется. Смотрит бабушка Митревна с краешка деревни Бездонной на дорогу, по какой сыночка — последыша ее Володьку, казачка молодого бездонненского, в Чечню на войну увозили. Старшие развеялись по городам и весям, а младшенький туточки в Бездонной с ней проживал, под самым ее материнским сердцем...

— Ты чего, Митриевна? — проходит мимо Хорунжев Василий Димитрич, тоже из казаков, глава местной администрации. — Чегой-то ты потемнела? Личико-то, как яблочко, гляди, испеклось.

— По сыночку плачу, — качается-раскачивается в окошке бабушка Митревна, в самом деле, личико с кулачок. — По Володьке все плачу-то, по сыночку горюю.

— А чего плакать? — важно этак говорит главный тут на деревне Хорунжев. — На высоком месте твой сын, — в Хомутово! Где, мать, все наши герои.

— Об одном, сыночек, хочу тебя попросить, — утирает глаза бабушка Митревна. — Сюда бы к нам на бездонненское на кладбище-то прах Володькин бы перенесли.

— Нельзя, мать, — сочувствует ей Хорунжев и твердеет голосом. — В районном центре твой сын, на мемориале! На погляд всего района, для всех лежит, поняла?

— Дойдить туда не дойдешь, ноги с кажным днем слабнуть, — перестает бабушка Митревна блестеть глазенками маленькими своими, выплаканными своими, вытирая их насухо концом бесцветного, застиранного головного платка. — Сюда бы, под бок матери, великая просьба, низкий материнский поклон.

— Не слыхала? В Гималаях, говорят, обнаружен, мать, генофонд всего человечества, — заключает Хорунжев и проходит далее по своим неотложным делам.

А бабушка Митревна из окошка назад к себе в хату. «Генофонд... человечества... Слова-то какие находит Хорунжев», — движется она по светелке, не скрипят под ней половицы — легка больно стала, безвесна и бестелесна, скоро к Богу, туда, где и все. А под Володькой скрипели. И под девками, под Володькиными ухажерками, тоже скрипят. Являются пока что, проведывают. Завмаг Зиночка-Зинаида хлебца свеженького, слава Богу, приносит. А Галина с фермы молочка ей сюда кой-когда. А Валюшка, учительница, Валентина Сергеевна, полы мыла с порошком каким-то до желтизны. Вот в светелке и чисто, светло, боголепно...

«А чего это «генотип» означает? И где это в Гималаях? — шевелят слова всякие душеньку бабушке Митревне. — Это, наверно, где собираются восточные люди на «хадж», — так по радио говорят. А она, бабушка, как зарыли Володьку, так и ни разу там, в райцентре — в Гималаях у них, не была. — Как бы это сходить, проведать Володьку. Недалеко тут, километров за двадцать, Гималаи-то эти. Молодой была, как челнок, шмыгала туда-сюда. То яблоко на базар, то корзину вишенок. Детишкам на одежонку, на книжки. А ныне автобус не ходит уже второй год, отменили...»

Прошлась по светелке бабушка Митревна, поглядела на фото Володькино, поправила его на тумбочке, чтобы тверже держалось. Эх, держава ты, наша держава, держись! На Володькиных-то костях, на слезах ее материнских... Ущипнула бабка хлебца Зинкиного, молочка с фермы Галькиного отхлебнула — этого ей теперь на неделю. И назад к окошку, в окошке торчать. Глядеть на дорожку Володькину, куда увезли его и не вернули...

— Бабушка, — говорят, проходя мимо нее, школяры-казачата, — мы все к тебе завтра придем.

— Приходите, приходите, — кланяется в пояс им бабушка Митревна. — Да с утречка пораньше. А не то к закату уж за ноги оттянут, отволокут.

А вместо казачат назавтра приходит опять же Хорунжев.

— Вишь, мать, — достает он из кармана коробочку, — чего я тебе охлопотал? — И вешает ей на кофточку это... как бы с бесцветной, застиранной ленточкой...

— И что же это?

— А орден Красной Звезды. В военкомате дали за Володькины подвиги.

И сидит теперь бабушка Митревна в окошке своем в хатенке, что на краю Бездонной, не просто так, а с орденом на своей бесцветной кофтенке. Сидит и глядит на дорожку Володькину. И вспоминает все да никак не вспомнит, не держится в памяти Гималай этот — Мемориал, где лежит-то сыночек, «дорогой мой, поскребыш, последненький... с кем бы я доживала... кто бы кружку к постели подал... кто сам бы меня к отцам-матерям на погост проводил... Володька — сынок мой, сыночек...»

Сидит бабушка Митревна в окошке к дороге ликом своим, изнутри испеченным, совсем что-то стала плохая. Тело с утра гудит, как мешками побитое. Не дойдешь до Гималая-то, до районного центра, по светелке пройдиться и то ноги вихляются. Глядит бабушка Митревна на ракиту, аккуратную такую, поглядистую, и ждет над макушкой ее озарения. Первой такой вечерней, аккурат красной звезды. И звезда озаряется зорюшкой призакатной. Этот кончик неба видишь с Володькиным обликом, а звезда алая — в самом сердце ее.

— Еще один день прожит с Володькой, — сухими, бумажными губами шевелит старушка. — И, слава Богу, переволоклась в другой день. Это звезда не дает мне упасть, как и всей нашей Бездонной. Царствие небесное смотрит на нас живым зраком, каждого надо заметить, ить не каждого Господь забирает к себе туда так высоко.

«МАДАМ КЛИКО»

Она всегда обожала шампанское. Не просто какое-нибудь шипучее, ординарное, а настоящее, из Франции, из департамента Шампань-Арденн. В крайнем случае, из всего остального нашего отечественного предпочитала «Абрау-Дюрсо», чтобы дно темной бутылки было не плоское, а дутое, вогнутое вовнутрь. Ныне Екатерина Власовна является исполнительным директором, вращается в высших кругах и может, в конце концов, себе это позволить. Бывало, из заграничных командировок коллеги везут барахло, тряпье всякое, на что она только морщится. В ее саквояже всегда лежала пара красивых бутылок с настоящим «Мадам Клико». А когда ситуация изменилась и все теперь можно и тут купить, она и покупает «Мадам» в своей собственной стране. Это ее единственная слабость. От шампанского она впадает в эйфорию, в этакую мечтательность, а от предложенных денег, бывало, в ярость. И все это знают, и потому в табеле о рангах Екатерина Власовна ценится высоко.

Она совершенно одинока. Когда в автокатастрофе погиб ее муж вместе с детьми — совершенно очаровательными существами, младшему из которых было пять, а старшенькой — восемь, она попала в больницу. Оттуда ее вытащили воспоминания и эта «Мадам Клико». Они с Николаем учились в Питере, в одном институте — на финансистов, когда это было еще не престижно. Это он, ее Клюковской, нашел ее, выделил из всех.

— «Мадам Клюко», — однажды принес Николай, коренной ленинградец, в общагу к ней бутылку шампанского — настоящего французского, с почти одноименным названием, и тем завоевал ее сердце.

Фирменным стало оно, семейным; «Мадам Клюко» — для них, Клюковских, «Мадам Клико» — для всех остальных. И это была тайна, их ключ семейный, о чем знали только они.

Сначала Клюковские жили в районе, где ее выдвинули первым руководителем, а он был по-прежнему управляющий банком. Уже тогда ее, еще такую молодую, за глаза звали Матерью. На Руси извечен культ Материнства, Божьей Матери, а не как, скажем, в той же Франции, где извечен культ рыцарства, Прекрасной Дамы, культ обожания и любви. Где уж тут быть прекрасной. Намотавшись по полям, она возвращалась домой пропыленная, сожженная солнцем до костей. Дома муж с детьми, этими «очаровашками», встречали ее приготовленным ими ужином, иногда с «Мадам Клюко» — напитком семейным, из клюквы.

И вот уже целых пять лет, как их нет. Она заставила себя жить. В кулак сжалась, заглохла вся в своем материнстве. И, если бы не эта «Мадам», что было бы с ней? Теперь тут в городе, на работе, за спиной ее иногда называют еще и Тэтчер, «железная леди», — не столько за чисто портретное сходство с баронессой, сколько за сильный мужской характер.

Она поднимается на свой четвертый этаж. Не лифтом. А, как всегда, по ступенькам. Пятьдесят четыре ступеньки. Вертикальный стадион. Рабочий день позади. Все лица, лица — мужские и женские, больше по горизонтали, чем по вертикали. Вчера она побывала в своем районе, где лежат все ее трое — семья. Ее встречали, как и прежде, тепло, впервые уже в глаза называли Матерью...

Она вставляет ключ в дверь. Три оборота справа налево. Что ждет ее в этих трех комнатах — четырех стенах? Да вот же она сама — «Мадам Клюко», в зеркале, что в передней, а там, в буфете, — «Мадам Клико» — бутылка еще от Николая. Все так и есть, все на месте. Как было и утром, вчера и позавчера. Свежа только ветка мимозы в вазе, скоро 8 Марта; и в зеркале резче сеточка около глаз. У кого это из французских поэтов, кажется, у Сюпервьеля?

Смотрит женщина в зеркало:
Птицы летят, страхам женщины
С грустью внимая.

Едва Екатерина Власовна сбрасывает с себя кожаное пальто, как звонок в дверь. Кто бы это? Почтальон Печкин? Ах, Николай! Боже, Николай — друг мужа. Тоже не знает, куда себя деть.

— Зачем пожаловал? — сухо спрашивает она его, закоренелого холостяка, проживающего и ныне там, в родном их районе.

— Так тебе сразу все и скажи, — улыбается Николай — тезка ее мужа. — Дай хоть...

— Отдохнешь, когда не дыхнешь, — говоря так автоматически, Екатерина Власовна проходит на кухню, заглядывает в пустой холодильник.

— Да у меня тут все есть, — смеется Николай. — Все, что надо. — И достает из портфеля, во-первых, конечно, шампанское, а во-вторых — и все остальное, что положено к этому: лимоны, апельсины, бананы и колбасу.

— Что — бананы теперь в районе выращиваете? — иронизирует Екатерина Власовна.

Она берет за горлышко это его шампанское и кладет обратно ему в портфель, а из таинственных недр серванта извлекает свое.

— ? — обижается Николай.

— Если по делу, как в тот раз, финансы выколачивать, — пожалуйте на работу, — каменеет лицом Екатерина Власовна, «железной леди» до нее далеко. — А коли друг семьи, вот... еще от моего Николая...

— Ладно, — уступает Николай и берется за нож — резать колбасу.

Она смотрит, как он это делает — по-мужски, большими кусками, и какая-то непонятная волна, возникая где-то внизу, тепло катится по всему ее телу. Интересно, на что способны мужчины без женщин? Да ни на что...

Он кладет руку ей на плечо.

— Н-но! — выворачивается она, мельком взглядывая на фото в глубине серванта.

... И опять 8 Марта — этот женский праздник. Этажом выше — песни, детская беготня. Тупо она смотрит в угол, под телевизор... Землетрясения, заложники, локальные войны... Смута в душе, какая-то пустота... Она вздрагивает, когда раздается звонок в дверь. Опять этот Карев — давний друг их семьи.

— Ну, чего тебе, Карев? — говорит она, слабея внутренне, каким-то упадническим тоном.

— Вот, вот, — суетится Николай, доставая из портфеля и расправляя перед ней что-то бумажное, такое огромное в виде плаката, прикладывает все это к стенке напротив ее.

— Что это?

— Коллекция, — улыбается Николай, замечая одновременно, что нет уже на привычном месте привычного фото.

— Коллекция? — улыбается Екатерина Власовна. — Этикеты все, этикетки. Каков набор! «Мадам Клико», итальянское, «Советское шампанское», «Одесса», «Абрау Дюрсо», «Надежда»... Откуда все это?

— Да так. Чудак один подарил...

— Коллекционер? — Екатерина Власовна подходит к плакату, расправляет его по сгибам. — Это кто же ее сотворил, такую коллекцию? Ты!

И смеется молодым таким, заразительным смехом. И идет в переднюю к зеркалу.

«Тэтчер», говорят, «железная леди», да? — берет она в руки деревянную расческу. — Высокий лоб, живые глаза. И стройна еще, ничего... А он плечист, бугай какой-то, пожалуй, выше ее Николая...»

— Ну что, с праздником? — говорит она, доставая из серванта шампанское, настоящее, «Мадам Клико» — самую ту бутылку, на которую она только смотрела в серванте все эти пять лет.

У САМОГО БОРДЮРА

Это началось в незапамятные времена и продолжается до сих пор — две зимы и три лета. У нее совершенно другое имя, не то, по которому узнают ее пассажиры, ездящие в это время на этом троллейбусе. Вот и вчера она стояла у самого бордюра, и он, как всегда, остановил троллейбус прямо перед ней. Иногда он протягивает немного вперед, если она стоит чуть впереди. И открывает переднюю дверь для нее одной, специально. Она входит в троллейбус, краешком глаза видит кончик его пунцового уха и знает, как напряжено это расстояние между ними, сокращено до невозможного. Тотчас магнитофонный грудной женский голос наполняет собой салон:

— Не пурпурный рубин, не аметист лиловый...
Темно-зеленый изумруд...

— А вот и Галина Карева, — улавливает она говорок у себя за спиной среди пассажиров, всегда ездящих в это время на этом маршруте, и ей это приятно. Приятно, черт возьми, сознаваться, что ты еще кого-то волнуешь, что для тебя открывают двери троллейбусов. Он моложе ее, она видит его в водительском зеркальце, но боится взглянуть смелее, чтоб не услышать свой внутренний голос, связывающий ее лично с голосом мужа, с его матерью: «Яблоко от яблони недалеко падает»...

Вспоминается первая и последняя встреча с ним в их квартале. Он возникает неожиданно, смело идет ей навстречу. Оказывается, он совсем еще не седой, как ее муж. Все тот же романс наполняет воздух, напевается им: «...как этот ограненный темно-зеленый изумруд»... Тогда она струсила и свернула куда-то. Потом до самого вечера охлаждала себя, живописуя в пикантных подробностях другой случай, происшедший не так давно с одной сотрудницей областной библиотеки. В филиал библиотеки — иностранный отдел, стоящий

особняком, на отшибе, вошел мужчина и тут же потребовал немедленной взаимной любви. Конечно, это совсем другое, но все же...

В другой раз он встретился все в том же ихнем квартале, на том же самом месте, но с женщиной. Каким-то внутренним чутьем она поняла, что это его жена. «А она ведь старше его, — обрадовалась она чему-то. — Зачем ему все это?» И целую неделю после того как ни в чем не бывало он продолжал останавливать троллейбус прямо перед ней.

Она работает тоже в библиотеке, только в технической, просто библиотекарем. Получает свой мизер, да и то теперь неаккуратно. И все равно она была бы довольна собой, если бы не это. Это так ее беспокоит, выводит из равновесия, так перед всеми никто ее не выделял. Вот жизнь, если еще и не разделяется надвое — на свет и тень, на истину и неправду, то во всяком случае в душе уже ожидание, незавершенность... Черт бы побрал все эти троллейбусы и всех их водителей!..

В этот раз на работу она собирается на полчаса раньше и проходит подальше по улице, на следующую остановку. Однако каким-то чутьем он со своим троллейбусом вовремя оказывается и тут. А, может, это она сама замешкалась, подождала? Во всяком случае, он опять протягивает к ней троллейбус, и она, как обычно, входит через переднюю дверь, и, как обычно, привычный женский магнитофонный голос наполняет салон:

— ...Хранящий тайну теплых рук...
Темно-зеленый изумруд...

— А вот и наша Галина Карева! — на весь салон объявляет кондукторша, шикарная и молодая.

Это нововведение. Всего с неделю назад на линии ввели кондукторов, и вот она, третья лишняя, — между ними. С какой легкостью эта женщина перешла невидимую черту, которая отделяет их обоих от всех. В салоне это давно ведь знали, но предпочитали молчать.

И, чтобы выразить свой протест, в следующий раз она входит в троллейбус уже через заднюю дверь, как все, поближе к кондукторше.

— Ревнивая какая! — замечает ее в толчее, на весь салон, эта вульгарная и молодая.

— Кто, кто? — живо интересуются «зайцы», чтобы отвлечь от себя внимание.

«Карева» тут же выходит, на две остановки раньше.

На следующее утро троллейбус протягивается к ней более медленно, передняя дверь открывается с трудом, а краешек уха водителя менее выразителен. Или это ей кажется? Может, и так. Но после выходных, когда она опять приходит на свою остановку, троллейбус останавливается не перед ней, а там, где и все троллейбусы, — в массах. Она не поняла — почему хоть? Даже заплакать хочется. А он сидит на своем водительском месте и смотрит прямо перед собой...

И опять троллейбус с открытой дверью проползает мимо нее. Постыдно она бросается его догонять, но задняя дверь перед самым носом ее захлопывается, как это обычно делают водители многих троллейбусов в нашего городе. Сбившись с шага, она цепляется за бордюр. И падает, что-то хрупает в щиколотке...

В больницу муж явился один, без сына.

— Ну что — добегалась? — сказал он невесело.

— За чем?

— А за троллейбусом.

— На чем приехал? — спросила она равнодушно.

— На своих двоих, — сказал он иронично. — Троллейбусы ходят только по проводам.

— Да, по проводам, — сказала она, слегка зарозовев, и вдруг глянула на солнечное окно, улыбнулась: — А помнишь, какая самая длинная в мире троллейбусная линия?

— От Симферополя до Ялты, — сказал он. И спросил: — А какой самый длинный в мире автобусный маршрут?

— Через всю Австралию, — сказала она. — От Канберры до Аделаиды.

— Все помнишь, — засмеялся он. — А чего же ты?

— А так, — пожала она плечами, и он улыбнулся.

— А это тебе, — и вынул ей из чехла колечко.

— Что это?

— Темно-зеленый изумруд, — ответил он.

— От кого?

— От Пушкина, — засмеялся он теперь уже откровенно.

И им одним в палате стало весело, хорошо. Действительно, бывают ли троллейбусы с маршрутом от Мельбурна до Аделаиды? Да нет же, троллейбусные маршруты такой длины, как от Ялты до Симферополя, в мире больше нигде не бывают. До Аделаиды, если нельзя троллейбусом и не хочешь автобусом, лучше всего ходить, оказывается, пешком. Целее ноги будут, пути такого хватит на всю твою жизнь.

ПОРТСИГАР С РУБИНОВЫМ ОРЛОМ

Аболмазов кладет на стол шикарный свой серебряный портсигар, да еще с рубиновым орлом! Впечатляющий жест. И впивается взглядом в сидящего напротив инспектора. Но это только так, для вида. Тут же лицо Аболмазова из серпа превращается в молот, а молот бухает по наковальне: серебро с рубиновым орлом готово взмахнуть, вспорхнуть и улететь... Это — реальность, это все на поверхности чувств. А в глубине хочется просто влепить портсигаром наотмашь, а тут сиди улыбайся, слушай всякую чушь.

«Кто же все-таки капнул?» — стекленеет Аболмазов. А что делать — он знает. Это для него не впервые, — «фифти-фифти», «перманент», «пердимонокль» и прочее, и прочее, и прочее.

Аболмазов хоть и в маленькой сельской школенке,

в довольно глухом селеньице, а все же директор, человек с большими полномочиями и с куда еще большими амбициями. Все в роду у них Викторы Викторовичи — «победители», сыны «победителей». Прадед, дед, он лично, сын его и, он знает, и сына сын будет — все будут Викторы, так у Аболмазовых заведено. Умирал дед и сыну — его отцу, а отец ему, Виктору Викторовичу Аболмазову, передал портсигар этот — семейную реликвию. С напутствием непривычным, таинственным: «Лишь бы было во вред». Аболмазову объяснять не надо. Все добро просто так, а не даже для куска хлеба насущного. А у тех, что вершат дела, за кем высший суд, — все не так, скорее наоборот: все зло чинят, чеканят то, что и надо чеканить.

С ранних еще, бессознательных лет Виктор Викторович делает всем все наперекор: себе, людям, делу, работе — всему, чему только может. Лично сам он с виду, как говорится, может, и подкачал, росточком не взял, могут сказать, у него комплекс неполноценности. А не так, нет у него никакого комплекса. Просто таким уродился. Сам не вышел, так женился на каланче, первой, говорили, красавице факультета. Вот, говорят, всю жизнь он ей что-то и доказывает, все хочет быть могущественным, несокрушимым, на добро его не хватает, так хоть на это — завоевывать позиции вокруг себя, мстить, побеждать. И для этого он мясо ест по три раза на дню непременно. Ни денег, ни связей на это не жалеет. Производство зла тоже нуждается в силах. А он просто Виктор Викторович, сын Виктора, внук Виктора, и этим все сказано. Добро — это все демагогия, для бедных, для тех, кто не Виктор, пожиже.

По мнению Аболмазова, все уважающие себя должны быть таковы, особенно чиновники из госаппарата. Власть есть власть, соснуть не дасть, ишь, как при этой системе разбушевались. Шумит камыш, деревья гнутся. Тайна из тайн, обо всем не скажешь даже самому себе ночью в постели. Для внешнего обращения есть

другие слова, лицемерные. Одно в голове держать, другое — говорить, а третье — делать. Так что он попал куда надо — в директорию, маленький Наполеончик. А Наполеончики большими разве бывают?..

«Комплекс... комплекс, комплекс неполноценности!» — кто это уши ему понабивал? Может, секретари или секретарши, которых за жизнь достаточно перебывало у него над кабинетом и перед кабинетом.

Молодые да ранние, кто по распределению, а кого и так пропускал через приемную, как сквозь самого себя, проходили тут у него калейдоскопом, всегда для таких у него есть, однако, местечко...

— Так все-таки, — говорит инспектор Калюжный, — вы отрицаете?

— Чего-с? — растягивается в улыбке четвертая фаза Луны на лице Аболмазова. — «Слово дурацкое какое-то из старого механизма».

— Наличие связей с Соколовой, учительницей биологии, — нудно тянет линию, как быка из общественного стада, этот инспектор. — И наличие у нее сына от вас именно.

— А это вот видите? — складывает Аболмазов из трех пальцев конфигурацию.

— Что это?

— Конфедерация. Швейцарская.

— Почему именно швейцарская?

— Зато фига русская, понял?! Это я не вам, а в вашем лице Соколовой показываю. А вам лично я показываю вот это — большую ладонь! Это вам лапа, большая лапа! Так говорят про меня... что у меня где-то «лапа» — большая «лапа», не то в области, не то даже в Москве. Но на самом деле этого нет, я и сам с кем надо и когда надо справляюсь.

— С кем справляетесь, с Соколовой? — наклоняется над портсигаром инспектор, на сей раз Калюжный, много всяких тут перебывало. — Ну, а все-таки, все-таки — «лапа», где «лапа», кто «лапа»? Не понимаю.

— Да какая там «лапа»? — суетится Аболмазов, но

не лебезит перед инспектором, не так, как перед зав. роно, тем более перед главой районной администрации. — Вот! — и достает из сейфа бутылку со спиртом и отдельно «Русскую водку». — Так что будем пить, Кузьмич?

— Да «Русскую, «Русскую»! — оживает мгновенно Калюжный. — Что мы, чукчи, что ли, какие-нибудь, лаураветланы?

Инспектор может уехать сегодня, а может и завтра. Но завтра же, после его отъезда, Аболмазов готов спросить с кое-кого за все. Весь мир в щепки, понимаешь, разнесет он — Аболмазов, как какой-нибудь банановый президент банановой страны, и это из-за одной-единственной бабы, надо же. Ишь, шушукаются сейчас там у него за спиной по всей их школе, по всему их селу глуховатому, но язык имеющему в три, нет, в четыре аршина, отчего эхо докатывается аж до районного центра. Ибо сюда, в дырищу такую, как, скажем, в Спешнево, и не помыслит заехать на службу приличный чиновник, почтить, скажем, своим пребыванием, а они тут сидят, шушукаются. За то, что на пиршестве жизни он не первый там у них где-то, среди ихних мужей-специалистов, зато первый тут у себя. Интересно как-то все получается. Что Большой дом и Белый, что поменьше и серый — в нашем деле одно...

— Чукча, чукча! — бьет себя в грудь Победитель после отъезда районной инспекции и велит секретарше «запрячь лошадей», то есть позвать Соколову.

Соколова является в полуобнаженном виде, прикрытом полушалком цыганским, и в тапках на босу ногу. Вольная птица, холопка.

— Черевички надела? — говорит Аболмазов ехидно и кладет со значением портсигар свой серебряный на стол прямо перед собой — рубиновым орлом вверх. Это значит Аболмазов как начальство гневается и будет, в силу многих причин, снимать стружку. Орел на портсигаре — символ власти, государства, столицы, госап-

парата, от лица которого он тут и сидит. Так, понимаешь, надо: «Мы — одно, заодно, за единство, повязаны, а вы все — другое, а ты, пешка, сучка такая, залетка походит по тебе еще плетка», — это он так про себя говорит, разряжается.

— Да вот, напялила, — возникает весело Соколова. — Не все-то тебе пялить да пялить.

Аболмазов вздрагивает от такой наглости, смотрит с оттяжкой, словно на китайскую стену наткнулся. А потом так вошел в размышления, что совсем забыл про нее, пока сидел, думал. «Не знаю-не знаю, но сына надо кормить, Соколову надо поить, а как же Алевтина Семеновна, моя благоверная?»

— Соколовская гитара! До сих пор в ушах звенишь, да? — упрекает ее, двуличного педагога, директор. — Ты, что ли, капнула, нет? Хорошо тебе тут, прижилась? — вкрадчивым голосом говорит Аболмазов, а сам думает: «Если бы Виктором назвала, а не Николаем, я бы с тобой не так разговаривал».

— Да, хорошо, — приоткидывает полушаль на плече своем Соколова.

— А что, если мы тебя в школу другую направим и даже в другой район? — сверлит горящим взором ее Аболмазов, а сам думает: «Вот сама и корми своего щеночка».

— В другую школу? В другой район? — в шалой улыбке Соколова косится на стол — на аболмазовский портсигар. — А я тебя посажу.

— Видел таких и мотал! — готов Аболмазов дать портсигаром ей по физиономии, а сам хохочет, ведь надо смеяться. — Эх, да сколько бы сидеть из-за вас таких, сладких, по тюрьмам — жизни бы не хватило! — До чего чуток Виктор Викторович — победитель, каждое возможное движение Соколовой предвосхищает, перемену настроения тоже, но сидит пока без движения, без определенного плана. «Скучно, дамочка, живем, посидим и подождем, что оно дальше-то будет?»

Соколова это чувствует, но воспринимает поверхностно, как его личную слабость.

Она проходит вперед и садится на краешек директорского стола, накрывает торсом директорский телефон. Но при чем тут, скажете, телефон?

Телефон Аболмазову и не нужен, на кой он, когда у него, как у всякого порядочного руководителя, кнопка есть, магнитофон в столе и секретарша. Тык Аболмазов пальцем в кнопку — и тут же, пока еще не явилась секретарша, у него и вспыхивает план «икс». «Раз ты так — и мы тебе так. А что ты нам исделаешь?» Имея в виду задействовать только что отъехавшего, довольного жизнью инспектора.

Секретарша Ниночка — куколка такая, прошлогодняя десятиклассница — проходит мимо Соколовой да к нему, улыбаясь:

— Чего хотели, Виктор Викторович?

— Тебя, голубушка, — протягивает руки к ней Аболмазов.

— Да вы что?! — отстраняется Ниночка.

А он уж обхватил ее, как медведь, да ее полудвиженьицем со стола — падлу такую. Да глазищами своими цыганскими снизу ввысь, вдоль и поперек — ну темперамент! Вот таких Аболмазов и любит.

— Ладно, — говорит он куколке-секретарше. — Иди, Ниночка, клей марки свои на конверты.

А сам опять уж к Соколовой тянется — не руки, а краны подъемные, экскаваторы. Привык хапать ими на пиршестве жизни. И тут Соколова видит на столе портсигар — серебряный, с рубином, как кровью, что ли, изнутри налитой. Да инстинктивно хвать его да плашмя по щеке Аболмазову — так орел на щеке аболмазовской рубином и отпечатался: вам возвращаю ваш потрет! Пауза, критический момент. След на щеке из рубина делается багровым. А черты из орла, расползаясь, слагаются в облик Николая Второго — монарха нашего последнего. А ведь Аболмазов — сторонник рес-

публиканской формы правления, как потом будешь эту монархию объяснять диктатуре пролетариата? Но главное не в этом, а в том, что впервые Виктор Викторович не оправдал перед кланом имени своего.

В первый раз Аболмазов так близко смотрел на окно и не видел окна, а в двери не видел двери и, не возвращая портрета, молил о любви, склоняя свою дурью голову перед Соколовой — этим острым, сладким кусочком жизни своей, развратной до неузнаваемости.

«ЧЕРНАЯ ВДОВА»

Черная ночь перед ней, тюрьма. Камера-одиночка. Это она застрелила мужа своего — генерала? Или это сделал охранник? Было ль что-либо подобное в армиях мира, тем более в русской? Кто же тогда она, если так? Паук такой есть в песках Средней Азии, где когда-то они служили с мужем, — особь женского рода, каракурта, «черная вдова». Муж каракурте нужен, чтобы иметь потомство, а когда паучата разбегаются по пескам, она убивает его. Так-то оно в природе...

Люди думают, размышляют: с охранником у нее, что ли, роман? Вместе с мужем пройдены ведь Афган и Чечня. Как-то с трудом все это осознается... Кто же все-таки она: монстр или жертва?

По стене ползет паук — это она? Она приподнимается на локте, хочет дотянуться до паука, чтобы раздавить эту мерзость, а паук все выше, выше, забивается в угол. Она тянется на цыпочках, на койку взбирается. Так и стоит навытяжку — княжна Тараканова... Мыши, крысы кругом, тараканы, не хватает еще наводнения...

В бессилии она опускается на пол. Перед ней на стене напротив возникает пятно, светлое — белое — слепящее пятно, экран телевизора.

Там другая — Белая Женщина с экрана наклоняет-

ся над креслом-качалкой, в которой лежит другой — Белый Мужчина. И он генерал, а то, жена его, — генеральша. Их тоже все знают, — над ними сияние, нимб. И все эти три с половиной года — мерцательное сознание, прикованность, почти абсолютная отключенность. И это она не дает возможность перестать течь этой слабенькой струйке, через которую слышимо им все живое. Через нее идут у него связи с миром, он видит только ее в очертаниях смутных — свою Белую Женщину...

Ах, вот, наконец, и рассвет. Опять она одна — «черная вдова», каракурта. Приносят еду. Какая там еда, не все ли равно, есть или не есть, какой в этом смысл? Попросить бумаги, что-нибудь написать? Кому? Президенту? Воззвание к людям, к народу? К себе самой? Лучше бы сразу тогда застрелилась! Да был ли у нее пистолет? Если бы держала, если бы осознавала... она, жена офицера, в решительную минуту умеет стрелять... Скоро за ней придут, поведут на допрос. Опять будут задавать одни и те же вопросы. Сличать и уличать, обличать, — «кустарщина какая, детективы, эти детекторы лжи». Она рвет рубаху на клочья, пытается вить из клочьев веревку. Ищет глазами крючок на стене, на окне, на решетке — ни крючка, ни единого! Боже мой, решительно ничего! Бессильно она опускается на пол...

Гремят дверью. Входят люди, одни и те же — ее мучители, следователи, — она не смотрит ни на кого. До сих пор не знает в лицо — ни одного, ни другого, ни третьего. Сколько же в камере всякой твари... «Мыши, мыши, клопы, тараканы», — слышатся ей откуда-то из подвалов тюремных, гулких тюремных переходов голоса детства, — на базаре тогда звучал голос женщины, ее возглас: «На мухи, клопы, тараканы! Есть порошок ДДТ».

«Да не знаю я, кто убил моего мужа — вашего генерала! Ищите же, не знаю, я все позабыла... Это было

давно, наверное, в детстве; тогда скорее всего я была уже женщиной в черном, Черной Женщиной, когда продавала, наверное, это я продавала порошок ДДТ... «на мухи-блохи-клопы-тараканы»... Ах, генерала? Белого или Черного, какого? Черного, наверное, убила я...»

И еще одна ночь в одиночке. Лишь под утро опять сияние, опять экран телевизора. Белый Мужчина и Белая Женщина.

— Я каракурта, я «черная вдова», я — Черная Женщина! — падает она перед ними на колени. — Спасите мою душу, дайте мне умереть! Я не хочу так жить, не хочу. Дайте же пистолет, порошок БДТ, Б...Д...Т, БДТ... Я отравлюсь... Что они все говорят? Какой-то массовый психоз, все говорят одно, что это я застрелила мужа своего — генерала. Думают ли, что говорят, соображают хоть? Что бы это сделала я? Его жена, с ним прошедшая путь?...

Что-то не то сказала вначале? Взяла на себя... О, Господи! Да есть ли Небо, есть ли и ты, о Боже! Только эти тюремные стены, только следователи эти — кустари-одиночки, камеры-одиночки... и сияние это, экран телевизора и Белая, Белая, Белая Женщина!.. Ах, да, это голос следователя, он спрашивает:

— Может, поставить вам телевизор?

— Нет, зачем? У меня уже есть, — отвечает она.

И он пожимает плечами.

— Неужели нельзя сразу, так вот застрелить меня, как собаку? — спрашивает она.

— Пока вы только подозреваемая, — говорит он. — До суда над вами еще далеко.

— Тогда возьмите подписку с меня о невыезде, вернее, о невыходе... из камеры.

Она опускает голову, смотрит в нижний угол, откуда вот-вот появится каракурта, «черная вдова», пришла сюда из песков Средней Азии, просверлив эти толстые, однако рыхлые стены, которые скоро падут. «Оковы тонкие падут, темницы рухнут» — это Пушкин, да? И

тогда она выйдет отсюда и застрелится, все же застрелится, непременно застрелится, все же она — жена офицера... Это они застрелили Пушкина, это они...

— Подписку о невыезде? — доносится до нее голос извне. — Я-то разрешаю, да два других следователя никак нет-с.

— Коллегиальность, — сжимаются зубы у нее, и она проваливается в третью ночь. — Пушкина застрелила коллегиальность.

И опять, уже под утро, возникает пятно на стене, почему хоть не застрелилось это белое пятно — экран телевизора? И сияние — нимб над Белым Мужчиной в качалке и Белой Женщиной перед ним? Белая Женщина все кормит его из ложечки, утирает лоб ему, щеки, говорит что-то, наверное, слова утешения, надежды своей и любви. «Ах, Боже ты, Боже! И я была белой когда-то, и все мы были белыми-белыми, мой человек — он был герой от рождения, и я любила его... Зачем же ты, Бог мой, бросил меня?...»

И утро опять. И опять этот следователь. Она начнет узнавать его скоро в лицо, но как его фамилия? Как и у нас, какая фамилия?

— Ну что вам моя фамилия, зачем вы опять?.. Самое большее, что я могу сделать для вас, — доносится до нее голос — живой, до нее — полумертвой, обессиленной после ночи, — так это передать ваши просьбы... в прокуратуру, дочери... На что-либо жалобы есть?

— Мне здесь хорошо.

— Хорошо?

— Мне все равно, — говорит она, отворачиваясь к стене.

И все же пришел прокурор прямо в камеру, пришла ее дочь.

— Есть жалобы? — спросил прокурор.

Она молчит.

— Да вот, — мнется следователь, — просит изменить меру пресечения... до суда взять подписку о не-

выезде... вроде как у офицеров. Просит посадить под домашний арест...

— Вы же решаете, — говорит уклончиво прокурор. — Вот и решайте.

Она не смотрит ни на кого, даже на дочь. Паучата в разные стороны от нее — «черной вдовы», каракурты.

— Принеси мне какой-нибудь порошок, — улучив минуту, шепчет она дочери.

— Какой?

— Б...Д...Т.

Уходят все сразу. И дочь с ними. И снова она одна. Зачем ей этот БДТ? «Что наша жизнь — игра?» Просто не хочется быть нигде, ни дома, ни тут... И опять надвигается ночь. И этой уже не перейти. По стенке начинают ползти каракурты. Паук к пауку. Паучата. Все вверх, потом сверху вниз и к ней сюда, на постель, на тело ей, внутрь, в голову. «Где же вы, люди, весь мир остальной, православный, где все?!» Они ползут и ползут, и все спасение ее в белом пятне на стене, в этом экране, откуда приходят сюда, избавляя от мучений, Белые, Белые, Белые Люди... БДТ, БДЛ... Только бы раньше пришли, — пока жива душа, с вечера бы явились... «Боже! Зачем отдаешь меня сатане?!»

«ПЧЕЛОЧКА ЗЛАТАЯ»

Казачий хор грянул и полетел:

— Ух ты! Ах ты!
Пчелочка златая,
Челочкой шурша.
Жарь, жарь, хороша,
Челочкой шурша!

Колыхнулись юбочки, ножки полные в воздух взлетели, кофты цветные, бедра круты и осанисты — загляденье. Да вот пчелка, похоже натуральная, звенит над ухом Народной Артистки. А рыженькая такая

певичка из хора, пчелочка златая, требовательно колотит уже о пол каблучком.

Около летает,
Пчелочка летит.
Жарь, жарь, хороша,
Около летит!

Народная Артистка закрывает глаза: «Давно не была дома, тут, в этом казачьем крае. А поют, как и пели. В самом центре России, на краешке Дикого поля — этом южном форпосте Москвы...» Девочкой четырнадцатилетней, помнится, такой же тоненькой, с тугой косой, как и эта телка в легких красных сапожках, впервые тут вышла на сцену. Теперь вся страна знает ее. А тут вроде не замечают. Вчера на районной ярмарке начальство проследовало мимо... Кажется, это так называется: нет пророка в своем отечестве? Малая земля, малая земля.

Лента голубая
Ниже пояса...
Мягкие, пуховые
Титьки у нея.
Жарь, жарь, хороша,
Титьки у нея!

Грохают о пол каблучки да подковочки. Молит пол о пощаде, откликается под казачками. «Да какой же он бедный-то, мой вольный казачий край! Сколько силы гуляет». Пчела натурально обнаглела, села да на ухо ей Народной Артистке. «Вот приехала, еду в деревню к матери, а весна ведь всюду еще, поле весеннее, грязь. Дай зайду на рынок, думаю, да куплю резиновые сапоги... Прошли мимо из районного руководства...» И вот, как уже к деревне своей подходить, там, где мать проживает, нагоняет ее нарочный на коне, из казаков. Махнул нагайкой на деревню по соседству:

— Пжлста, на песню! Вон туда, к нам в Бездонье!

Бездонье — это не без дна, а без Дона, от предков донских казаков.

— Не казачка я!

— Пжлста!

Пулей, ветром в поле — только его и видали.

Пчелочка златая,
Пчелочка моя.

И не из группы «На-на», и не корреспондент, но где же она его видала, казачка этого? Вдоль скамьи, чуть подальше. В казачьей форме, не в донской, а какая уж есть — с козырями, с кинжалом за поясом — терской, что ли, или кубанский? В кубанке, с верхом малиновым.

...Сидит парень в кубанке малиновой, а душой как в двух местах сразу: на сцене и ближе, еще ближе к ней сюда. Народной Артистке... «Пчелочка златая, наглая такая, и над ним лятает — вот она какая...» Зззззз, — все звенит, изгаляется пчелка над самым ухом ея.

Вот с чего начинается родина, мать моя, мать, — с песни, которые пишем, сами пишем и сами поем! Не какой-нибудь из заморских — свой казак, из своих, написал. А песню-то написал, напел о брате своем Володьке, привезенном из Чечни и похороненном тут же на мемориале, в центре районного центра.

Про казачка Володеньку

Под ивой под плакучей под молоденькой,
Под синим камнем, в центре Хомутова,
Лежит орловский казачок Володенька,
Спит казачок у краешка крутого.

Как она сюда подъявилась — землячка, эта наша районная гордость, известность и гордость страны? Вот бы кто спел мою песню, сразу бы песня пошла... Ничего еще, милая женщина, а не просто певица...

Жарь, жарь, хороша,
Титьки у нея!..
Пчелочка златая,
Челочкой шурша.

Вот бьют — вот колотят, вот поют — вот ведут хоровод. Что тебе ансамбль «Березка» или Кубанский каза-

чий хор. Но нет пророка в своем отечестве! Нет! Вот написал музыку и слова, а ни слов, ни нот даже в местной флоре и фауне.

Где вся, на кончике клинка,
Судьба-судьбинушка-судьбища —
Лихая доля казака,
Лихая доля казака!

Народная Артистка поняла окончательно, что за ней наблюдают, значит, интересуются. Достала аккуратно зеркальце, обмахнулась пуховичком, поправила царскую корону на голове. Нет, это парень не из «На-на», этот в кубанке. Как он слушает, глядит на нее, орел орлиный, она видит, зависает над ним, зависает — нет, не облачком, легким таким, бестелесным сияньем. Интересно, кто он все же такой, орел этот полустепной. Молодой, а мужик вполне зрелый, ишь, как смотрит на женщину, наглый. На рыженькую глядел бы, на тоненькую, так нет, сюда зыркает.

Пчелочка летит.
Лента голубая
Ниже пояса.
Ух ты! Ах ты!
Мягкие, пуховые
Титьки у нея.
Жарь, жарь, хороши
Титьки у нея!

Подойдет к ней или не подойдет? И он подошел. Чуб волной. Вроде бы как с гармонью. Как, бывалыча, к девке какой-нибудь на завалинке.

— Разрешите пропеть вам последний куплет-ть?

— Валяй, — говорит она, как бывалыча.

— А про что хоть или про кого?

— Да про брата, — стоит она перед ним, — про брата родного, из Чечни привезенного.

— Под ивой под плакучей под молоденькой,
Под синим камнем в сердце Хомутова
Спи, казачок, святой ты наш Володенька!
Спи, казачок, у краешка крутого.

— Чего хочешь от меня? — сказала она. — Чтобы я ее спела?

— Да нет, — отвечает он ей, не волнуясь уже, а спокойно. — Пойдем за околицу, пчелочка! Там сам допою — сам там допою-ю-у!..

Она встает со скамейки, и они идут прямо в дверь. Из клуба куда-то, прямо в степь широкую. И он кладет ей руку на плечо, наклонясь, чтобы продолжить ей — этой красивой русской женщине песню эту свою про брата:

— Эй, кони, кони — рыжие, гнедые!
Эй, ввысь, бунчук, наш грозный атаман!
Эй, запевай про ивы молодые,
Про казачка, уснувшего от ран!

— А дальше-то, дальше что? — загораясь, наклоняется она к нему крупным своим, мягким бабьим плечом. — Что же дальше, дальше-то будет что?

— Дальше? — приостанавливается он. — А дальше вот что:

— Мы в чистом поле волю ищем,
Где вся на кончике клинка
Судьба-судьбинушка-судьбища —
Лихая слава казака,
Лихая слава казака!

— Ну что? — спрашивает она его, ко всему приготовясь.

«Нет пророка в своем отечестве! Нет, нет пророка в своем отечестве!» — проваливается куда-то в висках у него, у нее, и стучит, и стучит, все плывет перед ней: поля пологие — ровные гоны, знакомый с детства запах конского пота, полыни запах стенящий, глухой крапивы и мяты. «Так неизвестно для чего и живу, — идет она в степь, стараясь попасть с ним в ногу, как и тогда с теми ребятами из группы «На-на», какие приходили к ней на квартирку столичную. — Так и прожита жизнь».

Пчелочка златая,
Челочкой шурша.
Лента голубая
Ниже пояса.
Жарь, жарь, хороша,
Лента голуба,
Лента голуба!

Далеко слыхать! Скорее всего дверь распахнули, выходят из клуба. Тени удаляются, звуки ударяются — о самое небо, о высокие звезды, возвращаясь обратно на землю.

— Что видишь? — кивает она ему в древнюю ночь.

— Ореол, — говорит он. — Столб пламенный.

— Где? — спрашивает она.

— А в самом сердце, — указывает он ей на север. — Нимб, золотое свечение.

И засмеялись они. И пошли они на свечение — да во чисто поле, да сквозь широкие степи. И запели, уже не стесняясь, вовсю древними своими, отроселыми голосами по-молодому неизбывное, уже случившееся и еще не случившееся в жизни:

Пче-лоч-ка златая-я!
Пче-лоч-ка...

А ночка темная была...

«ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ИЗУМРУД»

(Перстень Пушкина)

У Пушкина было семь перстней. И самым любимым из них — перстень с темно-зеленым изумрудом.

* * *

Когда Пушкин уходил в иные миры, Тургенев, стоя у изголовья поэта, срезал прядку волос его и положил себе в медальон. И сила поэзии пушкинская согревала Тургенева, давала невероятные силы.

В последние минуты жизни Пушкин снял перстень с пальца и надел на палец находящегося рядом Владимира Ивановича Даля — темно-зеленый изумруд невероятно таинственной, магической силы. И это подвигло Даля на создание «Толкового словаря, живого великорусского языка». Самое ценное, что есть у народа, — это его живая речь, и этот словарь — могучее достижение нации.

Когда чувствую слово какое-то, оно витает в воздухе, оно так мне необходимо — я обращаюсь к этому словарю, я чувствую Пушкина в нем, в этом темно-зеленом томе! А все — темно-зеленый изумруд!

Слышите, поет Галина Карева, как поет этот русский романс «Изумруд»!

Ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый,
Ни наглой белизной сверкающий алмаз
Не подошли бы так к лучистости суровой
Холодных ваших глаз, —

Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну темных рук,
Ничьим огнем не опаленный,
В ничто на свете не влюбленный —
Темно-зеленый изумруд.

Мне не под силу дым
Мучительных страданий,
Пускай разлукою ославят их года,
Чтоб в ярком золоте
Моих воспоминаний
Сверкали б вы всегда, —

Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну темных рук,
Ничьим огнем не опаленный,
В ничто на свете не влюбленный —
Темно-зеленый изумруд.

На дворе — февраль, в душе — Черная речка, где

состоялась дуэль Пушкина. А перед глазами — темно-зеленый пушкинский изумруд.

И вот эти слова о перстне Пушкина, переданном поэтом Владимиру Ивановичу Далю, положил я на музыку, которую так и назвал — эту песню — «Перстень Пушкина».

Он с пальца снял темно-зеленый изумруд.
На подвиг перстень кой-кого еще подвигнет.
Смотрите, как поэт российский гибнет!
Пред вечностью вот так и предстают.

Уж зеркальце туманится, знобя,
Уже черту перебегают миги.
Даль принял чары с камня на себя —
Поэма неподъемные вериги.

«Пушкин! Пушкин!» — бьют колокола —
Мать Россия Солнце родила!
И зажглась, и распалилась добела
Словом изначальным,
Душенькой отчаянной.
Ай да Пушкин! Ай да молодец!
Вот и просветилась наконец.
Двести лет подряд
Бубенцы звенят, звенят,
Выкамаривают:
— Динь-динь, динь-динь, динь-динь-динь!
Свят! Свят! Свят!

А слово бродит... в горле, как фужер...
Я к Далю — оно близко, где-то тут.
«Словарь толковый» вертится уже, —
А все — темно-зеленый изумруд!

А все, все тот магический кристал,
Который всем нам Пушкин передал!
Уж разряж н, уже светло-зеленый
Над нашей поэтической короной.

* * *

Я помню Пушкина на Орловщине — праправнука поэта, Григория Григорьевича. У нас в Малоархангельске — в том городке, где великого поэта — по легенде — когда-то приняли за ревизора, и эту легенду поэт передал Гоголю, создавшему своего бессмертного «Ревизора». Помню Пушкина Григория Григорьевича в Малоархангельском доме у нас, у моей матери; его автограф — на собрании сочинений Александра Сергеевича. А затем и профиль Григория Григорьевича — его, легко узнаваемый, изумительный пушкинский профиль на фоне беломраморной колонны в Колонном зале Дома союзов в Москве, во время одного из писательских съездов. Когда, весь подавшись вперед, он жадно ловил слова Семена Гейченко — первого директора Пушкинского музея в Михайловском. Гейченко говорил о том, что поэт знал Заповеди Блаженств и претворял их в своем творчестве.

Я перевел на поэтический язык все девять Заповедей. Вот одна из них — пятая.

Блаженны, милостивы те,
Кто милосердны, сострадальцы.
Ведите падших к Красоте,
Как к алтарям бредут скитальцы.

Скрываясь в тернии души,
В никем не видимые слезы,
Спускайтесь со своих вершин,
Чтоб отвести от павших грозы.

Дадут ли голому одежды,
Возьмут ли на себя чей грех.
Они несут тебе надежды,
Что ты ведь тоже человек.
За подвиг их, великий труд
Им Боги руку подают.

Все мы родом из детства, из юности. Уже тогда я чувствовал пушкинский голос в душе и как просыпаю-

щееся чувство любви, в ответ на пушкинский голос, я пел тогда этот романс, посвященный Анне Керн, «Я помню чудное мгновенье».

Я помню чудное мгновенье.
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленье грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты.
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слов, без жизни, без любви.

В душе настало пробужденье,
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

* * *

От Пушкина всегда идет высокое чувство энергии, красоты. И вот, работая с сыном над переводами французских поэтов, создавая «Антологию французской поэзии», я испытал помощь Пушкина самым конкретным образом. Первая строка программного сти-

хотворения Шарля Бодлера «Красота» во мне долго звучала так:

«Прекрасна я, как в камне спящем эхо». «Спящей», да? И тут вспомнился Пушкин, его темно-зеленый изумруд в перстне, подаренном Далю, который затем разрядился на «Толковом словаре», став бледным, бледно-зеленым. Все темные камни — мужские, все светлые — женские. А Красота —женщина, женского рода. И вот первая строка стала звучать так:

Прекрасна я, как в камне бледном эхо.

И далее весь сонет, в отличие от Бельмонта, звучит теперь и поется мной так:

И кто-то пал, ударясь мне о грудь.
А в ком любовь, тот создан для успеха.
Он — мой Поэт, он — Вечность, Млечный Путь.

Парю в лазури — лебедь молодая,
Белее снега, холоднее льда,
Я — Красота, недвижна и горда я,
Слеза и смех, я выше их всегда.

Они сожгут себя, мои поэты,
В трудах души, во цвете своих дней,
Чтоб только я питала их сонеты,

Во имя благосклонности моей.
В два зеркала возьми и оглядись:
Прекрасен мир, покуда длится жизнь!

По гороскопу мы с Пушкиным Близнецы — Раки, мы родились в июне. Только Пушкин в начале месяца, а я — в конце, на взлете лета, в день русской березы, высшего солнечного стояния. В венке сонетов «Каменная рапсодия», написанном мной, каждому месяцу — по гороскопу — соответствует свой камень, свой талисман. Наш с Пушкиным камень — изумруд, по-русски — смарагд. Вот этот сонет об июне.

Столешница, как бит в цыганской шали.
Темно-зеленый пламень — изумруд,
За что алмаза более дают
(То убеждали, то разубеждали).
Он камень мой, на самой магистрали,
Оправлен в злато, славный талисман.
Он мне от Бога, от пророков дан
(В чем убеждали, в том разубеждали).
И блеск в глазах, и слово мое тоньше,
Напевнее, удачнее строка.
Мой амулет! Наш век еще не кончен.
Еще поем мы, в голосе пока.
И тут хандру вдруг как сняло рукой.
Еще бы! В цветомузыке такой.

А все, а все —

«Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну темных рук,
Ничьим огнем не опаленный,
В ничто на свете не влюбленный, —
Темно-зеленый изумруд».

И вот как эта тема пушкинского изумруда неожиданно развернулась в стихотворении «Чаша Грааля», ставшем вступлением к венку сонетов «Каменная рапсодия». Чаша Грааля — это чаша, выточенная из изумруда.

Pro arus et Focis —
В защиту алтарей и очагов.

Изгоняли из рая самого Люцифера,
И упал изумруд с головы на траву.
Кто-то выточил чашу — служи, полусфера,
Питию и веселью, роду иро-до-ву!

И стояла пред всеми высшая чаша,
И Граалем святым нарекли ее дно.
И на вечере тайной, молитвы шабаша,
Сам Христос из нее пил златое вино.

И, пригубив едва из небесного камня,
В кубке кубков ловя отражения звезд,
О мессии — любви говорил очень странно,
Кой-кому не по сердцу такое пришлось.

А затем в изумруды Грааля сливали
Кровь густую распятого миром Христа.
И на Небо Грааль силы духа призвали,
К двери Веры с Небес уж пришла Красота.

Люди пили из чаши и — передавали
Из рук в руки ту чашу и — передают.
И на дне Красоту у Грааля искали
Да все ищут и ищут, да пьют все и пьют...

С той поры эта чаша священников, магов,
Чей-то ангел-хранитель, зеленый Вулкан.
Это в камне Космической Матери влага,
Мост такой на Небо божественный дан!

И вот четыре пушкинских строки, кажется, из этого Грааля, из его изумрудов, я несу в своем сердце с самого детства. И они не дают свернуть в сторону с избранного пути.

Я знаю: жребий мой измерен.
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Это — «Евгений Онегин». Когда они, эти строки, явились миру из-под пушкинского пера, сам поэт воскликнул в восторге: «Ай да Пушкин, ай да молодец!» Ибо как Поэт, конечно, от Бога, а еще и от самой Поэзии, Пушкин знал, конечно, не только Заповеди Блаженств, но еще и традиции той же персидской, восточной поэзии, где еще в 11—15-х веках поэты, тот же Махмуд Абдул Бакы, так же непосредственно мог воскликнуть, пораженный силой звучания слова:

Ты совершенен, Бакы,
В тонком искусстве газелей!

Поистине пушкинский изумруд сияет над нашей поэтической короной. И первым поэтом, на которого пал отсвет темно-зеленого пушкинского изумруда, был Михаил Юрьевич Лермонтов.

М. Ю. Лермонтов. «Поэт» (Кинжал).

Отделкой золотой блистает мой кинжал,
Кинжал надежный, без порока.
Булат его хранит таинственный закал —
Наследье бранного Востока...

В наш век изношенный не так ли ты, поэт,
Свое утратил назначенье?
На злато променял ту власть, которой свет
Внимал в немом благоговенье.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой.
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Помню себя молодым, я писал тогда стихи, я чувствовал себя поэтом — Ленским, Сергеем Есениным, с длинным золотистыми волосами, которые затем, с жизнью, потемнели, стали более русыми. И это ощущение скоротечности, шаткости быстротекущей жизни чувствовалось мной в Ленском, в его знаменитой арии «Куда, куда вы удалились?» из оперы Чайковского «Евгений Онегин», в той самой арии, где Пушкин как бы предощущал исход свой жизни.

Куда, куда вы удалились —
Весны моей златые дни?..
Блеснет заутра луч десницы
И заиграет яркий день,
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень.
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня...

Сияние Пушкина над всеми и каждым, пока мы живы. А все талисман — этот темно-зеленый пушкинский изумруд! Уж разряжен в Красоту, уже светло-зеленый над нашей поэтической короной!

ЛАУРЕАТ НА ПАПЕРТИ

Всю жизнь поэту Облонникову что-то обламывается, что-то дают. То талоны на хлеб, то деньжонки за литературную студию, которую проводят другие. А то в почтовый ящик сунут рекламный листок с расписанием теленовостей, которые он забыл, когда и смотрел. Так привык Облонников что-нибудь получать — ну просто невозможно себе представить. А счастья нет, ибо «талан» не талон, — либо он есть, либо его нет. Уж фантазии у чиновников не хватает, чего бы это еще ему всучить, чтобы не возбуждался. Ссуду безвозмездную — пожалуйста, региональную премию — пожалуйста, еще одну мелкопоместную «за лучшее изображение начальника движения» — опять же, чего вашей душе угодно. А ей, душеньке, мно-о-ого надо чего! Есть отчего возбуждаться. Товаров навалом, всюду сверкание-блистание в рекламных целях, а денег нет. Еще обиднее, чем когда были одни только очереди...

И вот поэт Облонников взял да и нацелился на государственную премию! Интересно, сколько в ней этих самых региональных? а минимальных? а самых минимальных за лучшее изображение нашего художественного положения? Страшно подумать, как склонял Облонников коллектив; вот верхушка — свои сателлиты проголосовали, проштемпелевали и отослали. Что ж, только одним москвичам, что ли, госпремии получать, пусть не забывают, что желания такие имеются и в глухомятной провинции. Вот через какое-то время сверху сюда спускают ответ: «глухомятные» не нужны, давайте «поэзию». А где ее взять? Как будто по-

эзия на дороге валяется, вроде в Москве ее больше, чем где бы то ни было. Привык Облонников к такой деликатности, чтобы его в глаза хвалили, плюс давали на жизнь, на поэтическое воображение. «Ну, что, калеки, — это он так и коллегам своим, — еще рискнем?» Пять раз «рисковали». Другой бы уж три раза плюнул и плевок каблуком бы растер. Или пятьюжды был бы уж лауреатом, а этому и по губам не помазали. А ведь каждый раз выпускает с надеждой «серьезную» книжку под разными наименованиями, создавая произведения в сознательном и бессознательном творческом состоянии.

И вот поэт Облонников отрицает крах рыночных отношений, получая ответы одного содержания из одного и того же источника. И входит в глубокое раздумье. И, пока он выходил оттудова, волосы его переместились с темечка на подбородок, и на подбородке выбухала борода. Их в стране — лопат таких, всего, может быть, тыща. И вот в связи с этим собирается поэт жить без применения ручного труда, снег грести будут уже не дворники, а с помощью этой самой лопаты. И навостряется (хоть что-нибудь смыть с себя) Облонников в баню, чтобы флору свою «похорохорить». Это он так жене сказал. А сам, соответственно псевдониму, в лоно блуда решил удариться — сходить на Щепной, до пивной. Однако, согласно Николаю Рубцову,

«Стукнул по карману — не звенит,
Стукнул по другому — не слыхать».
С чем себе позволишь отдыхать?

Вот Облонников и оказывается на улице, вроде как на панели (многие сейчас приличные люди оказываются). И подалее от той улицы, где он живет постоянно. А именно — у музея-панорамы, автором которой, все знают, является лауреат всяческих поощрительных премий, от которых он не отказывается, за что ему, еще живому, в городе уже якобы созидается мавзолей. Как и Брежневу за премию торгового бога Меркурия.

Это за то, что продавал хорошо, даже бюст в родном регионе поставили.

Так вот, прошмыгнув мимо танка на охране исторических музейных реликвий, поэт Облонников оказывается у церкви Иконы Смоленской Божьей Матери. Это двумя-тремя пядями далее. Глядь, а на паперти одни престарелые — старушки «божьи одуванчики», и все кружки алюминиевые держат, навстречу тянут.

— На ремонт храма, батюшка, — обрывает внутренние моления поэта первая из старушек.

— А также бренного тела, — бормочет вторая и осеняет себя, а не его, заметим, крестом.

Поэт Облонников одной рукой хорохорит лопату, а другой изымает у старушки алюминиевую кружку, задвигая «одуванчика» в тень. Привык к такой процедуре.

— А ну, — говорит, — дай-ка, мать, сам постою, поддержу вашу мафию.

Старушка, глядя на матерую лопату «словотворца»-«чудотворца», так вся и сомлела. Кадры в голове перепутались: где чудотворец? где словотворец?

— Батюшка, — лепечет она в наивности святой и одухотворении. — А не ты ли настоятелем будешь, в Ливны присланным? Тоже, говорят, с лопатой, без применения ручного труда.

— Грехи, мать моя, тебе отпускаю, — простирает длань над старушкой Облонников.

— А грехи-то какие — вчерашние?

— Сколько за жизнь, небось, определила себе? Ишь, как стоишь, заиндевела вся.

А у самого такая фантазия разбушевалась. А что, если стиль жизни изменить, как вы думаете? К паперти какой-нибудь приспособиться, а? Не пропадать же на ярмарке, в поляризации жизни.

Ко всему привыкают в народе. Как присох к паперти и Облонников, вдохновясь на служение. Стоит себе с кружечкой.

— Видали? — задрав кадык, говорит он ледащим

голоском, указуя на крест над собой. — Душа вон куда стремится, на небеса, а грехи нас туточки держат.

— Сам-то ты, отец, чего нагреховодил? — интересуются уже не ледащие, а какие поближе к нему, поспортивнее. — Ить грешить-то грех.

— Я — святой! — охорашивает поэт лопату и решительно бьет по груди себя кулаком: — Во гудит колокол! Еще ничего, постоим за правду, синие птички — голубушки, ангелы небесные... А вот они кругом, — проворачивает Облонников туго вью свою, аки всяк, трепеща всеми своими фибрами, — что творят, одно негодяйство! А у меня легенда такая, лично мной составленная. Стою тут с вами, со слабым таким контингентом, для самоизобличения, для собственного линчевания, и мне себя ведь не жалко. Я начальство хочу своим стоянием усовершенствовать, глядите, мол, до чего докатились и докатили поэта... Провалялся я, значит, в инфекционной, а жена с хахалем меня в шею. А за квартиру — плати...

— Небось, еще и пеню давай, — воодушевляют Облонникова «одуванчики» — бывшие комсомолки, из нижнего и среднего комсостава. — Мэрии этой все мало, коммунальным реформам...

— Пеню я отклонил, а за все остальное плачу. Гнись, поэзия! Зови на подвиг, родина-мать! — шумно, через ноздри, вздыхает поэт. — И вот туточки... с кружечкой... с вами я, ваятель слова, аналитического содержания...

— Он — святой, — шепчут бабушки, что поближе, тем туда, какие подальше, во глубине сибирских руд: — Только странный, какой-то чудной отец-то наш! Он — ваятель, все рассказывает про начальство, про все ранги и декларации.

— Да, рассказываю! — ловит поэт чутким ухом про свое реноме. — В Ливнах она хороша, а тут тоже своя есть, да город больно велик, глотки не учтены.

— А ты постригись, — советуют «одуванчики», божьи люди. — Может быть, и дадут еще че-нить.

— Бесплатно нашему брату нигде не нальют, — хорохорит лопату Облонников. — Все зависит от МВФ. Те дадут, а эти тут в карманы кладут.

— Святой, разумеется, главное — все как на духу, — присоединяются к «синим птичкам» даже отдельные сомневающиеся. — Создает образ честного, грамотного, независимого поэта, говорит в рифму. Чего под нос себе шепчешь, старец?

— Это я мотивы твержу ... стихотворствую, — кривит душой Облонников. Сроду ни на что не молился, кроме как на рыночные отношения. — Вот гляжу на крест, а слезинка с него вниз, сюда к нам, стекает. Вот про это и сочиняю! Это ж не в магазине. Только и знали, бывало, в кассу деньги совали. А тут вот стою, стою с кружечкой, стою...

— И сочиняешь, и сочиняешь, — подхалимничают старушки.

— И сочиняю, — тычет в бороду себе пальцем Облонников, вроде как эстетику наводит. — А все не дома сижу. Как снайпер. Каждый день то в «десятку», то в «молоко». А рупь и то дай сюда! Это же сколько в месяц-то, а? А в год? Минимальных-то. Глядишь, и на региональную натяну. И на государственную наскребу. И даже на премию братьев Гримм или... как их... во Франции-то? ...Братьев Гонкуров... Интересно, у кого бы это поинтересоваться? Во скольких наших «деревянных» выражается ихняя Нобелевская?

— Наши. Зачем тебе наши? Бери ихними, — советуют старушки — сами тоже деревянные, гробовые.

— Итак, сочиняем, не отвлекаемся, — вслух перебивает себя же чистый поэт. — Итак, значит, так... Это — «рыба». В постный день всегда, как дыба.

По улице ходила
Большая крокодила.

Ну и что? Всякие тут по улице ходят. Однако опять мимо. И еще один мимо. «Из Древнего Рима, — подсказывают старушки, — по паперти ходила большая

крокодила». И Облонников кидает в спину всем тем, кто мимо — из древнего мира: «За копейку удавятся». Значит, так: «По паперти ходила большая крокодила». Какая там крокодила? «По паперти ходила — старушка... ме... бе... ве... Автандила», «Старушка Автандила по палубе ходила»,

Она, она
Голодная была.

«Она» и «была» — ни хрена себе рифма.

— Она, она, — подсказывает старушка ближняя — «одуванчик», — можно предложить такую развязку: «она» — «волна»?

— «Волна»? — сверкает одним оком на нее Облонников в нервном экстазе, другое око посвящено в это время поэзии. — Волны кончились, мать, начались «войны», всем хана! «Она» — «хана».

— «Всем хана», — подсказывает кто-то из проходящих, это вместо того, чтобы в кружечку плюхнуть... положительному герою. Старушка та бедна... без дна была она...

— Хана, — отстраняется поэт Облонников от «одуванчиков» со скудностью мысли.

— Бедна? Голодная была! — вылезает со своей рифмой еще кто-то из глубины паперти, из третьего эшелона.

— А может, луна? — это из второго эшелона, поближе.

— Луна, — пожимает плечами Облонников. — Луна — это серебро, а не золото.

Проходит мимо знакомый, издали увидел поэта:

— А, товарищ Облонников? Чего тут творишь?

— Да вот, стою, на крест смотрю.

— А кружку держишь?

— Ну и что? Остановился, стою и держу. А с неба влага кап-кап, кап-кап...

Старушки — синие птички — хитроватенько этак, чужеродно как-то оглядывают то Облонникова, то пришельца.

— Кто же это? — кивают они Облонникову на чужого человека, близко его опознавшего.

— Да так... один тут художник... автор малых планет.

— А это кто же? — добиваются они теперь уже от «художника», глядя как повыразительнее на своего Облонникова.

— Это, матеньки-батеньки, — режет правду-матку теперь уже автор малых планет, — это —известный поэт! Инкогнито!

— Что — такая фамилия?

— Автор, мать, единственной книжки. Но как Библию пишет — одну всю свою жизнь.

— Я вторую начал, — обижается Облонников. — Уж на пятой странице...

— Он святой, — вторгаются старушки. — Он больше ничего не умеет. Как Христос, говорит и повторяет: «Вначале было слово»... Говорит, вера на мифах держится, на поэзии. Достоверно ли?

Мифы впереди бегут, не угонишься. И вот уже к церкви той люди идут, улицу перепрудили. Интересно, как это с кружечкой стоит поэт восклицательным знаком, выражая иную эпоху?.. «Это у какой же церкви?» — переспрашивают еще в троллейбусе.

— Да, на паперти, что за панорамой, автору которой живьем, говорят, животворный строится склеп... в центре города, на Дворянском гнезде, правда ли?

Слухи, слухи. Кто стоит, кто лежит, кому строится? Докатилось до мэрии. Посылают из мэрии человека из чувства доверия — женщину элитную, тополек в красной косыночке: «Че там этот поэт, наш лауреат, говорят, выкаблучивает? Ты знакома с ним, знала его — погляди». Вот пришла она, как Лаура к Петрарке, глянула на кружечку в руке, да и топ ногой, как посохом оземь.

— Чегой-то это ты тут творишь, товарищ Облонников?

— В народе живу, — отвечает наивно поэт.

— А это кто? — показывает нынешняя и прошлая

Элита на целый ряд, тоже выстроенный по паперти, — у всех кружечки — мерка, как у святых.

— Ах, вот эти? — оттесняет Облонников «чужих» на вторые позиции, выдвигает вперед «своих», так привык. — Ах, вот эти — все читатели мои, да! Этот кто? Ловит мгновения. Тут, говорит, легче ловится... Композитор. А за ним — тенор. Индивидуалист, не из хора...

— Ну, а дальше-то, дальше, — от обиды вспыхивает Элита, Лаура, Тополек в красной косыночке. — Чтой-то, поэты, вы быстро так переквалифицировались?! Низко пали...

— Он святой, — заслоняют Облонникова бывшие комсомолки теперь уже откровенно, из своих клановых интересов. — Он просветитель! Всем нам тут мозги чистит, про всякие регионы рассказывает.

— Ну и сколько же будешь тут стоять монументом? — берет себя в руки Лаура.

— От меня, что ль, зависит? — смотрит поэт Облонников мимо нее, на крест над Смоленским храмом. — Как вон сверху дадут команду, так и уйду.

— Он у нас луа... луа... как, батюшка? — вступаются за него на паперти, теперь уже эти новые поклонницы его «лопаты без применения», из нового коллектива.

— Луареат! — твердо выговаривает Облонников («тьфу ты, буква «в» возникает, зуб выпал, орфоэпии никакой, «в борьбе обретаем мы право свое-е»), и уже менее уверенно повторяет: — Лауре... лауре-аты мы!!

— А ты кто такая?! — строго спрашивают Элиту старушки. И к Облонникову: — Кто она, отец?

— Лаура, — отворачивается поэт. — Или, может, Луара? А конкретно — эта тайна никому неизвестная. Еще никто не познал в себе, есть поэзия или нет, есть «талан»? Но всем надо есть.

— Есть, есть, — благосклонничают старушки. — Должон быть! Ох, какой у тебя характер! На земле ты хоть, но как на паперти, глядишь, как высокопоставленный.

И ПОСТАВИЛИ НА ВИД

— Все романы пишутся так — с конца на начало, — говорит мне один читатель. — А ты написал бы что-нибудь с начала до конца, то есть автобиографичненькое, пикантненькое такое, имея в виду личную жизнь, до чего все теперь дюже охочи.

— Не Горький, — отвечаю, имея в виду горьковскую трилогию («Детство», «В людях», «Мои университеты»).

— Да ведь и не сладкий?

— А кому оно сладко? — отвечаю... И все же, елки-моталки, имеется в арсенале у меня один такой драматический случай, который и ныне воспринимается юмористически. «Дом на крови» — так называю я тот эпизод про себя, проводя параллель с самим государем-императором, с «храмом на крови» в Санкт-Петербурге, где в царя-освободителя швырнули бомбу.

Мой эпизод, конечно, полегче, фигура-то не монаршья, но все равно кровь-то одного свойства — русская. Пусть пока за кадром, в легендах все это походит. Такова наша профессия: выдумывать про души, а про себя, чтобы поверили, тоже чего только не нафантазируешь...

Значит, так. Выделили писателям в нашем городе особняк. На Дворянском гнезде. Я тогда в «колхозе» писательском председателем был. Особнячок — рухлядь, но с доской: купец некогда жил, а также Свешников — кто помнит, бывший председатель бывшего всего большого «колхоза». Взялся я за капремонт по неопытности — не знал, на какие муки иду. За что до сих пор благодарен предшественнику, так это за то, что деньги литфондовские не на счет своего «колхоза» взял, а направил в УКС горсовета (в управление капитального строительства). А и без денег работенки хватало в эпоху дефицита: матерьялец добыть, бригады ремонтостроителей на объект затащить... Замотался, забегался, Господи-и-и! К концу дела — представители

всякие появились: из Курска, Тулы, Брянска, — за опытом, естественно. Один даже полковник — с целым иконостасом! Интересно всем, как это происходит. Забегая вперед, скажу: кроме нас, нигде ни одного особняка капитально так и не отремонтировали. А финальная сцена с реставрацией «Дома на крови» выглядит так...

Лето еще, но сентябрь уже на носу. Это когда будет у нас отчетно-выборное собрание и я сброшу, наконец, свой «хомут». Ни единой лирической строчки ведь не написал — одни бумаги с грифами и наподобие ихнему преподобию...

На храме в Болхове десятилетия сидели, так до венца и не добрались. Начальник участка, а также прораб, ведущий нашу стройку, в отпуск как раз уходят. Ну, думаю, надо тепло посидеть, предаться гармонии. Собрал грошики кое-какие — «золотишко» собственной пробы, из своей, понимаешь, зарплатенки, стою и жду гостей у порога. Приехали на «пирожке».

Не сказать, чтобы я забыл, в какое время мы живем. Горбачевская эпоха. Генсек молоко пьет на трибуне, и все клеймят тех, кто не пьет, итить твою мать. С полчаса стоим с гостями, выстаиваем перед дверью — все крутим мозгами, прикидываем: здесь объект, там офис — нельзя, «хвосты» кругом, за город надо, а как ехать-то в «пирожке»? «Темнота, темнота и еще раз темнота». «Да что мы, какие-то дефективные? — говорит прораб и подхватывает мою сумку с ритмами и рифмами. — Двинули, мужики, рядом тут на природу, место классное знаю».

Ну и двинули. Ну и разделись при уже заходящем июньском солнышке. Даже в Орлике поплескались, а после стояли гутарили, ветром с реченьки обвевались. А вот кто-то зачем-то тогда-то все видел и другим сказал: пьют, дескать, не молоко, итить твою мать. Ну, как в Санкт-Петербурге. Тоже ведь не сразу под ноги

коням царевым бомбу бросили, сначала готовились. А как же, чтобы вовремя прибыла «скорая» для собиранья останков, почившего в бозе, царство ему небесное, государя-императора...

Вот и мы обговорили сроки (насчет Дома-то, который, заметим, был еще не «на крови», встали в позу, посмотрели друг другу в глаза. Ну что — стременную?»). И тут кто-то взглянул и сказал: «Человек». Имея в виду под «человеком» блюстителя. А я прямо глянул — опять-таки «человек», так же имея в виду чужого — не своего. И налево все уже глянули: опять-таки человек — в «подкову» взяли... Бермудский треугольник...

После умные люди советовали: что же ты, убежал бы, что ли? — А сопротивление? — говорю. — Какое там сопротивление, смех один. — А такое, как ангела, возьмут да за крылышки. — Да разве у грешников «крылья» бывают? — Конечно, какие «крылышки»? — И тут у меня перед «подковой» разыгралась такая фантазия. В чем был, в одних трусиках легкоатлетических, отступаю назад спиной к Орлику. И пошел бы себе, как Иисус Христос по воде, аки по суху...

Однако далее происходило все неореалистически. Ну, форсировал я водный рубеж, оказался вне досягаемости. Ни блюстителей, ни одежды. И опять сюжет распадается надвое: или голым домой («Динамо» не пробегала? Ну, значит, я первый). Или же к кому-нибудь постучаться... Но возвратимся к трезвой реальности, все же семьдесят пять лет в реализме жили. Так вот, форсировал я Орлик, прошел по воде, аки по суху. И совсем ведь забыл о средствах связи, про которые все шумят ныне, что средств оповещения органам не хватает, а и тогда они, видать, были. Рация, называется. Вот ступаю я из Орлика на дикий брег, а они уже тут, вылезают из-за крапивы: «Ну как, —

говорят, — выпил молочка? Великие вехи, — говорят, — забываем. Например, хозрасчет в вытрезвителе! — Да, про это разве забудешь? Не могу все слить в единое слово и бросить то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль... А еще удивляемся, почему этот «храм на крови» в одном Санкт-Петербурге? «Освободитель» ведь Россию освобождал. Сам государь-император... А мы что — мы люди мелкие, не какие-нибудь «рыцари революции»...

Чтобы храм какой-нибудь обагрить, — это нам раз плюнуть, одно удовольствие. Вот так целый век и живем. Грязные носки меняем, а в грязной обуви остаемся... И посадили меня перед «подковой». И поставили на вид. Не помню, одет я уж был или сразу же после речки. Так и стою. Как бронзовый Бунин в Орле («Окаянные дни»). Говорят мне, посиди, а хочешь, сядь, как Бунин в Воронеже или опять же в Орле Тургенев или Лесков («Тупейный художник»). Всякие образы — мимо и сквозь меня, когда вспоминаю художников. А не только одного Максима Горького, который, я так думаю, если бы пил молоко, разве же стал бы Горьким? Кто это сказал, «человек — это звучит гордо!» Горбачев, что ли? А в Европе или Америке смотрят на нас и диву даются, как это «сухие законы» сушат Россию, а облик не просыхает?

Или вот еще что, почему это у Бунина в Орле, что возле одноименной библиотеки, шапочка на затылке каменном, как у еврея, ведь он же русский и христианин? Да нет же, это не «шапочка» еврейская в таком случае, а «тонзура» называется, как у самого Папы Римского или кардинала. От колебания температур, говорят, на граните образовалась. Страна такая — северная, климат резко континентальный.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

(Благининские праздники)

Один поэт возвращался туда, откуда вышел. А для этого нужно было опять писать заявление, собираться всем, тайно голосовать. И кто он, и зачем сюда снова? Блудный сын, что ли, Троянский конь? Да ведь мы не в Ордене же Меченосцев, в конце концов. — А кто же? — Что же лично ты к Евтушенко-то не подался? — А я, — говорю, — как сундук. Неподъемен. При пожаре могут вытащить разве только в экстазе.

В запутанности давних-сверхдавних интриг все ждали, что я-то уж буду «против». А я о своем «за» сказал вслух. Но не совсем то, скорее интуитивно. И только помню жуткую сцену на площади Ратуши, изображенную в историческом музее в городе Львове, где жила моя тетя. Средние века, святая инквизиция. И мученик перед ней, ноги на раскаленных углях, а перед мучеником на возвышении — они «подковой», святые отцы. Впились глазьми своими в мученика-то. Представь, и ты на «электрическом стуле», а перед тобой эта «подкова», и сердце поджаривают, глаза зловещи, святые отцы! И вопрос сквозь огонь ко мне: «Осознаешь?!» Как к Джордано Бруно или Галилео Галилею. А сказать ведь хочется: «А все-таки она вертится». Но с пересохших губ: «Опыта не хватило». И тот, кто все это затеял, из тех самых — впереди с ними и в общем экстазе. И это только одна из сцен нашего недалекого. А вот и другая. Поэтический космос, подключение к сферам. Поэзия вдохновенна, поэтов всех времен и народов всегда вели и будут вести на костер...

Конец мая. Сирень уже доцветает, но сады еще благоуханны. И все это как-то особенно видно в Яковлеве, где прямо у школы, в цветущих садах, проходят праздники поэзии Елены Александровны Благининой. Когда-то она тут учила детишек. И сын мой ее не так дав-

но тут же учил их потомков французскому. Это мы с ним приехали на праздник классика детской литературы. Вот беру в руки книжку стихов. Не детские — просто стихи. И пронзают меня такие простые строки Благининой:

Опять продаются фиалки.
Я все еще, милый, жива.
А твой пиджачок на распялке,
Пустые висят рукава.
Вельветовый, в узенький рубчик, —
На что он теперь, для кого?..

Дыхание перехватило. Мы же дети войны, мы были, мы жили там и с теми, что возвращались без рук и без ног...

Земного дождя не услышишь
И песен о нем не споешь.

Хотелось петь певучими звуками об этой «распялке» всей благининской жизни, но как-то не получалось. И тот, кто за «подковой» был, оказывался хоть и дальним, но родственником... «Как же так? А черты — по Маркесу — рода?...»

И, когда возвратился с праздника, я еще раз взял в руки благининский томик. И нашел, что искал. У больших поэтов бывают такие стихи! У нее — беспредельная «колея».

Над далью, дождиком примятой,
Стоит денек почти сквозной.
Орловский ветер пахнет мятой,
Полынью, медом, тишиной.
Иду стеной высокой хлеба,
Иду-иду и постою.
Любуюсь, как упало небо
В искошенную тишину.

Упало ли небо на землю, земля ли возвысилась до небес — все это в душе прожито и пережито в ее мучительных свойствах, зачем?

На синем дне летают птицы,
Плывут печалью облака.
Стою — мне страшно оступиться,
Мне очень страшно оступиться,
Так эта пропасть глубока.

Главное — дважды не оступиться. Катарсис — очищение Небом, вознесение ввысь, когда много чего-то напутано. А я любуюсь, как падает небо в «искошенную тишину», и мне хорошо, мне не страшно за всех, когда есть еще хоть один человек, который, падая в пропасть небесную, осознает себя в перевернутом мире хоть и грешной, но не падшей душой. В стихах Благининой — это синее-синее дно.

«ВЛАЖНЫЕ ГЛАЗА»

Вася Кубышкин слышал по местному радио, книжка у одного писателя вышла — «Влажные глаза». Почему она так называется? Ведь не женщиной, а мужчиной написана. Всю жизнь мечтает Кубышкин книжку хоть одну настрогать, чтобы люди ее читали, однако всю жизнь только знает, что вкалывает в районных электросетях. Пришла вечером Паша, Прасковья Ефимовна, с работы — она в библиотеке работает, Вася к ней с мученическим вопросом:

— Как, — говорит, — и по какому принципу книжки у писателей называются?

— Кабы принципы были, — смеется Прасковья, — книжки бы, Вася, вообще не писали.

— Вот «Влажные глаза» — книжка такая. Почему хоть глаза — «влажные»?

— Критика, наверное, раздолбала, — пожимает плечами Паша. — Вот глаза у автора и увлажнились.

— Ага, — кивает Вася Кубышкин жене. — Это как у Исаковского за песню «Враги сожгли родную хату»: «Пришел к тебе, моя Прасковья...»

— Если со мной что случится, — вздыхает Паша, — например, заболею, вряд ли станут, Вася, глаза твои влажны.

— Ты у нас бульдозер, — смеется Кубышкин, вроде как намекает на что-то. А у самого всю жизнь ни кубышки, ни самих денег — неконкурентоспособен.

— Бульдозер я? — обиделась Паша — беззаветная труженица на работе и дома, тоже Кубышкина, а не как соседи: он — Пеновский, а она — Пенковская, так в паспорте ошибочно им записали.

— На базар ходишь, — сбавил тон Вася, — семью кормишь, сумари вон какие таскаешь.

— Вот что, — строго глядит на мужа Прасковья. — Давай-ка бери мою сумку и валяй на базар! Вот список тебе — что купить. Да про яйца, гляди, не забудь. Пасха на носу.

Взял у жены Вася Кубышкин отведенную сумму. Думает, может, пивка попью, если что останется от кредитования. Глаза у него аж на лоб полезли — 100 рублей! Это двадцать бутылок в этом году, а если в прошлом — так все двадцать пять! И пошел Кубышкин решительно на базар за дешевыми ценами. А приходит с базара — никакого энтузиазма. Швырнул в угол сумарь, а Паша ему:

— Тихо, все поколотишь!

— А чего колотить-то? — стоит истуканом Кубышкин.

— Как чего? Яйца.

— Какие?!

Паша в сумарь — ни яиц, ни денег.

— Где же деньги?! Пропил, паразит?!

— Сто рублей!! — раздается смех Василия, полный сарказма. — Лучше бы уж портреты на деньгах опять рисовали. Пушкина, например... чем этот Большой театр. Не то что на яйца — даже на кружку пива не выгадал...

Вот и Пасха. Отмечайте, граждане! Государство непротив. Сели Кубышкины за праздничный стол — раз-

говеться. Крашеным бы яичком встретить Воскресенье Христово, а на столе ни яичка, нечем и похристосоваться. Стала чистить Паша картошку в мундирах, вроде как на яйца похоже. Присел Вася рядом, глянул на горку чищенных яиц — не яиц, а так — картошки, на согбенную Пашу похожи. Увидел весну за окном, и глаза его увлажнились. И тут хвать Вася себя за язык: «Ага, понял! Вот оно книжки-то как называются!» — «Как?» — чистит картошку Паша и улыбается, потому что все равно солнце, весна на дворе. — «Жизнь все равно будет лучшеть», — говорит Вася Кубышкин, куры несут яйца в «мундирах», а картошка сама растет на столе.

И прильнул Вася к радио, а в Москве, говорят, лопнул банк и прекратил финансирование. А еще говорят, Москва совсем оторвалась от регионов, зато крепко пока что держит их за пуповину. А Вася-то думал, что как настрогает хоть одну книжку про Большую-Большую Кубышку, так жизнь и изменит свой облик, глаза у людей перестанут быть «влажными». Что с Кубышкина взять, кроме его фамилии, жизнь из кривого зеркала отражающей?

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Большому Писателю, земляку-классику, ставили в городе Памятник. Спросили меня: «Ну как?» — «На Шукшина, — говорю, — похож!» Имея в виду надгробье того же автора, которое я видел в столице сразу после того, как съездил, помнится, к матери Василия Шукшина, в алтайские Сростки. И вот хожу-похаживаю я в своем городе мимо этого Памятника, и все мне кажется, Большой Писатель, как и Шукшин, вроде как на левую ногу характерно этак приваливается...

А не так давно встречаемся мы с одним моим другом в Москве. Друг мой и автор того Памятника — оба скульпторы. Представьте себе, Ломоносов с архитекто-

ром Шубиным — оба академики и оба из архангельской деревушки. Так и эти оба родом с одной небольшой железнодорожной станции. Так вот сидим мы с Другом в его мастерской. Естественно, спрашиваю:

— Ну как, что творишь?

— Да вот, — говорит. — Малая форма.

И показывает мне фигурку с того же Большого Писателя. Так же стоит, так же глядит. Только под веткой, как бы под крышей.

— Для памятника, может, и нет, — говорит, — а для малой формы это возможно.

— А остальное что? — говорю.

А Друг — умный мой, все понимает, как собака, обученная на наркотики.

— Зеркальный эффект, — объясняет, — это как в политике. Левое ухо переместилось направо, а правое стало левым. Думаю: «Сам я когда-то писал про это, кажется, в «Двух пророках». Сидим и глазами друг на друга глядим, такая идет теплота, давно же не виделись. Теперь же в Москву съездишь в редкость, прямо праздник, хотя от первопрестольной мы всего-то на трехсотой версте. Может, все это и привычно ему, а я-то примечаю: что это с ним творится?»

— Да вот, — говорит, — зубы вставлял. Американское лекарство применили. А от него в голову ударило.

«Зажим, что ли?» — думаю я, но молчу.

А он заводится, даже глаза увлажнились от откровенности, вдруг и вовсе распахивается, никогда с ним не бывало такого.

— Видел, — говорит, — каков у меня этот Большой Писатель? Руки, ноги, голова — анатомия вся в порядке.

— А у кого не в порядке? — спрашиваю.

— А там у вас, на берегу... Памятник-то на левую ногу оперся, а нога в туловище не попадает. Вроде как мимо...

— Ну да, — говорю. — Как Шукшин, на левую ногу характерно этак приваливается.

— Вот-вот, — соглашается Друг мой. — Похоже на то.

— А чего так? — намекаю на автора земляка. — Сильно быстро делали?

— Ну да, — говорит.

— Мол, никто не заметит? Или, может, оно так и надо?

— Так не надо! — строжится Друг мой, вроде как я сомневаюсь в его компетентности. — Памятники по стране ставил, некогда было подумать... три, нет, четыре монумента в год... Коня же надо чувствовать, у Клодта под Петром Первым конь — это конь! Ноги вверх, масса на одном хвосте...

— У кого?

— Да у коня, у коня! — морщится Друг мой, как от зубной боли. — У Главной Лошади страны, что в Москве. Один дед — лошадник, бывший жокей — специально из Сибири приехал. Лошадь в иноходи разве так ногами перебирает?

— Не так, — смотрю я на Друга и все понимаю, как собака, обученная на наркотики. — Стареем, брат, стареем. А что делать? Ноги теперь переделывать?

— Да ты что, — машет рукой мой Друг. — Рафаэль на заказ сделал портрет какому-то дожу. Пришел тот — и в позу: мол, не похож. А Рафаэль ему: ничего, через сто лет будешь похож. Привыкнут.

— Вроде так и надо, да?

— Ну да. Со временем острота стирается, глаз перестает замечать. Вот все это я и учел в малой форме. Правое сделал левым, а левое — правым, зеркальный эффект. Ну, и ножку поправил...

— Чтоб в животик не упиралась, — поддакиваю я. — Фигуру не кособочило.

— Постарался уж, — несет Друга моего далее по профессиональной дорожке. — Для одного нужного человека делал. Для Юбиляра.

— Ну и что?

— Юбиляру-то? Ничего, — замялся Друг и, наклонясь ко мне, на ухо мне шепотком: — А этому... ну, автору Монумента... Я родоновый стержень вставил...

— В задницу, что ль? — подхихикиваю я.

— В копию, в малую, — откидывается Друг мой на спинку сиденья. И тихо, тихо все кругом. Только кран, слышу, капает. Что, невозможно уж и закрутить? Понимаю все, как собака, только не говорю. И коня клодтовского, как своего, что — нельзя поставить на площади?

— Хочешь, подарю тебе повторение? — извлекает Друг из шкафа точно такую же копию, только черную — из пластилина.

Иду по городу, остановлюсь, приоткрою портфель — достану пластилиновое повторение. И нюхаю воздух. Родон, однако, — это нюх не берет. А может, и нет никакого родона-то, все это мистика, я нарочно придумал? Однако зашел в мастерскую, к одному, которого не любил, и на всякий случай оставил ему эту копию. Черная фигурка под черной веткой. Кто был никем, тот станет всем. Это когда в зеркале правое ухо становится левым. Справа налево, зеркальный эффект. В Мекке от слез людских черным камнем стала Кааба. И на черное, как на бывшее белое, как на чудо небесное, — молятся.

БУТЫЛКА КОЛОСКОВА

Октябрь на дворе был. Воскресенье, как сейчас помню. Рассматривал я фотографию блекловатую, многолетней давности. Трое нас — молодых еще, толстогубых и русоголовых: Сережа Пискунов в центре и мы с одним другом — по бокам. Сережа в последнее время был ректором пединститута, где с ним и случился удар прямо за рабочим столом. Еще один друг мой — скульптор, автор некоторых скульптурных работ в Орле, ну и я — ваш покорный слуга. Все трое глядят на меня из-под стекла книжного шкафа со щемящей, светлой болью по ушедшему...

И тут телефонный звонок. Москва на проводе. Голос друга:

— Леня! А где же бутылка?

— Какая?

— Ну, какую подарил мне Колосков и которую я сказал тебе убрать куда-нибудь с глаз долой.

— Ах, Колоскова бутылка-то? — соображаю я, тяну чуточку время. — А куда я мог ее спрятать?

И тут во мне молнии зашмыгали сразу во всех направлениях. Я расхохотался, да прямо в трубку.

— Чего это ты? — обижается на меня друг там, в Москве.

— Откуда звонишь? — говорю. — Из мастерской? Так вот ты смотришь прямо на нее, она от тебя в трех шагах. За створкой дверной в комнату, где камин... За левой, левой створкой-то!.. Эх вы, несчастные Шерлоки Холмсы! Помнишь сюжетец с пропавшим пакетиком короля Богемии? Точно так же, один к одному, «пакет» у тебя перед самым носом...

Пауза. Молчание. Пи-пи-пи. Разговор окончен.

Ничего себе! После гомерического смеха сижу какое-то время в оцепенении. Ну хорошо, способностей приятеля его Малышева, который тоже там был, я не знаю. Но вот о друге моем, о его практицизме, находчивости — ведь скульптор же! — я был более высокого мнения.

Лихорадочно, интуитивно рисуется вся эта картина, выстраивается свой сюжетец, в конце которого (как прострелило меня!) — возможный правительственный кризис. В пятницу фракция коммунистов в Госдуме предъявила кабинету Черномырдина «черную метку» — вотум недоверия, решение об отставке. Ну да! В следующую среду, после субботнего пленума ЦК, будет вынесено окончательное решение. А все она — эта бутылка! Все из-за того, что не нашли ее вовремя! Вот она — современная психология, психика, черно-белая магия! Это же элементарно — я сманипулировал дверью, а у друга моего — скульптора, может, впервые в жизни не сработала соображалка.

Итак, все по порядку. От начала до правительствен-

ного кризиса. Попробуем во всем разобраться... Где-то в конце зимы друг мой был в Орле — поздравлял с юбилеем председателя, заехал ко мне. В конце визита напомнил о своем собственном юбилее осенью. «Попробуй не приедь!» — «Естественно, — говорю, — попробую, но приеду». И на перекладных — на двух электричках (от Орла до Тулы, от Тулы до Москвы) приехал, естественно. Никогда так не ездил.

В мастерской собрался на сей раз узкий круг. «Бомонд» самых-самых. Предвидя это, я даже песню поздравительную сочинил. И все думал, переживал, как это я буду ее исполнять. И тут является — кто бы вы думали? — сам Колосков Козьма Иваныч, которого прежде я видел только по телевизору. Ну да, тот самый — бывший лидер. Оказывается, у них с другом моим дачи рядом, соседи они, и под мышкой у Колоскова, естественно, сувениры. Эта самая бутылка оплетенная, литра на три, и книга «Задонщина» величиной с полшкафа — сувенирная, со специальными иллюстрациями Ильи Глазунова. Издана в Италии еще прежней властью. «Ого, книжища! — думаю. — С Дмитрием Донским на футляре...»

И еще приветственный адрес юбиляру от Думы. Зачитал его Козьма Иваныч — со всеми регалиями, современной атрибутикой, важными подписями, аж в глазах зарябило. Ну, Москва же не какой-нибудь поселок Синяевский, где самые великие люди — это мои друзья крестьяне Нюра с Иваном да агроном с баяном, которые тоже передавали привет юбиляру, но только устно, через меня...

Окончилось все это. Разошлись все гости. Посуду помыли, убрали. Друг мой с семьей на квартиру к себе ушел. А мне надо рано утром обратно домой — на электричку. Из мастерской легче добираться до нашего Курского вокзала. И чтобы было кому дверь закрыть, друг мой оставил своего приятеля — тезку своего Малышева. А в конце дал мне строгое указание.

— Видишь, — бутылка? — сказал он.

— Бутылка Колоскова, что ль?

— Так вот, — сказал мне друг задушевно. — Посидите вечерком еще, а утром уберешь ее куда-нибудь. В кладовку, что ли, внизу. А то тезка мой... того... не с кем завтра будет ехать в Смоленск.

— А с бутылкой Колоскова, — шучу.

— Прибери, да не на глазах все же делай. Не обижай личность.

— Хорошо, — говорю, — будет сделано.

Встаем на рани, Малышев мне:

— Ну что — по маленькой?

— Да ты что, — говорю, — мне же ехать!

Бриться, умываться, собираться — уходить надо. А он все перед глазами мотается. Ну как я ее, бутылку-то, в кладовку отнесу, не оскорбляя личности? Туда-сюда, мозги включаю. Ах, Боже мой! А уже идти пора. Малышев отвернулся — я хоп бутылку да за дверь. Конгениально! Левую створку лет сто уже не отворяли, это я точно заметил. «Ну, — думаю, — этот-то друг вряд ли найдет. А тот, мой друг, тоже сразу не найдет. А потом сядет на табуретку — вот тут у камина, посидит, подумает — и сообразит. К обеду сообразит, если надо будет голову маленько поправить...»

Так все и было. Приехал я в Орел к себе. Неделю от друга моего — скульптора не было ни слуху ни духу. И вот он — звонок. Я уж думал, он в Курск собирается через Орел, заедет ко мне. А тут на ж тебе! Где, — говорит, — бутылка? Сам позвонил — спросил. Это же человек переступил через свою гордыню. Я всегда у него числился в непрактичных, и нате вам... Как же они, бедные, там мучились — целую неделю! Чего только не передумали. Что я взял с собой ее — это исключено. Во-первых, он знает, я никогда ничего без спросу не беру. Во-вторых, закрывая дверь за мной, Малышев видел, что я ухожу с пустыми руками.

Все обыскали, конечно. Всю мастерскую. Все два

этажа. Во двор перешли — двор облазали. Кленовые листья до асфальта подмели. Да куда ж ее черти делито! Да что же она улетела, что ли, через забор — на Московский завод шампанских вин — для коллекции, корифейка этакая. Так распалились. Колоскова, возможно, оповестили. Колосков, возможно, оповестил всех в Думе, кто скидывался на эту самую сувенирную для юбиляра. Настроение — известно какое, черное! Может, собирались зайти к юбиляру. А бутылки-то нету, чего заходить?

И вот в другой раз не взошли бы всей фракцией на такую акцию, чтобы вручить «черную метку». А тут толчок вроде бы незначительный, а в итоге, думаю, — голосование, вотум недоверия, возможный правительственный кризис.

После телефонного звонка в воскресенье вот что еще я подумал. А может, тот друг, который Малышев, может, он сразу тогда нашел ее да лично всю издегустировал, а? Неудобно думать так вот про человека. Все же личность, с высшим образованием. Но ведь нету, бутылки-то, — Бутылки Колоскова!

Звонить в Москву другу моему не звонил — робость какая-то обуяла. Тем более с нетерпением ждал среды, когда вечером должны сказать по телевизору о решении Государственной Думы — будут они там ставить вопрос о правительстве или не будут?

Оказалось, сам лидер фракции отозвал заявление. «Ну, — думаю, — значит, бутылка нашлась!»

ТРИ БОЧОНКА «АМОНТИЛЬЯДО»

«Амонтильядо» — это из рассказа Эдгара По, про бочонок такого вина в мрачных подвалах средневековья, где в каменной стене живьем замуровывают человека. А у нас тут за «амонтильядо» наши герои выдают красное вино из ходового американского сорта винограда «изабелла», районированного на юге страны. А герои наши — все те же, что и в рассказе «Портативная рука», — это Профессор, Доцент, а также Стар-

ший Научный Сотрудник и Младший Научный Сотрудник. Из разных вузов, однако одна гоп-компания, дружеская мафия. Вместе жили они когда-то в одном общежитии, когда съехались в этом городе после развала Союза. Из уважения Профессора они до сих пор называют Профессором, Доцента так же Доцентом, а вот Старшего Научного Сотрудника для краткости кличут Сонатой, а Младшего Научного Сотрудника — Минусом. Это по первым буквам их научной и деловой квалификации.

Имена и фамилии тут в гоп-компании редко употребимы — мы не на работе, тут у нас неформальное общение, разрядка напряженности. Только для Минуса сделано исключение, его зовут и просто Колюня, он же младший и самый любимый. Так вот, Колюне Минусу тоже хочется Плюсом стать, Колюня застрял в общежитии, остальные уже переехали в отдельные благоустроенные. Чтобы переехать, много надо чего, главное — подлость какую-нибудь совершить, заложить кого-либо. Однако Колюня этого не умеет. И остается ему один только — светлый путь. Вот и мотается Колюня Минус по городу со своими бесплатными лекциями то в парке где-нибудь, то в зоопарке — мертвому припарки, читает также будущим рецидивистам. Да поит друзей в надежде на перспективу. У Колюни родители там остались — на юге страны, в виноградарской зоне СНГ. Под городом Горьким, где ясные зорьки. А вчера оттуда пришел грузовик с цинковыми гробами, по пути захватили, по слезной просьбе родителей, винца для Колюни их собственного производства.

Колюня Минус тут же кидается звонить сначала Профессору — своей не Портативной рукой.

— Самопальная? Чимергез? — звучит строгий голос из трубки, как с того света.

— Какое там! Душу гладит, амонтильядо!! — восхищенно вопит в ту же трубку Колюня. — Бочонок амонтильядо, — уточняет он, ибо Профессор тут же заставит всего Эдгара По перечитать для повышения эрудиции.

— Бочонок? Амонтильядо? — через трубку видать,

как сводит Профессор брови. — Ну, хорошо, буду. Давай общий сбор!

«Культ! И через трубку видать», — столбенеет Колюня перед аппаратом, путая божий дар с яичницей — то, что это он, а не Профессор видит его через трубку. Одновременно Колюня обнаруживает тотальную эрудицию еще и по части нашего не так уж далекого прошлого. «Итак, далее звоним Доценту».

— Доцент! — кричит Колюня в трубку, согласно иерархии, чуть менее восхищенно. — Прибыла Изабелла!

— Какая? — следует фехтовальный выпад.

— Маргаритта Наварская!! Из Испании прямо... из этого... с юга, от предков моих... целый бочонок...

— Сердце бьется сильней! — во весь голос затевает Доцент популярную мелодию. — Слышу птиц караваны... А что Профессор?

— Уже на пути «из варягов в греки».

— Ну дык, понятно, я мигом, — реагирует умный Доцент.

Так, далее. Звонит Колюня Старшему Научному:

— Соната «Аппассионата!» В квартете имени Комитаса нет одного тебе равного. Тащи свою виолончель.

Под «виолончелью» Колюня Минус подразумевает воблу. Это у них так от жен, шифровка такая. И где он берет эту воблу, но — хороша! Всегда с пивом и икрой. Не паюсной, разумеется, но и не мятой. Когда-то ее ложкой в трактирах ели, как кашу, и хреном закусывали. И все власть им была не хороша, выбежали из трактира-то и строй перевернули...

Первым является самый последний — Соната. И сразу в ванную комнату — пиво охладить.

— Туда нельзя! — накладывает на дверь руки крестнакрест Колюня.

Нельзя! И вот почему. Общежитие-то для преподавателей. Однокомнатные квартиры, однако живут в них по трое. Пока сосед на полгода уехал в Москву, на повышение квалификации, жена Колюнина (хитроумка такая, хозяйка невозможная, деревенская девка) из

тоски по родине решила завести поросенка. «И где ж мы будем его держать?» — спросил ее Колюня. — «А на балконе». Эту инициативу жены Колюня похерил: «Вони же будет на целый квартал». — «Ну, тогда курочек, — стояла насмерть жена. — Свежие яички, у тебя же язва». — «Язва у меня одна — это ты!» — как только мог, отстаивал Колюня свои позиции. Но пока он болтался по городу со своими путевками, она тут трех рябеньких в ванную определила. И в качестве нашеста приладила свою швабру и Колюнин галстук подвесила. Больше всего Колю, конечно, галстук сразил. Еще новый. Кинулся он его выручать, а про курто забыл. Во баба какая, хитра! А куры уж третий день на нашесте. По полтора яйца снесли — это в среднем. А так одна — четыре, а другая — ни хера. Только жрать, кал в воду бухать. А воды же сутками не бывает, в любой момент отключают. Вот почему ванна, как горшок, по самый вершок. А куры над ванной. Сидите, сидите, эквилибристы, это вам не на елке, а на полке, на швабре. Яйцо одно упустили, так до дна не дошло, и второе, третье тоже, только четвертое дна достигло и раскололось. «Надо снизить уровень нашеста», — определил на глазок Колюня. И хотел было уменьшить высоту, да тут «амонтильядо» подъявилось...

— А ну, брысь! — отодвинул Колюню Старший Научный и в ванную. Зашел и кричит оттуда:

— А что это ты тряпок в воду набросал?

Колюня туда за ним — а это куры там плавают, уже захлебнулись, твою мать! Придет — убьет ведь, баба-то сумасшедшая. Дверь ей, что ли, не открывать, пусть денька три где-нибудь поночует. У подруг своих задушевных.

— Во, бляха-муха! — стал сгребать утопленников Колюня да в ведро их, в ведро, тайком от Сонаты. — Тряпки половые тут разбросала. Гляди тут на них, любуйся. На речке бы, что ли, помыла...

— А на речку-то трамваем ехать, — подает голос уже из кухни Старший Научный — Соната. — Еще и за

багаж плати. Такие пошли порядки. Во всех трамваях «Правила движения» развесили. Везде в областных городах проезд 1 р. 20 коп., а у нас с рубля сразу на 1 р. 50 коп. По-другому считать не умеют... мэрия эта...

— Три яйца было, и те побили, — скорбно сообщает Колюня.

— Какие яйца? — настораживается Соната.

И тут:

— О! Кто пришел, кто к нам пришел?! Какие люди?! Портати... нет, сам Профессор. И тут же за ним умный Доцент.

— Где бочонок? — это Профессор с порога.

— А вон на балконе, — готов Колюня продемонстрировать, что там у него не какой-нибудь поросенок, а настоящее красное... что?

— Амонтильядо, — семенит за спиной Доцент.

— Красное вино победы! Под видом «изабеллы», — завершает мысль Колюня и поворачивается к Доценту. — А тебе нальем отдельно — белое вино, как флаг для парламентариев.

— Нет, я как все, — запротестовал Доцент. — Я как скажет коллектив... А почему для парламентариев — для парламентеров?

— Однозначно, — прекращает Профессор дискуссию и тычет портативной рукой в бочонок «амонтильядо», прибывший сюда с юга (для устрашения в стиле Эдгара По) в одном кузове с цинковыми гробами. И первым садится за стол, отстегивает руку...

И что там было — история об этом умалчивает. Ну как, например, в бродячих легендах. Однажды Александр Трифоныч призвал одного «печника», потом другого, взяли пару ящиков водяры, а ключи от квартиры в окно. И... и... и... ооо...

Так вот, не про тех это, а про этих — про научную элиту. Однако проснулись они все трое среди ночи от грохота в дверь и трезвона телефона. Открыл Колюня — Младший Научный, а в двери — милиция ломом сюда и соседи с колом, уже с понятыми.

— Убийство, — орут, — произошло! Ну-ка, ну-ка! —

и мимо них на балкон. А на балконе — бочонок видят. Пробку кто-то ночью плохо вставил, «амонтильядо» выбило ее и по балкону, и с балкона вниз туда, на нижние этажи. Красное, красное! Кровь! Кровища! Нет, какого бугая, бычилу угомонили!..

— Да это просто «этюд в багровых тонах», — такое умозаключение Колюня высказал уже в райотделе милиции, куда были доставлены все научные сотрудники, не взирая ни на личности, ни на некоторые конечности.

Заметим, Колюня Минус и в такой ситуации не растерялся, а проявил научную квалификацию, объявив в качестве приложения, что это уже не Эдгар По, а сам Шерлок Холмс с его бессмертным произведением.

— Наболтался-то как, — косился на Младшего Научного Доцент, — на бесплатных-то лекциях.

— Классика и вовремя сказано! — поддержал Колюню Профессор.

— А у меня еще есть, — горячо зашептал Колюня на ухо своему покровителю, — правда, несколько посветлее, однозначно.

— Адрес! — тут же вырос перед ним милицейский чин, составлявший протокол, и настоял на своем.

Пришлось огласить тайну, а куда денешься? Едва милицейский чин вышел, Колюня прямо-таки впился в глаза Профессора, задышал в нутро бальзамически.

— И еще есть у меня. Третий. Совсем белое, с тремя виноградными лозами. Но про это уж никому не скажу.

— Молодец! — гаркнул в ухо ему Профессор. — Тоже, небось, на балконе?

— Нет, под кроватью, — ухмыльнулся хитроумно этот Коля-Колюня. — Но про это не знает никто, даже жена. А уток надо покупать в магазине или у соседа Доцента, который намедни уехал в деревню повышать свою деловую квалификацию, — вот какой убедительный вывод сделал этот Колюня как Младший Научный Сотрудник. И мы с ним согласны.

КАК МУЖИК ДВУХ СУЛТАНОВ НИКАК НЕ ПРОКОРМИТ

Это все про элиту, про научных сотрудников, про бытовую их неприметную жизнь. То дело было в городе, а то в деревню переместилось. И переместил все это Колюня Минус — Младший Научный Сотрудник. И кого переместил — самого Профессора, тоже пожелавшего узнать, можно ли у нас, как в Америке или в Италии, жить в сельской местности, быть землевладельцем и по-прежнему состоять Профессором в городе, наезжая в университет периодически для чтения лекций? Это в Колюне такое взыграло. Не самому же первому соваться-тыкаться да на закон о вольной продаже земли, обсуждаемый в Госдуме, своей головой натыкаться. Дай, думает, Профессора впереди себя выставлю. Уж если у Профессора ничего не выйдет из желания жить на лоне, то зря Госдума времечко переводит. В нашей деревне естественной жизнью жить пока невозможно.

Устроил Колюня Профессору этот визит через сестру жены. В отпускной месяц август, когда то грибы, то яблоки уже, то охотничий сезон на утку открывается. Мать у сестер умерла, и младшей дочери хату в деревне оставили, а та еще не определилась, что ей с бабкиной хатой-то делать? Да и как «бархатному сезону» надвинуться, так вынь и положь этой младшей сестрице на юг рвануть, поплескаться где-нибудь в Каспийском море пополам с нефтью, если Ялта теперь за границей, а турецкая Анталия не для русской Наталии.

Не стал Профессор бить лысиной о паркет перед начальством, чтобы путевку получить в пригородный санаторий. То было копеечное дело, профсоюз просто всучал кому хочешь путевки. А теперь чиновники все захватили, «кворумы» свои за городом тут проводят. «Как что-нибудь хорошенькое, так им давай, они — голубые кровя, а ты, черная кость, погоди...» С таким

хороводом мыслей и явился Профессор в вышеуказанную деревеньку. Проказинкой называется, по старому стилю, как будто в ней живут одни прокаженные. Единственное утешение: по соседству есть еще Мертвое и Рыдань, как у Некрасова:

«Неелово, Горелово,
Неурожайка тож».

Хорошо хоть скрашивают по округе такие названия: Красные Рябинки, Елизаветино, Синяевский поселок, Добрая Вода...

День живет Профессор, два живет Профессор, три живет Профессор. И все в Проказинке этой. И что же он видит с утра до вечера: два султана белого дыма в синем безоблачном августовском небе вибрируют. Соседняя хата пуста, а это, через двор, жизнь так обозначается, человек о себе знак подает.

Пошел Профессор туда из любопытства: кто же это летом при 30-градусной-то жаре печку палит?

Видит, хата недавно поставлена. Можно сказать, даже дом буквой «Г». Шагнул Профессор за порог и сразу на кухне оказался. Видит, на топчане за печкой мужик заросший сидит и в угол уставился.

— Здорово! — снял Профессор белую свою пенсионерскую фуражечку.

— Сидишь, сидишь вот так, один тут живя — одуреешь, — сказал мужик, по-прежнему не глядя ни на кого. — Беру топор и пошел березы рубить. Сражение, борьба за выживание. Лес наступает, а никому дела, ядрена шишка.

— Как у Кира Булычева в романе «Поселок» на другой планете, да? — поддакивает полегонечку Профессор, а сам приглядывается: кто же его знает, что за мужик.

— Ты кто? — поворачивается резко хозяин. Небрит, без рубахи, а глаза синие-синие.

— Я? Профессор, — не растерялся вошедший.

— А, арифметике учишь, — сказал мужик, успокоясь.

— Да, арифметике, — в тон ему ответил Профессор. — Считать до трех, до двадцати не у всех получается.

— Нация такая, на троих хорошо, в самый раз — вздохнул мужик. — А вот было мне пятьдесят в том году, так двадцать собралось-то, получилось, — вспыхнули синим глаза мужика. — Под яблоней вон в том саду — вот грохнули. Ух ты, Русь! Ну, погуляли... А двадцать первого — председателя не позвал, память как отрубило. Так он тут же свадьбу у соседа сварганил, был соучастником, а потом же и съел их. Вишь, теперь пустошь, а Толик живет где-то под городом, тоскует по родине...

— А чего печки-то топятся? Жарища такая, а топятся? — указал Профессор на странность действий. — Сразу два белых султана.

— Двух султанов сразу и кормлю, — отозвался мужик равнодушно. — Один никак не получается.

— Никак не накормишь?

— Ношу, ношу, кажный божий день. И что ж, во дворе мне этими березами захлестнуться? Уж ворох наносил, было до самого неба.

— А чего два султана — одного мало?

— Одна печка в сарае — поросенку готовлю, — поковырялся мужик пальцем в носу. — Не бреюсь вот две недели, как жена с внучкой в последний раз приезжали... А второй султан — это баня, топлю на ветер, однако на всякий случай. Может, мои из города приедут, а может, кто-либо зайдет... Бери шайку, иди мойся...

— Как зовут-то тебя? — спросил Профессор хозяина.

— Максим. А тебя?

— Да Профессор же.

— Вообще-то я из города. Корнейкин я, не слыхали? Работал на автоагрегатном. Как на пенсию идти, там дачу продал, а тут построил. Начальник участка был тут у меня и говорит: «А чего ты с прямой дороги сошел, как барсук какой, в глушь забился?» А я ему:

«Видал, какие угодья: лес — речка, рыба — ягоды, грибы... А теперь вот про все позабыл — ни орехи, ни грибы уже на уме, вот березы рублю и рублю...»

Вышли во двор, а тут — солнце, цветы всякие — мальвы и флоксы. А дверь в сарай нараспашку, и оттуда прямо-таки пышет, пламя зияет.

— Печку железную сам сварил, по собственному вкусу, — сказал Максим сипловатым, прокуренным голосом. — Жрет дрова почем зря.

Жерло печи бушевало даже не красным уже, а синим, даже сизым огнем от раскаленности. Ловким движением Максим швырнул туда еще несколько плашек, которые были сложены аккуратно в поленицу тут же перед сараем.

— Что ж ты в белый свет, как в копеечку, разве натопишь? — не выдержал Профессор. — Вот чудаки! На что тратит силы великий русский народ!

— Ты учишь людей арифметике, ну и учи, — отрезал Максим. — А мы знаем, что делаем.

— Красота — кто понимат, да? — снижая тон, ладился под него Профессор.

— Ты что, по разговору-то — сибиряк, что ли?

— Бери шефство над другим султаном — руби, носи, топи, — кивнул Максим за дубы, где прямо среди стволов и была утверждена банька.

Над банькой, как намедни, опять-таки благодушествовал белый султан.

— От березы такой белый, ласковый, — сказал Максим. — Сама береза белая и султан белый. Во, острый до невозможности! — провел он, пробуя белым пальцем по лезвию топора. — Как вмажу, так на полствола...

— Так Канарейкин ты, да? — высказался, наконец, имея свое мнение обо всем этом деле, Профессор. — Хочешь годика три пожить на Канарских островах, да? На нарах, как на ка-нарах... Посадки все, небось свел, в печке своей уничтожил весь сталинский план преобразования природы.

— А я уже там был, — усмехнулся Корнейкин. — У нас тут пол-округи уж там побывало. Вот где и научился рубить...

— И что ж ты! — сказал ему Профессор, нажимая на чувства. — Береза все же символ Руси, есенинская береза.

— Берррреза?! — аж побагровел, заводясь с полуоборота, Максим. — Идем, что покажу!

Поднялись, вышли по огороду, поднялись на взгорок.

— Видал? — ткнул пальцем в ландшафт Максим. — Вон то посадки, целы пока что. А это вот — вишь, березы уже. И вон там, где березняк, тоже было поле! Вот лес и съел это поле. И за другое берется, не пашут уже какой год... А глянь, какое поле-то широкое, ровное, красота: сколько сил на него ухлопано, сколько хлебушком народ кормило — национальное достояние...

— Пока жив, буду работать! Береза эта — сорняк!..

Профессор молчал.

— Пошли еще покажу, — увлекал Максим за собой Профессора.

И повел его далее на Алисову горку. Тоже поле непахано — и какое, а? Все в чертополохе, уже в этом году брошено. И еще дальше — за Жанновой горкой — поле уже в девственных липах, в березах... И еще поле... еще... «Представляешь? — клокотало в горле Профессора. — Если б лично не видел, а то сам вижу. — И не помнит уже — не то вслух говорит мужику, не то про себя все у него это высказывается. — Франция, так там понимаешь, работают меньше, а живут лучше. И национальное богатство строится на сельском хозяйстве: хлебные поля, прекрасные виноградники... А у нас лучшие земли Европы... черноземы, однако у них кредиты берем... Не листья должны висеть на этом суку... и не султанам виться...»

К вечеру Профессор взял шайку и направился к Корнейкину. В баньку. Сам Максим явился следом с двумя вениками — березовым и дубовым.

— Умственность из меня прет, — сказал он, подавая Профессору веники. — Арифметике внучку учу... А вот для чего веник дубовый, а для чего березовый, знаешь?

— А хрен ее знает, — в предвкушении хорошего пара аж подплясывал, как жеребец, оголенный Профессор. — Ты вот от печки пляшешь, а я от чего? Не от высшей же математики... и до трех считать не могу...

— А чего тут понимать-то? — усмехнулся Максим. — У людей так. Как двое — еще ничего, а как трое — так уже обязательно кто-то кого-то заложит. Вот пока будет у нас такое, все березы порубим, а поля все равно зарастут...

На другое утро глянул Профессор — оба белых султана в голубом августовском небе вихляются. Тыкался-мыкался, мучился-мучился Профессор, собрался с духом, взял да и пошел опять же к Максиму посмотреть на его голубые глаза. Корнейкин собирался, как всегда, на «сорные» поля. Молча подал Профессору другой, вострый топор: «Воитель какой, — подумал о нем Профессор. — Один такой непомерный».

— Знаешь, друг, — сказал Профессор, чувствуя в груди теплоту солидарности. — Березы-то я ну не могу рубить, хоть убей. Лучше баньку буду топить. Может, третий кто-нибудь заглянет... к нам сюда на Проказинку... на этот наш одинокий белый султан?

ЧЕРНАЯ КОШКА ИЗ ГОРШКА

Все в жизни имеет не только свой поверхностный, но еще и тайный, внутренний смысл. Всегда думал об этом одно, а через годы огляделся, сопоставил и понял, что было это совсем ведь другое. Неожиданные пружины действия и управляли всем подковерно. «Безработицы нет!» — кричали мы, и это было гордостью, а фактически?..

Такое открытие сделал недавно для себя Старший Научный Сотрудник. По молодости он, вишь ли, работал корреспондентом. Однажды заведующий отделом, уходя в отпуск, поручил ему строчку плана «Текучесть молодых педагогов, почему?» Он, конечно, — в облоно, а те — в роно, а уже это роно — в эту самую школу, неблагополучную. Суем, суем туда кадры, как в прорву, бездонная бочка. И село это какое-то странное. Все села как села: центры хозяйств со своими райцентрами связаны, а это как-то не по-людски — с соседним райцентром. Приехал будущий Старший Научный Сотрудник, по фамилии Пехтерев Николай Гурьяныч, на данную точку в качестве корреспондента. С утреца, как положено, зашел представиться Самому Главному в районе, а тот после раннего телефонного разговора с Самым Главным в области «пятую стенку» как раз искал в своем кабинете. В горячке так и выпалил молодому корреспонденту:

— Да что я держусь, что ль, за это кресло! Да я хоть обратно в Спешнево — директором хозяйства, место после меня еще на остыло.

«Вот, — смекает Гурьяныч, — и тут текучка». И осторожненько этак склоняет разговор в нужное русло. Но собеседник как закаменел. А после попер совсем не в ту степь... Спешнево-то почему? Да «спешились» татары когда-то. И теперь тут народ смоляной, горячий, все у них шиворот-навыворот. Однако добрый народ, откровенный. Ушел оттуда, уже тут в райцентре сижу, так дед знакомый звонит оттуда, говорит мне:

— Хоть бы приехал, Никитич.

— А зачем?

— Да сын у меня на Сахалине, прислал с острова Парамушир посылку — горшок каши какой-то черной, мы с бабкой ложками стали есть — дюже соленая, нехорошая. А соседка и говорит: «Ты бы Никитичу позвонил, он такую кашу любит...».

«Ну да, — думает про себя Гурьяныч. И по молодо-

сти был такой, все подвергал сомнению, корреспондент же ведь. В три дня командировки истину надо высветить — самую запутанную, клубок многолюдный, многогодичный — жуткое дело, а ты один. И за юриста, и за экономиста, и за артиста-афериста, вот так. — Ну да, — думает Гурьяныч. Те выпускницы вуза, что механизаторам благоволят, эти еще годик-другой поработают. А которые отвергают, через полгода сматываются. Вот и суй туда кадры...»

Такими воспоминаниями и обуреваем был Николай Гурьяныч, он же теперь Старший Научный Сотрудник, когда узнал, что Профессор с Колюней обретаются где-то в зоне действия той самой школы. А тут на кафедре как раз посылают агитировать для поступления. Ну и тряхнул стариной Гурьяныч, взял и командировался в этот самый край, где черную икру не едят, она им, видите ли, не нравится.

«Дай, — думает, — заодно заверну и к дружкам своим, завершающим отпуск».

И завернул. Побыл денек у них, в школу с собой потащил. Даже Профессор выразил желание. Может, опять это... «черная каша» обломится, да? Однако и глухомань. Теперь автобус ходит отсюда раз в неделю, и все в тот же соседний райцентр.

— Что же они ездят в командировки через соседний райцентр? — поинтересовался Колюня — Младший Научный.

— Поглядим — увидим, — сказал бывалый Профессор.

И увидели. На центральной усадьбе какое-то строеньице с трубой. А из трубы дым — черный, вонючий. АБЗ — асфальтобетонный заводик. Дождь прошел, и автобус, даже в воскресенье, не прибыл.

— Скажите, АБЗ у вас для чего?

— АБЗ кладет асфальт на ДМЗ.

— А это что?

— А это — Дорога Мирового Значения.

— Ого! И куда ж она?

— Строительство рассчитано на все новое тысячелетие. Когда тут космодром построят... и вылетать отсюда начнут...

— В трубу?

— А куда же?

— Ну даете, блин! — выслушал Гурьяныч все это в сельской администрации и хотел было отстранить всех от должности, но «опыту не хватило». И эволюция, потому что она «бархатная» была — в креслах, обтянутых бархатом, всем помогла усидеть.

— Не форсируй, Гурьяныч, — поморщился Профессор. — Главное, что есть перспектива.

— Магазин, но один, — встрял в разговор Колюня, Младший Научный Сотрудник.

— А тебе сколько надо? — покосился Профессор, довольный, что друзья нашли его даже в такой глухомани.

— Три-и, — заикнулся Колюня.

— Во, блин, дает, — удивился Гурьяныч. — А зачем? Для демонополизации? Рынок диктует, чтобы цены были разные, покупатель от этого только выиграет...

Вот присели они и зашли вскорости в тупик — в тупичок. Выбрали бутылку сначала одну, потом другую, к третьей уже подбирались, однако Профессор закрыл эту лавочку. И велел приступать к разработке вопроса.

Сам Профессор с Колюней зашел в учительскую — к молодым педагогам. А Гурьяныча направили в актовый зал — к старшеклассникам. А Гурьяныч по пути в рекреацию встретил того еще, бывшего директора. Он теперь тут кочегаром, и доволен! Узнали они друг друга, молодость бросилась в щеки. Обниматься стали — хоть соляркой от бывшего за километр.

— До чего же ты, — говорит он, — дурак тогда был, ничего не понял. Говорил же тебе, не подымай эту эфемерную тему. У меня лапа в области, в Кремле... везде... а ты все рогом... А ведь было все так и задумано.

Вы кадры клепали — молодых специалистов, нам посылали по направлению, а мы тут текучесть движения создавали... Понял, философ? В год по два на одно и то же место... И машина работала, зарплаты и пенсии... Директора, который все это затеял, забрали в область, на повышение. А я до сих пор тут мудохаюсь с кочегаркой...

— Выслужился? — рассмеялся Гурьяныч. — Что ж они тебе коттедж не построили?

— А без этого твой институт давно бы завалился, — сдвинул брови бывший директор. — И кто ты сейчас?

— Старший Научный Сотрудник.

Надоело Профессору с Колюней травить баланду в учительской. Где это Гурьяныч? Застрял чего-то. Пошли они в актовый зал, а туда учителя ведут уж и средние, и младшие классы. В дверях уборщица стоит прямо с половой тряпкой. Как в кино. Профессор с Колюней слушают, чего это зал так реагирует: то от смеха закатываются, то взрываются аплодисментами. И вот что в итоге сказал Гурьяныч, какую ягоду выкатил.

— Итак, я приехал вас агитировать поступать к нам... Чтобы ковать кадры... Вас тут держали за кроликов. Ткали и ткали кадры — молодых педагогов. Чтобы маховик крутился, институт держался... Наш паровоз, вперед лети... Кабы АБЗ это асфальтировало, то бы рейсовый ходил ежедневно...

— И что же вы предлагаете? — перебил его новый директор.

— А предлагаю асфальтировать! — рубил Старший Научный Гурьяныч на весь актовый зал. — И вообще...

— Ваша школа уникальная, — вышел вперед Профессор. — Просто уму непостижимо. Я-то думал, что это громадное такое учебное заведение, куда мы все посылаем, посылаем. А это всего полтора этажа...

— Два, — закричали младшие хором.

— Два? — усмехнулся Профессор. — Два — это не три, не четыре, не пять и даже не двадцать.

И ушел от прямо поставленного вопроса: «Быть или не быть?» — как сказал Гамлет, который недавно выступал тут же, в актовом зале, от какой-то фирмы. Вроде как Лимовой, из театра «Глобус», где ему дали звание Народного Артиста. Что им жалко, что ли? Это тебе не Лондонский клуб, который реструктуризацию бывших долгов СССР не проведет никак. Сначала, говорят, снова проведите там у себя индустриализацию, потом монополизацию-демонополизацию, покажите такую акцию — подметите эту свою рекреацию...

Утром в Проказинку прискакал нарочный и привез документ на имя Профессора. Все школьники, как один, обязались поступать только в его институт. И заверяли в том, что одни это сделают тут же, а младшие — несколько позже. Но кадры будут сами ковать! И больше отсюда не будут уезжать, школа тебе не проходной двор.

— Видал? — зачитал Профессор послание и потрепал по щеке Гурьяныча. — Это вам не черную икру есть ложками из горшка.

— Что ж мы теперь будем делать-то! — схватился за голову Гурьяныч.

И кошка черная выпрыгнула из того же горшка и пошла обратно по дороге в Проказинку.

«УТУШКА ЛУГОВАЯ»

До конца отпуска пробыть в деревне оставалось каких-нибудь три дня. Начало осени, первое бабье лето, когда паутина, натянувшись всюду тонкими, невидимыми струнами, щекочет лицо. Каждый из таких деньков, как и вообще остаток жизни, надо принимать как подарок судьбы. Тогда легче все это невообразимое, катастрофическое, что уже за порогом Проказинки. Как естественно, гармонично все тут, на лоне; эры и эпохи подогнаны друг к другу, один к одному. Холмы, заливные луга, сама речка Алешня, дубняки и ракиты

на зеленой медвежьей спине по ту сторону луга — все это ландшафт, заповедник твоей одинокой души. И на все это с берега взирает дуб в могучей своей красоте. Ворон ли сядет на самой макушке, кукушка ли обголосит округу, славочка общелкает с листвы комарье, а он все стоит, — часовой Родины. Заступник для пичужной братии, ныряющей в зарость дуба от парящего высоко коршунья.

Тут — золото, а там, над головой — голубое. Резкий такой, удивительно детский вскрик. Три точки — три коршуна, двое уходят от одного, а тот все гонится, все притязает, — любовный треугольник. И вдруг выстрел! Еще хлопок, и еще... десять... двенадцать... Отчаянно трепеща, от леса бросается к дубу дикая утка-селезень, за селезнем тут же подранок: спаси, о дуб!..

Вчера друзья уехали в город, и Профессор остался один. Маясь от одиночества, обходил он обширные угодья. На том краю деревни он увидел этого яркого, нарядного селезня. Он двигался по высокой траве отдельно от всех, но в непосредственной близости. Серая утушка шла вперевалочку. Семейство — штук семь-восемь утят, поздний выводок. Профессор провожал их взглядом: «Как они хорошо идут по лугу, уходя в травяную стену».

И сегодня утром он опять увидел одинокого селезня в узком желобе речки Алешни. Селезнь выпрыгнул на свободную воду, то же самое стал делать весь его выводок. «Игра такая, нырки», — улыбнулся Профессор.

Господи, так было хорошо ему тут, даже и без друзей! Век бы стоял и смотрел, как шалят эти дети природы. Интересно, куда они денутся позже, к Покрову, когда ледком схватит даже стремнину? И как-то сжималось сердце, глядя на небо, где чуть позже, обозначась криками, начнут проходить высоко тут косяки, станицы и караваны.

«Мы странно встретились и странно разойдемся,
Улыбкой нежности роман окончен наш».

Действительно, то был мираж. Неужели все это так и останется в нем как мираж? Через три дня он уедет отсюда в город, в борьбу, в жизнь человеческую, в аудитории, и утушка луговая останется в прошлом. Она будет плыть в нем и плыть сюда из далекого детства. «Но это призраки, и снова небо синее, и вдаль идет усталый караван...»

С такими чувствами поднимался Профессор в гору, проходя верхом деревни. Краем глаза у крайней хаты отметил он синий «Москвич» под сиренью: «Ага, к бабе Моте приехал внук из Москвы». И утушка луговая со всем своим милым семейством проплывет скоро где-то внизу по речке, прямо перед окнами бабы Мотиной хаты...

Все это вчерашнее пронзило Профессора. Впилось в память, как пуля от первого же выстрела из охотничьего ружья. Все встало вдруг на свои места. Аргументы собрались в тугой узел, и все само собой сделало качественный скачок, выдало вывод. Дедукция и индукция. Иррадиация и генерализация... Только вчера отзвучали трагические мелодии по невинным жертвам в Москве и Буйнакске... А сегодня он знает, кто убил утиную семью. Он вычислил убийцу логическим способом. И этого ему достаточно, он не судья, не охотничий егерь, ему лично достаточно знать, кто это сделал, чтобы можно было, очистясь, и далее жить по-человечески...

Вчера была пятница, да? Проводив друзей, он заметил на верхней дороге свежий след от шин автомобиля. Естественно, деревенька такая пылинка в громаде степных пространств, что появление человека, тем более машины, никого не оставляет без внимания. Инстинктивно Профессор побрел по свежему следу: к кому след этот — к Курдюмовым? Значит, дочь приехала из районного центра. А если же к бабе Моте, то это внук из Москвы. То-то вчера под сиренью он видел синий «Москвич»...

А почему уже сегодня второй, еще более светлый, след оттуда? Почему оттуда? По примятой траве ви-

дать, травы лежат как причесаны в сторону от деревни. Вечером приехали, а утром обратно в Москву? Ведь сегодня только суббота, впереди еще и воскресенье, второй выходной. Надо было гнать машину за 300 верст от Москвы (а овес ныне дорог), чтобы тут же, переночевав, укатить назад, прямо какое-то бегство. А ведь тут у бабы Моти у него еще и жена молодая с ребенком...

Ездить внук один не боится. Баба Мотя рассказывала, он охранником где-то в частных структурах! Однако было двенадцать выстрелов. А к дубу прилетел только селезень с единственным подранком. Конечно же, утушка луговая лежала в багажнике серенькой тряпочкой, потеряв всякие живые очертания, когда «Москвич» убегал отсюда верхней дорогой. «Что ему, денег, что ли, там не хватает? — думал Профессор. — Корнейкин лес под берегом рубит — это я еще понимаю, он тут живет; что ему пропадать, что ли, уголь же купить невозможно... А этот... видите ли, москвич...»

Целый день боролся с собой Профессор: сходить к бабе Моте или не сходить: «Кто это вчера стрелял на вашем краю?» Просто спросить, спросить просто... Ноги сами вынесли его к Мотиной хате. Сам он молчал, а двойник внутри его уже спрашивал:

— А кто это, баб Моть, стрелял намедни?

Баба Мотя насторожилась. А молодайка тут же вылетела из сенец и затараторила:

— А сегодня какое число? Охотничий сезон открылся. Охотники какие-то, вот кто.

Повернулся Профессор и ушел восвояси. Поскорее, пока глупостей не натворил. До вечера сам не свой ходил он по хате, по саду, по всей усадьбе. Присев на лавочку, как зуб больной, уговаривал душу, чтобы та не щемила, не сатанела. Вот ведь какие дела! Сам-то ведь сухарь сухарем стал за годы своей профессорской службы, чувства как бы уже атрофировались, не нужны вроде стали, лучшая половина жизни ушла как бы, самая ее ценность. Когда это началось? А когда начал

работать над докторской диссертацией. Нагрузки-перенапряги, стянуло всего, как ремнем решето. Высушило всего, как воблу какую, — и душу, и тело. Все в решето и просыпалось, и стал он на себя не похожий, но сам этого не замечал. Утушка луговая дала заметить, хоть чувствовать что-то начал. Красоту увидел, воспринял не только теоретически. А этот взял ее, эту утушку, и убил... «Ух!» — заскрежетал зубами Профессор, в пыль бы истер, грудь разорвал бы вместе с рубахой. Если бы только можно было что-либо изменить, переделать мир, кровожадность в людях искоренить...

Застонал Профессор, и бухнул о стол головой, и бил себя лбом все больнее, больнее о столешницу эту, чтобы прийти в себя, почувствовать боль, а она все не чувствовалась, не приходила, деревяшка такая...

— Вот что! — отрезвев, наконец, поднял Профессор голову. — Вот что я скажу самому себе: «Пора жить, брат, а не игру играть. Мы же все деревенские. Живем в городе, а землю ноздрями чуем. Какие-то две недели тут как меня изменили, обновили. Думаем, Родину без деревни подымем. Ко лжи привыкли, уже на нее не реагируем. А ведь на земле стоят и города, и веси, и сами люди, она кормит, лечит... Сейчас или никогда! Брошенной земли не должно быть, бедной земли не бывает».

«ТЕЛЕЖКА-ТО БЫЛА В ПАРИЖЕ, А ТЫ, ДЕРЕВНЯ, ПОМОЛЧИ...»

Колюня — Младший Научный Сотрудник приехал в деревню за Профессором. Но не на личной «Ниве», как предполагалось (сказал, в моторе что-то забарахлило), а рейсовым сельским автобусом. Благо, юркие «пазики» исправно бегают между деревнями, вывозя таких же вот отпускников и небогатый нынешний урожаишко для пропитания прожорливых городов.

В последнюю неделю разница температур обозначи-

лась резче, паутина перестала лететь, по небу потекли мохнатые, черноватые тучки. Бабье лето кончилось, пора сматывать удочки. В деревне остаются настоящие джентльмены, готовые к испытаниям. Да, конечно, это летом сторона наша «южная», а зимой тут погода с характером — чистые «севера»...

Профессор с Колюней пошли на берег попрощаться с Алешней, а когда возвратились, Колюня — Младший Научный застиг во дворе грабителя.

— Ты что ж, паразит, творишь! — кричал Колюня на низкорослого белобрысого парня. В одной руке у него был моток белой изолированной проволоки, а другой тот отбивался от Колюниной ярости. — Двадцать лет висела, белье на нее вешали, а ты снял.

— Цветной металл, алюминий, — оправдывался парень. — Принимают на троих, у меня денег нет даже на автобус, не за что приехать...

— Вон, бери, карбюратор какой-то за сараем валяется, — сбавил обороты Колюня и обернулся к Профессору: — Сосед наш, яти его мать, чего удумал... Не тобой, Артем, повешено, не тобой будет снято...

— Вот жизнь, — вздохнул Профессор. А сам подумал: «Внук бабки Моти вон откуда, аж из Москвы, почитай каждую неделю сюда ныряет, а этот и из своего райцентра, где живет, сюда на корень родной не доберется». И тогда ему стало ясно, почему «мотор забарахлил» у Колюниной «Нивы», а соседний огород вместе со двором зарос бурьяном. Чтоб двор содержать, живя хотя бы и рядом, в своем райцентре, средства нужны. Один проезд теперь чего стоит, бензин в два с половиной раза взлетел!.. А цены на те же билеты?..

Профессор прикинул в уме и полез в карман за кошельком.

— На, — передал он парню кредитный билет. — На месяц туда-сюда хватит.

— Да врет он все, врет, — сказал Колюня. — Про-

пьет же, они на бутылку собирают. Стоят уж, небось, поджидают дружки у магазина.

— Ну и что? — сказал Артем, кладя в карман свои, теперь уже кровные, «проездные». — Тебе-то что, шавка?

И пошел было со двора, однако вернулся и повесил проволоку, где была, лет двадцать висела, служила. И лишь потом удалился степенно.

— Вот какие приколы, — покачал головой Профессор. — А ведь виды подавал: на комбайне с пятого класса работал.

Забусил дождь, и они заспешили, пока не развезло, не раскис проселок. Тут всегда так. Кто на машине приедет, ночь не спит, все во двор выходит, на небо глядит. Как зайдет тучка, так деру отсюда в любое время дня и ночи. Не то на лошадке будут тащить, а то в село за трактором надо бежать. Или сиди себе неизвестно сколько — жди у моря погоды. Это тебе не Прибалтика, не Эстония — «приют убогого чухонца», где, как сказал Пушкин, асфальтовая дорожка еще когда пробежала к каждому однодворовому фольварку.

Тут самая Русь...

И вот Колюня — Младший Научный приехал не на «Ниве», а с тележкой. «Челноки» ею мир покорили, таская на себе грузы. «Челнокам» они, видите ли, по плечу, пока таможня налогами не задавила. И органы, от имени и по поручению, взяли и срастили средний капитал с мелким, и вообще, можно сказать, спустили его, сделали никаким. В миф превратили, в тоску по зажиточной жизни, в сказание о земле Сибирской...

Так за Колюниным трепом оба они и дошли незаметно до твердого асфальта, по которому бегают «пазики». Младший Научный самолично катил тележку с профессорским рюкзаком, в котором лежали дары лета: грибки сушеные, шиповник, душица и зверобой. Оправдывая себя, тележка прямо-таки плыла по нака-

танному, мягко и доверительно. Недаром Колюнина жена в качестве «челнока» ходит в городе с ней на «молочный» базар. Ну, так зовут рынок у нас по традиции. Хотя там, конечно, не одно молоко продают. Как, например, и Щепной, где вообще не из щепок же пиво делали и продавали даже во время «сухого закона». А теперь Сбербанк, что ли, там за колючей проволокой, где продают в нагрузку к пиву вместо раков валюту. Один евро —двум безработным евреям и четырем русским...

— Где ты видел, Коля, безработных евреев? — остановился Профессор. И побрызгал на кустик уже возле самого асфальта. — Все, дошли. Будем ждать восьмичасовой.

— Льготный?

— Льготный.

— Надо было Артему столько отваливать, — забурчал Колюня, — чтобы экономить на спичках.

— Молчи уж, — срезал его Профессор, намекая на его личную «Ниву», у которой, видите ли, мотор барахлит.

В Орле они ехали, как паны, на троллейбусе. Прочитали объявление: «Перестань валяться на диване! Отправляйся собирать цветные металлы. Для полного счастья — почти тысяча рублей за тонну». Однако на следующей остановке вошли люди, и стало тесновато. Не так, правда, уж и тесно, как иной раз в сельском автобусе — там в окно тебя выдавят или на крышу загонят. Сидит Профессор, а перед ним тележка, а на тележке — рюкзак. А он, в белой своей пенсионерской кепочке, сидит и использует свое законное право ехать бесплатно, и кайф ловит, соскучившись по троллейбусам. Но тут женщина в новом крепдешиновом платье, на которое он внимания не обратил, что оно новое и красивое, пихает ногой тележку Профессора и возвращает его с неба на землю.

— А еще с тачкой! В такси надо ездить.

Профессор сдержался, а Младший Научный так и офонарел. Пришел Колюня в себя и высказал этой энергичной женщине такое мнение свое на весь салон:

— Тележка-то была в Париже,
А ты, деревня, помолчи!

Базар как рукой сняло. Теперь уже женщина офонарела. Пока она переваривала, Профессор с Колюней вышли на своей остановке.

— Ты чего же это женщину обидел? — указал Профессор Младшему Научному. — Деревней обозвал. А что, разве это плохо?

— Нет, не плохо, — сбычился Колюня. — Вот я в городе родился, но деревню люблю. А эта баба явно ведь деревенская, а как за город уцепилась! Презирает тележку, а заодно нас с тобой в деревенском обличье.

— Были бы в смокингах, — усмехнулся Профессор, — на «Ниве» бы ездили, не то в «мерседесе».

— Такова философия, — констатировал Колюня, не обращая внимания на колкость Профессора. — Каждое явление переходит в свою противоположность: городские стремятся в деревню, а деревенские... бывшие... больше всех кроют деревню по городам, мол, деревня нас не кормит...

— Ну вот что, Младший Научный, — остановился Профессор возле своего подъезда. — Надо похлопотать, чтобы тебя в Спешнево направили, а то ихний директор лыжи уже навострил.

— Нет, на то есть у нас Старший Научный Сотрудник — Гурьяныч, — снял Колюня парижский рюкзак. — Вон какую лекцию он им закатил. А мы люди маленькие, нам и тут хорошо.

— Спасибочки за доставку, — усмехнулся Профессор. — Сколько с меня, философ?

— В деревне, однако, лишь летом хочу быть, отдыхать, — сказал в заключение Колюня Профессору. — А не работать тут, под вашим чутким руководством.

— Шалопай, — дружески хлопнул Колюню он по спине.

И поднял голову, глянул на небо, по которому как раз пробегала та самая, деревенская — косматая, черноватая тучка, в чьих очертаниях улавливался облик кого? — а Доцента, вот-вот капнет, изольется изобильной слезой. Ну, Доцент! И тут, в городе, достал со своими проблемами перед самым порогом.

КАК СОБАЧКА СЪЕЛА ШЕДЕВР

Мама у них художник. Она картины рисует, живописью. То есть всякими красками, которые под руку попадаются. А попадаются все больше белые, реже зеленые краски. И зима все больше получается, а не лето. И потому мама говорит: «Я оптимистка». Но картины люди все равно не покупают. Потому что зимой людям и так холодно. И вообще художники у нас, мама говорит, «жизнь в городе в темных красках видят». Какая жизнь — такое и видение. Но что самое главное, эти краски хорошие, говорят, трудно достать, они иностранного производства, продаются за условные единицы. А у мамы не то что «зеленых», с Вашингтоном на потрете, но и своих «деревянных», «гробовых» не хватает. А когда Ленин был на портрете, то деньги были «красные», «тридцатки», это уже и Витька помнит. А Сережа не помнит, наверное, их при нем еще не было, он после родился, когда у нас был уже Вашингтон.

У Анюты два сына, сыночка — Сережа и Витек. И зовут Витька во дворе Вашингтоном, потому что он на бумажках портрет Вашингтона рисует с американских денег. Соседи говорят, что у Витька будет большое будущее, у него на это дело талант, но все втроем они пока на чаю сидят, даже без сахара, один хлеб едят.

А вот мама у них Анюта. И квартира у них одна, с

одной комнатой. А другая не квартира, а мастерская. Машины по мосту идут, а у них штукатурка валится. Иногда мимо окон проходит много-много людей с красными флагами. Только после площади флаги у них под мышкой. А как на площадь идти, то флаги в руках держат, перед собой. Каждый раз мама опасается, кабы это опять не «революция», или, может, «переворот». А еще боится все «наводнения». Как, например, в прошлом лете. Опустил один мужчина ночью ноги на пол да как заорет: «Вода!». Шуршит, как мыши по углам, по окна в полчаса набежала. Вот тебе и наводнение, после мужика куда-то переселили, а его квартиру отдали маме под художественную мастерскую.

С утра мама Анюта возьми и уйди туда к себе, в однокомнатную, а их вдвоем тут оставила: одному — пять (Сережке), другому — семь годков (Витьку). На двоих, правда, больше уже десяти, а все равно одним страшно.

Клянет мама их иногда на чем свет! Сели на шею, молодость ей окорачивают. Не может никак она написать свой шедевр, не хватает ни средств, ни времени, которое она гробит на них по чем зря. Вот уйдет в свою однокомнатную и сидит там, набирается образов. Пьет с мужиками-художниками. А они тут, сыночки ее, они без нее, в мастерской-то ее, наводнения ждут...

Так вот, ушла вчера мама с каким-то торговцем наркотиками. Да, Сереж? Нет, картонами, картинами торговец. Толстый такой, на две половины головы выше мамы, а глазки ма-а-хонькие, меньше, чем у собаки. Дядя Агран — фамилия, что ли, такая? А днем, опять же вчера, они с мамой заявились в мастерскую — с бутылкой «самопала», сами бутылку выжрали, а им по одной такусенькой конфеточке дали. А потом Агран ушел, а мама Анюта хвать-мать давай рисовать. И рисует, и рисует. «У меня, — говорит, — картину уже купили еще только в замысле. У меня, — говорит, — должен шедевр получиться. Худфонд возьмет, а там,

может, продадим какому-нибудь магнату нашему или американцу, — вот заживем!»

Сережа аж два раза пол от радости подметал, а Витек за водой сбегал на речку. Такая суматоха поднялась, ажиотация. Мама шедевр пишет! Мама у нас просто гений!

— А что хоть такое «гений»? — спрашивает Витек.

— Это человек такой «боговдохновенный», дурачок, — щелкает мама по носу Витьку. — Так из Гофмана переводится.

— Ага, — говорит Витек. — Понимаю. Как у Блекмана. Когда с космосом связано.

— Не у Блекмана, а у Гофмана, — замечает мама, а сама рисует, а сама рисует.

— Ага, — говорит Сережа. — Я понимаю, это который в Израиль уехал? Про зайчиков все рисовал.

— Это когда, — поворачивается к нему мама, вместе с кистью придерживая свое вдохновение, — когда телевизор показывает, а на нем картинка прыгает, искажается.

— Как в прошлом году было, — вспоминает Сережа. — Когда я по нему молотком стукнул.

— Да, — соглашается мама. — А после сидели без телевизора. До самой осени...

Вот закончила мама, создала по памяти свой шедевр — липу, что во дворе, — и ушла с дядей Аграном в свою однокомнатную. Пить вино. «Пред детскими глазами, — сказали им, — плохо пьется, даже отвратительно».

Оставила мама Анюта хлеба им полбуханки и говорит:

— Глядите у меня! Шедевр караульте, пусть пока просыхает.

И вот они с братом сидят и глаз не сводят с маминого шедевра. Лето там у нее какое-то грозное, липа какая-то толстая. Как дядя Агран. Но только женская липа — тетка. Сережка даже на зуб попробовал — вкусный шедевр, сладкие краски. И пошли они с братом во двор, на «пленэр», — посмотреть на настоящую липу,

какая она хоть в действительности. А в действительности липа уже не белая, а синяя — от холода, вода в ногах плещется, паводок подступает.

А под липой щенок дрожит прямо на снегу. Черненький такой, кудрявенький такой пуделек Казик. Слепой, ничего не видит. Он дворовый, от дворовой сучки. Кто-то дал ему мясо с отравой, и он ослеп. И вот тут у них и живет — то под лестницей, то под липой. Отчего же мама Анюта липу с Казиком не нарисовала? Принесли ребята подстилку собаке, а Казик, не видит же, снова на снег улегся. Лежит и дрожит. Взяли ребята на руки Казика и в мастерскую к себе принесли.

Хлебушка дали ему, водички попить. А потом сели и стали уроки делать. Витек пишет в тетради, а Сережа стоит у него за спиной и буквы считает. Услышали чавканье, обернулись, — ах ты, Господи боже мой! Казик мамин шедевр доедает. Что же будет-то, когда мама придет?!

— Краски сладкие — он и съел, — вздыхает Витек.

— Краски сладкие, — сочувствует Сережа.

И тут же они выставляют собачку за дверь, а то мама заявится и убьет.

Сидят и ждут маму. Попробовали поправить кисточкой мамин шедевр, Казика подрисовали. Зелененькой добавили, зелененькой. Хоть и зимняя липа. Чтобы больше долларов маме дали в Худфонде. Пришла, наконец, мама с дядей Аграном и за голову схватилась:

— Да что же вы, черти, натворили?!

И давай их то за уши, то по голове: «Это ты, Витька, ты все это придумал?! Сережа больше на меня похож, не додумается. А ты весь в отца, идиот!» Уж дядя Агран заступаться взялся.

— Хоть, — говорит, — я лицо и кавказской национальности, а справедливость люблю. А если по справедливости, то шедевр здесь в чем? Ну в чем, Анюта?.. В этой собачке, в этой подстилочке, соображаешь?

Жизнь стучится в дверь. Кто так резко талантливо мог изменить облик натуры, кто из вас?

Братья за дверь давай прятаться кто за кого. А потом тащат со двора Казика.

— Вот, — говорят, — вот он изменил облик. — Он слепой, — говорят, — а сладкое видит.

— Внутреннее зрение, — подтверждает дядя Агран и дает из рук ему кусок колбасы, которой сами ребята уж с полгода не видели.

А Витьку и Сереже взял и налил по ма-ахонькой такой стопочке пепси-колы. Это чтоб не забаловали. Шедевры создаются трезвыми, а трезвый всегда у нас только Казик.

ПОРТРЕТ ЕСЕНИНА

Испокон у дворян на Руси были две прерогативы: армия с флотом и литература. Вот где они себя проявляли! Сидит тамада у писателей в главном кресле, на Дворянском гнезде, заметим, не дворянского — больше духовного звания и ждет третьего конкистадора, а пока один на двоих соображает. На себя и Есенина. А Сергей Есенин перед ним — на стене в виде портрета коврового. Экспонат, музейная редкость. Такие портреты еще только в Туркмении для «отца нации» ткут. Ковер Есенина мягок, ворсист, чистой такой биоэнергетической массы. Ковер в кабинете экспонируется в целях демонстрации самозащиты. Тамада и сам поэт, сочиняет, думается ему, белым стихом.

Да еще и рос в местах, связанных с именем «орг на» русской поэзии...

Вечереет. Никого не предвидится. Тамада берет стакан длительного пользования и смотрит через грань на Есенина, дышит ему прямо в лицо:

— Ты как пар — небытие! Мифическое изображение... Обращаюсь к тебе, мой друг, пока память мне не

отшибло. Все им плохо, все мало. Все качают-раскачивают лодку. Нет стены — так сами воздвигнут. А ведь сроду не было для них такой форы.

А сам, сидючи тут, дельного ничего ведь не написал. Все по кабинетам ношусь, выбиваю здания-издания — звания. Как же власть-то держать? Помнишь, Сергей Алексаныч, чудотворец изваял бюст твой из белого мрамора? И в Спас-Клепики — в городок, где ты учился, привез и за ночь установил... И я стоял тогда вместе со всеми в пикете... помолчи... защити... я принес тебя сюда из дому, — талисман. Отчего вдруг стал он зеленым, этот твой ковровый портрет?..

Есенин со стены. Зеленый — цвет надежды. Как у Пушкина, изумруд полон поэтических замыслов. Где ты видел, чтобы власть держали поэты, а не чиновники? Может — я, может — Блок, может — Пушкин? Дух не держим, братец, низко идем по земле...

Вот и утро. Настольные часы бьют девять. Входит поэтесса (реверанс Есенину):

— Бог мой, божественное изображение, Сергей Есенин! Синева-то какая, синь! «Только синь сосет глаза!» Дай на тебя помолюсь... что-нибудь попрошу. Ну хоть что-нибудь, самую малость... Дай насущного, сына нечем кормить, одна живу, сама хлебом питаюсь. А ведь не хлебом единым... Где уж силы брать для высокого. Опущусь, боюсь, опрощусь...

Есенин со стены. Ты зачем шла сюда к нам в поэзию? Где ты видела сытых поэтов? Может — я, может — Блок, может — Анна Ахматова? А Марина Цветаева кончила жизнь посудомойкой. А Рембо закопали в яме для бедных.

Поэтесса. Не нищета унижает, а голод и деградация... Ты — синий для меня, ты — самый высокий, небесный! Молюсь на тебя, будь, Сережа, моим покровителем!..

Тамада. Мимо летает! Сбрызнуть бы деда дезодорантом... Хучь и заграничного производства... Духи перестанут летать? И пусть! Зато всякая моль передохнет...

Поэтесса (из-за двери). В розовом-розовом вижу ковер. Розовое по серебру...

Разные голоса (за дверью) Зеленое... синее-синее... или вообще никакого цвета...

Тамада (выходит из комнаты и снова входит, хватаясь за телефон). Девушка, это церковь? Какая — Михаила-Архангела или Благовещенская? Мне батюшку, чтобы тут у нас отслужил... Ну да... чтобы моль не летала... И Есенин был бы зеленого цвета...

Вошли писатели в офис, вошли в образ, а выходить не хотят, как пригрелись. Ковровый портрет перед ними все так же мягок, ворсист, серовато-бел — от чистоты такой биоэнергетической.

Загляделся и сам тамада на такую способность коврового портрета менять цвета, передавать тональность цвета в зависимости от того, кто заходит. И аж на каблуке перекрутился, как перед начальством своим непосредственным. И выдает писателям такую формулу:

— Литература и армия... где вы, где вы, очи карие?.. Литература — это еще не война и мир! А Лев Толстой как бы зеркало русской революции! На том стояло и стоять будет Дворянское гнездо!..

И указал перстом на ковровый портрет Сергея Есенина как на мужа одной из внучек Льва Толстого. Мол, повиси, повиси, дорогой, стенки не провисишь! За спиной у нас всегда что-то есть — от Плутарха до монарха, и всегда висеть будет — от монарха до Плутарха. От кого зависит, какой цвет у портрета — зеленый все еще или опять все уже в розовом цвете?

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

«Завтрак на траве» — знаменитое полотно Эдуарда Мане находится сейчас в музее д'Орсе в Париже. Перед этим полотном и «Олимпией», когда-то вызвавшими целую бурю негодования публики и официоза, теперь почтительно стоят люди.

* * *

— Праздники создаются художниками, писателями, а чиновники пируют на них, — глядя на небольшое общество у столика на зеленом лугу между Тургеневской усадьбой и бывшим рестораном «Дубок», сказала седая, статная Женщина из работников музея в Спасском-Лутовиново.

И это было, кажется, в последнее воскресенье июня, когда тут отмечали 180-летие своего знаменитого земляка. Нужно сказать, что к небольшому обществу у столика на траве было приковано внимание не столь даже праздной толпы, но и, что бросалось в глаза, сколь горящего взора группки полумолодых людей несколько в стороне. Это были писатели — создатели праздника. И от тех, первых праздников, когда они запросто встречались с народом, их отделяла бездна. В ушах еще стояли обертоны голоса Главного Распорядителя Приоритетов, несущего в массы с трибуны: «Вначале было слово...» Теперь это слово, хотя и под новыми девизами, принадлежало ему.

Согласно этому, театры давали представления на верандах, у Дуба играла флейта, у Пруда Савиной стенала скрипка и молодая певица. А писатели были отправлены, куда и положено по традиции: на Аллею Ссыльного. Сюда, в беседку, сквозь заросли «олеандра и левкоя» едва доходило дыхание хора с Большой Поляны...

— Ах, как хочется есть! — сказала когда-то молодая, красивая Поэтесса, которая в свое время могла бы свободно лежать на тех же белых покрывалах обнаженной Олимпией. — Хоть бы кто-нибудь угостил.

Она озирала, прямо-таки глазами ела пространство между собою и столиком, откуда неслись запахи шашлыка, летели брызги шампанского... «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой...» А с подбородка у пьющего и жующего сбегала желтая, жирная капля. И все дело было еще и в том, что именно по его, Распорядителя, распоряжению Поэтесса со товарищи

была накануне оставлена без стипендии и потому влачила самое жалкое существование.

— Ой! — сказала Поэтесса. — Я пьяная! — увидев проходящего мимо вальяжного этакого артиста в роли Тургенева. — Вы — Петя? Можно стрельнуть у вас сигаретку?.. О, как вы изменились, я вас не узнала...

И заиграла всеми своими формами. Тургенев, обычно влачащий такое же существование, а ныне обласканный Мельпоменой, вынул сначала одну, потом вторую, последнюю сигарету.

— Я не Петя, — сказал он фальцетом.

— А я пьяна, в самом деле, пьяна!.. В этой беседке Ссыльного от сырости и серости. А ведь я еще не пила, не ела с утра... Ни маковой росинки во рту, хоть бы что-нибудь дали поесть.

— Молчи, дурочка, — толкала ее подруга — писательница, пишущая прозу. — Сразу не раскрывайся! Это же «идиот»... из нового спектакля по Достоевскому!

— А я всегда такая открытая... обнаженная, — сказала Поэтесса. — Вот пойду и стрельну у них сейчас шашлычок.

И пошла туда, где как раз шипела еще одна бутылка с шампанским в руках Главного Распорядителя.

— Послушайте! — подошла к нему Поэтесса, которая вполне могла когда-то сойти за «Олимпию» Эдуарда Мане, лежащую на белых покрывалах. — Послушайте, это вы сказали, что вначале было слово?

— Да, милочка. Это сказал я, но там! — ответил весело Главный Распорядитель. — А тут, я скажу вам, слово ваше последнее. Никто не пришел к вам в беседку? Вы выбрали, служите Красоте? Ну и служите себе на здоровье. Может, когда-нибудь и всплывёте... в исторической перспективе...

— А я-то думала, что это сказано в Библии, — выразилась Поэтесса.

— О! — изумилась седая, статная Женщина — не временщик, а вечный работник музея в Спасском-Лутовиново.



— О-о! — повторили за ней Поэтесса и та Писательница, которая пишет прозу.

И, поняв тщету своих притязаний, обе они от столика возвратились к своим. И тут все вместе, всей группкой, глядя на открытый взорам эффектный столик на зеленом лоне, они вспомнили другие времена, когда были молоды, когда, возбужденные, помнится, от встречи с людьми неподалеку отсюда, на Фетовской поляне — в Новоселках, сидели они на траве все вместе, невзирая на лица. И радушный хозяин Володя Афонин не посягал на божественное слово, их внутреннюю красоту.

И, не сговариваясь, в едином порыве, четверо полумолодых людей, среди которых оказался и артист в роли Тургенева, ринулись на лужайку около столика, откуда неслись также раздражающе нелепые запахи. Чтобы свершить то, что можно свершить сейчас, а в не какой-то «исторической перспективе». И Поэтесса уже снимала с себя одежды, а полумолодые люди принимали классические позы со знаменитого полотна Эдуарда Мане, где двое мужчин сидят на траве в обществе обнаженных женщин. С той только разницей, что один из мужчин был в костюме «Тургенев», а другой — просто так, просто в галстуке.

И перед этой живой, талантливый картиной толпа так и ахнула. Сходство с Мане потрясающее! Вот это эффект! Седая, статная Женщина из музея так и замерла. А Главный Распорядитель с недопитой бутылкой бросился к «мерседесу».

ЧТО ПОМНИТСЯ

Сереже Пискунову

А помнится в нем только светлое, теплое, элегически грустное. Кому-то он, может, казался серьезным, начальственным этаким, при печати. В последнее время он был даже ректором Орловского пединститута. А

мне он помнится все таким же, из молодых, — русым, вихрастым каким-то, по-настоящему лидером молодежным...

Мы отправились в отпуск вместе — в летнее путешествие по Пушкинским местам на Псковщине, по Прибалтике также. И что говорить о какой-то там совместимости; как у космонавтов — она была стопроцентной, просто нам было хорошо тогда, вот и все.

После Изборска, где мы увидели на камне древний разлатый крест, как в Париже, на кладбище Сент-Женевьев, на могиле у Бунина, мы оказались к вечеру под Печорами, у действовавшего и тогда еще мужского монастыря. Ночь. Останавливаемся на лесной глуховатой речушке, на замшелой мельнице.

> А вот и мельница. Она уж развалилась.
> Веселый шум колес ее умолк.

Костерок. Бульканье супа. Падает вода на колеса где-то под нами. Бродят неясные тени — из Пушкина, Даргомыжского. Сережа пишет что-то на коленке в своем дневнике. Вопрос ко мне:

— А ты? А то из всего останется только мельница...

И помнил, и помню. Факты и впечатления. Как помню, конечно, и тот эпизод из молодости, который и привел нас на эту самую мельницу. А был я тогда молодым журналистом, просто газетчиком — в молодежной газете, а Сережа — лидером молодежным. И одна девушка тогда — студентка упала от голодного обморока прямо на улице, что сейчас не удивляет. Сиротствовала, жила из милости у одной тетки в Орле, где жила когда-то еще студенткой и ее мать, к тому времени уже ушедшая из жизни. И женщина та — хозяйка содержала студентку как могла... И я написал тогда очерк на целую полосу. Но редактор наш Гена сказал мне: один пропустить не могу. И я пошел к Сереже, и он дал добро. И годы потом мы с семьей несли свой крест, тяжкий крест, ибо кто как взглянул на это. Но

Сережа посмотрел на это не как все. Он и был, по-моему, не как все во всей этой сложной, запутанной иерархии, по которой двигался и достиг чудесным образом каких-то высот.

И он упал, вернее, припал так рано к тому, с чего начинал, — к родимой земле. Вот и лежит он сейчас там, в родной хотынецкой земле, у своих Горок, вместе со своими земляками. Под таким же, возможно, разлатым крестом христианским. А тут, в Орле, память о нем светится, тлеет, будит душу. И легче как-то глядится на всяческие кабинеты. Потому что и там иногда оказываются такие, как друг наш Сережа, — из вечной молодости, совестливости, праведной чистоты.

«ЕЖИК» ИЗ ПАРИЖА

(автобиографический рассказ)

Раз в месяц я сижу в парикмахерской Военторга, самой близкой к нашему дому, жду в мужской зал своей очереди и от нечего делать читаю все подряд, что на стенках написано. Сначала читаю слова, как обычно, вперед: «Военнослужащие обслуживаются вне очереди». Потом — в обратном порядке: «еищажуслоннеоВ». А ну, сколько букв в самом длинном слове? Верно, четырнадцать. А во фразе всей? Тридцать семь... Причем отщелкиваю это мгновенно, с точностью компьютера. Хоть в цирке выступай. Какая тренированность, с детства это еще, на что потрачены годы...

Так вот, сижу я, и вдруг неизъяснимое, щемящее чувство накатывает на меня. Глаза бегут по «прейскуранту», по ценам — естественно, задерживаются на этой вот строчке — «Французский ежик»... Да-да, давным-давно, именно в детстве, еще в школьные годы, меня звали Ежиком. Чижик-пыжик, где ты был? И по сей день волосы у меня согласно натуре растут творчески —

торчком, в разные стороны. Президент Мексики специальным указом гонит в парикмахерские стричься своих кабальеро. И глава нашей орловской социальной защиты выдает талоны на стрижку самым незащищенным. А у меня уже через месяц после того волосы нависают на уши... «Французский ежик», ежик из Парижа? А в том, что перед молодыми — пространство, оно рождает щедрость и оптимизм. Мы же ищем опору в прошедшем, золотой век у нас там, где мы были молоды, более удачливы...

Вот они, трое парней, в гражданском. Может, уже побывали в Чечне? А вот, что постарше, и в Афганистане? Согласно живой очереди, им под ножницы идти раньше меня. Хоть я и постарше, все мы — «дети войны». И все мы, однако, лошади, вернее, бараны, которых стригут каждые полстолетия... Поручики же, Киже из Парижа... французский ежик...

Немецкий тогда знали все: «Шпрехен зи дойч». Одни погибли, другие вернулись живыми, пришли в школы учителями, не зная ничего другого, кроме этого «Шпрехен зи дойч». Мы же в своем Малоархангельске были единственным классом, что-то вроде «белой кости», с пятого нас обучали французскому. В первую же неделю мы знали такие слова, как «бонжур» (добрый день), «мон ами» (мой друг), «о ревуар» (до свиданья). И, возвращаясь из школы, мы кричали об этом солнцу, улице, друг другу, всему остальному миру: «Бонжур!» Это наша учительница Анна Васильевна сама когда-то училась в Дижоне, во Франции. И вот, потеряв в войне своего единственного сына, знавшего французский, она в память о нем подарила нам эту возможность...

В тот же сентябрь к нам в школу пришел новый директор. Говорили, он был в тылу командиром учебного подразделения, запасного полка. И вот он тут же выстроил всю нашу школу в линейку. Мы, пацаны, стояли, как на плацу, а он шел мимо властно, впиваясь в каждого, и всех пацанов поголовно отправил в

парикмахерскую. Да-да, на другой конец городка. И шли мы по главной улице под колкости знакомых, соседей — всех жителей, а навстречу, уже возвращаясь, тянулись остриженные «под ноль» — жалкие какие-то, неузнаваемые, униженные и оскорбленные.

И после уже, в другой раз, кто-то, уж и не помню кто, вдруг сказал:

— А пойдем-ка лучше к Матвеичу.

Все в городе знали хатенку Матвеича на Интернациональном переулке — парикмахера от Бога, мастера своего дела, кудесника своего рода, недавно вернувшегося оттуда... откуда тогда, в пятидесятых годах, возвращались... Ходили легенды, еще при нэпе Матвеич был парикмахером — владельцем частного заведеньица, штат которого состоял из его самого и жены. В вестибюльчике посетителей встречал столик со свежей газеткой, журнальчиком свежим, а в салоне — Степан Матвеич со своей неизменной улыбкой: «бон жур, мусье» — «я рад вас видеть», «осейе ву» — «садитесь пожалуйста».

Кажется, сразу вдесятером мы переступили порог. И, робко озираясь, кто-то из нас произнес:

— Бон жур, мон ами.

Матвеич был поражен, в восторге Матвеич был! Матвеич был просто счастлив! Он сыпал по-французски направо налево и наверняка говорил бы с нами до вечера, но нам было надо в школу. Начав с меня, он всех нас остриг по-особому: вроде бы под «ноль», но волосы оставил настолько, чтобы они стояли прямо и высоко. «Французский ежик, — щелкал ножнями Матвеич. — Феноменально! Оччень модно. Как будто вы только что из Парижа!»

И когда мы уходили от него с гордо поднятой головой, с модной прической — как «денди» в застиранных своих, в штопаных-перештопаных штанах и рубахах, Матвеич провожал нас каждого за руку — галантно раскланиваясь с каждым ведь до порога...

— И вот, мои друзья — мезами, — говорил я уже сам ребятам потом, будучи учителем в школе, — вам главный урок! Не давайте, мои дорогие, стричь под «ноль» себя, не давайтесь...

В Малоархангельске — небольшом степном городке, что на юге Орловщины, где прошло мое детство, на Интернацинальном переулке, стояла когда-то избушка на курьих ножках. А в ней жил Матвеич — парикмахер, кудесник, во двор к которому не зарастала тропа. А сейчас на этом месте огромный домяка, забор с железными воротами. И мимо проходит бетонка, КАМАЗы несутся с девонской глиной — в Орел для ВИЛОРа, и люди идут и идут, не цепляясь ни взглядом, ни сердцем...

— Следующий, — произнес металлический женский голос.

Я вздрогнул. Прошел в салон.

— Бон жур, мадам. Силь ву пле...

И сделал пальцами стригущие движения вокруг своей головы.

— Вы — француз? — живо заклацали ножницы. — Вам что — «канадку» или?..

— Французский ежик, мадам, — засмеялся я. — Силь ву пле — сделайте феноменально! Оччень модно! Как будто я только что из Парижа!

«УВИДЕТЬ МОСКВУ...»

То ли по радио передавали, то ли по телевизору — фильм такой был недавно «Увидеть Лондон и умереть». Калька, что ли, с известной ранее ленты «Увидеть Париж и умереть». На что Галина Вишневская сказала однажды: там города — это праздники, но чужие ведь. А я увидел в нашей столице, в метро, рекламу «Москва — праздник радости и любви», и вспыхнуло вдруг во мне, озарилось: «Увидеть Москву и не умереть». Зачем, думаю, после того умирать-то?..

Что-то вроде пословицы. Говоря о праздниках, вспомним Василия Шукшина, жаждавшего всеми фибрами праздников. И подумаем о судьбе своей — предназначении, о Париже как о «празднике», хотя и «чужом», в жизни очень близкого мне человека. Проработать в университете на кафедре французского всю жизнь и ни разу не побывать в Париже, — это уж чересчур, извините! Все, кому не лень, мотаются в Париж за казенный счет, а для нее и в самом деле праздник этот «чужой». И вот друзья — простые французы позвали ее к себе, и я представляю ее идущей по Парижу, стоящей перед собором Парижской Богоматери, воспетым великим Гюго, и сердце разрывается от ее праздника радости и любви. И грусть западает, однако, в душу. Предо мной возникает наш Питер, молодое лицо певца Сергея Захарова, голос его неповторимый, однако, после тюрьмы...

Теперь и Москву-то трудно увидеть, Москва становится праздником только для москвичей. А как быть с теми, кто вдали от Москвы — на Камчатке, на Сахалине, в Сибири? Как это у Петра Лещенко: «Сибирь ведь тоже русская земля». Отпала необходимость гонять в столицу за своим же — мясом и колбасой, чтобы книгу издать, пропивая там бездарно и глухо последнее. И уже подрастают дети, вырастут целые поколения, так и не повидавшие ни разу в жизни самое прекрасное, самое трогательное для русской души — Василия Блаженного, Третьяковку, Кремль...

Обращаюсь к правительству: дайте возможность нам видеть нашу столицу! Дайте возможность видеть наши праздники радости и любви, города свои и деревни. Родину нашу. Вот у нас на нашей Орловщине есть такие «медвежьи» уголки, где дети не побывали ни разу даже в Орле, иные не видели его лет шесть-семь. Не знают, как он похорошел и становится все прекраснее — наш собственный праздник радости и любви! Так теперь д роги проезд и проживание в гостинице. Пишу

эти строки 5 августа 98-го в День праздника города, в день 55-летия освобождения. Пишу искренне, с болью и думою: а сколько в этих 220-ти лет губернии было мира, а сколько войны? Войны и мира? Конечно же, больше мира!

Конечно, надо помнить о павших. Конечно, мы помним о них, — у нас в семье все мужики не вернулись с войны, и я тогда, первоклассник, был из «мужиков» в семье самым старшим. Но мир-то далее видится без войны. И эти две цифры: 55 и 220 как две капли, по разные стороны, как ласточки, рядом. Два праздника вместе, в общем празднике города...

Выступали в городском саду, на открытой эстраде, перед народом, пели песни Алексея Фатьянова. А дети бегали у фонтана! И висла над ними радуга брызг. И любовь к ним, как и к своему городу, была все глубже, возвышеннее. Как, наверно, и нас, поколение детей войны, с грустью любили наши отцы-фронтовики. Воюют ведь чаще всего от бездарности, от неумения строить и жить, реже гораздо — от великой любви. Если дети наши, внуки растут не с народными, нашими песнями, то что же будет с нашими песнями, картинами, книгами, с Пушкиным, с нашим народом, зачем я пишу?

Она идет по Парижу там — и тоже на празднике, который для нее из чужого становится нашим. Я просил ее побывать на Монмартре, я просил ее побывать у Сакре Кер (храм «Святое сердце»). Я просил ее, если окажется вдруг поблизости, побывать на могиле поэта Рембо — этого великого юноши, переведенного и озвученного мной на русском. Отыскать бы хоть могилку его, не особо известную. Впрочем, и великий Рембрандт похоронен был в «яме для бедных». Художники создают модели, и по этим моделям движется мир...

Я говорю это ныне, как говорил и вчера, когда к нам сюда в Орел приезжали французы из общества «Друзья Бунина». Я говорю это вам, друзья России — наши друзья, простые люди из глубокого Прованса!

Поклонитесь моему Бунину в Грассе, положите Рембо моему цветы. От меня лично. Представьте, я с вами, мы вместе на карнавале жизни — вечном празднике радости и любви. Мы идем по Парижу, и я вспоминаю Верлена, Бодлера и думаю о Бунине, Пушкине. И дух Орла и Грасса витает во мне.

Игра воды, игра воды —
Она для нас...

* * *

Мечта моя, осуществись!... Но вот бомбят Белград. О люди, люди! Простые люди всего человечества! Что же вы? Как же вы? Увидеть Белград и не умереть. Бомбят опять! А еще европейцы, посередине Европы.

БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Замыслы с размахом гибнут
от долгих отлагательств.
В. Шекспир

Туманцев познакомился с ней на пороге музея. Прошлым летом, когда она приезжала сюда с группой туристов.

— Вы — француженка? — улыбнулся он милой, крепенькой девушке с ямочкой на подбородке.

— Я — Селена, Луна. О да, я — француженка, — отрекомендовалась она по-русски, однако с акцентом. — Я приехала в Россию улучшать мой русский язык.

Искра ударила в обе стороны. Кирилл подхватил Селену за локоть, и они закрутились в вихре. Три дня пролетели, как один миг. Каждый «улучшал» друг с другом свое и без того неплохое настроение. И, когда Селена уезжала, она увозила в своем саквояже его фото, весь его русский облик в своем нежном французском сердце.

Зимой Селена побывала на практике в Англии —

«улучшала» свой английский, а также экономические познания, которым она обучалась в одном из университетов центральной Франции. Но настроение у нее по-настоящему «улучшилось» только с Туманцевым с помощью писем, которыми она отвечала на краткие, пылкие письма Кирилла. Селена была из крестьянской семьи, из местности километрах в ста севернее Парижа, из департамента Шампань-Арденн, куда и собиралась вернуться после учебы. «Упорная крестьяночка», — думал о Селене Туманцев, сравнивая ее со своей однокашницей Ольгой Калашниковой, вышедшей замуж прошлой осенью за француза и проживающей сейчас где-то на юге Франции.

В апреле вместе с видами Оксфорда Туманцев получил письмо с известием, что летом Селена приедет стажироваться на Украину — также «для улучшения моего русского». Настроение Туманцева прыгнуло вверх, с нетерпеньем он стал ожидать лета. Вот как, а от Селены ни звука. И вот, наконец, письмо из Киева! Оказывается, Селена потеряла его телефон, сама позвонить не может. Общежитие, где она проживает, скоро совсем освободится, все разъедутся на каникулы, — приезжай! Если ей насчет визы к нему в Орел тяжело, то ему туда, в Киев, к ней, можно, видимо, и без визы.

Прежде всего, надо дозвониться по данному ею телефону. Три дня ничего не дали. Ох, уж эти «уикенды» — «двойные» выходные! С утра в понедельник он, наконец, услышал в трубке нечто живое — человеческий голос. Как свет далекой звезды! С Луны — Селены, но, оказывается, это вахтерша. Так и сыплет по-украински, старая бабка! Пригласить Селену — француженку к телефону? — и не подумает. Кто же пойдет за какой-то девицей в какую-то комнату на какой-то этаж?

И Туманцев пошел на хитрость: положил на трубку носовой платок, набрал номер, рассчитывая на вахтершу, но тут же услышал молодой женский голос:

— Уй! Се...лена!

«Селена!» — мелькнуло в сознании Туманцева, а некоторое расхождение в тембре он отнес на счет самого телефона.

— Да-да, уезжаем... — пропал и, наконец, возвратился голос. — Да-да, взят билет на самолет...

Пи-пи-пи... И тишина. Все, поговорили. Но, как говорится, язык до Киева доведет. Утром Туманцев взял билет на автобус. В Киеве он отыскал нужную улицу, дом, наконец, нужный этаж и комнату. Постучал с учащенно бьющимся сердцем. Дверь открывала ладная девица.

— Селена? — растерялся Туманцев.

— Уй! Се Лена, — ответила девушка. — Это Лена, то есть это я.

— Это с вами я вчера разговаривал по телефону?

— Да, со мной, — сказала она, пожимая плечами. — Только та — Селена, то есть Луна, француженка. А я «се Лена», — это Лена, просто Лена, русская Лена.

— Ну да, — изумился Туманцев такой игре слов, как и новому обороту.

— Ну да!... — увидел, что она ничего, темноруса, красива, и расхохотался. ...Вот тебя-то как раз мне и надо! — И подумал не без злорадства: «А той Селене. .. не надо было терять мой телефон».

И, приподняв Елену, Кирилл держал ее высоко над собой: — Ну что, будем знакомиться?

— Будем, — не растерялась девица.

Все ясно. Если не искра божия, то хотя бы краска брызнула ей в лицо. Оказывается, француженка только что уехала на аэродром, чтобы лететь к себе в свою Францию, а на ее место уже прибыла эта Лена, русская, тоже из-за границы, из России — страны СНГ. «Куй железо, пока горячо, — мелькнуло в сознании Туманцева. — Едем домой, все равно мать с отцом не знают ни ту ни другую».

— Экут муа, слушай сюда, — сказал он Елене. — Вот два билета на самолет, нас ждут дома родители.

— Куда? — удивилась Лена.

— В Россию, к себе восвояси, — засмеялся Туманцев. — Куда же еще?

В конце недели они решили пожениться. Отец с матерью слушали их, насторожась.

— Но жить будем у нас тут, в России, — твердо сказал он Елене. — При моих родителях. Пока не заработаем денег на Францию... Чтобы вернуться тебе во Францию, тю компри — ты поняла?

— Се бьен, — рассмеялась Елена. — Это хорошо. Значит, мой дорогой, тут застрянем надолго.

СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО

За окном моей городской квартиры идет снег, лежат девственные снега, а мне вспоминается прошлое лето. Самое счастливое, самое теплое лето в моей жизни, которое мы с женой, наверное, заслужили за все наши смертные муки...

А все началось с Первого мая, в поселке Синяевском, куда как дачники обычно приезжаем мы на «маевку» и где лето у нас начинается с лопаты, железных грабель, с грядок и соловьев. «Раи» летают у нас на поселке», — сказала как-то баба Даша — словотворец, старейшая жительница. Да не «рай», дорогие мои, райские птахи, — просто кипят жизнью синяевские сады, опушки лесные, даже слова соловьи выговаривают:

«Наши мамы когда-то копали поля,
Поднимали лопатой Россию тернистую.
Было им, нашим мамам, не до соловья,
Что сейчас имена их старался высвистывал.

Дарья из-под Прилеп, Катя — хата с конца,
Ольги, какой уже нет, и Ариша Калымова...

Я колена считал у него, стервеца,
Как он бил, разорялся в зароще малиновой!

Отцветали сады. И, горланя за двух,
Дожигая сады эти, белые, стылые,
Соловей вокруг вдруг сказал: «Милый друг,
милый друг».
Повторил еще явственней: «Милые, милые».

Этих бабушек, царство им небесное, уже теперь нет. И мы, мое поколение, — крайние. А соловьи вот остались, поют. Все в мае гремит от них, все зеленое царство. Попробуют скворцы, дрозды — варакушки эти — запеть под них, а — не соловьи! Но никогда не видишь их близко, воочию. Все за веточкой, мистикой, такой скромняга, — такт, контакт, вдохновенье. Помню, жили мы на окраине города, у края леса, когда сынишка только-только учился ходить. Соловей встретился нам на лесной опушке; сидел на ветке — рукой подать, и пел, да так увлекся. Аж трепетал. Это было давно, как неправда.

А тут жена вдруг зовет на крыльцо:

— Скорее! Гляди! Уж не соловей ли это?

— Соловей.

А он сидит на сплетенном стволе груши тут перед нами, напротив нас. И — порх во двор к нам на бельевую веревку, качается. А из дуплишка другой уж торчит. Высунулся на полголовы, огляделся — чирикнул, а ведь не воробей — и запустил такую руладу! Кто же из них соловей, а кто — соловьиха? Прямо перед глазами оба, с воробья каждый, но потоньше, изящнее, изогнутей спинкой. Оба рыженькие, благородненькие, на нас ноль внимания. «Но кто же, — думаю, — все-таки народный артист?» И тут бельевая веревка закачалась, заходила кругами, и все птичье царство ухнуло, как провалилось, в соловьиную трель.

Они суетились. Шныряли туда-сюда, в дупло — из дупла. И садили вовсю дуплетами и куплетами. Боже мой! Да не слышал я столько талантливой импровиза-

ции! А'капелла, без слов. Вот с чего начиналось наше счастливое лето... с чего начинается Родина...

Радио страшно включать: что творится в мире в конце тысячелетия! Телевизора нет вообще у нас в деревенской хате, тут царствуют соловьи...

— Это я увидала их первая, это я, — повторяет то сыну, то мне наша счастливая мама.

И мы признаем ее приоритет. Хотя сын и окончил в детстве музыкальную школу у дяди Юры Позднякова — друга моего и земляка, у меня способности от природы, и это я, а не мама, пел когда-то сынишке колыбельные песни. А в то лето пели нам только они — соловьи. И мы были счастливы с ними, она была счастлива...

Сорок лет она проработала в университете, на французском отделении, но ни разу ведь не побывала во Франции, в Париже — в городе ее мечты. После аспирантуры, правда, ее оформляли на стажировку, но она оказалась беременной. И после рождения сына совсем заклеймили то ли по этой причине, то ли из-за меня. И вот, наконец, французы. С Жозеттой они дружат вот уже сорок лет, еще со студенчества, через Клуб интернациональной дружбы, где некогда ей дали адрес. Сорок лет они пишут друг другу, а ведь ни разу не виделись. И тут приглашение русской подруге Людмиле, оплачивается проезд в оба конца.

— Я первая увидела его, первая! — с дрожью в голосе сказала она, наша мама, имея в виду соловья.

Так и отправили мы ее, впервые ведь, за границу. Через Шереметьево, самолетом. И стали ждать...

И вдруг звонок. Звонят из Киева. Звонит сыну Селена — молодая француженка, с которой они познакомились тут, в Орле, во время ее стажировки. В Киев она приехала, чтобы далее совершенствовать «свой русский». И она приглашает его к себе. «И мне также надо, — подумал я, — «усовершенствовать» свою драму — трилогию о крещении Руси. Освежить впечатления от Аскольдовой могилы...»

И вот мы с сыном в Киеве, где нас встречает Селена. С другом молодости я тоже не виделся лет, наверное, двадцать пять. И наш визит в Киев закончен, освежены впечатления, мы встретились с кем надо и уже уезжаем обратно к себе в Россию. И перед тем, как расстаться, все втроем мы стоим на балконе седьмого этажа: я — в середине, по плечам моим они — мои дети. Вечерний Киев перед нами, вечерний Днепр; блуждают, отражаясь в воде, огни Владимирской горки; дыхание наше существуют в такт дыханию вечера, мерцанию звезд. И все это, возможно, в последний раз. Трогательно и печально. И все, что, наверно, в душе у сына, звучит во мне, живет в звуках, то затопая, то оживая опять. Как бы в Испании у Лопе де Веги, стою я перед балконом с гитарой под полою. Сама собой возникает мелодия, она все явственнее, овладевает мной, просто разрывается сердце от грусти, от невозможности жить сразу в нескольких сферах, высоко-высоко, где уповает, сходя к нам, звезда. И я говорю Селене:

— Она будет называться «Прощание с Киевом» — это моя мелодия. Слова придут после сами, и сын мой пришлет их к тебе.

И на последние гривны мы покупаем Селене эти огненные цветы. Так и стоит она перед нами на автовокзале, перед автобусом, обхватив руками огонь цветов.

А во мне, как в сосуде переполненном, колышутся такие слова:

Мы встретились, чтобы расстаться,
Друг друга боясь полюбить, —
Француженка — тонкая грация,
Дрожит — не оборвана — нить.

Но стоит ей лишь оборваться,
И будет окончено все.
О, это различие в нациях!
— Вы, русские, странны, мусье!..

Днепровская, чуть с голубинкой,
Волна пропадает в волнах.
Подрагивает паутинка
В ее пикардийских глазах.

Вот так и стоит среди зноя
С цветами, как огненный флаг.
Прощается Киев со мною,
В ее утопая руках.

На другой день билеты в Киев сильно подорожали. А через два дня — 17 августа — вообще случился «обвал». Но мы успели вернуться в Орел к себе, а она, наша мама, из Франции. Ступила на порог — счастливая и молодая...

Зимой так приятно думать о лете, когда за окном сыплется снег. Сижу и думаю: «Как же нам повезло! В такое время выехать, встретиться, услышать друга, чтобы обнять. Каким же счастливым для нас было минувшее лето. Вернутся ли после зимы к нам под окна те магические соловьи? Да и выживут ли они там, куда улетели?..»

Я вижу, я слышу голоса в ноосфере, они восполняют нам наш дефицит. Ведь счастья, как и любви, никогда не бывает много, его всегда не хватает. Миг летучий неповторим.

ВСТРЕЧА В САВОЙЯХ

Моей жене Людмиле

А годы мелькнули, как листья, и перелистали жизнь. Все на французском отделении их провинциального университета перебывали во Франции, решительно все, даже по несколько раз, но судьба обходила ее. И вот в Париже ее ждут с самолета друзья — простые французы...

Даже не верится, она — в Париже. И вот в подтверждение тому фотографии. Это ее фигурка на фоне Эй-

фелевой башни с цифрами на табло — количеством реальных, не мистических дней до 2000-летия новой эры. А это вот позади нее розово-красные герани — на балконах парикмахерских, улиц и площадей. И это награда ей за долготерпение, за беспощадную жизнь. Волнуясь, ожидала она встречи с подругой, с которой была знакома только по письмам, заочно они знали друг друга вот уже сорок лет и должны, наконец, повидаться... Да, это так, Жозетта сообщала, что у нее рак груди. Какой же будет их встреча?

Комок подкатывает к горлу, когда она идет тихими, игрушечными улочками бунинского Грасса, купается хотя бы взглядом в лазури Монако, поднимается алой парадной лестницей Канн. Ее подводят к кинофестивальной плите, на которой Татьяна Самойлова — единственная из русских актрис, удостоенная этой чести, оставила тут отпечаток ладони как приз за лучшую роль в фильме «Летят журавли». И тоже ей за танталовы муки, ее неизбывный талант. Она переносится мысленно в свою деревеньку в срединной России — этот поселок Синяевский, где у них свой домик крестьянский близ виллы первого мужа Татьяны Самойловой — Василия Ланового...

А горький ком держится в горле, не пропадет. Мелькают лица — дружественные, оптимистичные. Вина, красные виноградники, синие поля лаванды, белые абрикосовые сады — этот глубокий Прованс...

Ей подарили черное пончо с разводами белых роз. Оно к лицу ей — это пончо, ее просят надевать его, когда они отправляются в гости. А ком все держится, южное солнце режет глаза. Вся жизнь пролетела ведь, как журавли! Когда она получила адрес Жозетты в Клубе интернациональной дружбы, обе они были молодыми, совсем девчонками. Жозетта жила тогда под Парижем. Теперь у них давно уже семьи, дети, даже семьи детей; давно уже Жозетта живет где-то возле Женевы. Теперь за спиной у них годы, болезни, воспоминания...

И ком этот вдруг куда-то девается, когда Моника говорит ей: звонила твоя Жозетта, они с мужем выезжают навстречу, встретимся где-то в Савойях.

«Что надеть мне? — заметалась она. — Черное пончо исключено. Черный цвет — чересчур строг для этого случая, нужны яркие краски — надежды, веры, любви». И она выбрала легкое шифоновое платье сразу всех жарких летних цветов.

Автомобиль летит, везет их по горным альпийским дорогам, по которым когда-то на 100 дней возвращался в Париж Наполеон. А ком в горле все равно то возникает, то опять пропадает. Что скажет она ей — Жозетте своей, да и что в таких случаях говорят?

Даже во Франции, даже в Швейцарии — в этих благополучных странах — люди, оказывается, могут болеть так жестоко; за что же ты ее караешь, о Небо, за какие грехи? Жозетта, ее подруга, ведь безгреховна, хороший же человек. Зачем же, Господь, посылаешь нам такие вот испытания?

Моника, которая везет ее сюда в своем автомобиле, молчит. Моника все понимает. Это правительства где-то там наверху, это у них все там: банки, армии, государства, а тут у нас, простых людей, нет ничего, кроме сердца и одиночества. И мы страдаем больше всего именно от одиночества. И тянемся друг к другу, просто рвемся друг к другу из своего одиночества, и для этого нет ни границ, ни барьеров, ни расстояний, если мы не хотим их. Жизнь коротка, даже слишком, чтобы этого не понимать, просто катастрофически нам не хватает жизни... Она сидит в этом своем шифоновом платье и подбирает для Жозетты слова утешения: «Господи! Помоги же ей, помоги!...»

Городок с традиционным замком на горе, мэрия на площади, храм, на котором начертано: «Свобода, Равенство и Братство». Как все это знакомо и катастрофически странно в этот момент...

— Ларошетт, — говорит Моника. — Это здесь.

А к ним уже идут сразу двое — мужчина и женщина. Все мелодии Поля Мориа грянули в душу! Это, конечно, Жозетта! И Жорж — ее муж...

Герани алые. В алых геранях столик. И сказочен дворик ресторанчика в Ларошетте где-то в Савойях. Люди встречаются, чтобы любить, смотреть друг на друга, — и в этом свобода. Слова утешения куда-то деваются, слова забываются — все эти слова, которые она готовила к этой встрече. И говорит она совсем ведь другое, совершенно другое — перед всем этим равенством и неравенством в ней. Они сидят, кажется, всю свою жизнь рядом друг с другом, просто слушают биение сердца друг друга, просто молчат...

Жозетта — ее сестра, важная такая, царственная особа, с внутренним достоинством. Порядок чувствуется во всем. А они с Моникой худенькие, подвижные, она во всем своем облике — чисто француженка. Вот что удивительно! В письмах разве об этом расскажешь, это надо видеть и принимать.

Она никогда не видела женщины красивее Жозетты. Волосы яркой блондинки коротки после химиотерапии, глаза голубые. Если бы не Франция, не Швейцария с их медициной, что было бы с ней. Она научилась жить спокойно, с житейской мудростью, ценить каждый день своей жизни...

— О Жозетт! — только и знает, что повторяет она вслед за подругой.

Да, Жозетта училась жить достойно, кажется, всю свою жизнь. И только этого предусмотреть не могла. И в том, что они, наконец, встречаются, есть высшая справедливость. Именно среди красоты, среди запахов этой герани во дворике, сиянии снега на отдаленных вершинах, на виду альпийских лугов.

— Ну что ж, — говорит Жозетта как можно спокойнее и закуривает, пуская легкий дымок. — Норма моя — две сигареты в день и порой стаканчик вина. Неспа — не так ли? — обращается она к мужу. —

Главное — не съезжать на обочину. Ма шер — моя дорогая Люси!

— Ты мудрая, ты справедливая, — говорит Жозетте Люси. — И я люблю тебя, очень и очень. Мне так не хватает тебя.

— А мне — тебя, да-да, это так, — расслабясь, может, впервые за все эти годы так печальна Жозетта. — Я привыкла к тебе, моя русская подруга. И я тебя очень, очень люблю... я переживаю, когда у вас в России там трудности. Когда болеет президент... когда вам не дают зарплату...

— О да, да! Мы переживаем, как все простые французы, — искренне огорчается Жорж, облокотясь на столик, ушедший ножкой в землю.

— Береги себя, Люси, — слабея голосом, говорит Жозетта. — Семью свою береги — это главное, — и кладет голову на плечо Жоржу.

А потом они пьют вино. Ну, конечно, шампанское — настоящее, французское, что же еще? Боже мой, так хорошо с ней Люси, как хорошо ей не было никогда! И никогда еще не было так грустно, печально. Когда прохладный воздух начинает стекать в долину со снежных вершин, они расстались и — уже навсегда.

Вот и вернулась Люси домой, но уже через Лион на Москву, в Шереметьево. И вернулась она совсем ведь другой — свободным, раскованным человеком. Вот зачем, оказывается, ездят за границу, в Париж. Это Мекка для всех и каждого, кто хочет дышать открытой грудью. Она совершила свой «хадж», и Свобода, Равенство и Братство — это начертано теперь в ней, этого не отнять.

* * *

А через три месяца ей в Россию пришло сообщение, что Жозетты не стало.

ЭТО ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.

Из народной песни

Все это вывернулось из меня, как ниточка из иголки, — 11 августа 1999 года, когда на земле ожидалось полное солнечное затмение.

* * *

...Утро было туманное. Однако туман приподнялся, висел слоисто по-над верхней кромой леса, оставив в теньке от деревьев, в низочке, следы своего пребывания — эти белые паруса — лоскуты, паутинки — тканинки такие, каждая с носовой платок; невидимые были шелка паутиновые, видимыми их делала только прилегшая на них мелко-мелко росистая пыльца; там и сям по травам рябило от белых платков в теневатых, грибных местах. И тут ударило солнце! И трава отсверкнула ощущением радуги, росяным праздником плеснуло по душе. А какая жизнь-то без праздников, без цветов?

Третий день мы в деревне. И вот день рождения Жака Пайяра — нашего друга из Франции, побывавшего с женой тут у нас, в российской глубинке, в минувшем году. В этом отсверке с влажных платков паутиновых еще живет его взгляд. А сухой сеновал в сарайке хранит очертания тела: «О ля-ля! Пайяр — это солома! А так — это крестьянин, мужик, я свой». — «Один к одному, Жакерия», — говорю я не без тени улыбки. И вот вспоминаю все это в Сойминово. Сюда кое-когда приезжает автолавка, и я хочу кое-чего купить к дню рождению Жака. Чтобы сесть за все тот же стол и, хотя бы без него самого, все же это дело отметить. Пока под яблонью во мне еще слышимы звуки баяна в руках местного агронома Виктора Викторыча. Голоса де-

ревенских женщин переплетаются с голосами Жака и его жены — прелестной Моники. Запрокинув голову, Моника подпевает нам, и наши мелодии улетают куда-то за сад — выше яблонь, в высокое чистое небо: «Шумел камыш, деревья гнулись»... «Какая нежная, удивительно женская, судьбоносная песня! И за что хоть столько лет изгоняли ее из приличного общества, почему?» — сижу за столом в саду — призадумался.

И тут надо мной, вижу, захлопотала рваная такая, лохматая тучка — что-то дрогнуло во мне, неуют — первый признак тревоги. «Солнечное затмение, — не сходила, однако, с меня эйфория. — У нас тут сегодня в 13-58. И по всей Европе... В Париже уже покупают билеты на спецэкспресс в северном направлении — до шести минут продлить свидание с почерневшим светилом...»

— А в нашем эпосе «Слове о полку Игореве», — сказал я жене, вернувшись из Сойминово, — черное солнце стало дурным предзнаменованием. Как известно, степь победила, русский князь попал тогда в полон.

— Не надо было жадничать, — отреагировала жена незамедлительно. — А то, чтобы с меньшим числом добычей делиться, князь взял с собой малую дружину, это вместо того, чтобы поднять на Дикое поле всю Русь.

Мы, естественно, дома тут у себя, не в Париже. Это во Франции, как только что сообщили по радио, к 12-00 продано шесть миллионов пар солнцезащитных очков. И я принимаюсь коптить оконное стекло — старинный, проверенный способ. Раз лет в двести, что ли, происходит затмение солнца такого масштаба. А камень все давит, тревога растет. То ли это от эпоса, а то ли от миллионов темных французских очков, — огромных, солнцепуленепробиваемых, как бронежилеты... Да что они, радиожурналисты, очками этими мозги мне тут компостируют! Ну не дают, понимаешь, работать! Закоптить, как следует, кусок стекла — последний крик нашей отечественной цивилизации!

И в ожиданиях, в невыразимых предчувствиях дискомфорта, перелома какого-то, как при родах, что ли, где-то внутри возникают все те же слова:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.

И не замечаю ведь, что солнца-то нет уже, скрылось тучками. И зачем же тогда я стекло копчу? А времени 13-00. До затмения всего ничего. А тревога усиливается, ломает всего. Гляжу — сухой сучок на стволе, мой контроль, природный «барометр», вверх подался, показывает на «бурю». И тут все во мне захолодало. Чую, связка какая-то образуется между мной и наружной природой. Тесновато становится там и тут, конь внутри мне поселяется, колотить начинает копытом под ритмы баяна.

— Ничего не замечаешь? — спрашиваю жену.

— Солнце, — говорит, — ушло, скрылось в тучку.

— А еще чего? — допытываюсь.

— А ничего, — пожимает она плечами.

— А Монику перед собой видишь?

— Нет, не вижу.

— И баяна не слышишь?

— Баяна? — засмеялась жена. — Чтой-то у тебя уж не только внутреннее зрение, но и внутренний слух прорезался, что ли?

— Жака, — говорю, — вижу на мотоцикле. Скачет по кочкам как бы сразу на многих конях, на всех своих лошадиных силах. В огро-о-мных таких, бронежилетных... пылезащитных очках...

13-45. — Совсем темно, жутковато, воздух остеклянел. Сухой сучок встал вертикально.

13-50. — Воздух дрогнул, сучок весь натянулся, как часовой у Мавзолея. И откуда тучи взялись — насели, всколошматили небо, исказили картину.

14-00. — Темнынь-то какая; загудело все, зарычало, шибануло воздушной волной.

14-10. — И пошло-поехало. Ночь-то уже не белая

даже, а настоящая, черная! Кричит жена. «Ураган! Урага...» — кричу я и не слышу себя, звуки тут же срывает с губ.

Все смешалось, винтом закрутилось. Жена с сыном тут же нырнули в дом, а я на крылечке стою, только покрепче за столбик ухватился. Это когда же еще увидишь такое светопреставление воочию да еще с риском для жизни? Стою и фиксирую — свидетель эпохи! Не в городе — в деревне тут больше эффекта, аффектаций и ассоциаций.

Все свистит, гремит в атмосфере; а сухой сучок — мой «барометр» — кончиком в небо. А небо копытами оземь тысячеконно... иконно... икона, нет-нет, прямо дьяволиада какая-то... Неужто «белые братья», всякие секты в Японии и Америке были правы, когда вещали конец света? Неужто и церковь знает про все это, из темницы веков напускает сюда на нас свой Армагедон? И ученые не забывают про страхи: тут тебе и парады планет, и какие-то Леониды. Вот он тут уже, перед нами, — этот конец белого света, в самом конце века, даже тысячелетия. Неужто все так и есть? И все летит, в мозгах все свистит, страхи текут на салазках, срываясь вместе с мозгами, уносятся в Армагедоны... «А ведь еще не полное подсолнечное-то... Это где-то в Праге на 98 процентов и во Франции — по всей видимости, а у нас тут темнынь, — почему?»

А тучи-то! Неба просто не существует. Одна земля, свистящая, вытянута в одном направлении — «по направлению к Свану». Не только сучья толстенные, но уже и стволы матерых яблонь и лип вековых, в три обхвата в поясе, как симпатичный такой животик Эльдара Рязанова, уже параллельны земле и свистят каждой фиброй, как и все вокруг дрожит такой мелкой — мелькающей, такой противной — принудительной дрожью... «Шумел камыш, деревья гнулись»... Обрывки слов, звуки воспоминаний... Один ураган в Орле, помню, в 60-е годы — в помещении редакции «Орловско-

го комсомольца»: листок бумаги висит в воздухе, не опускается — из подвала дует, свистит, подпирает; тогда в Воронеже перекидывало трамваи... Второй ураган, в 70-е годы, — я как раз оказался в есенинском Константиново. Сижу на откосе, и тут из-за спины ехидно этак выползает черная тучка — и все пошло кувырком, покатило: сучья с тополей, листы железа с дома — музея Кашиной, а Владимир Исаич Астахов, директор, помню, растопырил руки — не пускает в эту страсть туристов, бегущих с Оки, с теплохода; тогда в Иваново поднимало и уносило людей за многие километры... А этот мой ураган уже третий. Кажется, хватит, пик уже пройден, а четвертому не бывать...

Шумел камыш,
Деревья гнулись.

Ко всему люди привыкают. Даже к Магадану привыкли, даже к Освенциму. Я вижу, сучья еще вытянуты, но уже не свистят. И провода во дворе, провиснув, грозят замыканием. И паутинки уже видны, летят — мокрые, белые мухи... Пурга, пурга... И только со свистом мчится во мне мотоцикл, эти кони Эрредиа, Кентавриада, сразу сто-двести копыт ударяют оземь в бешенном ритме баяна. Последняя скачка, они еще скачут в агониях «Турецкого марша» Моцарта, и всех коней разом — всю эту тысячу, всю тысячу тысяч — оседлал он, Жак Пайяр — главный герой Моникиного романа, герой ситуации, всей этой белой пурги. Он пронесся недавно на паруснике через Атлантический океан в Аргентину, в Бразилию, туда и обратно, — по местам Жака Ива Кусто, а теперь вот, в сию минуту, мчится на мотоцикле по белому серпантину прямо на Монблан, в свою Жакерию, в эти Альпийские горы. О, где же ты, солнце! Явись, сверкни хоть на миг! Но все это черное солнце, эти белые-белые мухи, как слепни, как шершни — пчелиные волки, в очки ему, в лицо мне, во всю нашу жизнь. Я вижу все это, я чувствую

это, осознаю. Сеновал еще хранит запахи тела, а сердце — звуки общего хора:

Шумел камыш,
Деревья гнулись,
Динь-динь-динь.

И комар впервые тут появляется, вот звенит за ухом, кошмар, комар-кровопивец!! Это первая линия натиска — деревья уже не гнутся. Ураган уже сходит на нет, лишь подрагивает меж лопухом и крапивой мелкий желтеющий лист. И день, просияв неожиданно, наливается духом. И где-то под берегом речки Алешни, оградясь от страха ракитами, не повалясь, стойко шумят камыши. И сухой сучок — мой дворовый «барометр» — тянется к «ясно»...

Ну, силы небесные! Пошумели, погуляли, отметили день рождения Жака, и баста. И кони во мне устают бить копытами, главная кентавриада пронеслась стороной, и провода там оборваны, повалены столбы высоковольтной, чего натворило затмение, это солнце в минувший раз. А чего еще натворит? И, оглядясь вокруг, я чую в себе отражения: магнитные бури, силовые линии — как все они спутаны, перепутаны, как сбили они биоэнергетику многих, как съехали с крыш тополиные пуховые снега. Но что сделало для меня это черное солнце, так это то, что прочистило хоть на миг всего меня изнутри, приоткрыло полог — разверзло бездны, в которые страшно взглянуть: так далеки мы от неба, а оно так от нас высоко. И отдельно висит ковер, где-то тихо летит самолет.

А на днях я узнал, что тогда же, 11 августа, в 22-00, в Малоархангельске, на руках младшего сына угас мой бывший учитель и друг Иван Алексеевич Семеновский — царство ему небесное, земля ему пухом. Вместе когда-то замышляли памятник Пушкину в нашем городке, вместе встречали праправнука поэта Григория Григорьевича.

И комар все висит, все звенит, изгаляется, и летит в Париж ковер-самолет.

Ну, а ты, мой герой Жак Пайяр, как ты там? Съехал ли с гор твоих мотоцикл или твоя многоконная кентавриада все еще мчится навстречу белым ветрам, к снежным барсам, к нежным песням, к сеновалам, хранящим очертания тела в одной деревеньке где-то тут у нас, в серединной России? Мир прошел через испытание солнцем, испытания тьмой еще впереди...

На другой день я приехал в Орел, еду троллейбусом, стою на задней площадке. А передо мной девочка лет тринадцати, персик такой, шамаханская царица в белой кофточке, черные бровки. Загляделся на нее, о Наташе Ростовой подумал. А она забеспокоилась, руками давай отмахиваться, давай обирать лицо. А старая женщина рядом: «Гипноз какой-то, гипноз». И так во мне все это вспыхнуло: «Неужто во мне настолько черное солнце все обострило, спутало всю биоэнергетику? Или во мне что-то есть, чего не знал в себе до сих пор?..»

А комар-самолет уже не гудит, он убит наповал, как комар, шлепком по шее сына. Это — две линии вместе. Скоро осень, за окнами август. Бездны меда и яблок, за окном потемнели кусты.

Скоро осень

ЗВЕЗДА МЕЖДУ ЯБЛОНЬ

Небо это он видел тысячу раз. И все смотрел на него с практической целью: или дождя просил, или, наоборот, молил, чтобы глянуло солнышко, обогрело поля. Всю свою жизнь Ковшевой Геннадий Архипыч пробыл на селе агрономом. Только и знает эту свою круговерть — битву за урожай. Лето пролетает на едином дыхании — ни выходных, ни проходных. И вот всего с год назад его взяли в райцентр главным специалистом. И тут, нате вам, отпуск, да еще накануне косовицы хлебов. Что бы это значило?..

Ну да, в самом деле, Геннадий Архипыч находится в отпуске — в родовой свой деревне, в пустой отчей хатенке. С утра он обегает грибные места — все эти перелески, долы и суходолы с легкостью лани, они его не утомляют, но все равно тоска не покидает сердца. Вот и сегодня, чувствуя очередной приступ, он поднимается к двум матерым березам в конце усадьбы. Далеко видать! Там, на зеленых холмах, село Высокое, извивается змейкой дорога, вечерами по ней бегут автомобили с включенными фарами, цивилизация. А тут — зеленое безмолвие, поле непаханое за огородами, поселок, утонувший в садах. Да еще это вот небо — огромное, с мириадами звезд. Он плохо в школе учил астрономию и потому знает только одну, и ту по наитию, зато самую главную — Полярную.

Как человек деревенский Архипыч вообще-то знаком с небом неплохо. А вот то, что Земля, Солнечная система, вся наша Галактика, а значит, и все сущее — наши человеческие законы — писаные и неписаные, страны и государства, города и деревни, даже их райцентр с его производственным управлением, — вращаются вокруг этой одной-единственной Полярной звез-

ды, невозможно себе представить; все это он знал давно, познает и сейчас. Полярная звезда — в ковше Большой Медведицы, а не накормит никак человечество...

На их поселок гроза заходит всегда от Высокого. И бывает с молнией, даже с градом, впечатляет, но страшновато. А сейчас на зеленых холмах, на белых, едва различимых отсюда домиках лежит отсвет, скорее какой-то неуловимый налет розовости, переходящей в синее, темно-синее, в темноту. Неистребимо в нем это чувство тревоги, особенно с того момента, когда этой розовостью еще дает знать о себе Солнце, уже ушедшее за горизонт. И именно в той его части, где за одинокой ракитой над полем обозначается ночью Полярная звезда. Летом и осенью, строго и постоянно, всегда в одном месте...

Архипыч поднимает голову и не узнает Неба. Он просто не знал до сих пор, что может быть так красиво. Легкость голубизны с позолотой необыкновенная. Перистые облака, как перлы золотые, в разнообразных вариациях, единые в своем росчерке по этой голубизне напоминают о Пушкине, о его необыкновенно полетном гусином пере, выражавшем на бумаге такие же воздушные, золотые сочетания слов. А за голову Архипыча, туда — за Высокое — тянется огромное, в полнеба, павлинье перо — рябоватое, синевато-малиновое, темнеющее по мере приближения к Высокому, откуда и заходят грозы, как бы притягиваясь к его зеленой тоске. И чуть в стороне плывет почти черная острокрылая стерлядь... «А ведь сегодня 27 июля, — подумалось Геннадию Архипычу. — День, когда какой-то негодяй убил на дуэли Лермонтова... Зачем отец назвал меня так — Геннадий? По-гречески «гений», кажется, «боговдохновенный», «энтузиаст»? Люди не любят живых энтузиастов. Какой-то разрыв у меня между именем и практической жизнью...»

Ночью он просыпается в холодном поту. Только что его накрыло то самое павлинье перо — рябоватое, си-

невато-малиновое, кладущее тень на все высокое, перехватившее горло. Он встает, проходит через хату, с прибулькиваньем пьет тепловатую воду из деревянного корца старинной, еще дедовской выделки, приседает на крыльце. На лавку с краю, на привычное местушко. Сколько сиживалось здесь после смерти отца, после трудов праведных на родной усадьбе! Бывало, он опускал набрякшие руки, и, свесясь, они тянулись куда-то вниз к земле, а с кончиков пальцев туда, к отцу, сбегала древняя усталость. И все равно хорошо. Луна уже серебриста, все в странном сне, зачарованно както. Прошлепал сюда, к крыльцу, от калитки ежик, пофыркал на него, посопел, подергал носом: «Свой», — и пошлепал далее к подвалу.

«Тогда в детстве меня звали Ежиком, — зевая, провожает взглядом его Геннадий Архипыч и потягивается. — Волосы у меня стояли торчком. Всегда и во всем я шел поперек».

И тут его что-то обеспокоило. Что же? А сад почти вымер, тьма кромешная. Вековые липы и дубовый лес прямо за садиком давят на него, на существующее в нем ощущение свободы. И тут, между яблонь, он увидел звезду. Такая странная, невероятная. Как глаз алмазный, взгляд живой, узнаваемый чей-то. Холодком протягивает между лопатками. Геннадий Архипыч ежится, легче вживаться в облик невероятной Звезды. А она мелко дрожит неверным фосфорическим блеском, сине-зеленым, холодным, идет сюда от чего-то малиново-золотистого, теплого и вся без остатка входит в него, и сердце уже бьется гулко, в такт ему, рождая новые чувства, предчувствия, предначертания...

«Так вот зачем ночью, перед рассветом, выходил наружу отец, и мать ворчала вслед: «Гляди, не свихнись». Вот на что смотрел, бывало, отец!...» Черная стерлядь плыла по синему океану. В потоке жизни мы считаем четыре их — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. И меряем вниз, в глуби-

ну, всю эту землю. А океан, что над нами, он один, но перевернут в нас, он бездонен. И если тело уходит, то души-то куда делись? «Я знаю, — ослепляет Архипыча. — Это он смотрит на меня с этой звезды. Это отец мой, отец!» Где-то звенят цикады — кузнечики, сквозь их монотонность к нему подбирается отдаленный звук церковного колокола. Что это, где это? Неужели какой-нибудь странный монах решился таким способом на спасение души ссыльного поручика Тенгинского полка Лермонтова? Или это звенят в лесной траве по всем живущим и страждущим синие колокольчики?.. И тут ему начинает казаться, что Звезда мигает — подмигивает как-то странно, ему одному в целом мире, ему лишь, как когда-то и Архипу — его отцу. И он увидел, как яблони в саду каждой весной, каждым листом тянутся не просто в Небо, к Солнцу — это днем, а ночью — именно к ней, к этой невероятной, странноприимной Звезде. Они тянутся к Ней, он это видит, наклоняются — сплетаются — вытягиваются, и он ничего не может поделать. Он точно знает теперь, что именно там, на этой Звезде, из-за которой приходит рассвет, — душа отца ёго и именно там живет Красота. И это вокруг нее — Звезды без имени, отчей Звезды, а совсем не вокруг Полярной звезды, крайней в ковше Большой Медведицы, и вращается все это огромное, непостижимое, с мириадами звезд: Земля наша, Солнечная система, вся наша Галактика со всеми нашими писаными и неписаными законами, все эти страны и государства, и города и деревни и, конечно же, его производственное управление, где он числится агрономом.

Во тьме кромешной он видит весь сад свой — до каждой яблони, каждое яблочко, с семечками насквозь, резной очерк листочка. Вот как изощряется зрение перед рассветом...

— Сын! — кричит он, входя в надышанную, теплую хату. — Глядь поди, как сияет Звезда! В городе она не сияет, лишь здесь!

— Хватит, отец, чудить, — переворачивается сын на другой бок.

«Молодой еще, — думает Геннадий Архипыч, — видеть такие звезды».

И через окно взглядывает ввысь еще раз, любуется ею. И скорее ощущает каким-то невероятным внутренним зрением, чем видит, как на тоненькой, просто на невидимой паутинке серебрится сухой лист — крутится, вертится шар голубой, — дыханье рассвета, отблеск отчей, дивной, странноприимной Звезды.

РАЗУЙ ГЛАЗА

(Лесная быль)

— Не такие уж плохие мы люди, сынок, если лес нас так благодарит.

Из разговора

Написал очередной рассказ (кажется, «Под березой») и зову сына — почитать хочу. А жена, не смея оторваться от кухни, кричит в отчаянье:

— О Господи! Рассказы свои ты пишешь быстрее, чем я суп варю!

— А ты, — говорю, — как Фефелов Василий Иванович в те времена. Вы, говорит, писатели, за сорок минут выступления восемнадцать рублей берете!

— Ну и что, — отвечает Катанов — бывший тогда ответственным секретарем организации, — да писатель к этим минутам шел всю свою жизнь...

И все равно жена игнорирует меня, несмотря на применение даже такой «тяжелой артиллерии», как ссылка на Василия Ивановича. Тогда я собираюсь и ухожу в лес по грибы. Вспоминается последний поход — дня три тому или, может, четыре. Вот когда было найдено средство, чтобы без грибов не остаться. Значит,

так: приветствуй лес перед входом, благодари перед выходом — и ты обеспечен дарами.

Как и в тот раз, перед опушкой я преклоняю колено, говорю торжественно, задевая струну в себе:

— О лес, как рад я снова видеть тебя! Прошу твоей благосклонности: за праздничным столом не обнеси меня вместе с чаркой и лучшей из закусей — грибками твоими. Не обойди, о лес, меня чарами, своим волшебством!..

А далее иду уже, как по молитве оптинских старцев: «Дай мне силы прожить день нынешний, не злобствуя, никому не завидуя, с верой в завтрашний день...»

И вижу, заиграло, засветилось все во мне, как обостряется, видите, лучшее, скрытое прежде, улавливается внутренний смысл... И вот, едва в лес ногой ступлю, как тут же и грибки-грибочки, мои дорогие, первым попадается «боровик». Всем грибам — полковник! А за «полковником» — «майор», «капитан»... И жадно как-то их в сумку начинаю совать да ногой за сучок зацепился — ну и возьми да и ругнись сгоряча-то. Не успело эхо докатиться до речки, как тут же грибы как обрезало. Стало мне не по себе, оглядываюсь — неужто кто слышал меня? Кто еще тут есть, кроме меня? Вспоминаются деревянные, языческие божки. Когда-то у предков тут было урочище. Вижу сосну многовековую. Дуб Тургенева — «Родине поклонитесь»... Слышу Некрасова:

«Плакала Саша, как лес вырубали...
Старую сосну сперва нагибали,
После арканом ее нагибали
И, поваливши, плясали на ней,
Чтобы к земле прилегла поплотней».

Белая магия, гляжу, возвращается, внутри все на место становится, обретает утерянное... И грибы белые опять хлынули, так по дорожке и побежали. И кидаюсь я за ними, хвать за сумку, хвать да в сумку. Бегу не помню куда, запалился, глаза заливает потом от жад-

ности. Что ли, белый свет перемкнулся? Бугры передо мной на дороге явились какие-то, я туда-сюда по ним за грибами — снизу вверх, сверху вниз. А духотища — рубаху хоть выжимай. И сумерки уже, темнота надвинулась — в осинник попал, валежник трещит под ногой, даже крупные стволы, как спички, крест-накрест лежат, повалены. И сыростью, запахом тлена шибает из глухого оврага — волчье логово, ведьмино место. Черная магия — глаз из папоротника багровеет со дна оврага. Господи, быть бы живу, какие уж тут грибы! Останавливаю я бег свой неукротимый, окорачиваю себя, да глядь на небо, а оно за макушками осин такое ясное, синее, даже звезды видны, как со дна колодца, и днем-деньским переблескивают. И сходит дикость с меня, успокаиваюсь — и жадность тут же и улеглась. Поблагодарил я ближайшую березку, даже за ствол потрогал: «Выручай». Сделал еще два-три шага, и опять травка пошла сквозить и зеленеть, и вот он снова грибоборовик... Огляделся я, как-то не по себе стало: кто у меня за спиной? С ушами, глазами — в самом деле, неужели видит и слышит? «Ну хватит, — думаю, — на сегодня грибов-то. Пусть на завтра и другим что-либо достанется». И только я принял такое решение, как, нате вам, вижу — мелькнул Старичок в синеве орешника, сконцентрировался в темноту под веткой, гляжу под ветку — опять боровичок!

А лес шумит, река играет, зеленый шум вперемежку с грибами со словами рязанскими: «Разуй глаза! Разуй глаза! Раз-у-у-уй!»... Это тайна лесная, ключ к грибам на сегодня и завтра, на все времена — это мне слово такое волшебное из-под орешника дадено от Старичка, ушедшего в землю, в грибницу.

Постоял я, отдышался, одумался и вернуло меня к сосне, к Матери Облога, на знакомое место. Это, значит, я кругами хожу, как заяц, которого всегда забирает влево — правая пара ног у него посильнее. Присел я под Матерью, достал хлебца, лучку с огурцом,

посолил покруче, глянул: кочка муравьиная, муравьи ссорятся из-за какого-то пустяка. Положил я хлебца им, надо же с миром животным делиться. Проследил по дорожке, куда бегут они и зачем, и тут же — природа все чует... Слово еще не сказал, а уже реагирует. Если плохое слово — шиш тебе, а за хорошее — дар...

И, уже домой возвращаясь, шел я по узкой стежке да о кочку муравьиную зацепился. То были рыжие, а эти черные муравьи.

— Да где же хлеба-то я на всех вас напасусь? — Вот так сказал я в сердцах — тут же хрясь сучок под ногой, втянуло в плечи, скрючило всего меня да так и держало, пока домой не пришел. А дома жена все еще суп варит. Газ у нее, что ли, кончается, огонек едва цедится. С утра никак не сварит этот свой суп пресловутый, с гречкой, которой я не люблю.

— А я-то уж, — говорю, — за другой рассказ собираюсь садиться. И за грибами вот сбегал.

— С таким баллоном хоть за роман садись, — сварливо отвечает она мне с кухни. — Скоро на костре варить будем...

Опять эта сцена домашняя. А из лесу, далеко-далеко, слышится, так и стоит в ушах это лесное, сегодняшнее — тайна, открытая ясно мне одному специально: «Разуй глаза! Разуй глаза! Разуй... разуй... разуй...»

БОЛЬШОЙ ЗАЛОМНЫЙ ДЕНЬ

Жара держалась уже с неделю. Софья Аркадьевна была сердечница, и у нее поднялось давление. А все равно надо в город — в университет, на экзамены. В этом году ее включили в состав приемной комиссии, и лето летело кувырком. Из города в деревню, из деревни в город и обратно в деревню, где у них домишко в собственном владении. Вот и сегодня «окно» в расписании заканчивалось, завтра ей уже быть в аудитории,

терзать абитуриентов и терзаться самой, отчего она не в деревне, где остались без попечительства двое ее мужчин — муж и сын.

До Богдановского «свертка» было километра три, и все полем, по самому пеклу.

— Пойду к Пуховым, — сказала она супругу. — Зять в Москву собирается, может, подвезут до остановки. Попутно же, чего им стоит?

— Стоит, — твердо посмотрел на нее Никита Степанович. — Или я в этом деле ничего не понимаю.

Так оно и вышло. Зятю, оказывается, надо ехать позже и другой дорогой. Но тут же зять собрался и укатил на своем «мерседесе».

— Да-а, — выразительно посмотрела на мужа Софья Аркадьевна. — А вот друг берет тебя до самой Москвы.

— За компанию, для своей безопасности, — хмыкнул ихний сынуля — долговязый отпрыск, тоже гуманитарий.

— А ты помолчи, — осадил его Никита Степанович — глава почтенного семейного триумвирата и успокоил супругу: — Не волнуйся, доставим в лучшем виде.

И повел Софью Аркадьевну другой, более тенистой дорогой — через лесополосы. В первой же посадке им улыбнулось грибное счастье: на пути перед Софьей Аркадьевной выросли сразу четыре белых. Причем сначала Софья Аркадьевна их не заметила, а заметил Никита Степанович, всегда нацеленный на грибы.

— Вот-вот! Это сигнал — появились! — засиял он в неописуемой радости. — А если бы на машине, разве бы мы об этом узнали?

— Нет, конечно, не узнали бы, — неуклюже засуетился их сын — Долговязый Джо, который был вообще-то Олегом, Джо они звали его неизвестно почему, просто так.

На остановке Софья Аркадьевна достала из сумки маленькую такую, небьющуюся бутылочку со стакан

содержимого, которую она брала обычно с собой в университет, поплескала лицо водичкой. «Разжарилась как, — пожалел жену Никита Степаныч. — А ведь ехать еще в душном сельском автобусе». И представилось Никите Степановичу, как завтра же ей придется сидеть там в городе, в учебных казематах, в то время как они тут с сыном будут на воле, вольные казаки...

Сжало сердце и у Долговязового Джо, когда они расставались с матерью. И, чтобы как-то развеяться, он сказал:

— А давай-ка, отец, пробежимся по перелескам. Может, еще что-либо надыбаем?

— Чего... надыбаем?

— Ну, грибочков, грибков.

Обследовали перелески — один, другой, третий — пусто. Только в луже следы от машины: проверено — мин нет. И тут, после третьей посадки, с краю Арендового леса, они увидели как-то странно надломленную ветку. Из любопытства заглянули под ветку: зерно! Ого, целый ворох! С машину, а то и с тракторную тележку. И тогда слышен стал отдельный рокот комбайнов. Оказывается, косовица хлебов началась.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся отец. — Так вот почему на комбайнах, как и на «мерседесах», любят езду в одиночку.

— А ты, отец, любишь компанию, — перебил его Джо, — даже когда идешь в лес по грибы!

— Я люблю не компанию, — рассмеялся отец, — а саму кампанию, понял?

От греха подальше — от надвигающегося рокота моторов они тут же ринулись в лес. И натиск грибов был неукротим! То масленки, то боровики им встречались — то семьями, то бежали грибы по дорожке, один за другим.

— Эти грибы — хитрющий народ, — объяснял Долговязому Джо отец, работавший в школе когда-то учителем ботаники. — Они, как и люди, любят и свет, и

тень... Переходная форма с признаками растительного и животного мира. Понимают язык человеческий. Вишь, из любопытства выбежали на дорожку, чтобы послушать, что мы о них говорим...

— У нас в Рязани грибы с глазами, — высказался сынуля. — Их едят, а они глядят.

— Снимай рубаху! — весело сказал отец. — А то в целлофан уже некуда класть.

Возле поселка их встретила Калерия Федоровна — «мерседесова» теща.

— Ого! — увидала она грибы. — И где взяли?

— В магазине, — ответил Джо.

Пришли домой, вывалили все принесенное в ванну: какие красавцы! И такое чувство их обуяло: а давай-ка еще пробежимся по тому лесочку, какой Калерия обожает, только туда и ходит. Шли в тот лесок, именуемый Осинками, только что скошенным полем, и вспомнилось Никите Степанычу, как лет пять назад где-то тут поблизости, в «блюдце», попалось ему то же самое, что и сегодня в конце посадки. А Калерия в те денечки все ходила к ним на крылечко, все допытывалась, намекала, напрямую валила на соседского Жорика, дескать, он покупает зерно у комбайнеров — весь мехотряд совратил...

— Мы жадные с тобой, Джо, — остановился Никита Степанович. — Сами набрали и не сказали Калерии.

— Калерии? — фыркнул Джо.

— Помнишь? Коля-сосед наш, царство ему небе́сное, вскочит, бывало, чуть свет, к завтраку все перелески обегает. Несет грибы и кричит издали: «Степаныч! В Орешнике опята появились, лисички — в Осинках, белые — в Крупняке...» Нет человека, а мы ведь, Джо, помним его?

— Хорошее долго помнится, — сказал Долговязый Джо. — Это плохое, отец, забывается.

— Молодец, — засмеялся Никита Степаныч.

Прошли лесом еще чуток, и отец предложил:

— А давай-ка, сын, совершим ритуал?

На опушке, где начинались березки, они остановились, встали сначала на одно колено, потом на оба, поклонились до земли, стукнув лбами о пенечек, да и сказали торжественно:

— Здравствуй, лес! Мы пришли к тебе не из жадности, нет! А почтить тебя за щедрость твою и величие. За то, что ты всегда бескорыстен. Не даешь людям пасть, сберегаешь нас, очищаешь, сохраняешь душу нам человеческую. Спасибо тебе, о лес!

И только ступили они на опушку, как первые же березки подарили им десять боровиков в одной кучке — во, богатыри, со звоном, как только щелкнешь по ножке!

Большой заломный день кончился, — решили они. И так жаль стало вдруг им обоим — отцу и сыну, что красотищи такой, такого чуда природы не видит мама. И когда, возвращаясь, они проходили поселком, оба вдруг, как вкопанные, остановились возле Калерии.

— Гляди, отец! — толкнул сын отца Никиту Степаныча. — Туда гляди — возле погребицы, видишь?

Дверь на погребицу была приоткрыта. За погребицей лежал ворох зерна. «Ого, с машину, небось, — подумал Никита Степаныч, — а то и с тракторную тележку. Вряд ли такое припрешь в одиночку».

ЧЕЛОВЕК, ВЫРОСШИЙ ИЗ ЛЕСА

Соседний домишко всегда был самым населенным в Рябинках, а тут как-то неожиданно запустел. Погиб в автокатастрофе Митя, на котором держались, оказывается, сразу две семьи — его и сестры Тони. Теперь молодежь соседская редко ездит в Рябинки. Кудрявцев Алексей Кузьмич живет тут частенько один, без соседей, в полном одиночестве. А поселок-то на отшибе — столыпинский «отруб», лепится к краю лесного оврага. Внизу, по одноименному лугу речуш-

ка Алешня, вся в ракитах, за речушкой — опять же лес...

Жутковато было, как только купил домишко, но красиво ведь, черт побери! За годы Алексей Кузьмич привык ко всему. Однако первые ощущения дают знать о себе по сей день... Выйдя на пенсию, Кудрявцев каждое лето стал заживаться в поселке. Вот и сейчас ноябрь на носу, а он все тут. Сад облетел, оголился. В ранних сумерках, сквозясь, начинает отсвечивать электрический фонарь. Это напротив, за речкой, ферма; какое-никакое ощущение человеческой жизни. Бывало, с утра пораньше стук-постук в дверь. Это стучала палкой заброшенная всеми людьми и богами соседская бабка Ариша. Это ее голос по сю пору стоит в ушах, скатываясь по долине, ходит переливами эха, стихает где-то внизу: «Алеша-а-а!.. Живо-о-ой?» — «Живой, — отворяет он дверь ей, — чего мне?»

Часами, опираясь на полку, стоит бабка — черная, полуживая от старости, как истукан, углядывая, куда бы это курица ее, в какие-такие крапивы, яичко снесенное определила? А оттуда уже, с той стороны, из леса за речкой, возвращался, бывало, волчий вой: «Уа-а-а! У-у-у-ы-ы-ы!»

А теперь на соседнем Аришкином подворье из-за крапивных зарослей уже никого, духа нет человеческого. И тем неожиданнее кто-то из-за зарослей — чужой человек! Кто это? Все в Алексее Кузьмиче обостряется: необычно что-то в облике незнакомца. В лице нечто странное, оно сплющено, вороватость в движениях. Алексей Кузьмич видал таких по электричкам да по автовокзалам, по скверам на лавках да по базарам.

— Закурить найдется? — скрипучим, ссаженным голосом говорит незнакомец.

И уходит, дымя, озираясь по-волчьи, всем телом — обреченность какая-то, смерть. Глядя вслед, Кудрявцеву вдруг подумалось, что староверы, дав попить, затем выбрасывают кружку, и засунул «приму» поглубже в карман. Вот уж какую ночку встанет он глубокой

ночью во двор выйти, а у соседей окно горит сюда к нему, вроде как в сенях, в конце где-то включено электричество. А днем подворье, как всегда, неживое. Если горит в сенях, значит, кто-то живет? А почему днем тогда не слыхать, не видать никого? С утра еще пораньше уходят на автобус? И так отсвет там, у соседей, каждую ночь...

Как бы чувствуя на себе взгляд в буреломах крапивы, забурчав что-то, мужик скрывается с глаз долой.

— Чей будешь-то? — пытается что-то сказать ему Алексей Кузьмич в спину, вдогонку ему.

— Картошку сажать позва-ли-и-и-и, — слышится в ответ. — А самих хозяев почему-то не-е-е...

Голос растворяется в шуме листвы. А смутные ощущения остаются, как и толчки в ушах, вот и все.

Встреча эта целый день не выходит у Кудрявцева из головы. К вечеру Алексей Кузьмич решает прогуляться вдоль леса, по любимой стежке, проложенной Сотниковым Иваном, который живет постоянно на другом крае Рябинок и у которого Алексей Кузьмич берет молоко. В руках Кудрявцева — «глагол» его знаменитый, палка-костыль, изогнутый таким причудливым образом, что напоминает одноименную заглавную букву в старинных летописях.

Слегка горбясь, Алексей Кузьмич прогуливается, будто бы в городском парке по центральной аллее, кося машинально одним глазом — чуть в сторону — нет ли грибочка? И тут перед ним опять возникает тот человек! Ну да, тот самый — утрешний! Вздрогнув, Кудрявцев стоит и вертит «глаголом» своим, не зная, что предпринять. Незнакомец тоже стоит без движения, давая себя разглядеть.

«На лице «печать смерти», — проносится в Алексее Кузьмиче. — Не жилец человек». — И Алексей Кузьмич пугается собственных мыслей.

— Чей будешь-то? — не своим голосом как-то взвизгивает Кудрявцев.

Незнакомец молчит. Последним, шестым каким-то чувством своим Алексей Кузьмич ощущает, что тот вроде уже не существует, а если и существует, то вырос словно бы не из общества, а скорее из этого леса, как гриб, как это вот дерево, только сразу вырос, в мгновение ока, собран воедино, как бы из запасных частей, из всего здесь реально существующего в отдельности: руки и ноги — из ветвей, голова — это поддубешник невероятных размеров, волосы — из луговой овсяницы, а глаза — из туманов...

— Тутошний я, — скрипит рядом осина — ведьмино дерево. — Корневое место наше — где построился Сотников...

И нет человека, скрылся, как и не бывало. Только дерево скрипит в спину. Играя «глоголом», Кудрявцев следует далее проложенной стежкой. И когда он оглядывается резко этак, на стежке, за спиной, нет, опять-таки никто не появился! Человек как бы распался на запасные части: руки-ноги перешли в ветви низко склоненного дубняка, голова — в поддубешники под осинкой, которых Алексей Кузьмич никогда не берет, боясь спутать с сатанинским грибом. А волосы стали снова травой, глаза стекли к речке, превратились в туманы... Кудрявцев даже тряхнул башкой своей для достоверности — нет, действительно, человек исчез, растворился, как миф.

«Прячется от кого-то, боится , — срабатывает в Алексее Кузьмиче. — Все мы чего-то боимся, кто-то у нас за спиной». И тут же все это заслоняется вчерашним сообщением по радио о том, что в Америке одной певице вставили искусственную грудь. А до этого ей же (или скорее всего другим уже) вставляли искусственное сердце, печень... «За деньги вставят тебе чего захочешь, — встревожась, думает Алексей Кузьмич. — Скоро богатые будут жить бесконечно... Однажды Шаляпин проигрался в пух и прах. И продал свое золотое горло, после смерти корифея оно хранится где-то в банке

в Париже... а сердце Шопена — в костеле Швента Кшиста, в Варшаве...»

Через день Сотников Иван рассказал Кудрявцеву, что в полях видели не то самого человека, не то его тень, убегающую от людей. А к вечеру появляется соседка Кудрявцева Маша — бывшая Митина жена. Теперь она проживает с новым мужем на центральной усадьбе. Кудрявцев рассказывает ей про отсветы по ночам в доме там у них, в сенях. На другое утро Маша опять же подходит к Кудрявцеву и говорит резко, вроде как даже запнулась от волнения:

— В городе-то яму копают.

— Кому?

— А мужику, который тут у нас жил. Сорок ведерок картошки, подлец, стащил за бутылку, масло подсолнечное сожрал.

— Жалко, — вздыхает Алексей Кузьмич с облегчением.

— Кого? Бомжа-то?

— Человек ведь.

Кудрявцев молчит, слушая шумы соседних осин.

— Жалко, — вздыхает Маша.

Алексей Кузьмич вспоминает неясный отсвет в хатенке соседской под утро каждую ночь, когда выходил он наружу. «Уж не тайно ли встречалась с ним, как с полюбовником? — думает он, глядя на Машу. — Вдали от шума городского... Идет охота на людей, идет охота!»

«Синий лось к земле родовой припадал, а все равно... настигли...»

Ночь дала Кудрявцеву новое течение мыслям, он прошел и провел эксперимент. Оказывается, свет в соседнем окне не горел вовсе, когда, выходя во двор, он не включал у себя настольную лампу. Это когда включал — отсвечивало, горело в стекле... А может, мужика-то и вовсе не было? И никто не рыл ямы? Осина ему нашуршала про это?..

Утром, едва начало брезжить, он решился все же заглянуть к соседям. Далеко на том краю Рябинок кричал петух. «Надо бы съездить в город, а то тут совсем одичаешь, — подумалось ему. — Вот такой же дикой, заросшей, пустынной будет вскоре эта земля».

Кудрявцев движется стежкой через лопухи и крапиву — стена, зеленоватая пыль в горле. Каменюка ноздреватая вместо порога. А дверь в сенцы — настежь. И двое лежат на постели крест-накрест. В голове потрескивает приемник «Спидола». Кудрявцев узнает в мужике Николая — первого мужа Маши, и холодеет у него где-то «под ложечкой» — баба ему не знакома. Как же так? Его же похоронили. А может, это похоронили второго — не первого, а этот живет? «Жалко», — стучит в виски ему Машин голос.

«Жалко-жалко» — собственный голос переходит в шорох листьев и скрипы осин. «Алеша-а-а», — звучит в этом шорохе знакомый голос бабы Ариши.

МАГНЕТИЗМ БЕЛОГО

Все могут короли...
Не могут лишь жениться по любви.

Из песни

— Гляди у меня за капустой! — дала она указание мужу своему — Никодимычу, отбывая в отпуск к сестре своей на Урал. — Особенно за цветной...

Капуста — фаворитка Клавдии, единственное, что Клавдия Прохоровна сама пропалывает и поливает. А все остальное — забота Степана Никодимыча, его «головная боль». Владения Гапоненковых простираются на целые шесть соток. Их «дворец» — это будка собачья, ящик из досок, куда они клали сначала лопаты, тяпки, а теперь втиснули и железную койку. Будка эта — копия Таврического дворца в Питере. Сам Нико-

димыч когда-то его сконструировал, сам исполнил, сам и остается тут на ночевку «царем».

А ночевать надо. Ибо овощи начали созревать и, естественно, их начали воровать. А то приедешь в другой раз, а вместо картофельных грядок одна пустыня Сахара, а вместо огурцов — вальс «оборванные струны», то есть пустые огуречные плети. А вместо «дворца» Таврического — горелые головешки.

Степан Никодимыч Гапоненков туда-сюда мотается, как челнок; с июня — на ночевку сюда окончательно, на свой дачный массив, в «царские» свои владения, а утром опять на работу.

Урожай жалко. Гапоненков чего с картошкой только не вытворял: и тяпал, и жуков обирал, совещания только не проводил — этого добра у него и в городе навалом. Про картошку совещания, про всякие овощи на участках, которые по чем зря воруют на дачах. Правда, мы от этого не обеднеем, но здорово все-таки по карману бьет. Иные дают объявления о продаже участка, а потом и вовсе молча бросают всю эту «трехамудию». Однако Никодимыч — однолюб. Его участок, как жена у него — без любовницы, одна-единственная, так и «хата-дворец» его потом и кровью политы.

Взял и привез Никодимыч навозцу машиненку-другую, разбросал по всем своим «соткам». Это тебе не на митинги ходить, это — труд. Новые власти участки-то поощряют, они, дескать, отвлекают от красного цвета, на который даже быки реагируют на корриде в Испании, а не то что Клавдия Прохоровна. В отличие от нее Никодимыч обладает высоким чувством социальной справедливости. Для него, «царя» огородного, все равны: огурцы, помидоры, петрушка, чеснок. Правда, лук — его слабость, тут уж никуда не денешься. Еще римские легионеры носили в ранце если не жезл маршала, то кладезь, клад-поклажу — лук головками, средство «от ста болезней». С ним римские легионеры весь ведомый мир покорили. Перед растениями Никодимыч,

как Дерсу Узала: для него все они — люди. Он дарует им жизнь, защищает права, к нему тянутся всяческие нити, огуречные, тыквенные плети, фасольные хитросплетения. Не может же он полить, например, помидоры, а петрушке сказать «погоди». В социальной иерархии он пешка, конечно, у себя на работе, но не ничтожество. А тут у него свое государство, свой парламент и избиратели, он «монарх», но ограниченный конституцией, знает, что такое право живущих на его «сотках».

Еще издали Никодимыч видит, что с капустой творится что-то неладное. Особенно с цветной, капуста китайская какая-то, из Пекина. В нынешнем году посадили ее семенами, прямо в грунт. Взошла она поздно. Никодимыч говорит жене: «Толку-то от нее, давай вырвем». — «Ничего, будет поздняя!» Так в чем же сомнения, что за вопрос? Наблюдает Степан Никодимыч за «фавориткой». С одного края, от моркови, капуста эта вся желтая, за ночь пожелтела. Еще вчера была такая веселенькая, такая зеленая, а сегодня — ну как пергамент или в Таити парламент после летних каникул.

А по капусте, по «фаворитке»-то, уже черные точки прыгают, суетятся. Это — «блошки», вредители такие. «Что же теперь от жены-то будет?» — сжимается Степан Никодимыч и начинает склоняться к применению химии. А пока, дело срочное, принимается механически отряхивать листья руками.

Ну и жара, бог мой! На юге где-то у почвы, передают по радио, плюс 60. Дотронешься до металла — ожог. Мечется Никодимыч от «таврического» своего до «фаворитки». Отряхнет «блошек» — нырь опять во «дворец», а в нем — духотища, дышать нечем. Повалится на койке, забудется в летаргическом сне. И в жару кошмары ему, одно и то же видится: опять революция! Огуречные толпы с длинными зелеными плетями на груди крест-накрест — вроде как пулеметные ленты. Красная морковка — раскаленные стволы пулемета

«максим». Тыква — дот, чеснок — анекдот, спелым горохом в рот... Очнется Никодимыч — до чего дожили, надо же — до стихотворчества! Крайнее дело, кинется к «фаворитке», а там не то что на цветение — на элементарное поддержание жизни рассчитывать не приходится. Плюнул бы он на всю эту процедуру, да плюнуть нечем — во рту пересохло. Ни капли ни в кране, ни в бочке, прудок-ставок далеко. А как Клавдию свою вспомнит, так не то что огуречная революция, — капустный атомный реактор, ядерный взрыв примерещится. По количеству мегатонн, наверное, равный тем взрывам, которые совершили недавно Индия и Пакистан и последствия которых до сих пор тянутся к нам сюда по атмосфере... Альфа-бета, битте-гамма, масса больше килограмма...

Спасибо вечер. Наконец-то Степан Никодимыч напяливает на голову темноватую уже, бывшую белую, этакую пенсионерскую фуражечку — и в бой! И давай обивать руками листья капустные. Но тут уж коварство природы. Блошки-то сами еще в тот раз попадали наземь и изжарились, как на магме. Зато из-под листьев, потревоженных Никодимычем, ринулось ввысь комарье — туча-тучей. Да на него, да в лицо, в рот, в глаза, — ужас какой-то! Никодимыч даже растерялся, закричал, замотал руками. На крик прибежал сосед.

— Чего тебя, — говорит Никодимычу, — черти-то дерут? Совсем, — говорит, — тут один одичал?

А как увидел шапку пенсионерскую на Никодимыче (а та аж посерела, скипелась, вся от комарья шевелится), сдергивает он с Никодимыча шапку эту и отбрасывает ее в сторону. И видит, как в воздухе барражирует что-то и тут же пикирует на белое — на эту его фуражку. И вот уже на фуражке шевелится биомасса, и он огребает ее да в ведро, да дустику туда, дустику.

— Вот и вся процедура, — смеется сосед наблюдая.

И с Никодимыча как сто пудов с плеч. И совсем уже не до «фаворитки» ему, своя шкура-то ближе. Вспом-

нилось, как был он однажды под Питером в доме отдыха — в Комарове. Уверяли, что название-то не от комаров — от академика, вице-президента. От академика! А у самих все стены по комнатам кровью отдыхающих обагрены, как били они журналами да газетами. Писал он письмо домой, — листок упал на пол, так они, кровососы этакие, в полпальца величиной, на листок этот один за другим пикировали, стервятники! Оставалось только свернуть этот листок да и выкинуть. Вот тебе и кнут и пряник, если по-древнеримски... «Ма-а-ленькая тварь, всего день, говорят, и живет, а какую интеллектуальность имеет!»... Вот до чего додумался Степан Никодимыч в этом своим «Таврическом дворце» после снов своих про революцию...

И вот возвращается Никодимыч в город домой, а жена, известное дело, вопросик ему:

— Ну и как там моя капустка?

— Открытие сделал! — заявляет Гапоненков. — Флаг на Таврическом буду теперь вывешивать: дача, дескать, деполитизирована. И в Госдуму внесу предложение: вывесить белые флаги по самой границе, чтобы на белое садились и границу нашу, сволочи, не пересекали...

— Как капуста, спрашиваю! — стоит на своем Прохоровна.

— А чего ей? Желтая, из Пекина, — пожимает плечами Никодимыч.

— Воду надо носить, капусту отливать! — сдвигает брови Клавдия Прохоровна. — А не демагогией заниматься.

— В следующее лето сама фаворитку свою сажай, — заявляет Степан Никодимыч, — а не сиди в квартире под вентилятором.

— Мир хижинам — война дворцам! — укорила его супруга, она была чистым философом, с университетским дипломом. И при удобном случае не прочь была напомнить об этом.

— Ну да! — усмехнулся философски Никодимыч. — Магнетизм белого, аккумулятор энергии.

Он был тоже философом, но доморощенным, не подвергнутым внешнему влиянию.

* * *

А на другое лето Никодимыч умер. И некому было уж «царствовать» в собачьей будке его Таврического дворца. Абсолютной свободы белого жаждала его магнетическая душа; Прохоровна, хоть и временно, сменила этот белый на черный. Анархия — мать порядка? Нет, там, куда ушел навсегда истый «монарх» от своей «фаворитки», вечно только порядок, мир — хижинам, война —дворцам.

«ЧУДО ПРИРОДЫ»

Эта картофелина как-то сама собой выкопалась. Чудо природы! Если притрепнуть маленько, то с тыкву, наверно. А если в самый раз — с детскую голову. Степан Глухарев только что извлек ее из земли и держал еще на обеих руках, когда с соседнего огорода, сквозь бузину, полыхнули глазищи. Сосед Воронок прямо-таки остолбенел:

— Это у тебя такая картошка?!

— Да-а, — инстинктивно прикрыл находку свою Степан, но тут же отчаянно тряхнул рыжей башкой: — А у меня она вся такая-то!

Воронок тут же метнулся к себе туда, к своим бабам. На соседнем дворе загалдели, загремели собачьей цепью. Держа на отлет руку с «чудом природы», Глухарев двинулся в хату. Вчера он отпросился в цехе на «святое дело» — помочь матери копать в деревне картошку. И вот результат! Мать как глянула на картофелину, да так и присела:

— Господь послал!

— Когда сажала, золы, небось, подсыпала, — заметил Степан. — А может, с того, что сарай тут был, корова стояла.

— Господь посылает, — причитала старуха. — Господь нас не забывает.

Весть о «чуде природы», найденном у Глухаревых, облетела поселок, нанесенный на карту области под названием Тихий Сад. Для обозрения Степан даже выставил во дворе лавку и положил находку на лавку. И все тихосадовцы находили предлог, зачем бы это шмыгануть к Глухаревым, чтобы лично лицезреть это «чудо», как какой-нибудь золотой самородок на южноафриканском прииске. Сроду ничего хорошего не бывало у Глухаревых — нищебродов этих, кроме, конечно, детей, которые испокон тут рождались в изрядном количестве и отбывали в города. И где-то там пристраивались или пропадали.

Степан возле лавки стоймя стоял, как опричник Ивана Грозного — не хватает лишь фузеи, и глупо улыбался, объясняя любопытствующим, как это он нашел «чудо природы» и что это только начало, первая грядка. А в запасе у него такой «секретец», что ахнешь, и на тот год будет у них еще похлеще картошка. Вот когда опузатимся, братцы!.. Глухариха на это только молчала. Так с воркотней своей и ушла с глаз долой куда-то во двор. А на другое утро вода из крана Глухаревых не потекла. Старая Глухариха тут же направила Степу к соседям, от Воронковых к ним сюда шла к колонке труба. Оказалось, трубу чем-то забило. И Колька Воронок, оскалив зубы на поставленный Степаном вопрос, ответил, что это тоже такое «чудо природы», когда «текет», а когда не «текет».

— Ты бы поменьше трепался про «чудо»-то, — ворчала на своего балбеса Глухариха. — Не вишь, зеленые все Вороновы-то, зависть дух перехватывает.

Зато соседи с другого боку — Домнины утром принесли Глухарям кубан молока. Снегу среди зимы сро-

ду, бывало, не выпросишь, а тут — молока принесли. Сама бабка Домна явилась с внучкой: богатеньким надо, мол, сплачиваться, сколачиваться. А как только вышла Домна со двора глухаревского, так на улице тут же встретила Воронкову сваху. Коршуном слетела сваха на Домну, но та ее запередила:

— Дуракам везет! Чертогон Глухарихин-то, что из земли-то выкатил?

— Ничего! Слава пойдет: вот, мол, какие картохи растут у нас тут, на поселке. Отбою не будет от покупателей, машины городские нагрянут...

— Эх ты! — вставилась, наконец, в ее речь Воронкова. — А еще из хорошей семьи! А, как курица, дальше своего носа не видишь. Да не урожаи городу надо показывать, а недород. Недород, мол, у нас. Поэтому и картошка в цене, ее мало... А этот балбес со своим «чудом» нам все искажает. Если такие урожаи будем охватывать, как же цену-то будем держать?..

Слушая баб, Степан перестал улыбаться, стоял возле лавки, задумчиво ковыряясь в носу. А потом взял и убрал свою лавку куда подалее. За обедом Степан спросил все же:

— Мать, а где же картошка?

— Какая?

— Ну та, что «чудо природы».

— А что ешь, по-твоему? — ответила старая Глухариха. — Вот «чудо» твое и едим.

Степан едва не поперхнулся — есть реликвию!

Вернулся Степан Глухарев с выходных на завод и все думал: рассказывать ему про «чудо» свое деревенское или не рассказывать? Вспомнилось, как когда-то он нашел на лугу преогромную пышку. Думал, камень — белый валун торчит из земли средь зеленой травы, а это гриб такой — пышка. Как перезреет — пыхает, дым столбом. Взял он тогда и ногой поддал — «камень» вдребезги, в разные стороны... Тогда мастер участка Колыванов выслушал, как съездилось, как дела,

да и говорит: «Что ж, Глухарев! Из молодых пышек блюда получаются такие, что пальчики оближешь!» И зауважал Степкину деревню, а заодно и самого Степку...

Так вот и на сей раз, думал Степан Глухарев: рассказать Колыванову, всем ребятам на всем участке про эту свою находку — картофелину, про «чудо природы», найденное в деревне на собственном огороде, или не рассказывать? Заявился в цех Глухарев, а ребята к нему:

— Ну и как там с картошкой?

— Косил, понимаешь траву, — начал Степан издалека, — и камень, понимаешь, брызнул из-под косы.

— Про это мы уже слыхали, — подошел со спины мастер Колыванов. — Что-нибудь новенькое давай.

А Степан Глухарев все стоял и думал: рассказывать им про «чудо» или не рассказывать? Так рассказать или не рассказать, а? Как вы думаете? Рассказал. Всей бригадой теперь собираются в деревню к Степану Глухарю картошку копать. Дуракам везет, от «дурацкого» счастья-то и другим что-либо перепадает... А я слышал тот рассказ — устный и записал. И получился этот рассказ — письменный. Пусть хоть в книжке-то Глухаревы про себя прочитают, если сами помалкивают.

КАК ПОБИЛИ СОБАЧКУ

Столыпин Петр Аркадьевич, бывший премьер царского правительства, поселился навечно под беломраморным саркофагом в Киево-Печорской лавре, у самой храмовой стены. А дух его витает тут, в «столыпинском отрубе» — семидворовом Прозоровском выселке из ближайшего одноименного села. Говорят, если бы Петр Аркадьевич не был застрелен студентом в Киевской опере прямо-таки на очах государя-императора и провел бы реформы свои до конца, весь двадцатый век Россию-матушку так бы не потрясало...

«Хрущев навыворот» — по-уличному, по-деревен-

ски так за глаза называют Сергея Никитича Войнова. Однако сам он об этом не подозревает. Все это закрыто для него туманной пеленой, ибо история его жизни — тюрьма, работа на заводе в горячем цеху, снова отсидка, когда уж тут книжки читать?

Вот и пенсия, наконец. А тут дочка устроилась экономистом в селе Прозорово и наделили ее огородом в Прозоровском поселке — бывшем столыпинском отрубе. «Хрущев навыворот» глянул на местную живопись природы, и что-то в душе его колыхнулось. Одно слово — Россия, Родина наша, страна великих возможностей... Сергей Никитич взял да и продал дачку под городом с его высоко стоящими вонючими трубами да и сотворил домишко себе на Прозоровском выселке с видом на лесистый склон, на речушку Прозоровку. И стал тут жить.

Первым делом «Хрущев навыворот» срубил себе баньку и завел, конечно, собаку. Как же тут без собачки-то жить в сельской местности, с кем еще и поговорить? Жена с дочкой изредка наезжают, да и то лишь летом. А осенью, как лесам отполыхать за речкой, волки начинают выть на том боку речки, изливаться в тоске. Тогда собачка дрожит всем телом, да и самому Войнову делается жутковато. Может, потому и назвал он собачку Нюськой, как жену у соседа. А может, и из-за личного удовлетворения.

И вот, хотя Нюська и на цепи, появился у нее рыжеватый щенок. Исхитрилась стерва. И чугунок варить уже не на четыре, а на два дня. Да и не просто картошки намять, а дух мясной придавай, заправляй варево хоть жиром овечьим, а хоть тушонкой позалетошней, из подвала. И вот заметил «Хрущев навыворот», как за банькой, на углу которой Нюська на своей вечной цепи, мелькнул кобель — хвост бубликом, рыжий такой, как замглавы районной администрации, тоже Прозоров. Сергей Никитич закричал на «Прозорова» да вслед еще и палкой шарахнул.

Не знаем, однако, какие последствия могут иметь наши действия...

Выйдет Сергей Никитич наружу, на крылечко: ночь-то какая! Луна, тишина. Звезды так и сыплются с неба, что доллары иному в карман. И все их там, сколько ни сыпься, не убывает. Вот щедрость божья, благодать! Чиркнут ли спичкой во дворе где-то, ветка переломится — собачка тут же уши топориком и давай нервничать, голос подавать. Ругает Нюську Сергей Никитич за пустую брехню, а порой и очень доволен. И жил бы «Хрущев навыворот» так себе спокойненько, без потрясений и далее после всей своей жизненной неустойчивости, вакханалии в городе. И не знал бы, что на этом Столыпине все в России не кончается. Да ведь исход двадцатого века тоже не хуже того насыщен. В итоге снова реформы, но в обратную сторону. В России всегда так: даже золотой дождь, наблюдаемый на ночном августовском небе, подвалов Центробанка не насыщает. Но на Прозоровском выселке это отражается так отдаленно или вообще никак не отражается. Возможно, и на соседнем Прозорово тоже, ибо все «авуары» размораживаются теперь в городах. И даже в ихнем городе с его вонючими трубами, в окрестностях которого его бывшая дача, проданная начальнику цеха, совершает свой ритуальный оборот в пределах солнечно-бюрократической системы, вокруг дневных и ночных августовских светил величиной с яблоко — то яблоко упадет, то звезда. И все мимо, мимо. Так вот, даже в том, ближайшем отсюда городе и то не знают, куда и кому вставить ключ... И не знал бы «Хрущев навыворот», что такое не только лично у него, но и у широких народных масс. Да вот случай дал кое-что понять.

Собаки в округе появились бездомные. Как в городе, так и на селе. Брошенные по причине того, что ночные звезды даже в августе месяце падают мимо кармана, в те самые «авуары». А «Хрущев навыворот» живет в плену прежних догм и представлений, когда кукуруза была в

стране мерилом его собственной молодости, вообще всего человеческого. Гороскопы он тогда не составлял, это была прерогатива начальника лагеря. А без гороскопа, составленного начальством, как известно, человеку нельзя достичь совершенства. Так вот, эти собаки бездомные, в отличие от «Хрущева навыворот», хорошо чувствуют звезду свою, коллектив, вернее, собачью стаю. Собачьи стаи бродячие пострашнее ныне, чем даже волчьи. У них — обида, выучка, знание гороскопа.

И вот эта сучка Нюська дала, оказывается, разрешение тому Рыжему, что хвост бубликом. И тот, оказывается, после того, как «Хрущев навыворот» изгнал его из пределов, то ли банду свою сколотил, то ли банда откуда-то сама явилась по вызову. Собачья стая гораздо лучше волчьей информирована, что в селе имеются ружья, даже аэросани, могут вызвать и ОМОН с гранатометом, а «столыпинский отруб» ослаблен, одни старики да старухи с эпохальными воспоминаниями. И вот в Прозоровском разыгрывается такая кровавая драма. Собачья стая набрасывается на овец Некрасова Толика, что на другом крае поселка. Эти псы просто бросались на шею овечкам и, кровь почуяв, перехватывали горло. Одного барана загнали в речку и утопили, другого хотели взять в заложники. А у ярочки с ягнятками от ужаса отнялись ноги.

Все это видели внуки Некрасова, что приехали сюда из Москвы на лечение нервов. И вопили дети, и плакали, обращались к немеркнущим звездам. А лучше бы и не обращались — космос как онемел...

Всю ночь «Хрущев навыворот» мучился совестью. И зачем он прогнал того рыжего, хвост бубликом, что же, и дальше его кормить, второго уж чугунка не хватает. Ну, а где же охотники, итить твою мать, профессионалы, понимаешь, охотятся только на лося, зайцы им уже не нужны. И тем более собаки — это тебе не волки, за которых полагается государственная премия.

— Что же ты, сучка, — с упреком смотрит Сергей

Никитич на Нюську, свою собаку, — брешешь-то не в ту сторону? Все шорохи тебе у соседки мерещатся.

И тогда становится ясно ему, что это Патрикевна стащила намедни двух кур у соседей и на его петуха покушалася. Ах ты, наводчица! Навела Рыжего на нашу шею... И так, на цепи держа дуру, он ее и поколотил. Не знал сам-то, что она — его Нюська, эта сучка, хорошо знала свой гороскоп. Собачьи породы бывают двух линий — волчьей и лисьей. Нюська мелковата, с узковатым, продолговатым рылом — лисьей породы. И Рыжий тот — лисьей. «А если бы волчьей был, да ни за что бы я никогда!» — виляла Нюська хвостом перед хозяином.

— Не зарекайся, сучка! — строго сказал ей Сергей Никитич и сократил рацион.

А теленка на всякий случай привязал поближе к дому. И, отсчитав трояками из полученной пенсии, пошел платить за свою собаку. И, возможно, душа Столыпина Петра Аркадьевича, обретшего успокоение в Киево-Печерской лавре, у самого храма, тут же узнала про это там и успокоилась. И «Хрущеву навыворот», в свой черед, стало легче дышать. Совесть есть совесть, за свой двор, если ты в нем хозяин, хочешь, чтоб тебя уважали, тоже надо платить.

КРАСНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ

Художник Тутыхин не был на собственной даче, в своем «мон рено», целых семнадцать дней. И когда наконец оказался на краю своего оврага, поневоле ахнул. Его гордость — голландская картошка, которую он достал с таким трудом на семена («колорад» ее не берет), с этого боку на участке была съедена начисто. На сиротливых былках сидели пунцовые, прямо-таки медные шарики — шевелились, вытягивались хоботки, дожирали последнее.

— Красные виноградники, — констатировал Туты-

хин этот горестный факт, смутно припоминая виноградники, кажется, в Арле, кажется, Клода Моне.

«Страна наша северная. Шесть месяцев зима, остальное — ожидание зимы, подготовка к ней. Это и есть Россия! Се ля ви. Вот что говорят о нас там у них: русские — это люди, которые выращивают летом картошку, чтобы было чего есть зимой. Американцы, заметим, не атомной бомбой, а жуком колорадским поставили нас на колени. А японцы, придумав какую-то жидкость, распрямляют нам спину. Брызгнул такой жидкостью — и красные виноградники становятся серыми...»

Тут мысль Тутыхина переломилась, ушла в воспоминания. Прошлой весной друзья его — коренные жители не Калифорнии и Таити, а, заметим, поселка Кутафино — Иван да Марья Кутафины — решили бороться с «колорадом» своим таким весьма оригинальным способом. Завели индюков, которые специально ходят по картофельному огороду и жуков склевывают специально. Однако заодно индюки Ивана да Марьи склюнули картошку на соседнем огороде, а там ее как раз обработали японской жидкостью. После гибели индюков Кутафина Марья целую зиму пролежала с дыркой в голове от тяжелого предмета в руке соседки. Именно это и подвигло художника-баталиста Эдуарда Тутыхина поведать об этом «с помощью пейзажа», то есть, с точки зрения экологии, про местную флору и фауну. И вот недавно Тутыхин пронюхал про какую-то голландскую картошку, которую, по мнению главных картофелеводов области, никакой тебе «колорад не берет». И когда вместо посеянной репы у него взошел мак, Тутыхин это еще стерпел. Не предал анафеме тех, у кого на рынке купил семена этого наркотика, оказывается, замаскированного под репу. Но теперь, шалишь, гром и молния, тысяча чертей! «Что же это за картошка такая «специализированная», которую с таким аппетитом едят «колорады»? Кого надуваете, господа специалисты, олухи царя небесного! Гляньте, пол-участка

своротили эти чертовы куклы, смяли его «красные виноградники»! А пришли ведь сюда к нему не из Древнего Рима, а от соседей. А к соседям, говорят, пришли из Голландии; Нидерланды — ядрить твою дышло, великая сельскохозяйственная держава! — сама с Московскую область, а кормит жуком пол-Европы...»

Тут, на самом взлете критических мыслей, Тутыхина как озарило: он вспомнил о старом дедовском способе варить собственным котелком, а не надеяться на кого-то. Само собой, заграница нам поможет. Однако и свой собственный способ хоть и медленно, но верно ведет к конечному результату. А куда нам спешить, под картошечкой у него и трех «соток» не наберется. Все равно на зиму в городе покупать, а эту картошку он оставит тут на семена, на будущее лето. «Давал же зарок через пару недель приезжать, — все еще сердился на себя Тутыхин. — Так нет же, приехал на три дня позже...»

Иван Кутафин — дружок его, из аборигенов, в предвосхищении спиритического сеанса уже крутился тут возле него, взглядывая на него снизу ввысь не мигая. Затем перевел взгляд на огород и крайне удивился:

— Петрович! Вот, ей-богу, три дня тому было все, как в аптеке. Это они за эти три дня смолотили. Оборзели прямо, ей-богу...

— Я для чего разбрызгиватель себе покупал, а тебе оставил? — не снимал Тутыхин остроты вопроса, продолжая держать приятеля на дистанции.

— Так картошка-то у тебя какая — голландская? — юлил Кутафин Иван. — А личинки колорадские, из Америки, а жидкость японская — иностранные языки, друг друга не понимают... Сам же сказал, что проблема закрыта. Разбрызгиватель останется у меня для воспоминаний.

Тут же Иван Кутафин слетал домой за этим самым ранцевым разбрызгивателем. «Дунул-плюнул, что нам — плевое дело, у нас это мигом, в момент. Мы свое дело знаем. Не то, что вы, пейзажисты. Прошлым

летом, помнишь, ты, Петрович, пошел против ветра с этой бандурой, так едва потом оклемался...» — «Поговори, поговори у меня, — наблюдал Тутыхин за Иваном Кутафиным из-за куста. — Голландию и ту проверять надо, не то что Орловскую область. Не то они нам сюда черте чего насуют».

А к вечеру на поселке произошло событие, равное землетрясению в Армении. Теперь уже, наоборот, Мария Кутафина едва не проломила колом башку той самой соседке, по ее личной просьбе. Вместо того, чтобы сдохнуть, «колороды» бросились, как скаженные, с соседского огорода на собственный огород Петровича, ибо у соседей работала прежняя, еще прошлогодняя установка на уже отживающую систему. То есть, действовали вновь закупленные индюки, которые обязаны были ходить по картошке и склевывать. Но индюки не ходили, не желали склевывать ввиду отсутствия материальной заинтересованности и опасения. «Колорад» для них был ничто; они — из Индии, а он из Америки, разные континенты.

Слава Богу, не летальный конец, «колорады» просто не стали летать. Или, может, в конце концов, живыми на другой день возвратились на базу. Оказывается, Иван Кутафин зарядил не ту жидкость в аппаратуру — не японскую, а русскую, какая подешевле, самогонного производства.

Вот мы говорим: Голландия, Япония, Америка вместе взятые со всеми их «колорадами» и «антиколорадской» борьбой, а Россию в этом смысле тоже надо понять. Ну, конечно же, далеко нам до ихних звезд, скажем, в размерах той же Голландии. А чтобы не цвели на нашей территории убойным цветом, как говорит художник Тутыхин, ихние красные виноградники, что нужно?... Просвещение! Любовь к живописи! Своей и иностранной, заграничного производства... И тут Тутыхин любит показывать одну и ту же картину — стог сена, копешку пустячную, но с огромным значением —

родоначальницу направления. То, значит, она синяя, а то, значит, зеленая. Смотря когда как. И что ты, говорит Тутыхин, как крестьянин на это скажешь? А Кутафин Иван бряк ему промеж глаз: «Краски-то не сгущай, — говорит. — Зачем нам это — какого цвета? Главное, чтобы индюк не сдох и картошки выросли — вот! А сена, говорю, накосил, поставил копешку — гляди на нее, обозревай на лугу хоть круглый год, пока не сгниет, если на ферму вовремя не увезут...» У Тутыхина прямо-таки как язык отняло. Не знает, что и сказать Ивану. «Я, — говорит Тутыхин, — глыбже стал брать теперь глазом художника всю ихнюю художественную систему, всю гамму как бутафорию — от пурпура до красного виноградника. А все дело, — говорит, — как у Клода Моне, как и у всех французских импрессионистов в живописании, в иллюзионном состоянии воздуха на пленэре, в самом глазе художника, вынесенном на открытый пейзаж».

— Ага, — поддакивает Иван, — аха. — А сам кумекает: «Как это можно вынести глаз отдельно от самого Тутыхина?..»

И что я в конечном итоге как автор скажу на этот ихний диалог? А то, что у нас, конечно, есть простые распределители, а есть газовые, есть пейзажи открытые, а есть закрытые. Разные картины для разных людей. Чудаки живут у нас тут в Кутафине — оптимисты и пессимисты. Так вот, оптимистов сама жизнь у нас поощряет, а на пессимистов и напускаются колорадские жуки. Вот какими средствами приведены в движение в этом самом Кутафине эти самые «колорады». На что посягнули — на святое! Живопись Тутыхина действует через индюков на Голландию, а также на французских импрессионистов. Логики в этом, может, и нету, зато «колорады» обходят огород Тутыхина теперь стороной. Как копешку сена при дневном освещении. На всякий случай. Знаем мы ваши батальные сцены. Не то, как говорят в Кутафино, Тутыхин

берет каждого «колорада» с его панцирной полосатой спиной и подрисовывает «звездочки» по числу штатов, чтобы все знали, откуда тут эти джентльмены, чьи они выходцы. Что можно от них ожидать и чтоб мы не теряли бдительности.

«ВЫЖИВЕМ ВРОЗЬ...»

Банный день сегодня для пенсионеров. Рядовое помоечно-посадочное место — пять рублей 25 копеек, а для людей, впавших в крайность, чтобы окончательно не потеряли облик человеческий, — два рубля десять. Это городские власти так сообразили, новый мэр. Агнесса Васильевна, чистюля такая, ждет понедельника, как воронушка крови. Все у нее по полочкам, каждая копеечка на учете. Вот и на баньку, тютелька в тютельку, два десять. А на все остальное — по пять рублей на день, до пятницы — это ее число, когда пенсия...

«В какую же баньку-то сходить? Где снимут с Агнессы всякие стрессы? — стоит Агнесса Васильевна перед дилеммой. — На железнодорожный вокзал, что у военкомата, подальше, зато парная почище, пар покрепче. А если на Октябрьскую — там баня просторная, как автовокзал. — Вот как устроились. Туда звонишь — нет воды, ясное дело, день такой — невыгодный, пенсионерский. Сюда звонишь — эта пока работает, обслуживает пенсионеров, одна на весь город...»

И тут раздается стук в дверь: это сосед Терентич — «компрачикос» этакий, он так обычно стучит. А то еще и ногой саданет, две филенки из двери уже сапогом вышиб.

— Сию минуту, сию минуточку, — путается Агнесса Васильевна в своих трех зубах и четырех выражениях, как и в дверной цепочке. — Моментально открываю, моментальненько!

Перед Агнессой Васильевной, бывшей своей учитель-

ницей, аккуратненькой такой, все еще на каблучках, вырастает, как злокачественная опухоль, не проспавшаяся «физия», конечно же, это Терентич — сосед, бывший ее ученик. Вздыблен Дыблин, но давно уже все позабывший. Лет пять тому она похоронила мужа, а он — свою мать. Теперь в натуральности их взаимоотношений выявляется то, что у них по двухкомнатной, их двери объединены общим предбанником, общий у них половичок, общая электролампочка.

Дыблин давно уже не подметает, не моется, краны не чинит. Туалет-то хоть как работает у него — непонятно. В сапогах летом, нищеброд, глянуть страшно. Но, если подумать, богатый ведь человек: дачу имеет, на которой не работает, двухкомнатной владеет, которую не сдает. И гордостью также располагает: не берет от сестры ничего — ни картошки, ни огурцов, только и позволяет, что платить за квартиру. А дочь сестры, свою племянницу с внучкой, и на порог не пускает. Объясняет Агнессе: «Свободы желаю, абсолютнейшей! А племянница еще и в психушку сдаст, завладеет квартирой». И развешивает Дыблин по остановкам объявления то о продаже, то о сдаче внаем. Но на звонки никому не отворяет. Терентич как маяк для кораблей: все держат курс на него, а звонят Агнессе...

— Пять рублей мне срочно! — требует Терентич. — Надоть.

И это точно. Однако Агнесса Васильевна знает, что Терентич не пьет. Как лицо непонятной национальности, он носит русское фирменное имя. Причем все бумажки, рассылаемые по учреждениям, Дыблин подписывает иностранным именем, похоже на отчество у Жириновского и имя Гитлера, вместе взятые. Дыблиным уж по несколько раз пройдены все слои, где он работал хотя бы неделю или с кем имел «короткое замыкание»: школа, военкомат, какая-то мастерская, редакция какая-то, все собесы всех районов области. Теперь это уже последняя инстанция, куда письма под-

писывает он крупно, печатными буквами: «Москва, Кремль»... И, что интересно, ведь реагируют: талоны на обед дают, даже на стрижку деньги несут, повышают, выдают, присылают доплату даже за двадцать пять лет назад... Приходят к нему, а звонят ей... Закрывается Терентич изнутри «геометрически» и держит всех в руках магнетически — папашей, что ли, своим Жириновским? Почтальонка, разнося пенсии, говорит: «Как Жириновский восклицает, мой папа — юрист!» Терентич давно уже стал юристом. Обещает каждому обменять свою двухкомнатную на меньшую, но с доплатой. Сулится переехать на Семинарку, где жил когда-то, но, кроме Агнессы (этой возвращает час в час, в день пенсии), — никому ничего от него, никогда.

— А то ж ведь не дашь в другой раз? — втыкает он в нее свои вилы-глаза.

— Ну что ты, Терентич, ну что ты? — суетится она. — Ты же мой ученик, я же мать твою уважала...

— Пять рублей!

— Пять? — замирает перед Дыблиным Агнесса Васильевна. — Да я тебе уж давала.

— Потребности возрастают, — объясняет Терентич ей политику цен, малыми словами тут не обойдешься. — Я, Васильевна, совсем одичал, мне теперь есть больше надо. Новую профессию осваиваю, под мостом стою.

— Грабишь? — пугается Агнесса Васильевна.

— Да что вы? — улыбается Дыблин. — Пррэшу-у пока.

— И дают?

— А как же. У меня даже такса: обойду весь двор — глянь, сколько домов, сколько квартир, окон. Их много, а я один. Под пенсию вроде как занимаю. А после кому отдам, а кто привык просто давать. Че им пять рублей фору сделают? А я уж пошел на такой риск: принял от сестры пятьдесят рублей... Это сначала вроде неловко, а теперь даже хорошо. Просишь — вроде как бедный, жалеют тебя...

— На той неделе восемьсот получил из Москвы и

еще сто — куда дел? — восклицает Агнесса Васильевна, лицо ее идет пятнами.

— Какие восемьсот, какие восемьсот? Только уведомление, что будут, возможно... а сами сто дали. А что эти «сто»? Пошел и проел.

— Так вот... — путается Агнесса Васильевна в словах. — На даче у тебя ничего не растет, картошку ты не покупаешь, не варишь. Тыкву давала тебе — семечки вытащил, а остальное — в ведро.

— Старуха! Мне пять рублей нужно! А не твои сентенции, — делает Терентич, как и Жириновский, нервные глотательные движения. — Я жрать хочу!

— О Господи! — теряется теперь уже окончательно Агнесса Васильевна и совсем запутывается в собственном кошелечке. Вытаскивает денежку, только что приготовленную на баньку и еще на оставшихся два дня прожития, и сует Дыблину, словно хочет избавиться от всего этого кошмара. А когда тот уходит, стоит в полубесчувственном оцепенении: как же дальше-то жить? «Может, раньше пенсию на сей раз принесут?... А почему? — сама спрашивает себя и сама же себе отвечает: — А просто так, ни почему».

Берет Агнесса Васильевна половичок вытряхнуть да по перильцам, по перильцам выходит на улицу. А уж на улице решается идти на Октябрьскую улицу в баню. Кладет половичок аккуратненько под сирень, потом обратно возьмет. Спешить надо, а то ведь вода может кончиться, сколько там средств выделено городскими властями на пенсионеров. Перед самой баней она вдруг останавливается: «Ах да! Деньги-то отдала...» Проходит мимо кафе «Русские пельмени», Дыблин как раз оттуда вываливается.

— Кофе пил, — говорит он Агнессе Васильевне. — Далее двигаю в райсобес и по всем пунктам гуманитарной помощи...

Агнесса Васильевна нервно дергает плечиком: это когда же она пила кофе в последний раз? «Наверное,

до 17 августа, до обвала... И сколько хоть стоит чашечка? Может, и надо пить ему этот кофе для тонуса, он же больной и ...несчастный...»

Агнесса берет половичок из-под сирени, возвращается в свой предбанничек. А под дверь уж просунута бумажка: соседу, конечно, кому еще? С уведомлением о вручении. Это Терентич и в Белый Дом накатал. Пишет главному как равному, облик человеческий еще не потерян. А к вечерку приехали братья из «желтого дома». Соседей всех про Терентича расспрашивали, на какой почве пишет он публицистику свою акварелью, очень любят у нас живописцев всяких. Когда эти пишут и посылают, а те — когда получают и отсылают, обратная связь называется.

Это когда обратно вместо денег присылают портрет Жириновского, нарисованный маслом, или просто какой-либо свой автограф. Возвращаясь с улицы, Дыблин гремит в предбаннике сапогами. Попробуй тут выживи, когда слышишь, как резюмирует Дыблин, взяв из-под двери очередную бумажку.

— Э-ге-гей! — стучит он в дверь деликатно указательным пальцем. А когда Агнесса Васильевна не отворяет, сует в дверь ей буханку черного хлеба:

— Питайся!.. Да, вот что. Узнавал, пенсию августовскую принесут накануне, 26 июля. Это нам с тобой, Васильевна. Подарок личный к Дню освобождения. Лично я для всех постарался, охлопотал.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Наступает март, и люди становятся пьяными. Бродят, пошатываясь, улыбаясь друг другу бессмысленно. Лично меня из себя выводит это мартовское весеннее состояние, резкие контрасты, изобилие солнца. И наст ноздреват, лучами изрезан, сосульки полуметровые с крыш и синь в тени, всюду синие тени, где только мож-

но: под глазами, в просторах; подснежники появились на первых проталинах. И синее-синее небо, синие-синие жесткие, а с ночи новые, пухлые снеги. А сам ты все еще зимний, ненапоэтизированный, вялый какой-то, пройдет мимо женщина, качнув фестоном фиалкового платья, как вот уж и вспыхнуло все в тебе, к исповеди готовое, к грехопадению. Март всегда нацеливает на обновление, предвосхищение счастья. При Петре Алексеиче новый год начинался, кажется, с марта...

Ослепительными полями «Икарус» несет нас на Ливны. Тихо играет утренняя музыка, переговариваются водители автобуса: основной за рулем сейчас и подменный.

— МВФ предоставляет финансовый кредит Украине, — сообщают по «Маяку».

— Ну вот, — замечает первый водитель. — А России все по губам мажут.

— Все делают, чтобы Украине не быть с Россией, — поддерживает разговор второй воитель. — Триста сорок девять лет, с Богдана Хмельницкого, были вместе, а теперь...

— Да один же народ! Киевская Русь! — живо реагирует первый водитель. — Чего делить-то? Все в мире объединяются, а мы врастопырку... Например, в Германии были курфюрства... А во Франции — Эльзас, Бургундия, Аквитания... В Испании — Каталония, Андалузия, баски... В одних государствах, а могли быть и врозь, — мягко осаживает первый водитель свой «Икарус» у автостанции Покровское.

— А у нас на Крым никак не найдут документ, — выходит второй водитель в автоматически открывшуюся дверь.

А я сижу справа по ходу движения и перевариваю их разговор.

«Ненько ты, ненько! Голубое небо Украины и солнечные поля... И без Крыма нельзя, и без Мазепы нельзя, если верить средствам массовой информации.

И где-то далеко-далеко крещение Руси и варяжские гости. Карл XII, Полтавская битва... А во Львове, где живет моя тетя — материна сестра, улицу Пушкина переименовали в улицу генерала Чупрынки... И заочная аспирантура сына теперь за границей...»

Проезжаешь через таможню, через Казачью Лопань, поезда часами выстаивают, а выходишь где-нибудь в Запорожье, и что? Восток Украины, всюду же русская речь! А какой-нибудь «чубчик» скажет с подковырочкой: ну и как там у вас, в России, в квартирах тепло? — Да как и у вас, а то и холоднее. — И пальто у тебя новое. — Да ему уж сто лет. — А сами берут у нас энергоносители в долг, если опять-таки верить средствам массовой информации...

В конце концов, защитился мой сын в Днепропетровске, ученые проголосовали, а в Киеве взяли и «скасувалы» (отменили). Ну и как насчет общего научного и культурного поля?.. Но я, как сундук, никуда не сдвигаюсь: «Когда же для гривен краска кончится на Мазепу, Гоголя снова станут читать?..»

Слушал я водителей «Икаруса», и снег по полям под пронзительным мартовским солнцем казался мне темным, а синие тени как-то чернобыльны. И небо пониже, лужи пожиже... Что же мы, как же мы, братья ведь, единые корни, а так. И вот, вслед за «Словом о полку Игореве», создал я драму — трилогию о крещении Руси. С псковитянки Ольги все это началось, с Великой княгини Киевской. Эта еще когда вошла в смысл Русской земли. И Карл Маркс после скажет о «Слове», что это страстный призыв к единению Руси как раз перед нашествием монголов...

Тысяча лет как миг! Войны, нашествия, иго, а ничемушеньки мы, оказывается, не научились.

Назад из Ливен я уже возвращаюсь железной дорогой. Поезд «пятьсот веселый» уныло влечет свои пять вагонов по Дикой степи. Нахожу, однако, занятие — рассматриваю за окном деревенские просторы, шерша-

вые снега, изъеденные ярым мартовским солнцем. Охотничьи лыжи, птичьи кресты под елью, а елки — какие красавицы! На ракитах копошатся грачи, только что прибыли с юга — с Украины, откуда же еще? Вот для кого ни границ, ни таможен. Весенняя суета, справляют гнезда — «обустраивают Россию?»...

А закат сиренево-желт. Деревянные шпалы клацают под локомотивом. Еще царский, николаевский путь. С севера на юг по срединной Руси — от Верховья до Мармыжей. Вроде как знаменитая рокада по левому берегу Волги, построенная в войну для доставки живой силы и техники под Сталинград. Рокаду и ту немногие помнят, а эту Мармыжевскую дорогу и боги забыли. А заслуги ее для нации, для победы, для мира огромны. Подумать только, сотни верст пятились от границы, а тут, перед этой дорогой, остановились. По речке Фошне перед Ливнами, по Зуше-реке перед Вяжами — Новосилем. От этой артерии и пошло все раскручиваться назад...

В Верховье входят в вагон пассажиры. В ближайшем соседстве оказываются две женщины и трое детей. И что интересно, — зазвучала украинская речь. И что еще интереснее, — это были цыгане украинские и украинцы. Самые младшие — мальчик с девочкой, лет пяти и около восьми, а цыганочка постарше — подросток уже, лет четырнадцати. Как у всяких цыган, узлы накручены — это скарб, скорее всего постели. И все такие живые, подвижные. Галдят, как грачи на ракитах. И что совсем хорошо, даже приятно, так это то, что мать младшеньких — украиночка вдруг назвала детей своих «ласточками».

— Ласточки вы мои, ласточки, — прямо-таки пропела она, давая им по куску черного хлеба просто так, без ничего.

И дети стали носиться по вагону, устраивать друг перед другом сценки, щебетуньи этакие! Мать-цыганка бросала дочери-смуглянке короткие фразы на цыганском своем наречии, а дочь-подросток отвечала ей

на украинском. И все они то и дело сбивались на русскую речь, перепутанную с цыганскими и украинскими словами самым невероятным образом.

«Из восточной Украины», — решил я, вспоминая по книжкам про тридцатые годы.

— Мы сусиди там у соби, мы сусиди, — тараторила восьмилетняя девочка. — Папа придэ за намы, чи нэ придэ?

— Пьяный наш папа, пьяный, — отвечал ей мальчик лет пяти, младшенький.

— Але, але, — разыгрывала девочка сценку. — Господи боже ж мий, приходы до мэнэ, приходы, я тоби покормлю. З мальчиком познакомлю... з мальчиком познакомлю...

Эта фраза так понравилась ей, что, повторяя ее, она побежала по вагону.

— Але, але! — обращалась она к молоденькой цыганочке. — Хочешь, хочешь?... с мальчиком тебя познакомлю... с мальчиком тебя познакомлю...

— Эта колбаса, наверное, ливерная, — сказала цыганочка матери, — так она стоит сто рублей... А килограмм сахара десять, а манка — девять...

— Хочешь, я с мальчиком тебя?..

— Молчи, дура! — вспыхнула молоденькая цыганочка. — Уши всем понабивала. Тьфу, тьфу на твои мозги!

Она схватила подушку, прилетела ко мне в купе, улеглась калачиком ногами к окну.

— Ага, мамочка, ты хитрая, ты хитрая, — канючил мальчик лет пяти.

— Я знаю, знаю, почему ты, дивчина, легла сюда головой. Ага, оттуда витер вие, витер вие... витер вие...

— Какая же вона тоби дивчина? — остановила мальчишку восьмилетняя девочка. — Она наша мама, мама... Але, але, боже ж ты мий, я звоню тоби, я кажу тоби, слухаешь? Я познакомлю тоби с дивичной, з дивчиной... з дивчиной...

Тут же дети изобразили сценку за обедом — разда-

вали хлеб, наливали суп. Потом сценку на огороде, в саду. Распалясь, они вошли в раж, лепетали, смеялись, бегали, порхали, как птички. Звонкие голоса, мягкая украинская речь. Душа моя просто плыла — так было все мило, так близко.

— О Мати небесная! О Господи, боже ж ты мий! — воскликнула в сердцах ихняя мать. И сказала соседу, молодому мужчине, уже значительно тише: — Извиняйте. Они уши вам тут понабивалы?

— Да нет, что вы? — возразил ей мужчина и засмеялся (ну точь-в-точь, как бы и я). — Слушаю вот, и так хорошо. Дети ведь, дети! — сказал он весело и повернулся к детям: — Вы бы книжку, что ли, взяли бы да почитали.

Щебет прекратился. Пауза. И голос восьмилетней девочки:

— Нэма книжки у нас.

— Ну, газетку, что ли? — сказал тот же мужчина уже менее уверенно.

— И газетки нету, — уже по-русски робковато сказала девочка.

Так и полоснуло мне по сердцу: «А Павел Лазаренко, экс-премьер ихний, в Америке сейчас, а деньги в швейцарских банках... если верить опять-таки средствам массовой информации...»

После Верховья поезд идет на Запад. Красная тарелка солнца все ниже, уже путается в ветках, рассевшись по которым галдят черные птицы — грачи. Весна — это солнце, днем — плюсовая температура, а ночью — до восемнадцати с минусом. Снег сойдет так, скорее всего постепенно, наводнение вряд ли будет...

— Ласточки мои, ласточки, — ласкает ухо мягкая украинская речь.

— Он картинки смотрит, — заглядывая сюда, говорят они ей по-русски, и это все обо мне.

Играют, косятся, вроде не смотрят, не заглядывают сюда, ко мне, а видят все.

Я держу в руке карманную книжечку с репродукциями французских импрессионистов. И как раз смотрю на картину Пикассо с девочкой на шаре, как на голубых танцовщиц. В картинной галерее, кажется, в Днепропетровске, видел, помню, «незалежных», — таких тяжеловесных, в желтых тонах, ихних там танцовщиц. Даже имя художника вряд ли прочитает эта девочка, если деньги будут лежать все там же. Первые ласточки с Украины! А, может быть, и не первые. Мать с двумя ребятишками, может быть, и не решилась бы сдвинуться с места. Сдвинула ее эта соседка цыганка с дочкой своей четырнадцатилетней, эти легко меняют места, и уж эти места, скорее всего, ими обжиты.

«Из деревни в деревню, со двора во двор бредут они по Руси... О ненько, ненько! О, великий и могучий, надежный и братский...»

— Чижики, Чижики! — запрыгали ласточки. — Мы выходим в чижиках-пыжиках!

И пока они собираются, уже в сумерках, поезд проходит эти Чижки. И что следующее — станция Золотарево! Совпадение? Да. Жена моя родом отсюда. Ну, конечно, у нас это так: если село Медведево, значит, все в нем Медведевы. А в селе Золотарево все должны быть Золотаревы, а нет, не так. Помнится, когда мы с женой приехали сюда впервые, люди приходили смотреть на меня — нашелся такой, фамилией соответствующий...

Дети были уже одеты, сделавшись вдруг серьезными, отделенными от всех нас, что оставались в вагоне. А за окном уж насупилась ночь. Узелки сделали женщин горбатыми. Где выходить? Да не все ли равно — в Чижах ли, в Золотарево ли, в Домнино?...

Они вышли. Свет в вокзальных окнах погас. Заперев дверь, дежурная вышла на платформу, провожала последний поезд. А эти все пятеро белели в ночи, рас-

терянно вглядываясь в окна вагонов. «Але, але... Ласточки мои, ласточки...»

Дурное слетает с души, остается хорошее — вот эти лица, белые лица во тьме. Океан жалости смущает мою славянскую душу. «Где же им ночевать? Кто даст им кусок?» Хватаю шапку, а поезд уже прибавляет ходу...

Всю ночь прокружился дома я в теплой постели. А утром, едва рассвело, дозвонился-таки в контору, к родственникам жены. «Ну, как вы там? — спрашиваю я. — Весна к вам еще не пришла? Ласточки не прилетели?» — «Какие ласточки? — отвечает женщина в трубку. — Тут грачи еще не прилетали».

«— А с Украины! Але, але! — стучу я в трубку. — Я познакомлю вас с мальчиком, я позна...» — «Откуда ты знаешь их?» — звучит удивленный голос свояченицы. «Новый день — новые песни! — кричу в трубку я весело. — Весна идет! Грачи прилетают! И ласточки, ласточки, ласточки следом летят с Украины!».

«НА ЩУБАЙСА ПОХОЖ...»

Как на казнь, ехал Андрюха Копешкин брать магазин. Поезд тащился медленно, а в вагоне никого, кроме него самого, со своими невеселыми думами. Магазин базировался в отдаленном районе, в глухом местечке — между двух деревень. Как Канберра в Австралии между двумя городами — борцами за столичный статус — Мельбурном и Сиднеем. Прошлым летом Копешкин побывал там на «уикенде» у друга, тоже токаря — БДЧ (бывшего деревенского человека). Их станки стоят в одном цеху, рядом.

— Видал кино? — спросил его как-то Володька Палуба — кличка уличная такая.

— Какое?

— Как прапор один со склада ядерную боеголовку увел. Час поработал — два года живи.

— «Коза ностра», — однозначно сказал Копешкин. — Мафия сицилийская.

— Да нет, какое там сицилийская? Наша, — рассмеялся Палуба. — Где-то севернее Костромы. Семь месяцев, говорят, не платили зарплату.

И замолчали оба. У них хоть и четыре месяца, а также ведь не платят. Неизвестно, когда деньги дадут.

— Домой к матери за харчами надо, — вздохнул Палуба. — Звонила мать, водочки в магазин завезли.

Андрюха промолчал, а в голове как перемутилось: «прапор» с боеголовкой, «водочка» в Володькином магазине и деньги — инкассация раз в неделю. И вот едет Копешкин в Володькину Канберру один, без самого Володьки Палубы. Как князь Игорь без своего полка, чтобы не с кем было добычу делить. В первый раз на такое идет — мучается, переживает. Не профессионал же, не на то себя в жизни готовил. И ниточки чужой сроду не взял, а тут, шутка сказать, магазин. Да ведь не у людей же, а у государства, а с ним шутки плохи. Инструмент у него, правда, классный, руки золотые. Да и мозги, ничего себе, соображают. Вот они тут, отмычки «Маде ин Рашен» — изготовлены без всякой лицензии...

Шлеп Копешкин рукой по мешку — даже не зазвенело. В подушку укутано, в думочку, которую мать ему дала на дорожку. Чтобы в поезде, на жесткой деревянной лавке, было на что прилечь. А поезд колтыхается, как в тайгу забирается Копешкин, качает и клюет своим долгополым плоским носом; как ястреб какой — сидит нахохлясь, упираясь худыми лопатками в стенку купе. Клевал, клевал — доклевался. Брык с копыт. Берет Палуба мешок и вытаскивает подушку да под голову себе, как мать и наказывала.

Смежает глаза Андрей — сперва всякая пакость лезет. И как щелкают вокруг запястий браслеты, и как он в камере-одиночке сидит. И даже французская гильотина падает на него своим вострым концом, а он

еще шлепает себя по шее, сверху этак — по обезглавленному стволу, брр... Андрей утирает отсыревший лоб, и тут Очки — остановка такая, и человек входит, садится напротив. Тоже ястреб, тоже носач. Только не блондин, а рыжий. Андрей глядит на него в упор: глазенки-то махонькие, но прямо поставлены — Щубайс вроде и не Щубайс? Может, Хайдар? А чего же не лысый?

— Чего это ты разглядываешь? — кривится пассажир, от которого пахнет свежим воздухом и солеными огурцами. — Что я барышня, что ли, тебе?

— На этих похож, — запинается Андрюха. — Ну, которые нас ободрали... Четвертый месяц зарплату не получаю...

— Это хорошо, — засмеялся пассажир.

— Чего хорошего! — сбычивается Андрюха.

— Да что хоть не два года, — сбавляет тон пассажир и садится напротив. — Да, конечно, ничего хорошего в этом, действительно, нет.

И опять едут молча. Теперь уже рыжий начинает носом клевать. Клюет, клюет, Андрею становится жалко его.

— На-ка подушку, — перебрасывает он думочку ему на колени. — Передохни маненечко.

Смотрит рыжий на думочку, но передумывает. Затем лезет к себе в чемоданчик и достает бутылку.

— Коньяк «Три клопа», — говорит рыжий. — Присаживайся, давай, брат, знакомиться... Крутицкий Виктор Семеныч, — подает он руку. — Предприниматель.

— Коломенский, — отвечает ему тем же тоном Андрей.

— Нет, серьезно.

— А серьезно, — протягивает ему руку Андрюха. — Копешкин я, токарь.

Разливают по стаканам. И вслед за теплой волной возникает, естественно, желание поговорить.

— Ну и как же ты живешь? — удивляется Виктор

Семеныч Скориков, в самом деле предприниматель. — Без зарплаты-то.

— Да никак, — говорит откровенно Андрей. — Жизни никакой! — И вдруг его как за язык кто-то дергает. — Вот магазин еду брать.

Новый приятель, предприниматель этот, пропускает Андрюхины слова мимо ушей. Наливает по второй.

— А думочку чего взял? — спрашивает он Андрея.

— Да мать на дорожку снабдила. Она у меня золотая, мать-то. Один я у нее.

— Мягкая думочка, — гладит подушечку рукой новый приятель.

— А ты как же... предпринимателем-то, небось, большой человек? — задевает он рыжего. — Или, как все мы... солома?

— Хочешь я тебя к себе возьму? — оживляется рыжий.

— В банду?

— Нет, зачем же, в нормальное предприятие. Зарплата хорошая, ежемесячная. Мне верные люди нужны. Что умеешь-то?

— Да вот на думочке спать, — улыбается Андрюха. Острота с языка не соскакивает, не удержишь язык-то, природное качество.

— Думочка-то думная у тебя, — хлопает рукой по ней рыжий — новый приятель. — И мать, видно, добрая такая старушка.

— Мать есть мать, — вздыхает Андрюха уже без тени улыбки. — А магазин надо брать.

— Вот что, Андрей, ты мне нравишься, — достает из кармана бумажник Виктор Семеныч. — Вот задаток тебе, — и подает такую денежную купюру, какой Андрей сроду в руках не держал, даже в глаза не видел. Одну, но какую — 500 рублей. — На-ка еще одну, потом отработаешь... А вот моя визитная карточка. Как вернешься, найдешь меня, контору мою, тут все обозначено...

И стал приятель собираться на выход. А Андрюха в

растерянности думочку сует ему, нет у него ничего больше такого хорошего.

— Ну нет, — отстраняет Андрюхину руку предприниматель. — Это материна, именная, сыну дадена, чтоб в пути ничего не случилось. На меня она не подействует... Ну, бывай!

И сошел Крутицкий на остановке. А Коломенскому что теперь делать? Тоже хоть вылезай. Зачем дальше-то ехать? Счастьице вот подвалило-то, а? Вот жизнь, вот дела! Даже не верится. Разглядывает Андрюха на свет божий бумажку, одну да другую, не фальшивые? Нет. И гладит, гладит рукою думочку — думает о матери, о семье. Не профессионал ведь, а коли так, нечего, братцы мои, хлеб отбивать у настоящих профессионалов. Вот жизнь! Процесс — без единого гроша в кармане. А с грошами — человек!

ЦЫГАНСКАЯ ШАЛЬ

Раньше в любой день электрички были битком набиты, люди стоймя стояли — не продыхнуть. А сейчас люди стоят только в пятницу, перед двумя выходными. То все мы были «товарищи» — это когда в тамбурах кости трещали, а теперь — «господа», можно в вагоне и посидеть. И вот только расселись «господа» с тяпками и рюкзаками, места кое-где даже остались свободными, как в вагон колобком вкатилась живая такая баба лет сорока пяти. Плюхнулась — застолбила местечко. Сдернула с себя свою амуницию, но тут же вскочила, завопила на весь вагон, как оглашенная.

— Ой-ой-ой! Да и где же шаль-то моя? Шали-то нету! Ах ты, моя дорогая, ах ты, моя любимая, шаль-то цыганская!.. Это он, мужик мой, ее потерял! У, раззява!

И баба метнулась к выходу на платформу, вслед за мужем, ее провожавшим. Через минуту, вся сияя, пун-

цовая вся, не хуже платка, который держала теперь у груди, баба входила обратно в вагон, объясняя всему вагону:

— Вот счастье-то, во радость! Нашлась моя шаль-то цыганская. Да вот она, вот! Глядите.

— Ничего себе, — не удержался сидящий рядом с ней пожилой человек, с виду сельский учитель. — Сначала потеряют, а потом найдут — и уже тебе радость. Сами себе счастье делаем из ничего.

— И не говори, и не говори, — затарахтела вдохновленная баба. — Эта шаль в моей памяти, эта шаль всю жизнь мою перетряхнула...

Пока баба излагала на весь вагон историю шали, поминутно прикладывая ее огромные алые розы к своим пылающим щекам, сосед ее — сельский учитель (назовем его Иван Иваныч) возьми да и скоси глаз за окно, туда — на платформу. Ну и что же видит там, на платформе, Иван Иваныч? А диалог с мужиками, весьма похожий на ссору. И это интригует его даже больше, чем монолог сидящей рядом соседки. Под часами на платформе разговаривают по-крупному. Причем в том из них, кого совершенно незнакомый мужик берет за грудки и прикидывает к столбу под часы, Иван Иваныч узнает мужа этой бабы, что заносил ей вещи в вагон.

Иван Иваныч по губам, с помощью интуиции, скорее догадывается, чем, может быть, расслышал через плотно закрытое окно, в чем тут дело. Два дружка, пожалуй что собутыльники. Один небритый, в выцветшей штормовке, другой — в высоких резиновых сапогах, в каких обычно ездят по электричкам на рыбалку. И вот они выясняют отношения. Небритый щелкает себя по кадыку и показывает на вагон, куда только что ушла баба со своим цыганским платком. Рядом с этими двумя угодливо извивается торговка из тех, что продают тут спиртное. Видимо, она соглашалась на такой «бартер» — бутылка за шаль. Очевидно, так оно

и было задумано, но в последний момент у главного в этой операции — мужа хозяйки шали сдали нервы, и дело расстроилось.

И вот конфликт переходит в новую стадию: небритый припирает «рыбака» к бетонному столбу под часами и уже колотит его головой о бетон, а торговка помогает ему. Хозяйка шали взглянула в окно, и что она видит? А сцену... Ни секунды не мешкая, она бросается к выходу. Мигом баба эта во всем там разобралась В результате пустая бутылка медленно катится по асфальту. Баба едва успевает нырнуть в вагон, мужик за ней следом, но перед самым носом у него двери захлопываются.

Баба дергает ручку тормоза, двери разъезжаются.

— Федя, давай! — командует она, и мужик живо оказывается в вагоне.

— Ну вот, видите, и муж теперь едет, человек мой, — объявляет хозяйка шали всему вагону. — А ведь не соглашался! Едем к моей маме. Едем вместе, по-семейному, так, Федя?

— Так, — хриплым голосом отвечает мужик, отворачиваясь к стене.

Сияя, проходит далее в вагон эта счастливая баба. Сосед ее — учитель не сдерживается:

— Сначала не соглашаются, а потом согласятся, и уже тебе радость.

— Мой мужик верный, — провозглашает счастливая баба. — На юбку какую-нибудь не разменяется.

А в вагон уже входят с обеих сторон ревизоры с нарядом милиции: кто тут дернул стоп-кран? Да прямо к бабе, к счастливой! Но весь вагон за нее горой: не вишь, как сияет! Баба-то! Дайте хоть человеку попраздновать! Блюстители, не портьте праздники людям! Счастье в наше время — вещь редкая. На всех вот одно попалось, так пусть хоть побудет тут с нами до следующей остановки.

СТАРЫЕ ДЕНЬГИ

Электричка на юг от Орла, пролетев под мостами, подходила к первой остановке. Нина Сергеевна, сидя в вагоне слева по ходу поезда, подняла глаза и увидела на платформе аккуратненькую такую будочку. «Светлая жизнь Московской железной дороги», — прочитала Нина Сергеевна и улыбнулась. Недавно здесь красовалось строеньице — кассовый пункт. Окно пункта зарешечено, а над решеткой читалось просто «Светлая жизнь». Вообще, а не только Московской железной дороги... Улыбку с Нины Сергеевны снял низкий, однако приятный женский голос — меццо-сопрано. Говорила пожилая, крупная такая женщина в черных одеждах — монашка:

— Люди православные! Завтра большой церковный праздник — Казанской Божьей Матери. Церковь поздравляет вас...

И зазвучали переборы гитары, девичий голос запел духовные гимны. Их было трое у тамбурной двери: впереди — молодая монашка с деревянным ящиком на груди, затем тощеватый статный парень с косичкой, играющий на гитаре, и просто девица в ситцевом платье, собственно, и поющая эти гимны. Нина Сергеевна прикрыла веки и вместе со всей электричкой полетела в небытие...

— Сколько можете, пожертвуйте на восстановление храма Святой Троицы, — где-то далеко-далеко звучал голос монашки. Нина Сергеевна пребывала сама в себе, в собственных мыслях. «Так «светлой» была жизнь у нее или нет?..» — Сколько можете.. Спасибо... спасибо... Господь воздаст вам за душевную щедрость...

А электричка летела зелеными полями, синими перелесками, мимо серебряных прудов. Впервые за многие месяцы неустанного, подвижнического труда в школе, где она вела литературу, ей стало вдруг так легко, хорошо. Она ехала к маме, в родную деревню — на ко-

рень, к своим. Она представила маму — маленькую, худенькую, любимую — и захлебнулась от счастья...

— Люди, дорогие, — услышала она голос пожилой монашки, — прошу вас, не кладите старые деньги. Они не нужны не только вам, но и Господу богу.

Кто-то из рядом сидящих хмыкнул. Нина Сергеевна приоткрыла глаза: гимны кончились, к ней сюда — к середине вагона — подвигались все те же трое, впереди — молодая монашка с ящиком на груди. Нина Сергеевна забеспокоилась, стала в уме пересчитывать свои денежки. Зарплаты не выдавали уже целых три месяца и ее проводили в отпуск без отпускных, выдали только аванс... Нина Сергеевна достала кошелечек — аккуратненький, вышитый бисером, чей-то подарок еще на свадьбе — и, уже не стесняясь, при всех стала пересчитывать наличие.

Бумажные деньги она отложила отдельно; двигая одним пальцем, стараясь сконцентрировать звонкие деньги-монеты, да все копейки подворачивались. Не старые, правда, деньги-то, но ведь копейки. А железные рубли ускользали в другое отделение, к бумажным деньгам. С замиранием ждала Нина Сергеевна приближения монашки. И когда та наконец явилась, Нина Сергеевна, чувствуя отсырелость в ладонях, протянула руку к ящику и отвернулась. Это чтоб Господь не увидел краски на ее щеках... За спиной Нины Сергеевны опять ударили гимны — красивый голос, красивые звуки, но электричка в рай уже не летела...

Трое славящих Христа, сдвинув тамбурные двери, понесли в другой вагон благую весть о завтрашнем празднике, а праздник в душе Нины Сергеевны как-то сузился и померк. Припомнилось, что на родине обожаемого ею Сергея Есенина, в рязанском селе Константинове, храм тоже посвящен Казанской Божьей Матери, и расположен-то он в непосредственной близости от материнского дома поэта. А если бы это было не так, мы бы, возможно, не имели поэта такой духовной мощи.

Если бы об этом подумалось раньше... Если бы в жизни можно было что-либо изменить...

Только раз бывает в жизни встреча,
Только раз судьбою рвется нить.

Ее судьбою со школы считался Алферов Коля, в восьмом они с ним уже ходили под ручку. А замуж вышла совсем за другого...

Все было так, как и предполагала Нина Сергеевна: и мама встретила ее на пороге, и порожки в доме уже подкосились. И было так сладостно, и так больно узнавать и не узнавать родные лица, родные места. Но что-то осталось там, в электричке, а что-то как прицепилось, прибыло сюда с ней.

— Мама, ты знаешь, что такое грех? — спросила она самого родного, самого близкого на земле человека.

— Грех-то? — зорко глядела мать на нее. — Завтра — Казанская. К отцу на могилку надо...

— А церковь в Архарово не сломали, цела?

— Жива, чего ей, — ответила мать.

Привычной, когда-то торной стежкой, какой она бегала в школу, Нина Сергеевна торопко шла среди ржи, держа путь на золотеющий купол. В руке ее отпотевал кожаный кошелек, а под васильковой косынкой на виске билась трепетно синяя жилка. Церковь была, конечно, только предлог: зайти туда специально и положить денежку на восстановление храма Казанской Божьей Матери. Однако сердце колотилось, а все от того, что неделю назад она получила письмо и теперь торопилась в Архарово, где за тем же селом, в том самом поселке, она знала, живет сейчас Алферов Коля — человек из ее светлой жизни, он теперь отставной офицер. Вот сидит, небось, он сейчас там у себя под кленом и, по старой памяти, как в классе, бывало, только и знает, что ждет, как бы это дернуть ее за косичку, чтобы глянуть в глаза ей, когда она обернется. Вот и все, и вся твоя, Нина, счастливая, «светлая жизнь», а не только одной Московской железной дороги.

ШЕРШНЕВАЯ ВОЙНА

Капля попала в лоб, и Денис Оглобин, казачий старшина, вздрогнул, вскочил с постели и полез на потолок: что бы это значило? Лестница под ним шатнулась, и Оглобин зацепил плечом электрическую лампочку. От лампочки пыхнуло пылью, и прямо в лоб Денису Оглобину спикировал какой-то летучий предмет. Оглобин прямо-таки обалдел. А когда предмет загудел басовито и начал виться вокруг его шеи, лица, казачий старшина понял, что это не шуточки, это — шершень. А когда другой шершень попал ему промеж глаз, и еще один, и еще — все стали бомбардировать его, как снаряды от «катюши», Оглобин сделал окончательный вывод, что эти ироды встали на тропу войны.

Еще казачонком-подростком, совершившим рейд по оккупированным территориям в составе кавалерийских частей генерала Доватора, Оглобин был знаком с военной тактикой и стратегией. Скажете, откуда хоть взялись казаки-то тут, в серединной России? Это у царя Петра Лексеича спросите, это еще он прислал с Дона сюда, на Орловщину, казачьи полки для защиты Москвы с юга, от Дикого поля. И Оглобин Денис был еще того, казачьего роду в последнем колене. После 17-го года о своем казачьем сродстве вспоминать не приходилось. Строг был декрет о «расказачивании» Дона. А вот после 91-го послабка вышла. И все кому не лень надели фуражки с малиновым околышем да кинжалы нацепили. Оглобин, хоть и был до пенсии просто учителем в родном своем селе Кологривове, но тоже навесил «банты» и «аксельбанты». И даже по просьбе окружного атамана выезжал в область. На главной площади областного центра в День Победы и в праздник губернии в составе казачьей сотни гарцевал на коне, демонстрируя верность и выучку.

И вот одного казачка привезли из Чечни, похоронили в райцентре. А другой казак, брат его, взял и напи-

сал про него песню. Оглобин сам слышал, как пели ее хомутовские бабы...

Весь этот высверк из давно и недавно прошедшего перемкнул мозги казачьему старшине, и Оглобин забыл, зачем и лез-то на потолок. Под натиском шершней он живо стал спускаться обратно. И так это его, бляха-муха, задело. Ну пчела какая-то, тварь мелкая, а еще оскорблять? «Хотя нет, почему же— какая-то? — мелькнуло в его сознании между ударами молота о наковальню. — Шершень — наоборот, волк пчелиный, изверг! Сидит себе, караулит пчелочку златую, когда та летит со взятком. Придушит ее, медок отберет, а крылышко откусит...» И уже без всяких колебаний казачий старшина хоп рукой шершня с воздуха да под каблук себе хрясь — и нету ваших.

Но тут второй шершень летит ему в правый глаз, а следующий — прямо в рот. Пока Оглобин отплевывается, их уже больше десятка бухают в его бедную голову. Ничего себе процедура! «Что делать?» — такого вопроса для Оглобина, откровенно сказать, никогда не существовало. «Сражаться!» — вот что было всегда начертано на знаменах рода Оглобиных, кровь-то кипела боевая, казачья.

Метнулся Оглобин в кладовку, схватил журнал «Наука и жизнь» десятилетнего срока давности — а ничего, увесистый оболоночек, и давай молотить этим блоком с подскоком — то по воздуху, то по шершням. Щелк — еще один спикировал вниз. Хоп его Денис под копыто себе, сволочь такую!..

И так вошел в раж Оглобин, что и уже не ругается, а просто изничтожает эту тварь вредоносную. Вон сколько у людей по поселку пасек — пчелосемей, а это насекомое базу разбойную у него тут устроило. Сколько пчелок загубили, сколько в заложники взяли, меду сколько отнято у народа! «А вы нам в глаз? — бил наотмашь, рассекает старшина воздух прямо перед собой «Наукой и жизнью». — А мы вам харакири... ха-

ракири... А мы вам Перл-Харбор... тыр-пыр во время чумы...»

Вон уже сколько тушек валяется в сенцах, на полу по углам, а шершни все прибывают. Уж пятнадцать, двадцать, тридцать — мотаются, грохочут, рычат вокруг над его головушкой горькой. Дикий ужас какой-то — «торнадо», «миражи», «хариеры», «спитфайеры» — прямо тебе боевые действия, воздушное сражение общефронтового значения. А Оглобин всего-то старшина; что ж вы на него такие резервы-то гробите, бляха-муха? Но, поскольку он все же казак, а в прошлом учитель, Денис Спиридоныч саблю всего дважды в руке держал, а так все больше ручку — то с чернилами, а то уже шариковую, с пастой. Ну еще, конечно, классный журнал, в котором будущим защитникам Отечества лепил то «двойки» по поведению, то, в крайнем случае, «трояки», —казачата же, озорной, бедовый народ...

Некоторые, например, эфес от Эфроса до сих пор не отличают. Это им все равно, — путать вертолет с самолетом, шершня с осой, его самого — Оглобина — с Марфой Прокониной; вот с кем спутали его, хотя она не казачья баба, индивидуальная по мелочам. Эта баба жизнь на карту ради идеи большой не поставит, мужику чарки в седло не подаст, когда призовет казака атаман...

— Бах-бух-бых! — бьет наотмашь Оглобин «Наукой и жизнью» летучие эскадроны. — А мы вас!.. мы вас!.. вы нас!.. вынос... вы нас в нос, а мы вас в жо...

На этом месте номера выпадают из рук Дениса Оглобина, и журнальчик один, шлепнув на пол, раскрывается на 125-й странице. Не мракобес же он, в самом деле, не неуч дремучий, но так, если подумать, тоже хорош : глаза — цвета болотца хиленького, пиджак в кольцах сизого дыма от трактора. Как казака родового, человека от земли, Оглобина всю жизнь клонило к сельскохозяйственной терминологии, сбивало на обиходную речь. По причине небольшой учительской зарплаты он в сезон еще и подрабатывает на комбайне,

косит кологривовские хлеба, приводит в порядок окружающую среду и местную экономику.

Так вот, присел Оглобин на карточки возле стеночки, впился в статью журнальчика. А она — что гласит? — про волков канадских, которых сюда к нам из-за границы завозят. Вроде не только хлеба нам не хватает, но даже и этих подлецов-хищников, волков. Ведь они — са-ни-тары! Очищают местную фауну, зайца заставляют крутиться. А то, если зайца не гонять, вид его совсем охренеет...

И тут Денис Спиридоныч, уведенный в сторону живой творческой мыслью, про этих своих волков пчелиных — про шершней позабыл начисто. А когда вспомнил, плюнул с досады и возвратился в постель досыпать...

А дальше пошло-покатило непонятно что, прямотаки фантастика. Шум за окнами возник, видимо, ливень. Спится под него хорошо, прямо замечательно. Однако уже на рассвете шлеп Оглобин рукой по одеялке — лужа! И откуда хоть? От верблюда! Нет, с матицы на постель к нему накропало-накапало, да уже и не капает — льется. Капли ядреные, ливневые — садят вниз в него вроде этих чертовых шершней!.. Опять вспомнил Оглобин про дыру на крыше и потащился на потолок. А под дыркой, под самым коньком, давно еще поставлена жестяная банка из-под селедки. И через нее уже верхом идет, весь потолок набутило. Бляха-муха, чертовы куклы!..

На другой день поехал Оглобин к матери, она живет со старшим сыном Володькой на западном крае области. Ехал-ехал казак, половину расстояния проехал и, только миновав свой областной центр, крепко задумался: «Это какие же слова слышал он от хомутовских баб про казака, привезенного из Чечни?» А в глазах вместо этого шершни опять же мотаются. Сколько же он их набил — не сосчитаешь. И не предал ведь захоронению. А это дело святое... А еще соседка Марфа

Проконина накануне поездки перешла ему дорогу с пустыми ведрами. А ведь он еще прошлым летом на эту бабу глаз положил. «Надо вернуться, — соображает Оглобин. — Пути все равно не будет». Возвращается Оглобин с полдороги в родные места да прямо к Марфе.

— Ты с пустыми ведрами дорогу мне перешла.

— Ну и что? Вернулся?

— А честность твою, — говорит, — проверяю.

— Во дурак, — засмеялась Проконина, не казачка, но органически бесоватая, крупная такая женщина. — Да мне уж за пятьдесят. Нашел, кого проверять. Да и вообще, кто ты такой, чтобы на меня покушаться!

Во бля, бляха, шершни эти — санитары волчиные! Путают человека, мозги ему компостируют... С тем и ушел казак восвояси. Так и жил.

И тут передают Оглобину в Кологривово через ту же Проконину привет от хороших людей: «Иди, мол, на центральную усадьбу, в сельскую администрацию. Деньги дают — детские». — «Какие детские?» — «Ну какие? Обыкновенные. Ты же учителем был? Дело с детьми имел? Значит, получишь. А чернобыльские, говорят, уже отменили».

Пошел Оглобин в свою сельскую администрацию, а там его на смех подняли.

«Ты что, — говорят, — мать-героиня, что ли, детские получать?» — «Во бля, шершни эти поганые! Что вытворяют! Путают тайной силой своей, черной магией...» Ну, и так далее. Хоть на белом свете не живи. Хоть двустволкой гладкоствольной, а дом казачий должен быть доукомплектован. А тут кругом все у него идет, шершни с портретом Прокониной перед глазами мотаются. Пошел Денис к своей обидчице, честью мужской пренебрег. Марфа — баба тертая, но ленивая, котуха от сарая своего не откатит. Вот она ему и говорит, как бы советует:

— Слазай на потолок. Глянь, чего там у тебя?

Знает Оглобин, когда колдун помирает, доску на

потолке отдирают. И тогда душа у того отходит спокойнее. «Что ж я тебе колдун, что ли?» — идет Денис от Прокониной и терзается мыслью, какой товар пропадает, как же он в спаленку к ней до сих пор не пробрался, до интима в сфере совместимости не дошел, или, может, там у нее кто-либо еще обретается? «А если я колдун, — думает он про себя, — и, может, не знаю этого про себя, то откудова тогда черти меня терзают, воображение насчет Прокониной искажают в худшую сторону? А что, если доску попробовать самому оторвать?..»

Берет Денис Оглобин в руки топор да к Прокониной. Едва на порог, как вот она, тут как тут:

— Помирать, что ли, Спиридоныч, ко мне собрался?

— Докаркаешься!

— А чего доску пришел отрывать?

Все видит падла. Рентген внутренний! Полез молча Оглобин мимо нее на потолок — аккуратно этак, лестницу не качает, плечом лампочку не сбивает. Ну их к черту, шершней этих! Навоевался, как в Чечне там. И видит он тут у Прокониной под крышей-то, на самом коньке изнутри, опять же эти круглые, белые, сухие, как бумажные, гнезда. И здоровенные, с решето! Словом, гнезда-то не осиные — ясно, шершневые, во бляха!

И давай Оглобин махать по ним топором. А они, падлы, вниз на пол да на Проконину, а Проконина, не долго думая, да в мешок их, в мешок — тварей этаких! Ишь, расплодились, как пчелы кавказские, нашу пчелку совсем бы стоптали...

«Эко баба ненасытная», — сопоставляет Оглобин себя с Прокониной не где-нибудь, а в постели. И сам вслух говорит:

— Понял я тебя, понял. У тебя же пасека, пчелы.

— И я тебя поняла, — стоймя ставит она перед ним мешок с шершневыми гнездами, а сама вся играет перед ним, всеми фибрами, ямочка на щеке. — Приходи вечерком, подлечу.

— Одна летчица летала, мужиков позамотала, —

грубо сказал Оглобин, а сам подумал: «Баба-то — порох, Эверест! Без лестницы не залезешь...»

— Успокойся, дурак, — сказала резко Проконина, будто насквозь видела его глупые мысли.

И он успокоился. Мешок с шершнями в лес далеко не понес, а в сад проконинский выволок, к омшанику. Привалил к тому углу, где Проконина ночует. Поближе к ее постели, к ногам, которые ночью-то, когда спит, Проконина вот как широко раскидывает, — а ничего, пусть целуют в самую горячую точку планеты. Эту бабу только шершнями угомонить можно, бляха-муха!

А через недельку, когда Оглобин переселился уж к Марфе на постоянное жительство, решил он заключить со своими шершнями — под крышей своей хаты — мирное соглашение. Пусть живут себе, здравствуют, чтобы еще и их, злодеев, не пришлось, как и волков-санитаров этих, привозить из Канады.

А как узнал, что на днях в Малоархангельске, что на юге Орловщины, от укуса пчелы погибла Косоусова Надя — здоровая, сильная женщина, так и вовсе уверовал в свою правоту. Все в мире должно быть в равновесии. И пчелу тоже надо обуздывать, когда она просто так — сдуру, а не с медом летит по широким просторам цветущих полей!

ДЕЛО МАГАРЫЧЕВОЕ

Соседи мы по даче, дружим семьями, и на ж тебе! Бабы поссорились, женщины. Одна синего цвета платье себе купила, а другая — неопределенного, хотя одного и того же фасона. Но оба платья, естественно, не парижские, а местной артели, где тоже шьют теперь по парижским моделям.

Но та, у которой платье было неопределенного цвета, похвалилась, что оно у нее какого надо, а именно «сложного», современного цвета. А эта, у которой было

синее платье, назвала свой цвет васильковым, достойным, а чужой цвет — каким-то мутным, «бала-мутным»... Гнилая задница! Чтобы она платье такого цвета надела — да ни в жисть! Да хоть к стенке ставь! А свое платье надевала уже раза три: то в магазин, то в поле ходила свеклу тяпать, а то просто по поселку гуляла, как по бульвару какая-нибудь парижанка...

А эта «баламутка», местная «буржуазия», в семье у которой две авто и три стиральные машины, недолго думая, хрен почистила, а очистки «парижанке» той на огород бросила, дескать, попомнишь меня. А вдобавок еще и кран перекрыла соседке-то. А ведь не ноябрь-месяц, июнь толечко, самый полив. А тут — кап-кап-кап. Побежал муж «парижанкин» к тем, что в центре поселка, поближе к башне — там течет. Прибежал сюда — у соседа течет. Прибежал к себе — не течет... Вода — дело тонкое. Это раньше делали так: хвать топор и бегом на Бастилию выбивать начальнику зубы. И теперь тем же колом чуть ниже уха или в самое брюхо, а после маются-каются, пьют за здоровье, во здравие или — за упокой. А потом, когда эти врежут тем с окончательным решением, так те после и говорят: а чего теперь подавать на них, все равно человека нет, не вернешь, оттуда еще никто не возвращался. И вот вместо революции, которые всем уже надоели, в гробу их видали, ныне в моде — на почетном месте, в лентах с красным бантом, — эволюция! И вот как она в таком деле, как вода, в настоящий момент выражается.

«Парижанка» тых-тых, хлоп-топ: муж, давай воды! Где хочешь бери, твое дело мужское, а вода чтоб в доме была. В самом деле, сколько надо ее: и под саженцы, и на огород — помидоры, капусту, огурцы поливать и под яблоню, под смородину. Хорошо хоть скотины нет — ничего, кроме кур. Вот муж «парижанкин» метался-метался, клялся-божился, а потом решился. Чем самому пить, даже хоть и на Троицу, взял и отнес куда надо, НЗ — неприкосновенный запас тайком от супру-

ги. Поставил эту пресловутую бутылку «московской» соседям на камень, что возле творила в погреб, там кран в земле, когда надо, перекрывается...

Утречком побежала жена, «парижанка» эта, воду включать. Бежит назад — земли под собой не чует:

— Вода пошла!

И объясняет мужу: на ночь Богу молилась, Господь услышал. А к ихней калитке сосед уж идет вразвалочку — муж баламутки, у какой платье мутного, «баламутного» цвета. Махнул рукой сюда — «парижанкиному»-то мужику, дружку своему закадычному:

— Давай, выходи за сирень!

А «парижанка» заметила этот маневр и говорит мужу:

— Чего это он?

А муж «парижанкин» и говорит своей «парижанке»-то:

— А тоже радуется!

— Чему?

— Да что вода у нас пошла... Вот дело какое — магарычевое. Ваши платья обмывать надо, чтобы они сделались одного, понимаешь, «соплошного» цвета. А то шьют по одним моделям, а цвета, понимаешь, разные! Глубоко задумано из-за границы, это подрыв всей нашей Солнечной системы, но мы на это дело не пойдем!

— Нет, конечно, — засмеялась супруга его «парижанка», которая внутренне была очень и очень довольна тем, что платье лишь у нее у одной все же самое-самое, очень «сложного», василькового цвета.

НА ЯРМАРКЕ

Чего только не наслышался я о предпраздничных ярмарках, о смысле их существования: и сбыть залежалый товарец, и потрясти у соседей монету, умыкнуть теневые деньги из другой области, и чтоб люди от очередей не отвыкли. Но никто о главном не говорит:

что подешевле можно что-то купить. А народ на ярмарку все равно валом валит. Один мой приятель, вместе учились когда-то в вузе, приехал в город на ярмарку — специфический насос полетел у него там на поселке, и насос такой трудно достать.

— И что же? — говорю я, остановясь как раз перед транспарантом с длинным названием какого-то района.

— Надо же — и у нас в области точно такой же район, с таким же названием, — говорит приятель, вглядываясь в транспарант. — Глухой, отдаленный райончик. На крайнем востоке... И потому мы, — говорят они, — первые, с нас красное солнышко, говорят, начинается... А цены-то, цены! — кивнул мне приятель.

— Дело не в этом, — говорю я.

— А в чем же?

— А в третьем сословии, — говорю, — проще сказать.

И тут по площади зазвучали песни, поодаль от машин прошли по асфальту хромовые сапожки и полушалки цветные пронесли под гармошку, идут вперемешку с частушками девки, семечки лузгают.

— Да не туда глядишь, — говорит мне приятель. — Вон оно — первое сословие, властители жизни. Вон куда надо смотреть, — и показывает на милицию с рациями, а далее — масса какая-то движется, большое начальство пожаловало. Отошли мы от греха подальше в стороночку, в скверик. А приятель мне и говорит: — Сколько с этим насосом ношусь, ятить твою мать!.. Помню, в первый раз насос полетел, так я другу позвонил, предрику, вместе на курсах были... на другой же день насос привезли. А теперь звонить некуда, а на поселке одни старики... Предрик уже во-он где — генерал-губернатор. Со спецохраной, не подойти.... И вот такая история. Приехал я недели две тому в свой областной город... Ну, насчет насоса хлопочу, насос замучил, «ходок» я от имени и по поручению... И вот оказался я у таких же машин, такого же Красноподсолнечного района. И точно такая же людская

масса, как и сейчас вот — река в реке, течет мимо... Не люблю я больших митинговых скоплений, отвернулся, гляжу на прилавок — семена, красивые этикетки. Весна, скоро сеять, — думаю. И тут сзади кто-то хлоп меня по плечу да по фамилии, обернулся — генерал-губернатор, друг мой, бывший предрик. Полуобнял меня этак. Обнялись мы бы и покрепче, кабы не эти глазищи вокруг: монолиты... в три ряда, рыцари революции... В полсекунды охватил я их. И что, главное, вижу, облако над всеми — серое, неживое какое-то, как бы нимб, но отрицательный, с минусом... глаза-лезвия, уши не топориком, а колуном, глазами прямо-таки пожирают— как это мы с их генералом так близко стоим...

— Ну и как, — говорит он, — живешь, Вася?

— Руцкой, что ль?

— Да известно как, — говорю. — С нас солнышко красное, известное дело, встает.

Засмеялся он и говорит:

— А что ж ты ко мне не заходишь-то?

— Охрана специальная, — говорю я и вдруг для себя неожиданно: — А когда?

— Да хоть завтра.

— Ладно, — говорю.

А сам гляжу, сзади-то серое облако все выше, выше, к солнцу уже подбирается. «Ого, — думаю. — Стоят, не улыбаются, гроза, того и гляди, разразится...»

И тут из третьего ряда выскакивает человек да ко мне, за руку меня трясет, шепчет что-то. Тоже наш, красноподсолнечненский. Тьфу ты, Господи, сразу и не выговоришь... Ну, второе, второе лицо. А кортеж тот сдвинулся и далее пошел. А я бреду на свою автобазу и думаю: «Для чего хоть столько начальства в кучку собирается? Люди, конечно, не простые. У каждого свое биополе, своя энергетика. Только разная, кто куда. А ему нужно, чтобы все заодно, в кулаке. Вот генерал-то их и гоняет, сплачивает. А от них так и

пышет — гром и молния, грозы раскаты, аж жуть! Сколько электричества выделяют. Шаровидная молния, вижу, над ними плывет...»

— Ух, как это ты! — говорю я в восхищении. — Как все это ты описал! — про себя я понял. — Ну и что далее?

— А-а, — махнул приятель рукой. — Популистские методы. Себялюбы. — И далее не стал говорить.

Отшумела ярмарка, уехал однокашник в свою область. И вдруг вчера поздний звонок.

— Алло! — говорит все тот же знакомый голос. — Ну что, появился в продаже у вас там, в магазине «Водоканала», насос?

— Который взасос? — смеюсь я. — Да целая башня водонапорная продается, но, к сожалению, вручную, без электричества. Ну и что генерал твой — приятель? Просил же тебя заходить в Белый Дом.

— Собрался с духом, пошел к нему, — вздохнул однокашник, — а встретило меня не то — второе лицо. А это второе лицо меня — к третьему, а третье —к четвертому. Прямо целое облако в штанах... серое такое, как саранча... «А насоса нет», — говорит мне четвертый. «Что ж это вы, — говорю, — к дворнику-то меня препроводили? А где генерал?» — «Да в командировку, — говорят, — уехал к египетским пирамидам». — «Так что — подождать?» — «Нет, — говорят, — не жди. Пока генерал маршалом не станет, ничего, браток, у тебя не получится».

— Ну, и что? — спрашиваю по телефону своего однокашника. — Чего дальше-то?

— А то, — говорит мой однокашник. — Взял я и бумагу им на имя генерала оставил. Пусть читают. Может, ответят письменно в конституционно положенный месячный срок?

— Да ты что? — смеюсь я. — Наивный ты человек.

— Ответили! — усмехнулся мой однокашник. — Из другого департамента. И по телефону... В общем, что

это вы, — говорят, — генерала-то беспокоите, носитесь со своим дурацким насосом, как черт с писаной торбой?

— А я им и говорю, а вы слышали про солнечное затмение, планируемое на 11 августа 1999 года?

— Ну, слышали! — говорят. — И что?

— А то, — говорю, — что народ опасается, может случиться непоправимое. Все бюрократы как застрянут на ярмарке тщеславия, да так без воды и останутся. Систему, — говорю, — надо менять. — Систему? — говорят. Ничего себе. — И вот я сижу без воды-то, а не они. И звоню тебе: а как там у вас? Ну, в вашей области? Как насчет водонапорной башни и солнечного затмения?

— Да как и у вас, — отвечаю. — А то как же? Солнце-то одно. Как замкнуло затмение, да так и стоит в одной поре, в черно-белом изображении. Где цветное — Европа-плюс, где не цветное — Европа-минус, а мы как раз посередке.

ИНВЕСТОРЫ

Доцент Маликов объявил себя дома, жене своей Эльвире Матвеевне, деполитизированнным, вне всяких партий и общественных организаций. Хватит! Побыли под эгидой одной-единственной, руководящей, и амба. Надо почувствовать себя, наконец, свободным. Он даже из профсоюза вышел, чтобы не платить этот безразмерный, безрассудный процент. А зачем состоять? В дома отдыха он не ездит — что, шуры-муры там разводить? Мед в профсоюзной лавочке не покупает. Признает, правда, лишь Пенсионный фонд, в который с него еще со студенческой скамьи сдирали, бывало, в бухгалтерии университета. А государство взяло и экспроприировало этот самый устойчивый, благополучный из всех фондов, когда-либо существовавших в мире, по псводу чего даже министр социальной защиты Элла

Памфилова и та выразила озабоченность. Всю свою сознательную жизнь доцент Маликов преподавал атеизм, а теперь, наоборот, ему предложено читать историю религиозных конфессий.

А тут еще жена Эльвира масла в огонь подливает. Пришла как-то с рынка (на рынок она теперь ходит черте куда) и говорит:

— Эх ты, тупой доцент! На кафедре социальных наук работаешь, а на два шага вперед не прогнозируешь. А между прочим, простые бабы дальше вас видят.

— Чего это они у тебя там напрогнозировали? — отвечает осторожненько этак Денис Давыдович.

— А, например, говорят, мы вас, пенсионеров таких, в гробу видали! Мы на вас пашем, трое работающих на одного... А где же наш Фонд пенсионный, на какой мы всю жизнь корячились? Пенсии задерживают, скоро вообще, говорят, платить будут раз под глаз, а два в уме.

— Ничего-ничего, мать, — хорохорится Денис Давыдович, — энвестиции нам помогут.

— Между прочим, не э...энвестиции, а инвестиции. Что у тебя — машинка, что ли, «с турецким акцентом»?

На это уж, извините, Денис Давыдович завис в своих оскорбленных мечтаниях. Что он не знает, что ли, как это пишется, рядовой грамматический факт. Но говорит так специально. Ему так нравится. Очень даже красиво! Как-то таинственно, «энтригующе»: «Эльвира», «Эдуард» (это который звонил уже дважды, представлялся как сотрудник, коллега лично Эльвиры), «Эверест», «э...эндустриализация»... «и...имансипация»... (тьфу ты, запутался, черт ногу сломит)...

— И ларьки, между прочим, по троллейбусным остановкам закрываться стали, — моет под краном Эльвира Матвеевна принесенные ею фрукты.

— А на рынке фрукты, между прочим, тоже по деньгам... То ларьки, как грибы, повырастали, а то все как рукой смело. Говорят, налог непосильный, по восемь

старых «лимонов» за квадратный метр площади. И тут же кому надо свои магазинчики лепят — «Клюковщина», «Клюковская нива»...

Это Эльвира так под него ковры стелет. Знает, как и всякий государственник, что там у них плодится всякая наркомания и проституция. Однако на сей раз Денис Давыдович отвечает совсем ведь иное:

— Ну и чему радуешься, кукла?

— Как чему! — вспыхивает Эльвира. — Борются ведь... власти...

— С чем?

— С наркомафией и этой... как ее...

— С конвергенцией? С «клюквой»?

— Да, — говорит Эльвира уже неустойчиво от непонятности смысла.

Денис Давыдович заходит на кухню, чтобы что-нибудь перехватить, торопиться надо на лекцию, а тут ввязывают в дискуссию.

— Э...энсинуация! — закрывает Эльвира мощным торсом кастрюлю с гороховым супом.

— Инсинуация! Это — во-первых! — заводится с полоборота Денис Давыдович.

— Во-вторых, сам будешь ходить на базар! — отрезает Эльвира. — Учиться конкретной экономике.

— Много ты понимаешь, — ворчит уже так, без напора, Денис Давыдович и тянет входную дверь на себя.

Доцент Маликов выходит из подъезда с портфелем, и лицо его принимает выражение, соответствующее его роли в университете. Действительно, на остановке ларьки как корова языком слизала. Кроме, конечно, архаики: «Срочный ремонт обуви», «Роспечать», «Мороженое». А ведь было-то штук пятнадцать, один на одном. Зато напротив, через дорогу, воздвигается магазинчик «Клюковщина», а рядом уже красуется «Клюковская нива». «Ломаем — тут же строим, строим — ломаем! — возникает у Дениса Давыдовича раздражение и тут же перебивается привычным анализом жиз-

ни. Однако должен же быть в этом какой-то резон. — Магазинчик — это хорошо, это — со входом, чтобы водку можно было продавать шито-крыто. Так, да?»

На другое утро жена Эльвира приходит с Центрального рынка и говорит мужу:

— Скоро сумки носить перестану!

— Почему?

— А сами на дом будут возить.

— Прекрасно! И кто тебе это напрогнозировал?

— А бабы на рынке. А уже если по народу что-то идет, — напускает таинственности Эльвира Матвеевна, — значит, так оно и будет.

— Вряд ли этот номер пройдет, — высказывает предположение Денис Давыдович.

— А какой номер-то, знаешь хоть? — подходит супруга сзади к нему, присмирев, лирически, так близко-близко впервые за всю эту неделю.

— И какой? — делает стойку Денис Давыдович.

— Пенсию, говорят, будут теперь платить...

— Чем?

— Капустой! Половину деньгами, а половину — продуктами из «Клюковщины». Сами и привозить будут э...инвесторы эти, местные производители... почетные доктора наук, профессора, академики...

— Дак это же отлично! — Денис Давыдович так и просиял.

— Чему радуешься, тупой доцент! — вспыхивает Эльвира. — Походи со мной на базар, все станешь соображать. В «Клюковщине» цену любую назначат, а то — рынок, рыночные отношения...

— Ленина не читают, — смотрит доцент Маликов в подернутое туманом окно, а за окном вовсю шпарит дождь. А ведь Бычков, диктор местной телерадиокомпании, только что опять предсказывал «ясно». «И шага вперед не просчитают, — подумал доцент Маликов о самых высших, божественных сферах. — Монополисты! А еще критикуют «два шага вперед, а три шага назад».

БАНКИР

«Банкир»... Новое для нас это слово, новое. Закордонное какое-то, затверделые ассоциации. Однако у меня оно вызывает ностальгию, даже светлые чувства, возвращая в детство, хотя и в трудное, послевоенное.

Банкиром мы тогда звали Кольку Беспалова — своего однокашника. В нашем райгородке Малоархангельске, пострадавшем от войны, пожалуй, побольше других. Отец у Кольки сразу же после освобождения был в самом деле банкиром. Управляющим районной конторой Госбанка, ого! А ходил до того затрапезно одетым, как и его Колька, который, как и все мы, полубеспризорничал. Мать у них разбомбило, и самой главной мечтой Кольки было наесться от пуза и накормить сестру с братом. И вообще, сердце у него болело за всех. По окончании школы Колька Банкир пошел в водолазы. Мы изумились этому, а потом догадались: а чтобы достать со дна морского сокровища и наделить насущным всех страждущих...

И вот недавно я собираюсь к банкиру. К настоящему, современному. Какие они хоть бывают-то? Ей-богу, увижу впервые в жизни. И плохо сплю ночь — ворочаюсь, просыпаюсь. То он представляется мне с лицом женщины, которая ранее тебе уже отказала в просьбе. То с простым, ясным ликом Кольки Беспалова... банкира нашего...

Я тоже водолаз в своем роде. Можно сказать, со дна морского уже извлек сокровище, цены которому нет. Не было прежде никогда в нашей, даже дворянской, культуре такого собрания переводов на русский! Цвет французской поэзии, одно из высших достижений человечества — «Антология французской поэзии»! Около семисот стихотворений шестидесяти авторов. При высокой оценке специалистов. Для сравнения даются параллельные переводы таких корифеев-поэтов и переводчиков, как Бальмонт, Брюсов, Пастернак,

Иннокентий Анненский, Левик, Кудинов, Арго и другие... Неужели все это нужно только мне одному да еще, может, тому водолазу из детства — Кольке Беспалову?..

И вот я в настоящем банке. Зачем я здесь? А чтобы поэзия зазвучала в душах, в культуре, двинула всех нас далее по пути цивилизации, чтобы переводы стали реальным фактом, и нужны, разумеется, банки и банкиры. Ловлю в этом — настоящем банкире черты того банкира — из детства... Черты лица, конечно, другие. Другая фамилия — Калмыков Валерий Васильевич. И банк не тот районный, а нынешний — «Российский кредит». Но что-то должно же быть от традиций? Вряд ли этот Калмыков знает такого гигантского поэта из калмыцких степей — председателя Земного Шара, как Велимир Хлебников. Так «водолазы» мы или не «водолазы»? Или сокровищам так и оставаться лежать там, на дне морском, дожидаясь других поколений, а наше поколение пусть пролетает?.. Да или нет — вот в чем вопрос!.. Каждое поколение выражает себя эстетически, каждое поколение заявляет о себе, в том числе и в переводах. Иначе после Пушкина не было бы Блока, а после Блока — Есенина...

* * *

P.S. А ведь этот «Российский кредит» Дом книги под офис себе отхватил. А свой, что у «молочного рынка», под жилье, под «палаццо» отстроил. Не Савва Морозов, не Цветаев, не Третьяков, без которых бы не было ни Шаляпина, ни музея Пушкинского, ни Третьяковки... Пусть хоть за этот Дом книги делают что-то для книг, для культуры...

В издательстве, куда принесу я этот рассказ, пусть хоть это станет сигналом к сбору подписей, чтобы издать важную рукопись за народные деньги.

КОНЕЦ СВЕТА — ЛЕОНИДЫ

(эксклюзивное интервью)

В районной газете я уже вторую неделю работаю. Все, согласно закону, должны давать интервью. Это чтобы знал народ, что в районе и в мире, и даже на Луне происходит. Но интервью по доброй воле мне пока не дают, кроме тех, кому зарплату не платят. Эти выражаются изобильно и круто, однако такие нам не нужны; ищи, говорит редактор, «подвижки», положительные примеры, сплошь положительные. «Да, — говорю, — что вы, не видите что ли, газетки не раскупаются». Однако первыми, вижу, стали на это переключаться поэты, кроме тех, конечно, какие уже на небо отправились. Но и там, как заметил редактор, их ждет глубокое разочарование. Секта «белые братья» под впечатлением этого сделала заявление, что в конце второго тысячелетия намечается конец света. Его вызовут частицы, движущиеся на землю со страшной скоростью, так называемые Леониды. И первыми попадут под их «ковровое бомбометание» те поэты, которые ранее всех отправились в космос...

Вот Шустряков Виктор, друг мой, из комитета по экологии, ни радио, ни газет не слушает, не читает, не признает. А если что и услышит или прочитает, так все напрямую понимает, а как понимает, так и лепит. Без всяких метафор и переносных смыслов. Я уж его учу-учу, говорю ему, говорю, но глухо, как в танке. Малый-то из детдома, гибкость только в проекте, там всегда была военная диктатура. Так вот у кого я решил взять свое первое — эксклюзивное интервью. По вопросам экологии.

— Ну что, — говорю, — Василич, белые тапочки шьешь?

— А зачем?

— Так, это... белому свету конец. Вон уж Югославию долбят, НАТО надвигается, Леониды летят.

— Это как понимать — Леониды? — стекленеет взгляд Шустрякова. Всегда светлеет от больших внутренних смыслов, когда речь заходит о его политическом кредо. — Это те, кто еще в небе или уже на земле?

— Ну и те... и другие...

— Не-ее-ее, — отстраняется от меня Шустряков. — Я с вашей песнебратией делов не имею. Заварили кашу, сами ее и расхлебывайте. Другое дело, акватория небесного океана — это моя стихия... А если бы Леонид этот не пересидел, Югославию бы не бомбили.

— Как это пересидел? — становлюсь я в позу. — Когда большие люди уходят, всегда слезы льют, кажется — рано.

— Леонид Ильич Брежнев, — чеканит мне Шустряков, — отсидел на командном пункте лет восемнадцать, да? А если бы десять, то всего остального бы не было. А то теперь все в наборе: коллективизация... деградация... ковровое бомбометание...

— Вот, — говорю, — какой упрямый попался! Меньше вмешивайся в природное самоочищение... Все звезды считаешь, в трубу подзорную лупишься, а заметил, как кусок огорода у тебя оттяпали...

— Как это? Кто это?!

— Да те, — говорю, — у кого звезды не на небе, а на земле. Сколько средних звезд у твоего начальника — три? Полковник, значит, меньше нельзя. А вот в области в вашей системе уже два генерала. Это на одного козла безродного и на волка одноногого, завезенного из Канады... Из Польши зубра везут — полковник твой уже дырку на пиджаке колет, тоже Леонидом зовут. Брежневу-то, говорят, ажник грудь расставляли, шире делали.

— Еще шире? — удивляется Шустряков. — А для чего?

— А в связи, — говорю, — с повышением цен на бензин.

— Это правда? — округляются глаза у Шустряко-

ва, Шустряков впервые слышит информацию такого класса.

— Ну да, — очень уж я откровенный, если меня раскочегарить. — Сколько их у нас — Леонидов-то? И летят снизу вверх, сверху вниз. И летят себе, и сгорают...

— То-то я смотрю, так светло на небе, — искренне радуется Шустряков. — Хвост анадысь протянулся во все августовское небо. А утром объявили: сняли премьера...

— Анадысь! — передразниваю я Шустрякова — Агамемнон. Исторический музейный экспонат. Наив! Ну, наив невозможный! Сколько лет тебе, дед? А ни хрена не варишь башкой-то, сусед. Из-за вас, таких деятелей, страна и рухнула, — а сам направляю его, направляю на самую остроту в интервью. А Шустряков, ничего подобного, уклоняется от остроты, уклоняется от остроты, уклоняется. Ух ты, как от культа-то настрадался! Заполошный деятель нашей культуры.

— Я, — говорит, — работник самосохранения окружающей среды и человек законопослушный, в нашей системе все в порядке, если без рассуждений.

«Это он про свою-то мафию так, где уж два генерала на сорок тысяч братьев на одной муравьиной кочке. Это как Гамлет — Офелии: «...и сорок тысяч братьев так любить не могут!»

— А чего ж тогда, — говорю, — подзорную трубу наводишь на окно кабинета главы администрации. Для чего это?

— А откуда ты знаешь?

— Да из дома моего, — говорю, — с огорода видать! — и злюсь уже не на шутку, вот работа, называется, нервная. Никак в оглобли его не загонишь, интервью эксклюзивное не получается. Теленок все с дубом бодается...

— Ну, фольклор! Ни в какие ворота не лезет, — хохочет в глаза Шустряков. — Чего только не накле-

пают в вашей редакции на нашего брата. Но, на всякий случай, передам своему начальнику, пусть доложит главе.

— Это тебе с твоим звездочетом, — вышел я из себя, имея в виду его начальника, — не лосей стрелять с высокими гостями из Орла или Москвы. А шкурки прятать где-нибудь на Луне...

— Да ты что! — наливается кровью Шустряков, даже на глаз один окривел, ведь детдомовский же, переносных смыслов не понимает.

А я рад, что достал, наконец, взял у него это самое интервью, как скальп снял с ихнего брата чиновника. И поставил на этом, как говорится, победную точку! Дай редактору принесу, пусть читают читатели. Если понравится, дорогие мои, можете это считать первым моим таким эксклюзивным интервью — про конец света и Леониды.

ПРО СТУЛЬЯ

(глупые рассказики)

1. Казематы Толстого

Вот писатели и говорят жене моей про меня: это ты его сделала писателем. Жена моя поверила им и говорит мне: это я тебя сделала писателем. Как Софа Андревна — Толстого. Своим немецким порядком. Вас таких — львов русских — в клетке надо держать, чтобы из вас что-нибудь человеческое получилось. А я ей и говорю: ну да, в каземате, как Льва Толстого. А то, бывало, Лев Толстой как вылезет из своего подвальчика — ребеночка сделает, вылезет — еще ребеночка. Вон сколько раз вылезал. А как не вылезет раз — «Война и мир», не вылезет два — «Воскресение».

2. Московская барынька

Вот жена мне и говорит: что ты к телефону не подходишь? Так сижу ж в «каземате», работаю. — А она мне: а то вот в Москве, в музее Льва Толстого, гиды рассказывали. Приходит к Софе Андревне одна барынька московская: покажи ей Льва Толстого да покажи. Ну Софа за ним, а он и там — в дальней комнате, в самом углу. Ну, явился Лев Николаич, ступил на порог — босиком да прямо с порога барыньке: ну что, поглядела?! Барынька — ах, и в обморок. А Софа на Леву: вот хам! Хоть бы обулся. — В другой раз, говорит он, Петю пришлю за себя. — Какого? — Ростова. Он в моих сапогах, говорит, как раз ходит, разнашивает. Скажешь барыньке: вот, мол, Толстой, в сапогах! А то, мол, был какой-то босяк московский. — А молод, — скажет. — Какой есть, такой и пришел. Босиком из Ясной Поляны. — Ну так молодой зачем ей, ничего не написал еще, не интересно. — Вот ты ей и скажи тогда: что если Лев Толстой, то даже и без порток хорош, интересный.

3. Легкое перо

Вот Лев Толстой приехал в Орел. К родственнику, к генерал-губернатору. Тот пролетку на вокзал выслал, а Лев Николаич пешком шмыганул. Вот он идет вместе с народом, а бабка тяжело несет — вязанку дров на себе. — Дай подсоблю, говорит. — Ну подсоби, подсоби, дедушка. — Вот несет он дровишки и говорит: а что, бабка. Толстого видала? — Нет, не видала. Но, хоть и Толстой, а в теле, говорят, вроде тебя — жидковатый...

А когда узнала, что старец тот был сам Лев Толстой, так после говорила всем: граф, а вон на себе сколько способен тащить. Из всей вязанки выбрал себе одну хворостиночку, перо вставил, так теперь и пишет им. Ручка-то его — моя, перо легкое-легкое.

4. Копия Бунина

Вот узнал директор Дома народного творчества Аксютин, что я еще и песни пишу, и говорит: а какие у тебя художественные приемы? — А никаких приемов, говорю. С детства грешу. Стихи пишу — как дышу, а песни пою — как птица в раю. Вот они с директором областной библиотеки имени (бывшей Крупской) Бунина — с Валерием Васильичем — послушали меня и говорят: не может этого быть, художественных приемов нет, а получено большое удовольствие. — Да вот, говорю, один скульптор сделал Бунина. С помощью художественного приема. Вон он стоит — Бунин-то, напротив библиотеки. Говорят, на Егора Щекотихина похож. Вот все теперь глядят на Бунина возле библиотеки, а думают про Егора Щекотихина, всем нам знакомого, тоже любителя всяких произведений.

5. О литературном облике

Вот писатели и говорят, а на кого ж тогда Фет похож, что на Дворянском гнезде, возле Дома писателей, что недавно восстановлен? Одни указывают на писателя Лободина Игоря — нос такой обостренный. Другие — нет, то поэт, а этот уже прозаик. Наверно, на Лысенко — директора книжного издательства. — Нет, что вы, — говорит один прохожий с острым глазом. — Наверно, на Курнакова, только без бороды. — Это какой же такой, художник, что ли? — спрашивает другой прохожий. — Тот, что под писательский домик, гляжу, подкапывается, завалить его хочет с помощью склепа, который строит, что ли, себе при жизни? — Вот я ему и говорю: — Эх ты! А еще в шляпе. Во-первых, это не склеп, а мавзолей, ибо он народный художник, еще при том режиме стал. А во-вторых, говорю, пущай строят, место живее будет. А то, когда Дом писательский реставрировали, так писатель Громов, не особенно желая переезжать сюда с центральной площади, в двух

шагах от своего дома, и говорит: так глухомань-то какая, в конце улицы. Вот писатели напьются да и скатятся с оврага прямо в речку, в Орлик, который вспоил и не одно поколение поставил на службу Отечеству. — А вот, говорю, не скатились же. Писатели умные, не доходят до края. До Фета дойдут, стоят и смотрят: на кого ж он похож? Ажник в глазах троится. Но вывода окончательного не делают. Ибо с каждым может такое стрястись. Как тут у нас у одного поэта — с головы волосы от возраста переместились на бороду.

Вот они ему и говорят: это как нам следует тебя понимать? А те взяли и дали ему за это Фетовскую премию. А когда он еще и на Пушкинскую посягнул, поскольку, дескать, он еще и из пушкинской плеяды, так ему сказали, чтобы сбрил для похожести бороду. Он и сбрил. А они и говорят ему: — Глянь хоть теперь на себя — ничего нет, ни на голове, ни в облике, у Пушкина-то шевелюра была. — Вот он тогда им и говорит: — Ну вас к черту, с плеядой вашей! Что ж вы сразу-то не сказали? — И вернул себя в прежнее состояние — с бородой, вошел обратно в облик литературный. Вот за такой облик, говорят, взяли и дали ему еще одну премию как за «лучшее изображение нашего размножения». Как выйдет, так и войдет; как войдет, так и выйдет. Чтобы денежки размножались, а они все никак не размножаются, так и остаются в большом дефиците.

6. То Марат, то Кутузов, то Крамаров

Вот провожали Нину Суркову-Денисову — Трофимычеву на заслуженный отдых. Давно здесь сидит. Ну, всякие слова ей и грамоту. Все ждали какого-то Кутузова, это который вместо Марата Шмелькова в областной думе. Вот он приехал в белой такой шевелюре и с дипломом главного ветврача. А девочка одна стояла тут и говорит: «А где же Кутузов?» — «Так вон прошел сейчас, видела?» — «Да какой же это Кутузов? Вон Кутузов в Колпне был главным по клубам — с

одним «окном», говорили». — «Не в этом дело, — говорю. — А в том, чтобы если не в два, так в оба глядеть куда надо. А не так, как у артиста Крамарова — один глаз на нас, а другой — в Америку».

7. Карие доллары

Вот отец этой девочки и говорит: а то еще был чудак в Малоархангельске. Так у него один глаз был зеленый, а другой — карий. Трояки зеленые хорошо считал. Стал управляющим Госбанком во Мценске. Вот я и говорю отцу девочки: а сейчас что — разучился? — Да ты что, говорит, сейчас доллары считает. Но уже другим глазом — карим. Американцы под этот цвет доллар для нас подбирают. Фирма, говорят, работает такая уже в Санта-Барбаре.

8. Десять тысяч зелененькими

Вот он и говорит, — французы по радио сообщили: за Кириенко-то как голосовали? В Госдуме, за премьера-то нового? Утром — деньги, вечером — стулья. Утром — пять тысяч долларов, вечером — еще пять, плюс защита докторской Жириновскому. И вот доктор он теперь, и все стулья на месте. — А что ж Зотиков — депутат Госдумы? — А что Зотиков, — говорю, — в Орле вчера видели. Утром — в Москве, вечером — тут. У кого «каникулы» называется, а у кого — «дни собачьи». А вообще, как кого в Москву выберут, так там и остаются. Чтобы по митингам ходить, а то без них митинги не обойдутся.

9. «Хвала рукам, ногам и — зубам»

Вот он и говорит: дайте денег мне на переведенную мною «Антологию французской поэзии». Прекрасная, уникальная вещь — для духа нации, для всей культу-

ры. Вот вы как бывший и нынешний председатель думаете, что это мы тут при том еще строе написали в борьбе за насущный: «Хвала рукам, что пахнут хлебом»? — А кто же? — Эжен Потье, оказывается, автор «Интернационала», француз. Вот он ему и отвечает: — Да издадим, издадим! Чего там... — И издал бы. Да взял и издал лучше свой фолиант про эрозию почвы. И стал доктором. А у нас из талантов скоро, говорят, никого не останется. А еще один деятель тоже себя издал и сказал: а ты, писатель, у меня издашься — в «исторической перспективе».

10. Про стулья

Вот он и говорит: молодым еще был, в командировке оказался в Колпнянском районе. Вот пошел он, на ночь глядя, в Колпну из совхоза «Островский». Шел, шел во тьме, а Колпны, огней колпнянских все нет. Уж не то, что восемь километров за спиной, уж все тридцать с гаком. Уж рассвет, сморило усталого. И спится ему на ходу, и снится ему такое, что он — «Советский Союз»... Приоткрыл глаза — Ушаково, баба стоит на околице с хворостинкой. Пролетел поворот, оказывается, до Дроскова уже всего ничего, а оттуда и на Орел... Вот он сел в автобус, и опять снится ему все тот же сон, что он — «Советский Союз», но уже после того, и все наоборот — назад отсюда туда, к революции. «Выносите мебель!» Мебель вынесли, а стулья хотели направо, а потом перепутали и налево их вместе с сейфом. На дороге один только стул и остался. Вот он сел на него, а стул взял и поехал во сне обратно на Колпну. Ехал-ехал. Приоткрыл он глаза — Орел, а должна быть Колпна. А они ему и говорят, что ж это хуже, что ли, тебе — в Орле все же, дома досыпать будешь, хоть и в перепутанном виде. И все стулья на месте. А Советского Союза нет — во какая история.

11. Ягодка опять

Вот прошли в Союзе писателей проводы Антонины Никитичны Сурковой-Денисовой — Трофимычевой на заслуженный отдых. Провожали в добрых русских традициях за «рыцарским полукруглым столом» — чего только не наговорили. В самом деле, молодая еще, но вообще-то как монумент, с самого основания. В самом деле, всегда даст, бывало, и горлышко промочить, и крылышки обрести.

Один даже до легендарности договорился: а с кем она, говорит, век свой проработала — с «тиграми полосатыми», хоть орденом Мужества отмечай. А другие, внутренне несогласные, из лицемерия тоже хлопают, сами сияют и других поощряют. Вот проходит неделя. Вот они, поощрявшие, и говорят Геннадию Попову — лидеру, какой там же, но уже за другим столом: — Чегой-то она все сидит? — А он им и говорит, внутренне улыбаясь, глубоко затаенное: — А я тут подумал, ребята, пусть еще посидит, раз она у нас такая хорошая.

12. Эзопов язык

Вот они им и говорят: — Чего это вы зарплаты себе такие охреновенные поназначали? Покупают ведь вас, а ни один еще не отказался. — А те им и отвечают: — А чтобы на речке лед сдвинулся. Вот стулья, и те, между прочим, на месте. — Про что это вы говорите? — А это Эзопов язык, называется. Это когда один стул поставили, а сразу десять на него садятся. Вот что они им говорят.

13. Еще от Адама

Вот ему и говорят: — Что же это ты лепишь-то все подряд, без всякого разбору? И живые и мертвые — и начальство и подчиненные — демократы и аристократы... — А он ему и отвечает: — Вот ты когда дом стро-

ишь — домину, во, целый город на родовом месте, то глиной стенки обмазываешь? А для чего? Да чтоб в дому было толсто, тепло. — А теперь, говорит, материалы современные. — Материалы-то современные, да навык еще от прежней глины остался. Ибо Человек наш от кого — от Адама. Что в переводе означает «человек из глины». Все у него от Адама. Даже стулья в дому — от сидячего Рыцаря Печального Образа Жизни... Глупости все это, не верьте, что тут написано. Специально для Гохрана в печати, которого теперь нет.

Записано от ВРИО Козьмы Пруткова.

СКОРО ОСЕНЬ

Скоро осень, за окнами август, щемящая тоска, давнишняя мелодия... Мелькнула и не ушла. Пятое августа — День освобождения Орла и первый салют. Это — когда поспевают яблоки. Сам Антон и яблоки антоновские, исключительных, духовитейших свойств. И много-много всего-всего.

— Тебе бы не на этажах, а на земле жить, — сказала Шуферу жена его Рита при всех мужиках, забивающих во дворе с утра до ночи в «козла».

— В садах плодоносящих, — под нос себе поддакнул чернявый такой, шепелявый Костя Безлепкин.

— А что — Антон разве тоже еврей?.. Рыба, га-га-га! — гаркнул его соперник Витковский Гена — наглый, крупноголовый мужик — бывший какой-то начальник.

— Антон, но фамилия-то какая — Шуфер!

— На фамилии, дураки, обращать внимание стали, — проходя мимо, встряла соседка Шуфера — дверь в коридоре напротив, многодетная женщина Анциферова.

— Да какой же он еврей? — сделал удачный забойный ход Безлепкин. — Был бы еврей, давно бы на свою историческую смотался. Что ему с нами тут, с дураками, мучиться? Шекелями бы пенсию там огребал.

— Один поехал — профессор, зав. кафедрой, — двинул костяшкой Жорик, любимец двора. — А там стал асфальт мести и вскорости умер.

— Кто умер?

— Ну, профессор, еврей. А Антон — наш человек, фронтовик. Медали не носит из принципа...

— Садись-ка вместо меня, Антон.

— Я же в «козла» не играю, — угибается чего-то Антон, делаясь вовсе маленьким каким-то, тщедушным, и отходит в сторонку.

Садится на лавочку возле сирени, так и сидит тихо, мышкой, без всяких слов. А песня ушла и не возвращается, зато мыслей — бурный поток. А Родина — она что, разве всегда историческая?.. Худое, аскетически желтое лицо Антона тщательно выбрито. А простой хлопчатобумажный пиджачок висит на нем, «как на распялке». Всю свою жизнь составлял он каталоги, расписывал книги по документам — манускрипты чьи-то, высверк таланта. Сразу же после войны их, безруких-безногих инвалидов, было хоть пруд пруди. И валялись они под заборами, торговали камешками для зажигалок да иголками, привезенными в качестве трофея из Германии. Колотили костылями в глухие двери присутственных мест, а кто слышал их? И тогда так же...

Вот и сейчас живет он в своей каморке, в дощатом бараке этом, совершенно бездетный, с женой вдвоем, как сразу же после войны. И так и далее будет жить, пока не вынесут вперед ногами куда-нибудь за Лужки... Воинское кладбище — для тех, у кого погоны с двумя просветами и чиновная биография. А мы — люди маленькие, нам как и всем. Хотя лично он освобождал Орел, и его лично могут захоронить и на воинском кладбище.

По радио слышим, на фронтовиков стали внимание обращать, и их вроде после такого внимания — после всяких праздников, банкетов и акций — буквально на руках носят. Жена Рита ему так объясняет: «Эти акции, — говорит она, — для сплочения нации. Тема

военная, только она и осталась, что сплачивает, — остальные разъединяют. Ты, — говорит, — как гвоздь, теперь на стене, на который начальство фуражки вешает». Фуражки вешают, а жилья подходящего не дают, хотя даже один знакомый журналист писал о нем в газету и мэру города. Есть такая улица у нас в городе — имени Пятого августа. Вот на ней бы ему, ветерану-освободителю, и жить бы...

Мысли Антона, так сказать, поток сознания перебивает шуршание машины. «Иномарка» подкатила к соседнему многоэтажному дому. И выходит из нее — кто бы вы думали, большой разброс мыслей, — вылитый Тихон Гастев. Антон прямо опешил, вроде даже как офонарел: ведь Тихон давно уж описан и помер вроде. А это, реанимированный, должно быть, сын его или внук уже, про этого можно. Помоложе — стало быть, внук... Значит, приехал к предкам...

И мысли Антона приобретают другое течение. Вспоминается, негодяйство какое, этот Тихон Гастев во всех его совместных с ним отражениях. Бывало, как подходить Дню Победы, — так и накатывает на них обоих тоска. Тогда Тихон Гастев чистит асидолом свои медали, берет чекушку и выходит прогонять тоску на люди — чего мучиться? А вот Антону с его характером не повезло: тоска-то тоской, да еще сильнее тянет его в одиночество. И забивается он тогда куда-нибудь, с глаз долой, в уголочек, и представляет, и воображает все это: осколки свистящие, приказы товарища Сталина и блиндажи... И еще какие-то рожи собачьи, должно быть, овчарки немецкие... шуршат бумажками, его документацией — ищут что-нибудь этакое... комро... компро... мат...

— А чего ж ты, дядя Антон, медали-то не носишь? — говорит ему соседка Шурочка, двери напротив — тогда еще молодая.

— Да так как-то, — ленится отвечать Антон и сути не разъясняет.

И за пайком вчера не пошел в магазин «Ветеран» —

как-то стыдно. Стыдоба какая-то не сходит с него после того случая семилетней давности в набитом сельском автобусе. На переднем сиденье сидел, и на остановке втиснулась женщина ветеранова возраста. И долго-долго стояла она, а потом ветеран ее, видно, толкнул и не извинился. И тогда она ему и говорит:

— Вот сидишь, а я стою — женщина. Да с больными ногами.

— А я — ветеран, — отвечает тот. — Мне положено.

— Тебе положено, — горько вздохнула женщина. — Небось, уж и детей своих, и внуков бесплатными автомобилями, коврами снабдил. А у меня отец погиб в войну, сгнили бедного косточки, так мне, дочке его, всю жизнь ничегошеньки не положено... косточки только вот белые да слезоньки горькие...

Воспоминание об этом так сильно действует на Антона, что в голове его что-то опять перебалтывается, в груди возникает давление, а в мозгах сверкание, звоны, переходящие в овацию где-то на заседании, куда его один раз приглашали и откуда плывет сейчас все та же мелодия с соседней улицы:

Скоро осень. За окнами август...

И это август его уже семидесятый. Бог мой, как давно все это было! Сколько же он живет на этой земле! Созревает антоновка, и он слышит, как налитым неукротимым запахом яблок несет к нему вместе с запахом пролитой крови от этих безмерных бунинских, фетовских, тургеневских бессловесных полей...

— Товарищ Шуфер, — окликает его почтальонка. — Вам пенсия.

— По графику — вздрагивает Антон, — завтра же.

— Вам сегодня положено, — улыбается почтальонка. — Начальство о ветеранах побеспокоилось.

Антон расписывается в документации, а сам думает (но опять не про это): «Ну что толку им от него? Ни вида у него, ни на форумах он не выступает. Зачем его

выделять-то, пользы ведь никакой». И тут мысль опять перегибается (и опять не в ту сторону): «А ведь Шурочка многодетная, с полгода детские не получает. И пенсию матери ее в тот месяц не принесли». Антон долго-долго смотрит в окно, аккуратно делит пенсию на две половинки и, пригорбатясь как-то, не оглядываясь на жену свою Риту, направляется к двери напротив.

«Скоро осень. За окнами август, — наплывает мелодия. — От дождя потемнели кусты. И я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты»...

Ах, какой пепел, какой пепел Клааса еще стучит в его еще по-молодому чистое сердце!

ЭТИ КРАСИВЫЕ РУССКИЕ БАБЫ

«Между буднями должны быть праздники, а между праздниками — революции», — кто же это сказал? Разве упомнишь. Главное, что в праздники обнажаются новые горизонты. 9 Мая — праздник, салют, встречи со слезами на глазах, а после — похороны ветеранов...

Как сейчас помню Санько. Здоровенный такой дядечка, Знамя освобождения над Орлом водружал. Сидим мы в горсаду, на скамейке под каштанами. Еще плодам каштана наземь не падать, не висеть памятной доске на доме Санько за кинотеатром «Современник», мы пока еще живы. И ведем разговор о колебании электромагнитных волн в организме, о героизме одного человека и массовом подвиге. Само собой, герои — это не только те, что знамена водружают, амбразуры собой закрывают. И если об общем трудовом подвиге, о каждодневном героизме — это как понимать?..

— Вклад простой русской женщины, — замечает Санько, — огромен — это всенародный порыв...

А еще тут с нами сидит один, — в бескозырке, с медалями. Но, видать, уже не фронтовик, помоложе.

— У меня, — говорит он, — на это особое мнение. «Тыл — фронту» — не совсем то, что мы думаем.

— А что же? — как ворон, готовый с гнезда слететь, нахохливается Санько.

— Берем аспект психологический, — говорит флотский.

— Вы — доктор?

— Дочь у меня защищала диссертацию, — отвечает он. — И обошлись с ней в высшей степени несправедливо. Так она, бедная, чтобы в стресс не войти, как взялась за квартиру — то полы красить, то стенки клеить. Жуткое дело, за десять лет столько не затратила сил на физический труд, а ведь не ее специфика...

— Это я понимаю, — говорит Санько. — Но к чему этот факт?

— Биоэнергетический баланс, — продолжает флотский ветеран. — Электромагнитные волны, как брызги шампанского, в разные стороны... организм раскоординирован...

— Ага, — как можно мягче говорит Санько, сам он из украинцев, из тех, которые на границе Курской области с Сумской — однокорневой с нами, русскими. — Ага, — говорит Санько и вспоминает: — В начале войны коней, — говорит, — в деревнях начисто подобрали. И на передовой побили, поели. А в тылу — одни бабы, старики да детишки; ни хлеба, ни тягловой силы. А тут в первые месяцы жуткие сообщения: оставлены города, враг уже под Москвой... душу ломит...

— Стресс называется, — поддакивает флотский ветеран — специалист по психологии. — В соху, как лошадь, впряглась баба, а то лопату в зубы и — наваливай.

— И откуда только силы брались? — встает Санько во весь свой неограниченный рост. «Прокорми-ка такого, — думаю я. — А целую армию — ого-го!»...

— От стресса так уходили. В бессознательность, — объясняет флотский. — Вот где корни массового геро-

изма. Это только сейчас начинает осмысляться... научно психологически...

И тут проходит мимо пожилая женщина — добренькая такая, ладная, комсостав в летной форме. Как Марина Павловна Чечнева — землячка наша, из-под Малоархангельска. Легкие ночные бомбардировщики. «Ведьмы ночные» — как те называли их на войне...

— Ну что, красавица, подружка, — берет за плечи ее Санько, — с «кукурузником» своим падала в кукурузу?

— Нет, — говорит, — не падала.

— А коня на скаку остановите? — это какой-то корреспондент вынырнул из молодежной газеты. — В горящую избу войдете?

— Сундук из горящих сенец вытаскивала? — обращается Санько к летчице вроде бы в шутку.

— Сундук-то? — задумывается летчица, тоже ведь русская баба. — Знаю-знаю, слыхала, и в сундуке все добро, за жизнь нажитое... Не сундук я однажды вытаскивала, а человека — командира своего из горящей машины... где и силы взялись — борова этакого, вроде тебя.

И последовала летчица далее со своими боевыми подругами. А психолог философский, в бескозырке матросской, глядя им вслед, и говорит:

— Вот феномены — эти красивые русские бабы! Психотронное оружие. И фронт — тылу, и тыл — фронту... Одна швейная стежка на тельняшке чего стоит — от нас и до Берлина, строчится, бывало, для армии в одни сутки... Говорят на митингах — бешеные бабенки! Глубоко не согласен: наоборот, это они здоровье нации сохранили, соблюли красоту...

— Мистика какая-то, — поднимается и застегивается на все пуговицы Санько, собираясь следовать за боевыми подругами. — Красота от них, мистика...

— Какая там мистика! — вскакивает флотский, живчик такой. — Уж давно всем известно, был такой случай... Сразу же после войны одного контуженного похоронили. На другой день двое дружков пришли к нему

на могилку — еще разок помянуть. Без суеты. Присели, разлили, а откуда-то вроде как ветер: «А мне?» Дружок молчит, и я молчу, озираюсь. Опять присели, налили — опять: «А мне?» Тут уж просто как колуном по голове. Ушли. А второй дружок взял и вернулся. В общем, как у Эдгара По — заживо погребенный... Вот и стал я вникать, изучил психологию...

Тишина. Уж салют начинает небо потряхивать. Да земля под ногами потрескивать. А глотка как отросела за праздники, так и развернутой держится шириной с Черное море.

«Самое синее в мире —
Черное море мое».

— Войну-то ныне по-иному надо оценивать, — с грустью сказал Санько. — Спаси тебя, Господи! Народили красивых детей. А то как про войну, так все про генералов, в крайнем случае — про лейтенантов. А что без них все мы, где же были они — эти наши красивые русские бабы?..

То были слова Санько, водрузившего над Орлом Знамя освобождения. Такие слова! Однако отчего-то не нашедшие отражения на его мемориальной доске.

«ФИРМА ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖЕТ»

Декоративная тарелка возьми да упади со стены, да и разбейся. Вдребезги! А ведь подарена на день рождения, производства какой-то фирмы, нашей или заграничной, — не помню. Жалко, конечно. Однако я тут же вытащил из буфета другую посудину — давнишний подарок матери. Эту память о войне хоть кувалдой бей — не разобьется. Немецкое изделие, еще от тех, что пришли сюда к нам «дранх нах остен». Вот и все, что осталось от них. Кроме рубцов на памяти, а забрали ведь жизни наших отцов, трех моих дядей, погибших уже в сорок первом...

Эта чаша из детства, не дает она мне покоя. Кто же были для нас они тогда тут? Естественно, оккупанты. Но и тогда уже, особенно с осени сорок второго, начинали мы понимать, что и немец немцу бывает рознь...

В наш прифронтовой городок откуда-то из-за Колпны они привозили не только наших, но и «своих». И расстреливали в овраге, на Беленьком. Мне было тогда лет шесть всего, но память есть память. Напротив нашего дома, где сейчас памятник Пушкину, до войны были детские ясли, а в оккупацию размещалась комендатура. Нас они заткнули в чулан, а зальчик превратили в комнату для «проезжих офицеров». Для тех, кто в лакированных сапогах. И вот в комнате поселился офицер, а на кухоньке у нас появился его денщик Жорж. Это когда-когда уже после войны прочитал я книгу известного автора про Швейка. То был вылитый Швейк — пухленький такой, рыжий солдатик, наверное, из крестьян. Ну, как Бронька Летягин из романа моего «Берегиня». А смешлив, ну просто чудак. Поставит табуретку, сядет, пукнет — встанет, очертит пальцем кружок на сиденье в виде сердца и говорит:

— Дирку надо пи-пи-пи... пилить. И вниз туда... пу-пу-пу...

А к матери моей обращался так:

— Мутер-матка, это киндеру ам-ам (хлеба давал), а мне жопла вода (дай теплой воды).

— Какой «жоплой»?

— А-а, — махнет рукой и показывает на задницу себе, на табуретку и на кастрюлю.

— Теплой воды? — переспросит мать.

— Теплой, теплой, — говорит Жорж. — Герр официр о-о-о! — и показывает на зальчик, изображая бритье.

А однажды произошла такая сценка. Офицер этот (мы прозвали его Хлыстом) всегда был в перчатках, еще и хлыст плетеный носил. На обед он являлся точно в одно время. Обычно денщик приносил обед ему к этому часу. И, встречая, должен был стоять в дверях

навытяжку, есть глазами, когда офицер проходил мимо него. И вот этот Хлыст, едва поравнялся с Жоржем, чуть вперед прошел, как черти дернули Жоржа показать тому в затылок язык. А впереди зеркало-трюмо, большое — с пола до потолка. Офицер разворачивается и по морде Жоржа то перчаткой — то хлыстом, то хлыстом — то перчаткой. Жутко смотреть...

Вскоре Хлыст съехал на другую улицу, но Жоржа на фронт не отправил. По старой памяти Жорж забегал к нам за «жоплой водой» — потрепаться на кухне, посидеть на табуретке. Говорил, в личной жизни он богач, тот офицер ему бы тазы носил. А в «комнате для проезжих» поселился другой офицер. Пожилой такой, седой, в витых погонах. Скорее всего полковник. В мирной жизни, должно быть, профессор университета.

День, два, три сидит — никуда не ходит, не ест-не пьет. Уж мать моя сжалилась, супчику дала. А он пришел к нам на кухоньку, посадил меня на коленки и давай показывать семейные фотографии. А мать моя после Жоржу и говорит:

— Что ж ты, сукин сын, на офицера-то своего ноль внимания? Хоть бы поесть че-нибудь принес человеку.

И стал Жорж бегать сюда с солдатским котелком.

Вскоре ворвались трое в черных мундирах, гестаповцы. В коридор офицера — погоны с плеч, коленом под задницу да в дверь. Только его и видали. Жутко смотреть было... война...

И заболел я «испанкой» — такая болезнь, они занесли. Горю весь, лежу без сознания, температура за сорок. И мерещится мне медведица из темного угла, вот наседает — скорее всего от «гематогена», «медвежью кровь» мать давала мне от малокровия перед войной. После войны ее заменили «бычьей» — где ж медвежьей-то взять?..

Однажды Жорж прибежал к нам и матери моей говорит:

— А где же твой киндер?

И плачет мать:

— Горит киндер огнем, помирает.

— Матка, сейчас! — кричит Жорж и бегом куда-то. Приходит с офицером.

— Врач! — говорит Жорж. — Карашо будет, карашо. Кароший немецкий доктор.

И чашку эту вот подает, а в чашке еда:

— Это киндеру, киндеру.

Подошел офицер ко мне, обстучал грудь, заглянул в рот. В общем, сделал что надо, дал лекарства. А Жорж ему и говорит:

— Матка, киндеру жопла вода, жопла вода.

— Нет, — говорит офицер — врач немецкий. — Калодная. Простыня и холодная вода. Как это... ледяная.

— Как? — оторопела мать. — Ледяная?

— Делать, делать! — суетится Жорж. — Кароший германский доктор.

Мать так и сделала: все равно, дескать, малому помирать. И температура тут же стала спадать. То ли кризис миновал, то ли простыня ледяная помогла...

И вот я живу. И пишу свои книжки, этот рассказ. И вот она, эта чашка немецкая. Как окружили их под Сталинградом, так и деру они. Даже за чашкой Жорж забыл забежать, несмотря на ихнюю природную немецкую бережливость. А может, на память оставил, их много у них самих — этих чашек. Готовились же, целые заводы работали перед войной на «дранх нах Остен». И вообще, Жорж сказал, он богатый, что ему жалко, что ли, чашки какой-то?

И эта Жоржева чашка прошла всякие крымы-рымы. Как уходить им и дом наш спалить, кое-что мы успели выкинуть во двор. И потом, на известной всем Орловско-Курской дуге, как опять отступать, взяли мы с собой эту чашку. Вся посуда перебилась, перетопталась, а эта чашка жива, живуща! Жоржева чашка-то... С тарелок надо нам начинать, с чашек — фирмам-то на-

шим! А то качнули разок-другой перестройкой, и падать стали стенки, тарелки со стенок декоративные — да вдребезги, на куски! А те, кто их делает, вины за собой не знают. Только и слышишь от них: «Фирма веников не вяжет».

Вроде фирма ихняя тут ни при чем. А где, спрашивается, качество? Крепость духа, конкурентоспособность? Как эта вот чашечка от Жоржа с нечеткими, полустертыми штемпелями с другой стороны изделия, где-то на самом на дне.

«ХОЧУ ЖИТЬ ПОД МОСКВОЙ...»

Дай, думаю, хоть недельку один поживу, мысли в тугой узел собью. Одиночество тоже нужно человеку, как кислород, как планете озоновый слой. Вот и бабье лето, а тепла нету. Сел на землю, в хатенке своей, живу на поселке Синяевском. Такие события грядут — ну, не дают сосредоточиться, к радио прилипать заставляют, к новостям. Как там дома в городе, как в Москве, как во всей стране, например, на Кавказе? И все щелочка для раздумий находится, если тут всего семь дворов, а ближайший сосед — через два пустых двора на четвертый.

Земля наша — энергетический сгусток, сплошь магнитные бури. То жара несусветная, то антарктический холод; как задует — с «севера», фуфайку хоть не снимай. Кто владеет погодой — управляет человечеством. По радио только что сообщили об американских ученых, открывших в ближайшем космическом теле — на голубой планете какой-то — океан глубиной в 180 километров, в 20 раз глубже, чем на нашей планете. Значит, возможна в космосе жизнь. Однако то же самое говорили про планету Марс — символ войны и агрессии.

Это я к вопросу о предчувствиях, догадках, предначертаниях. О том, что, сами того не ведая, мы порой попадаем, по Вернардскому, в русло естественных за-

конов биосферы Земли. Тогда, наращивая оболочку, мы усиливаем ее духотворность и жизнестойкость, как и себя в собственной жизни. А не гасим в себе все живое, самоуничтожаемся. Еще Аристотель впереди ставил «поэтику» с ее непрактическим смыслом, а затем «метафизику».

Вот эта самая биосферическая оболочка вокруг Земли и является духотворным, биоэнергетическим комплексом, созданным человечеством, это же тени минувшего, лики наших предков, история, искусство, философия, поклоненье богам, это и наша совесть, наши таланты в беззаветном служении. Одни вкладывают всю эту сферу, а другие лишь черпают из нее. И я, помнится, сказал в Клейменове на поэтическом празднике: «Фет — из тех людей, кто пополнял и пополняет всю эту блестящую биосферическую гамму планеты». Вот и поются во мне, повторяясь, фетовские слова:

«И, долго скитаться наскуча
Средь ширей степей и морей,
На Родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней».

Кстати, приезжаю не так давно в Москву к родственникам — москвичам.

— А где дочка ваша? — спрашиваю. — А внучка?

— Внучка с нами, — отвечают. — А дочка уж в Лобне, под Москвой.

— Ну, да!? — удивляюсь я.

А удивляться нечему. Главное — вникнуть, пронзить все интуицией и связать воедино: что, как и почему? Последнее место работы жены — какая-то частная контора. Интересное дело, прямо-таки движение создалось на Москве: менять квартиры в многоэтажках на жизнь в коттеджах, за чертой города, под Москвой. Ну, думаю, гримасы цивилизации. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Правда, там для этого есть не только миллиардеры, но и средний слой, кто может себе это позволить. А нам, как всегда, охота через что-

нибудь перескочить — через одну, а то и сразу через две формации. Подай сюда мне коттедж, и все тут. Дюже бабочкой МММ все это пахнет. Однако на первом этапе дело было пошло, жене доверяли уже деньги хранить, счета всевозможные. Муж жену уговаривал, и батюшка в приходе — ее духовник: «Глубоко не заходи, не вовлекайся!».

В общем, пока она раздумывала, дело на спад пошло, а председателя взяли да с балкона и выкинули, грезы у женщины были разбиты, однако дочка ее, молодая же, не отступилась. Мы пойдем другим путем! И пошла. Замуж вторично вышла, в Лобне так и оказалась. Но саму ее квартиру отец не дал обменять. Тонко поступил, умно. Вышла, мол, вторично — ну, и живите в вашем коттедже. А тут, в твоей квартире, пусть живет внучка с отцом. Договор такой составили: первый муж будет жить тут до совершеннолетия девочки.

Вот так! Воспитали родители дочку с характером. «Хочу, — говорит, — жить под Москвой!» И все тут. Из-за нее у них уж и так едва ли не тришкин кафтан получился. До женитьбы у каждого из будущих супругов имелась своя квартира. У нее она была даже в элитном районе Москвы — на Фрунзенской, а у него тоже своя — на Соколе. Постепенно соединили жилплощадь, опять же в хорошем районе — на Войковской. Метро, пруды. Тимирязевский парк. Ради счастья дочери, по той же линии метро, только в другом конце, разделили квартиру на жилплощадь ей и себе. Теперь им поле видать в окно, а на работу мужу надо через весь город ехать, с краю на край. «И так под Москвой ведь живем, куда тебе». Вот такие дела. Так и до сей поры думал я, как и они, — родители. А у молодых-то, оказывается, своя интуиция, МММ впереди летит, как на крыльях. Или, может, еще и от таланта зависит — так сказать, концентрированность интуиции, кто ее знает. Вот, например, Жириновский. То такую чушь несет, что уши вянут. А то как вмажет, включит, видать, эту

свою концентрирацию, дескать, «бросок на юг», только теперь видишь: как в воду глядел.

Так вот, дочка эта, москвичка, живет теперь в домике, именуемом «коттеджем». А родители по-прежнему, хоть и в «спальном» районе, а все же в Москве. И вот я тут в поселке своем Синяевском к радионовостям сижу прислушиваюсь с трепетом — о трагедии в Печатниках и на Каширском шоссе... Именно в Москве, именно на Каширском, только в другом номере дома...

И такое взыграло во мне, такая интуиция режется: то, во сне снится, монархию восстанавливают, как в Испании. Недаром царские останки упокоили в Питере, в Петропавловской крепости. И памятники последнему царю где-то ставят. То поставят — то взорвут, то поставят — то взорвут... А то наоборот, республиканская форма правления укрепляется. Даже новое название придумано, только со старыми слезами смешанное. Опять же во сне приснилось: «СССР» — Союз суверенных славянских республик. Вот, оказывается, куда можно все повернуть. Если включить интуицию. И мозги выключить.

— Ну, блин, ты и даешь!

18 сентября 1999 г.,
пос. Синяевский

СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ

То золотое, то серебряное преследует его всю жизнь. Давным-давно, еще на заре туманной юности, когда он по врожденной своей влюбчивости начал писать стихи. Тогда волосы у него были длинные, золотистые. Как у Владимира Ленского, но все почему-то называли его Есениным. «Золотистые» — от «золота», «золосоло», «солей» — это Солнце. Значит, с юности он «дневной» человек? Хотя и родился ночью, отцом в метрике так и записано: «2 1/2 часа ночи». Да вот с

годами виски у него посеребрились, голова сделалась сивой. Но все почему-то считают его седину благородной, а один из молодых литераторов, вероятно, из подхалимажа, называет его «Оноре де Бальзак»...

Да, он пишет теперь не только рассказы. И тот молодой и прыткий, вероятно, угадывал в нем романиста — за серебро висков, предрасположенного к столь крупному жанру, исказившему всю его жизнь. Когда Бернарда Шоу спросили: «Как вы добились такого красивого цвета волос?», он ответил: «Помилуйте, этому я посвятил всю свою жизнь»... А писатель Каледин, современник, несмотря на то, что всю свою сознательную жизнь посвятил тому же самому, что и все приличные люди всех времен и народов, ни «серебра», ни «золота» себе не нажил. В карманах у него, по словам его самого, всегда «гуляет ветер». При той системе это можно было еще как-то понять, а сейчас, когда открыты все шлюзы и жалюзи?

Целыми сутками писатель Каледин готов не вылезать из-за письменного стола. Целые тома возникают в его раскаленном воображении, а желательно бы еще и в изображении. И он сидит в углу, под самодеятельной иконой с ликом Иисуса Христа в золотом нимбе, презентованной ему местным пастухом-живописцем, и начинает ощущать над собой то же самое — нимб, сияние. Но не из тщеславия, а когда устанет, особенно к вечеру, когда просидит за столом с утра целый день, тогда и возникает в нем это «северное сияние», которое отливает, заметим, однако, не золотом и не серебром, а неистовым антарктическим холодом. И тогда за очередной страницей пробиваются перед рядовым писателем знакомые очертания — полноватое, оптимистического склада лицо Оноре де Бальзака.

— Ну и как ты тут? — спрашивает его великий художник, выдвигая вперед свои крупные, как и у Василия Каледина, чувственные губы. — Без средств, наверно, намучился?

— Д-да н-нет, что вы? — мнется Василий, пытаясь выскользнуть головой из-под его — чужого «серебряного сияния». — С такой главой не пропадешь. Хватает на молочко...

— С такой главой, то есть головой, да? А на водочку-то хватает?

— «Сухой закон!» Горбачев пить отучил.

— А на издания? На презентации?

— Издают... покупают... презентуют...

— Стыдно, брат, — говорит Оноре де Бальзак. — А еще реалист. С романтическим уклоном. Ишь, как пулитo отливаешь, а ведь не Хрущев.

— Да, тебе хорошо, — вздыхает писатель Василий Каледин. — Ты во Франции жил, тебя Ганская спонсировала, а тут Россия-матушка... Это, как его... про того нельзя, про Хрущева нельзя, еще живы сторонники...

— А мои серебряные рудники?

— Что «серебряные»? Что «рудники»? — шевелит сухими губами Каледин и чувствует, как зависает над ним «северное сияние», а то, может быть, и «нимб» антарктический. — Это где рудники-то — в Крыму? Или в Антарктиде?

— Почему в Крыму?! — сердится Оноре де Бальзак на серость Каледина, незнание фактов просто потрясает мирового классика. — Да в Сицилии же, в Сицилии — рудники сицилийские!

«Ничего у тебя не получится, браток! Демографии не знаешь...»

«У тебя-то что получилось? Глянь хоть в натуре — слезы одни, хоть и сидишь тут сто лет в обед. Зато сам денег-то разве не накопил, в швейцарские банки не положил?» — так, уйдя в себя, думал рядовой писатель Василий Каледин. На какие только авантюры он не пускается. То частицу «де» в качестве дворянства к себе приспособит, а то все средства, какие есть, угрохает на серебряные шахты в Сицилии. На общее благо. Садит, садит франки свои, а там за них копают-копа-

ют недра, а никаких фактов — одни аргументы. «А как только умрешь, — думает, — так сразу же серебро и отыщут. Это как у одного французского живописца с итальянской фамилией; как в бозе почить, так картины его тут же взлетели в цене...»

— Модильяни, да? — живо интересуется Оноре.

Но тут к рядовому писателю Календину возвращается близкое, ибо дальнее надоело, а перед глазами опять же зависает «северное сияние». Или, может быть, черная-черная точка. И она все растет, приближается, укрупняется — из характера в тип, в символического чиновника, который сидит при отсутствии ложки, как мошка, потом как оса, шершень — этот «пчелиный волк», и держит около себя другую точку, еще более невероятную, надо же друг друга держать. И вот уж эта большая точка сигнализирует той, что поменьше, которая знает Василия лично, и уже та от себя передает указания по епархиям, банкам и департаментам, по всем вверенным регионам, чтобы книжки Василия на госбюджетовские средства не брали, пусть покупают частники, а те, известное дело, за рупь удавятся. А простому люду денег хотя бы на хлеб хватало, а не то что книжки художественные приобретать. Но однажды в районе книжки все же приобрели, так тут же на квартиру к Оноре де Бальзаку представитель явился: это почему же с них взята сумма, а в соседнем районе отданы так!.. И тогда черные точки-птицы в Каледине сливаются в одно черное полотно... Хорошо, что к тому времени Бальзак уже умер и что он вообще жил не в нашей стране, и имеет право романы как свою собственность хучь куда — хучь в Америку, а хучь под бугор, имеет на это конечное право...

«А они бы хотели, чтобы как на высокой и последней стадии развития», — отпечатывается в сияющих нимбах, в серебряных извилинах — в сицилийских недрах Оноре де Каледина. — «Кто они?» — «Да так как-то», — проецируются в сознании рядового писателя, нашего современника — точки, девочки, северное

сияньице... заколебали. «А ты делай натуру покруче, — говорит ему, обессмертясь, Оноре де Бальзак. — Копай глубже эти самые рудники, достигай совершенства». — «Ага, — тупо входит в согласительные раздумия Каледин, наш современник, — это как слепые по вагонам, что ли? Или как в электричку недавно заходит один грамофон... ну копия — твой двойник, тоже щеки висячие, седые виски... вытаскивает пачку книжек и провозглашает: «Граждане, граждане! Я — автор, это все лично мной сброшюровано, по школьной программе. Без этой книжки с моим автографом ребенка в пятый класс не возьмут». — «Ага, а вот это что у вас сброшюровано?» — пробивается у людей живой интерес к лотку с книжной продукцией порнографического содержания — натерпелись тут без естественной жизни. «Это, однако, романтизм, но без романтического уклона», — явно отходит Оноре от обозначения реализма в своих «серебряных рудниках»...

С таким прозрением классики рядовой писатель Василий Каледин и доживает ночь в полуснах, до следующего утра. А утром на квартиру ему доставляют пакет. Из Москвы. Чуть ли не фельдпочтой, через егеря — лично, под роспись.

— Дайджест Ридрез, — читает Каледин крупнопечатное и вздрагивает привычно, чувствуя кнут и вожжи.

А внутри пакета — на бумаге со знаками впечатляюще, вот такими буквищами: «Сертификат!» И его, рядового, фамилия! Оказывается, Каледина выбрали из всего города, вычислили компьютером. Подпишись, говорят, на журнал — самый массовый в мире, в качестве премии — шикарный автомобиль.

И вспыхнуло тут в Каледине уже не «северное сияние», а целое эхо солнечных бурь! В самом деле, ужели он теперь так знаменит, что лично ему сам Оноре де Бальзак посылает важный такой манускрипт с набором собственной фамилии Каледина, важными подписями и пиктографическими печатями. И только обязан он, рядовой, выполнить предварительно небольшое условие: перечислить 25 долларов, а они ему вышлют

том книги «Домашний пир» — это все о еде, что когда-либо в мире было наработано человечеством!

И ходит теперь писатель Василий Каледин по городу не просто так, а со значением: как же, компьютером вычислен, знаменит. И не замечает, что в городе хватает и других таких знаменитостей. Ходят по тем же улицам и переулкам, навеселе, точно такие, о которых тоже знают далеко за пределами — «Ридерз Дайджест», Мавроди и еще какая-то МММ. Ласточки! Да пошлите вы Каледину еще один счетец на 239 рублей! А когда не ответит, так закидайте его пакетами, в том числе через адресный стол, может, адрес вдруг изменился. И опять «лично вычислен»... «выбран»... «предложено»... новый приз — миллион деноминированных рублей...

— Вот ребята работают! — опять воссияло в Каледине «северное сияние», замелькали черные точки белыми мотыльками. — И где же он столько денег возьмет им? Ну, хоть в шахту лезь сицилийскую.

И тут Оноре де Бальзак опять же с портрета сошел и явился на выручку к нему, рядовому, с таким словами: «А ты, — говорит, — возьми и пошли всех их на букву «х». И Каледин так и сделал: взял и послал... рассказец свой на такую же букву («Хрен вам» называется). Раз этот «Дайджест» — издательская фирма, пусть этот рассказец там у себя и пристраивают. И приложил свой «Сертификат», но без премии — по-честному, без дураков, со следующими словами: «А «Сертификат свой съешьте сами, стоит ли сомневаться». И приписку сделал следующего содержания: «С приветом. Комиссар Катаньи». Это намек, чтобы крепче там они у себя в Сицилии охраняли серебряные рудники. А они этого не поняли и опять прислали ответ на привет, но уже не на имя «Катаньи», а почему-то на имя «Катанова», есть такой у нас в городе тоже писатель. Так вот, он взял после того и даже роман накатал, и тоже на одну букву, но на другую — на «С». И послал его в «Райдерз Дайджест», но его отклонили. А если бы назвал свое произведение на ту же букву, но чуть по-ихнему, по-сицилийски (например, «Сицилийская крепость»), то все

сочли бы его за комиссара Катаньи и тогда бы его роман вместо анафемы другого сицилийского писателя заслужил бы всемирную славу. По крайней мере, «стал бы на полках рядом с Бальзаком», — так сказал рядовому писателю Василию Каледину сам Оноре де Бальзак.

Заметим, как этот рассказ называется — «Серебряные рудники». В сокращении «ЭСЭР». Но партийная принадлежность тут ни при чем. Не было во времена Бальзака ни партий, ни премий всяческих. Вот почему приходилось писателю в шахты, во глубину лезть, до всего докапываться и становиться классиком.

«ЦВЕТЫ НА СНЕГУ»

На столике возле него всегда стояли цветы — белые хризантемы. И вот лепестки осыпались, хрустальная ваза выглядит сейчас стоящей как бы на снегу. Это напоминает о времени, когда они только что поженились, и он целовал ее именно на снегу. Цветы навевают настроение, напоминают странную мелодию старинного романса, который не забывается ею никогда:

«Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
А любовь все живет
В моем сердце больном».

Больное тело его приковано к постели, душа измотана за эти два года. Когда он сломал бедро и оказался в постели, оба подумали, что это не так всерьез, обойдется. Евгений еще найдет в себе силы подняться, пойти на завод, где числился инженером. Но время идет, и он все лежит. И она все так же вертит его с боку на бок, выносит из-под него больничную «утку».

Сын женился, развелся, снова женился и ушел к жене — и все это уже без него. Так они с Терезой и живут вдвоем. Она по-прежнему ходит на работу в свой университет, бегает по магазинам и возвращается в свои эти узкие, тесные стены, к нему.

— Херувимчик ты мой! — целует она его в плохо выбритые электрической бритвой щеки. — Херувимчик! Герой...

И все надеется, все поддерживает, не дает пасть духом, в качестве примера приводит такой случай у себя на работе. Одна пожилая женщина также сломала бедро. Силу воли проявив, она поднималась, разминалась, ходила, делала всевозможные упражнения и массажи. В результате вернулась в строй. Ходит теперь даже без тросточки, в том месяце в Африку к дочери укатила. На все это Евгений только отмалчивается и лежит, как и лежал... Она убрала цветы со столика, поставила перед ним телефон. Телефон был единственной ниточкой, связывающей его с внешним миром. Книги, газеты и телефон — вот и все, что ему еще остается в жизни. А когда, придя с работы, она однажды застала у его постели дружков — заводских пьянчужек с бутылками, Тереза убрала и телефон. Перенесла его в другую комнату. Вскоре Евгений забросил и книги...

И вот он лежит на постели небритый, развалина. Злится, если она задерживается в своем университете, и требует водки! На работе ее жалеют, называют подвижницей, а мужа презирают втайне и клянут втайне, вслух такое не говорят.

Ей уж платят и пенсию, а ему еще нет — по возрасту рано, а по болезни — напутали что-то там с документами. Да просто улегся он после больницы в постель, вот и все. Денег, конечно же, не хватает, так хоть сын, родственники помогают. Да пить же ведь начал Евгений — давай бутылку, хоть сдохни! Объясняет ей, заливает, мол, пожар души, так ему легче. И она жалеет его и уже презирает. И ненавидит даже, особо когда устает на работе, да и просто готова задушить его. Взять полотенце и закрутить спящему голову. Но он пока еще сильный, порой может в нее запустить даже пустой бутылкой. «Много о себе думает, — ворчит она про себя. — Не перестает воображать, что он по-прежнему молод, лидер, воздействует на окружающих, а вокруг — никого». За эту силу, за волосы

его пышные, смоляные она полюбила его когда-то, а теперь ненавидит. Всех отвадила от него или сами люди покинули: ни пьянчужек вокруг, никого.

— Задушу паразита! — закипает она каждый раз, когда ставит на столике перед ним бутылку.

Накануне Дня защитников Отечества почтальонка принесла пенсию, ее пенсию, когда она была на работе. Кто принес ему водки и каким образом — неизвестно. Только приходит она с работы, а он в стельку. Лежит поперек постели, «утка» перевернута. Что делать? Уложила его, отругала, денежки отобрала. Еды наготовила на двое суток, поставила на столик, к матери ушла. Так хоть решила его проучить...

А уже к вечеру назад явилась. Как он тут, не голодный? А он пластом лежит — ни слова ни полслова, молчит. Лишь через пару суток стал оттаивать, запел:

— Отцвели уж давно
Хризантемы в саду.

А у нее как сжало сердце, так и не отпускает. А все равно даже в день пенсии водки ему не купила. А что делать? Надо же как-то бороться. И так на работе уши ей продолбили — бесхарактерная ты какая-то, он же лежачий и то из тебя веревки вьет.

Лучше бы уж не ругала его, не бегала бы к своей матери, после чего еще хуже ей делается. Смотрит она на Евгения, как влага у него в глазах стоит-качается, так все у нее и валится из рук, ничего не держится. А он зорко следит за ней, как глаза устремит на нее, так и режет ими, даже спиной своей чувствует это Тереза.

А 8 Марта завтра уже. То мужской был День защитников, а это — женский праздник. На работе поздравили, всем студенты цвели дарили. А Терезина группа на практике, и Тереза без цветов домой возвращается, так получилось. А тут еще школьная учительница с седьмого этажа с огромным красивым букетом в лифте столкнулась с Терезой. Так победно глядела!..

Щелк Тереза ключом, ступает за порог да зырь привычно глазом к Евгению, а на столике возле него цветы — белые хризантемы, хрустальная ваза на белых, слегка обсыпанных лепестках, как на снегу. Ее любимые белые хризантемы. Откуда? И телефон на полу перед столиком. Боже, как же ты добирался в другую-то комнату? А денег где взял? Неужто соседи, ключ она им оставляет...

Спит Евгений, лицо обмякло, видит хорошие сны. Она стоит перед столиком, перед цветами, боясь разбудить его, припадает к щеке его. Горячие губы, сухие губы ее слегка шевелятся во сне вслед за музыкой слов:

— Отцвели уж давно
Хризантемы в саду.

Господи, боже мой! До чего мы дожили, для чего мы живем? И как же красивы они — эти цветы, для нее самые, может, дорогие. Самые ценные, самые-самые для нее, самые дорогие за всю ее жизнь, эти ее цветы на снегу!

БЕЛАЯ МАЛЬВА

Дожди льют целую неделю — по три раза на дню. И холод собачий. И это — в середине июля! Как важна погода, оказывается, для настроения. Хотя в песенке, сочиненной Эльдаром Рязановым, и поется: «У природы нет плохой погоды...» Аргентина (так зовут ее) живет среди моря дождей. Когда-то Семен, ее муж, был тут директором. Ставни по сей день заколочены, открывается лишь одно окно, в спальне. Оно и распахнуто, несмотря на дожди, и она сидит у окна, кутаясь в старенькую шубейку. Сидит и ждет. У моря погоды, чего же еще? А себя уверяет, что ждет, когда под окном распустится мальва. Какого цвета будет она, эта мальва, — красного, синего, белого? Знать ей очень и очень хочется, просто жизненно важно.

Когда тут они жили с Семеном, под окном цвели совсем другого рода цветы — астры и ноготки. Астры считались его цветами, а ноготки, как шутит он, были ее «коготками», когда-нибудь да прорежутся. И вот в этой крапиве, что за оконной рамой, ни единой астрочки, ни одного ноготочка. Откуда ж взялась эта мальва? Они ее не сажали...

Он хлопнул дверью тогда — кто же прав был у них в той размолвке, кто виноват? Всякий роман, говорят, кончается свадьбой, он же у них со свадьбой только начался. И продолжился в городе, куда перевели его на довольно крупную должность. Когда он задерживался в командировках, она устраивала ему сцены скрытой ревности. Доставала из багажника привезенную домой банку варенья и грибов.

— Стыдно, брат, стыдно, — говорила она, — использовать служебное положение.

— Да какое же это «положение» да еще и «служебное»? — входил он в объяснение. — Я сам в лесу грибы собирал — специально, душенька, для тебя.

А когда, возвращаясь из тех же командировок, он до мельчайших подробностей пересказывал все ей как своей собственной совести, кого он поставил на место, а кого приподнял, она шла с ним, как говорится, ва-банк.

— Ты не умеешь строить с людьми отношения, — говорила она резко, повышенным тоном.

Он ценил в ней это качество — разбираться в людях, качество не женского, а мужского ума. И потому не осуждал себя за то, что излагался перед ней так подробно. Хотя по ходу она нет-нет да и кольнет, вроде ненароком, вопросик подкинет насчет женщин, как он там с ними обходится в своей командировке. С кем еще, как не с ней, со своей «дорогушей», еще и поговоришь-то, посоветуешься в сложной, как говорят, нестандартной ситуации. На что однажды она дала ему на все времена глобальный совет: «Умный выкручивается, а мудрый в ситуацию не попадет». Это после того,

как он поделился с ней сокровенным. И она, за этим почувствовав женщину, ответила ему резко, совсем про другое:

— Ты не умеешь строить отношения с начальством!

Всегда и во всем был виноват он. Правда, это подтягивало его, после чего он старательно избегал ошибок, но кто же от них застрахован? Ее небольшой, практический опыт экономиста давал ей возможность глядеть в «корень». Он ценил в ней это ее «корневое» и не заводился, когда она сворачивала на «женский вопрос».

В тот раз она не ругала его, не бомбардировала колкостями, не заводила бредень с другого брега, и это его насторожило. И он решил взять ее с собой в деловую поездку в другой областной город; для нее — чтобы удостоверилась, для остальных — «так комфортнее», «так я чувствую себя лучше, мне лучше работается».

— Ты бы еще на совещание ее притащил, — упрекнули его соратники. — Как зовут ее у тебя? Аргентина? Вот в Аргентину с ней в отпускное времечко и поезжай.

Когда он ей все это пересказал (конечно, тонко, в сглаженном виде), она никак не среагировала — тщеславная женщина! Однако в тот же вечер ушла в театр и пришла домой утром.

— Ну что, дорогая, — сказал он ей через полчаса. — Я пошел, что ли, по девочкам (это означало, что он уезжает в очередную командировку).

— Девочки тебе не по карману, — ответила она на сей раз прямо, без обиняков. — Отправляйся-ка к бабам, прямо в бардак.

И он отправился в «свой» район, к главе, считавшемся другом. Хотелось съездить куда-нибудь к «роднику». А тут повезли в хозяйство, на руководстве которым сидел его враг. Семен Семенович не учел того обстоятельства, что на той неделе его «ушли» на пенсию со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Семена Семеновича напоили и бросили в гостинице одного, как собаку.

— Ну и как твои девочки? — встретила она его с усмешечкой, прежнее выражение читалось только в глазах («И как только ты умеешь плодить врагов?»).

— Ты — пре-да-тельница!!. — сказал он впервые так резко, остальное тоже читалось там же («И это... ты... вместо крепкого тыла?!»).

...И вот он там, в городе. А она здесь — в домике этом, в Зароще... Итак, каким же все-таки цветом расцветет эта мальва — синим, красным или белым? Война алой и белой розы. Алый — цвет крови, борьбы, синий — мира, белый — чистоты и надежды... «Если мальва до конца дождей, — собиралась с мыслями она, — все-таки расцветет... значит, он был прав, как всегда».

Наутро она проснулась и глянула первым делом в окно: мальва дала цветок, цвела мальва! И каким — белым цветом! На синем, почти темном фоне тучи, сияло белое-белое! И сияние распространялось на всю комнату. Красота! Белая энергия, радость! «Откуда все-таки взялась она, эта мальва? Ах да, догадалась! Птички божьи — дрозды принесли! С весны Семен не уничтожил гнездо на ветке яблони прямо перед окном. Дал дроздам с птенцами поклеваться белой смородинки. Первого урожая, какого еще не отведал и сам...»

И тут в душе женщины что-то вспыхнуло. Дождь за окном, холод собачий в июле? Да все это кончится, кончится! «Это — знамение. Я была не права», — впервые подумала так о себе Аргентина. Она прикрыла глаза — сияние не пропадало, держалось устойчиво, четко. И вдруг белая мальва ожила, шевельнула лепестками, как крыльями, и, превратившись в белую бабочку с ее — Аргентининым обликом, так с ее обликом и полетела туда-туда, за черные-черные тучи, на небо к нему, в его бело-голубые, солнечные просветы.

ПОД БЕРЕЗОЙ

Люблю подняться в конец усадьбы к двум своим одиноким березам. Сижу и смотрю на село Высокое прямо перед собой: спичечные коробочки белых домиков, узкая змейка шоссе, автомашины. Какие-то мистические, ирреальные мысли и чувства рождают эти березы. Гляжу снизу ввысь, привалясь спиной к стволу, в эту зеленую купу, и безбрежность как-то ввинчивает меня в Небо. И этот зеленый вихрь все быстрее, мысли несут в предначертания вечера, сумерки втягивают в розоватую синь. И, кажется, пульс планеты перекликается с сердцем, вовлекая тебя во всю эту долину с ее обширными заливными лугами, лесистыми склонами, реликтовой речкой, а по берегам — валунами, оставленными еще в ледниковый период. Вот отрезвляющее средство для всякой власти; все эфемерно перед этими ландшафтами — свидетелями эпох...

Береза, по гороскопу друидов, — мое дерево. Я рожден в день русской березы, в единственный такой день в году, — 24 июня. Это венец летнего солнцестояния, пик лета, далее «золотое руно» сжимается, и это грустно. Что-то выходит за пределы, я родился не днем, а ночью, как записано отцом в моей метрике. Однако ведь накануне рассвета, и потому моя фамилия дневная, солнцеликая. Что-то не вполне вероятное и в том, что мать моя — Мария, а почти отец мой, отец отца, большой отец — дедушка тоже Иосиф. Фамилия наша Золотаревы от «соло» — «солнце», от него образовано «золото» — «золотой» — солнечный, небесный металл, растворить который не берется даже «царская водка», адская смесь из соляной и серной кислот. И все мне это дано, не придумано мной, как и то, что я — Леонард, «льву подобный», тезка самого Леонарда да Винчи. И если вдуматься, я же сын Сергея Есенина, призвавшего меня в поэзию, ибо Есенин — одногодок, оказывается, отца моего. Вот сколько мифов во мне и вокруг...

С детства стою я за имя свое. Диктовали: фамилию смени на материну (Нижевясова) — «ниже вяза», ибо отцова нехороша (отец мой сгинул в 37-м). И имя мое, где только могут, на почте, в паспортном столе, в домовых, писательских, любых списках, даже в первой журнальной публикации (журнал «Наш современник», 1971 г.) пишут, печатают, переводят частенько на «Леонид». Моего имени нет в святцах, потому при крещении и дано мне православное, но вроде исконное «Леонид». Имя мое — Леонард! И это меня возбуждает, заставляет держаться. Леонардо да Винчи, — звучит!.. Отступись, — был бы я Леонид Нижевясов, а так — Леонард Золотарев. Вроде как американский писатель не О'Генри, а Билли Портер, француз не Стендаль, а Анри Бейль, у нас в России не Андрей Белый, а Василий Бугаев, не Игорь Северянин, а Лотарев...

Священное «семь» — твое имя отцово,
Плюс «два» роковых у меня.
По «девять» у нас полыхают пунцово,
Когда мы седлаем коня.
(Золотарев — Лотарев — Северянин).
Я — «ЗО Лотарев», всего один,
А Лотаревых — тридцать.

Упорство вырабатывает характер. Одно название «Глагол» — первого поэтического сборника — чего стоит. Лет пятнадцать мурыжили, пока что-то не рухнуло в мире, и это как-то само издалось с «глагольным» названием...

Сижу под Березой, а ведь сумерки, да комарье — «гундосики» — в брови, в ухо, в глаза. И на плечи мне валится сухой березовый лист («сухой лист» — у нас такой, а у бразильцев другой — мимо защитника, подкрученный мяч). И от Проказинки, что за речкой, идет сюда, извивами движется, дым («и дым Отечества нам сладок и приятен»). И все это во мне и вокруг меня, лезет в голову всякая мистика... осень падает с листика... осень, осень — милости просим...

По Велимиру Хлебникову, человеческий дух нахо-

дится сразу в трех измерениях — в прошлом, настоящем и будущем. И, что интересно, тени былого оживают, заполняют долину, качаются, изгибаются, как столбы дымовые, над хатами. И дымы, туманы, тени былого — это леди Макбет Мценского уезда, даже Лев Николаевич Толстой с Абрикосовым — пчеловодом, к которому писатель наезжал на хутор Затишье — Синяевский... Из какого слоя извлекаю я силой духа волны собственного воображения...

Я, конечно, знаком со страшноватым, ужасным (однако дьяволиады боюсь). Достаточно Эдгара По с его заживо погребенными. Например, Гоголь весь век свой опасался этого, а ведь погребли в Донском монастыре; когда разрыли могилу, чтобы перенести прах, погребенный лежал ничком, лицом вниз... Так вот. Гоголь боялся, а погребли. Надя Косоусова из Малоархангельска боялась укуса пчелы, а ведь укусила, и погребли. Никогда никому на свете не сообщай о страхах своих, инобытийные силы не должны знать страхов твоих. А ведь ты сообщаешь, звонишь о себе даже врагам. Да ведь несет, мать моя, куда денешься?.. Так я не об этом. А о том, что, если бы Тургенев, скажем, пожил бы еще, мы бы знали его куда более странным, чем по «Запискам охотника». Нашу русскую литературу до сих пор подпитывает биоэнергия Пушкина, от одного из семи перстней исходит поэма темно-зеленого изумруда, который умирающий поэт передал Владимиру Далю, это подвигло Даля на создание «Толкового словаря Живого великорусского языка»...

А Береза все сыплет, сыплет листьями. Конец столетия, даже тысячелетия, эпохи — должны быть катаклизмы. Я знаю, я ощущаю эти прямо-таки от Березы, уходящей корнями в землю, а макушкой — в синь поднебесную. Многое будет иным — сама эстетика, восприятие Красоты. Мы живем все еще в прошлом — в романтизме и реализме, а уже подготовлена почва для символического ощущения. Например, два американ-

ца наблюдали Великий Аттрактор (Притягатель) — сгусток галактик, отклоняющих движение нашей системы. И все, согласно тому, и в эстетике должно быть изменено. Вот мой ключ к Вселенной! Я просто немею перед будущим полураскрытым; боятся осваивать неосвоенное, даже Нобелевскую премию держат в тени. Что знаем мы о нашем поэте Хлебникове Велимире? Будучи рожденным в калмыкских степях, он соприкоснулся с буддизмом, с его великими недрами, страшновато безбрежными тайнами. Годовые ритмы, как кольца на стволе твоем, о Береза! Циклы в 365 лет. И назад и вперед. В человеке они и в судьбе планеты Земля. В человеке — это твои двойники, если ты стоишь того — где мы были, где будем?.. Вычитай 365 лет от года своего рождения — и кто жил в том году из художников, кем ты был, в чьем облике существовал?

Биосферы содержат пятно — информацию, где была Земля циклом ранее, те же 365 лет назад. И «пятно» известно, установлено наукой, многократно повторено экспериментально. Российский астроном Козырев — земляк наш, орловец по рождению, констатирует примерно так: знаем, знаем, какими мы будем и что с нами будет через тот же планетарно-космический цикл в 365 лет... А мы еще говорим что-то об эстетике реализма — о какой эстетике? о каком реализме?...

А я все сижу, сижу под Березкой. И листья сыплются, сыплются. И меня засыпают листвой, я превращаюсь в золотой, огнедышащий холмик. Июнь прошел, пройдет и август. И августейшее сойдет катаклизмами. Останется только это село Высокое, этот ландшафт заповедный — внеземной, вневременной Красоты. И как по «Золотому кольцу России», где-то севернее Москвы, так и тут, южнее ее, будут идти и ехать паломники по этому «треугольнику», самим Богом подаренным, созданным Природой, Человеческим Духом, — по этому «Золотому Треугольнику России»: Спасское-Лутовиново (Тургенев) — Никольское — Вяземское (Лев

Толстой) — хутор Затишье — поселок Синявский (Человек и Природа)...

И тут где-то в устье Алешни, при ее впадении в Зушу, на «колыме» раздались охотничьи выстрелы. Стая диких уток прошелестела и села на Березу. Из соседнего перелеска выскочила русская лягавая и сделала стойку. Утки не улетали. Береза, встряхиваясь под ними, только постанывала.

Из лесного массива вышел человек с ружьем.

— Здесь нельзя охотиться! — твердо сказал я.

— Что — частное владение? — усмехнулся он.

— Да, это моя Береза! — заслонял собой я зеленую купу.

Человек в камуфляжной куртке приподнял ружье, я беспомощно огляделся.

— Да ты знаешь хоть, что такое Великий Аттрактор?! — воскликнул я и для себя неожиданно.

И тут в отдалении затарахтел трактор.

— Знаю, знаю, — засуетился человек в камуфляже, путая божий дар с яичницей и опуская ружье.

А с тракторной тележки уже спрыгивали люди и среди них знакомый мне егерь Петрович. «Великий Аттрактор — это Великий Притягатель», — задрал я голову на макушку Березы, стараясь вглядеться за купой в это притягательное, мистически глазастое, животворное Небо. Они нас видят, эти дневные звезды, а мы их нет! Что же надо нам, чтобы мы их увидели... видели... днем и ночью... ночью и днем?.. Они еще считаются с нами, потому что мы пока что не оторвались от них.

В ЛУННУЮ-ЛУННУЮ НОЧЬ

Вот и бабье лето, второй — яблочный — Спас. Пчелочка златая — осень молодая. После трудов праведных сижу на одном из излюбленных мест — на крыльце, упершись спиной в дощатый, синим крашенный,

угол, положив на скамейку ноги прямо перед собой. Плетями свисают руки по сторонам, по ним — обессиленным — от плеч до кончиков пальцев и далее вниз, в самую землю, гудя, стекает дневная усталость, весь этот чертячий физический труд в саду и на грядках.

Завтра, чуть свет, надо вставать и двигать на автобус — отправляться в город. Рюкзак уж набит, приготовлена сумка: все для прокорма в ненасытных наших «бетонах»...

Включаю радио, чтобы не проспать. Засыпая, проваливаюсь в какую-то яму. Сигнал подан: колом во мне уже беспокойство, знаю, сработает вовремя. Задаю с вечера, например, программу — и точно: встаешь полчетвертого, скажем, по грибы. Или в школе академический час «вижу», как самого себя — буквально за секунду до окончания урока слышу в себе звонок. Биологическое время чувствую я хорошо...

И тут заиграли по радио гимн. Новый, музыка Глинки. Вот запомнить только никак не могу. И вообще слова-то хоть существуют? Но услышал первые звуки — и все приочистилось во мне ото сна. Включаю свет — тут же радио вон из розетки. Все идет в полусонном, заданном режиме, по автоматике: движения, жесты, одежда, рюкзак... Минут через пять уже выхожу за поселок...

Луна-лунища. В оцепенении сад и опушка леса. Они не слышали гимна, еще спят. Постанывают на плечах лямки рюкзака, сумка оттягивает правую руку, а впереди меня движется тень, она и манит идти чуть светлеющей стежкой, однако контрастом света и тени не очищает меня ото сна. Так, полусонный, и бреду до одинокого матерого дуба, темнеющего среди местности. И только тут, у дуба, приостановясь, подозрительно вглядываюсь вниз, во всю эту замершую в летаргическом сне пойму речки Алешни. Направо и выше — село Высокое под покровом луны. Тихая, оцепенелая Русь!.. Ни машины, ни огонька. Ни птичьего вскрика, ни треска кузнечика. Даже перепел не бьет, не дерет сухую доску дергач... И все во мне сбивается в узел, начинает с чем-

то сообразовываться. Во-первых, петух где-нибудь по речке внизу, по поселкам, уже трепыхнулся бы, вскрикнул бы. Во-вторых, руки, тело под рюкзаком быстро тяжелеют, словно за ночь и не отдохнули. Глубокий сон, внутренний сон. И только не спит луна, объявшая половину неба. Она и ведет меня — все до былки видать по обочинам, все до стеклышка лужицы на влажном проселке. Нескончаемы земные мои диалоги с луной...

Тысяча шагов, первая тысяча — и я снимаю рюкзак... Еще тысяча, а это уже половина пути... И тут уже, у Арендового леса, весь этот лунный пепел в глазах, толчки в ушах от учащенно бьющегося сердца перерезает слабеющей, однако явственной, реальной догадкой: «А тот гимн по радио? Утренний, а то, может, вечерний?» Но возвращаться не хочется, сил никаких, просто жаль истраченных сил.

Уже добравшись до асфальта, догадываюсь чиркнуть спичкой. Так и есть: без десяти час. Полночь, глубокая ночь. Что делать?

До первого автобуса почти пять часов с половиной. И вот он, рюкзак, у ноги, теперь уже неподъемный. И сумка. И четыре тысячи шагов за спиной, это если назад. А если тут все оставить, то охотники, собаки — сколько их по полям и лесам шныряет? Да просто жаль мне рук своих, которые взывают, гудят.

Итак, остаемся, где наше не пропадало. Ночь теплая, почти летняя, лунная. Лунная-лунная ночь. Тряхнем же молодостью и стариной! Диалоги с луной продолжаются. В погоне за временем, в беге времен мы забываем о корнях. Неплохо вернуться назад в себя человечеству, очистить себя языческой первозданностью. Мчался, помню, в молодости еще на велосипеде таким же проселком, и путь свой ночью чуял при мерцающих звездах. Я все, абсолютно все видел каким-то внутренним, обостренно мистическим зрением — все до выемки, всю колею до былиночки. На многие, многие годы вперед.

Я — Пан, я — языческий Бог. Стою посреди большака под Луной, под ее серым усталым, ликующим теплом. Асфальт перед взглядом взбирается на пологую ленту горки, а сзади, я знаю, лента виляет за посадку. Такая стоит тишина. Просто глохнешь. И все внутри куда-то течет, перемешивается вместе с лунно-пепельным светом, прострация просто какая-то: близкое и далекое, призрачное «фрр, фрр, фрры-ы-ы!» — это шорохи в кустах и отфыркиванье, это живая реальность; торопыга ежик шлепает, перебегая дорогу. Лежу, привалясь к муравьиной кочке, мягко под локтем — это тоже реальность; я — в реальной посадке, под реальными березами. На коре белых стволов, напротив, вижу целые картины из темных, почти черных фигурок. Мистическое, что ли, предвиденное мной: чукчи все, трибуны, трибуны, яранги по великим снегам? И темные, темные флаги. И все на белом, белом, белом — на бересте. Предощущаю, сдвинется все, упадет в катаклизмы.

Ага, а вот я и сам на дереве, на бересте! Дерево мое — Береза! Вот и мой автопортрет. Он рисуется внутренним зрением, этот курносый мой, сократовский профиль, не сократовский лоб; слагаясь из очертания живой темной массы, ракиты передо мной, напротив, так резко-светлы на фоне такого же пепельно-лунного неба. Да, это я, и Пан, и Сократ — все вместе, одно. И там и тут лежу, упершись спиной в высокую комариную кочку. Удивительно, но не чувствую кочки, своего тела, себя. Меня несет по волнам времени, по всему пространственному язычеству Руси, которое было когда-то тут. Ни храмов, ни христианства. Одни только капища, такие вот идолы, угро-финские племена по Зуше и по Оке. И мы еще под Хазарским каганатом с его иудейской религией, и нам предстоит еще выбор...

Заурчала машина. Это «уазик». Из Мценска по дороге на Высокое. Чиновник какой-то, местный председатель — припозднился с дружками, выбивая деньги и фонды.

И опять тишина. И мой Пан, мой смешливый сократовский профиль, по-прежнему предо мной. И митинги у яранг. И снега по стволу — великие, белые-белые, и великие митинги. И внизу под березами — пядь...

И опять машина в ночи. Это «Москвич». Из Высокого — в сторону Мценска. Ага, москвичи провезли продукты. Пять-шесть часов ходу, часам к восьми-девяти в столице...

— Боже мой, кто я, что вижу? — так все во мне обострено этой ночью, луной, лунно-пепельным светом.

И опять машина. Скорее всего «Жигули». Из Алешни в поселок за бугром — в Косаревку. Ага, низочком туда не проедешь, топко ведь, дождик был накануне. Это друг мой Демьяныч, пасечник, у него одного такая машина. От знакомых, от родственников Демьяныч домой возвращается.

А это вот — через полчаса и «Нива» пожаловала. Оттуда же, из Алешни, далее следует на Высокое. Больше машин не будет. Это — плетун, конечно, от бабы, бабы у него на уме. Цветы запоздалые. Интересно, какую лапшу жене будет утром на уши вешать? Из Мценска, мол, из райцентра, дела... Пан я, Сатира и Юмор. Высокий сократовский лоб... Петух прокричал, следом — другой. Это в Прилепах. Вот не спится кому-то — первые петухи. Опять лунно-пепельная реальность. Нет, каковы эти живые радости — первые петухи. По посадкам косточки ведьмины перебирают, сатане секунды отсчитывают...

Дай-ка пройдусь вдоль берез, а то тут совсем обездвижешься. Эта посадка и щедра же прошлым летом была на грибы! Даже рубаху пришлось снимать, рукава завязывать. Да вот же, вот они — пионеры лесов, белые, что ли? Один при луне даже шляпкой своей отсвечивает, другой — в полшляпки листком прикрылся. «Здорово, голубчик! Ну что, брат, не спится? Посиди, посиди до утра, я тебя не забуду»... И так по посадке, по посадке — вон куда ушел от рюкзака. А потом назад пришел к рюкзаку; кабы ежики на иголках своих

рюкзак-то мой не унесли. Близко и далеко. Скажи кому, что ночь ночевал в посадке, на смех подымут. Не бреши, мол, как радио, в котором диктор Бочков вещает погоду, а дождь уже каплет на лысину...

Стою посреди асфальта; пока не пойдут утренние машины, я — хозяин тайги, всего высокинского большака. Птица трепыхнулась на дереве — дикие утки; это у устья Алешни, где-то на «колыме», стреляли вчера — на уток охотились. Ветерок потянул от Алешни, полем-полем да по раките, да по лбу моему сократовскому, ух ты, какой поток света! Каковы лунные блики! Подбежал к кочке, откуда Пан мне привиделся и держался все, пока не развеялся ветром; да вот же он, вот — мой Пан, мой курносый Сократ, мой двуликий Янус, Световид — мой языческий бог...

И опять бегу на большак. Погреться. От асфальта идут дневные, еще солнечные излучения. Ибо луна цыганская, хоть и широка в поясе, не обхватишь, навроде «Демьяныча», а отопление скудное, «городское», как говорят на «незалэжной», ибо газ, говорят, они покупают...

Стою на асфальте. По лунному, облитому луной, почти белому фону асфальта, темнеют черные пятна. Такие же, как пятна на лице у Сашуни — председателя сельской администрации, когда люди Набойщикова с работы его сымали. Дай, думаю, еще постою, ничего со мной не случится. А петухи уж вторые, из Косаревки, от прилепских петухов приняли эстафету. Это, значит, сколько у нас — уже два, третий час. И сколько времени тогда до первого автобуса? Да еще половина. Ничего себе, подождем, братцы, — не под дождем.

Так что же это за пятна по асфальту-то? Ух, луна, ух, красавица! Улыбаешься? Улыбайся! Как невеста на свадьбе: близко сидит, да рукой не дотянешься. Но что душу облагораживает, так это то, что страхи снимает, правда, ведьмы да ведьмаки все мерещатся, терзают душу то Чечней, то Косовым полем, спасибо луна просвечивает всю посадку насквозь до самого низочка, что-

то вроде гласности в средствах массовой информации, а то как бы и жили. А как третьим петухам прокричать, так тут тебе вальпургиева ночь и закончится. Тогда можно на портрет свой, на Пана в ракитовом профиле, уже не молиться...

Загляделся на звезды я — не звезды, а яблоки. Тут внизу по садам — по яблоням, по тортам яблочным. И там, вверху, по всему млечно-пепельному пространству, вместо укрупненных звезд, тоже яблоки. Интересно, какие это — антоновские яблоки или «штрифель»? Если бы можно было подпрыгнуть и откусить. Вот беда (Нина Родина — жена моего друга — сама гжатская, мать ее жила по соседству с Гагариными), — надо было туда вовремя съездить, когда живой еще был Юрий Гагарин, он бы мне все рассказал: и какого сорта они там, яблоки эти, и какой сочности. Я так думаю: это он завез туда нашу антоновку и развешал по звездам, между созвездьями, сразу по всем очертаниям...

Вот и третьи петухи, слава Богу. Ух, родимые, как вы вовремя! Аж чертям тошно стало, ведьмы в норы полезли. Даже профиль сократовский Пана и тот заколебался на дереве. Это — от ветерка. Вот и небо оживать, светлеть начало там, за нашим поселком Синяевским, в сторону Елизаветинки, далеко-далеко над Алябьевом наливается уж, розовеет... Комбайны возвращаются. То ли правду сказали в сводках о косовице, то ли слегка притрепнули, чтобы было чем погордиться...

Эти третьи петухи сняли камень с души: ночь закончилась. В то же время и жаль ее стало, хороша была ночь — эта лунная-лунная, красивая ночь! И нате вам, нет уже, отошла. Звезды пачками выключаются. Только самая рдяная, самая крупная, самая-самая все еще борется, не исчезает. Уж и красится небо, а она все висит, всем видна. Уж румянцем облачка затомило, а она все не пропадает. Пан и тот слез с ракиты и вместе со мной ушел посмотреть на асфальт. А на асфальте уж опасно стоять — вот-вот с ревом пойдут машины...

Солнце краешек высунуло. А она все мигает — Венера, утренняя красавица, напоследок все глядит-глядит, очаровывает. Как повесил Пан ее, так и забыл снять, пусть горит — светит людям. И вдруг слышу в себе столько всего происходит. И рюкзак уже мне нипочем, хоть пешком иди, тащи этот груз на себе в свои городские «бетоны». Как душа-то легка, обновилась! А все Пан этот, мой языческий Бог, утро, бессонные мои разговоры. Подвиг ведь совершил, переступил страхи, красотой наполнился, преодолел в себе что-то, чтобы снова идти... Прежде по радио гимны на ночь, на сон грядущий играли. А утром, на день грядущий, гимны те пели. А теперь и утром, и ночью исполняют без слов. Вот оно утро с ночью и перепуталось...

Бегу по посадке, а грибы — ночные знакомцы руками тянутся: «Возьми, Пан, возьми!» И тот, что с белой шляпкой, и тот, на котором листок. Оставлю, пожалуй, вас, братцы, березам с их митингами, раките с ликом Пана, Луне оставлю, Венере.

Все, все оставляю Стране Облетевших Ракит, с собой уношу только этот сентябрь, бабье лето на ночном большаке и всю эту лунную-лунную ночь. Навсегда, до конца своей жизни.

АРИЯ ЛЕНСКОГО

(Автобиографический рассказ)

Так и звучит во мне с юности голос Лемешева, эта ария Ленского:

«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?»

Так и борются всю мою жизнь эти две стихии — музыка звуков и музыка слов. Помню, целую зиму, перед экзаменами на аттестат зрелости, я только и делаю, что переписываю в толстенную тетрадь всякие

сведения — это по музыкальной части. А по части литературной — стихи пишу, песни на них сочиняю, сам же их и пою. Так и живу я в малом своем степном городке Малоархангельске, в нашей русской глубинке, где Пушкина — по легенде — когда-то приняли за ревизора. А ведь толком не знаю, где хоть после десятого класса учатся на поэтов, а на музыкантов?

Куда хоть ехать-то? В Харьков — если в консерваторию? У меня, говорят, голос, я — сын своей матери, а она когда-то пела в еще первом, деревенском хоре Пятницкого. Или же отправляться сразу в Москву, если на поэта учиться? А ведь даже о существовании Литературного института и не подозреваю, думаю, что на поэтов учат на факультете журналистики Московского госуниверситета...

И вот уже в МГУ сдаю экзамен по истории, это в старом здании на Моховой. Билет попадается с такими вопросами: во-первых, о нашествии Наполеона на Москву, а во-вторых, русская культура второй половины девятнадцатого века... Дедок передо мной сидит — экзаменатор, старенький, тоже моховой. Как жук, уставился в меня очками, как это, готовясь, шпарю я, перо по бумаге так и летает. Целый ворох листочков уже, а я все пишу и пишу... спасу нет, зуд какой-то напал...

Подходит этот дедок ко мне, заглядывает через плечо:

— Молодой человек, чего это вы все строчите?

— А это, — говорю, — только тезисы, «шкелеты» одни. А все остальное в «шкафу»,— и стучу по лбу себе, показываю на «чердак».

И я с ходу в бой. Ну, что там про Наполеона-то? Вот он тут у меня как гитлеровский, совсем свежий, так и наполеоновский московский поход! Одна карта, цифирь чего стоит. А вылазки Долохова по тылам? А еще Лев Толстой с его художественными картинами, а старостиха Василиса, а Герасим (у меня дед Герасим Макарыч) Курин? Все вижу, будто сам с ними там с вилами и ружьем...

— Ладно, — прячет дед улыбочку в бороду. — Переходите ко второму вопросу.

А второй вопрос — это, значит, культура во второй половине. Ну, не будем опять-таки о литературе — это Толстой, Достоевский, не будем и о живописи — это опять же «передвижники» — передвигались, соединялись и распадались. Я лучше на музыке остановлюсь — это моя любовь. Это море Хвалынское, Океан Великий... Вот Мусоргский с его «Борисом Годуновым», вот Направник с «Дубровским»... А это Чайковский с его «Евгением Онегиным», «Пиковой дамой»... И чего меня все на Пушкина тянет?.. Пушкинский «Золотой петушок», музыка Римского-Корсакова... У меня же целая галерея авторов... Три зимы и два лета пишу, извлекаю факты, руку всю обломал...

— А зачем же, — улыбается дед, — руку на этом обламывать?

— А чтоб глотку поменьше драть, — говорю, — на экзамене. Как у Суворова, трудно в учении — легче в бою.

— А ты что, приехал сюда воевать? — допытывается дед и давай тискать свой стул, крутить вокруг одной ножки.

— А как же, — говорю.

— Ну и как, страшновато?

— А вот так, — говорю, — меня еще солдаты наказывали учиться.

— Это какие?

— Из сорок третьего года. С Орловско-Курской дуги. Мы вместе с ними пели песни Фатьянова и «Василия Теркина» перед боем читали... И еще Пушкин с Чайковским с их оперой «Евгений Онегин»... Вот Леонид Витальевич Собинов, например, — то юрист, то тенор. То поет в салонах, то не поется, не в голосе. Друзья ему: «Да брось ты эту юриспруденцию, сосредоточься на сцене, у тебя же талант, от Бога». И вот Собинов в Мариинке в роли Ленского. А левый мизинец зажало в туфле, Собинова аж в пот бросило: третье «до» вдруг

да не возьмет? А звук ведь должен лететь, быть свободным... как полет шмеля... вот так... значит, ария Ленского, да?

— Да, да, — улыбается дед, рот у деда, вижу, уже не запахивается.

— Экземпля-я-я-р... экземпля-я-ярчик... — слышу по рядам у себя за спиной.

Да ладно, думаю, да ничего себе не думаю. А рот и себе раскрыл да деду потихонечку:

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?

А голос сам звенит — молодой, аж затылок насквозь и в потолок, и в стены, аж стены звенят. Дед, вижу, остолбенел, глаза выкатил... Ну, думаю, надо прибавить, только раз бывает в жизни встреча... И давай ему, — вкатил в одно ухо, а из другого, слышу, сзади выкатились хлопки какие-то, вроде аплодисменты... Дед кинулся было ко мне на радостях, а потом остановился и говорит:

— Ты это, малый, не туда попал.

— А куда ж, — говорю, — надо?

— В консерваторию, — говорит. — Вон за углом по улице Герцена.

— Так в консерватории, — говорю, — на музыку учат. А я на поэта хочу, у вас тут на факультете журналистики.

— На поэта? — засмеялся дед. — Да на поэтов не учат. Это как Пушкин. Поэт — он или есть или его нет... Эх ты, малый, деревня ты моя, провинция ты наша глухомятная. Давай-ка я тебя к себе возьму на исторический, я — профессор истории.

— Какие ж мы глухомятные, темные? Мы орловские, считай, подмосковные. Вон сколько классиков дали литературе.

— Ладно, — махнул дед-профессор. — Скажи вон только, мать хоть есть у тебя?

— Из крестьянок, швея. На фронт шила и сейчас

шьет, уже третью строчку гонит вокруг земного шара по экватору.

— А отец?

— Что отец? — потупил я голову. — С Соловков не вернулся...

— Понятно, — искренне, вижу, огорчился дедок. — Мандатные комиссии на то и существуют... Для строителей высотного здания — льготы, для участников Дальстроя — льготы, для детей работников органов — льготы. А для тебя — ноты... другого пока ничего не придумано...

А было это давно уже, холодным летом 53-го. Как сейчас помню.

— И вот, сынок, что могу сделать я для тебя, — обнимает меня старичок-профессор, — так это вот что.

И за плечи берет меня и выводит из аудитории в коридор. В главное фойе — с колоннами и большой красивой лестницей.

— Люди! — говорит профессор, и эхо катится, и все останавливаются и смотрят сюда. — Вот как надо любить историю Родины и воспринимать искусство... Пойте, коллега, арию Ленского, пойте, — последнюю перед дуэлью...

И я понял все. Вот так стоял и плакал. По Пушкину и по себе.

Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она?

И вот после окончания Курского историко-филологического я в деревне учителем. Вот уже в областной молодежной газете корреспондентом. Днем — редакция, командировки, ночью — стихи, статьи, рефераты. И опять три зимы и два лета готовлюсь уже в аспирантуру туда, куда не взяли, давно ли, даже студентом. А вот передо мною комиссия... отца Дионисия, что-то не люблю я это слово... И вместо ответа на вопросы я почему-то думаю о справедливости, о дедушке том — о профессоре, жив ли?..

Дверь в аудиторию приотворяется — это Сашута, сестрица жены моей, она тут аспирантка. Машет мне в щель — достала билетики, это тут поблизости в Пушкинском музее, на открытие художественной выставки. И тут что-то вспыхивает во мне, не знаю, не понимаю уж что. Я встаю резко и печатаю шаг, иду мимо стола с этой самой комиссией.

Растерянно лицо председателя — отца Дионисия, доцента Вики Ученовой (подлинная фамилия, руководитель студенческой практики у нас в молодежной газете, теперь уж давно профессор, она брала меня к себе в аспирантуру).

— Ленечка, выходить же нельзя! Посиди, успокойся...

А я уже не вижу ничего, кроме этих билетиков в руках у Сашуты. Кроме пушкинских профилей на выставке, тут поблизости — в музее имени Пушкина, где сразу же после открытия состоится концерт и будут петь, конечно же, арию Ленского. Вот только кто, интересно, — Лемешев или Козловский?

Всегда поют — как в день гибели, так и в день рожденья поэта. Как и я пою ее по сию пору всегда — эту вечно молодую, любимую арию Ленского.

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?

ОЗАРЕНИЯ

(Малые рассказы)

«Под богом пою!..»

КОГДА ХОРОШО НА ДУШЕ

Кстати, о загадочности русской души. Немцы испокон изучали «русскую душу», готовы изучать все человечество. Что-то говорят о созерцательности, о лиризме русских, связанном с равнинным характером нашей среды обитания. Что-то связывают с метафизической волей, по Шопенгауэру, которая правит миром. Кстати, в «Железной воле» Н. С. Лескова Гуго Карлович Пекторалис, проявляя немецкую «железную» выдержку, состязается в поедании блинов с русским купцом. Перегревшись за пазухой, осы ширяют Пекторалиса, а Пекторалис все ест и ест блины, тщательно пережевывая, пока не падает замертво. Купец же русский хопом отправляет блин за блином во чрево свое, «проглотил» всю Сибирь, «доглотался», как говорится, до Калифорнии. И вот я думаю: да чтобы махину такую — немалую долю планеты держать и содержать, достаточно ли пассивного созерцания? Активность русского человека, и внешняя и внутренняя, зигзагами и скачками — в сиюминутном и вечном, в обозримо земном и божественном.

Об этой нашей ментальности и моментальности, мимолетности и монументальности, обо всех этих чудных мгновениях, проблесках, прорезях и озарениях, заметьте, о нас с вами — эти фрагменты из моих записных книжек, стихотворения в прозе, лирические миниатюры, золотые высверки народных речений, которые я когда-либо услышал, записал, а то и просто запомнил за свою жизнь. А начал давненько, еще на заре туманной юности, особенно когда был молодым учителем в орловской деревне. Так и вижу, слышу всех словотворцев из народных глубин — дядю Симу, бабу Дашу, старенькую Антоновну — хозяюшку мою из ма-

лоархангельского Губкино. Бывало, присядет напротив и — потекли слова свойские, золотые. Личико в кулачок, а глазки, а душа, а глубина, а теплота, лепота, как самое синее в мире... Черное море — Белый пароход...

Сын мой сидит дома и что-то пишет. А в мире бушуют страсти, планету трясет. Когда-то по моим стопам, после института, он тоже работал в деревне учителем. Сейчас по стопам матери — преподает в вузе. Летом защитил кандидатскую. Сколько же труда, интриг, воли и потрясений! Даже не верится.

Но вот он собирается на работу. Лет пять тому мы всей семьей крестились в церкви.

— Пап, какой мне крестик надеть? Нательный или серебряный?

Я молчу. И пауза. Размышление.

— Нательный — медный, — рассуждает он, — нам дан нашим крестным — отцом Мефодием. А серебряный — как булка к чаю, праздничный. — Пауза. Размышление, как высверк души.

— Медный надену, — решает сын окончательно. — На медной цепочке. Это — как черный хлеб. На каждый день, всегда хорошо.

СВЕЧИ ТРЕЩАТ

Сегодня день святого Валентина. Те, кому посылают любовные письма, праздник любят, даже боготворят. А кому не посылают — хмурятся, говорят, это не наш, католический. Зато завтра, это уж точно, наше православное Сретенье. Зима с летом встречаются. Если курочка из лужицы напьется, — значит, весна ранняя, теплая.

А вчера Любовь Слиску показывали по телевизору. Она теперь первым заместителем председателя в Госдуме. Свежий человек. Прямая еще, «Пионерская правда». Отказалась от престижностей, в кулуарах грибочки свои доедает. И правду-матку режет пока что:

— Тут, в Госдуме, целый день не просидеть. В обед надо хотя бы на час отъезжать. Обязательно. А в пятницу домой, в Самару, лечу самолетом... обязательно...

— Почему?

— Так в Думе же аура темная. Даже свечи трещат. Таких выбрали или такими становятся?

14 февраля 2000 г.

«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

Вчера в одной газете прочитал жуткую информацию. А набрана мягко, петитом. Французские ученые произвели взрыв, в результате получена плазма. Это такое состояние материи, которое существовало еще в момент образования Земли. При этом взрыве может образоваться такая плотность — «черная дыра», куда может вовлечься вся планета, если пойдет цепная реакция...

— Дождемся, — заметил Первый Читатель. — Советский Союз уж втянуло.

— Зато Россия свободна, — ответил Второй Читатель.

— И Свободу уже втянуло, не заметили разве?

— Когда?

— А еще во время Великой французской революции. Как втянуло, так в мире только одни революции.

— А статуя Свободы?

— Свободу французы отдали Америке.

РУССКИЕ ЯПОНЦЫ

Деревенская бабушка съездила в город, к внучке. Потратилась, зато видела много чего. Пришла к соседке и говорит внуковыми выражениями:

— Век свободы не видать, блин.

— Какой блин? — уставилась в нее соседка.

— Блинов никаких, — говорит бабушка. — А так говорят: блин!

— Ну и что? — некогда было соседке, поросенку

как раз собралась нести картошку жареную на облепиховом масле.

«Мужику, небось, не понравилась», — подумала бабушка.

— И поросята что зря не едят, блин! — сказала она молодайке. — В городе русских нет теперь, не видать что-то, одни японцы.

— Как? — удивилась соседка. — По телевизору говорят только про Курильские острова, блин.

— Во, — сказала бабушка, — и к тебе прицепилось.

— Да уж, однозначно, — сказала соседка. — Ну и отчего же японцы-то в городе?

Бабушка постояла, постояла, покряхтела и сделала вывод:

— Все дорого, недоступно. Вот, блин, все и пожелтели, японский бог! От картошки на облепиховом масле.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Две сестры живут в городе. Родных у них нет, это сестры двоюродные. И больше из родственников никого. Однако, как и у всех, и у них главное теперь что — коммерческая тайна. Это как бы один другого не стал жить получше. Вот на порог к себе никого уже и не пускают, нельзя. Как когда-то в Прибалтике или в Западной Европе, встречаются все теперь на «нейтральной территории», в кафе. Вон сколько их понаклепали.

Одна сестра живет втроем в трехкомнатной, а другая — в однокомнатной вчетвером. Зато у нее еще квартира двухкомнатная в другом городе. Наконец, эта другая сестра набрала денег еще на комнату и, продав свою, купила новую квартиру в новом доме. И тут же поставила телефон, звонит сестрице:

— Приди погляди... мы теперь тоже в двухкомнатной...

— Почему тоже? — поджимает губы другая сестра. — А на каком этаже? Высоко, небось, лифт не работает.

— Работает.

— А я боюсь в лифте ездить, голова кружится... Ладно, приду.

Кладет трубку и говорит мужу:

— Спешить некуда. А то все новое у нее, блестит. Дай газовая плитка у нее подзагрязнится, как в старой-то, тогда и приду.

«НАСКВОЗЬ ВИЖУ...»

У нас три пути. Налево пойдешь — доллар найдешь. Уже ходили, 17 августа на стенку наткнулись. Направо пойдешь — «деревянный» рубль на земле увидишь. Все идем и идем, в гору камень с надписью «Цена» катим. Ну, а третий путь — прямо. По Карамзину — «промышленность», «зеленя» — по Тургеневу...

Все ждут очередной виток — «дефолт», что ль, теперь называется. То было: хрусталь, меха, водка. А то, говорят, водка, водка, водка. Кричат: «Цены поднимем на тридцать процентов!» И тут же очередь в магазине.

Один мужик выпимши, хорохор:

— Ничего, ничего, пили и будем пить. Да я их насквозь вижу!

Второй — трезвый, умный и дальновидный:

— Действительно, надо купить. А то помрешь — нечего будет и выпить.

БОГАТЫРЬ СВЯТОРУССКИЙ

Губернатору всей провинции

Едет мужик на лошади, камни везет на дорогу. А лошадь себя уж не помнит — тощая, один хвост. Колесо подвихнулось и — в яму. От лошади даже пар идет, а ни с места. Подходит мужик, присел, плечо подпер под заднее колесо, покряхтел, покряхтел и встал — телегу и выперло.

Подошел мужик, потрепал по ушам кобыленку:

— Иде ж тебе, милая, когда я еле-еле.

«ЛИКИ СВЯТЫХ»

На окраине городка из бугра бьет ключ толщиной в детскую руку. Вода изумительного вкуса. В округе истоки такие еще в Андреевке и в Подкопаеве — колодце Девятой Пятницы. И каждый ключ хорош по-своему. К воде испокон приглядывались и святили. Вот и этот родник давно все знают. И ходят за водой «из-под трубочки». Золотая трубочка.

На машинах, на санках-тележках, в руках несут ведра, бидоны и фляги. Продавай ее где-нибудь как «романовскую», глядишь, и бюджет района на ноги встанет. А когда-то вода просто так текла по земле. Но в войну, говорят, немец дошлый какой-то вставил в бугор металлическую трубочку. А наш русский батюшка уж недавно окрестил эту трубочку, причислил воду «к лику святых». И бежит ручей ныне, ничегошеньки не зная о воссоединении в себе двух ветвей христианства.

И вот появился тут «голубец». С иконами. С «иорданью» — купелью. С трапезным столиком, где можно и причаститься. О таком «голубце» Бунин когда-то сказал такими словами:

«В лесу, в горе родник, живой и звонкий,
Над родником старинный голубец
С лубочной почерневшею иконкой,
А в роднике березовый корец.
Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней, рабской нищеты.
Но этот крест, но этот ковшик белый...
Смиренные, родимые черты!»

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

Лето в деревне кончилось, пора ехать в город на работу. Надо кое-чего захватить из даров природы, а до большака километра три. Пошли к Ивану: «Запряги Зайчика, подвези». Иван запряг и поехал к нашему

дому, что на околице. А мы тут пока с бабой Дашей стоим разговариваем. И вдруг ветер, туча черная, все смешалось. Молнии через все небо, гром, Господи твоя воля! Куры в сарай, собака в будку.

И молния — как тррахнет! В той стороне, где наш дом.

— Все, отжился Иван, — перекрестилась старуха.

Шквал пролетел. Бегу к своему дому — стоит телега под Зайчиком, и Иван ходит, поправляет сбрую. А полдуба рядом как и не бывало, повалило на туалет.

— Ого! — гляжу я на расщепленный ствол. — А если б вдвоем с Иваном стояли, точно бы в нас влепило. В одном — притяжение, в другом — притяжение, а если вместе, то...

— Сколько? — интересуется живо Иван.

— Дважды два — девять, — говорю. — Девятый вал...

— Небось, бабка сказала: «Ну вот Иван и отжился?»

— Сказала, — гляжу я на него.

Ничего себе! Неужто мысли читает?

— Девятый раз так говорит.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Как сказал известный наш классик: «О, великий и могучий... русский язык!..» Действительно, как не впасть в «отчаяние»? А если дом наш — Россия, а адрес Советский Союз? И вот что интересно: русским языком пользуются, а государственным не считают. Ну, и не пользуйтесь, а о медицине в Америке так говорят: «Если ее сделать бесплатной, так ведь здоровье не будут беречь».

О, великий и могучий, правдивый и свободный... Кого хочу — того лечу, куда хочу — туда лечу. О чем хочу — о том мычу... Мы-мы, му-му... Не просто русские есть теперь, а еще, оказывается, есть и русскоязычные.

ШАГИ КОМАНДОРА

Сын включен в список. Это кому доверено дежурить в кабинете ректора по субботам и воскресеньям. Раньше так было в облисполкоме.

Ну, чтоб веселее было, и я за ним увязался.

Сидим в кабинете, куда сроду и днем бы не заглянул, а то ночью, и жуть берет, четыре громадных этажа. И никого. А где Чечня, где Сербия? Самолеты угоняют. Бомбы полуторатонные кидают. Магазины чистят. Собаки настроены на наркотики. А в нашем магазине появились «лягушачьи лапы» по 418 р. за кило.

До того, знаю, только у нас в Малоархангельске Миша Грудан ел лягушек из пруда. «А жирны-ы-ы», — осклаблялся, бывало, Миша в белозубой улыбке. А глаза у самого навыкате, как у лягушки...

И тут шаги по этажу. Ух! ух! ух! Шаги командора. А где ректор? Где Федор Стратилат — святой великомученик?..

И шашки где-то толовые, гексагеновые. И все четыре этажа тут, и — ничего. Хоть бы мыши какие-нибудь, хоть бы крысы. Только тревога одна, и не за себя уж — за все народное образование.

ВСЕ РУБИМ

Все окно прорубаем в Европу, а оно все зарастает. Киевская Русь была «страной городов». По «пути из врагов в греки»! Да побольше городов тут было, чем в той же Европе. Чего стоит первая наша столица — Новгород Великий (Господин Великий Новгород), республика с народным собранием — вече. Вот где средний слой укорачивал демократически и верхи неустанные, и низы голоштанные. И на бересте уже писали мы, и деревянные «плитуары» имели. В то время как в Европах по грязи на ходулях ходили... А что потом?

Как с Петра Первого начали прорубать, так с той

поры все и прорубаем. И декабристы. И в 1917 году. И сейчас. «Прорубим», хватнем воздушку и опять в спячку. И опять «прорубать».

ГЕНИЙ — ЭТО БОГОВДОХНОВЕННЫЙ

Лев Толстой сказал, что врожденные творческие способности плюс труд — это талант, талант плюс труд — это гений. То есть способности, дважды помноженные на труд, — вот что такое гений. Сам граф — этот «матерый человечище», а трудовая энергия — «мужицкая»...

В быту все так и рвутся в гении. Розы видят, букеты. А знали бы внутреннюю да и внешнюю лабораторию — не много нашлось бы, кто сунулся на эту Голгофу.

По Гофману, гений — это «боговдохновенный». Богом избранная личность, подключенная к космосу. Это романтики, на которых — печать. Страдай, мучайся и искупай все за всех и выражай это первопроходчество в образах. Виси на кресте...

Спросите у любого депутата: что лучше — его зарплата при минимальной 80 рублей или же почетное звание «Гений»? Что скажет? Мол, и то и другое? А так не бывает.

ОЗАРЕНИЯ

Друзья советовали Тургеневу напечатать накопленное в записных книжках. И он опубликовал все это, жанром малое, объемное внутренне, под лозунгом «Стихотворения в прозе». С той поры и идет по Руси — печатают, публикуют. Кто от щедрости, от переизбытка, а кто от лени и скудоумия. А в общем, авторы всякие, в том числе и хорошие. Юрий Бондарев — «Мгновения», Владимир Солоухин — «Камешки на ладони», Виктор Астафьев — «Затеси»... «Осколки»... «Россыпи»... «Пролези»...

И все это, в основном, материальное, но небольшое. Временно́е, но краткое.


ВНАЧАЛЕ
БЫЛО
СЛОВО

А у меня по этой линии: «Проблески», «Просветления» — «Озарения». Это, на мой взгляд, нечто внутреннее — перевороты, качественно «озаренные» свыше белой энергией духа.

ЦВЕТЫ ДЛЯ СЕЛИН

Познакомились мы в Орле, на пороге музея Бунина. Это Селин — молодая француженка из Пикардии, она приехала в Россию «улучшать свой русский». Через год Селин приехала «улучшать свой русский» уже на Украину. И сообщила нам с сыном об этом. И вот мы в Киеве. На острове Уединения... все втроем...

Прощаясь, с седьмого этажа смотрим на вечерний Киев — вечерний Днепр, вечерние поезда. Огни Владимирской горки туманны, таинственны, как и мелодия в сердце. Мой поезд ушел на закат...

Мы встретились, чтобы расстаться.
Друг друга боясь полюбить.
Француженка — тонкая грация,
Дрожит — не оборвана — нить.

А утром она стоит перед нашим автобусом на автовокзале, прощаемся, может быть, навсегда. Огромны огненно-рыжие цветы на груди. Она понимала, не глядя: Селин — это Луна? Но почему же так много солнца сейчас у нее на груди и сколько же грусти?

Вот так и стоит предо мною
С цветами, как огненный флаг.
Прощается Киев со мною,
В ее утопая руках.

«ВСТАВАЙТЕ, ГРАФ!..»

Утром он подошел к отцу и стал жаловаться:

— Помнишь, Олег подпилил на гитаре мне деку, и ты тогда остановил меня...

— Послушай, — сказал отец. — Ты плохо, навер-

ное, спал. И день начинается у тебя с черной энергии. А что с утра говорил слуга социал-утописту Сен-Симону?

— Вставайте, граф, вас ждут великие дела! — улыбнулся сын. И добавил от себя: — Если, конечно, вы, граф, нужны людям.

Засмеялся отец:

— Утром, если встал не с той ноги, — смени ногу, черную энергию — на белую. Послушай хорошую музыку, возьми хорошую книжку, позвони другу — подруге, взгляни на черемуху под окном, стихи прочитай, песню, наконец, спой... и ты непременно улыбнешься...

Так и в жизни. Тебя сбивает судьба, а ты стой. И друзья у тебя самые верные — это Природа, Искусство, Добрые Люди...

— Иди, сын мой, давай побушкаемся, потремся носами — так целуются в Африке.

— О Африка, Африка! Страна обезьян и крокодилов! — вскричал сын, вспомнив Корнея Чуковского, Хемингуэя и Экзюпери.

— Однако и фараонов страна, — сунулся Отец к нему в приоткрытую дверь, — это тоже надо не забывать.

РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ

Самая большая роскошь — это
роскошь человеческого общения.
Антуан де Сент-Экзюпери

А завтра ей ехать в Тверь на могилку к матери. Заранее купила билет — на наш фирменный поезд. Мы всегда провожаем друг друга, особенно на ночной. И уже сегодня сын говорит:

— Мама, завтра едем тебя провожать...

Пауза. Тишина. И новый нюанс.

— Четыре рубля, — говорит мама. — Нет уж, отец проводит меня один.

Четыре рубля — это сыну туда и обратно троллейбу-

сом на вокзал, а отцу как пенсионеру — бесплатно. Четыре рубля — не потрясают, конечно, основ, однако зачем тратить лишнее?

А если бы, как когда-то, жили мы на окраине? На город взглянуть лишний раз было бы затруднительно. Письмо послать — роскошь, газету купить — роскошь... Так и живем.

МЕЛОДИЯ В СЕРДЦЕ

Еще студенткой второго курса, через Клуб интернациональной дружбы, она познакомилась с француженкой по имени Жозет — Жозетта. И стали они дружить — писать друг другу, обмениваться новостями, сувенирами. Вышли замуж, дети появились. Француженка переехала в Швейцарию. Так и пролетели сорок лет жизни — роман в письмах. Дружили семьями, но ни разу не виделись... И вот трагическая весть: Жозет заболела страшной болезнью двадцатого века. И Люсьетта, наконец-то, во Франции. И они встречаются где-то в Савойях... А в следующем мае от дочери Жозет пришло письмо в траурной рамке...

К Новому — 2000 году мы, как всегда, отправляем письмо по привычному адресу. Но теперь уже на имя Натали — ее дочери. Я даже песню посвятил светлой памяти Жозетты Манян... Январь проходит, февраль уже — десятое, четырнадцатое число... Как-то мы возвращаемся домой, и Люсьетта говорит:

— Ну что ж, ответа, наверно, не будет. Но все равно мы будем писать Натали, хотя бы дважды в год: к дню рождения Жозет и к Рождеству...

Заходим в подъезд. Смотрим в почтовый ящик: бело-красно-голубое по кайме, авиационный конверт.

— Франция, от Натали! — вскрикнул сын.

Натали сообщает свой новый адрес. И сын уже пишет в ответ: «Я так рад, что все продолжается...»

«Вы сгубили меня, ночи черные, очи страстные и прекрасные», — звучит в сердце известная всем нам мелодия, которую так любила Жозет.

ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ

Полвторого, в Новогоднюю ночь, раздается международный телефонный звонок. Телефонистка:

— Украина, Запорожье... Говорите.

И голос в трубку:

— Это нам, пенсионерам, льгота, я и звоню... Леночка, дорогой, это сестрица твоя Нина Ивановна... Да, Клочкова-Терещенко... Обнимаем, целуем, любим...

— И мы вас...

И этот диалог длится у нас с 1966-го. Когда в колпнянском селе Ярище состоялась встреча героя-летчика Бориса Ивановича Ковзана, совершившего в Отечественной четыре тарана, с ярищенцами, спасшими его в сорок первом... И я тогда был молодым журналистом, затеял встречу...

А голос из трубки:

— Как жив, Леня, чем занимаешься?

И я ей в трубку:

— Я песню про вас написал... пою ее... Нина Ивановна, эта песня для вас...

И летим, и плывем мы с Сосною вдвоем
По волнам нашей памяти ввысь...

ЧТО СКАЗАЛ НАПОЛЕОН

Вот им сказали:

— Берите демократии, сколько влезет.

Они и взяли. Тогда им начали сокращать...

— Чего?

— Мой генерал, — сказал де Голлю Наполеон, — я могу лишить вас этого преимущества.

— Какого?

— Всех, у кого есть какие-либо преимущества... Что после «пре»? — имущество? Вот он им и говорит: «Берите демократии, сколько влезет, а не сколько вылезет».

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!..»

Вот они в свои «Осколки» от лужи пролезли изнутри и созерцают. Ищут и запечатлевают. Из Тургенева, Бунина, Пушкина, Юрия Казакова... Только зачем? Не пойму. Те же сказали уже. И высший класс, лучше не скажешь. Про природу, про закаты. Бунин — это поэзия в прозе, а не проза в поэзии.

Сидят девки у купца на коленях:

— Иван Феоктистыч, нетути.

— Ищи-ищи, должон быть.

Нам без разницы, безобразницы!

ИМЕНИ ТРАМВАЯ

А премий-то, премий! И все, заметим, они — от трамвая. По Орлу катаются — то по Пушкинской, то по Грузовой. Но не дальше «химдыма», дальше некуда. Санкционируются и субсидируются тут, а получают в Москве... от имени и по поручению...

Вот стоят они перед плакатом, куда сами себя поместили, и любуются. А один поэт, который не влез в «плакат», ибо дюже крупен, так все объясняет:

— Это, — говорит, — все подпорки. Значит, сами стоять не могут... без трамвая-то... Премию надо выдать такую — бесплатный проезд на трамвае. А то все «зайцами» норовят... Вот и пусть ездят себе то по Пушкинской, то по Грузовой, а сами думают пусть, что на трамвае ездят по всей России...

Знать надо, что самый длинный маршрут троллейбуса — от Симферополя до Ялты. А у нас в Орле самый длинный «трамвай» — от «желдора» до «химдыма. Вот и катайтесь туда-сюда, туда-сюда, вместе с кондуктором,

на ходу стихи сочиняйте. Пока только на бесплатный проезд в трамвае, а как на романс в стихах наскребете, так и вообще бесплатную жизнь дадут в самолете, чтобы улететь отсюда к чертовой матери. Ибо у нас вон какой теперь аэропорт — международный: самолеты может принимать из-за границы, а поэзию? Я, говорит, ее не понимаю, только на прозу жизни рассчитываю.

МАГНЕТИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ

В центре Колпны — мемориальный сквер. Аллея героев, шестнадцать Героев Советского Союза. Ни в каком другом районе Орловщины нет столько. Один из них еще мальчишкой ушел на фронт из глухой деревеньки, не успел даже сфотографироваться. Шестнадцать героев — шестнадцать бюстов. Шестнадцать и есть. Как же так?

С редактором местной газеты Бондарчуком подходим к одному из бюстов, читаем: «Рядовой Бородин». Оказывается, вот как вышли из положения. Родная сестра парнишки лицом была с ним как две капли воды. С нее и взяли портрет...

И теперь сестра пришла сюда и присела. Куда торопиться? Так и сидит на аллее. Имя брата, а облик сестры — магнетическое сочетание.

«МЫ ИЗ ХОРА ПЯТНИЦКОГО»

Все должны быть как все. А чуть в сторону — чудак, странный, ненормальный. Да в нашем же деле только такое и нужно. Зачем писать, скажем, сто первое стихотворение про березку, когда таковое на эту же тему, в таком же ключе, на таком же уровне уже есть?

Мне вон уже сколько стукнуло, а я песни пою. Пишу слова, музыку сочиняю, сам ее и пою. Черте чего наворочал. Песен — больше, чем у Добрынина. Мне нравится. Однако, что подумают об этом феномене наши дорогие современники?

— Ну и ну.

— Да нет, — говорю, — мы — из хора Пятницкого. Я — по матери так, в генах запись. А мать моя пела у Пятницкого когда-то, еще в деревенском хоре. Сам видал: на пожелтевшем фото стоят девчата у церкви в паневах и мать моя среди них. Это где наш родовой корень на воронежской земле, где институт имени Докучаева... Колхоз даже был такой — имени Пятницкого...

— А-а, понятно. По матери, значит, в хоре Пятницкого. А по отцу? Хорошо — когда понятно, а как непонятно — плохо, даже, может быть, страшновато. Бывало, напишу песню, спою и — позабуду. А теперь «япоша» у меня — умник такой, магнитофончик. «Толстячок». Что ни споешь-ни скажешь, все запомнит. А потом он поет, а я сижу себе и слушаю. Этого чудака, что поет. Сижу, слушаю и сам себе удивляюсь: бес в ребро, седина — в бороду. Значит, в молодости не напелся.

Вот тебе и по отцу. Тоже был большой оригинал. Мадригалы писать не писал, но — предчувствовал.

ПУЛЬКИН И КУЛЬКИН

Представляете мое состояние, когда «Ракета» — быстролетный корабль на подводных крыльях берет курс на Кижи? Только ведь на открытках и видел этот храм у воды — деревянную фантазию, эту мистику русского зодчества. От Петрозаводска да по Онеге — Онежскому озеру. «Евгений Онегин... И где-то тут на Севере и Печорин — Печора...»

Краешком глаза отметил, как мимо прошла самоходная баржа с «хлыстом», провела длинный бревенчатый плот из литой медноствольной карельской сосны. Вот-вот возникнут из вод эти волшебные Кижи — сказка о Царе Салтане...

И возникли. И поразили. Представляете, маковки из осиновых плашек именно серебряные — серые, серебристые...

Так и сидел на нижней палубе, перебирал в памяти все это на обратном пути...

И вдруг удар — стоп, «Ракета»! Воздух из-под крыльев зашипел, зашуршал, опадать стал, вода заплескалась у иллюминатора. И гробовое молчание. И голос девушки за спиной:

— Ну, вот и купаться будем.

Глянул налево — нет берегов. Глянул направо — нет берегов. Бог мой, а я только речку Алешню свою и переплываю...Что это? Мина еще от войны? Где-то тут проходила «дорога жизни»? Ах, плот проходил и бревно уронил? Ну да, тот самый... «топляк» — один край вверх торчком. Если влупит — насквозь...

И голос капитана:

— Спокойствие! Все под контролем...

Лишь на пирсе уже и увидели, что все они в желтых спасательных поясах, а у нас — белое выражение лиц.

Вечером в гостинице у меня объявился Пулькин, писатель. Смеется:

— Раз съездил в Кижи — и удар тебе! А как же я десять лет ездил, был директором, сколько раз туда-сюда, и ничего.

— Ты же Пулькин, — смеюсь я в ответ. — А в Волгограде есть Кулькин. Ты прозаик, тот поэт — дьявольская разница! Мы с тобой прозаики — вот и живы, а если бы я был только поэт — то хана... Сколько поэтов погибло от маленькой «пульки»?

— А от бревна — ни одного! — заявил Пулькин и закрыл тему.

В УСТЬЕ АНГАРЫ, У БАЙКАЛА

Строили БАМ. Послали меня от журнала «Молодая гвардия» воздушку хватануть. Описать энергетический порыв молодежи... Самоходная баржа отходит от причала Нижнеангарска. Вечереет. Из Байкала входим в устье Нижней Ангары. Тут наоборот — эта река на Севе-

ре, а называется — Нижняя. А та, про которую поют, — Верхняя Ангара, или просто Ангара, она внизу по карте, на юге.

Устье. Лето, а снегом пахнет, снеговые вершины. Слева рельеф — в профиль лежит Богатырь усопший.

— Вот мы сейчас тут с ним рядышком тебя и уложим, — подходит сзади парень — из новоиспеченных бамовцев. И достает нож. — И буль-буль-оглы. Шито-крыто...

Глушь. Пусто-пусто. А ведь кругом красотища.

— На! — рванул я рубаху. — Хрен с тобой! Только сына моего будешь после воспитывать...

Из-за бамовского вагончика вывернулись, подходят еще двое: «— Что это вы тут делите?» — «Да так, — говорю, — тайменем пахнет»... Мистика? А вечером я уже выручал того парня. Но это другой разговор. На следующее утро он нож мне отдает: «Храни. А то я дурной, когда выпимши». А после, когда далее плыли, друзьями стали. Я книги им зимой в тайгу посылал. Заначили в штабе отряда, так я еще и еще им туда — в тайгу, в тоннельный отряд...

А в Москву когда вернулся, редактор «Молодой гвардии» мне и говорит: «Что ж ты про это-то не написал? А то все: «магистраль века», «первопроходцы». — «Да, — говорю, — то первый план, бытовая гамма. А то — Алые паруса, световая гамма, мистике не поддается».

ТРИ СОСНЫ

(О Пастернаке)

Давненько не бывал в Переделкино, пошел на кладбище, на могилку Бориса Пастернака. Курс на три сосны... Ну и что ж, что он Нобелевский лауреат, что еврей. Он тоже ведь с французского переводил.

Например, стихотворение «Томление» Верлена. Переводчики — Иннокентий Анненский, Борис Пастернак, Эльвира Линецкая и ваш покорный слуга. Скаже-

те, а зачем ты еще тут, в этой компании? А затем, что каждое поколение имеет свою эстетику, свою правду. У Анненского «Томление» — как серебро матовое при отдаленных свечах. У Пастернака — крупные, философские глыбы, категории. У Линецкой — застоялось, вода прудовая. У меня же, наоборот, — распад Римской империи, в самой душе человеческой...

Вот мне один писатель и говорит:

— Нашел, на какие сосны смотреть. Других, что ли, не было?

— Так крест же, на памятнике, выкрест он.

А теперь вот думаю и такое во мне томление: «Было три сосны-то, а сколько теперь осталось?»

РУКА НА МАВЗОЛЕЕ

В то же время там же, в Переделкино, на Пасху дело было, в Доме творчества, загудели писатели: «Брежнев умер». Стою вечером в субботу у церковки на станции, на службе пасхальной. Ого! То-то, думаю, ехал я из Барыбино, так вся электричка, вся Москва по вокзалам набита людьми в штатском...

Утром, за завтраком, один писатель:

— Узнаю-ю-ю, клянусь! У меня лапа в Кремле... подметалой работает...

В понедельник он и говорит:

— Умер, но другой — зав. отделом какой-то. А у того — клиническая смерть, но живой еще...

Так и протюлюпали до осени. Но нигде ни гу-гу. А когда на Октябрьскую на Мавзолей все выходили и Брежнев вместе со всеми, гляжу и глазам не верю. «Вот герой, — думаю, — хоть четвертую ему вешай. Как это он, будучи после клинической, на Мавзолей взобрался, да еще и стоит?». Правда, рука уже не вертикально, а бессильно, на сорок пять градусов по отношению к горизонту.

А через два дня Брежнев умер. Объявили всем так. Хотя умер-то он, я знаю, еще на Пасху, когда воскрес Иисус Христос.

«ПОД БОГОМ ПОЮ»

Со спины ударило гимнами — красота! Обернулся — трое. Голос, гитара и на груди ящичек «На ремонт храма». Все трое — божьи люди. Монашка в черном объявляет:

— Завтра — тридцатое сентября. Поздравляю вас, дорогие мои, с праздником — Надежда, Вера, Любовь...

А поют-то как! Душу ломит. Ушли они, а во мне все продолжается. Слова стали сами собой подбираться, музыка к ним — сама петься. На клочке кое-что записал. Пока доехал до станции Малоархангельск, домой к себе — к матери, песня и оформилась — «Три сестры».

Путник ты, и я всегда с тобой.
Ты устал от тягот и дорог.
Три сестры сжимают посох твой,
Значит, ты, мой друг, не одинок.

И посыпалось, покатилось. И пою, и пою. Песня за песней. Вот что значит, под Богом пою. От матери это, она пела. Гены рвутся еще от деревенского хора Пятницкого в Каменной степи и сюда уже — в зрелые годы, коли с детства не дали петь — детьми войны так наплакались мы, настрадались.

«Есенинские» очки

«ЕСЕНИНСКИЕ» ОЧКИ

Стихи начал писать в детстве еще. Не знал ведь, что Есенина запрещали, а народ песнями на себе его вынес. В пятом классе, как сейчас помню, попался мне серенький коленкоровый томик с березками. Прочитал и — задохнулся, сам писать стихи начал. А в Константиново уже когда-когда попал. Когда ураган был, помните, в Иванове беды натворил, — живых людей унесло за километры? Вот в тот день я и был у Есенина. Там ураган встретил — жуть. Деревья ломало, листы железа крыши с дома Кашиной летели...

Обессиленные, стоим с директором музея Владимиром Исаевичем Астаховым. Он, раскрыв руки, как крыльями, только что защищал людей, с детьми прибывшими из Москвы, теплоходом.

— Говорят мне — смени отчество, — вытирает он ладонью со лба. — А то как у Солженицына...

— А я пять лет бьюсь! — говорю я. — А они мне: смени, мол, название у поэтической книжки «Глаголы». А то, мол, — глаголом жечь... И имя смени, и фамилию... и так всю жизнь...

И вот приехал Исаич в Орел к нам, на совещание музейщиков. У нас музей Тургенева еще в 1918 году открыт, по декрету за подписью Ильича. Пришел ко мне Исаич домой. Сидим, «у самовара я и моя Маша».

— У нас тут писатель один, — говорю, подразумевая Валентина Солоухина. — Вот ему другой писатель Владимир Солоухин и говорит: «Смени фамилию». — «Не сменю». — «Смени имя хотя бы». — «Не сменю, оно от отца». И пришлось Владимиру подписываться «Вл. Солоухин»...

И вот оставил нечаянно Исаич очки у меня. Надел я —

подходят. Так здорово! «Есенинские» очки. Все насквозь теперь вижу — вспыхиваю, озаряюсь...

Никогда бы не узнал, если бы не эти очки, что у меня два отца — один кровный, естественный, а другой — крестный, духовный. Это — Есенин, с моим отцом, оказывается, одногодки... оба с 95-го...

Жена моя надевает очки — простые, без диоптрий. Особо от ветра или когда тополь цветет. Аллергия — болезнь века. А я надеваю Исаичевы очки: Есенин — любовь века, липа вековая — песня удалая... хорошо звучит...

«ПЕРЕЖИВАЮТ ЛЮДИ И ЗА МЕНЯ, ОКАЗЫВАЕТСЯ»

Вот курские писатели пригласили меня на Неделю литературы. Это осенью. Помните, когда Индиру Ганди убили? Вот тогда это было. Повезли нас куда-то к восьми утра. Из трех сел, оказывается, собрали механизаторов. Зал длинный, битком. А я книжку забыл, с которой иной раз читал, — «Мед из подснежников», а рассказ «Двенадцать апостолов». Помню, читал в Верховье, в коммунхозе, где гробы делают, так не то, что гробы отделялись от стенок... прислонуты... прислоне... люди падали — ну, смеялись... А тут — забыл. Помертвел прямо — что делать? Убьют ведь, как Индиру Ганди, если собьюсь. Но все же решился на память. Прочитал. Один механизатор подошел после ко мне, а я еще в мыле. И он в мыле: «Ну как?» — говорю. А он мне: «За тебя переживал. — И по плечу похлопал меня: — Во, бля, память!»

Вот и в Ялте. В Доме творчества. Вечер творческий. Записывайтесь или сами запишут. Два дня в один вечер. В первый день — знаменитости. Во второй день — всякая шантрапа, вроде меня и Пулькина из Волгограда. Все просился он, набивался, чтобы перед женой молодой показаться. Черт, а может, не жена, а?..

А я-то жду — горю и перегораю, горю и перегораю. От собственного проекта, от максимализма, который всегда съедает меня, за что ни берусь. «Дай, — думаю, — наизусть тот рассказ проверну на профессионалах, а что?»

Вот второй день, дело к сумеркам уж. Сижу у двери. А все не вызывают. А я в мозгах все прокручиваю и прокручиваю. Начало с концом перепутались. Строчки из других рассказов полезли, даже из стихов. Даже строки народных песен взялись откуда-то... И тут моя фамилия.

Ну, прочитал я рассказ. Добавил еще стихи — «Сарматы», помню. Заклепал, как бочку какую; на этих стихах не сбиваюсь я и в трезвом, и во всяком другом виде.

Прочитал и — отключился. В свой номер скорей. А ночью — температура, горло. Ангина откуда-то, хоть и операцию сделал ранее, гланды удалил. Ну, на нервной же почве. А утром идем с женой и сыном (втроем были, семьей) на последний завтрак, днем уже уезжать (ей-богу не вру, как сейчас помню). А мне из столовой курицу тащат. Премия, говорят, тебе от столовой! Представляете, впервые вот так перед сыном и перед женой. Так и уехал в Орел с ангиной. Как сейчас помню, на нервной почве. И с приятными воспоминаниями о курице как премии от лица народа, народная премия.

«СЕ БЬЕН»

Вот приехали, в порядке обмена, в университет наш французы. То ли студенты, то ли уже учителя. А жена моя, преподаватель, и говорит своей группе:

— Подготовьтесь, девочки, получше, завтра к нам придут на занятия.

Вот те пришли. Расселись. Начали спрашивать по полной программе, а наши «плывут». Зато одеты с иголочки. Наглажены, раскрашены.

— Что же вы? — упрекнула их после жена моя — преподавательница.

— А когда было? Завивались, в парикмахерскую ходили. А там — очередь... Вы же сами сказали подготовиться получше.

— Ничего, — засмеялись, узнав про это, французы. — Парикмахерская — это хорошо! «Се бьен!»

И обменялись с красивыми девушками адресами.

ЗЕРНО, КОТОРОГО НЕ ПЕРЕМОЛОТЬ

Помню, Валька Чухаркин, скульптор, пригласил нас с Сережей Пискуновым в путешествие по Прибалтике. Валька — за рулем, Сережа — штурман, по карте дорогу прокладывать, в некоторых местах он уже был, а я — для мебели...

Перед Печорами, где мужской монастырь, остановились на ночевку. Быстро завечерело. Разожгли мы костер, палатку ставить не надо. Тут есть крыша над головой. Старая обомшелая мельница. Из иного мира звуки жутковато отдаются где-то на мельничных жерновах. А глушь! Речушка лесная, глубокая, воды в черно-зеленом изображении. Вот-вот русалка вымахнет рыбьим хвостом...

— Что же ты ничего не записываешь? — говорит Сережа. — А то вот только мельница в голове и останется.

— А зачем? — говорю. — Я и так все помню.

Все помню. До мельчайших подробностей. А главное — не просто мельница в голове, а еще и Даргомыжский с его «Русалкой». Со старым мельником в облике Сережи, а Валька с бородой своей — в образе Даргомыжского...

— А сам?

— А сам я — Старая Мельница, все мелю и мелю зерно на хлеб. Но всего зерна, оказывается, не перемолоть.

БОРОДА-БОРОДА — БОРОДИЩА

Приехали мы в Юрмалу. По-латыни не знаю как, а по-латышски, кажется, — «берег морской». Сразу же, конечно, в воду полезли. Идешь и идешь, идешь и идешь — и все песочек, все мелко, по грудь. Можно так весь Рижский залив пройти, все Балтийское море, до самой Скандинавии — до Швеции, например. Но что интересно — волны стальные и небо серое, низкое. Не то, что самое синее в мире, в Одессе, где был я до этого...

Однако везде все по-своему. В Одессе лежи загорай до полпервого, а с полпервого тучка с берега — собирайся и уходи. В Риге спросишь, где такая-то улица, — не знаю, мол, еще иной и пожмет плечами. — Смотри, — говорит Сережа Пискунов и делает два шага за угол. — Видишь? Читай: эта самая улица...

А вот в Юрмале так. Ребята ополоснулись, похохотали от свежести морской программы и сразу на берег. А я задержался, да все хохочу, хохочу от хлада и мраза. И тут вижу: что-то сечет уже по воде... белое-белое, мелкое-жесткое. А по морю длинная белая борода... Ого! Ого-го!! Снег...

Бесконечный пляж этот одолевал я уже по щиколотку в снегу. Представляете, месиво снега с песком. А тело голое, хорошо хоть ветер в спину. А ребята сидят в машине уже в рубахах и наливают мне, подают:

— Со здоровьицем! За крещеньице! За Валькину бороду, — такая лопата! Хоть снег бери да сгребай отсюда и до Одессы, до самого Черного моря.

Самого синего в мире,
Теплого моря мово-о-о...

Иух! Хорошо — когда выпил и ищщо!

ЗВОННИЦА ПО-БАЛЬЗАКОВСКИ

Да придумал же я, придумал эту звонницу! Место на макушке храма, где происходит действие в «Седмице»,

написанной только что. Сижу и подчитываю Митрофановне — машинистке, а она строчит этот мой прозаический опус. И тут глянул я в окно офиса, где сидим, повел глазом чуть ввысь. Да это же Московская улица, напротив Дома книги, угол гостиницы «Орел», башня как срезана — зубчатая, полуовальная, пустые глазницы...

— Бог мой, вот это да! — кричу я, не выдержав. — Да это же звонница, про которую мы печатаем... Вылитая! Просто немыслимо, как же я ее угадал!

«Что бы это значило?» — думаю я и ищу параллели. В одном из своих романов Бальзак описал дом примерный и улицу, и адрес — все придумал, все из головы, а как все сошлось! Как в натуре! Почти один к одному, и как писатель мог угадать, — что это? Из каких-таких сфер?

ОДИН К ОДНОМУ

«Дуглас» — это самолет, но не нашей — американской марки. Из времен еще второй мировой. На таких к нам сюда из Америки всякие грузы возили. И вот я лечу в Соловки, а из Соловков обратно уже этим, как тут выражаются, «бортом». И «борт» сильно смахивает на «Дуглас». Во всяком случае, по конфигурации и особенно по возрасту.

Из Соловков держа курс, мы опять над Архангельском. И тут я потерял интерес ко всему земному внизу, на себе сосредоточился. А самолет все гудит и гудит. Что за великий город Архангельск? Сколько можно через него самолетом лететь? Какое-то беспокойство овладевает мной... И опыт уже с Онежского озера. Что — неужели опять?.. И тоже девушка сзади меня:

— А солнце-то с левого иллюминатора, а то с правого, и опять с левого.

— Ну да, — приоткрыл глаз дремавший пожилой пассажир. — Кругами ходим... Кругами, да-да... Горючку выжигаем... аварийная ситуация...

И мы все похолодели. Вот как. Не хотел же лететь

этой развалиной, а другого в природе нет ничего тут, не существует. Как нет в природе и Соловков где-нибудь, например, на юге. А вот водоросли на Соловках, как в теплых водах Саргасова моря, ятить твою мать; вот жизнь — копейка, гроб-коляска, ехать не тряско...

И все-таки аэробус наш сел. Проходим к аэропорту, а в стороне машины с красными крестами, люди в белых халатах. Вроде не смотрят на нас, но интуиция подсказывает, что они тут не зря.

Вечером в аэропортовской гостинице я узнал: шасси одно, зараза, не открывалось!

СИМФОНИЮ НЕ РАСТАЩИТЬ!

Идет Владимир Цветов, наш корреспондент, по Японии, а именно по городу Токио. Витрина, картины. Цены в иенах. Сумасшедшие. Но вот под одной картиной нет ничего — ни таблички, ни цены. В чем дело? Оказывается, национальное достояние. Просто нет на эту картину цены, вот и все.

Скрипки Страдивари — их в стране единицы. Выдаются бесплатно выдающимся музыкантам. А вот у нас дома хранится один чертеж — дедушки моего Герасима Макарыча. Это он всю жизнь мечтал сделать мне скрипку. И материал в лесу подбирал, и работал над звуком, над корпусом. У нас семья такая. Корень — в певческом крае, в Воронежской области. Думаю, не ошибусь, если повторю, что мать моя пела еще в деревенском, крестьянском хоре Пятницкого. А ее братья — сыны дедовы — делали гармони и балалайки. Все трое погибли... все лучшие гибнут, так уж у нас на Руси повелось...

И лежит в комоде чертеж дедушкиной скрипки. И дает звук надежды и веры. Звук к звуку — мелодия, мелодия к мелодии — песни. И это симфония жизни, это дороже всего — национальное достояние. Великие патриоты, — да не растащить нас никому никогда! Симфонию нашу — по звукам, по буквам, по кускам... Испания — 98-го, Россия — 99-го, будем же бдительны...

В ПОЛИКЛИНИКЕ

Смотрим по телевизору передачу «Поле чудес». «Полей» у нас навалом, даже не все обрабатываем, сил уже не хватает. А «чудес» еще больше... «простые советские люди повсюду творят чудеса»...

Вот на экране и спрашивают одного:

— Вы кто?

— Я? Аррртист!!!

— А вон тот, что справа, — дантист! А ведь не кричит.

— А вы чего его хвалите?

— Кого? Дантиста?

— Нет, телевизор...

И такая картина. Областная стоматологическая. Сижу час-полтора перед дверью. Грипп — везде эпидемия, все уже в масках, кроме больных. Вжимаешься в себя и сидишь. Ждешь. Зубы надо в порядок привести, ты же тоже «ар-тыст!!». И что с лица, в глаза, понимаешь, бросается в первую очередь, так это зубы. Если фарфоровые, то на лице, как у негра, торчат одни зубы, сахарные уста. «Нарэднэй ыртыст!» Зубы вставишь — лучше скажешь, с орфоэпией. Осточертело сидеть без игры слов и букв, с ума сойдешь, если газетки не читать...

И бабушка, и еще не бабушка — ну, женщина пожилая такая, однако умненькая, чистенькая, хорошая. «Энтылыгэнция... це-э, цы-ы... я...» — смотрю я на себя, как в зеркало» (у Сванидзе?) И диалог завязываю с «Полем чудес»...

— Если богатый — говорит она, — к частнику надо. В две недели сработают. С сентября тут сижу... по пенсионерскому лимиту... в декабре было темно, скользко... сидя тут, обессилилась, иду по улице — упала, руку сломала... Вот видите, как срослась криво...

Гляжу: действительно, криво. «Господи! — думаю я, немного приободрясь. — А я тут с начала ноября всего, слава Богу...»

— Врач хорошая. Хорошо, но медленно делает. А кто быстро — хуже.

— Хорошая, — говорю. — А вот криво срослось, говорите? Да у нас все криво срослось, вся страна. А вот как срастись — бедному с богатым, а России с НАТОм?

— Хи-хи-хи, — тихонько смеется умненькая такая старушка со сросшейся криво рукой.

ВОТ ТЕБЕ И ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ!

В фирменном магазине у нас тут — книжная лавка. Хлеб насущный и хлеб духовный вместе, взаплот, ловко пристроились. Книжки-то хороши, но дороги. Вот «Пушкинская энциклопедия». Пушкинский год прошел, а она только сейчас появилась. Да ведь Пушкин же! Он всегда вовремя.

Дорого, да сын-то ведь литератор. Еще молодой, ему с Пушкиным жить... Крутился, крутился я, ночь не спал, сны цветные из себя прогонял. А утром со всех ног к открытию магазина. Полпенсии убухал. Вот Пушкин теперь и сияет в доме белой энергией. А за хлебом в тот же фирменный ходить теперь через раз. И то за одним черным, ничего не попишешь.

Вот так и живем.

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

— Что главнее — патриархат или матриархат? — спросил он жену.

А она взяла и рацион ему урезала.

«Матриархат», — подумал он и пошел к начальнику. Чтобы расшить узкие места.

— Ну, и что же главнее? — спросил его теперь уж начальник.

— Матриархат, — сказал он уверенно.

А начальник взял и урезал ему то, что осталось от рациона. И пошел он выше к начальнику всех начальников. А там — женщина, но тоже начальник.

— Кто главнее? — спросила и она. — Матриархат или патриархат?

— Матриархат, — глядя на нее по-собачьи, сказал он уже менее уверенно.

— Да?

— Патриархат, — сказал он уверенно.

— Ну, подумай, — сказала начальница, проверяя его компетентность. — Что именно? Первое, второе, а может быть, третье?

— У нас и на первое уже не хватает, — задрожал голос у него, — а не то что на третье.

— Это ваши личные проблемы, — строго сказала она. — Мне сказать?

— Ну, скажите.

— Главное — даже не биархат, нет, — сказала она, демонстрируя перед ним себя в синем платье в полоску. — Главное — инд-и-видуальность... Ну-с? по какому вопросу?

— Да проблема одна, — сказал он. — Но какая! Жену укротить, семью накормить...

— Деньги? — спросила она.

— Ну да.

— Хотите совет?.. Пусть деньгами в семье распоряжается умный. Землю — крестьянам, заводы — рабочим, а деньги — умным...

— Понятно, — сказал он. — Раз у нас это страна дураков, значит, деньги наши должны быть в Нью-Йорке.

ПОЭМА ПРО МЕДНУЮ КРУЖЕЧКУ

Идет Поэт по Орлу. На Подвесном мосту через Орлик, как всегда, калики перехожие. С кружечкой. Глянул Поэт по течению — областной Банк. По гребешку — золотой петушок, по бордовому кирпичу — кремлевская красочка. И подвалы там, и подвальчики. И тут вспыхнуло в нем, само собой сочинилось:

Вот Орлик. Банк как истина простая.
Вот нищий на мосту — не обежать.
Зачем же там, когда их не хватает,
Зачем им там, в подвалах тех, лежать?

Хотел Поэт положить бумажку в кружечку, а тот наложил на нее ладонь да и говорит:

— Обижаешь, начальник, малой формой — стишочками. Клади сразу на все сто — на поэму!

Поэму! Да у Поэта сроду такой огромной формулы не было. Не достиг еще, внутренность не дозволяет. Большой форме требуется и большое содержание, а где его взять?

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Что делает нас людьми, что шлифует характер? Так это случай, может быть, на всю жизнь. С молодости и — навсегда. Помнится, в студентах, все курсовые работы уже сдали, а я еще нет.

— Не разойтись ли нам, пока... — процитировал старенький профессор из пушкинианы, имея в виду, а поставить ли мне зачет, допустить ли меня к экзаменам?

— ... не обагрилася рука, — закончил я за него знаменитую фразу, предваряющую дуэль Ленского и Онегина.

— Ну, что ж, молодой человек, — улыбнулся профессор и поставил зачет. Через неделю курсовая работа должна быть сдана, кровь из носу. Но, Боже, я же к ней еще не приступал. Однако слово дано, а впереди еще и три дня праздника. И ехать надо домой, к матери, в соседнюю область — за харчами, на встречу с однокашниками.

Как не ехать? Но и как нарушить слово, данное профессору? Огромны тома для курсовой работы, синие библиотечные штемпели. Тома едва вместились в набитый до отказа мой самый большой чемодан.

Не в подъем! Едва довез его до вокзала.

В городке своем, дома у матери, было так хорошо. Встречи с друзьями, танцы со школьными подружками. И бессонные ночи. И курсовая готова... хвостик остался... мышиный...

Попутка подобрала меня и увезла в ночь. Это «полуторка», навьюченная доверху конопляной трестой. Километров за семь до станции меня ссадили, и «полуторка» свернула, исчезла во тьме.

А ночь кромешная, от тяжести руки взбухли по локоть. И волоком тащу чемодан по земле. Присел у моста, открыл глаза — не видать. Жутко, неужто ослеп?! Оказывается, туману натянуло от речки. А впереди огоньки железнодорожной станции. Тяжесть просто немыслима. Но в чемодане же Пушкин... Есенин... академик Виноградов... великий русский ученый-лингвист Бодуэн де Куртэнэ... Я слышу их голоса, вижу их лица. Но электричество сыплется из глаз по дороге, и кол при дороге. И уже носом, буквально носом, именно носом, двигаю чемодан, упершись на коленки, одолеваю по платформе последние метры...

И курсовая была сдана вовремя.

— Коллега, — уже на экзамене мне улыбнулся профессор — этот Евгений Онегин, — не разойтись ли нам, пока не обагрилася рука?

— Нет, нет, нет, — закончил я знаменитую фразу Ленского.

Вот какая точка отсчета! Когда мне особенно трудно. Я знаю, безвыходных положений не бывает. Как в ту ночь, тогда. Не мог же я оставить в степи чемодан свой, хоть и неподъемный — однако с учеными, с классиками. И, знаю, они теперь не оставят меня... Ни Пушкин, ни Есенин, ни Бодуэн де Куртэнэ... С такой точкой отсчета и живу.

ФИБРЫ ДУШИ

Молодой журналист я в областной газете. Еще в те времена, когда «на ковер» вызывали. Зав. отделом уходит в отпуск обычно в августе и подкидывает мне заданьице: «О Фете статья лежит... лет сто ей... И Бунин лежит... лет двести... сунь их куда-нибудь на субботу, когда начальство бдительность потеряет...»

Ну, я и сунул Фета. Слава Богу, пронесло.

А на другую субботу подсунул Бунина...

Являюсь на работу в понедельник — звонок. Ага, сверху... Ах, от самого? Помидор — это самый... кто может ф-фить, и нету ваших вместе с фуражкой... В последнее время, уже после того, с помидорами в сеточке видел я его — уже сам на базар ходил...

Да, ну вот и говорит этот фрукт по телефону — снизу мне, с третьего наверх, на пятый этаж Главного Дома.

— Кто это?

— Я.

— А кто — я?

— Ну ето... я...

— Ага, — говорит, — это ты, молодой человек? Ты что, не знаешь, что Фет был крепостник... а Бунин — анти... анти...

— ...советник? — говорю.

— Антисоветник, — соглашается он там в трубке, с той стороны, и говорит: — И что мне теперь с тобой делать?

— Ды, — говорю, — это... я, как космонат... всеми фибрами души...

«Космонат» — это так говорит у него один секретарь в более нижнем звене. Знаю фамилию, но не скажу...

— А вот так... Фиб-ра — фиб... Это Фет и Бунин...

— Так что сразу оба, да? — говорит, — в умысле головы у тебя содержались?

— Нет, — говорю, — не в умысле, кабы в умысле, а то в душе.

— Что в душе?

— Фет и Бунин.

— У кого?

— У народа. У всех, кого знаю... у приличных...

— Так что, — говорит, — ты меня тоже ведь знаешь. Ты прямо какой-то демагог. Я тебя буду наказывать...

И трубку на аппарат. И — тишина. Покойнички в небе летают. Пятый угол ищу. Думаю: «Твою мать, что же

будет?» Фибры души — фибры, значит... фиб... Фет и Бунин! Будем, это на них и опираться... операция... ы...

В самом деле, это тебе не русские народные сказки под редакцией Афанасьева, а классика наша, культура. Фет и Бунин — наше национальное достояние, имена которых — на доске деревянной напишут после, в кассовом зале вокзала. А также и памятники поставят в самых красивых местах нашего города.

Но это, я знаю, будет потом. А пока помидоры на грядке — прямо-таки аж почернели от фитофторы.

НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Магазины, товары, а денег нету. За границу их отправляют. То в Нью-Йорк, то в Швейцарию — по 12 мильярдов долларов в год. Или даже по 70, что ли? А тут у нас, в связи с этим, магазины рушатся, только вывески и меняют.

«Лидер» — «Пидер», «Дашенька» — «Душенька»... Буковку одну в светорекламе сменят и — вроде как бы сразу все руководство страны.

Вот стали «Душенькой» мы, по магазину-то. Охранник теперь за стеклянной дверью, и дверь стеклянная сама перед тобой разъезжается. Скрытный замысел — хитрый народ: открылась дверь — выходи; это чтобы газетки в холле, помимо них, не продавали...

Вот жена приходит и говорит:

— «Душеньку» открыли. Французские лапки — лягушачьи... прессованные...

— Во! — кричу. — Этого как раз нам и не хватает! Кабы знал, сколько бы такого добра в деревне летом бы наготовил!

А потом согнулся в три погибели, чуть не вырвало. И говорю:

— У нас Миша-грудан был в Малоархангельске... Бродяга, голая грудь, всегда босиком. Улыбаешься, да?

Год 1947-й. У всех голод, а у Миши-грудана мясо в горшочке по-домашнему. Пир во время чумы.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Говорят, Миша-грудан был из крестьян, а Митя Уразов — из дворян, точнее, из белых офицеров. Но контужен, потерял жизненные ориентиры. И все в городке жалели их, куски подавали.

Миша ходил по Ленинской улице, бывшей Грузинской, а Митя — по улице Маркса, бывшей Дворянской. Конвенция негласная, но они ее не нарушали. Ну, иногда, правда, куски тому и другому давали, к обоюдному удовлетворению. Которое выражалось так же и в том, что они спали и зимовали на городской электростанции — на одной тепловой трубе. Только тот по эту сторону, а этот — по ту, по другую. Как по разные линии фронта.

А когда в сорок первом пришли оккупанты и Советскую (бывшую Курскую) переименовали в Гитлерштрассе, оба — Миша и Митя — сделали совместное патриотическое заявление. Миша сказал тогда:

— Плохое слово, нехорошее.

А Митя плюнул и растер плевок голой порепанной пяткой:

— Не наше это, не руцкое.

МАЙОРЫ

Мы, писатели, были в Покровском районе, в отдаленном хозяйстве. И прокурор района имел честь с нами заодно туда увязаться. Приехали — тут же на прием записался один человек, вроде Мити Уразова... На ферме ночует с коровами. Пенсию в три дня пропивает. А после одно молоко пьет и соломой закусывает.

Это капитан в отставке. Бывший летчик-испытатель. Крыша у него поехала от перегрузок. Вернулся в родные пенаты. А если бы до майора дослужился, то... При царе горохе майорам давали дворянское звание и земельный надел. Да и сейчас майоры в основном учатся в военных академиях. Как высыпят на улицу где-нибудь в Москве

на Фрунзенской — два просвета, одна звездочка, — так и думаешь, вот она — основа основ офицерского корпуса. Майоры уже, но еще не генералы. Однако что выше — генерал-майор или генерал-лейтенант? Так майор или лейтенант? Лейтенант — это как у всех. А вот у генералов — лейтенант выше, оказывается, вопреки всякому смыслу. Так уж у них, у генералов.

ЗА СЛОВОМ В КАРМАН

Из Курска ехал, доехал до Понырей, а дальше на Орел, до Малоархангельска, надобно пересаживаться. Вышел и вошел. Из вагона в вагон. Стою в тамбуре — стихи сочиняю, музыку подбираю. На слове одном заело... зае... зае...

Слышу — рядом загрохотало. А тут как раз в мозгах прорезаться стало. Вот оно, слово вихлючее! Вот оно, слово могучее! Вот оно, рыжее, рыжее! Вот оно — музыкой брызжет...

Ну, нашел. Ну, поставил. Ну, пою!

Высунулся — глянул: мать моя, а где же поезд? Мой вагон уж последний! А где же тот, что рядом был? Где на Орел электричка-то? Пока я за словом в карман лазал, да во-он она же уже отгрохотала, на выход со станции вырвалась, на оперативный простор.

Вот так-то со словом работать, а электрички хвост в хвост ставить. Специально для таких, как я, художников изображения. Чтобы пешком ходили. И за словом в карман не лезли.

ГОСДУМОВСКИЕ КУЛЬБИТЫ

Сын входит в комнату и говорит:

— А Славик, друг мой, в Москву, в Думу, собирается.

— Зачем?

— Акцию проводить.

— Ага, — тут же раскусываю я эту «акцию». —

Пепси-колой бесплатно поить? Нашел кого! Да у них и так денег до чертовой матери! А то недавно выставку колбасы устроили. Кубанский казачий хор выступал. Скоро уж золотые прииски из Якутии да алмазные трубки свой товар повезут...

— Алмазы глотать — пепси-колой запивать? — смеется сын.

— Ух, какие умные! — говорю я вполне серьезно. — Выпивка и закуска. Вот кульбиты госдумовские! На фоне служебного положения.

СО ЗНАЧЕНИЕМ

В День защитников Отечества сыну в университете подарили книгу-роман Золя «Земля».

— Кто же это тебе удружил — тонкий такой?

— А коллега — с нашей кафедры французского языка.

— Молодчина. Со значением. Как по-французски «Земля» — «терр»? Значит, Золя «терр»... Золотэр — Золотарь... Золотарев... Логика, класс! «Солнечная, золотая земля». Скрытое одобрение.

ТАРАКАНЬИ УСИЩИ

На стене календарь 2000 года. Сельский пейзаж, огромный сом в небольшой речушке. Теплом колыхнуло душу. Детство вспомнилось. Россия всегда у нас ассоциируется с деревней, с такими вот милыми сердцу «усами». И в то же время где-то в душе беспокойство. Ах да сом, темный сом в светлой речной воде! И предостережения ребенку, похожие на легенды:

— К берегу не подходи, в воду не лезь без оглядки — сом утянет. Давеча в соседней деревне, как крокодил, утянул на дно не то теленка, не то жеребенка... ребенка...

А по соседству дед живет и зовут его тоже Сом — такие усищи! И сад у него огромный, а в саду — преогромная бочка. И мы пацанами еще, помню, после игры в мяч, озоруя, забрались в сад к нему да в бочку ему

самовар со стола на самое дно. Пусть поищет. Пошевелит тараканьими своими усищами крокодил! Жеребенка утянет, под мышками защекочет своими усами.

«У самовара я и моя Маша».

«РАСКИНУТЫ КРЫЛА...»

Собрался в субботу я из Орла туда, домой — к матери, в Малоархангельск. На электричку опоздал, а ехать на квартиру, назад, не хочется. А следующая электричка — аж вечером. И пошел я в кассовый зал, присел на скамью напротив стены, где доска деревянная, а на ней имена — уроженцы местные, гордость всей нации: Тургенев, Бунин, Фет, Тютчев, Пришвин, Марко Вовчок и другие. Да слова гимна об Орловщине как о нашей родине-матери сами собой и написались.

А услышал я, как куранты отбивают «склянки» — по часам, по половинкам и даже по четвертям, так и музыка на эти слова зазвучала. И запел я слова на этот мотив. С тем и поехал домой «вечернею лошадью», полетел в глубинку свою к матери — Марии Герасимовне.

Кленовый лист в холмах и перелесках,
А по холмам раскинуты крыла.
Я здесь живу. Мое родное место —
Под сердцем у державного Орла.

НЕВЫКЛЮЧЕННЫЙ МИКРОФОН

Стоят люди на станции. Вот-вот подойдет электричка. Кассирша уже объявила об этом, а микрофон выключить позабыла. И там, очевидно, кто-то вошел к ней — мужчина, мужик, плетун такой-то. И смех ее — колокольцы валдайские — прямо в микрофон:

— Иги-ги-ги-ги... иги-ги... не лезь, наглый такой, сволочь... не лезь, не трогай за ляжки... не зажимай... что ж тут сразу тебе?... иги-ги-ги... иги-ги...

Одна баба даже свою электричку на Курск (она рань-

ше) прозевала. Стояла вот так, рот разинув, растаращились. А другая плюнула да от такой «радиопередачи» раньше времени на рельсы легла, едва под обратную электричку не попала. И мужика постороннего так и вовсе поездом чуть не перерезало.

— Чувство меры надо иметь, — сказал он одной половинкой, а другой — сел, да не в автобус со станции, а опять же в электричку, откуда приехал.

В мир перепутанных ценностей.

ПИСЬМА НА ФРОНТ

Иду с подгородной Репьевки по Малоархангельску. Лето, август-месяц. Тепло, яблоками пахнет. И босиком иду — хорошо! Связь с родимой землей. Кажется, после второго курса института. И тетка навстречу — остановилась, остолбенела.

— Сыночек! — всплеснула она руками. — Да ты приходи к нам в мастерскую. Да мы тебе тапочки сошьем... Да мы с твоей матерью вместе нижнее белье, фуфайки, бывало, шили на фронт. А ты вот такой еще, во втором классе, был. Да помогал бойцам письма писать. И тогда еще хорошо это у тебя получалось. Жалостливо и горделиво... А сейчас пишешь?

— Пишу.

— Зашел бы, что-нибудь почитал бы по старой-то памяти.

ШРАМ НА ГУБЕ

Жена офицера заявляет с гордостью:

— А мой Костя шрам на губе носит. Из-за меня. Так дрался, так дрался с другом.

Ее подружка весело:

— А мой Петя кошелек носит... на шее.

— Пустой?

— Почему?

— Это тебе, Аня, не шрам на губе. Анна на шее — это дорогого стоит, кошелек-то, ведь не пустой.

«ЯБЛОЧНОЕ» ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Идут по городку вчетвером. Двое на двое. Друг перед другом. Вот один из них и говорит:

— Это тетка твоя, стоматолог, зубы мне вставила, а они все болят и болят.

А племянник врача-стоматолога:

— Ну, и что?

— Как «ну и что»?.. Пошел я к твоей тетке, она ко рту мне приставила электролампочку — свет горит. Вот она мне и говорит: «Яблок поменьше жри». — «Это почему?» — «Электростанция во рту у тебя, ток вырабатывает». — «Ну и что?».

Тут уж она не выдержала да и выгнала меня вон. Все тебе расскажи, а это врачебная тайна. Вот я хожу и думаю: «Что бы это значило»?

Тогда племянник врача-стоматолога и говорит ему:

— Ну-ка рот раскрой! Так и есть... зубы-то она тебе железные вставила.

— А какие же?

— А у тебя кислотность желудка повышена. Да еще яблоки жрешь по чем зря. Вот тебе и электростанция во рту. Биоэнергетика такая. Хоть лампочку подключай... Засидишься за книжкой, а ночь уж хоть глаз коли. Электричество на столбе выключили. Так яблок антоновских, хе-хе, схаваешь штук пятнадцать — врезай рубильник, глядишь, книжку и дочитаешь.

— Молодец твоя тетка! Всю Россию залила электрическим светом. Спасибо за просвещение методом освещения. Дай Бог урожаю на яблоки, да какие покислее, и в этом году!

«Гранатовые истории»

(Рассказы дяди Симы)

Дядя Сима — мой отчим, Серафим Петрович Горохов. Один из словотворцев, редкий умелец. Жизнь его насыщена — и в плену немецком побывал, и «в полюдье» ходил печником... самолет игрушечный, как настоящий, боевой, мне лично сотворил перед самой войной... И все у него, бывало, в твердой памяти, с врожденными у него интеллектом и обходительностью.

ПРО СВОЙ ДОМ

Так вот, живу я на Подгородней, в деревне Вавиловке. Бывало, как в свой дом уцоплюсь, все строю-подстраиваю, хлопочу, да так и веду время. С утра печь кладу кому-либо, а возвращаюсь домой уже затемно. И вот вечер. Только что дождь прошел. На углу, у электрического фонаря, гляжу, струны проводов висят, а на них капли дождя золотятся. Струны-то не видны на темном небе, а золотинки будто пчелы — сами висят, ни на чем, и не падают.

Иду ко двору, а кошка уже в окошке сидит, меня поджидает и все рассказывает — мурлыча и виляя хвостом. А после всю ночь мне сны не дают спать, и я жене своей утром — тетке Марусе:

— А что, если бы я вернулся с войны инвалидом?

А тетка Маруся мне:

— Ну, ходил бы тогда... с костылем...

А утром опять на работу — печку докладывать, и соседская баба навстречу с пустым:

— Данька-то вчерась свово поросенка прирезал.

— Ну, значит, горяченького, — говорю, — чего-нибудь хватанул.

— Кто? Данька?

— Нет, поросенок. А ты чего подолом пустым семафоришь?

— Сегодня пустым, завтра полным — какая разница?

И прохожу я мимо далее в городок наш. Вижу, у сквера Данька стоит, а за ним и наш участковый. Знаю, что Данька намедни 1100 кг зерна от комбайна домой увез, но милиции его не закладываю. Прохожу сторонкой в районную столовую. А буфетчица Фрося — такая баба мордатая, громко, на всю столовую:

— Сто граммов? Тебе? Нет, не могу. Ты же шофер, и ты уже пьян.

И тише, тише, совсем тихо, оглядчиво:

— Сорок семь копеек... сорок семь копеек...

И опять громко:

— Нельзя тебе, в милицию позвоню.

Вот я подхожу к буфетчице Фросе-то и стою. А она мне:

— Вот ты спокойный, умеренный... ну, не без этого... А эти все сюда почему-то приходят трезвыми, а отсюда почему-то уходят пьяными.

И рядом, слышу, один говорит другому:

— Хе-хе-хе, да разве же это воровство? Вот директор с главным инженером 24 куба досок увели, и ничего.

И я молчу. Ухожу из «столовки» скорее, а лишнее услышишь и лишнее что-нибудь скажешь — до дому своего не дойдешь. Некого будет кошке встречать. Вон сосед Чепуха — прочитал это слово-прозвище свое наоборот, как «реникса», а его за связь с заграницей лет на десять и определили. Встретил его анадысь, правда, спасибо, живой вернулся. Вот тебе и «реникса»! А если по-русски, так все это «чепуха».

ПРО ПОЛИТИКУ

Только недавно вернулся он, откуда пришел, читать там разучился. Вот твой дед, Леонард, и говорит: «Пожить еще хочется. Чтобы узнать, выколотит этот Хрущев мир у них ай нет?»

— Так у дедушки моего — Герасима Макарыча-то, — говорю, — все трое сынов с войны не вернулись.

— А потому что политика. Политики все чего-нибуть выколачивают. Вот сейчас некоторые кричат: «Ура, ура!» За одних сильных, больших, разоряются, а завтра смени их — тут же станут за других. А иные не кричат, а и ворчат, ворчат... Данька — сосед положил журнал беременной жене на живот, и журнал как начал прыгать: «Это уже он там, в животе, резвится... сын, значит»...

Вот повезли они с женой сына этого крестить в Троснянский район, зашли к попу. Поп вышел наружу, а на столе серебряный крест остался. Данька хвать его и за пазуху. Не знал, что поп крестом-то крестит. Поп вошел обратно: «И где мой крест?» А Данька подложил его незаметно к ребенку:

— Да вон, — говорит, — на глаза попался.

А поп рад, что крест хоть цел, смеется и говорит:

— Еще не крещенный, а уж за крестом попинается. Большим человеком будет твой сын — политиком.

ПРО МАТЕРЬЯЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Работал сосед шофером на элеваторе. Зарплата сорок рублей, а домяку отгрохал с занавесками, с пианинами. Четыре шифоньера. И тут же сберкнижки с большущими тыщами. А скинули с элеватора — враз пузо растряс, и жена пошла работать. Королевой бензоколонки. Вот ее при поступлении и спрашивают, как на экзамене:

«— Воровать умеешь?

— Не-а.

— А какой пост у Брежнева?

— А кто ж его знает. Одно знаю — всем белым светом руководит...»

— Ну и что — приняли?

— Она им такую историю рассказала и фактически

показала... «Стою, — говорит, — на дороге, а машины мимо. Надоело стоять. Вынула бутылку и помахала ею — машина и остановилась. Ехали-ехали: «Ну, давай?» — «Так это ж... вода это...» Шофер ее тут же в шею из своего кабинета...

— А эти... с экзамена?

— Приняли. Потому что в бутылке в итоге не вода оказалась... Пока дышать я умею, пока ходить я умею... Вот старший сынок Данька и говорит: «Пап, а ты выиграй в лотерею автобус». — «Зачем?» — «На работу будешь ездить в автобусе...»

— Не смешно.

— Это теперь не смешно, а тогда было очень даже смешно. Представляешь, лошади и то иметь не дозволялось... Я — двадцатый сын у матери. Бывало, идет мать на речку, а за ней отец белье на подводе везет. Замашное. А сейчас жена у меня идет на речку с узелочком, и то я за ней тянусь — помогаю.

СВОЕ ВИДЕНИЕ

— Вот я в городе Риге был, где когда-то война, в окрестностях города, начиналась. Ну и встретился мне один старый еврей да и спрашивает: «Где-то я вас видел?» — «Может, в гробу, — смеюсь, — или в концлагере за колючей проволокой, когда я в плен попал?». Так и вижу этого еврея. Вот сейчас, кажется, сложит руки на животе, как батюшка, закрутит большими пальцами один вокруг другого и заговорит быстро-быстро, картавя:

— А на фабч-чичке-е ни одной забастовочки-и-и-...

И звонок в дверь. И голос чей-то:

— Кто там?

— Почтальон Печкин.

А это сосед напротив Михал Василич (как Фрунзе), старый шахтер. Так он вот что рассказывал мне; почем купил, потом и продаю:

— Вот я раньше в шахте саночником работал. Пласт падения — 45 градусов. В ботинках скользко, падаешь, ботинки соскакивают. А если разуться — ничего, цепко стоишь. Так у саночников все пятки углем порезаны на узоры. Утром встанешь — ноги горят, а потом пошатаешься, расходишься — ничего. Подошвы были дюже черные, толстые, как баллоны...

— Как у хряка, — уточняю я. — У меня на это свое видение, свои и слова.

— А в деревне нашей в Вавилоновке, — принимается дядя Сима за оригинальный, из жизни своей рассказ, — так тоже один чудак был. Летом, бывало, ходит в шубе и шапке, а зимой — босиком. Вскочит с печки в чем есть — и на улицу, в сарай, корове давать. А потом снова в чем был лезет на печь к себе. Лежит и курит, там у него торф тлеет, от него и прикуривает. Спичек-то не было...

А старый шахтер мне и говорит:

— Искры из глаз — вот и спички... Ты, Горохов, темноту из себя представляешь... Трах-бах! И прикуривай с глаз этих искр... Это так у вас, в деревне вашей, а у нас в шахте уже электричество было... Гегемоны мы. Насколько дело было у нас культурнее.

НА КОНЮШНЕ

И рубаха у него, и глаза одного — кирпичного цвета.

— Вы здесь конюхом?

— Да.

— А нет ли кого-нибудь поруководящей?

— По отношению к лошади?

— Молод больно — ходишь вот, восклицательным знаком. А поживи, попашись с мое, мысли всякие враз пригнут. Восклицательный знак вопросом сделают, восклицательный всегда в вопрос загибается! Гнется, гнется — скоро совсем загнется...

— Не хочу я водочку.
Дайте киселю!
Повалю молодочку —
Эх, дай повеселю!

ПРО ТРЕХ СЫНОВЕЙ

Вот дядя Сима мне и рассказывает:

— Был я, значит, в Германии — военнопленным. В Пруссии русские живут еще с той войны. И дети у них уже против нас, против русских... Гольберг — немец из русских, у него четверо детей. Один в одного, говорит. Вот старший у него приехал с фронта на побывку и опять уехал, куда-то сюда, под Орел.

Гольберг-отец и говорит:

— У меня трое. Если каждый будет служить, то после победы за каждого получу по 25 гектаров земли. Выберу место в России и поселюсь.

А мы, военнопленные, ему:

— Не успеет, дед, твой сын доехать до места, как убьют...

И пошли похоронки. Одна. Через неделю — вторая... Остался один сын, еще молодой. Вот когда дед пригорюнился. Понял, что такое Россия.

ПРО ЧУЖОЙ ДОМ

Врут, что к войне не готовились. Знали и готовились. Перед войной мобилизовали специалистов: шоферов, кузнецов, строителей... Ну, и меня, печника, тоже взяли — доты строить. А, оказалось, попал в другую команду — кулаков вывозить. Бывало, рано вставали и действовали.

Вот едем к одному — богатый. По эту сторону речки — сад и по другую сторону — сад, два сада. Аллея и дорога. Дом двухэтажный, сверху черепицей крыт. Ну, приехали мы, постучали культурно. Выходит

женщина: «Что угодно? Кто вы? Сейчас доложу». Народ там не робкий. Это француженка, прислуга. А хозяев — трое: сын, дочь и сам хозяин. «Бауэр» называется. Лет 65. И вот он, говорят, болен; операцию вчера, мол, сделали — вывозить нельзя, даже трогать не рекомендуется.

И нас тоже трое — один из МГБ, я — шофер и милиционер.

«Эмгэбэшник» с ним говорит, записывает, а мое дело маленькое. Милиционер тоже хорош... вот пошли мы с ним на второй этаж. Смотрю — часы... золотые с браслетом (понял?) висят на кровати. Аж в глазах сверкнуло. А милиционер, смотрю, уж из ящика шкафа в карман себе что-то кладет. И уж золотые кольца левой рукой ворочает. Я к нему... хоть и неудобно... А он мне:

— Ты бы хоть с кровати не тро...

А я с кровати рванул тюлевую занавеску, а за ней — шкатулка. А в ней... и-их ты!.. сотни советские на ребро. Я половину отделил и в карман. Сам смотрю на милиционера. А тот мне:

— А часы?

— Уже в кармане.

А потом, думаю, дай спрячу куда подальше. Вышел к машине, отогнул запасной баллон и туда — пырь. Вот и «эмгэбешник» выходит, там свою опись закончил, а они не подписывают. Часов, мол, нет, денег тоже. «МГБ» на нас накрысился: «Отдать немедленно! Органы не позорьте».

Пришлось отдать. Только сотенку одну оставил — на бутылку. Подходит ко мне племянник хозяина:

— Господин шофер! Что будет с моим дядей?

«Господин шофер, а? Ничего себе», — думаю и говорю:

— Господин племянник, мое дело отвезти. Хоть куда, куда скажуть.

— Спасибо и на этом, — говорит.

И тащит вот такой пирог и кусок колбасы домашней. Такую колбасу жена дома к Пасхе, бывало, делала. Укусишь — и нет ее во рту, тает...

И так это мне тошно стало, стыдоба взяла. Господи, твоя воля! На кого ж я похож!! Ведь сроду дома курицы не зарублю, чужого яблока на меже соседской не подыму, да и свой дом, бывало, на замок не закрываю, а тут покусился. Какое-то затмение нашло, душу как занавесило... Слава Богу, хоть все отдадено, все до шпентика. Кроме этой «сотняжки», на которую как-нибудь вечерком куплю бутылку да и помяну, царство им небесное... ничего плохого люди тебе не исделали...

По центнеру груза на брата — и на вокзал. И в красные вагоны — в Сибирь, что ли. Правда, кому груз разрешали, а кому — нет. Так я по два центнера отвез на каждого, и тем облегчил свою душу...

Иду, помню, плохо, скользко ходить. Вот так оно в жизни — упал бы, думаю, на подступах к той-то усадьбе, винтом бы пошел. А кому это надо?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вот дядя Сима мне после и говорит:

— Мы с Иваном Ефимычем, соседом твоим, по душам беседовали. Так он что говорит мне: «Это вы смелые, втроем пошли. Могли бы вас уложить... Это они не знали, что война скоро будет, а то бы все они — в лес, не дали бы себя увезти». — «А откуда ты знаешь?» — спрашиваю. «А я тоже у бауэра был, — говорит он. — У них порядок такой, завет! — под Новый год стрелять, салют давать. Кто сильнее. У одних, допустим, один пулемет, а у других два — на каждого. Вот как начнут! А мой хозяин слушает и говорит: у Крачинского больше оружия. А у моего хозяина оружия на роту хватит. Полный потолок карабинов...»

И вот как войне начаться, спали мы по команде несколько ночей уже одетые, при полном боевом. А под воскресенье разделись. И слышу я в дверь Сазоныч стучит (земляк мой, из одного мы с ним района): «Война!» И слышу я: аж гудет уже все, аж гудет! Мать моя, у меня ажник зубы от страха заговорили... Оделся впотьмах как зря. Все бегают по плацу полураздетые. А по небу снаряды вовсю полосуют... Побежал на склад — все уже перевернуто, свой чемодан никак не найду. Выбегаю, а навстречу комбат, подскочил на легковой: «Что за паника? Стройся!» А тут крики: «Спасайся кто как может!» Я сел на свою бортовую машину и — на Восток. Через лесок, на Волковыск. И тут на опушке полковник и лейтенант: «Стой! Назад!» И лейтенант в кабину ко мне: «За семьей полковника!» Влетаем в город, а все горит. Детишек в кузов побросали — и тут снаряд рядом, лейтенанту шею так и пересекло... Выручай, «ЗИСок»! И пуль тут сколько хотите.

Те откуда-то танками прут, а тут в спину эти лесные братья — содють из всех видов оружия. По семьям, по детям командирским — сколько же их полегло... А самолеты с крестами как зайдут вдоль шоссе. Перевалится летчик через кабинку и смотрит, зубы скалит, но не стреляет, мол, впереди лесок, так те из лесочка добьют... Жена полковника и детишечки рядом в кабинке... Вижу, из леса люди навстречу с оружием. И перед машиной встали.

Гляжу — тот племянник. Узнал меня — дал своим команду: мол, пущай уезжают — гражданские, мол...

А после ползем по кювету — убитые всякие. А народу, а народу набито! Кто наш, кто не наш. Ощерены рты. Копнешь — зубы все запломбированы; если металлическим белым, стало быть, немец. А если желтое — золото, стало быть, офицер... Либо дернуть, думаю, — так займешься, своих потом не догонишь. Правда, мы этим делом и не занимались.

Вот так та война и начиналась.

— А нужно уметь воевать. Вот ваших трое пошли на фронт — и ни один не вернулся. Максим — в Брест-Литовске, Гавриил — под Бобруйском, а Василий — уже в Наро-Фоминске...

— Так все на Московском направлении и в сорок первом же.

— ...а нас, братьев, четверо, и все живыми пришли, почему? Вот мы наступаем — твой батальон, твоя рота, а ты — левее, левее. Из первой роты да во вторую. Все встали и на пулеметы: «Ура-а!» А ты в это время залег. А когда все залегли, ты вперед... В конце концов вместе со всеми врываешься во вражеское расположение...

Или. Пулеметчиком уже я. Стреляем мы как-то под Будапештом. Сзади второй номер диски мне набивает и подает. Слышу — бах, бах! Четыре диска насквозь. «Снайпер, — кричу, — нас засек!». Спина чует — мурашки ходят. И я рядом тут же в окоп — круглый он. Как кадушка. А напарник и кричит: «Иде, иде снайпер?» Голову приподнял, а тот — трах! — его и повалило, убило.

А ночью — «активная оборона». Они из пулеметов садят, и мы туда им отвечаем. Я в бруствер прилажусь и бью, бью, аж яму вырыл. А он оттуда не видит меня по огню пулемета, никак не поймет, где я, а слышать слышит. А я гляжу и определяю по сверканью очередей: «Иде ж это он?» И давай потом тоже садить. Мимо бруствера да по нему, по огням. Глядишь, точку и подавлю...

Вот так вот и воевали. Как печку клали. Ни лишней глины, ни лишнего кирпича. Но чтобы дело было сделано. Тягу, чтобы печка давала тепло. Чтобы дом был обжитый, аккуратный. Я дядьев твоих знал, главное — честный народ был, передовой, первыми и упали.

«ПОМНЮ!»

Иду по городку по нашему: где уборная, где туалет? Здесь ведь был. Вот что значит кругом изменения... Далеко магазин, не в руку ходить. По выпивке много слов всяких находится. Водка уже управляет человеком. Большие могут быть безобразия. Нагуляли щеки — нажились. Забыли, как солоно приходилось. Как рубаха, бывало, без мыла-то колом от пота стояла. Хоть топором теши, когда жили в глуши. А жизнь из себя прогонять не спеши — оглядись да подумай, зря язык не заводи за скуло. Доску на потолке раньше срока не отдирай...

...А когда заболел дядя Сима, плохо стало ему, приехал я из Орла да в больницу. И встретились мы с ним в кабинете главврача Ивана Филиппыча, больше негде было встретиться для интимного разговора. Вот дядя Сима мне и говорит в последний-то раз:

— Сынок, видишь, Иван Филиппыч-то комнату свою дал? Нешто я не понимаю. Это я ему печку исделал, видать, хорошую. А то бы он мне как хирург уж ногу бы или по частям, или сразу бы всю отсобачил по самую задницу. А то бы и две трети желудка собакам выкинул. А я вот цельный пока что стою перед тобой. Люди есть люди — помни и не забывай...

Высверки истории

(Из генотипа русского народа)

СЕМЬ ИСХОДОВ

Веки аж режут века! Так древни мы, так невообразимы в недрах индоевропейской истории. Все трактуем, что мы от Киевской Руси, с христианства. А до того где были, с чего начинались? Это все для простого употребления, а академики знают — откуда мы и куда. С Гималаев как спустились да так и идем. Семь исходов, как семь планет вокруг Солнца. Кто знает, есть ли Бог или нет? Никто не знает, откуда взялись мы на Гималаях — такие рыжевато-русые, светлоглазые, — с Неба, что ли, на «крыше мира» или еще откуда-либо? Но что мы кентаврами летим на конях, слитно с конями, так это факт, это точно. Недаром отроги Гималаев сделали точкой отсчета отец и сын Рерихи — Николай и Святослав, поселясь в землях реальных, в истоках мистических всей гаммы нашей древней души.

«Велесова книга» — два исхода. От Прибалхашья шли двумя путями — через Северное Причерноморье и через Переднюю Азию — на Дунай. От Дуная до Киева шли 1200 лет... И далее — на Новгород Великий, ставший уже после «ганзейским», на первую нашу столицу, на Москву, пошли уже после Киева...

И с Севера от Москвы — Сибирь прошли («всю бери»), пронзили весь континент до самого Тихого океана и даже перепрыгнули на русскую Аляску и русскую Калифорнию. Скакали-сращивались — дружили с местными народами и оставались...

Так и скачем по горизонтали. В то время как в оседлой Европе, в силу малых пространств, шли по вертикали...

Голубое до неба — моя вертикаль,
А зеленое — по горизонту.
Сквозь меня этот крест, через сердце эмаль —
Фаберже, что ли, по Геллеспонту.

Мое сердце возьмет голубой океан
И вернет его мне, золотое.
Под березой сижу я, задумчивый Пан,
И любуюсь и ей, и собою.

(«Голубое и зеленое»).

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

Переводил я «Слово о полку Игореве» с древнерусского на современный язык по подстрочнику Лихачева и узнал у академиков, что ни похода того печального, ни самого пленения князя Игоря в природе не существовало, не было. Это все песнепевцы князя Боян и Ходына сочинили. А что было? А был не совсем удачный поход князя Игоря на Царьград, на вратах которого когда-то вещий Олег и прибил свой победный щит. Да еще было то, что древляне во главе с князем Малом разорвали с помощью деревьев тело князя Игоря, когда тот вернулся «добирать» дань... Вот и туга — печаль, вот и зародилась у лады его Ярославны мысль о единении Руси с помощью религии — христианства. И крестилась она сама, и крестил уже Русь ее внук Владимир.

И замкнулось колечко. Какое? Еще какое! Попался журнал мне «Вопросы религии» (номер не помню), а в нем статья одного ученого богослова.

Мы все говорим, что Иисус Христос — из евреев. И распял его иудейский народ. Католичество уж простило его за это, а православие все никак. Так вот, что говорит тот богослов, мне врезалось в память. Иисус Христос по глубоким корням своим — из ассирийцев. Они и сейчас ещё есть в рассеянном виде, в том числе и у нас в стране, например, известная Джуна. А асси-

рийцы эти кто и откуда? Чувствуете? А из потока, хлынувшего некогда с Гималаев, из Индии, — из арийцев, и Иран — «страна ариев» на этом пути. Это в 20-м веке удалось кое-кому, приспособив к себе, испохабить это нормальное, некогда даже славное имя народа.

Я-то по курсу истории еще с института знал, но впервые увидел печатно, что и мы из арийцев, в романе-эссе Владимира Чивилихина «Память». Если мы — из арийцев, Христос корнями своими из ассирийцев, а те тоже осколок арийцев, то вот крещеньем Руси мы и замкнули это «златое кольцо — колечко». Космически и улеглись во что надо. В христианство. В мирозданческие потоки.

БАЛЧУГ

Есть такая площадь в Москве — Балчуг! За Москвой-рекой, у Каменного моста. Здесь при Иване Грозном царили трактиры. «Опричники» царевы гуляли, пытали и обагряли стены «юшкой». И стояли тут большие чугуны — в сокращении «бал-чуг», а в них кровушка густая тряслась от натиска крика командного да смеха питейного под низкими сводами, — Балчуг!

ВЕЛИКИЙ ЛЕКАРЬ

И что пили на Руси в древности? Ну, не водку же, она из Крыма уж в XV веке была привезена генуэзскими купцами. А медовуху пили — самое наше питье, самое русское. И вот что сказано об этом в «Велесовой книге» (мой перевод с древнего, мои стихи, Дощечка четвертая. — *Автор*).

«Легенда о даровании Квасуре и Богумиру сурицы»

Расскажем, как Квасура получил
В дар от богов божественную тайну:

Сурью как приготовить; к ней ключи
Подобраны навроде бы случайно.

Она есть утоленье нашей жажды
На Радогоще, около богов.
Сурицы выпив кто-нибудь однажды, —
На небо лезть, плясать и петь готов.

Квасуру боги вразумляли сроду.
Вдруг встретив как-то Ладо самого,
Велели вылить меду в чашу, в воду,
Да и на Солнце выставить его.

Вот Солнце ту сурью и сотворило!
Теперь сурицу славим и поем!
Во времена докиевские было,
А и сейчас, как перебродит, — пьем.

Так передал Квасура Богумиру,
Что прежде сам Сварожич дал ему.

Квасура — это квас и сурья! А нам, чуть что, — квасной патриотизм. А мы им, чуть что сейчас, — коку-колу! Да ведь русский квас, создавая в желудке кислую среду, века был лучшим из лекарей. С русской печкой взаплот квас и создал великий русский народ!

ИКРА МЯТНАЯ

Икра всегда была царицей стола. Стол великий всегда украшала. Для всех слоев была она разная. Зернистая — с Волги, из осетра, с астраханских учугов. А какая попроще — паюсная, мешочная и мятая. Вот лучку туда да перчику, да потолще, да уксусцу, — да хоть кого усватаешь!

А если примята, калибром помельче, дребедень, — зато варена под уксусом; это для свата. А для себя — с молочком да с маковым. В посты, бывалыча, ели икряники — блины икряные; вот жили, да?

С чего бы это, выбежав из клетки,
Деды мои перевернули строй?

А то вот едет парень с Парамушира — это с островов, на которые Япония претендует. И везет деду с бабкой своим в деревеньку орловскую целую чашку икры. Погостил и уехал. А дед попробовал ложкой, поморщился и говорит:

— Ну-ка ты, бабк?

Попробовала бабка да таки тоже и говорит:

— Соленая.

И давай дед звонить в район другу — начальнику по дегустации:

— Бери, если понравится...

Вот как икра непривычна! А ведь до революции в каждом трактире была. Даже в 60-х годах в Верховском железнодорожном ресторанчике было ее сколько хошь. На бутербродах и так. По усам текло да и в рот попадало.

КРАСНАЯ НИТЬ

Рука, говорят, развилась — дюже трудно было, дюже работно. Вот ниточкой красной шерстяной (непременно, заметим, — шерстяной) и обхватили запястьице, кисть ею и перетянули. От растяжения — как заговоренная в пылу сражения. То-то, я гляжу, через века — конники едут с Куликова поля, в Москву назад возвращаются. С хоругвями ввысь, со щитом да и на щите. А вокруг запястьица почти у каждого красная ниточка. Шерстяная. Славно за Русь богатыри поработали!

МОЙ ГОРОСКОП

У каждого свой гороскоп. Мое дерево — самое наше, русское, и соответственно ему единственный такой день в году, в высшее летнее солнцестояние, это когда я родился, а дерево — Береза. А цвет мой — синий, а также зеленый. А камень — сапфир и алмаз (он для

всех). Алмаз — ЛМЗ (Леонард Михайлович Золотарев), ЖЗЛ — жизнь Золотарева Леонарда, ЖЗИ — Жизнь Золотарева Игоря (моего сына). Мать — Мария, отец отца (дед, значит) — Иосиф. Настоящий отец — Михаил, Михаил-Архангел. Имя мое — Леонард («недовинченный), тезка Леонарда да Винчи, и это для меня много значит. А фамилия Золотарев от «золо» — «соло» — «солнце», золото, «тер» — «земля», «золотая, солнечная земля». Инициалы ЛМЗ — алмаз. Представляете, — золото и алмаз. Вот как, от скромности не умрешь.

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

В вербную неделю дети взрослым врут беспощадно: обещают хорошо учиться, лазаря поют. А после взрослые на них же отыгрываются, секут вербой и приговаривают:

— Верба-хлест, бей до слез!
Бей до слез, верба-хлест!

И той же лозиной выгоняют зимовалый скот или идут в свои Палестины, несут эту вербную ветку вместо пальмовой.

ЮРЬЕВ ДЕНЬ

Испокон русские люди были свободны. Хошь — на юг, хошь — на север, хошь — на запад и восток. Но все больше на юг бежали, а на восток — шли и ехали. Так и осваивали Донские земли — Дикую степь, да и Сибирь-матушку, по частям. А земли в государстве все раздавали и раздавали, вместе с людьми за всякие заслуги и без заслуг, так и отходили земли к дворянству. И люди тогда убегать начали, а что земля без людей? Вот и наложили «крепость». Оставили для перехода лишь один день осенью, после уборки урожая, — Юрьев день.

А когда и его отменили, всеобщий вопль раздался по Руси: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» С того крепостничество и началось.

КАФТАН ПО-ПСКОВСКИ

«Кафтан» — вообще, это слово татарское. Или длинен до пят, или короток до икр. Чтобы видать было сапоги. А рукава почти до земли — чтобы блины можно было брать с левой, а взятки — с любой. Но как отличить татарский кафтан от русского? Подвязки, застежки — какая разница. Только вот в чем отличие: ряд пуговиц у русского кафтана справа, а у татарского — слева...

Вот один хитрый псковский купчишка построил кафтан в два ряда. Нагрянет орда во Псков — перестегнет он пуговки справа налево, — и хорош, и свой у татар, платит ясак исправно. А как только орда с глаз долой, так возьмет и обратно перестегнется, по-русски...

Все мы смотрели один из первых наших фильмов из времен гражданской войны «Мы — из Кронштадта». О людях в черных бушлатах — революционных матросах. И о людях в серых английских шинелях — солдатах Юденича. Вот солдатик в такой шинели сидит в окопе. Как только матросское «ура» раскатится, так он погоны с плеч долой и в карман. Как только заглохнет, так погоны тут же из кармана и снова на плечи. И, крестясь, бормочет под нос себе:

— Мы псковски́й... мы псковски́й...

ДАРЫ, ПОТОМ НАЛОГИ

Посол от Лжедмитрия Афоня Власьев преподносит Марине Мнишек на счастье такие дары:

Златой корабль в брильянтовых каменьях,
Перо рубиновое, быка, павлина в перьях золотых,
Три пуда жемчуга, под тыщу соболей,
Парчи и бархату, и штофу, и атласу,
И бочку — квасу...
И золота червонного престола.
И облизался сам посол.

Потом будут поборы и налоги — со всей Москвы, с Руси Великой. Довольны люди, недовольна церковь — боги.

ЗВАНЫЕ ОБЕДЫ

А вот боярские обеды были куда проще царских. На деревянных блюдах едали. По очереди ложкой «плавали» в тех блюдах послы, ослы и козлы. Вот зло, вот зависть! Ну нет покоя от этих княжат царскому трону. И ввел Борис Годунов званые обеды. Мол, пусть хоть дома поговорят.

А и дома, кому надо, ушки на макушке — да топориком, топориком. Все знает царь наутро, что о нем говорят.

«Шипенье пенистых бокалов...»
«И мальчики кровавые в глазах...»

ОТЦОКОТАЛАСЬ МУХА ЗОЛОТАЯ

Уж за полночь. Клубится царский стол — все в изрядном подпитии. Все триста человек, как рой пчелиный. А все черпают из серебряной чаши, через которую уже протекли реки.

И тут водка. Сменили все, попроще стало на столе: хлеб-соль, да уксус, да перец. И кубок в руки:

— Василий-ста! Высокий гость! Царь на тебя не во зле, пей до дна, пей...

Гость, побледнев:

— А что там в кубке — муха?

Царь, багровея:

— Что-о-о-о-о!!!

И подлетает кравчий — виночерпий царский:

— Так, пустяки.

И пальцем в кубок. И в рот, что было в кубке. И улыбнулся. Облизал губы, закусил перцем.

И вновь вино рекой.

Вот для чего нужны такие люди на должностях!

А кравчий в сторону:

— Жирна была подлюка. А ведь сегодня пост.

НЕ КНЯЖЬЯ ПЕСНЯ

Сидит на Киеве Великая княжна Ольга. А сын Святослав уж перенес столицу на Дунай — назад, откуда мы когда-то пришли сюда. А тут степь наседает — половцы, хазары. Послала Ольга к сыну:

— Приди, не то под степь все ляжем! Умру — на могиле православной не правь тризны...

И умерла, увидев Святославовы ряды. И отогнал сын степь дикую. Но тризну все-таки справил. И погуляли же! До сих пор гудим: «Эх, ходила дивчина бережком...»

Вёдреная погода

ВЁДРЕНАЯ ПОГОДА

После института начал я в селе работать учителем, куда когда-то, в далеком уже 43-м, были мы эвакуированы из Малоархангельска и где я провел целое лето под непрерывным грохотом артиллерийских орудий где-то за горизонтом и гудом самолетов над головой. То была знаменитая Орловско-Курская дуга, ее северный фас... Веду в школе русский язык, литературу и даже историю, смотрю на ребят в классах, а сам помню их отцов, матерей...

В восьмом классе я к тому же еще и «классная дама», то есть классный руководитель. Помнится, читаю им «Слово о полку Игореве», о далеких вехах нашей истории — о песнепевцах Игоревых Бояне и Ходыне, а сам глаз не могу оторвать от Любочки Масловой из недалекого тут поселка Оладьево, километрах в трех отсюда. Круглоликая, с тонкими черными бровками, с пышной русой косой. До чего ж взгляд умен и смекалист. Самая лучшая из моих учениц, помощница моя, заводила в классе. А сколько песен знает своих, деревенских, а сколько частушек! Отмечая окончание учебного года, взяли мы палатку, котел да и пошли всем классом туда к ней — в Оладьевский лес. Так она всю дорогу как прилипла ко мне, так и не отвязалась. И туда и обратно все частушки мне пела — Боже, каких только она не знает, на все случаи жизни...

Подхожу в классе к окну и распахиваю его прямо в сад, а в саду — соловьи, медом пахнет, пчелы жужжат, качаясь на бело-розовых, синих флоксах прямо тут под окном. А в спину я чувствую взгляд черных в краплинку глаз, знаю, чьи это, — Любочкины. Как она похожа на свою мать, прямо копия! И годы, прямо как киноленту, закрутились, замелькали в обратную — и вот я там, в 43-м...

Любочкина мать — Христина жила тогда по соседству, в соседней хате. Не знаю, откуда она была эвакуирована, может быть, из Белоруссии, а может, еще откуда? Но, точно, она была не здешняя, не деревенская. В таком же вот мае без стеснения носила она на голове венок из сплетенных же ею самой желтых цветов — одуванчиков и в юбке ходила какой-то цветной, не нашей тут, — колокольчиком. И в красных сапожках... Невеста Христова, а тут война идет, каждый день раненых мимо провозят и кого-то хоронят...

И, помню, погода ведреная. Это когда можно на месяц ведро повесить, и оно не свалится, не упадет наземь. И любила Христя на танцы бегать в соседний сад через поле. А там-то кино трофейное показывают, натянут белую простыню между яблонь и показывают. А после, когда погаснет электричество от движка, остаются девчата с солдатиками в темноте и в любовь по кустам играют. А патруль гоняется за ними, хватают, кто попадется, и растаскивают по воинским частям, которых много тогда тут было распихано — по оврагам, по берегу речки, где-нибудь у моста, еще не разбомбленного вражеской авиацией.

И Христя с подружками ходила туда, бывало, в кино.

И вот молочка на ужин налила мне мать, попил я и в постель, не помыв даже ног. Так набегался за день — бух и сплю уже, как отрубился. Но слышу голоса во дворе, шум какой-то. Христя вбегает в хату и — под одеялку ко мне. Лежит — замерла вся, обняла меня и притиснулась. А мне она нравилась вся от сапожек до кос, раскиданных по плечам. Глаза ее нравились, плечи, фигура. Но ей было — сколько, а мне? Мне только в школу осенью, а она уж, наверно, в восьмой... А тут лежит рядом со мной да еще и дрожит вся. Ух ты! У меня прямо искры из глаз посыпались, и я задышал тяжело...

А она притиснулась ко мне еще ближе и шепчет на ухо: «Да тихо ты, тихо». И грохот дверью, шаги в сапогах по сеням. Заходят мужчины, оружием звякнули — патруль! Поводили узким лучом фонарика.

Один и говорит:

— Сюда бежала, сам видел.

А другой отвечает:

— Да нет, не сюда. А за хату... А кто тут спит?

И настал момент выручать Христю, я это понял.

— Да это я тут, — привстал я из-под одеяла.

— А-а, это ты, малец... ну, ладно.

И патрульные вышли из хаты. Правда, один возвратился и ладонью потрогал одеялку там, где Христя была:

— Холодная.

И опять же вышел. Лежим замерев. Кабы еще не вернулись. Потом, дождавшись, когда они совсем ушли со двора, Христя привстала на локоть, обернулась ко мне. И, найдя меня во тьме среди одеяла, притянула к себе и поцеловала долгим-долгим, пронзительным поцелуем.

И ушла. Вышел я следом на улицу. А там вот такая же луна. Ущербная. Наклонившаяся, на нее можно вешать ведро, и оно не упадет.

Ведреная погода...

И тут звонок зазвенел. И весь класс, все ребята кинулись на перемену. А Любочка подошла ко мне сзади. И положила подбородок мне на плечо. И тоже, вместе со мной, долго-долго смотрела, как висела и качалась на розовом флоксе пчела.

— Приходите сегодня вечером, — сказала мне Любочка. — В лес наш Оладьевский, где жгли мы костер. Я буду вас ждать.

ХРИСТИНА ЛЮБОВЬ

И все же я собрался, весь в каком-то порыве, и вечером на велосипеде отправился туда, в Оладьевский лес. Любочка была уже там. Прислонясь к широкому дубу, возле недавнего нашего кострища, стояла она, опустив голову, и молчала.

А рядом где-то, тут же через овражек, за кустами цветущей черемухи, находился этот поселок Оладьево и крестьянские хаты, дворы. Замычал теленок, собака

звякнула цепью. Раздался женский глубокий голос, разговаривающий с кем-то там, во дворе.

— Любочка, Люба-а! — позвала женщина.

— Это мама, — задрожала Люба всем своим телом.

«Отчего дрожит она? — думалось мне. — Ах да, это черемуховые холода, это все они, все они... А то, наверное, Христя, кто же еще?»

Любочка придвинулась ко мне и прижалась, и обняла. Она была очень похожа на мать — на Христю. Совсем такая же, как Христя тогда, в 43-м. Такие же черные бровки и косы, и колокольчиком юбочка. Не было только косы, спущенной по плечам. Да ведь время было совсем иное, не то было время. И, чтобы дрожь ее тела не передалась и мне, надо было что-то сказать Любочке, перебить эту близость, возникающую между нами...

Зазвенели струйки молока о подойник. К навозному коровьему запаху прибился дурманяще сильный запах черемухи, прибавился еще и едва уловимый, млеющий запах свежего молока. Молоком пахло и от самой Любочки, от ее чуть припухлых уже девичьих губ. Ей хотелось любить, я это понимал, но что-то стояло между нами, не проходило и не усиливалось во мне. А Любочке было холодно. Но не было тут одеяла, постели той, патруля. А вместо фонарика, лучом которого водил тогда по стенкам тот военный патруль, начинали вспыхивать звезды и подмигивать издалека.

— Я люблю вас, — сказала Любочка.

— Я знаю, — ответил я и улыбнулся всем своим внутренним, не выходящим из меня наружу мерцаниям. — «Христина любовь».

Хотелось спросить что-то о ее матери, об отце. Как живут они, что в жизни получилось у Христи? Но я смотрел на Любочку, на ее преданные, обжигающие глаза, и говорить не хотелось. И когда голос Христи, зовущий дочь, раздался во второй раз, я отпустил Любочку:

— Иди-иди к матери. Ты еще маленькая...

Обратную дорогу мне присвечивали звезды. Я мчал-

ся на велосипеде, разгоняя его, не боясь врезаться в какую-нибудь яму. Я хорошо видел, я чувствовал эту ночь всю до веточки там, в Оладьевском лесу, и тут, в цветущих кустах черемухи по скользящей обочине.

А луна уж выдвинула передо мной краешек свой золотистый, и он быстро поднимался. И было ни холодно, и ни тепло. А все-таки хорошо, что можно повесить ведро на него и из ведра того пить это парное, свежее — деревенское такое, космическое молоко.

ВСЕ КАК НА СОБАКЕ

Вдвоем на лыжах они ушли в поле, подальше от всех любопытных жителей районного центра, куда оба они были присланы этим летом по распределению. Действительно, они зашли далеко в этом своем стремлении побыть вместе, без сторонних глаз. Оба они были экономистами. Она закончила институт в столице, а он — в соседнем провинциальном городе, однако это не помешало им оказаться в одном кабинете одного учреждения. Она приехала к мужу, который был тут уже главным специалистом, а он приехал в район — ни к кому. Но муж ее не любил лыжи, а она была спортсменкой-перворазрядницей, а он уже любил и лыжи, и — перворазрядницу...

Катаясь с крутых горок в лесном урочище, она налетела на сосну и, сломав лыжу, сильно ушибла колено. Декабрьские сумерки быстры, неожиданны, как ураган, как поток чувств, которые нахлынули и закружили. Они тут в лесу. А лыжа сломана, снег тут по пояс и до райцентра шесть километров. А муж ее в командировке...

— Маша, — сказал Олег, снимая с себя не только правую лыжу, но и правый ботинок. — А ну, разувайся.

И, стоя на одной ноге, он стал обувать ее ушибленную ногу в свой правый ботинок. Ботинок был, конечно, великоват. Однако, что делать? А сам он остался стоять на другой лыже и на снегу одной ногой в шерстяном носке, Машин ботинок оказался ему маловат.

— Ну нет, — запротестовала она. — Я уж как-нибудь так... без лыжи, хотя бы в ботинке.

— Еще чего! — строг был Олег. — Не видишь, что ли, какие снега? Одна нога на лыжне, а другой только ступи — провалишься по колено... Как же ты сможешь идти? Притом я должок отдаю.

— Какой?

— Да так тут... один, — замялся Олег. — Вот так вот я взял лыжи у друга однажды... и поломал. И ничего, добрался же. В такой же вот ситуации. Так что мне не привыкать...

Олег успокаивал ее, а сам подвязывал снизу, к стопе ей, свою рукавичку, туго стягивал все это ремешком, снятым со своих брюк. Он впереди, она за ним — таким способом они и двинулись в путь. На первом же километре ботинок у него потерялся, и он теперь шел, глубоко увязая в снегу, в одном только шерстяном носке.

Добрались они уже ночью. В доме, где жила она, радио как раз проиграло гимн — на сон грядущий. А им было не до сна. Олег, скорее всего, обморозил ногу. Во всяком случае нога была ни на что не похожа. И Маша кинулась в сарай за дровами — топить русскую печку и греть воду.

Спасибо, хозяйки, как и мужа Машиного, тоже не оказалось, и дочка хозяйкина куда-то уехала, они в доме были одни. И спасибо, это была русская печка — с лежанкой, с шубой на лежанке, где можно было не только отогреться, спасая ногу, но и просто полежать в тепле.

Маша растерла пятки ему, всю стопу гусиным салом — надежное, испытанное средство от обморожения, — нашлось у хозяйки. А потом, вспомнив, она кинулась к чемодану мужа, где на самом дне отыскалось еще и облепиховое масло.

— Ну, теперь все, — успокаивала она Олега.

И эта операция с ногой подняла ее в собственных глазах. Если бы сейчас вот, сию минуту за порог сюда ступил бы ее «охломон» (так она называла мужа за глаза), ей было бы о чем сказать и что показать.

Нога горела, всю голень рвало изнутри, кровь ходила толчками. Однако не настолько, чтобы кричать. Олег лежал в тепле, весь в ее заботах и хлопотах, и, лицемеря, начал полегоньку постанывать.

— Больно? — спрашивала она, забывая о собственном ушибе, из-за которого все и началось.

— А как ты думаешь? — протягивал он к ней руки, и она принимала их в свои ладони.

Ее тянуло туда к нему, на лежанку, в самое теплышко. Вскоре она очутилась с ним рядом. И кровь толчками стала ходить у него в другом направлении. Они потратили на это времени, пожалуй, вдвое, а то и втрое больше, чем когда шли сюда от лесного урочища. И не заметили даже...

Проснувшись, она увидела свет в окне. И себя на русской печке рядом с незнакомым мужчиной. Вспомнила все и застонала.

— Ты что? — встрепенулся Олег.

Она промолчала. Посвистывало в трубе... Она стала разворачивать аккуратно забинтованную ногу.

— Хорошо, — рассмеялся Олег.

Порыв страсти, который охватил их ночью, еще не угас. Действительно, с ногой, скорее всего, обошлось. Что значит порыв чувств — любовь, концентрация белой энергии.

— Все как на собаке, — гладил Олег ей ушибленное колено, улыбаясь и косясь, однако, на дверь...

«ГРУППА КРОВИ»

Когда на ноге у него появилась первая опухоль, ему сделали операцию — удачная, все в порядке. Но через несколько месяцев там же появилась вторая, и его поместили в самый страшный из всех диспансеров.

И все перестали к нему приходить. Даже сестра двоюродная. А больше никого из родственников у него тут не было.

Проснется Олег ночью, включит электричество, гля-

дит в потолок — и тоска. Ледянящая, мертвая. Собака воет за окном, душу вытягивает... если она еще есть, душа-то, в этом его слабеющем теле...

Но вот пришла Маша. И еще раз пришла, и еще.

— Вы кто — жена ему? — спросил ее лечащий врач.

Маша посмотрела на Олега и покраснела:

— Да-а.

— Это хорошо. Ему очень нужна поддержка.

Так она и осталась тут, рядом с ним. Сначала на месяц, взяв отпуск. А затем и навсегда. А дело все в натиске белой энергии. Сконцентрируется он, сфокусирует взгляд и давит на опухоль, давит волей своей — светлой, белой энергией. Как, бывало, отцы наши в Отечественную войну, когда мы уже наступали; наши раненые тогда быстрее, говорят, выздоравливали.

Вот так друг к другу у них, как говорится, и подошла «группа крови». Будто номер ботинка, который он обул на днях и сам вышел из диспансера.

ПЬЯНЫЙ МЕСЯЦ МАРТ

Антоновна пришла с почты и принесла мне открытки. Это к 8 Марта, чтобы я подарил их женщинам. Школенка сельская, малокомплектная, из мужчин — только я да директор.

— Девки на почте такие открытки продали, — засмущалась старенькая, у кого я стоял на квартире. — Срамные какие-то, голые... а других, говорят, нет.

Ну, я и подарил. Хоть такие. И одна, что на почте, на открытку ту вот хохотала, вот хохотала. Допьяна нахохоталась. А потом взяла и сама разделась, без стороннего глазу, когда дома Антоновны не было.

ИСТАЯВШАЯ КРАСОТА

В Москве, на Новодевичьем пруду, скульпторы состязались: кто изо льда сделает чудо? Одна красивая женщина проходила мимо и остановилась. И скульптор, уви-

дев ее, хвать молотком по почти готовой фигуре и тут же стал ваять другой портрет — с нее, с этой женщины. И изваял, пока она постояла, а потом ушла и вернулась.

— Вот Снежная Королева, — сказал он ей. — И это вы.

Смотрит она на себя из окна — из дома напротив, и ей это нравится. И тут возник дождь. Это снег растаял от тепла, наверно, в груди художника, от пробудившейся любви. Наутро красивая женщина глянула в окно и заплакала. И слезы ее окончательно смыли все изваяние, и пруд переполнило до краев.

Парю в лазури — лебедь молодая,
Белее снега, холоднее льда,
Я — Красота...

Ш. Бодлер

ПРОСТО ЛЮБОВЬ

Когда из Чечни привезли цинковый гроб с телом их сына и поставили на край могилы, оба они вдруг поняли, что это хоронят не просто их, а Любовь, просто Любовь, просто всякую жизнь.

КОГДА МНЕ ПЛОХО...

...я хочу просто любить.

ЧУДО НЕОБОЗРИМОЕ

Осенью рябина была вся красная — чудо какое! «Зима будет жесткой, — говорили люди, — в этом году урожай на рябину». И зимой дрозд с дроздихой стали прилетать к рябине, как и всегда. Сядут на ветку где-нибудь рядом и смотрят, смотрят, все насмотреться не могут. Долго не улетают. А кормятся — на других, на какие не смотрят. Так и стоит это чудо — красное на белом снегу!

Меченые места

ГЛОБУС

— Я знаю, почему началась первая мировая война, — сказала бабушка.

— Почему?

— Потому что дедушка мой — учитель гимназии — упустил из рук глобус, и он упал, раскололся.

— А вторая мировая?

— И отец мой — учитель средней школы — упустил тот же глобус, и он раскололся по тем же местам.

— Ну, а третья, что третья?

— А сейчас в доме глобус не трогают. Вон он стоит на шкафу — склеенный, высоко-высоко... И достать до него — пока руки коротки.

МЕЧЕНЫЕ МЕСТА

Жили-были два брата. Как две капли воды — близнецы. Только один в город уехал, а другой в деревне остался. Вот один ходит и ходит не на тот берег речки, так привык к месту. А другой все ходит и ходит не на ту остановку троллейбуса, так привык к остановке.

Этот — деревенский — с места привычного полез в речку купаться и утонул. А тот — городской — стал в троллейбус садиться и под машину попал, погиб. И обоих не стало. «Стало быть, что-то есть, — вздохнула бабушка. — Место меченое такое — Судьба».

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Пошел я получать посылку на почту — из-за границы. Получил и принес.

— Положи паспорт на место, — сказала жена.

Положил на место. Глянула она, а паспорт-то не ее,

на чье имя посылка, а мой. Как же они посылку-то выдали? Такие законники сидят, а в паспорта при таком ответственном деле, выходит, не смотрят! Любому, значит, могут посылку твою отдать.

Ротозейство или наважденье?

Думала-думала жена, гадала-гадала и все же пошла на почту спросить, как это все у них получается? А те засмеялись там у себя и говорят:

— А вон у нас все данные на вас.

И показывают то на тетрадку у почтальонки, а то на компьютер у начальника почты. На любой вкус.

— А когда посылочку замотаете, у кого спрашивать? — говорит жена.

— А когда замотаем — спрашивать не с кого, — говорит откровенно начальник. — И тетрадочка, и компьютеры — твари неодушевленные.

НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА

Купил мужик бензопилу — тыщу двести отвалил, а тут газ провели как раз. Вот те раз! И пошел он в магазин — пилу относить, а назад не берут.

— Чего это вы, — говорит, — так озверели? Как Сбербанк, деньги не возвращаете?

А те ему говорят:

— Вот и пили пилой свои «деревянные», пополам перепиливай. Вдвое больше будет.

Умники какие! Вот мужик взял да и начал не «деревянные» свои, а деревья ихние вокруг магазина пилить. А те выскочили и вопят:

— Чего это ты тут творишь!

А он им сладенько и говорит:

— А что пила должна делать? — пилить. Вот и пилю. Все попилю вокруг вас, по всей улице.

Правда, утром пришли, а деревьев вокруг магазина нет. Как корова языком слизала. У, чертов куркуль! Отдали за ради Христа ему деньги. А деревья-то, не

вернешь. Вот так у нас и всегда — не до того, а после того. А теперь мужик в Сбербанк навострился как обманутый вкладчик. Интересно, как хоть Сбербанк-то будет выкручиваться?

АНИСОВЫЕ КАПЛИ

Коля Рыбкин в свою деревню летом летьмя летит — только бы порыбачить. Возьмет удочки, уткнется в Алешню-речку, постоит чуток без движения, а потом и давай таскать — одну за другой, одну за другой. А Володька Бумазейкин, муж его сестры Тони, стоит возле другой ракиты, а ни черта у него не клюет. Уж и выползков накопает, и пшенички сыпанет в воду, и даже молитвы шепчет, например, про оптинских старцев — это, чтоб не завидовать и прожить преспокойненько день текущий, как и прошедший. А все равно рыбка на него не реагирует, хоть убейся. А у Кольки клюет...

Вот Коля только уйдет домой, как Володька тут же встанет на его место, закинет удочку, и опять, твою мать, не клюет! Прямо мистика какая-то, волшебство. «Что он, колдун, что ли?» — уж отчаивается Володька, ибо все смеются над ним, над его таким «счастьем» рыбацким, а Колю приподымают, возвышают, главное — перед Тоней. Возьмет и поднимется Володька с утра пораньше и на вчерашнее Колино место. А Коля придет — так на вчерашнее Володькино местечко встанет, и опять у него клюет. А у Володьки опять не клюет. С ума сойти можно, что хоть он применяет? Слово какое-то знает, что ли...?

И вдруг его осеняет: «Ах, фамилия у него такая — Рыбкин. С такой фамилией даже избиратели ловятся, даже в Думу с такой фамилией выбирают». И теперь Володька ловит рыбу спокойно, не завидуя — с чувством, с толком, с расстановкой. Как не работает даже на производстве. Однако, здравствуйте! «Что же все-таки Рыбкин применяет при рыбной ловле, какие рыбацкие художественные приемы?»

ДЕНЬГИ ЗА ИКОНОЙ

Все кладут деньги в чулок, под застреху, в печурку, а бабка Сироткина — за икону. Оторвет от пенсии сколько-то; положит за Казанскую Матерь Божью — спасительницу Отечества и слушает вести из Чечни тогда уже как-то спокойнее, без надрыва душевного. Вроде и она, Сироткина, участвует в этой, как по радио долдонят, «антитеррористической акции». А еще у бабки Сироткиной есть одна такая тайная мысль, отчего она кровные свои кладет за икону, — это там они у нее не только хранятся, но и вроде растут. Вроде как прибавляются. Как в швейцарских банках у богатых людей. Самое надежное хранение. «Вчерась было столько «лимонов», — думает Сироткина, — а сегодня вроде как на один «лимон» больше».

Сначала Сироткина за выросшие деньги простой гроб из досок себе мысленно делала, мысленно хоронила себя. Потом кумачом обивала, как у Матвеича — председателя бывшего, которого проводили уж как два года назад. Сначала она только двух старушек — сестер Махоткиных приглашала на поминки, кутью да бутылку «Русской водки» в память о себе ставила. А затем уж и куток свой, всю улицу. «А таперича хоть полсела приглашай», — думает Сироткина, пребывая в блаженной неизвестности, что есть у нее «народный контроль» — это ее внучка Тоська.

А Тоська что делает: и за икону каждый раз лазает, бабкины деньги считает и за финансовой конъюнктурой следит. А согласно конъюнктуре этой (по доллару, по доллару), бабкины денежки каждый день в ничтожество превращаются. «Чем больше кладет бабка за икону-то, тем больше теряет, — соображает Тоська, бабкина внучка. — Правда, пока еще на простой гроб из досок да на бутылку «Русской», может, и хватит». Ну, еще можно, позвать и подружек Махоткиных. А уж на полсела да на потребности Тоськины уже не рассчитывай. Такая-то экономическая конъюнктура.

«ДОРОГАЯ МОЯ МОСКВА...»

Все в России у нас, кроме Москвы, провинция. Все и стремятся туда, каждый из провинции, бывало, изо всех силенок — за своей же колбасой, за признанием своих собственных достоинств, в общем, за общим жизненным успехом. Через Банный переулок и так, через свадьбы. Особенно из ожерелья городов и весей вокруг Москвы, из ее, как теперь называют, «красного пояса». Ну, прямо-таки расшибись в доску, а дочь или сына туда отправь, иначе нет в жизни счастья...

Вот и Соболевы в Москву отправили дочку. Прописали у родственников, на завод устроили. Гнулись на прописку, гнулись на заводоуправление, чтобы зарплату приличную дали, гнулись — квартиру кооперативную оплачивали. Огляделись — ни мужа у нее, ни внуков у них, ни любви у Москвы к ихней дочери. Она там — они тут, а уже ведь на пенсии. Вот и мотается дочь к родителям и за подкормкой — за банками, и за денежкой, да просто за житейским утешением.

— Значит, на 8 Марта не приехала, — вздыхает старый Соболев, муж.

— Приедет в следующую субботу, — отвечает жена.

И праздник для них обоих выйдет на новую фазу. В начало весны.

МЕТАМОРФОЗЫ

Мы — бюджетники, обычно успех мы связывем с книжками, которые выпускаем, с диссертациями, которые защищаем. Труда много, а толку мало. Все у нас «финансы поют романсы» — и в кармане личном, как и в государственном...

И у всех так. Вокруг себя знаю лишь одну семью, где бы супруги резко повернули рули, изменения сделали из области метаморфоз. Когда-то оба закончили один институт — фармацевтический. Приехали в этот

город. Он пошел преподавать в медучилище, где больше платили, все же мужчина. А ее устроил зав. аптекой, на копейки тогда...

И вот что мы видим? Переход в свою противоположность. Он — деревенский парень с корнями, иконы даже собирал православные — уходит в секту, к баптистам. А она — миленькая, добренькая такая, создает частное дело, сажает на него сына и переходит к нему. И вот...

То аптека рядом, через дорогу. Государство, бывало, зарплату платит, номенклатуру товара дает, гарантирует. А то — у нее уже возраст, а ехать на работу через весь город. И никакой гарантии — ни в зарплате, ни в номенклатуре. Зато — свое; семья, частная собственность, а уж потом государство.

ПОД КОНТРОЛЕМ

Как праздник какой, так неси им туда наверх. Все берут, хотя и зарплаты теперь у чиновников охреновенные. Как, между прочим, и пенсии. В разы. Когда не было у нее ничего, в кармане-то, гнулась бы перед ними, а куда денешься? А когда свой счетец завелся, так обидно стало ей платить за свое унижение, и дилемму свою решила она уже по-иному.

А дилемма-то в чем состоит: уходить ей на пенсию или нет? Если всех наверху обнести хорошо, по-крупному, то оставят, продолжишь свой трудовой путь в бюджетной сфере. А если нет — отправляйся, иди-ка ты! И в шею... Так кому нести — им туда или внуку что-нибудь дельное купить? Внучёк у них живет отдельно с матерью, первой женой сына. Оболоночек ихний, любимец.

Решила: внуку лучше, Сереже. Вот и ездит теперь на работу через весь город. И возвращается вечером. Зато сын теперь, как и дело его, — под контролем. Так спокойнее. А то не мелкий бизнес кругом, а какое-то «северное сияние». Свету много, а тепла никакого.

РОДИНУ ПОТЕРЯЛИ

Для кого 8 Марта — праздник, а кому — слезы. Соберутся обе — матерь с дочерью — и плачут: рана незаживаемая, в этот день он у них умер — самый родной человек... муж и отец...

— И родину потеряли, — говорит мать. — У меня деревня вся наша вымерла, а у отца нашего — Крым... «кукурузник» этот подарил, как свой собственный...

На этом слезы их просыхают, но камень в душе остается.

«А если опять на Малахов курган? А кто ж его снова удержит?»

Серебро тишины

СЕРЕБРО ТИШИНЫ

Днем было слякотно, нехорошо, а после полудня взялся откуда-то снег. Да так шустро пошел, по-молодому. И на душе повеселело. Смотрю через окно, а на стеклах уж порядочный слой налепило. И зримо, прямо-таки на глазах, все изменяется на земле, становится белым, новым каким-то, умиротворенным...

Целый день просидел за письменным столом и вышел наружу уже вечером, когда стемнело и снег прекратился. Иду по своей улице 8 Марта, по хрупкому покрову, и упиваюсь острым, чистым, промытым воздухом. «И на нашей улице будет праздник», — кто и когда сказал это? И по какому поводу?

На нашей улице этот праздник бывает регулярно раз в год — и это будет завтра, 8 Марта. И мы все, живущие на своей улице, этим очень даже гордимся.

В сквере, перед областной библиотекой имени Бунина, я остановился: красота-то какая, красотища! Последний крик зимы, но, право, какой! По косой белой аллее, между огромными темными липами, прямо передо мной углом возвышалось белоколонное, с белым портиком желтоватое здание библиотеки, подсвеченное откуда-то снизу и сбоку. Все это ново, недавно отремонтировано, так мягко в своих переходах от белого к еще более белому, в зыбкости сумерек, в снежных шапках на ветках.

«Вот чудо-то! — созерцаю я это все. — Как это можно создать все?» Одной-единственной природе самой себя так выверить, гармонизировать. И слов-то нет, не хватает, чтобы все это выразить! Все это виденное не раз, обыденное, а тут в сумерках — какое-то серебро, серебро тишины. Мне повезло, я увидел это, жаль только, что тут же, за липами, Бунин стоит в виде бюста, а не живой, реагирующий. Ибо у Бунина в словах это, скорее всего, лучше бы получилось.

ЭХО ПРОВИНЦИИ

Стою перед подвесным мостом через Орлик, у Благовещенской церкви. А воды гремят и гремят. Несут откуда-то из Полесья, от Трех Дубов — еще от Ильи Муромца, богатыря святорусского, все эти ветки, пух тополиный, всякую живность, даже нечисть всякую, как и несли.

А чуть ниже плотины с отвесно падающей водой — домик на плаву. И утки, утки и серые гуси. И белый-белый лебедь. Один, без лебедушки. Или это лебедушка без него самого?.. А ведь были недавно еще и черные — австралийские лебеди. «Эх, за что я люблю этого черного лебедя, так это за то, что у него красный нос». Кто это сказал? Какой-то писатель, написавший детскую книжку, кажется, про пять похищенных монахов. А другой писатель взял да повторил, сказав, что вот оно — это не очень-то кратко, а все равно хорошо.

«Орел вспоил...» Слова — эхо провинции. Они текут, растекаются — по столицам, по океанам, высоко-высоко вспыхивают вместе с вечерними звездами. И низко-низко держатся у самой земли.

«САЖЕНЫЕ» ЯГОДЫ

Маршал приехал в Удмуртию поохотиться, пострелять. Все замерли: попадет или не попадет? И из какого «автомата»? Так «калашникова» (или еще два вида есть) запускать в серийное производство?

А я прихожу на Абрикосову пасеку, к матерому дубу. Когда-то тут под ним сиживали два мудреца — Лев Толстой и сам Абрикосов — пасечник, философ, ученый. Вели разговоры. И разговоры те записались, в нутро дуба ушли. И там сейчас пребывают, дуб изнутри распирают. А дуб этот тоже матерый, хотя и менее известен, чем тот, что неподалеку тут, тургеневский, в Спасском-Лутовинове — «Родине поклонитесь»; не призывает ни к чему,

но тоже ведь напоминает. Корявые ветки как рук обрубки, а шкура осколками, пулями изъязвлена...

И под дубом этим я собираю ягоды. Их тут много бывает. Ух, и крупны же! На землянику похожи, но почему-то называются «саженными».

ПРОУЧИЛ

Стали косить в Суходоле, а тут в траве пышка попалась. Гриб, да такой огромный, просто невероятный, хоть заноси в книгу рекордов Гиннесса! Тяжелый, в несколько килограммов. И молодой, аж гудит, когда по нему пальцем щелкнешь. Можно жарить и есть. А Иван не знал этого — как ногой поддал, так гриб и разлетелся белыми кусками по зеленой траве.

А сосед его Степа за всем этим наблюдал, поморщился, аж закрутил головой и ушел к себе в сад. Очень уж это ему не понравилось. Всю ночь думал, переживал за неживую природу. А утром встал чуть пораньше, сходил на откос Суходола, вернулся и занял с краешка своего сада пост наблюдения. За бузиной присел, чтобы солнышко голову не напекло.

Вот Иван вышел босой и с косой. Идет по откосу Суходола — и что же он видит? А на том же самом месте опять эта пышка. Правда, чуток поменьше. Мать моя, опять выросла за ночь! Разогнался Иван — ну, думает: «Эх, как врежу, словно бы по мячу, так белые брызги во все стороны и брызнут!» И в самом деле, как врежет ногой-то босой-то, да — камень это. По камню! Ух, что тут было! Даже теленок с цепи сорвался от крика, а курица на поселке яйцо снесла. А Иван боком на дно Суходола скатился, где в паводок ручей бежит и еще один камень в земле в три обхвата Ивановых.

И цветом, и содержанием точь-в-точь, как и тот, что вырос на месте пышки чуть выше. А рядом с каменюкой этой местечко пролежанное, откуда взято что-то, трава не растет...

— О-о-о! — поднял руки Иван богоборчески и заорал в небеса.

А Степа встал там за бузиной, ухмыльнулся в усы свои рыжие да и пошел отбивать косу, чтобы скосить делянку по другую сторону Суходола.

ПИКТОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Микола летний! В этой деревне Микола — «козырной» праздник, престол. Сорвала мать тюльпаны — белые, бордовые, лучшие. Вручила Васятке — сынку своему девятилетнему:

— Иди тетю Валю, соседку нашу, поздравь!

А Васятка как за порог, так за трубу водопроводную, что во дворе протянута, зацепился ногой — чуть зубы передние оземь не повыбивал. Встает, глядит, а цветы в руке поломаны. Уставился он в цветы эти, взгляд остекленел сразу — и день померк, и туча опустилась. Хоть еще и ребенок, Васятка-то, но тоже уже созерцатель, но созерцать уже ничего не охота. Как вспомнит ремень у отца поясной да материну руку тяжелую, так уже ни до чего...

Взял Васятка и остальные тюльпаны покороче оборвал, подравнял под одно да так и вручил тете Вале — коротышки такие. А тетя Валя метнула на них да на Васятку-то искоса взгляд недобрый и возьми да налей Васятке в трехлитровую банку молока на самое донышко.

Принес Васька банку домой. А мать как глянула на банку с молоком — да как трахнет сыночка-то по затылку:

— Сколько тебе говорить? Не бреши... не бреши... не бреши... Опять тете Вале что-нибудь набрехал? И та хороша. Какая прозорливая! Или, может быть, так — на всякий случай налила на донышко? Чтобы было о чем поговорить?

ВРЕМЯ ТАКОЕ — ТЯГУЧЕЕ

Два деда — соседи по поселку — сидят на завалинке, опираясь подбородком один — на костыль, а другой просто так — ни на что. Долго-долго созерцают они закат — багровое небо перед собой, ракиту, закрасневшуюся при закате — каждой веточкой, каждым листочком. «Какая оформленная, шароподобная, пышная, как девушка», — думает один из них о раките, а говорит:

— Триста лет под татарским игом.

И опять сидят молча. Каждый переживает свое.

— И семьдесят пять под большаками, — так же вслух через полчаса отвечает другой.

А о чем думает — неизвестно. Долго сидят. Уж и курица яйцо снесла, откричалась. И первый, наконец, отвечает:

— Так ведь сам же ты и был большаком.

И опять сидят. Солнце уж село, и багровость с неба сошла. Остается лишь розоватость на узких листочках ракиты, да и та вскоре съежилась и посинела. И носы у дедов стали сизыми от вечерней прохлады.

— А ты был кто? — отвечает теперь уж второй дед первому. — Разве не большаком?

Пауза. Листья на иве становятся темными. А неба уже как будто и не существует. Ночь.

— Большаком, — соглашается первый дед. — Однако в иге татарском участия не принимал.

И уходит домой спать. А второй все сидит и сидит, и сидит. Как, бывало, татарское иго на шее народа.

ГОРЬКОЕ И СЛАДКОЕ

Сошлись мужики на речке. Вместе наловили рыбы, нажарили и вместе едят.

— Сладкая, — говорит Кирилл из побережного поселка. — Дюже сладкая.

— Горькая, — не согласен Устин — приятель его, принесший с утра ему бидон молока из лесной своей деревушки Недны. — Дюже горькая.

— Как так? — приостанавливается Кирилл. — Не может этого быть. Одна и та же рыба — и сладкая, и горькая.

— А жизнь? — отвечает ему Устин. — Одна жизнь-то, а то горькая бывает, то сладкая.

— У тебя какая?

— Сладкая. А у тебя?

— Горькая.

— Ну вот, — итожит Устин. — Вот и рыба одна и та же, а одному — горькая, а другому — сладкая. Что одному — отрава, то другому — во благо. Сгребают деньги со всех, а одному на пирамиду МММ достается.

И опять смотрят на воду. Утром по воде плыли пух да перья гусиные, а сейчас вроде кровь.

— Венька Неведров гусей порубил, — говорит Кирюша. — Ледку уж глотнули.

— Пора, — соглашается с ним Устин. — Завтра будут есть там гусятинку.

— Горькая, небось, — говорит Кирилл.

— Сладкая, — держится за свое Устин. — Ты вот — Кирил, а если наоборот — прочитать, то будет «лирик».

— А гусятинка все равно, небось, го-о-рькая!

КАПИТАНСКАЯ «НОЧКА»

Утром Игорь начитался Пушкина, а днем в институте подошел к коллеге и говорит:

— А почему ты не Маша?

— И так хороша, — закраснелась она. — А что?

— Да так, — говорит. — А у меня бабушка по матери была Маша, тоже Миронова — капитанская дочка... А вот, погляди, чьи это стихи на французском?

И подает листок Татьяне. Она считается тут у них специалистом по поэзии.

— Ну и кто автор?

Она молчит. Читает все, вычитывает. Ну кто еще может писать стихи по-французски?

— Француз, — улыбается он. — Так его звали с детства.

— Бодлер? Аполлинер?

— Из наших, из русских.

— Бальмонт? Иннокентий Анненский?

А он стоит перед ней, улыбается:

— А если бы Машей была да еще и Мироновой, небось, лучше бы автора чуяла.

— Ну кто, кто?

— Посиди подумай — завтра скажешь, — говорит он ей, а сам про себя восклицает, глядя на нее: «Ай да Пушкин, ай да молодец!»

А ночь надвигалась.

«ФЕДОР СТРАТИЛАТ»

Вот интересно жить, когда ты о человеке что-либо знаешь, а он о тебе — нет. Например, преподаватели в кабинете ректора что видят? На стенах всякую живопись. Картину, скажем, одного из передвижников про сельскую школу и крестьянских детей в лаптях, как они тянутся к знаниям. И учителя тогдашнего тут же в черном костюмчике на картине. А на столе — книжки всяческие, молитвенник с дарственной надписью «Святому великомученику Федору Стратилату».

«Конечно, — думает Игорь, — до этого тут сидел дядя Сережа — друг моего отца. И рано помер, инфаркт обширный хватил прямо тут за столом. Такая работа».

И вот теперь, как только ректора увидит он, даже в спину где-нибудь на лестнице, так первое, что в голову лезет: «Федор пошел... Стратилат... учитель-великомученик... в нашей многокомплектной школе».

НА БАЙКАЛЕ

Оказался я на Байкале, пришел на берег и первое, чему подивился — даже не красоте вод, это как данность, — а вот поднял гальку, галечку килограмма на полтора, оглядел ее, полосатую, гладкую, ловкую в руке, да и сказал вслух, обращаясь ко всему Байкальскому морю, к Байкалу:

— Ну, блин, ты и даешь! Как это так удосужился все это отшлифовать? Сколько же надо было эпох?..

И волна загудела, запела — седая, неостановимая.

СОВПАДЕНИЕ ЧУВСТВ

Знать, долго скитаться наскуча,
Средь ширей морей и полей,
На Родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.

Прочитал я эти строки Афанасия Фета и даже заплакал от счастья, от совпадения чувств.

СЕДМИЦА

**Повествование в рассказах,
реальное — в мистическом освещении**

Война — чума XX века.

Из разговора

Пал, а норов худ и дух ворона лап.

Из Велимира Хлебникова

Стон, однако, стоит по земле, матери плачут по убиенным. Черное море, белый пароход, а молодые косточки пущены в расход. Все норовим, чтобы ворон пал крыльями ввысь, а он лапами, лапами. Вот и село Седмица как село на речку Седмицу, так и сидит; помидоры красные чернеют из сердцевины. А надысь привезли уснувшего из Чечни, а сегодня опять прислали в Седмицкую школу повестки — и опять суши сухари. А ведь медицинская комиссия констатировала: ни одного практически здорового после десятого.

Еще гроб в яму не опустили, а уж другому являйся, очередному. Кто тут же в район вознамерился на призывной пункт, а кто возьми да соберись за речку Седмицу, на моховой Языческий Холм, где стоит в отдалении Храм Казанской Божьей Матери, как руины. А влечет, однако, туда, когда припечет, таинственным образом. Странная, преподобная храмина. Когда-то тут было капище, камень, что ли, с неба свалился, камню и поклонялись. А когда церковь христианскую на этом месте поставили, то все больше служителями епархия присылала сюда еретиков, греховодников всяких — пьяниц, дебоширов, прелюбодеев. Они своим норовом больше всего подходили этому полудикому, глуховатому краю, залегшему между осколками девственно таежных лесов и широкою степью. Вот куда потянуло седмицких парней, а с ними и девчат, как прижарило, припекло. Семеро молодых людей — как семь планет вокруг Солнца. Думали, может, укроются тут, отсидятся на колоколенке-то, куда исстари заключали в цепях, кандалах хулителей веры Господней, и про них позабудут, больно нужны их Седмицы сильным мира сего, что им, городов не хватает?..

Вот и Володька Кусакин и иже с ним сюда заявились. Жжет карман нагрудный ему повестка военкоматская — призыв летний, сразу же после школы. И сжигает всего изнутри — нет покоя, ночи пошли бессонные, бессловесные, а дни оглядчивые.

С тем и оказались все они у храма Господня и остановились перед его вратами высокими. А на вратах огромный ржавый замчище. И поплыло из Володьки белое Магелланово облако — душа его нереальная, реальное потекло вперемешку с невероятным... И так, крадучись, вслед за Магелланом они и втекли в этот храм. Камешек хрустнул под пяткой да и пошел кидаться эхом гулким, истошными языческими воплями. А по стенке-то «ад» малеванный, языки пламени, грешники, приосанясь, лижут, сидя в котлах, огненные сковородки. А по стенке насупротив — «рай», раи райские летают: сады Эдемовы, Ева рвет с яблони плоды искушения...

Не тот страх, что на стене, а тот пот, что на спине, черных птиц в душу допускает. А черные птицы — дрозды ли, грачи — тут же расселись поблизости, на кладбищенских липах, и там внизу, в Седмицах, на деревьях гаркают у здания сельской администрации с государственным флагом и уже гуртуются к осени, кого еще накроют они черным своим крылом?

В этой церкви Казанской, еще на нашей памяти, размещались тракторные мастерские, и по сю пору воздух горчит от солярки, по углам валяются промасленные ватники. Шаткой-валкой лестницей поднимались они в звонницу, задрав голову, — ну как и оттудова камешком да в самое темечко. Вот местечко, где, оказывается, восседала отдельно учетчица, закрывала наряды... Высоко-то как, далеко отсюда видать — благолепное место! Вся Седмица, как на ладошке, за излукой — широкая степь. Вот и шло веками оттуда сюда, и, если прийти, то придет. Вот гуляет по Дикому полю, до сих пор ноздри ловят запахи крови, в

воздухе пахнет грозой. Прежнее пало — новое не народилось. Одни торопятся, другие вниз головой. Чечня в копеечку, рубль в червонец, жизнь человеческая ни во грош...

— Эх, да прекратили бы вы свою панихиду! — стоит перед Марией, грудь нараспашку, Кусакин Володька, самый крупный и самый красивый парень из всех. — Я бы рад бы дома сидеть, да, как сказал поэт, да оглядка на долг и на совесть гасит лучшие свойства души...

— Ну и дурак! — перебивая мысли всяческие, липнет к нему Мария, его подружка. — А еще Владимир — Красное Солнышко.

— Ребята, ребята! — говорит, торжествуя, Фрося, подружка ее задушевная. — А зачем мы пришли сюда? Чтобы любить, может, в последний раз.

Все семеро взвинчены, экзальтированы состоянием воздуха, этой близостью кладбища, красками заходящего солнца. Разбавленный кровью воздух красит атмосферу лица, древнюю штукатурку; черные птицы, мелькая в оконных просветах, лезут в зенки. Разверзлись вещие зенницы, как у испуганной орлицы. Задел Володька плечом трубу — кирпичи пали вниз по ступенькам, вот бы кому-то по темечку.

— Кыгы, кыгы, — взметнулась тень за спиной. — Ка-ка-ка.

Черные птицы — белый пароход, древние инстинкты, зашифрован код. Знал бы где упасть, подстелил бы соломки. Знал бы с кем прилечь, нагляделся бы в очи ее. В глаза синие, васильковые, в прорвы-омуты, в звезды очные и заочные... Из всех парней один только он, Володька Кусакин, собирается остаться в деревне, в качестве агронома. А вот друг его, Алеша Попович, поэт в душе и в натуре, этот пишет стихи. Иван же врачом хочет стать, эх, завьюжиться бы куда-нибудь на Мадагаскар. Ну, а девушки — кто такие? Мария — подружка Володькина, — это мать урожденная, коровушка смирная, нетель, хочет иметь кучу детей. А вот

Катя-Катерина — эта любит коней, лошадница. Ниночка — полненькая такая, пончик, сама любит поесть и других покормить, эта скорее всего поваром будет, однако все фантазия в ней перевешивает. И только Фросю — ироничную, отчаюгу такую, дочку главы ихней сельской администрации, в небо тянет, в летчицы штурмовой авиации, но девка себе на уме, сразу не просчитаешь.

— Хватит вам, — выговаривает она, — заниматься на соломе сексом своим повальным. — Самая обаятельная и самая привлекательная, а в шапке отцовой ходит и в отцовой рубахе, и одна почему-то, без пары. — Давайте хоть поговорим по душам напоследок.

— А мы тупые, — смеется Ниночка — пересмешница этакая, однако всему открытая настежь.

— Помните царицу восточную Шахерезаду? — это все Фрося свое продолжает, тянет ее на подобное. — Царь приказал царице на грядущую ночь рассказывать сказки и всякий раз ей оттягивал казнь, — интересно было ему, что дальше-то? Тысячу и одну ночь продержалась царица, и царь помиловал женщину...

— Нас не помилуют, — вздохнула Мария. — За что раньше миловали, теперь за это казнят.

— Вот в издательстве «Ридерз Дайджест» книга вышла, — не отрывала глаз от Володьки Фрося.

— И об чем, интересно? — живо к ней повернулся Володька.

— О любви.

— Чур-чур-чур! — взмахнула руками Мария, заслоняя просветы звонницы. — Ка-ка-ка.

Кровавые краски, лица таинственные, черные птичьи росчерки по кровавому фону. Стеная, сбиваются в стаю, и летит все, летит сюда на них воронье. Ка-ка-ка. А где-то грузят на военные вертолеты «груз», как его, «триста», что ль? И уплывает душа — белое Магелланово облако...

О, Русская земля! Ты уже за холмом...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЛЮБОВЬ

Солнце едва за лес, а страх с колокольни не слез, никак не переступит порог и еще подогревается обездвижением ночи. Только грозди домов посерели за речкой, да цыркает молоко о подойник, да кобель у Уразовых вот, подлец, разбрехался, как разоряется. Зря его Володька не истратил зимой на шапку, пожалел, падлу такую, а теперь одним ликом своим волковатым страшит каждого, кидается схожестью в Володьке Кусакине то на бомжа самого Митю Уразова, то даже на хозяйку свою в белозубом оскале, в нечеловеческой улыбочке...

— Ну, кто первый? — обратилась Фрося к Марии, и та от неожиданности икнула, звук настоящего спутал Володькины мысли с будущим.

— Я не чувствую времени, — вместо этого раздался шаткий, неуверенный голос Алеши. — Я просто плыву в нем, как это вот... облако...

— Не чуди, — рассмеялся Володька, привык же всегда быть первым.

— И ты первым уснешь там, в Чечне, — отрезал Алексей. — Я вижу это так явственно.

— Ну начинается! — перебила его Фрося и обратилась к Марии: — Давай-ка ты, что ль, невеста Христова.

— Мое сердце в крови, — тихо сказала Мария и заплакала. — Я чувствую краешек ямы.

— Ну что — накаркал?! — набросились все на Алешу. — Ясновидец корявый.

— Не надо слез, — отвернулась Мария к стене. — Ну, хорошо, вот вам история. Это наша семейная драма, еще от нашей прабабки.

РАССКАЗ МАРИИ

— Видите, род какой у нас — то мы смазные, чернявые, а то белявые, ржаная солома... Это прабабка сделала меня тугокосой, а от деда — голубые глаза.

Так в роду у нас и идут, как река за Бийском — Бия с Катунью, то поврозь, желтое с синим, а то вместе — Обью...

Бабка моя Евтихьевна какой-то чудной была. Конец жизни провела и вовсе за печкой. А привез ее прадед мой (лихой был человек) из далеких краев — с Кавказских гор. Не нашей — другой была она веры, чужой и по роду-племени. Ну вот в Седмице ее и не приняли. Дом-то наш на ветрах, на отшибе, лет уж сто стоит наперекор всему. Не прощали бабке масти ее смазной, только мамке моей уж простили... А за то, что лучше всех в хороводе плыла — лебедь черная... Вот однажды она возьми да и сшей себе белое платье. Да усыпь его вышивкой — белыми розами, и тогда они прочь прогнали ее. И такая горечь взяла Евтихьевну. Красота! А некому глянуть, просто жить невозможно. И пошла она на речку топиться — вон туда, где Синие Скалы, немыслимая глубина. И встала она на краешек и от горя заплакала. И запела свою длинную, длинную песню, словно косы ее смоляные, и ветер подхватил ее голос, затрепал во широкой степи.

Кто-то зырь из окошка на Дикое поле и захлопни створки — страшно стало...

А мой прадед как раз возвращался с извоза. Услыхал он голос, неужто Евтихьевна? Да и плетью коня, да на голос тоски. А Евтихьевна уже на краю скалы — вот-вот взмахнет белой птицей. Обмер он, слова не может молвить. А потом по-пластунски, по-пластунски да под скалу, под шелест волны, и сам Евтихьевне шепотом:

— Я люблю тебя... люблю тебя... у нас еще будет много детей...

Приподнялся, идет к ней, а она-то на самом лезвии. Не успел он обнять, приголубить ее, сердечную, как та вниз, только белые крылья поплыли... Белые крылья — черный пароход, молодые косточки пущены в расход... Многажды раз нырял — все же вытащил ее за волосы.

После того и поставил двор на отшибе. И любили они друг друга, и много детей у них было — и светлоголовых, и смоляных, тугокосых — всяких...

— От большой любви, — заметил Алеша, — родится большой, красивый народ.

— Ну и что дальше-то? — спросили Марию.

— Вот, Володичка, — приоткрыла Мария свои полные белые груди. — Этот мешочек — ладанка. Щепотка родимой земли. — И сняла она с себя оберег, и перевесила на шею Володьке. — Может, так хоть тебя не убьют...

И прильнула она к Володьке своим бесстыже распахнутым, пышущим жаром телом. Отвела от другого плеча Володьки наглую Фросину руку. А закат уже догорал, и Синие Скалы тускнели. И черные птицы, все еще гомоня, рассаживались по веткам.

— Схожу домой на разведку, — высказалась Фрося.

А Володька все смотрел на скалу. И та, острая, все кривилась, держала на острие своем остатки уходящего солнца с четким Володькиным силуэтом. И собачья морда Уразова путалась с белым платком Евтихьевны, усеянным блестками звезд, а звезды, возникая на небе, принимали очертания невесомого тела Евтихьевны. И сама Евтихьевна глядела оттуда и грозила пальцем Володьке, когда он трогал тугое плечо Марии, лежащей тут же с ним на соломе: «Гляди у меня, не балуй», И небо казалось ему таким сильным, очеловеченным, а Млечный Путь таким тугокосым и тугоплавким. Это Евтихьевна прибавляла сил ему, красоты, а это сливало духотворность края неба с темным ликом Евтихьевны, знакомым по раскосости глаз с самого детства...

Фрося вернулась уже на рассвете.

— Ищут, — сказала она. — Говорят, будут судить.

— А рассказ? — спросили ребята.

— Так день же прошел, — усмехнулась Фрося.

— Это для нее он прошел, — показал глазами Алексей на Марию, спящую на плече у Володьки. — А для нас продолжается.

РАССКАЗ ФРОСИ

Воздух остекленел, оцепенело все вокруг в предощущении солнца. И — о чудо! вдоль багрового краешка по всему Перунову капищу рванули холсты соловьи. Сегодня Троица — дохристианский, еще с язычества праздник. И травы уже косой по лугам положены, а тут кавардак соловьиный, звонница отзванивает каждым камешком, каждой расщелинкой, Володьке же — ни до чего. Слова Алешины как встали, так и стоят торчком. Никогда бы не думал, что может болеть так в груди, а ведь болит, переворачивает всего изнутри, — всю Евтихьевну в нем, колокольню, землю и небо, всех этих божьих птах в Володькином сердце. Чечня эта с глаз никуда не девается, военком направляет в него пистолет...

— А себя вижу птицей, — сказала Фрося. — Сплю и вижу, слышишь, Володичка? Как Гризодубова, Марина Чечнева — наша землячка и Осипенко Полина...

— Ты тоже упадешь в болото, опустишься с парашютом, — вставил Алеша и протянул руку, не видя перед собой никого, — ни Марины Расковой, ни Осипенко Полины, ни Гризодубовой... — Помню, когда ребенком был, меня спрашивали, как это летчицы пробирались по зеленой траве, по болоту? И я ложился на пол и полз: вот так... вот так...

— Не ты это, — сказала Фрося. — Я знаю, это был твой отец, тебе все это рассказывали.

— Какая разница, — вздохнул Алеша. — Мы — это все мы.

— Он ненормальный, — заговорили ребята, придвигаясь к нему. — Он выражается непонятно.

— Не трожьте его, — заслоняла его собой Мария. — Поэты — они такие.

Фрося отводила всех от Марии, не перекрывая белой энергией темную.

— Всю жизнь мечтаю увидеть лицо настоящего лет-

чика, — косилась она на Володьку. И глаза ее загорались зеленым, фосфорическим блеском. — У Кусакиных на столе, на комоде плексигласовые самолеты. Это от старшего брата, от Николая.

— А откуда ты знаешь? — впился глазами в нее Володька.

Фрося густо покраснела и опустила голову:

— Не скажу.

— Скажешь, скажешь, — накинулись на нее все остальные. — Говори! — хватали они ее за руки, за тело. — А ну, Алексей, сделай так, чтоб сказала. Ты все можешь, ясновидец, умеешь. Ну, Алексей!

Диктат коллектива. Темная энергия над белой. И Алеша встал перед Фросей, впился в неё кровяными глазами. И она замерла перед ним, затрепетала. Он сделал несколько пасов — нервных круговых движений руками, задышал ей в лицо:

— А помнишь, как ты еще в восьмом классе потеряла невинность... помнишь?..

— Помню, — пролепетала несчастная Фрося.

— Ну так рассказывай, говори, — приказал Алексей, глаза его были пусты и бесцветны. Пот покрывал бисеринками его лоб. — На Балканах скоро будет война, — сказал он. — И в боевой истребитель попадет ракета, и летчик катапультируется...

— Ну и кто же тот летчик? — спросили разом все Алексея, и голос Фросин: — Николай, да?

— Тот летчик? — замотал головой Алексей.

— Тот летчик? — опустилась Фрося на него темной тучкой. — Тот летчик не Николай, Николай — вот его брат, — смотрела она на Володьку, — не боевой истребитель. Он картошку возит в Якутию из Кореи на грузовом самолете... А все из-за меня...

— Говори же, говори! — настаивали ребята.

— Рассказывай! — приказал Фросе Алеша.

— А ночь была хороша, — вздохнула Фрося, ничего не видя прямо перед собой. — И я, девчонка, впервые

была в объятиях мужчины. Для чего и приехала туда к нему, в Киев, в общагу...

— А откуда ты знаешь все это? — подсела к Алеше Катерина.

— Отойди, — помрачнел Алексей. — Мистика бытия...

— Да не перебивайте же человека! — вмешался реальный Иван, мечтавший стать доктором. — Пусть рассказывает...

— Сначала мы плыли в лодке, — продолжала сомнамбулически Фрося. — Потом — на крейсере, авианосце, на палубе... откуда взлетали в небо... Он задыхался от страсти, пропадал от любви. И я удивилась: летчик, а слабое сердце. Мелькнуло такое и упало... в огнедышащий кратер любви... Он выпил лишнее и все говорил мне: «Хочешь, докажу, как я люблю тебя?» — «Ну докажи, докажи». И он пытался доказать, но не мог. Друг его заглянул — я хотела уйти с его другом...

— Такая молодая еще и такая сексуальная, да? — сказала Катерина.

— «Хочешь, я катапультируюсь?», — так сказал он, — продолжала темная Фрося. — «Или же застрелюсь?»

— Ну?! — все повернулись к Володьке Кусакину — брату Николая. Николая же не было в Седмице года три.

— Утром он не пришел на плац, — бормотала сбивчиво Фрося. — Не давал клятвы, лейтенанта ему не присвоили. Он просто скрылся, бежал...

— В Якутию? — спросил кто-то Володьку.

— Сначала в Якутию, — открыла Фрося глаза и сказала уже реально, так явственно: — А последнюю весточку я получила от него из Чечни, там воюет...

— Вот это любовь, — засмеялась Катерина. — Это я понимаю!

— Чему завидовать? — усмехнулся Иван. — У него просто крыша поехала, комплекс неверия в свои силы. Трагедия жизни, кувырком личные планы.

— Ему ба-бу бы, — засмеялся Володька. — Кобылицу объезженную, вот кто бы его утешил.

— И с какой стороны он воюет?

— Не знаю, — вздохнула Фрося. — Может, все наоборот?

Никто не смеялся. Зато Мария еще теснее прижалась к Володьке, а Нина — к Алеше, а Катя — к Ивану. И только Фрося, как и прежде, оставалась одна.

— Твоя очередь, — сказала Мария Ивану.

РАССКАЗ ИВАНА

— А все же, — вздохнул Иван, — все же этот Кондратий с меня не сходит, — страх! Никак не привыкну, что мы с вами тут, а они там, что нас где-то ищут, мы в розыске. Как сказано в «Слове о полку Игореве», лучше быть убитыми, чем полоненными...

— Не нагоняй тоску, дезертир! — обрезала его Фрося.

Она исторгла из себя частицу нехорошей энергии и сидела отстраненно от всех и молча.

— Давайте я вам сбацаю, — вскочила она с соломы. — Танец про авиацию и конфискацию. В борьбе обретаем мы право свое, ё-моё! — запела она, набирая не только звуку, но и все остальное. Однако тут же все на нее:

— Ты что, одурела? С колокольни слыхать за километры.

«Аж до конца, то широкой, то глубокой — не одинокой, курганной такой, волоокой, сколько не акай — сколько не окай, близкой моей и далекой, нашей степи широкой, очень широкой степи», — такими словами завершилось в Алеше начатое другими.

— Еще давай, — поднажал коллектив на Ивана теперь уже с его белой, привычной энергией.

Как орда какая. Хошь не хошь, а чешись. Нечего прятаться за забор, выставлять поэтов, как сипаев, чтобы себя ухлопывали, захлопывали и притопывали... так-то или еще как?..

— Вот мой рассказ, — сбычился Иван за общественное невнимание. — Трепачей у нас хватает, ты попробуй дело скажи... Ну что ж, про любовь, так про любовь. Но особую, как половую энергию, половое напряжение. Из подвальчиков, исподнизу... Как вы знаете, я в медицинский собираюсь, на психиатра, уж три года, как начитываюсь всякого-якого. У одного писателя книжка есть «Люди лунного света»... Так о половой истерике, интересно вам хоть?

— Дави, научная медицина! — загалдели все, как черные грачи вчерашние, а сегодня им что-то неймется, не носятся что-то в воздухе, босиком не ходят по кладбищу.

— К мертвым тянет, — обратила на них внимание Фрося.

— И они тоже мертвые, — заметил Алеша. — Мертвые к мертвым падают.

— Великий хирург Пирогов, — продолжил Иван, — рассказал об одной своей встрече. Встретился ему под Ригой хороший знакомый, попросил совета. Женился тот недавно на молоденькой, ей шестнадцать, так он чувствует себя уже изможденным. Удивительно, юная, только что из чрева матери, а такая самочность.

— Мне только таких и давай, — засмеялся Володька, обнимая сразу двух — Марию и Ниночку.

— Вот видите, — улыбнулся Иван. — Пирогов поставил диагноз: наблюдения, дескать, показывают, что самочность — величина не постоянная, не одинаковая у всех. В одном ее больше, в другом — еще больше. Все трагедии жизни, оказывается, все драмы оттого, что не так подобраны пары. Скажем, в «Гамлете» королеве Гертруде было лучше на ложе с братом короля, чем с самим королем...

— Смотрите, Ниночка у нас — скромняга, даже застенчивая, так, да? Не то, что Фрося: нахальна, усики на губе, манеры, как у извозчика.

— Да, в тихом омуте черти водятся! — вспыхнула Фрося. — Ниночка — первая сексуалка.

— Это я так, к примеру, — угнулся, защищаясь от Фроси, Иван. — Голос-то апельсиновый, ангельский. Все можно подделать: и взгляд, и улыбку, лишь в апельсине больше всего естества... (Вот дословно из Розанова: «...главная добродетель в женщине-семьянинке и домоводке, матери и жене есть изящество манер, миловидность, рост небольшой, но округлый, сложение тела нежное, не угловатое, ум проникновенный, душа добрая и ласковая. Это — те, которых помнят, к которым влекутся». — От автора).

— А где же энергия, белая, да?

— И еще одна встреча у хирурга Пирогова. Военный готов бежать от жены. Говорит, что ее могли бы насытить только трое. И что удивительно — милая дама... Соображаете, девочки? У нас же одним Володькой, бугаем этим, можно насытить троих. Липнете к нему, как, понимаешь, мухи.

— И это все? — поморщилась Фрося. — А где же рассказ?

— Представьте себе, — отвернулся Иван, стоя посередке звонницы, к просвету, выходящему на Древний Восток. — Что за странность такая? Египтяне — серьезный, глубокий народ. Однако именем «санта» — «священный» именовали проституток. Именно тех, кто беспредельно отдавался каждому без разбора.

— Вот Ниночка тоже хочет всех накормить. Она жила давно уже когда-то... в Древнем Египте, — заговорил вдруг тихо, как в трансе, Алеша, и голос его напрягся, дрожал, а глаза стекленели, покрываясь исторической пленкой. — Я встречал ее где-то у ног статуи Озириса — этого «судии мертвых»...

— Ну хорошо, хорошо, — перебил его Иван — будущий психиатр. — Я сам постараюсь пересказать вам эту историю. Наша Нина под другим именем, конечно, родилась на окраине Каира, в знатной семье. Как редкие младенцы девочка несла в себе печать вечной женственности и любви, готовая ответить даже на слабый,

нежный зов движением сердца... Конечно, всемирные воины, как Александр Македонский, всемирные философы, как Спиноза, наша Нина была всемирной невестой. Однако не знала об этом. Ей было всего четырнадцать, она невестилась перед всеми, потоки жизни истекали из неё, ей казалось, будто она родила всех и каждого. Как Наташа Ростова...

А наш Алеша, тоже под другим именем, был тогда же седобородым, маститым поэтом. Однажды он заглянул через заросли белых роз в цветущий апельсиновый сад и увидел ее. Он увидел и волосы ея, и сосцы, и очи, и бедра тугие, и чрево, и взгляд ее — первозданный, невинный, и пал он перед ней на колени, воскликнув: «О санта моя — о святая!»

Она ушла с ним из сада цветущего, из дворцов своей жизни, и поселилась с ним в бедном и тесном жилище среди камней и отбросов. И он развратил ее, но не смог истощить ее силы.

Она вернулась в свой сад уже женщиной, познавшей себя. Испив и насытясь, она жила затем свои годы в спокойствии и равновесии, выбрав лучшего и одного. К ней, этой знатной матроне, ходили с улицы, и она принимала любого, мимолетно определяя в нем подлинность «санты», в объятиях которого можно сгореть от любви...

Однажды к ней постучался юноша, очень похожий вот на него — на Алешу, но тоже под другим, египетским именем. Это был как бы предок и сын Алеши, и она приняла его на всю жизнь...

Иван закончил рассказ, вдохновясь. И было тихо, и слышалось, как по кладбищу, по хрустким, омертвелым исторически веткам ходят эти любезные черные монахи — грачи.

— Вот они тут и лежат, осиянные, — подал голос Алеша, — на этом кладбище. Но только под другими — не нашими именами. В зигзагах времени, переменах пространств.

Когда человека хотят лишить времени и пространства, его сажают в тюрьму.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

— Вот не знала-то, — улыбнулась Нина прямо-таки улыбочкой Нефертити, — что когда-то я была египтянкой. Но тут на кладбище лежит моя прабабушка, бабушка бабушки.

— Вот и расскажи про свою «санту»-бабушку, — усмехнулся Алеша.

— А все же страшно, — передернула плечами Ниночка. — Нас разыскивают, а мы тут сидим... еще и расстреляют...

— Типун тебе на язык, — одернула ее Катерина. — Что, разве лучше, если Володьку в цинковом гробу привезут?

— Не пушу! — вцепилась Мария в Красное Солнышко.

— Успокойтесь, невротики, — перебила Фрося общий грачиный галдеж. — Глядите, люди вон цепью идут, лес прочесывают. А где-то за кадром война в Чечне, там и тут люди гибнуть будут при зимних морозах, изгнанные из тюрем и не пущенные обратно... в свою буколическую идиллию...

— А по речке лодки, — заметила Катерина. — Сети тащат, баграми багровыми тычут...

— Да не мотайся же перед зыбкими окнами! — прикрикнула Фрося на Ниночку. — Не мешай глядеть в будущее.

Все улеглись на солому, ушли в себя, приготовились слушать.

— Ниночка, твой черед! Рассчитывай на себя.

— Значит, так, — начала неуверенно Ниночка. — А про страшное можно?

— Валяй, — согласилась компания. — Какова жизнь, такова и история.

— Прошлым летом я к Тоне, старшей сестре, ездила на Алтай, — начала Ниночка. — И такого там нагляделась! Тоня моя в поисковой партии бухгалтером, они землю бурят — артезианские скважины. Городок не

так уж велик, хоть и трамваи ходят, все люди знают друг друга... Тоня повела меня к моей сверстнице: чего тебе тут скучать, хоть развеешься. Ну и развеялась...

— А что — кровью пахнет, да? — насторожился Алеша. — Про Алтай в таком случае прежде ничего не рассказывала.

— А что ты поп, что ли? — отмахнулась Ниночка. — Кто ты мне, чтобы тебе все докладывать?

— Главное — чтоб интересно! — аж затряслась, задрожала в сексуальном оргазме Катерина, только о жеребцах и думает, чтобы ездить по ипподромам.

— Интересно, — произнесла односложно ревнивая, уже имевшая опыт Ниночка. — Интереснее не бывает... Эта Бэлла только что вышла замуж и жила отдельно от родителей. Им с мужем ее родители подарили старенький бабушкин домик с садиком, а бабушку взяли к себе. Привела меня Тоня к Бэлле — Белкой звали ее, если дома, попроще. Так вот, Белка с мужем меня познакомила — с Колей. У Коли дружок нашелся — Сережа. Вот к Сереже меня и хотели пристроить, чтобы лето целое я у них там не скучала, в узком этом полудомашнем кругу...

— А предавалась бы пошлости и разврату, — встрял Алешка, но его тут и одернули, крайне заинтригованные мысленно на этом ее сексуальном поприще.

— У них в Сибири-то герани по окнам, — пролепетала Ниночка. — Красные, белые, розовые — всякие. Это у нас тут, в серединной Руси, объявили войну мещанству. А герань — цветок очень даже красивый, пахучий, говорят, для здоровья полезный. Вот у них там, в бабушкином домике, окна просто утопали в геранях. А еще на комоде я заметила семь беломраморных слоников — тоже символ мещанского быта, как выражается наша Анастасия Кузьминишна — учительница по литературе...

И вдруг, с первого взгляда, не Сережа, а Коля этот, муж Белкин, втюрился в меня. Просто ужас. Даже как-

то неловко. Все сидят за столом, а он только меня и видит, в рюмочку мне одной подливает...

— Ты же у нас египтянка, весталка, — не успокаивался Алеша, он был возбужден и Ниночкины слова брал на свой счет, не принимая во внимание, что рассказ тоже ведь художественная аппликатура, вырезаемая тут же перед глазами на дереве.

— А что же тебе, как в жизни, что ли: и машина времени, и всякая мистика, что — нельзя и краски сгустить?

— Да сгущай, сгущай! Вот как вас таких, всемирных невест, одних на Алтай отпускать!

— Ну и что?! — отвернулась Ниночка от Алешиной «аппликатуры». — Что ж, я виновата, что ли, что он в меня втюрился?.. А дальше что? Выпили и танцевать начали. А Николай-то, Белкин муж, меня глазами ест, приглашает, тискает — не знаю уж, куда и деваться, а потом в другую комнату потащил и на диван хотел повалить. Я уж тут ему когти в лицо да как тигра из-под него. Вывернулась, вернулась в зальчик к магнитофону. И он присел рядом да все через плечо на грудь мне заглядывает. Я уж верхнюю пуговку проверила...

А Белка давно все заметила. Меры начала принимать. Хоп на колени Сереже — дружку мужа своего, да за шею его, и давай хохотать, обнимать, целовать. Обезумела просто. Сережа не знает прямо куда деваться-то. А Николай тут же отлип от меня. Пошел в сенцы не водички попить, чтобы охолониться, а наоборот, видать, еще стакан себе накатил.

А Бэлла хохочет, а Бэлла хохочет, а Бэлла...

Николай хвать со стены ружье — у них над диваном поперек ковра висело охотничье ружье, да на Белку наставил. Мы все оторопели, как заклинило... готовые к сражению в общечеловеческом опыте за право любви... искорка где-то... во глубине... может, оно не заряженное? А он в висок ей наставил — и трах! — и все...

Мозги на ковре, ковер на стене — кошмар, в общем... жертва...

— Быстро девка отмучилась, — строго сказала Мария. — Унылое повторение прежнего, все, как встарь.

— Лучше бы не рассказывала, — подала голос Катерина. — Страсть такую.

— Ну, а дети-то хоть были у них? — четко спросила Мария. — Или жили так, под ей-богу?

— На вскрытии беременной оказалась.

— Ну, а что с Николаем?

— Признали, на почве ревности... Дали немного... А Белку хоронили всем городом. Николай в тюрьме уж три раза пытался повеситься...

И тишина. Штукатурка со звонницы упала и чмякнулась о пол, так что стены храма внизу под ними аж зазвенели, эхо пошло гулять по каменной пустыне, ударяясь то о красные, жаром пышущие языки сонмов грешных, кипящих в аду, то о белые яблоки райских кущ. Тысячелетия библейским легендам, а все как вчера. Чистота, несмотря на грозящую катастрофу.

— Так что хоть это — любовь или наваждение, например, бесовство? — спросила сама же себя Мария исподнизу, из подвальчиков, а сама ведь собирается иметь много детей.

Так любовь это или не любовь?

— Любовь, — вздохнула Ниночка. — Она любила его, зачем бы тогда и беременеть?

— А он?

Пауза. Долгая пауза. Невозможная, невероятная пауза. Надо уметь держать паузу — в жизни, в хоккее, в музыке. Святослав Рихтер сидит у рояля. Пауза — в тридцать секунд. Вся соната проносится в его памяти, может быть, все его девяносто концертных программ, и вдруг пальцы падают вниз, и зал вздрагивает от чувства прекрасного — оно рванулось к людям, его уже не унять...

— А он? Он тоже любил. Иначе зачем бы на себя трижды накладывать руки? От черного, черного, черного к белому.

— А ты? — повернулся Владимир к Алеше. — Что думаешь ты, поэт? Он же убил ее — любовь, красоту! Что ты скажешь на это, Алеша, божий ты человек?

Алеша молчал. Он не слышал даже стука собственного сердца. Взгляд его захолонел, заколодило тело, кончики пальцев уже посинели. На правом оцарапанном ухе, повиснув, дрожала алая капля — падет или не падет? Как жемчужина, как рубин у великого Святослава.

Падет или не падет?
Что наша жизнь — игра?
В воздухе пахнет грозой.
О, Русская земля, ты уже за холмом!

— Кого же ты, Алеша, любишь из всех поэтов? — спросила Мария.

— Президента земного шара.

— Президента?

— Он дарит бессмертие. Возможность встречаться во времени...

— Да?

— Да-да, мы повторяемся, мы уже были, мы все будем живы — всегда!.. Жить на Земле в согласии с циклами Солнца. И каждый цикл определять в триста шестьдесят пять лет. По Пифагору — прямые на плоскости не пересекаются, по Лобачевскому — прямые в сфере пересекутся. А по «Великому Аттрактору» («Притягателю» из иных миров и галактик) — они уйдут в небытие и, если вернутся, то с обратным знаком...

— Ну, и какое это имеет отношение к нашей истории? — сдвинул брови Володька. — Вы, поэты, гении — генофонд человечества и трезвые, так напутаете, что и десять пьяных не разберутся.

— А мне много и не надо, — улыбнулся Алеша мягкой своей, одушевленной улыбкой. — Пусть меня понимает только один человек в мире. Но — кто! Писатель Кедров с его поэтическим космосом.

— Ну так, Алеша, — прильнула к плечу его Ниночка. — Теперь очередь за тобой. Ты рассказывай.

И опять пауза. Ох, уж эти паузы! Они как ракеты, перед тем, как ахнуть о землю где-то близко, в траншею; в конце концов, все они нас доконают.

— Всякие есть учения о переселении душ, — сказал Алеша, и веснушки его обозначились резче, словно блики от речки пробежали по этим веснушкам. — В Индии, например, души людей переселяются в мир животных, скажем, в собак. У друидов — в деревья... Я — береза, я — береза, я — береза...

— Выключись, — гладила Ниночка его по плечу. — Зачем же так волноваться?

— Вон тот лес — это я, вон тот лес — это я, вон тот лес — это...

— Ну, ладно, ладно, — и слезы стояли в ее глазах.

Строго она посмотрела на всех, и все глядели на нее со вниманием, понятливо. А за Алешей и Иван уже, а за Иваном даже Володька и тот вдруг завелся и со всеми давай повторять:

— Вон тот лес — это мы, вон тот лес — это мы, это мы — тот березовый лес... мы — березы, мы — березы... нас на земле уже шесть мильярдов... нас шесть мильярдов... шесть мильярдов...

И тогда девчата, переглянувшись, поняли вдруг, не то, что имела в виду медкомиссия, а что имеет, в конце концов, военкомат.

— Да ладно, захлопнитесь! Хватит вам, мальчики. Не превращайтесь, юноши, в мужчин так быстро в их борьбе за право любить, — так сказала, как обрезала, Фрося. — Продолжай, — повернулась она к Алеше, и тот сказал еще белее, по-человечески:

— По Велимиру, существуют кольца такие, циклы в 365 лет. Кем ты был, скажем, триста шестьдесят пять лет назад? Если ты личность, конечно, ценность какую-нибудь представляешь. Отсчитал назад от года своего рождения, нашел базовый год и ищи талант, из

кого бы это душа в тебя переселилась? В Англии ищу — нету, во Франции — нету... Ни в Испании, ни в Италии... Злюсь на себя: «Вот бездарь-то. И ни из кого приличного душа в меня не переселялась. Сам по себе ты, болиголов, татарник какой-нибудь во степи...» И тут в Бельгии вдруг нахожу подходящего двойника! Художника Яна Брейгеля-старшего. Так обрадовался! Массовые сцены, фольклор, народность. Вот, оказывается, в ком я жил и проявлял себя творчески...

— И где тут, разрешите сказать, про любовь?

— Вот иду я по Брюсселю... ну, не я, а Брейгель-старший... ну, как я, мой двойник... Еще и в помине нет там никакого Жака Бреля — барда французского, типа нашего Высоцкого. С его знаменитой песней «Страна на подносе». Эта песня про Бельгию... Значит, иду я, ну не я, а Брейгель-старший, и кого я вижу? — делает паузу Алеша.

— Да кого хоть? — нетерпеливы все, завелись.

— Да вот ее, подружку свою, — улыбнулся он, обнимая Ниночку. — Она туда прямиком из Древнего Египта, в облике еще той «святой», но уже в бельгийских одеждах, да, Нина?

— Да, — едва передохнула Ниночка, заинтригованная до крайности.

— Я тебе тогда еще стихи прочитал, помнишь?

— «Двойники», — прошептала Ниночка.

— Вот мелодия. — Не отрывая магнетического взора от Ниночки, Алеша запел вполголоса, как показалось ей, не на бельгийский даже, а на свой какой-то, древнеегипетский распев:

— Надо мною проплывают облака.
Это длится уже годы и века.
Жил когда-то Брейгель-старший,
Я братишка его младший,
Я двойник его, на мне его рука.

Алеша обернулся ко всем, они сидели все, как Нарциссы, сами в себе.

— Наши годы коротки и велики.
Я узнал, что существуют двойники.
В той же Бельгии когда-то
Жил художник. Вроде я там
Делал маслом свои первые мазки.

А солнце было уже высоко, лучи падали, высвистывая в облаках Магеллана изнутри. И Алеша продолжал, глядя за черный квадрат:

— Надо мною проплывают облака.
Воплощаются в меня мои века.
Я пою, а Брейгель-старший
Мне нашептывает марши,
Все слова живописует свысока.

— Да, Ниночка, так? — между черным успел-таки белое вставить Алеша.

— Хорошо, что существуют двойники.
Поживем, хотя и годы коротки.
Где ты, мой братишка младший?
На сонет мой, чуть увядший,
Ты положишь свои свежие венки.

И тишина. И голос Катерины:

— И где же тут про любовь?

— Как где? — удивился Алеша. — Все, что сочиняю, я посвящаю Магелланову облаку. Ради меня Ниночка шла босая через столетья в эту самую Бельгию, чтобы припасть, спасти, вдохновить...

— И вдохновила? — спросил ехидно Володька.

— Кого — тебя или Брейгеля? — это сказала Мария.

— Меня в облике Брейгеля-старшего, — невозмутим был Алеша. — А помнишь, Ниночка, как еще в XV веке в райских кущах Брюсселя мы сорвали первое яблоко? Меня называли тогда «мужицким» за грубоватый юмор, за озорство, за то, что крестьян рисовал. Острая деталь у меня переходила в фантастику, даже в мистику. Я посвятил тебе мою «Безумную Грету». Это мы с тобой, Грета, в свою очередь, вдохновили великого Рубенса... Помнишь, Нина, нашу встречу и

тут на речке Седмица, на травке, о санта-святая, о Санта Лючия...

— Вот поэты, — рассмеялась нервически Фрося. — Выдумают же! Даже в голову не взбредет.

— А еще в летчицы собралась, — вступилась Ниночка за Алешу, — а неба не видишь.

И тишина. Пауза. До следующей любовной истории.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

— Ну, чья очередь дальше? Катина. Твоя. Ну, Катерина!

— Я — Фрося Бурлакова! Я — Фрося Бурлакова! — встала в позу, как будто на сцене, Катя-Катерина.

— Ария из «Севильского цирюльника» у нас уже есть, — загалдели все биоэнергетически. — Фрося вот — летчица, а ты по коням помираешь, а сама вся какая-то автомобильная.

— У меня, как вы знаете, бабушка лимитчицей после войны Москву поехала обустраивать. Я, говорит, как Фрося Бурлакова из кинофильма «Приходите завтра», песни петь сюда вам прикатила...

— Маша Распутина тоже из Сибири, — зашумели спросонья ребята. — Историю давай, про любовь.

— Откровенно если — я люблю двоих сразу, — подняла голову Катерина. — Но присутствующих это не касается... Двух братьев, двойню, вы их знаете...

— Знаем, знаем, Диму-Тиму, москвичей. Внуков бабки Палаши. Приезжают к ней сюда каждое лето.

— То люблю Дмитрия, то Тимофея, — подобрала губки свои Катерина. — То врозь, то по очереди. Но втайне, конечно... Все знают, мы, Моторины, с техникой связаны. Кто на тракторе, кто на КАМАЗе. Дима-Тима из Москвы приезжают на собственной «Волге», и когда «Волга» проходит мимо, я за ней бегу аж за околицу, жадно вдыхаю запах бензина... Встречу где-нибудь после Диму, тянет прильнуть, все ловлю от куртки его слабый, тлеющий запах...

— Быть тебе, Катерина, начальником автопредприятия! — засмеялся Иван.

— А на другое лето больше Тиму я полюбила, — сказала Катя. — Как узнала, что он в Москве с конями дело имеет, в конно-спортивной школе... От его пиджака ловила я уже запахи конского пота — такое наслаждение...

— Быть тебе, Катюша, мастером-жокеем! — рассмеялся Володька. — Будешь, Катерина, по ипподромам раскатывать.

— А как же с этой летчицей быть? — обернулась к Фросе вдруг Катерина и подошла к квадрату просвета в звоннице да как заорет еще ту — дедовскую частушку-колотушку, вниз куда-то, как в преисподнюю:

— Товарищ Ворошилов!
Война уж на носу,
А Конная Буденного
Пошла на колбасу!

— Да за такую песню в тридцать седьмом сажали в Америке на электрический стул. — А почему хоть в Америке-то? — А где же еще. У нас же электрического стула не было. У нас вообще стульев не было — одни лавки по стенке. Р-раз — и к стенке. — Окоротись, дурачок. Стенки разные, да побелка одна...

— А как же с эпиграфом, Алексей?! — добивалась своего Катерина — внучка той, что приехала в Москву показывать песни.

— Успокойся, — засмеялся от белой радости мыслей Алеша, признали-таки в нем провидца, хоть и нет, говорят, пророка в своем отечестве. — А знаешь, кем будешь ты, а, Бурлакова? Провижу: шеф-поваром в московском ресторане «Прага». Дедок у них там один имеется, умеет готовить всякие фрики-брики, князей всяких когда-то кормил, даже царской фамилии... старый уже, помрет вскоре и поставят тебя, и тебе в жалобную книгу будут писать одни благодарности...

— Так Ниночка у нас в повара собирается, — подал голос кто-то в углу на соломе.

— И за кого же замуж я выйду? — спросила Катюша.

— А ни за кого.

— Ха-ха-ха, — рассмеялась Катя-Катерина.

Она уже чувствовала себя главным специалистом по стряпне информации. И читала поваренную книгу Бальзака, написанную им по итогам встречи в Тифлисе с богатыми армянами, после чего в XX веке умрет французский президент Помпиду — человек с армянскими корнями.

— До сих пор не знаю, кому тогда отдалась — Диме или Тимофею?

— Ну дает, — загоготали ехидно, как-то черняво, ребята.

— А для чего надо знать-то? — удивилась Ниночка с белым платком на плечах, бывшая еще когда-когда «святой» египтянкой.

— А чтоб знать — за кого выходить?

— Да какая разница, — улыбнулся с высоты своего профессионализма Володька. — Кто берет, за того и выходи. Тем более двойня, половой экстаз одинаковый...

— А история где? — не сдержалась Мария.

— Вот история, — пролепетала убежденная и разубежденная, и опять убежденная Катерина. И, тряхнув головой, понеслась, закусив удила. — Вот иду я в первый раз на свидание. К Тиме, конечно, который имеет дело с конями... Прошлым летом дело было, вот так же под Троицу. Иду, значит, к речке, под Синие Скалы, соловьи бугруют вовсю... А силы на исходе, все думаю: «Вдруг да не Тима, а Дима, как их различить?». Если разом на обоих глянуть — у одного нос пошире, у другого ухо оттянуто. А как врозь — так оба вроде бы одинаковы. Боюсь, прийду к Тимофею, а уйду от Дмитрия... А тут планчик такой прорезался! — тряхнула Катерина рыжеволосой копной. Боевая, — во темперамент! И запела:

— Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль.

Гляжу, стоит он, миленький ты мой, стоит, родненький. Прильнула я к нему, а сама пиджак нюхаю: чем пахнет — лошадью или бензином? Слышу, конским потом потягивает... «Значит, это Тимофей...» Так обрадовалась. В ту же ночь ему отдалась...

А утром сказала ему о пиджаке откровенно. А он улыбнулся и говорит: «А пиджак-то не мой. Тот пиджак, — говорит, — дал мне брат напрокат — какой поновее». Я так и присела. А он смеется: и не врет, и правду не говорит. Кто же он — Дима или Тимофей, до сих пор знать не знаю.

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА

Настала Володькина очередь сказку рассказывать. А Володька сидит, раскрылехтясь, подперев рукой голову. Может, солнце головушку горькую, удалую ему напекло, он же с краю, к просвету, он всегда с краю.

— Отчего невеселый такой? — обнимает его Мария.

— Дни мои сочтены, — начал лазаря петь Владимир без всякой паузы, некогда прохлаждаться. — Да, такая фантазия. Я, значит, попал в Чечню. И сразу погиб там от пули. Отца у меня, как известно, нет уж лет десять. А мать, знаю, умрет сразу же после известия о моей гибели. И ты, Маруся, вместо матери моей отправишься на Кавказ за моими останками в составе делегации Комитета солдатских матерей... Остальное, разрешите, я от имени Марии перескажу. Как и что с нею было и будет. Рассказ этот уже, считайте, после смерти моей.

— Ты, Мария, получила этот «консенсус» — бумажку из военкомата, но не поверила. Для тебя я бессмертен, так?

— Да, так, — прошептала Мария.

— И тогда собрала ты кое-какие деньжонки, люди в

шапку тебе накидали, да и отправилась в те края. Думала, может, в заложниках где я, пока что живой. Не могут же они просто так, ни за что ни про что убить человека. Так не бывает, сразу вдруг и навсегда...

— Хороша Маша, когда она наша, — отвернулся Алеша.

— Приехали к ним туда наши матери, — продолжал Володька, — в первое ихнее поселение. Постучали в крайний, первопопавшийся домик — им открыли, покормили, спать уложили. А уже с утра к старейшинам повели...

С неделю, в общем, пробыла там с матерями ты, Маша. И всю неделю не спала, не пила и не ела, обо мне только думала: «Может, где-то поблизости я, совсем рядом?..»

— Это подвиг.

— К домику, где они были, часового приставили. Сказали: чтобы вдруг не украли. И послали по селеньям гонцов, сказали: мол, приехали за своими детьми русские матери. Хотят видеть их живыми или мертвыми. Такая весть летела по горным селениям, стучалась в грудь тем, у кого еще оставались сердца...

Одной матери привели сыночка за выкуп, другой — возвратили больного, третьей — привезли останки... Мария собралась и ушла в темную ночь.

— Это — подвиг.

— Она поднялась в горы, — продолжал Владимир. — И ее провели в ихний штаб. Она стояла перед их стандартным полевым командиром — молодым, бородатым.

— Зачем вы тут?! — сверкнул он глазами.

— Зовите меня на «ты», — сказала она покорно.

— Зачем ты тут? — уже значительно тише сказал командир.

— За сыном пришла, — сказала она.

— Ты кто ему?

— Мать.

— Такая молодая?

— Я жена и мать ему после смерти его матери, получившей плохую весть.

И глаза у горца погасли.

— Это — подвиг, подвиг, — вслед за Марией вздохнула звонница.

Маша плакала в плечо Володькино, тихо скулила Маруся.

— Ну и что дальше-то, что? — строго спросила Володьку биоэнергетически уже не черная, но еще и не белая Фрося. — Веру свою не предлагали? А в школу снайперов?

— Дальше что? — вздохнул Владимир. — А дальше отвезли в горы ее к перекрестку, подвели к свежему холмику: «Забирай, если любишь...»

— И это — любовь.

И была пауза. Ни о чем не хотелось ни думать, ни говорить. Зыбко будущее, рассчитывай лишь на себя в человеческом опыте, в энергетике чувств. И тут тишину храма раскололо звуками — в ужасе влетела в дверную щель овечка-ярочка, за ней от самой деревни гнались собаки. Озверелые, одичалые, слюни клубом. По городам брошены, а тут объявились, в этой полудикой степи, хуже волков.

Блеяние, крик овечий — почти человечий, а визжание собачье. И шерсть клочьями, кровь по стенкам. Хрип и агония. Даже грешники на стенах, даже те, кипящие в котлах, поперхнулись в ужасе. И это все в храме; Боже, до чего допускаешь в своих владениях?!

С потолка падал кусок штукатурки, эхо копилось веками и эпохами, а тут прорвалось. Все в звоннице оцепенели, только и слышно было Володькино дыхание. Да как где-то движутся сюда, покрикивая, люди цепочкой от речки Седмицы, от Седмицкого леса. Уж не омоновцы ль? Тучи клубились в широкой степи, в воздухе пахло грозой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ВЕРА

Вечереет. Живая цепочка за лесом, — это омоновцы? Горстка молодых людей на соломе, они лежат, напрягшись, под июньской жарой, — вчерашние школьники, молодежь, будущее страны. Сюда, до Языческого Холма, шум с реки иногда долетает, в ноздри шибает тиной.

Первый круг пройден. Начинается круг второй.

— Подъем! — скомандовала Фрося — этот пацан в джинсах, мальчишка в юбке.

Солнце уже на закате. О любви мы закончили, теперь расскажем о вере.

— Давай, Маша, — сказала Фрося.

РАССКАЗ МАРИИ

— Храм наш носит имя Казанской Божьей Матери — Богородицы, защитницы нашей. Как в Москве Василий Блаженный, как в есенинском Константиново, — выразительно высказалась Мария. — Еще прадед мой в этой церкви служил. Тихомировы мы, фамилия у нас такая церковная и имя мое библейское... Вот что я вам расскажу, какая легенда живет в нашей семье. Церковь эта еще не старая, с конца прошлого века. А до того мы к Мисайловскому приходу были приписаны. Хоть село наше не так уж и богато, однако на сходе решено было свою церковь строить. А строили тогда на совесть. И чтобы не было подобного храма ни у кого, и набок сразу чтобы не повалился...

— В Орле однажды, — заметил Иван иронично, — институт «Гипродор» утром строили, вечером разбирали...

— На яйцах, на муке, на молоке храмы вечны, — сказала Мария.

От речки ветерком потянуло, и стало посвистывать в каждую щель. Звонница заговорила, завыла прямо-таки

по-человечьи. И все один выделялся низковатый, басовитый, бархатный голос, это фанерка у пустого окна трепетала.

— Тссс! — пришикнула на сидящих Мария. — Так о чем я? Ах да, прадед мой был прислан сюда священником еще по молодости. Тут уже цоколь вывели, стены начали класть. Увидел он — храмину затеяли не по карману, вельми велик да пышен для такого села. Однако лет сорок, бывало, возводят такую храмину, а как возведут, глянут ввысь — шапка валится, а от красоты дух захватывает... Колокол на Валдае заказали, а как выкупать — три года подряд неурожай. Солнце на Седмицы за что-то разгневалось, выжигало основное наше богатство, как и поныне, — хлеба... И пошли мужики в отход по России. Не с шапкой по миру, а со трудами своими. И так говорили седмицкие по народу:

— Мы храм строим Казанской Божьей Матери — защитницы Отечества. Да, видать, согрешили. Может, с того, что на древнем капище поставили. Вот Бог и разгневался, три года как насылает напасть — засуху. Отощали мы, обнищали, однако совести не потеряли, перед Богом себя блюдем, храм возводим. Как в Москве, где при конце второго тысячелетия восстановлена будет храмина Спасителя. Вот идем мы по Руси, трудами своими чем кому можем-поможем, а вы уж, люди русские, нас не обесчестьте...

И на Север ходили, до Соловков добирались, — в Холуе были, Палехе, Мстере, и на юг, Кавказских гор достигали — всюду рупь в поте лица добывали. Набрали на колокол — привезли, начали его воздымать, а лесина под тягостью возьми да и подломись, хряснулся колокол оземь, треснул, голос, мать моя, потерял! Трех мужиков, притом лучших, убило — самых сильных и самых совестливых.

— Почему хоть так бывает, — вздохнул Алеша, — самых-самых Господь забирает? Вот три дядьки мои с войны не вернулись...

— Мужиков отпели, похоронили, — продолжала Мария, — новый колокол в земле сами начали лить и к куполам уже приступили. Изнутри расписывать начали, алтарь стали золотить... Матерьялу-то сколько скоплено: и кирпича, и извести, вот в известь и давай совать яйца, муку, краски всякие, железо фольговое... И все хранилось в самом храме, все не на заперти, замков тогда никаких; не знали, что это такое, замки-то.

А тут голод нагрянул — осенью опять ничего не собрали. Даже на прокорм. Вот и зима подъявилась — белым-бело, а храм прямо-таки сияет незапертой дверью на Языческом Холме. И чего в нем только нет, богатства всенародные, немыслимые, особо для голодного человека. Утром встанет мужик — лег с вечера натощак, да тут еще шестеро по лавке, сам — седьмой, так и тянет стянуть что-нибудь, где плохо лежит. Шмыг за дверь, глянет на капище — стоит, зияет, дает надежду. Перекрестится мужик и опять терпеть, несет и далее свой крест по зиме-то суровой. У друг друга еще, бывало, сопрут, это могут, и тогда было. А вот чтобы во храм войти с темной мыслишкой, да ни-ни-ни, ни за что, и в помыслах такого не наблюдалось.

Голодно. Самыми первыми помирать начали дети. Собрался церковный совет — что ж это мы, вон мука, вон фольга дорогая в мешках; может, продать, как-нибудь перевернуться — хоть бы крайних два месяца, а там уж апрель, травка — солнышко — жизнь... «Нет, — решили. — Вера есть вера. То — высокое, божеское, а это — земное, человеческое, как-нибудь перетерпим...»

И ведь справились, возвели храм. Как освятили его да как глянули — красота! Нет другого такого в округе. С нами Бог, знай наших, мы неотступные, седмицкие!..

Мария заключила свой рассказ. Все сидели тише мышки, все прислушивались, как по полу там, внизу, с визгом носились худые церковные крысы. А с отсырелых стенок капель капала: кап-кап, точка-точка, тире... точка-точка... как в каких-нибудь петропавловских ка-

зематах... А по стенкам грешники все лизали своими длинными, гибкими языками огненные сковородки.

РАССКАЗ ФРОСИ

Крысы взвизгнули и унеслись в небытие, откапелились капели. Жара июньская, духотища. Небо аж звенит своим медно-золотым, пронзительным звоном. И Фрося начала свой рассказ:

— Твой прадедушка, Мария, строил храм, а мой дед его разрушал. После революции, после гражданской войны. По всей стране тогда церкви сносили, колокола сбрасывали, людей забирали и увозили. И особенно тут у нас, по Руси, южнее Москвы, в дворянско-помещичьих гнездах. Так строили новый мир.

Кто был никем,
Тот станет всем.

Церковь мешала им, давила авторитетами. Вот и в Седмицах было создано общество «Воинствующий атеист». И дед мой Ермила Дегтярев в него записался. Однажды вызывают его в район и говорят: «То была пропаганда и агитация, что Бога нет. А теперь будем переходить к конкретным мерам осуществления, церкви начинаем крушить. Как тебе это нравится?» — «Нравится не нравится, — пожимает плечами Ермила, — а указания центра исполнять следует!» — «Правильно, — говорят в районном масштабе. — Иначе нельзя. С вашего храма в качестве самого видного и начинаем. Торчит, понимаешь, как бельмо в глазу...»

Отпрянул дед от райцентра, собрал своих сателлитов и говорит: «Храм разрушить велят... до основанья... а затем мы наш, мы новый мир построим, такая кампания». А сателлиты ему: «Кампания — да, а боги за церковь башку оторвут». «Как быть?» — морокует дед Ермила вместе со своей гоп-компанией. И на север не больно охота, и церковь жалко, хучь и она «опиум для народа».

Решили малой кровью отделаться, может, еще какое постановление выйдет, отменяющее прежде вмененное.

— Все равно твой дед был «г» на палочке, — в спину подтолкнула Фросю Мария. — Дюже воинствующий.

— Я легенду излагаю, — обиделась Фрося и отвернулась. — За что сама купила... Так вот что решили эти наши атеисты. Колокол упразднить, а церковь обойти. А в помещение практически зерно ссыпать, в общем, храмину в склад превратить. И послали такую бумагу в район, мол, откликаемся на ваше прямое указание всем порывом души, однако с учетом местного практического акцента. А сами собрались и пошли на Языческий Холм, поднялись к храму — стоят, переталкиваются: «Кто первый полезет? Кому заводить веревку?». «Воинствующие атеисты»-то, а боятся гнева Господнего. «Ты, дед, — говорят, — главный у нас, ты и полезай». Как рассказывали, навострил дед сердце мужеством, перекрестился да и полез, помогай Бог. Накинули веревку на колокол — качали, качали — раскачали. Упал колокол — в соседней роще воронье в небо взмыло, солнце черным крылом как бы охолостило. Так и стоит пыль перед всеми. Как чему-нибудь нехорошему случиться, так чернота эта в липовой роще и начинает граять. Несметные черные тысячи заслоняют полдневное белое небо то с запада, то с востока...

— Ну, а с колоколом-то что? — спросил преспокойненько кто-то. — Какова его судьба?

— Упал, но не треснул, — продолжила Фрося. — Мягко этак опустился, как на спину кому-то большому. Говорят, главному богу языческому Перуну. Наш Языческий Холм — часть спины Перуна, выступает из-под земли... Упал он, значит, сиротка, лежит на Перуновой спине. Люди кинулись на колени, губами припали к бронзе, а дело зимнее, мороз — губы до крови пообрывали. Вот и лежит с той поры в бурьянах: «Эх, пролечу, прозвеню бубенцами». Ямщицкая над-

пись взята с бубенцов валдайских... Да! А потом за крест атеисты взялись, на крест завели веревки — тянули, тянули — никак, только веревка лопнула, а крест как похилился чуть, так и стоит, наклонясь, по ходу солнца. С востока на запад...

А колокол мужики седмицкие потом, до лучших времен, взяли да и обкопали. Чтобы не окологлазил. А он после сам, говорят, в землю угряз. И что интересно, как бедствию какому-либо прийти-нагрянуть, так он и гудет, предупреждает. Гудет-гудет в нутре земли колокол, аж воронье в соседней роще кидается, и черные верши тянутся ниже облачья то с запада, то с востока... Темные такие лохмотья...

— С запада — это что? — спросил Володька.

— Как случиться Отечественной, второй мировой, так и загудело снизу, а вверху взмыкалось воронье, — шваркнула сырой тряпкой о солому Фрося. — Коней повели в райцентр, мужики сами пешком пошли... Те, что с запада явились, мамка говорит, были в рогатых касках, на «соломенных» машинах...

— На «соломенных»? — удивились все, недоумевают...

— Октябрь уже был, холода ранние, — пояснила Фрося. — Моторы соломой стеганой прикрыты... Вот колокол гудел перед тем, надрывался. Мол, идет ворог, Западом всем наученный. Мол, терпим, оттого что вставать начали... А как битве на Вяжах произойти, летом сорок третьего, так и вовсе из себя выходил, ревел исподнизу, в земле, колокол этот наш — храма Казанской Божьей Матери, заступницы Отечества. Вокруг Седмиц окопы роют, оборону держат. А бабы детей похватали да сюда, на Холм Языческий, на Перунову спину — в божий-то храм. Семь недель, день в день, просидели с детьми в подвале храма Божьего и все слушали колокол, в землю ушедший. В свободу верили, в освобождение, вера какая была, в черные крылья не верили даже в самую тяжкую пору.

РАССКАЗ ИВАНА

— Ту же легенду слышал я, но только с другим концом, — сказал Иван, который собирался стать доктором. — Значит, летом сорок третьего наша разведка по руслу речки Седмицы проникла к нам сюда, на оккупированную территорию. Только водички в деревне попили, поговорили со своими — вот они на мотоциклах. Наша разведка — в храм, под крыло Божьей Матери. Окружили Божий храм мотоциклисты:

— Выходи, рус! Сдавайсь!

Сидят наши там, за каменной стеной, как у Христа за пазухой. А те давай их поливать из автоматов да из пулеметов... Когда выйдем, — сказал Иван, — обратите внимание: все стены в дырках — это от пуль, от гранат, даже от осколков минометных... Староста наш Семен Козырев в храм туда с разведкой ушел, после рассказывал.

«Сидим, значит, сутки, сидим трое. Воды ни грамма, патроны кончаются, что делать?» Вспомнил старосто про подвалы храмовые, вроде люди там какие-то захороненные — значит, должны быть ходы. Спустился Семен в подвал, что пониже, видит — камень в углу как-то боком торчит. Пошатал его, этот камень, еще одного позвал — вдвоем пошатали, плечом сдвинули. А за камнем оказалась дыра. В общем, ход подземный. В общем, выскользнули. Ход кончался где-то у Синих Скал, прямо в поле. Во-он, где рожь колосится... Вот вам храм, вот вам вера. Верить в лучшее надо всегда, до последнего...

— Свой рассказ расскажи, собственный, — потребовали ребята.

— Собственный? — поразмышлял с минуту Иван. И нашло на него какое-то остервенение. — Вот мы слышали от Фроси, то с запада, а то с востока тянутся к нам сюда крылья черные туч, воронье... И ведь Библии это известно давно, тысячи лет уж легенде о полы-

ни-звезде, которая как взорвется, так и вода, и еда станут горькими... И вот вам рассказ. За что не получил орденок дед мой и за что получил мой отец. Как вы знаете, у нас — династия, все в роду агрономы...

— Ну и что? — спросила ехидновато Фрося. — Все на полях работают, а на ордена претендуют одни агрономы?

— Дедок мой, Спиридон Иваныч, — не обращал внимания Иван на Фросину выходку, — как известно, агрономом был сразу же после войны. Поля тогда какие были — кругом танки битые, траншеи, воронки... На коровах пашем, лопатой копаем, — какой там хлеб! Вот взял мой дед, как и все, повышенное, но осторожное обязательство: получить по девять центнеров с га. А собрал Спиридон к осени по пятнадцать, а кое-где на круг даже по восемнадцать. Только в Америке, какая войны на своей территории не знала, такое бывало. «Ну, — думает Спиридон Иваныч, — уж теперь-то орденок повесят!» Однако приходит осенью разнарядка — Спиридону, деду моему, шиш с маслом, а соседям, у которых и по двенадцать-то центнерочков едва наскреблось, — ордена и медали. Спиридон наш в обиде:

— На каком основании? Почему?

— Нет тебе орденочка, — говорят ему в инстанции, — оттого что не верил. В силы народные, в урожай. Ты чего с весны заявлял? А осенью получил вдвое больше. А соседи твои сколько заявляли, столько и получили.

— Ну и что?

— А то. Что твое поле — поле битвы. На крови урожай, на костях. А у соседей — от прозорливости.

Вот так. Деду не то что орденок, даже медали не дали. А вот за что отец мой Иван Спиридоныч Крученых орденок получил.

— Интересно, за что? — смеется Володька как будущий агроном. — Небось, сто центнеров брал обязательство и получил сто, да?

— Я в семье, — усмехнулся Иван, — такую школу

прошел! Получил батя орден «Знак Почета», и за что, опять-таки, спрашивается? За веру теперь, а не за прозорливость... Вот мы говорим: реактор в Чернобыле взорвался, так с юго-запада галки черные к нам сюда полетели, еще Библией предсказано... В конце апреля, заметим, случилось, и беда пришла сюда к нам по розе ветров. Молоко из восточных районов в область стали возить, а про хлеб — про зерно позабыли. А тут грибы, а тут лопухи, а тут беда-лебеда — под крышу ростом, в зловещем черно-красном, шафранном изображении.

К осени хлеб собрали — центнера невозможные. Вызвали отца моего в район.

— Ты, — говорят, — мог, Крученых, подозревать о таком положении?

— Нет, — говорит, — и не подозревал даже. Но подразумевал, что чем больше, тем лучше.

— Чего... больше?

— Ну этого... как его...

— Стронция?

— Да нет, — говорит, — я про это молчу. Я — за большой урожай.

— Ну вот, — говорят, — правильно все понимаешь. Достоин.

— Чего достоин? — спрашивает отец. — Того, чего деду не дал и?

— А чего деду не дали? Медали? — говорят в начальстве и сдвигают брови как покруче. — Ему медали не дали, а тебе, Крученых, орден даем, возлагаем надежды.

И пришпандорили ему, как на памятник какой, боевой орден Красной Звезды.

— Почему боевой? — даже дед офонарел от такого разворота оборота.

— Потому что обстановка в стране у нас завсегда боевая, военная, понял?

Вот так. Если не верите, приходите к нам домой, поглядите, в коробочке у отца хранится. Он сам его

только в День Победы смотрит, носить не носит и показывать не показывает. Но до пенсии этот орденок дал ему дотянуть. Потому что верил в себя, в народ, в его неустанную прозорливость. Это дед его надоумил, хотя сам орденок-то недополучил. А если бы получил, то бы не научил. Так что все хорошо, где нас нет. Тем более, на этом Северном Кавказе, где даже Лермонтова не пожалели. На что — гений, поэт, гордость нации, демонические начала, и то Мартынову не понравилось, что тот пишет стихи про «героев нашего времени», а он, Мартынов, не одолевает рифму стихосложения, и тогда он взял и лишил его самого главного. Я жалею Лермонтова, и, если поеду когда-нибудь на Кавказ, то не из-за Чечни, на кой она (да, Володь?), а исключительно ради Лермонтова, чтобы посмотреть на «лермонтовский провал», глянуть, куда это все в России провалилось и проваливается до сих пор. И хорошее, и плохое. А главное — дружба народов, теперь же повсюду воюют. Но плохое я не жалею, пущай проваливается, а вот хорошее жалко... Десять классов закончили, а теперь сам определяйся, гони деньги за учебу на медицину (да, Володь?)... Надо верить во все хорошее, а плохое мы будем подразумевать. Вот так. Все. Отзвонил и с колокольни долой, да, Володь?

— Да, да! — разразился Володька. — Вот бегемот! Как разволнуется, куда что девается, так и прут из него диалекты.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

— Ой! — смеясь, схватилась за грудь Нина-Ниночка, побывавшая дотоле в Бельгии и даже в Древнем Египте. — Вот развеселил-то Ванек! Вроде строгий, серьезный такой, а тут — нате вам, как у пьяного, все наружу.

— А чего мне скрывать-то? — поджал губы Иван. — Раз про веру, значит, про веру. А ты не вихляй хвостом, Лисавета Патрикеевна.

— Я человек простой, вздохнула Ниночка, — и рассказ у меня про себя. Видите, какая я маленькая, хрупкая.

— Не в коня корм, — улыбнулась Катерина.

— Я чего поваром быть хочу, — посерьезнев, вздохнула Ниночка. — Думаю, еды будет много, любой. Ешь, сколько влезет, может быть, подрасту, а?

— Это что-то внутри тебя, — заметила по-родительски рассудительная Мария. — Винтик какой-то недозавернут.

— Не знаю, — чертила соломинкой Нина что-то по пыли прямо перед собой. — Вот круг черчу, а получается треугольник... Помню, лет семь мне было, так все мне большим казалось: люди, дом наш, особенно Холм Языческий — Перунова спина. Встану утром, бывало, обязательно посмотрю на церковь. Если большой, красивой покажется, значит, со мной все в порядке, день будет хороший. С тем и росла...

— А чего же не выросла? — заметил Володька.

— Все кругом большое, красивое, а я ма-аленькая, козявка, — всхлипнула Ниночка и заплакала. — Хорошего мне никогда ничего не доставалось, всегда и во всем последняя.

— Вот дурочка, — обняла ее Мария. — Да какая же ты последняя, ты — красивая, только махонькая. А маленькие нарасхват, все маленьких любят — и гвардейцы, и недомерки... Надо верить в себя... Вон Фрося, видишь, одна, а не обижается же...

— А однажды, девочки, — оживясь, повернулась Ниночка к Фросе, — церковь наша показалась мне тоже маленькой-премаленькой, все показалось маленьким — и село, и речка, и дом, и люди... А я, по сравнению с ними, большая...

— Ой, — засмеялся Алеша, — краешек перехватила.

— И жить стало страшно, — сказала Ниночка. — Иду по тропинке, а ноги ставить боюсь. Все кажется мне, что туфли мои — туфлищи провалят землю —

камушки раздавлю. Подойду к дому, поглажу угол, а кажется, кирпич вот-вот вытащу и угол развалится, дом рухнет...

Во двор выйду или в сад — боюсь до собаки дотронуться, клок шерсти из бока выдеру... Просто жизни нет никакой, как нехорошо. Вот и стала я все в себе сокращать. С километр идти, а я пройду сто метров и стану, стою, ничего не делаю. Десять яблок за день, бывало, съедала, а я съем одно. Еще хочется, а не ем, останавливаю себя. В себя верю — мол, и так обойдусь...

— Вот ты расти и перестала, — заметила Фрося. — Со своими причудами.

— Первые огурцы пойдут, — продолжала Ниночка, — положат с десяток огурцов в решето — отнеси, мол, соседям. Я один огурец оставлю, остальные выкину, один соседям и отнесу... Сначала все надо мной смеялись, а потом плечами пожимать начали, не знали, что делать. Особо после того, как я сказала однажды, озирая церковный купол на фоне восходящего солнца, что все это нехорошо, некрасиво, даже страшно...

Вот тут-то все и задумались.

— Красиво это, — сказали мне. — Красиво, разве не видишь?

— А я говорю — некрасиво. И стою на своем, аж плачу.

— Ну и дальше что? — спросила Мария нетерпеливо. — Ну что?!

— Дальше-то? — вздохнула Ниночка. — Наоборот все во мне перевернулось. Купол церковный стал казаться очень большим, очень красивым. Даже когда шли дожди, все равно он сиял своей красотой... Вот мать мне однажды и говорит: «Иди, доченька, с отцом травки корове подкосите». Спустились мы в суходол — отец «ручку» идет, я с граблями следом за ним иду, подгребаю. Головки ромашковые, синие колокольцы, слезки анютины так под косой и клонятся, рядком и ладком. А мне душу всю разрывает,

сверху идут сигналы — выше неба откуда-то: такая красота, красотища живая, а мы смерти ее предаем. Я — дерг отца за локоть:

— Не коси!

— Чего ты? — останавливается он.

— Не коси, — говорю, а у самой слезы в глазах, а в груди теснота, все колом стоит, просто жить невозможно.

Отец посмотрел на меня искоса, но внимательно (умный был у меня отец, верила я ему), да и подает банку из-под кваса.

— На-ка, — говорит, — сбегай, дочка, домой! Что-то сохнет во рту...

И пока я бегала, он траву без меня и скосил.

Солнце еще не село. Грачи по гнездам начинали свою предвечернюю суету, и Синие Скалы теряли свои очертания. В речной излучине зарождался туман. «Ой, туман, туман, туман при долине»...

РАССКАЗ АЛЕШИ

Клонясь к горизонту, солнце заливало звонницу сумеречно-розоватым, каким-то таинственным, прямо-таки магнетическим светом. Лица, руки, солому, на которой они лежали, саму стенку, на которой, словно экран телевизора, сияло яркое солнечное пятно.

— Вот, — сказал Алеша — будущий поэт в миру или, в случае чего, служка монастырский. И расстегнул рубашку, снял с шеи серебряный крестик, держа за цепочку, покачал в воздухе. — В висячем положении это «биоэнергетический маятник» — «БЭМ».

И хлоп его на камень, прямо перед собой. Серебряный крестик в руке завис над розовато-солнечным камнем. Все впились в него... Мгновенье, семнадцатое, двадцать первое... И тут крестик дрогнул, качнулся и сдвинулся вправо, по ходу солнца. И круги все полнее, размашистее — по часовой, по часовой, опять же по ходу солнца. И послышалось ему в глубине самого себя,

как белые, черные кольца в нем закачались и стали расти.

— Ну что? — повернулся беспокойно Алеша к сидящим.

— А ничего, — равнодушно пожали плечами сидящие.

— А вот, — Алеша переложил камень в угол.

Угол был темен, а камень еще темнее, настолько, что отливал синевой. Крестик на цепочке застыл над ним неподвижно, намертво. Всем уже надоело смотреть на зафиксированную руку Алеши, и тут крестик вздрогнул. И качнулся едва заметно, но, кажется, в другую, обратную сторону. И лучик вроде за тучку спрятался, стало сумеречно, через какое-то время крестик уже мотал круги против часовой, против хода самого солнца.

— Ну что??! — повернулся Алеша ко всем торжествующе. — Что я вам говорил?

— А что? — уставились серости, на соломе сидящие.

— А то, что в первом случае «маятник» показывает энергию белую, солнечную — положительную, — засмеялся Алеша.

— А во втором? Отрицательную, да? — пожала плечами Фрося.

— А ну, так вот попробуем, — поднял Алеша свой серебряный крестик над ее головой.

«БЭМ» долго стоял недвижимо, потом покачнулся, двинулся по часовой, однако с трудом, какими-то рывочками, рывками, пока опять-таки не раскачался в широкую амплитуду.

— Положительный заряд, — заключил Алексей. — Одно ясно, если взять за «кадастр»... за точку отсчета... солнечный камень, то что? Рывки, медленная раскачка — что-то сдерживает... влияет на душу отрицательным образом.

— Мать Фроси — глава администрации, — подала голос Катерина. — А на дочери отражается.

— А у тебя? — занес Алеша руку с крестиком над головой Катерины. — А у тебя дядя... в тюрьме.

— Как под гильотиной сижу, — засмеялась Катюша.

Крестик тут же ринулся вправо по часовой, по ходу солнца. Раскрутился быстренько в широкие, машистые круги.

— Ого! — вскрикнули сразу все. — Эта своего от жизни добьется. Будет жокеем — мастером раскатывать по ипподромам страны, знаменитостью, гордостью России, как Петушкова.

Над Марией «маятник» тоже сразу же двинулся вправо... раз, два... семь... и замер. И еще: раз, два и опять замер.

— Ну поняли? — продолжая улыбаться, повернулся ко всем Алеша.

— Поняли, — ответил Володька. — У Маруси будет куча детей. Сначала семеро, а потом еще двое... итого девять — вот сколько будет детей у Марии.

— Молчи, глупый, — заслонила собой Володьку Мария.

А над Владимиром «БЭМ» долго стоял неподвижно. Потом задрожал мелко-мелко, но даже с места не сдвинулся. Завис над затылком, замер и не дрожал.

— Ну ладно, — поспешил Алеша убрать свою «гильотину». — Я же говорил, владеть миром Владимиру не придется...

И все приняли близко к сердцу слова Алешины, все подумали о Чечне, остальное не так уж и трогало. Круги Ивановы были положительны, но не широки, а размеренны, ровны.

— Этот парень даст еще клятву своему Гиппократу, — констатировал Алексей. — Будет врачом где-нибудь на задрипаннейшем участке.

— Типун тебе на язык.

— Мы, поэты, словом хлеб себе зарабатываем, — улыбнулся Алеша, убирая крест свой себе под рубаху. — Нам слова для человека не жалко.

— А сам что же, — мимо? — не упустил своего бдительный Иван, только что задетый за живое Алешей.

— Не виляй, Алексей, не виляй, божий ты человек! — захлопотали, затопотали девчата.

Едва Мария подняла серебряный крестик над головой Алексея, как он тут же начал беспорядочное движение: вниз — ввысь, вправо — влево. Наконец, успокоясь, сорганизовался в движение слева направо — по ходу солнца, по часовой. Да так раскачался, что готов был сорваться с цепочки и вылететь вон...

— Ого! — опустила руку Мария.

Слышно было, как в липовой роще, поближе тут — на кладбище, граяли птичьи станицы. Только что прилетели с полей, наклевались там зелени кукурузной.

— Какой диагноз поставим? — лицом ко всем повернулась Мария, подавая Алеше его крестик на блестящей цепочке.

— Каждый второй с детства стихи пишет, и только один из мильенов восходит на Голгофу, — повертел головой Алеша. — Крест Господний для Иисуса был орудием позора и пыток. Но только после пыток Христа он стал святым распятием. Я буду писать стихи, буду иметь дело со словом, пока мы живы. Мне еще предстоит войти в карму, связать сферы и развязать, познать и еще более обосновать... себя в кристалле. Увидеть магические реалии... Я верю в себя...

— Смири гордыню.

— Откуда он взялся, этот «кудесник»? — широкими глазами смотрели на Алешу друзья, восседающие на соломе.

То были практические занятия, а теперь вот вам и теория, этот рассказ. Он краток... Все живое на Земле создано Солнцем. Культ Солнца существует с древнейших времен. Например, у ацтеков. Циклопические сооружения, устремленные в небо. Золото — солнечный металл, как диски самого Солнца, как нимб... И жили-были два брата ацтека. Один сиял, переполненный Солн-

цем. Над другим братом, наоборот, зияла дыра — вместо нимба черный провал. Брату с нимбом все поклонялись, каждый норовил пройти поближе, коснуться рукой, чтобы подзарядиться. Зато мимо брата с «черной дырой» старались шмыгнуть незаметно, чтобы, не дай Бог, пал тяжкий взгляд его на твою карму. Однажды стража перепутала и брата с «черной дырой» вместо «белого нимба» приставили к основанию циклопической лестницы, что вела в самое небо.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

Все были просто поражены судьбоносными экзерцисами Алексея. Странно и цыганке-то ладонь подать, лучше уж не знать часа своей сверти, а тут... этот «маятник»...

— А ну, в обратную крутани, против восхода, это можно? — спросила вдруг Катерина.

— В обратную? Против? — призадумался Алеша. — Конечно. Только против кого же?

— Против Гитлера... стопроцентно...

— Портрет бы, фото какое-нибудь, изображение.

— Это мы мигом, — подняла Катерина кусок картона в углу и уголек под ногами. Несколькими штрихами она начертала характерный портрет. Для полного сходства к челке прибавила еще и усики. Все знали эту способность Кати — рисовать.

— Вот, — закончила Катерина свою работу.

Картонку с портретом фюрера она положила на пол, и Алеша занес над ним свой «БЭМ». Серебряный крестик помыкался, подергался в разные стороны, потом задрожал и резко пошел налево, назад. «Маятник» сразу же взял широкие шаги, но — против восхода.

— Видали? — восхитился Володька. — Гитлер в семье у нас всех мужиков побил, — объяснял действие «маятника» Алеша. — Ни один с войны не вернулся.

— Понятно, — сказал Иван. — Переходим к следующему, кого еще?

— Что я тебе Кукрыникса, что ли? — пожала плечами Катюша. — Всякую пакость рисовать.

— Ну, например, Берию.

— Лысый такой, на кривых ножках, женщин любил, — вспоминала Катя.

— И в очках, — добавила Фрося. — Нос крючковатый. Раз-раз, три-четыре... Рисуй-рисуй! Копия, вылитый Лаврентий Палыч. Женолюб, гуманист, строитель светлого здания.

— Кручу, — сказала односложно Катерина. — Показываю суть.

— Перед кем?

— Перед поколениями.

Серебряный крестик тут же, как говорится, даже не поперхнувшись, также попер против солнца.

— Дед мой не вернулся с Соловков, — пояснил Иван.

— С этим все ясно, — вздохнул Алексей. — Широкая амплитуда, черная биоэнергетика. А ты нарисуй...

— Кого, Сталина?

— А кого же?

— Наполеона.

— Так. Треуголка. Руки крест-накрест на груди. Губы сжаты. Взгляд стальной, прям и упрям... Молодец Катя! А лошадь? Лошадь под Наполеоном?

— Лошадь нельзя, — сказал Иван. — Лошадь всегда имеет положительный заряд. Будет влиять.

Навел Алеша серебряный крестик на Наполеона, и медленно-медленно, неширокими махами крестик, однако, пошел-таки по часовой.

— Почему? — удивился Володька. — Он же на Россию напал... Полнации своей оставил без мужиков...

— Да, почему? — крайне задумался Алексей. — Что-то не так трактуешь. Во-первых, он лично сам в битвах участвовал, все тело в шрамах. Во-вторых, концлагерей не создавал. А нес народам передовые идеи...

— Либерте, эгалите, фратерните, — сказала Маруся.

— Ну да. Свобода, равенство и братство, — засмеялся Алеша. — По «Кодексу Наполеона» до сих пор живут. Значит, энергия белая...

— Ну что? — обратился Володька к общественному мнению. — Зачтем за рассказ Катерине эти ее «кукрыниксы»?

— Я и рассказ могу рассказать, — обиделась Катерина.

— Творческий человек, — засмеялись все.

— А вы не смейтесь, — поджала губки Катюша. — А ты сам-то доставай тетрадь со стихами, они у тебя, Алексей, в пиджаке. Вот мы у тебя и продегустируем... Дай-ка крестик сюда. Так, наводим на лист — белое или черное, талант ты или не талант?

— По ходу, по ходу! — обрадовался Алеша, подставляя под крестик следующую страницу, еще страницу своих стихов.

— Стоит, стоит! — обрадовался Володька.

— Назад, назад пошел, — огорчились все искренне.

— Ну-ка, — заглянул Алеша в тетрадь через плечо Катерины. — А-а, это я про чертей писал...

— И пишут, и пишут, — покачала головой Катерина — важная, царственная такая. — Целые километры гонят. Редакции ломятся, полки трещат. Существуют всякие литературы, союзы и ассоциации, различные правления и управления, всякие конфедерации на всякие конфигурации...

— И откуда хоть берется все это? — удивилась общественность. — Откуда ты все это знаешь?

— А вы сидите на соломе своей и не квакайте! — как отрезала Катерина. — Брат у меня в Москве работает в одном центральном издательстве. Так приезжал — все нам дома рассказывал... Кто графоман, кто талант, — говорит, — не понять! Талант, — говорит, — он один всегда, особняком. А графоманов, — говорит, — много, они всегда вместе, в кодле. Они решают, кого — в печать, про кого — умолчать...

— Про кого это ты так? — сдвинул брови Владимир. — Про Шолохова, что ли, или как его?

— Эдика Лимонова?

— Да нет... как его...

— Про Китаева или Катаева?

— Тьфу, мать твою! Вылетело из головы...

— Из литературы вылетело, — строго сказала Катерина. — Вот он и спрашивает: сказал брат, но про кого? Вот мой брат и говорит: «Эгалите» есть, а литературы нет. Все нам «Записки охотника», все классика как высшая и последняя стадия, а не фантастика того же Тургенева...»

— Совсем охренели...

— Так нельзя, все же музейные сотрудники и научные работники.

— А что же они, архаики? Настоящую литературу считают как «лучшее отражение», а она уж давно «выражение». И это большая, очень большая разница.

— Хоть бы не лезли агрономы эти, если ни бум-бум в этом вопросе, — твердо стояла Катерина на позициях нового критического реализма. — Что надо, говорит он, современникам и современности, так это в серебряный венок их цепочкой связать и тянуть далее в будущее эпохи... Вот я серебряный крестик куплю и подарю ему. Это тебе, Алешик милый ты мой, этот «БЭМ» — «биоэнергетический маятник».

— А что, брат твой тоже Алеша?

— Так вот, принес тебе Сотников рукопись — навел ты на нее этот «БЭМ» — сразу видать: Берия это или Толстой, белое или черное?

— Легко как, ой-ой! — рассмеялись сидящие на соломе. — Да графоманов уже семьдесят пять лет ни одна экспертиза не берет. Все блюстителей, подхалимов воспитываем, чтобы за глиняные ноги держались. Черные страницы вон! Нечего в заблуждение вводить, подрывать психическое здоровье. А то вчера — депутат Госдумы, а сегодня уже мемуары строчит...

— Катя, Катерина! — завопили сидящие на соломе. — Вот царица, вот лошадница! Засчитываем тебе твой рассказ про Пегасов. Фрося, выдай ей яблоко в качестве премии «за лучшее отображение начальника движения...»

Над кладбищем да под липами сидели и крякали, просто рыкали — просто граяли эти вороны — воронье — черные тени, заслоняя заходящее солнце, бились тени тут по стенке, по естественной монополии лиц и падали, опадали.

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА

— Отзвонила и с колокольни долой! — сказал Катерине Иван. — И черед твой, Володя! Расскажи-ка что-нибудь про Жилина и Костылина, как ты в яме сидел, раз Алеша тебя на это обрек...

— Это не я обрек, я не абрек, — отмахнулся от приятельских козней Алеша. — Это поэт во мне говорит такой, Велимир Хлебников, а я только его пересказываю.

— Раз, значит, братцы, Кавказ, — вздохнув поглубже, примирительным тоном сказал Владимир, — значит, абрек... Вот такая, значит, история. Ездил я не так давно в наш областной центр. Возвращаюсь электричкой. И, как обычно, из вагона к автобусу городскому бегом. А люди навстречу мне, да и говорят: «Чего это ты бежишь?» А я все равно бегом, привычка такая, пока не вскочил в транспорт. И спрашиваю сидящего рядом: «А чего не бежать?» — «Вишь, — говорит, — народу жидко, всего пол-автобуса, когда это было? Скоро совсем будет пусто. Пол-лимона за год из России как и не бывало...»

И как раз стоит автобус местный «Микрорайон АБСД» — с вокзала на автовокзал, откуда мы ездим сельским большаком к себе на Седмицу. И стоим, и стоим. И тут вдруг из-за автобуса рядом вымахивает баба — кондукторша, а за ней мужик — водитель. И

хоп — она в переднюю дверь, он к себе на сиденье. И орет она благим матом водителю: «Закрывай дверь! Поезжай!» И что я вижу? Следом за ними женщина молодая бегом с ребенком грудным на руках. Следом еще одна женщина, тоже бегом. И ножонки-ручонки у ребенка голенькие, мотаются в разные стороны, дрожат, словно студень, — жуть. И дверь перед самым носом у женщины с грудным ребенком-то хоп — и закрылась. Вижу за стеклом что-то яркое, пестрое: черные волосы, губы крашеные, шаль, юбка веером. «Цыгане!» — пронзает меня. А автобус уж ходу. «О Господи!» — только и вздохнула одна пожилая русская женщина. А все остальные — молчат. И я молчу, как онемел. А кондукторша в какой-то безумной радости: «Граждане вошедшие (у меня в мозгу автоматически: «умные и сумасшедшие»), прошу оплатить за проезд («...при наличии занятых мест»), не то контроль на линии («...морды ваши заячьи, синие»)...

Еду дальше и думаю: «Что же это такое? Что хоть произошло? Ужасное что-то. А все ведь молчат. И я молчу, как дурак. Идиот ненормальный. Ну, почему хоть молчу? Никогда ведь прежде не молчал, при том режиме-то. Всегда говорил, когда что-то не так. Несправедливость какая-либо. А при этой свободной жизни — молчу. Да стоит ли жить нам, таким, на земле, стоит ли существовать? Спасибо, та женщина — пожилая русская баба, призвавшая Бога, спасибо тебе, безвестная Русская Мать! Ты — совесть моя, ты — вера, надежа народа...» И я заплакал, плачу, а все внутри кипит, переворачивает меня по сю пору. Ну почему, почему хоть тогда я смолчал?.. Вот мой рассказ вам, ребята...

— Гитлер глядел далеко, — наконец насмелилась Фрося. — Цыгане, славяне, евреи... такие вот нации...

— Белград бомбят, а все молчат...

— Кто на маленькую, кто на маленького?..

Миллион отошел, миллионы отходят. Новый миро-

порядок — век двадцать первый, третье тысячелетие? Пепел Клааса стучит в мое сердце. Пепел от нас и останется. Почему я молчу, почему ты молчишь?..

— О Господи! — тихо плакала в своем уголочке Мария.

— Господи, Господи, — шептали при заходящем солнце в этой розовой-розовой, просто ало-кровавой звоннице все вместе они и каждый сам по себе.

— Вот и я пойду на войну, — говорит Владимир. — Слезу с этой звонницы, возьму повестку, явлюсь в военкомат. На той, большой войне погибали самые честные, самые совестливые и справедливые. Как сказал Алешка, я уже не жилец...

— Не надо, Володичка, не надо, — прижималась Мария к его ороселой щеке.

Как мумия, был неподвижен Володька. Слова говорились им как-то сами собой, они его не касались.

— Так вот, я попал в заложники. Днем мы работаем в поле, под палящими лучами, на самодельном устройстве гоним самопальный бензин. А на ночь нас бросают в глубокою круглую яму. Они склоняли нас к своей вере...

— И что?

— И я погиб. Мария найдет в горах могилку мою где-то на перекрестке. И привезет сюда, возвратит мой прах родимой земле...

— Зачем же так мрачно, Володя? — сказала Фрося. — Ты же молод, все еще впереди.

— Страна старая, — сказал Владимир. — Страной правят старцы. А молодые не жалеют ни себя, ни других.

— Кроме войны, не знаем, как выходить из ситуации.

— Старцы жалеют себя, — вздохнула Фрося. — Старцы — святые, да?

— Второй день на исходе, — сказала Мария. — И что будет дальше?

Фрося подошла к лестнице, чтобы спуститься вниз.

— Ты куда?

— На разведку.

На соломе они делали свое дело, они к этому были уже привычны.

Ближе к полночи загудела машина. Даже, кажется,

две. С погашенными фарами, крадучись, автофургоны подбирались к кладбищу, что за церковью на Перуновом Холме. Лежащие зашебуршили соломой, насторожились. Голоса едва долетали, людей было трое, этих пришельцев из космоса — таинственных, невообразимых, из чуждых миров, — женщина и двое мужчин. Зазвенели лопаты. Гробокопатели! Копали там, где было немецкое кладбище. Сколько же тут было похоронено из ихнего лазарета! Отступая, те забрали лишь одного из своих — генерала.

Сердце у Марии захолодало. Думалось, что все это было давно и неправда, а тут нате вам, в натуре: Эдгар По, О· Генри и прочие.

— Искатели кладов ищут золото, — задышала Володьке на ухо Мария.

И слова эти стали возвращаться из эроса эхом, возвращаться и развращаться, соединяться в смысл, создавая партитуру нашествия. Кажется, Тэтчер сказала, что безработица — это то, что «я плачу за здоровую экономику». Цинично, но точно. Так вот, белый цветной летучий металл ныне чистят по дачам, по хатам, по высоковольтным линиям, — алюминий. Крепись, Россия! Держись, деревенька! Но тут другой, скорее всего, вопрос. Ага, в зубах золотые коронки! Так вот какая команда прибыла. Ящики достают из фургонов. Кости, что ли, кладут в эти ящики... Бедный, бедный Йорик... Рассматривают кости, что ли, при свете луны, сомнамбулическая атмосфера.

— Солдатские бляхи ищут, — осенило Ивана. — Номера на бляхах рассматривают.

— Ну да, — догадывался и Алеша. — Это Германия через посольство вывозит прах своих соотечественников. А это наши бомжи, бомжатники-медвежатники, им помогают... гляди, тетка жарит яичницу, как запахло...

— Слава Богу, — перекрестилась Мария. — И прах на родине упокоится, и наша земля станет чище.

Прислушались: внизу скрипнули дверью церковной. По лестнице к ним сюда поднимался кто-то тяжелый, огромный, в стенках отдавались шаги.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. НАДЕЖДА

Грузные шаги, шаги Командора. Толчками они отдаются в сердце, скрипят рассохшейся лестницей, врываются в грудь волнами страха. Тень скользнула мимо и прянула вглубь. «Га-га-га, кага-кага!» — захлопало крыльями и с криком ринулось вниз, и перекрученным, многоэкранным эхом по стенке, по стенке да кому-то...

— ... на темечко, — заключила фразу Мария.

И тишина. Военкомат где-то в райцентре. А мать Фроси где-то тут поблизости в сельской администрации.

— Ты шаги слышала? — словно плеснула Мария в Ниночкино лицо.

— Нет, — едва выдохнула та, как очумелая. — А ты? А вы, ребята?

— Не-е-ет, — сидели они все в недоумении, куда это все пропало — и крик, и шаги Командора, и само чье-то «темечко»? На стене оставались одни только узкие лезвия — приосохшие тени. Тревога, а тут дыхание, слова да слабый отсвет надежды на лучшую жизнь. Береза самостоятельно, без чьего-то дозволения, выросла тут за годы на выступе и вот трепетала, вот трепетала.

Главное — не только шаги сгинули, но и даже машина с «соломенным» мотором. А там внизу, где-то на кладбище, и бомжи с лопатами, и сами лопаты, само кладбище вместе с ихними трупами времен второй мировой войны с их золотым запасом зубов и солдатскими бирками, — ничегó не осталось, все превратилось в ночь, в этот рассеянный лунный свет, едва пробивающийся через тучи. Дай-то Бог больше средств, террористы и не такое минировали, а уж эту церковь... Надежда покидает корабль последней, и что остается людям? А ведь они еще молоды, и таинственный пепел внушает, что у них все еще впереди...

— И что же? — вздрогнула Катерина. — Пошли

третьи сутки нашего пребывания. Продолжим, что ли, сказки Шехерезады? Кстати, мое первое имя — Надя, Надежда, в честь отцовой любовницы. Его дома мне дали, как только я родилась. А записали в метрику Катериной...

— Ну и что, — потянулся этак вальяжно Владимир, — разве хуже? Катюша — это хорошо, победительница! А если бы Надя, возможно, была бы несчастной.

— Почему?

— Кому первому? — спрашивала Катюша. — А вот и Фрося! С возвращением, милая. Может, слово тебе?

— Коза пришла, молочка принесла, — реальным голосом нарушила Фрося молчание каменных стен. — Но что вы тут все про Ичкерию? Это же миф... Посмотрите, нет ли машины? Ни лопат бомжовых, ничего, все растворилось. Только кладбище да перерезанный шинами след... И вот мой рассказ, но совсем не о том.

РАССКАЗ ФРОСИ

— Дома по «телику» только что показывали рекламу, — сказала Фрося. — Создан такой фонд социальной защиты. Под квартиры стариков и старух. Подпишешь квартиру — они тебе денег, цветной телевизор... Вот одинокие и подписывают — надеются, питают иллюзии. А тут как раз зашла соседка к нам Карагодина и рассказала такую историю. У нее сестра двоюродная в Москве — Анастасия Фоминишна. Еще молодой, сразу же после Отечественной войны, отправилась строить столицу. Век прожила там, состарилась и за свой беззаветный труд получила, наконец, однокомнатную в спальном районе. Муж помер, детей не было, сама стала малоподвижной, хлеба некому принести. Приставил собес к ней сестру-хожалку: в магазин ли, в аптеку ли за лекарствами. И такая эта сестрица попалась улизливая, готова даже огурцов своих притащить, це-

лую банку. Все бабке гладит по шерсточке, по шерсточке, против шерсти ни слова.

А однажды Фоминишна к соседнему подъезду на лавочку-то возьми да и пересядь. Такая же старушка к ней подкатилась и говорит:

— Что это Надька к тебе зачастила?

— Это какая?

— Торонись ее, бойсь! У меня внук... грешным делом, между нами... в органах. И шепнул жене своей, а я слышала: скоро хожалку эту заарестуют...

— Это за что ж?

— Сколько квартир заработала, всю родню снабдила и у самой денег мешок.

— И откудова же это?

— Эх ты, деревня! Да оттедова же! Вот таких, как ты, охмуряет... Последнюю бабку, говорят, и вовсе с балкона сбросила. Подошла сзади и подтолкнула.

И Фоминишна обострилась вся. Примечать стала, как только она на балкон, так хожалка за ней туда. Бабка от греха балкон уж гвоздями забила. А тут, по телевизору слышит, лифты под такими старухами обрываются. Господи, думает, лучше уж сама как-нибудь проживу. Пришлось бабке духом воспрянуть, по магазинам сызнова начать ходить.

Да ведь не молоденькая, весь букет болезней никуда не девался. И решила Фоминишна лучше уж доктору, с каким дело имеет, квартирку свою подписать. А доктор тоже, и так перед ней, и этак — таблетками ее, клистирами всякими, спина у доктора перед ней прямо-таки гуттаперчевая. А однажды Фоминишна возьми да на дом к доктору-то и явись. Зашла, значит, в его трехкомнатную, шнырь в дальнюю комнату, а там по стенке в три шпалеры иконы висят. И уж крайняя — ее икона Пречистой Девы Марии.

— А это чья? — указала она на соседнюю. — А это?.. А это?..

Вернулась домой Фоминишна и задумалась: щедры

старухи, а все ушли, как и все, долго не зажились. А ведь доктор-то сам до того давал надежду, что возраст человека зависит, мол, от длины хромосомы. Мол, с возрастом эта длина сокращается. И как только перейдет за опасную черту, так и все, летальный конец. И вот он, доктор, идет впереди планеты всей, знает, как содержать в тонусе эту самую хромосому. Фоминишна будет жить у него не как все сейчас, а как после все люди — лет до ста пятидесяти, не меньше. Мол, знает он такую врачебную тайну и все силы отдает ей, внушая надежду!.. Помучилась же Фоминишна, решая, кому оставить свою квартиру — племянницу вытащить в Москву из глухой орловской деревеньки или доктора хоть чем-то ублаготворить? Решила — доктора поощрить, доктору подписала дарственную... А вот когда побывала у него на квартире да иконы увидела и свою Пречистую в общем ряду, так что-то перевернулось в ней, переворот в душе произошел, изменение точки зрения. И утром встала бабка после тяжелой ночи да и порвала свою дарственную, написала новую — на племянницу. А икона Пречистой Девы Марии, что ж, пусть остается там у него в общем иконостасе, стенку не провисит... Вот тебе и надежды, иллюзии...

Да, рассказывает у нас на кухне про это соседка, а тут как раз по первому каналу реклама об этом благотворительном фонде, который предлагает стариков одиноких докармливать. Вот соседка глянула на телевизионный клип и говорит:

— Кабы кто не влип. А что ж это хожалку-то на балконе не покажут? Или икон целую картинную галерею? Односторонняя информация. Надежды, говорит, никакой не оставляет, а ведь именно надежда покидает человека последней...

И Фрося прилегла сексуально голым животом на Володьку, но Володька опять не обратил на эти ее сексуальности никакого внимания.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

Ночь сошла незаметно, и наступил день. Но ощущение лунного света, коснувшись ресниц, продолжало витать. Пепельное, едва уловимое внутреннее отражение из влаг души переходило в одежды, на лица, сохранялось в перепутанности волос, в особой мимике, жестах, телодвижениях. Однако они в себе этого не замечали, ощущая промытость, явственность своих очертаний вовне, и тени ночного, минувшего с восходом солнца таяли. Она откинула за спину свои бегучие длинные волосы и воткнула в них гребень, и искры брызнули из-под него, вяло посыпались вниз, запахло жженым.

А солнце вставало, и страх сокращался. На кладбищенских липах после сна еще вскрикивали черные гроздья грачей. А след от ночных машин на дороге укрупнился и сдвоился. Военкомат райцентровский торчал костью в горле где-то за горизонтом, а сельская администрация в Седмице отсюда, с высоты колокольни, опустилась по вертикали и стала значительно ниже горизонта. А все же... а все же...

— А все же, — сказала Катерина, и голос ее задрожал, — надежды юношей питают... И мне вспоминается одна фотография из французского журнала «Эль» («Она») — жуткое фото. Женщина-роженица на операционном столе, еще теплая, но уже умерла... Ее уже нет, но где-то есть даденная ею жизнь, и в этом небезнадежность. Иначе никто бы не позволил себе забеременеть. Представьте себе...

— А я не могу, — сдавленно как-то, фальцетиком пискнула Ниночка.

— А я могу, — утвердила голос свой Катерина. — И вот рассказ... Володя, дай твой пиджак. — Она надела его пиджак и стала похожа на мужчину — решительная, бескомпромиссная. — Не верю в женщин, которые любят оперироваться, а есть ведь такие...

— Мы не из тех, — выдохнули обе разом — Мария и Фрося.

— Не верю Молоху Смерти, инстинкту самосожжения, — вытвердила Катерина истово, фанатично. — Верю Ваалу соития, деторождения.

— Деторождения, — повторили за ней подружки.

— Не верю в святых монахов, какие никогда не взглянут на женщину, не соблазнясь.

— А как же насчет того, что где-то в Хорватии родился шестимильярдный житель планеты? — заметил Алексей иронично. — А к 2020-му году нас будет уже все девять. Вот ты надела мужские одежды — и хоть отправляй в Чечню с «калашниковым». Прикрыла мужским одеянием женские свои греховные сути...

— А в телепередаче «Поле чудес» одна милая такая, красивая девушка из Минска, показали, занимается тяжелой атлетикой, — как бы между прочим сказала Фрося. — Ее личной рекорд — 115 кило. Девушки и в футбол играют, в хоккей на траве. А Катюша вот лошадница, по коням помирает...

— Да и сама-то в летчицы собираешься, бэмс, — щелкнула по носу ее Катерина. — Да не в этом дело, девоньки, а в чем? Почему это платье духовного покроя похоже на женское, а мы, женщины, ходим в брючках?.. И все же про фото. Все в той истории перемешалось — что из самой жизни, а что, мне представляется, — фантастика, мистика. Это как наша Кузьминишна — литераторша, все тараторит «про двуплановость изображения». Ну, как во сне бывает, — и про меня вроде, и про кого-то еще другого одновременно.

Вот одна молодая женщина (ну я навроде) вышла замуж. Живем себе с мужем полгода, год, полтора — никакого эффекта. Не беременею я, хоть убейся...

— Тебе бы Володьку, — усмехнулась Мария.

— Уж все в семье беспокоиться стали: как это так? И кто виноват, и что делать? Мать вопросиками скользкими закидала, а потом и напрямую: «Чего ж это, до-

ченька, ты, как корова кооперативная, век будешь на передое?» Замучила мать, соседи замучили. Перетал-киваются, подхихикивают. Это вам не большой город, где есть чем людям заняться, а тут село, общественное мнение тут же на языке.

Вот мать мне и говорит: «Может, мужа тебе сменить?» А еще тише, оглядчиво: «А может, Витьку, племянника попросить? Или дядю Васю — младшего брата отцова? Плетун — каких свет не видывал, он тебе это дело устроит...»

— Ой, девочка, вот секс, хорошо! — похотливо потер руками Алеша — божий человек, не говоря уже о Володьке и всех остальных: — Да гони давай! Обожаем!

— Представьте себе, — усмехнулась кривенько Катерина. — Прошло какое-то время, наконец, та женщина забеременела.

— А ты?

— Семь месяцев плод проносила... Патронаж теперь, медосмотры. Вот врачи ей и говорят: мол, не может родить — узкий таз, придется делать кесарево сечение. Представляете, девочки? Или в семь месяцев выкидыш, или ждать еще законных два месяца...

— А у лошади сколько этот период? — встрял Володька.

— Вот проходит еще два месяца, — продолжала Катерина. — На операционный стол нас с той женщиной и понесли. Положили под нож хирурга. И, пока еще не дали наркоз, без тумана, в сознании ясном, лежу я и лихорадочно соображаю: «Есть у меня еще шанс или нет? Есть или нет... есть или нет?..» И что я увидела, что меня посетило? Не человечество шестимильярдное, даже не мать родная, а темень, жуть какая-то, страх несусветный, антарктический холод, от которого дух немеет, твердеет тело. И живот стал как будто не свой. И я уж думаю, надо в руки брать себя, плохо будет ребенку. А лошадь стоит надо мною, мотает уздечкой и черные яблоки жует. И слюни лошажьи, как стру-

ны, мне на живот — тоже черные, и от них замерзает то место, куда они капают, обмораживается, становится мертвым, хотя все остальное пока что живо, но и оно уже обречено, потому что темно все кругом, хлад и мрак, и только лучик впереди один, и в лучике чье-то лицо...

И вот лицо это, оказывается, этой женщины, что на обложке того французского журнала «Эль» («Она»), который я только после увижу. Именно я, а не та женщина, та французская женщина, конечно, уже умерла. И это она, оказывается, очутилась на обложке журнала. А я вот живу, и лучик тот — ребенок той женщины, который родился как надежда умершей, как ее продолжение... А я вот замуж еще не выходила и боюсь выходить...

— От судьбы не уйдешь, — вздохнула покорно Мария. — Что начертано, будет исполнено.

— И с чего же это она родить-то не могла? — спросил Володька. — Интересно.

— Ничего интересного, — ответил Иван. — Сказано же, наследственность такая — узкий таз, ограничено деторождение.

— Да нет, — усмехнулся Алеша. — Я знаю эту семью. Единственный, долгожданный ребенок. Отец ждал мальчика, а родилась девочка. И все равно отец стал звать ее Алешиком, считать мальчиком, и все стали также звать ее: «Алешик, Алешик...» Коротко стригли, по-мальчишески одевали; она в футбол гоняла с ребятами, по деревьям лазила, рыбу на речке ловила. Чего вы хотели от нее, чтоб она еще и рожала?

— Ну да, если штанги таскать, — заикнулся было Володька, но Иван его перебил:

— А может, и хватит рожать всем подряд? Вон Мария пусть рожает, у нее это хорошо получится.

— Ну, и чем закончилась та история? — обернулись все к Катерине.

— С фото, что ли? — вздохнула она. — А написала я во Францию, в редакцию журнала. Ответили: дей-

ствительно, мол, гражданка такая в их стране больше не проживает. Вот и все, мальчики и девочки, отцы и матери, дедушки и бабушки...

А солнце было уже высоко. Лучи падали прямо, не давая тени. Но косвенно страх еще оставался, однако призраков в звоннице больше не наблюдалось. Возможно стало свободно смотреть за речку Седмицу в сторону сельской администрации с ее «триколором» и еще далее, на райцентровский военкомат за горизонтом, весь в пылу полевых испарений; и где-то ведь там Чечня, а тут прах Ермолова у Троицкой церкви — в серединной России...

РАССКАЗ НИНОЧКИ

Все ожидали, что белым днем «соломенные» машины на кладбище снова появятся, в воздухе повиснут гробы, на цепях закачаются, а там внизу под ними, со стен храма, сойдут тонкие призраки, грубо, однако, лижущие огневые свои сковородки. Но машины не загудели, призраки как прилипли к своим сковородкам, и только грачи на липах продолжали висеть черными виноградными гроздьями, вещая и предвещая. А отдаленно, по речке, продолжали перетекать голоса: «Володя-я-я-а»... — «Нина-а-а»... Да скрежет бреднем по донным каменьям, да атмосфера удушья. А солнце кровило к закату...

Нина расстегнула халатик — все пуговочки до самых колен. Алексей тут же смахнул этот халатик с Нины и накинул себе на плечи. В Нининном халатике он был похож на девицу — блондинистый, почти белесый, с мягкими, почти женственными чертами. Не стесняясь, Ниночка прижалась к его груди:

— Наверно, я забеременела, девочки. Два месяца — и нет ничего...

— Все ясно, — ухмыльнулся Иван, взглянув на Володьку.

— Нет, не ясно, — отодвинулся Владимир от Ниночки. — Это же египтянка, «санта»... Нефертити...

— И от кого же?

— Вот, — положила Нина руку на плечо Алексею.

— Ну вы даете! — вспыхнула Фрося, втайне, видно, давно рассчитывала на Алексея. — И когда хоть успели?

— А в апреле еще. Как повестки принесли, — сказала Ниночка. — Я тогда его пожалела.

— Ничего себе, черный монах! — не съезжала усмешка с Ивана. — А еще в митрополиты собирался. В апостолы церкви идут лишь из черных монахов, которые без жен, без детей.

— Может, мне тоже, того... аборт сделать? — засмущалась откровенная Ниночка.

— Видала, что бывает? — сказала Мария.

— Что?

— Ну, на обложке журнала.

— Во дела, — пожалели ребята Алешу. — Что ж тебе теперь делать-то?

— Как же это у вас произошло? — строго глядела на Ниночку Фрося.

— Что же теперь ей — отказывать? — вступилась за подружку Катерина. — Ежели хоцца, да, Ниночка?

— Всем хоцца, — засмеялся Володька.

— Где же это вы пристроились — в соломе, что ль? — не сбавляла строгости Фрося.

— В соломе, — вздохнула покорно Ниночка.

— Эх ты, телка-а-а, — протянула Фрося и намахнулась пучком соломы на Алексея. — И ты хорош, хама-идол! Детей плодить безнадзорных.

— Ребята, ребята! — вступилась Мария за «сладкую парочку». — Дети — цветы нашей жизни.

— Давайте их на Володьку писать, — сказала Фрося. — Все равно в Чечню ему, там убьют, похоронят. А тут Ниночке хоть какие-то деньги дадут.

— Сейчас вот! — вся поджалась, заледенела Мария. — На чужое губы не раскатывайте.

— Ну дак как же вы в соломе-то, где? — рассмеялся похотливо этот бычила Володька.

— Был денечек... в апреле, — сказала Нина мечтательно. — Первый такой — настоящий, весенний денек. Помните, пришли тогда повестки из военкомата?.. Вот мы вдвоем и оказались в поле. То все вместе ходим из школы на наш поселок, а то вдвоем-то — он и я... Идем Алисовым верхом, а солнышко — как и сейчас. И зеленая травка за спиной. И березы по краю поля. И грачи еще кричат, но уже угомоннее, тише, на яйца в гнездах садятся. Проходим мимо скирда с ячменной соломой, Алеша и говорит, а пошли посмотрим, как мыши за зиму скирд отделали. Подходим, глядим — логово в соломе...

— Это Володька с Марусей, — усмехнулась Фрося кривой усмешечкой. — Там еще до вас прилунились.

— В самом деле, да, Алеш? — продолжала Ниночка. — Солома расстелена, смята...

— Братцы! — потер энергично руками Володька. — Обожаю, сексуальный момент, ну давай!

— Что давай? — покраснела Ниночка и повернулась к Алеше. — Вот он весь задрожал, да, Алеш? И говорит: «А знаешь, что такое право первой ночи?» — «Но сейчас же день», — говорю ему. — «У барина, — говорит, — было право такое. Перед тем, как выдадут крепостную девицу, ведут к барину — тот должен быть первым. Еще и целковый за это давал...»

— Ну, и что тебе дал? — подтолкнул Нину Володька.

— А ты, бугай, помолчи, не ревнуй, — остановили Володьку девчата. — Дай дослушать. Ну и дальше что?

— Сграбастал он сразу и повалил, — вздохнула покорно Ниночка. — И лежали мы с ним лежали, ничего сначала не слышали. А потом стали мышей в скирде различать. Попискивали где-то внутри, солому потискивают, шебуршатся...

— Это у тебя уже в животе.

— Потом прямо по голой спине мышка одна пробе-

жала, да, Алеш? Я от страха чуть не умерла. А он мне ладошку на рот. Вовремя ладошку-то, да, Алеш? Говорок слышим...

— Кто же это? — обернулся к Ниночке Иван.

— Да не вы, а вот они, — показала глазами Нина на Владимира и Марию. — Вот они — эта «сладкая парочка». С другой стороны скирда лежат... мышиный писк прекратился, и как будто паровоз на станции пары стал пускать... Верховой ветер пошел по деревьям, макушки стал гнуть остервенело. Вот энергия где, атомный реактор по расщепленью ядра...

— Да уж, конечно, — опустила стыдливо глаза Мария. — Не мышиный же писк в вашей ячменной соломе.

— А результат — один, — по-прежнему был ироничен Иван. — Главное — что поезд прошел, протащил свои голубые вагончики. Голубые, да?

— Голубые.

Это все, чего добивался Иван от Ниночки, но Нина молчала. Глянув на себя как бы со стороны, она вдруг ушла в себя, остановилась.

— Зеленые, — сказала она монотонно. — Вагончики-то были зеленые.

— Почему? — спросила Фрося.

— Почему?! — повторила за ней построже Мария.

— Она-то ладно, — улыбнувшись, кивнула на Фросю Ниночка, — а вот ты-то, Мария, почему не знаешь, что вагончики бывают зеленые?

— Ну, почему, скажи все-таки, почему? — не отступалась Мария.

— Да потому что зеленый — цвет жизни, надежды. Вот почему я села тогда в поезд, в котором вагончики были (какие?) — зеленые!

— Зеленый, темно-зеленый — цвет Марракотовой бездны, — поддержал Ниночку Алексей.

— Это цвет солнца и неба, совестный цвет, я так понимаю, — сказала Катерина-Катюша.

— Цвет хлеба и родника, — подтвердил Иван.

— Блондинистый от Пушкина и от Есенина, пашанишный, — односложно заметил Алеша.

— Русые головы, русые, как у наших детей! — счастливо засмеялась Мария.

РАССКАЗ МАРИИ

— Все дело в том, — всем торсом развернулась Мария к Алексею и Ниночке, — что нас в скирде тогда не было, да, Володь?

— А кто ж это был в таком случае? — побелела Ниночка. — В соломе-то.

— А кто на кладбище сейчас? — заметил Иван. — Где с машин ночных эти гробокопатели?

— Фантомы, призраки, — обеспокоились все, оглядываясь. — Растворились в воздухе, как и не бывало. Вишь, и шаги по лестнице оборвались... чертовщина какая-то...

— Звуки в стенки ушли, — выразила свое мнение Фрося. — Во фрески... в ад и рай... в эти роли апостолов...

— Господи, от вас тут такого наслушаешься, — вздохнула Мария. — И взаправду крыша поедет. А спущусь-ка я, погляжу во храме на сады Эдемовы, на райские яблочки, которых Ева вкусила... Сколько их там?

— Да не все их съела Ева, не все, — засмеялась Фрося. — Уж тебе-то оставила.

Деревянные порожки долго скрипели под грузноватым шагом Марии, наконец, они стихли. Зато слышно стало, как щелкали капли там внизу, с потолка, еще от вчерашнего дождя. Посреди пола лужица образовалась, это все пропускала через себя раскрытая крыша. И опять на лестнице возникли плотные, основательные шаги.

— Господи! — показалась снизу голова, едва выдохнула из себя Мария, помертвевшая, ставшая белой, как полотно. — На фресках-то... где сады Эдемовы и Ева... ни единого яблочка!

— Да ну? — удивились все, кто был тут в звоннице.

— Ну да, — держась за сердце, опустилась на солому Мария.

Володька тут же метнулся в лестничный проем. Шаги его зачастили, ходуном заходили сверху вниз все порожки.

Вскоре Володька вернулся ошарашенный, смирный, с посылочным ящиком под мышкой. В ящичке были яблоки — зеленые, ядреные, умытые.

— Вот! В ящик, что ли, сыграли яблоки эти со стенки, — пожал он плечами. — В самом деле, на фресках ни одного. А под колонной наземи — ящик.

Страх, который витал в звоннице и который за день едва успело выкурить солнце, опять же прорезался в лицах. Стенка просохла, душа выпарилась. Что хоть в мире-то деется в конце второго тысячелетия? Еще чего, кроме души, в этой Кабардино-Балкарии?

— Ну-ка, ну-ка, — кинулся в лестничный проем теперь уж Иван. — Где душа, где просохло?

Все ждали его. Черные грачи на липах вырастали прямо-таки на глазах, с мяч футбольный, и все дулись, дулись. Сколько же их там, этих черных футбольных мячей? Пора бы в Европе хоть что-нибудь да и выигрывать, а не только питать чужие клубы «легионерами» да комментаторам взахлеб радоваться чужим чемпионатам. «Ну нет уж, — читалось в глазах друг у друга, — пока такое творится на стенке, формы хорошей не жди!»... И плечи Ивана показались из лестничного проема:

— Вот дурни-то! Крыша не поехала, а протекает всего-то, вот дождем стенку и обмыло, слизало яблоки, стали они незаметны.

— У страха глаза велики, — хохотнула нервно Мария.

А Володька и говорит:

— А эти яблоки, что в ящике, откуда тогда?

И хрясь одно зубами своими лошажьими — самое крупное, огневое. Подает другую половинку Марии —

сбацай со мной «полонез». А что — вполне реальное освещение факта. Не глиняный, не раскрашенные виртуально, не со стенки кромешной плод, а сочный такой, реальный, хрустит. И опять стоят все, журятся все да передергиваются, черти путают голову. Не то, так это. А ведь все пионерами были, атеизм от и до проходили в школе, особенно по зоологии. Залипай — учитель ихний — так вообще помешался на этом своем атеизме. «Видали, говорит, ремешок у меня на штанах? Наборный, серебром отливает. Так это — от Лысенко Трофима Денисовича, лично мне подарил. А вот эта чайная ложечка — от Тимирязева». И голос из класса: «Так он давно уже умер». — «А за что, спрашивается, он мне подарил? А за то, что я разделяю его божественную комедию». И опять вопрос из класса: «А чью именно — Лысенко или Тимирязева?» И другой вопрос: «А божественным атеизм разве бывает... помнишь, это ты говоришь, да, Иван?» — «Как же, как же». — «А с «Божественной комедией» как же, с авторством Данте?» — «То комедия, а то атеизм», — отмахивается, как от мух, Залипай (он из деревни, из своей Залипаевки, там все нехристи, церковь себе так за века и не построили, к нам сюда в Седмицу ходили)...

— Ну, тогда я пошла, — шмыгнула вниз по лестнице Фрося.

Вскорости и она вылезает из лестничного провала, размахивает бумаженцией:

— Вот придурки! Видали? А еще Залипая кроете... И ты хороша! — повернулась она к Марусе. — Яблоки — это мыши, что ли, на стенке, по-твоему, съели? Уж подсыхает стенка-то, яблоки опять обозначились.

— Как у шпионов, специально текст то исчезает, то появляется, — сказал Володька и хвать бумажку из Фросиных рук. — Дай-ка сюда!

— Это бабка моя писала, — объясняла Фрося. — Яблоки-то принесла, поставила перед дверью. Догада-

лась, где я, вот старая мымра... И записку еще приложила. Володька-то хвать ящик и сюда его, а записка и выронись, вот: «Дорогая внученька Фроська! Марш сейчас же домой! Нечего с этими анчибалами по скирдам да по церквам скитаться, скоро в тюрьму посодють за такие дела. А у матерей сердца уж пообрывались. Ты их всех в шею сюда гони и сама давай домой. Твоя бабка Галя».

— Ух, какая грамотная, «Интерпол», милицейский начальник! — рассмеялся Володька и порвал записку к чертовой бабушке на мелкие кусочки да шварк их в окно: летите, голуби, летите...

— Твой черед, расскажи чё-нить, — повернулись подружки к Марии.

— Вот про яблоки хоть.

— Что про яблоки? Что зеленые, цвет надежды? — пожала плечами Мария. — Ну, такая, значит, история... Яблоки, когда корове давали, всегда обычно на мелкие кусочки резали, а тут целиком. Вот Красавка одно яблоко хоп, а оно в горле-то и встань поперек — ни туда ни сюда. Упала на колени Красавка — амба, бабка опрометью в хату за иконой, а дед в клуню — за дрыном. Бабка икону держит перед коровой, а дед корове-то по мослам, по мослам! Красавка — иых — яблоко и провалилось. Встала коровенка с коленок, стоит — трясется вся. А бабка с дедом как схватились ругаться, кто больше помог, кто спаситель... И после, бывало, как принесет бабка подол яблок из сада, так на стол возле меня обязательно ножик положит, вот какая!.. И вот он, ножичек, тут...

— Хороший рассказ, поучительный, — заметила Фрося. — Ну, и сколько ж ты их зараз съедаешь?

— Да штук девятнадцать.

— Ого! — изумился Володька.

— А можешь двадцать пять?

— Ничего себе аппетиты! — аж раскрыл рот Владимир. — Столько детей не бывает даже на Кавказе, у чеченцев.

— А ты думал как, — засмеялась Мария. — Бог дает — бери, а то обидится.

— Девять тоже много, — сказала Катерина. — Не у каждой лошади столько зубов бывает.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ

А солнце скользнуло за горизонт. И опять в звоннице, которая, розовея, еще держала на штукатурке последний вечерний свет, навалилась темень, уж ночь. Но вот приподнялась луна-лунища, покачалась и пошла в гору. Мрачная тарелка — ночная красавица. Все залила своей красноватой, неверной призрачностью. Однако на виднушке стало так светло, хоть газетки читай в темно-бело-розовом изображении, записку от бабки Гали к ним сюда, как к турецкому султану.

— Ух ты, какой реализм с романтической кровью! — выразился Алеша.

Никто не обратил внимания на его выражение, а зря. Зачарованные то ли кровной красивостью самой ночи, то ли остаточным страхом, разросшимся в самой тревожности душ. Опять черт знает что перед ними: то ли Седмицкая сельская администрация с ее военным столом, то ли сам райвоенкомат. Ночь-то ночью, да под луной все ровно оцепенело, все видать до самой Седмицы, за речкой по заливному лугу, по широкой степи. Пепельные блики, остекленелая тишь. Даже петух не вскрикнет, не завизжит под ножом поросенок, какого как раз воруют где-нибудь во дворе. Азиятская хитрость — накинуть шапку на рыло и сталь под горло.

— Знаете такого поэта — Гарсиа Лорку? — сказал Алеша. — Испанский поэт, из поэтов поэт! Как наш Сергей Есенин... пронзительный, сдваивал образ... Вот что написано им про такую же ночь. Музыка приходит сама, слова сами поются, вот так, — и Алеша запел, глядя на полный диск луны изначальной прямо перед собой.

Романс о Луне

«Луна в цыганскую кузню
Вплыла жасмином воланов.
И смотрит, смотрит ребенок
И глаз не отводит; отпрянув,
Луна закинула руки,
И дразнит ветер полночный
Своей оловянною грудью —
Бесстыдной и непорочной.
Луна, Луна моя, скройся!
Если вернутся цыгане,
Возьмут они твое сердце
И серебра начеканят.
Возьмут они твое сердце...
Возьмут они твое сердце...
Возьмут они...»

— Эх, твою мать, гитару бы! — вздохнул Володька.

— Ы-ы-ы... — отозвалось эхо.

— Ну и что с тем поэтом... с Лоркой? — спросила Мария. — Что за судьба?

— А как и Володька в Чечне... погиб в своей Андалузии, — почти прошептал Алеша. — Его расстреляли солдаты. Как и всех поэтов, в гражданскую почему-то расстреливают...

— Он же хороший! Так это сказать: «...и серебра начеканят», — дрогнул голос Марии.

— Их же так мало, поэтов, — плакала Ниночка.

— Они лишают людей надежды, — всхлипнула и Катерина.

— Ну и что с судьбой его, расстреляли?

А Фрося как уперлась лбом в камень стены, да так и нажимала лбом, нажимала до боли, но боли не получалось, просто нехорошо было Фросе, и все.

— А судьба Гарсиа Лорки — в этой вот песне, — живо среагировал Алеша. — И это, считай, мой рассказ. Итак, «Сомнамбулический романс».

И голос его снова возник в ночи, голос и ночь — в

этой звоннице под пепельным, изумрудным, каким-то болотно-инобытийным светом луны:

Любовь моя — цвет зеленый,
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
Поближе — конь в перелеске.
Ночами по грудь в тумане
Она у перил сидела.
Серебряный иней взгляда
И зелень волос и тела.
Любовь моя — цвет зеленый.
Лишь месяц цыганский выйдет,
Весь мир с нее глаз не сводит,
И только она не видит.
Земляк, я коня лихого
Сменял бы на эту кровлю,
На зеркало, нож, а сбрую —
На краешек изголовья.
Земляк, я из дальней Кабры
Иду, истекая кровью.
Хочу умереть, как люди,
Оплаканные любовью.
Не видишь ты эту рану —
От горла и до ключицы.
Все кровью пропахло, парень,
Все кровью твоей сочится.
И я-то уже не я-то,
Мой дом уж не дом, как было.
Так дайте хотя бы подняться
К высоким этим перилам.
О дайте, дайте подняться
К зеленым этим перилам!
К перилам лунного света
Над гулом моря унылым...
А ночь была задушевной,
Как тихий дом голубиный.
Когда патруль полупьяный
Вбежал, сорвав карабины...

И голос в ночи оборвался. И поэта не стало, оборвалась и песня. В Испании, в Андалузии. А тут — как

сели все на солому в звоннице своей седмицкой церкви, так и сидели. Слова захлестнули и канули в звезды, откуда было видать далеко, глубоко. И кони гривастые, слетев со второй, российской телепрограммы, рванулись из сердца и унеслись в свободную тему...

— «...сорвав карабины», — сказал вслух Владимир.

И слово «карабины» прозвучало как-то особо — как будущее в его молодых, несолдатских руках. И где-то там, в Андалузии, и тут — на переходе отсюда в небытие...

А в спутанных-перепутанных мыслях, обвитых-перевитых дикими ветрами степей, сминая ковыли, из недр исторических уже мчались к ним сюда в душу конные табуны, земля кипела да искры сыпались из ноздрей да из-под копыт. Тумен к тумену, хан к хану, орда к орде... Белые, желтые листья падают им на плечи. Валятся под ноги города, исчезают народы... Потомки Батыевы на бычьих пузырях переплывают Волгу, уж выпиты плавные воды Оки. И стрелами заслонено солнце. И лица скуластые, чеканные обрезаны в медном покрове наплечников, булаты — наперевес...

О, Русская земля! Ты уже за холмом...

И тут совершенно *реально* взревела машина — опять эти гробокопатели! Роют могилы ромейские — воинов, оставшихся от войны, патетическая соната, чтобы отправить кости домой, куда западает солнце. И эти тут, заработав себе на хлеб, продляют подлую жизнь. И тут же совершенно *реально* черные грачи на кладбищенских липах взграяли, раскричались, обвевая звуками литые конные массы.

О, луна! Отчего же ты равнодушна?

— Тумены Батыевы — видишь ли их? — спросил Алеша Владимира.

— Нет, — пожал тот плечами.

— А ты? — повернулся Алеша к Марии.

— Н-нет, — сказала Мария растерянно. — Не вижу луны.

— А ты? — коснулся Алеша Ниночкиного плеча.

— Вижу, вижу! — вспыхнула Ниночка. — Булаты наперевес... О, Русская земля! Ты уже за холмом...

— Конский топ заслоняет даже страх смерти, — сказал Иван. — Русь, куда же ты несешься! О нео... Европа, с какого «порядка» снова ты начинаешься...

— Я хочу дома быть похороненным, — четко выговорил Владимир. — Не в Австрии, не в Австралии...

Не успели жить, а уже ловим тлены могил.

РАССКАЗ ИВАНА

— Я бы травки не прочь курнуть, — улыбнулся Володька.

— Зачем? — оторопел Алексей.

— Надо же, как перед смертью, попробовать, — вздохнул Володька. — А то помрешь не своей смертью, так и не узнав, что же все-таки далеко, глубоко, зыбко на переходе.

— Перебьешься, — сверкнула глазищами в темном углу Катерина. — Еще успеешь, героин нашего времени.

А в глазах уж рябило. Это пепельный, сомнамбулический свет то скрывался, то раскрывался. По чистому диску луны побежали точки-тире, бродили эти черные, дождевые, косматые тучи; черные узники смерти, грачи, срывались с кладбищенских лип и перекрывали небо. Однако мистику в сторону, хотя она, растленная за день, ночью скорее концентрируется. Жуть берет, воздух стекленеет, затмевается крыльями, лицами, вагонами железных дорог, потому как железнодорожное движение для просторов России, говорят, — самое главное из дорожных сообщений.

— Ну и где те машины? — сказала, уклоняясь, Мария.

— Что с «соломенными» моторами, с каменными топорами?

— Почему с каменными? — пожала плечами Фрося.

— Володька топором рубил рыбу на камне.

— Когда это было! — вспыхнула Ниночка, вступаясь за Володьку и возбуждаясь сменой чувств. — Может, вовсе и не было этих гробокопателей?! Ни топора, ни лопат, ни скрежета зубовного от золотых коронок из черепа, ни самой Отечественной, — ничего?

— Может, и не было, — не удивилась и этому Фрося. — Если хочешь — хоти. А не хочешь — как знаешь.

— Вот еще! — топнула ножкой экстравагантная Ниночка — ночью ее всегда куда-то несло, особенно при луне, а заканчивалось все постелью. — Да, но потомки Батыева были ль?

— Вон же они, слышите? — выбросила свой козырь неотразимый Мария. — Конский топ и конский пот, гул копытный в широкой степи.

— Движутся, движутся, — сказала Ниночка. — Ковыли под копытами, ковыли съедают и дальше, ковыли съедают и... и...

— Что, заклинило? — обеспокоился Иван.

— А ты что видишь? — спросила Марию Фрося.

— Видим, видим! — продолжала кричать вполне сомнамбулически Ниночка. — Как не видеть? На семь частей рассекают, на семь огромных материковых кусков.

— Золотая орда рассыпалась на двенадцать, — заметил Иван монотонно. — Больной умер бы сразу, если бы не надеялся. Россия входит, слава Богу, в знак Водолея.

— Знаете хоть, что это такое? — оживился Алеша. И тут же вскочил, зажегся идеей, как спичка. — Это значит, что мы под благоприятным сочетанием звезд. Вот Гоголь лежит и лежит, лежит и лежит — летаргически. И сам ведь надеется, и вся Россия надеется, что он проснется, — таланты не усыпимы. Гении не имеют границ...

— А все равно еще — нехорошее, странное, — пошевелилась Мария. — Ой, глядите! Орды уже переправились через Седмицу, перед Перуновым Холмом развеваются бунчуки. Видите, видите?

— Видим, видим! — закричали сидящие тут на соломе. — Бунчуки в развитии, развевается знамя...

— А остальное, как я, — перебил Марию Иван. — Как раз мой черед рассказывать... Итак, слышите там внизу, в храме, заполошные голоса? И это все они — наши седмицкие... сбежались сюда, под крыло Казанской Божьей Матери. И крики их слышите: «Защити! Помоги!..» Это голос Фросиной бабки, отца Володькиного, дядьев Алешиных... предков наших... Слышите, узнаете?

— Слышим, слышим! Слышим и узнаем!

А вот и удары судьбы — стенобитным орудием в дверь. И плач во храме, вой и стенанья. Сбиты петли, потомки Батыевы валят во храм на конях. Как вросли в коней-то, сидят — влитые, выбирают невест: «Вот эта... вот эту и ту». Огромный такой — верзила, безумный такой — кентавр подъехал к одной девице с тугой косой, витой-перевитой. Ибо сила тайная Солнца заключена именно в этом. И махнул он мечом, коса так и пала к ногам. И тут девица, как кошка, прыгнула на коня и, выхватив кинжал, вонзила в горло — тень так и осела... девица осталась в седле...

— В седле осталась? — ахнули все тут стоящие и сидящие.

— И ринулись к ней степняки. Но мановением руки хан остановил орду и отправил девицу в шатер. Он дал ей надежду. А кровь оставалась неубранной, и день, и другой...

— И день, и другой, — шевельнулись сидящие, солома под ними присвистнула.

— Плохо это или хорошо? — спросил Иван.

И тишина. И в голове у каждого: «Что плохо, а что хорошо?»

— Ну что кровь в христианском храме пролита христианкой.

Луна опустилась, и черные птицы грачи в гнездах стали не так уж страшны. Кто-то погиб, а кто-то, смер-

тью смерть поправ, может воскреснуть. Вспыхнув ярче тысячи солнц, под пепельным светом луны, русая коса, усеченная даже, продолжала висеть под святыми, приковывая внимание прихожан. Уж и Батыев туман сошел, и кони его были съедены; да и были ль тумены те? А может, коней в храмине и не было? Однако коса как сияла, а солнце алтаря березового в окне, говорят, как стояло, так и лежит до самого октября...

— Сам придумал? — спросила Мария.

— Это один краевед, — ответил Иван. — Горстями сыплет китайское, как из рога изобилия, из книжек да в книжки, из чужого — в свое... из чу... чу... чу...

— Заело, робот? — дернула Фрося его за рукав.

— Остановите китайцев, остановите китайцев, остановите кита... ката... ка-ка... ха-ха... ха...

«Так дайте хотя бы подняться
К высоким этим перилам!
К перилам лунного света
Над гулом моря унылым...
А ночь была задушевной,
Как тихий дом голубиный.
Когда патруль полупьяный
Вбежал, сорвав карабины...»

И все же реально опять же внизу там, у кладбища, — «соломенные» машины. В пролетах лунного света сидящие тут на соломе увидели силуэты с «соломенными» моторами. А в кузове рядами сидели солдаты (а может, бомжи сидели?) да с карабинами между коленей (или с бузиновыми палками, баши-бузуки?). И стоит лишь кашлянуть, как «бузука» эта, сорвавшись с плюща на стене, плюнет в лицо тебе, сухо-горячечно плюхнет, и алая роза расцветет посредине клумбы лица, чтобы засохнуть и умереть...

— Мария, Мария, — слегка пинал ногой Владимир подругу. — Ты видишь их, видишь?

Мария молчала от боли. Реальная ржавая дверь пенала храма скрипнула и испугалась себя же. Но каме-

шек выпрыгнул из-под сапога и ударил в листовое железо.

— Мария, Мария, — толкал уже яростно Владимир подругу. — Ты слышишь, слышишь?

Мария молчала. Она умерла еще с вечера и жила не в этом мире, не там, а тут еще просто так, автоматически.

— Я слышу, я слышу, — придвинулась к горячему телу Володи Ниночка.

— Мы слышим, слышим, — откликнулись все где-то между этим днем и вчерашним.

— Это за мной пришли, — четко сказал Володя нутряным, каким-то отчужденным, но теплым голосом — голосом Гарсиа Лорки.

РАССКАЗ АЛЕШИ

Луна сходила на нет с высоты подвенечного неба и уносила с собой инстинкты. Из них, еще таких молодых, но уже подозрительных, кое-что повидавших, когда инстинкты уносят самое главное — жизнь. Что значила эта Володькина фраза для него самого и для миллионов сограждан неузнаваемо прежней страны: «Это за мной! За мной пришли!» Однако час еще не пробил, все, как всегда, в организме растет, а интуиция ведет и показывает... Марина Цветаева — на земле просиявшая. Однако талант дионисийский... У Анны Ахматовой — аполлоновский... У Велимира Хлебникова — циклы из 365 лет, переселение душ. Твои двойники и сзади и впереди — это что, надежда на бессмертие, да?..»

— Видишь ли, — вслух уловил Алеша Володькину мысль, — я начал искать двойника в недрах, хотя бы на цикл назад.

— И что же? — прыгали жуткие губы Алеши. — Ни в Италии средневековой нет меня, ни во Франции, ни в Англии, ни в Германии — ну, нигде! Ну, думаю, бездарь! Не зафиксирован ты, следа от тебя никакого,

как не было, так и не останется... А тут зацепил, как вы помните, Бельгию и — нате вам. Этот Ян Брейгель-старший, известный художник, большой оригинал, — это он, оказывается, мой двойник. И вот во что соединились разбежавшиеся слова:

Поживем, хотя и годы коротки.
Где ты, мой братишка младший?
На сонет мой, чуть увядший,
Ты положишь свои свежие венки.

А далее музыка зазвучала, и по звукам пошло как по маслу, раз он живописец и пишет, извините-подвиньтесь, словом, звуком и маслом.

Наши годы коротки и велики.
Я узнал, что существуют двойники.
В той же Бельгии когда-то
Жил художник. Вроде я там
Делал маслом свои первые мазки.
Надо мною проплывают облака.
Воплощаются в меня мои века.
Я пою, а Брейгель-старший
Мне нашептывает марши,
Все слова живописует свысока.

— Ишь, Алеша-то как распелся, — улыбнулась миловидная Ниночка. — Прямо из хора Пятницкого. А ведь очередь твоя, Володичка, байки баять.

— А я и не увиливаю, наоборот, в бой так и рвусь, — засмеялся Володя, — чего бы только придумать? Чтобы по теме.

— И не глупо чтобы, — подала Фрося голос упаднически из своего уголочка.

— Ага, вот-вот, — в рост поднялся Владимир и стал ходить по диагонали — три меленьких шажочка вперед, два с половиной побольше назад. — Видите, где мы находимся?

— В кунсткамере.

— Вот видите, — потрогал ладонью кирпичную стенку Володька, — конусом вверх пирамида! Мы нахо-

димся в пи-ра-ми-де. А египетские пирамиды — одно из таинств, невероятностей цивилизации, всего человечества. И если арабы, например, вложили свой разум в вещи конкретные, материальные — арабские скакуны, клинки булатные, «аква-вита» — абстрактность, то египтяне вложили...

— Пирамиды — это царство мертвых, — нажимал Иван на красивый, серебристый свой баритон. — В них лежат мумии, мумифицированные идеи, фараонам, извините-подвиньтесь, многая тысяча лет...

— Магрибинец какой, — не выдержала Катерина. — Пушкин был от эфиопов, из Ганнибалов, а Джуна — ассирийка...

— И Иисус был в корнях своих тоже из ассирийцев, — глуховато как-то сказал Алексей. — Предки пришли в Палестину из Двуречья, из недр среднеазиатских, из Древнего Вавилона.

— И откуда все это?

— Из журнала такого, «Наука и религия», сам читал статью доктора богословия, — ответил Алеша.

— Не перебивайте, а то нить потеряю, — сказал Володя. — Так вот, он — этот «магрибинец» — вывел формулу — обратную закономерность. Пирамида у него является не консервантом смерти, не хранилищем мумий, а, наоборот, стимулятором жизни, созидателем биоэнергии, биоэлектростанцией... Внутри пирамиды у «магрибинца», волхва этого, кусок земли, огород. Всего несколько акров, но это позволяет ему выращивать все: огурцы, помидоры, капусту... И все у него, внутри пирамиды, дает урожай едва ли не втрое больше, чем тут же, за стенкой, в природе. Дядька мой собрал урожай однажды и взвесил... для сравнения... Все делал так же, поливал, рыхлил, выполнял агротехнические приемы, а эффект разительный... Здесь и сейчас, Саша Любимов по телевизору, его больше волнует граница, через которую просачиваются с оружием... Так вот, и решил он...

— Кто — Саша?

— Нет, дядя Витя!.. Тьфу ты, Господи! Не дядя Витя, а тот «магрибинец»... он тогда не был еще «магрибинцем», а был бел, как он говорит, белый, как все мы. И решил он поставить кровать свою в пирамиде. Ну, пирамида из досок, бутылок, стекла. И ночью там спал, и большую часть дня проводил в этой своей искусственной пирамиде...

— И что?

— И вот, говорит, результат, — сказал Володя. — И вроде негр и не негр, европеец и не европеец, а кто же он тогда — человек этот, с двойным гражданством?

— Кто? Этот сосед наш новый, приехавший с Украины?

— Тебе-то что? Ну, эфиоп. Вернее, предок Пушкина, здесь и сейчас... идет пушкинский год.

— Какой же он предок, если здесь и сейчас?

— Ну, потомок.

— А Пушкин, по Есенину, был «блондинистый, почти белесый».

— Ну так чем же все кончилось? — спросил Алеша Володю про самую суть.

— Есть такой сорт помидоров — «Негр» называется, «Черный помидор», — сказал Володя. — Три лета подряд были холодные, почти без солнца, и «Негры» — «Черные помидоры» подослабли, сделались красные.

— Возвратились в исходное состояние?

— Да.

— От этой повестки, Володь, — прижалась Мария к его плечу, — ты тоже весь почернел.

— Стресс, наверное, — вздохнул Иван. — Вроде спокойно снаружи, а внутри черти бродят, вулканы...

— Один вулкан — Кракатау — в Индонезии, — заметил Алеша, — взорвался в начале двадцатого века, так пыль принесло аж в Латинскую Америку, заслонила солнце по всей планете, и — отсюда недород, голод, мор, войны. Весь двадцатый век коту под хвост...

Всю Землю надо для гарантии под одну гигантскую пирамиду... Кстати, Ниночка, как мы себя чувствуем тут, в звоннице, в этой нашей «пирамиде Хеопса»?

— Я? — удивилась Ниночка. — Почему именно я? Я как все.

— А все чувствуют себя, как овощи у того «магрибинца».

— Не знаю, — заплакала Ниночка, видя, как Володька обнимает Марию.

— «Санта»... из Древнего Египта, — вздохнули все, как один, лежащие на соломе. — Не позавидуешь.

И тут же они разобрались по парочкам, а Фросе опять никого не досталось, так и осталась одна, а Володьке достался двойной комплект — двойной «урожай» женского платья вместо подушки.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. БЕЛАЯ МАНТИЯ

Они проснулись, когда солнце было уже высоко. И все семеро крайне удивились этому. Какая-то музыка была растворена в воздухе, в ликовании утра. И в этом было что-то родное и близкое. Вскоре музыка оформилась в песню, выделились голоса:

— Среди долины ровныя...

Они выглянули в пустые проемы звонницы и с высоты Перуновой увидели на лугу, перед речкой, людей в белых рубахах и белых паневах — в праздничных этих белых одеждах. «Ах да, Троица нынче!» — вспомнилось молодым. Косцы — в белом, согласно обычаю предков. И так захотелось вдруг рядом встати, косу вострую в руках подержати, пройти стежок с косой прямо перед собой. «Эх, да размахнись рука! У меня ль плечо шире дедова!» Еще вчера тут по берегам искали их бреднем, а сегодня уже отпевают седмицкими хороводными песнями. Белые мифы, солнечные столбы, призраки с черными глазницами на полуистлевших холстах.

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА

— Какая же сила нужна для того, — подал реальный звук, наконец, Владимир, — чтобы не мир тобой владел, а ты — миром.

— Да уж так, — перекривился Алеша. — По Вернадскому... был такой академик... Землю окружает пленка живая, жизнедеятельная — биосфера, Белая Мантия — сгусток энергии, сцена жизни, площадь раскрепощенности, эспланада твоя духотворная... Вечно кладет в «мантию» человечества веру, надежду, любовь. И, образуя сферу, не дает слабнуть белой энергии. Но параллельно этому существуют черные силы, зияют «черные дыры». Они отсасывают силы от Белой Мантии, и люди «черной дыры» уже не кладут, а, наоборот, забирают из биосферы, от «белых одежд»...

— Мальчики, — залопотала, захлопотала Ниночка. — Как интересно! Это что — рассказ твой, Володя?

— Курица, — усмехнулся Владимир. — Это идея, но голая.

— Рассказ, блин, — вступился Алеша, — это когда в конкретной художественной форме.

— Ах так, конкретику вам подавай? — наступал Володя. — А все дело в чем? Да не в том, что ударили кнутом, а как прицелились.

— А вот Вильгельм Телль, — заметил Иван как бы между прочим, — стрелой из лука сшибал яблоко на голове сына.

— На той неделе по телику фильм показывали — «Особенности национальной охоты», — поддержала Фрося Ивана. — Так там один егерь концом ременного кнута ссекает яблоко в руке дворянского недоросля...

— Ну, блин! — вспыхнул опять же Володька. — Посыпали, как из худого мешка.

— Из рога изобилия, — засмеялся Иван.

— Так о чем я? — замялся Владимир. — Ах да! Самое важное в жизни, оказывается, — чё?

— Вопрос о взаимоотношениях полов — мужского

и женского, биоэнергий — белой и черной, — подсказывал Алексей. — Об этих взаимопереходах, о подпитке вампиров...

— Мой дядя родной — отцов брат, дядя Кеша, — решительно начал рассказ свой Володя, — судьей работает в Подмосковье. Были как-то мы с отцом в гостях у него... Подпили они с отцом в честь встречи и заговорили о вырождении нации, о сокращении жизни. Вот дядя Кеша — судья разоткровенничался и говорит: «Знаешь ли, сколько я за свой век людям дополнительных лет дал?» — «Тюрьмы, что ль? Ну и сколько?» — «Да лет, наверное, на сто, а то, может, и на всю тыщу более, чем сюда до нас от Рождества Христова». — «Да это ты не дал, — возразил отец, — а взял, отобрал у людей... Ну, и сколько же ты и кому самое большее «дал», какой срок отмотал, так сказать, самый большой?» — «Н-да... — замялся тут дядя Кеша — районный народный судья. — В Америке самый большой срок 99 лет влепили одному негру... А вот в Таиланде недавно одному предпринимателю вот врубили — 585 лет! Тот даже в обморок рухнул после оглашения приговора». — «Дикари, — среагировал тут же отец. — У нас быть такого не может. Негде сидеть, телевизоров нету...» — «Да что же это, девяносто девять лет просидишь, что ли? — говорит судья. — Это же символически». — «А символически, — рассмеялся отец мой — батя, — и двадцатки хватит...» И брат его поддержал. С тех пор выше этого срока уже не дает. Это как наша медичка в Седмицах: и от гриппа таблетки, и от рака тоже таблетки, те же самые. А какая вам разница, когда помирать? Вот и дядя Кеша всем «сурьезным» дает теперь лет по двадцать: и за грабеж, и за «чисто русское убийство» с отягчающими обстоятельствами. А на всякий случай. Чтобы не прицепились, мы уже вступили в ОБСЕ, а в Европе смертная казнь отменена...

— Ну и что? — подозрительно продолжал смотреть Иван на Володьку. — В чем, собственно, «цимус» твоего рассказа?

— Ах, «цимус»? — засмеялся Володька. — Ну да, соль, значит... Весной отец съездил к брату опять и вот, возвратясь, что рассказал... Очень уж у нас, бывших «совков», развит стадный инстинкт. Вот и дядя Кеша после того разговора крепко, видать, задумался. Все по двадцать да по двадцать. Направо и налево. Неинтересно. А потом решился-таки, взял да и перестроился. «Сколько тебе?» — спросил он одного своего клиента. «Пятьдесят», — ответил тот. Вот и дал судья ему все пятьдесят, сколько, мол, сам просил. Объяснил мужику: «Пятьдесят да еще пятьдесят — вот и все сто. Будешь жить в двадцать первом веке, представляешь, сколько еще?..» Вызвали судью наверх: «Ты чего это творишь? Против всяческих норм Конституции. Ить мы в Совете Европы, так Страсбургский суд, мы теперь в их компетенции... Жалоба за жалобой пошли туда, ну заколебали». А дядя Кеша им и говорит: «Ну вот, делаешь людям добро, а тебе же боком». — «И какое же добро?» — «Я же к нему особо подходил — с белой энергией». — «А на хрена ему длинная жизнь твоя такая в застенке?» — «Черную энергию отсекал, — оправдывался судья. — Впервые ведь дал, сколько просили». — «Ну, блин, ты даешь!» — сказали ему даже в областной инстанции, а не то что в Страсбурге. И затолкали на всякий случай в психоневрологический. Отец мой ездил к нему, проведывал. Так тот и там находится в совершенно ясном сознании. Однако только в одном пунктике прошибает: говорит, раз вступили в Совет Европы, надо идти впереди планеты всей. Иными словами, надо быть гуманными до конца — давать столько, сколько просят. «Вот ты, — говорит отец, — совсем ведь ничего не просил, а сидишь». — «А я, — говорит тот, — больше хожу тут. И тишина у меня, но не матросская». Имеет в виду, что в «Матросской тишине» не посидишь, а стоя надо стоять, как в бочке селедка. Вот такие-то сухари...

— Что ж ты думаешь, — сказала Фрося Володьке, —

он вернется с белой энергией оттуда-то, твой дядя Кеша — народный судья?

— Плевако — был такой адвокат еще до революции, — заметил, между прочим, Иван. — Так вот, Плевако, когда судили одного старичка — служителя культа, сказал, и все слышат слова его до сих пор: «Гражданы судьи! Он же, этот служитель, отпускал вам ваши грехи всю свою жизнь. Так неужели мы не отпустим ему за какие-то не такие уж крупные прегрешения?» И присяжные старика оправдали. Вот вам и белая энергия слова!

— А судьи кто?

И в самом деле, время уже обеденное. И дело не в солнце, конечно, оно спряталось в тучку, а в том, что из-за тучи лился сверху на окружающую равнину белый рассеянней свет. А может, и из-под низу он лился — от белóй одежды из-за кустов, где, лежа на подсыхающем сене, отдыхали косцы? Не наступи на грабли, дружок! Белые кони мчатся в восхитительных снах. О Русь святая — Великая и Малая, Белая Русь — сгусток белой энергии, куда же ты мчишься? А в знаки своя — Водолея.

РАССКАЗ МАРИИ

И солнце вошло в самый пик. И черные птицы грачи отлетались, присев на кладбищенских липах, заглохли и растворились в порыве всяких миазмов, испаряющихся из недр здешнего чернозема. Зато перед проемами звонницы стали мотаться белые тени, как души призраков предков в облике голубей. Белые голуби — белые призраки — белое солнце в пустыне. Косцы на лугу, упарясь, уже пили квас.

— Так в чем сила вопроса? — подытожил Иван рассказ Владимира. — А чтобы копить белую энергию.

— Чтобы ее отдавать, — вздохнула Мария. — И отдавая — любить!..

Ух ты! То ли белое солнце сыграло роль, то ли косцы на лугу очумели от кваса, но тут что-то вздрогнуло, загремело из глубин и понесло, понесло...

— Вот, — сказала Мария, как будто высекая искру кресалом. — Я прочитала такие стихи. Одна поэтесса из Перу, тоже Мария, так оплакала смерть подруги. Я помню слова этой Марии Флориан, как сейчас.

И русская Мария запела вполголоса об индейской подружке:

— Плачь, источник, поивший ее водой,
Любовавшийся красотой ее перьев!
Умерла Урпильяй,
Умерла голубка!
Плачь, каменистый скат, накаленный солнцем,
Обжигавший ее карминные лапки!
Умерла Урпильяй,
Умерла голубка!
Плачь, бессмертник, подсматривающий из рощи,
Как горячо и нежно она любила!
Умерла Урпильяй,
Умерла голубка!

И смолкла Мария, и голос ее дрожал еще, подкрепляемый реальным воркованием реальных белых голубей по карнизу тут, чуть ниже проема звонницы. И Володя как ахнул, схватясь за голову, и неловко както осел, повалился на белый камень в углу. И все кинулись к нему. Начали брызгать лицо водичкой. Владимир лежал неподъемно.

— Солнечный удар! — констатировал Иван, который готовил себя в доктора. — Ишь, посинели губы. Белая энергия тоже бывает лишней, а доза смертельной...

— И-ах! — заломила руки Мария и пала на белый камень с Володей.

Она лежала без движения и уже сотрясалась всем телом, а голос ее, едва слышимый, подвывал сам, без всякой воли ее, — блекловатый, стенящий:

Умерла Урпильяй,
Умерла голубка!

Володька повернул голову и подмигнул Ивану, а затем Ниночке.

— Да хватит тебе, артистка! — обхватил он за плечи Ниночку. — Прекратите обе свой фарс!

Володька поднял Марию с белого камня, и все зааплодировали, засмеялись. А Мария покраснела, заплакала уже серьезно, навзрыд.

— Ну что ты, что ты, дурочка? — стоял перед ней, потупясь, Володька. — Я же нарочно — ну пошутил... ну прости...

— Да, ты умирать... а я... я, — продолжала рыдать Мария.

— Глупенькая, — гладил Володя ее округлые, дрожащие плечи и вдруг приник к ней и поцеловал прямо в губы ее аппетитные. И белые голуби как вспорхнули под потолком, да вон со звонницы — в проем отсюда.

Мария выпила воды, и ей стало лучше. И тут же в ней возникла необходимость откровения, наступил ее час, ее продолжало нести неизвестно куда. Она знала за собой эту особенность и все же сказала:

— Умрет Володька — умру и я.

И была тишина. На лугу отбивали косу. Подъехала бортовая машина, из кузова стали вытаскивать столы, скамейки, посуду. Готовился «сабантуй», видать, большой, государственный. А Мария, и сама осознавшая за собой это качество невероятности, видела, как несет ее откровение невесть куда. Ведь никакой же пользы для тебя — никакоичкой, а ведь выворачиваешься перед всеми, все потроха из себя, недра души своей вон из себя, все тайны свои и чужие, самые невероятные — семейные, родовые, божественные. А кому это надо? Ух ты, плоть-плотина! Как же ты обрываешься и прорываешься, белой энергией обрушиваясь на всех.

— Ах, Господи! — выдохнула она из себя. — Помните Хлестакова в «Ревизоре» у Гоголя? Вот ведь «бур-

ный поток»: и суп везут ему кораблями из Англии, и с министрами-то он на брудершафт... и ведь никакой пользы для себя...

— Ну, не сказал бы, — сухо зашлепал губами Иван. — А денежки с купчишек? А сахарные головки, а «веревочка» и та сгодится в дороге?

— А я вот знаю одну такую... Любочку, так ее несет просто так, — продолжала свое Мария. Как телега попадет в колею — и пошла, и пошла. Однажды мать купила ей дорогую шерстяную вещь, о которой она мечтала, — кардиган называется. Белый, пушистый, последний крик. Вечером стали примерять. Первой надела не Любочка, а сестра ее младшая — Вера. Примеряя, Вера так раскраснелась, так ей нравилось. И Любочка стала хвалить на Вере эту самую вещь — кардиган. Да так в раж вошла: как он хорошо сидит на Веруньке, прямо по ней, как он делает ее элегантной, красивой. Ну, все слова, что себе припасла, так и скатились сами собой иа Веруньку. «Ну что ж, — вздохнула мама, — давайте кардиган этот Веруньке отдадим, раз он личит ей. А тебе, Люба, потом что-нибудь подыщем». После Любочка пошла к себе и всю ночь проплакала в подушку... Вот и все. Вот вам белая мантия, испытание на человечность...

— Это ты про себя, — улыбнулась Катерина. — Наша Зина с вашей Верунькой в одном классе учатся, та ей все и рассказала.

— Слабые люди, — заметил Иван. — Это они так от слабости. А в здоровом теле — здоровый дух. А в слабом теле от бездарности что — зависть да злость... Вон в эпоху Просвещения был такой философ Мальбрани — сердцеед, а — горбун. А известный ученый Паскаль страдал припадками... Так до чего докатились оба — до мизантропии, всемирного зла. Так, да? А вот француза Абеляра, наоборот, за его откровение — откровенную любовь — оскопили. Ну, как бы взяли вдруг да и оскопили Ромео; что бы осталось Джульетте?

— Где это ты всего нахватался? — сказала Ниночка.

— В Древнем Египте, — усмехнулся Иван.

— Он ухо приложил к земле, — засмеялся Алеша. — Он криком... гамму не нарушит. Вот мы о Белой Мантии говорим, о белой энергии — и почему они слабые, если их куда-то несет?

— Ну, ты, блин, и даешь! — резко к нему повернулся Иван. — Ну и как насчет главного инстинкта человеческого. Каков он? Естественно, инстинкт самосохранения. Так вот, у нее — у Марии-то или нет его вовсе, или он значительно приглушен. Все летит у нее по волнам белой энергии. Заметим, просто так несет ее, без всякой для себя практической пользы. И что же? Придет время — доверят люди ей какое-либо серьезное дело?

— Я доверю, — прижалась всем телом к Марии Ниночка. — Доверю себя, свою душу.

Все засмеялись, одеревенелые, даже не с того, что жара дневная была, а что скорее пошла на убыль. На лугу пискнула гармошка, а по басам, как гром небесный за лесом, как вальком по белью где-то на камне, прокатился баян. Всерьез ведь на лугу затевалось. Троица, Троица, Троица, — столы, извольте строиться. В одну линию или буквой «п».

А что же страх? Страх съедает белую энергию, энергию Солнца. Со страхом живут люди лунного света не замечая. А что же стресс? Белая энергия съедает все стрессы.

РАССКАЗ ИВАНА

А праздник на лугу только лишь начинался. Люди нахлынули и машинами, и пешком. Живо рассаживались за столом буквой «п». Пи эр квадрат — квадратура круга, где «Пи» входит необходимой составной в полузабытое тайное египетских пирамид, ориентированных на Ра — само Солнце. Квасы на столе, зеленые перья лука и зеленые огурцы, а также мясопродукты

от импортных «ножек Буша» до отечественных холодцов, — все это пробуждало там у них волчий аппетит. А что говорить об этих, что тут, на Перуновом Холме? Представляете, каково лицезреть «среднерусским» изобилие на столах «новых русских»? Вот что заставляет крепко задуматься о сиюминутном и вечном.

— Как только белая энергия разряжается, сходит на нет, — сказал Иван, чувствуя, что наступает его черед поведать очередную историю, — так тут же ее замещает черная. А «черная дыра» втягивает, как в трубу...

— А куда денешься, — вздохнул Алексей. — Ночь и день, лед и пламень — это неизбежность.

— Не ерничай, — поморщился, как от зубной боли, Иван. — Знаешь хоть, откуда следует брать человеку силы, чтобы выжить и жить? Стоит биоэнергетике приослабнуть, как тут же неудачи, болезни, наконец, смерть.

— Ну и откуда брать?

— Откровенно, да?

— Ну, а как же! Неделя откровенности, день открытых дверей.

— Помните, я заболел прошлой осенью скарлатиной? — продолжал Иван. — Для детей скарлатина еще терпима, а для юношей воспаление зева может быть и роковым. Ну, и стал я через три дня помирать. Дед мой уж ночами меня караулил, бросил кожушок на полу возле моей постели и коротал. А я в бессознательном состоянии все порывался куда-то...

И смутил меня такой сон. С белокипенных Магеллановых облаков спустился сюда ко мне главный языческий бог Перун, наклонился, шепчет на ухо:

— Ну что, браток, летишь уже, летальный конец?

— Лечу, — говорю откровенно. — Вон уж и двери впереди отворились.

— А хочешь рецепт? — шевелит губами Перун. — Откровенно за откровенность. Знаешь, брат, откуда белая энергия берется, из чего пополняется?

А во мне смутно все брезжит, на переходе из подсознания.

— Сверху и снизу, да? — говорю.

— Соображаешь, — гладит взглядом меня — весь какой-то мучнистый, бело-лучистый, Перун. — Итак, подходим к истине. Во-первых, энергия идет с неба и подключается к земле! Это как три составные части марксизма. Во-первых, в начале было слово. А потом уже искусство, хорошие произведения. «Робинзон, — шепчу я про себя, — имел всего только Библию и читал ее все свои 29 лет на острове». — «Во-вторых, это лоно природы, — кладет руку мне на лоб не Перун уже, а вроде как Лев Толстой. — Красота ландшафта, естество земли тоже лечат».

— Ключ Андреевский, колодец Девятой пятницы — святая вода, — вожу я пустыми губами и порываюсь вскочить и уйти отсюда туда, на лоно, чтобы пасть на колени и пить с колен перед иконой, как перед Русью самой.

— И третье, — говорит и Перун, и вроде уже не Толстой, а дед мой Герасим Макарыч, в его постоянном обличье, — это хорошие люди, и в истории нашей, и в жизни встреченные...

И вот я вырвался оттуда, из той комнаты, и оказался в урочище Мурашихе, у Андреевского ключа — неопалимая купина. Молочные реки, кисельные берега. И маячат в смуте родные, приватные образы, целый рой лиц — жужжащий, иконостасный, в духе Ильи Глазунова, лучшие люди Руси... Боян и Ходына, протопоп Аввакум и Серафим Саровский, Пушкин и Есенин, Менделеев и мой отец с матерью... И как только мне губами коснуться водицы святой, так тут же морок как бы очищается, воды зеркалом брызжут и отражают того человека. И Мураш этот, ровно как у Коненкова, это мужичок-грибничок-полевичок, хранитель этого «голубца»...

— И в руках его книга, — продолжил слово Ивана

Алеша. — И что же произнес тот старец, в каких-таких выражениях?

«В лесу, в горе родник, живой и звонкий,
Над родником старинный голубец
С лубочной почерневшею иконкой...»

— Да, такие слова произнес? — удивился Иван. — А откуда ты знаешь?

— Бунин, — пожал плечами Алеша. — Кто не знает?

— Вот видите, — оживился Иван и как-то засуетился. — И поднялся тогда я, сошла хвороба с меня, и вот живу, тут я с вами... И это три, так сказать, преходящих момента, — сказал Иван. — А то есть еще один, но постоянный.

— И какой же? — встряла опять-таки не без ехидности эта реальная Фрося, она любила романтиков, но не сам романтизм. — Опять этот твой пунктик второго плана — про равнинный характер?

— Ну да, — повернулся Иван к ней боком. — Про наш, про равнинный. Но взгляд, представьте себе, поменялся у меня категорически — с плюса на минус. То как было? Равнина складывала наш национальный характер общительным, мирным, в общем, коммуникабельным, так? Это в сравнении с горцами, так? Заметим, исток рассуждения от Тургенева, от его «Хоря» и «Калиныча». Все лес и степь у нас... Кстати, про степь — про равнину, и что нам мешает копнуть историю?

— А ничего.

— И копнем, — подошел Иван к проему в звоннице и стал глядеться в эту самую степь прямо перед собой. — Во-он где на юге Грузия, за Кавказским хребтом — христианство там раньше, чем на Руси, веков этак на пять. А в Армении и того ранее... И армяне, и грузины живы, чего им, живут. А вот в той же в степи, на равнине — по Великому ходу из Азии на Европу по Северному Причерноморью — где теперь те же соперники Киевской Руси? А еще ранее скифы, сарматы? Целые народы спеклись на Равнине...

— Тебе не в медицину надоть, Ванек, — ущипнула за бок его Катерина, — а на исторический. Вон как прет из тебя.

— Это хобби, а то профессия, — поклонился ей галантно Иван. — Однако одно другому не помешает... увязать — и получится, так сказать, историческая психология... Вот мы Бунина помянули. А давайте раскроем с конца и дойдем до истоков? Говорим о срединной России, о той же Орловщине, мол, вспоила-вскормила, как говорит один директор литмузея, классиков у нас, как собак нерезаных... А на какой базе? Просто так ничего не бывает... А на живом русском наречии выросли, встали мастера уже ограненного русского слова... Самый яркий критерий духа, силы народа — язык, национальное достояние. Так откуда же черпаются силы тут совершенно невероятные? Вот уж века, прямо-таки на наших глазах, в среде нашей изобильно рождаются незаметные гении-словотворцы. Послушайте только, как говорят у нас, как блистают перлами, входят и выходят словесно из ситуации. Да какой там иной писатель — целые государства все отдали бы, лишь бы Господь послал им частицу такого таланта...

А ведь это «Бермудский треугольник» наш — Курская магнитная аномалия (КМА), невероятная магнетическая сила Земли плюс небесное, возвышенное. Да, и вот вам «Голубец», живое и ограненное слово... А мы все о скарлатине... И людей теперь я воспринимаю не просто по физиономии, по выражению лица, а скорее по биоэнергетике.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

— Ваня! — засмеялась Ниночка, которая вышла, видите ли, некогда из Древнего Египта. — Вот фантазия-то, не ожидала! Да что ж у других народов, что ли, нет гейзеров, ключей?

— Конечно, есть, — пожал плечами Иван. — Но меня понять может только Мария, да, Маша?

— Иван да Марья, — съязвила эта вечно ехидная Фрося. — Двое в одном, цветок однодомный, желтое с синим где-нибудь под кустом... Однако она другому отдана и будет век ему верна...

А праздник гудел на лугу. Русь гуляла — великая в горе своем и в гульбе. В самом деле, какие столы, какие люди в Голливуде! Смотри на весь этот сброд с высоты Перунова Холма и только облизывайся. Ибо ни денег, ни иной такой возможности сойти и присоединиться. И что остается, — песня! Вот они и запели в своей звоннице, понимая, что тут-то у них преимущество, они ближе к звездам. И запели они сначала в треть, потом громче и громче, под самые светила дневные, которые, пока не смеркнется, пока что не видны, но все знают, что звезды эти существуют, живут, может, даже и слышат их в данный момент.

Так уж получалось, больше пелись ямщицкие песни, как замерзал молодой ямщик в белых зимних равнинах. И белые кони слетали с колокольни, эти белые призраки-кони, и пропадали в степи. И плакала душа, коченело в снегах молодое ямщицкое тело, и сердце разрывалось, разбивалось в куски... Родные, стой! Неугомонны...

И все повернулись к Катерине — то была ее тема, ее разговор.

— Россия, кони! — вздохнула Катерина. — Белые, вороные, игреневые, буланые — пока они бегут по телевизору, обгоняя российское время, я успеваю подумать о нас... По телику фильм показывали: где-то в казахских местах табун сорвался и полетел, обезумев. А впереди обрыв, гибель. Табунщики обомлели: сейчас это произойдет. Табун грянет в бездонность и пропадет! И тогда одна девушка вскочила на жеребца, — на самого рыжего, лидера. И это я оказалась, это я была вместо той девушки! Я понеслась навстречу смерти своей, я вогнала рыжего в голову табуна, вела его по спирали. Скорость рождала крылья, они резались, в спи-

ну били горячим — в ноздри, когда перед самым откосом, отвернув, я повернула табун и закрутила вокруг по спирали... И тишина...

— Савелий Крамаров, «Неуловимые мстители», — засмеялся Володька, — это тоже ты, Катя?

Однако никто не засмеялся, глядя на бледную Катерину. Она слышала все, и глаза ее полны были слез:

— Глупо, — гладил Иван ее по щеке, — так переживать, перепутывать время, — когда кони уже спасены.

— Еще неизвестно, — сказала Катя, — какая пуля последняя.

И каждый подумал о двуглавом орле или Эльбрусе, о конях ермоловских из телевизора. В прошлом веке воевали, кажется, лет шестьдесят, так куда же мчатся сейчас они — не дают ответа...

— Если кони мчатся, значит, это кому-то надо? — сказал Владимир.

— Сицилийская мафия, — прокатилось белое эхо вдоль да по Казанке, и встрепыхнулись в звоннице белые-белые, голубые и белые голуби.

— И газ ведь проводят не по Сицилии, а по области, — добавил Иван. — Будем жить, наконец, как в Европе. Имя Рэма Вяхирева в одном райцентре выбьют на медной доске.

— Эх вы, кони мои озорные! Голубые вы кони мои! — тряхнула Ниночка белокурой головой да ножкой, ножкой о камень, о пол каменный.

— Я завидую тебе, Катя! — вскрикнула Ниночка.

— Отчего?

— Не убили тебя на фронте! Песня о тебе такая гремит до сих пор, — засмеялась эта нервная Ниночка. — Выходила на берег Катюша! — И заплакала.

— Чего ты? Вот дурочка, — обхватив за плечи подружку, прижалась к ней Катерина. — Ну, чего ты, чего? В именах мы не вольны... Хочешь, ради тебя, — вскочила она на камень в проеме, — с колокольни вниз брошусь?

— Ну, ну! — поймал ее за пояс Иван. — Сумасшедшая... — И оттащил в угол. — Буква «Ка», «Катюша» — Катерина, не знаете почему? Ну, почему «Катюшей» прозвали «катюшу» на фронте?

— Ну, почему? — придвинулась к нему Катерина.

— Вон кто скажет, — кивнул Иван на Алексея.

— Мой отец в Воронеже завод этот строил, — строго сказал Алексей. — Завод имени Коминтерна. И когда Отечественная началась, первые машины с грозным оружием вышли отсюда с буквой «Ка» в кружке на борту — марка завода имени Коминтерна. И отсюда «катюша».

— Ну, и что?

— Да отец не увидел своего детища.

— Почему?.. За что?..

— Ну не за «ванюшу» же. Это у немцев был такой миномет шестиствольный.

— Сладкая парочка.

— А ты, Володичка, помолчи, — обрезала его эта ехидная, но всегда реальная Фрося. — Вишь, грачи завозились на кладбищенских липах, черные перья роняют. А небо на закате зарозовело, запунцовело — похоже, к ветру, к срыву погоды.

— Спроси его, брюки не защемило?

— Во дурак! — хлопнула Ефросинья по спине Володьку. — Так дурак дураком и останешься.

— Да тихо вы, тихо! — вступилась за Володьку Мария. — Раскричалась, раскаркалась тут, как на своего.

— А я, девочки, — совсем успокоясь, сказала тихо, как-то мечтательно Катя, — знаю теперь, что такое радость и даже счастье, это белая энергия. Сама испытала. Да!.. Приехали в область на ипподром, на скачки. С утра еще, — никого на трибунах, мы одни с отцом. Смотрим, мимо качалка прошла — лошадь опытная, да и жокей под годами. Пустил мужик лошадь по кругу — идет она ходко, старается, а звезд не хватает. Еще одна лошадка мимо — серый конь в яблоках. Идет

по кругу — ничего себе, прижимает, аж ветер в ушах посвистывает, хм, не у меня — у жокея. Фаворит!.. И тут третью лошадку вывели. Гляжу — молоденькая совсем, гнедая или буланая, у отца спросить надо. И девчонка на ней — студентка какая-то, вижу. Ух, пегасная, классная! Ух, этот, как его, — интерьер чи экстерьер... Задрожала я вся, подбежала к студентке, кричу: «Партия, дай порулить!» А она возьми и кинь мне вожжи, а я возьми и сядь в качалку-то...

— Сумасшедшая! — аж задохнулась Фрося. — Ух ты!

— Лечу — ветер за спиной, крылья режутся, ха-ха-ха, — и сама, как сорока в лесу, захохотала, захлопала белыми крыльями Катерина восторженно. — О тебе, Алеша, вспомнила. Вот откуда у Пегаса крыла — от полета, от радости, веры в себя. Лечу и кричу: «Я — Россия молодая! Я — молодая Россия! Я — Россия, Россия, Росси...» После подъехала к той студентке — жокейке-то, а она спрашивает: «Чего это ты кричала? Страшно было?» — «Пегас победы», — глянула я на нее да и пошла себе на трибуну. И тут же сказала отцу: «Все! Буду-таки по ипподромам раскатывать!» А отец мне: «Замуж тебя пора выдавать, дуру такую». Я до сих пор с ним за это не разговариваю. И мать на моей стороне...

— Все, история окончена. Зачет, — констатировал Алексей.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ

А гуляние на лугу было в самом разгаре. Баян да частушки, да водочка под баранинку, да грибки под чесночок, да огурчики под лучок, эх, да россыпь гармоники под каблучок сделали и без того широкий процесс общения еще более выразительным. Просматривался этакий хаос; оказывается, мы как народ не только родового, кланового склада, но и еще и от язычества. В застолье у нас много чего от тризны, когда все

нараспашку, все наружу. И все-таки поднаторели мы уже и в европейской оглядчивости...

А как там, на лугу, врезали «Русского», так и тут, в звоннице, все ходуном заходило; заныло, зашлось, заводило тело каждой клеточкой. Топ да топ, да прихлоп, да притоп! Черти, всю храмину развалите!

— Зато доберемся до славянских корней! Куда это некоторые главы денежки пихают, как в прорву...

И Катя-Катерина готова сорваться, взмахнуть крылами, кобылица такая! Топ ногой да притоп—то перед Володькой, то перед Ваней...

Но тут же, обрезая ее, Маша и говорит:

— Черед Алешиной сказке, Алеша, давай!

А сама тоже дергается, как и две другие подружки, в тесном этом, закованном в камень квадрате. А звезды уже проклевываться начали в чистой умытости, светлой малиновости неба так, что, едва нарождаясь, перемешались между собой в юридически сложных переплетениях, тут же на глазах создавая свои вариации, разгадывая чужие тайны и загадывая свои. Белые голуби впорхнули в проем —космически черный для них и затрепыхались под куполом, откуда тут же просыпались перья, — там у них, видимо, гнезда. А перед глазами у всех замельтешили гробы в снеговых, ослепительно белых, свободных пространствах и повисли, закачались на натертых до блеска стальных раскачивающихся цепях. На одном, плавая где-то в мозгах, зияло крупными буквами «Нострадамус», на другом — «Славен», на третьем — «Конфуций».

— Кстати, о Конфуции, — сказал Алексей. — Да?

— О Конфуции, о Конфуции! — захлопали все в ладоши, как было и будет в парламенте, хотя слюни у них там больше текут при мысли о баранинке под чесночок.

— Вот загадка, как бы вы поступили? — усмехнулся Алеша. Он знал, чем все бредят наяву, видят твердые сны, но в других сочетаниях. — Как известно, Конфуций жил в Китае... лет этак тыщ на пять назад...

Верно, говорю? Верно... И вот стал этот философ министром у императора. Однажды приводят к Конфуцию юношу... Трижды брали его на войну, и трижды тот оставлял поле брани. Все вокруг, конечно, в неистовстве: голову такому на плаху! А Конфуций ему спокойно: почему убегал? — Отец стар, а он — сын единственный. — И Конфуций отпустил юношу. После, однако, мудрец какой-то заклеймил Конфуция...

— И кто был прав, как вы думаете? — ребром поставил вопрос Алексей.

И тишина. Пауза. Надо уметь держать паузу. В хоккее, в балете, в политике. И в философии тоже.

— Да, не густо, — сказал Алексей, думая о своих мыслях. — Выходит, мудрец, по-вашему, прав?

— Да, — за всех ответила Фрося.

— И кто знает имя того мудреца? — засмеялся Алеша. — А вот Конфуция знает все человечество. И уже свыше пяти тысяч лет. Почему?.. Разберемся. Когда Конфуций судил сына старого китайца, чего больше в нем самом было — философа или министра? Ясно, что не министра. Военный министр в нем самом скорее всего рассудил бы так: юноша покинул поле битвы и тем обрек страну на опасность вторжения. И если бы солдат погиб за родину и оттого погиб бы старик отец, — ну что ж, народ Китая велик, переживет потерю павшего славной смертью. Но в Конфуции сказался философ: юноша должен поддержать жизнь старика-отца, всего своего рода. Философ усмотрел в нем, прежде всего, человека, а не его отдельную функцию... И это прорезало века, эпохи и по сей день современно, мудро по-азийски и по-европейски...

— Ну и что же мудрец тот, его осудивший? — сказал Иван, ковыряя ногтем штукатурку.

— Тот мудрец! Хм, — усмехнулся Алеша. — Мудрец — прагматик, пусть даже и великий прагматик, но ведь не философ. Тем более масштаба Конфуция. Вот почему велик Китай, старик Китай, народ Китая,

что имеет таких сыновей... Как сын великого Китая Конфуций защитил свой народ от нашествия бесчеловечности...

— Все, Володичка, сиди дома спокойно, — сказала Мария. — Патриарх тебя в обиду не даст

— А «Славен» — почему начертано «Славен»? — осторожненько этак подошел со своим грузом мыслей Иван.

— И ты видел это! — сказал Алексей. — И так как ты видел, скажу, как я думаю... Знаешь, чего подпишет правительство чуть позже в Истамбуле, неподалеку от Святой Софии, превращенной в мечеть? Видал, как колечко златое сжимается?... Так вот, этот «Славен» о чем? Об эпохе славянской. Все мы от Киева отсчет ведем, а хотя бы и с Киева. Однако какая самая первая наша столица? Новгород Великий. Отсюда со Славена все и пошло, по славянским краям и весям. А брат его Скиф ушел на юг, в степные пространства, и растворился в истории...

И вот этот свой гроб на цепях оттуда сюда посылает нам Славен. Как напоминание о самом первом нашем кольце обручальном — славянском. А мы и свое позднейшее — киевское кольцо на три куска расколоть готовы перед лицом океана...

— Вот Алексей — божий человек, а порохом пахнет, — усмехнулась привычно кривой своей улыбочкой Фрося.

— Не порохом, а сурьей, — вглядывался в нее Алексей. — Сурья —медовуха, сурью-то и пили пращуры наши.

— А что будут пить в Истамбуле? — помрачнел Володька. — Не сурью же, скорее всего, а водку.

— Однозначно, — заметил Иван. — «Аква-вита» — арабская водка... И давно ее пьем?

— На Майорку когда-то она попала из Аравии, — демонстрировал Алеша свою эрудицию. — А уже оттуда, по торговым путям, один генуэзец завез ее в Крым...

И наши истоки «аквы» — в Судаке, в генуэзской крепости, куда бежал от Дмитрия Донского Мамай...

— И пошло, покатило, — усмехнулась опять-таки эта ехидная Фрося. — Концентрация качества и количества. Что хорошо, где жарко, на Юге, — то плохо, где холод, на Севере...

— А Жириновский все «бросок на юг», «бросок на юг»! — пожал плечами Володька. — Как Нострадамус, все у него в предначертаньях.

— Голову надо иметь на плечах, — осудила бывшую думу в себе Мария. — А то зальют, паразиты, глазищи и по пятнадцать с половиной себе, а остальным?.. Кстати, о Нострадамусе. Тоже гроб белоснежный на цепях видела. Что бы это значило, Володь?

— Комбинированный психоз, — уклонился от ответа Владимир. — Вон Алеша все скажет.

— А третий гроб, на котором начертано «Нострадамус», — приступил Алексей, — еще не все осознали, вот коллективчик! Так вот, этот монах был во Франции — Мишель Хамдесю. Обычный такой человечек, однако деньги любил зажимать. «Однако, здравствуйте!» Так вот, посидел он года три или четыре в монастыре, покорпел над хартиями — жутко поднаторел, ясновидцем стал. И написал Нострадамус книгу пророчеств застекленным, затисненным таким языком, и когда кое-что кое-где стало сбываться, король Людовик приблизил его, а придворные за год-полтора съели своими интригами... и телевидение Мишелю не помогло...

— В том же Новгороде, кажется, — вспомнилось Ивану, — много книг языческих уничтожили при крещении.

— Однозначно, — заметил Алеша. — Когда возвышается, всякая религия терпит. А когда возвысится... Сурьи надо хлебать поменьше...

— Вон на лугу снопами валяются, — подала, наконец, голос Ниночка. Вот еще волхова нашлась, недаром как выходец из мистерий она орошала некогда тело свое тверезой нильской волной.

Надо же это кому-то сказать, все сидели, видели эти сны, но только ей одной сказать надо. Это как Элла, депутатка такая была, тоже сделала заявление, чтобы вновь привлечь к себе интерес. Ох, уж эти депутаты, артисты и даже иеромонахи. Всю жизнь где-нибудь прокантуются, а как на пенсию, так надо им за мемуары хвататься, даже за стихи, стихию литературы...

— Сурья-медовуха в «Велесовой книге», — выступил и Иван не хуже других с нарастающей эрудицией. — А Алеше за расшифровку всех трех гробов предлагаю зачет. В качестве рассказа о белой энергии.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

Костры на лугу вспыхнули и осветили копешки. С одной стороны — уже звезды, а с другой — костры. Странный, двусторонний, розовато-синий эффект. Время от времени люди вырывались из шабаша, подбегали к большому костру. Они бросали в него мясные кости, селедочные головы, куски газет, охапки еще не просохшей травы. И каждый раз пламя вздрагивало и в отдаленных участках сознания выхватывало те самые гробы, которые, раскачиваясь на цепях, превращались в лодки-долбенки еще из Древней Руси. Первый гроб — с Нострадамусом, крупная такая ладья-пирога; двадцать пьяных, кривляющихся древлянского рода-племени — это гости киевские, сваты князя Мала, послы великой княгине Ольге. Это они разодрали между деревьями ладу ее — князя Игоря. И Ярославна велит бросить их в яму за гридницей вместе с ладьей, еще и будут приплясывать на могиле, их живьем закопав... А тут шабаш у костра все продолжался, как тризна... А вы говорите, великий Олег прибил щит на вратах Цареграда и славно повеселился на берегу Золотого Рога...

— А кто во второй ладье, видите? — глядя прямо перед собой немигающе в пустое пространство, спросила вдруг Ниночка. — Ну там, где был Славен.

— Не вижу, — туда-сюда вертела головой Фрося. — Не знаю. Тебе хорошо, у тебя по истории только «пятерки».

— Зачем ты так? — ответил Алеша. — Вишь — это великий князь Святослав.

— Почему?

— А кто же еще-то в белых одеждах? И в ухе золотая серьга с двумя жемчужинками и рубином.

— А в третьем?

— Что в третьем?

— Ну в третьем гробу, в третьей ладье?

— Где был «Конфуций»?

— Ну да.

— Это вопрос будущего и недалекого прошлого, — сказал Алеша. — И если речь идет о белой энергии...

— ...и о белых одеждах, — подхватила Ниночка, — значит, надо мне рассказать что-нибудь о Святославе, так?

— Естественно, — съязвила Фрося. — Ты же у нас история ходячая, египтянка.

— Ах, где только я ни была, — грустно вздохнула Ниночка. — Может, мне Русь и обязана, что осталась на Днепре, а не ушла назад на Дунай...

— Как это, как это?

— А так это, так это.

Ниночка встала, вытянула руки вперед и, держа их прямо перед собой, словно в сомнамбулическом сне, заговорила медлительно, тяжко, беря слова неизвестно откуда:

— Это призраки... это предки наши перед нами встают... видите?.. Они сошли со стен нашего храма там внизу... и поднялись сюда к нам... так?

— А ну, Катюш, — подтолкнул Катерину Володька, — сбегай вниз, удостоверься.

Вскоре Катюша исчезла внизу по лестнице, а Ниночка, стоя с закрытыми глазами, все хватала густой воздух губами и не могла раздышаться.

— Рубин в серьге Святослава — это я ему подари-

ла, — сказала Ниночка не обычным своим, — странным голосом.

— А жемчужины?

— Две царицы — жены двух цареградских царей... Константина Багрянородного и Романа Локапина...

— Нет на стенах никого, — встревоженно показалась в проеме лестницы Катерина.

— Дождями смыло, временем и... войной...

— Вот они перед кем, — показал Иван на Ниночку, — тут у нее и витают... Как же Русь осталась в Киеве, а не вернулась назад?

— По «Велесовой книге» с Дуная до Киева мы шли 1200 лет, — кратенько как-то хлебнула воздуху Ниночка. — И путь этот мы помним... И Святослав помнил... «Иду на вы!» — сказал он однажды и пошел назад на Дунай. И когда черные силы наседали на Святослава, князь надевал на себя белые кольчуги, садился на добра коня и воздевал руки к Солнцу, призывал к себе белые, белые силы... И вот уже князь основал на Дунае столицу. И так ему там хорошо показалось — и виноград растет, и границы вот они — с Византией — Восточной Римской империей. И стал он границы те шевелить — предавать полегоньку мечу, чтобы дружину кормить. И взмолились цари византийские, а коварные жены их стали склонять Святослава на службу, да через тайных послов передали ему для золотой серьги еще и рубинчик... Красное к белому, белая мантия белых-белых надежд... И уже каждый день стал ходить Святослав в своих холщовых одеждах, мыть-купать в Дунае белого жеребца...

— Прямо Скобелев тебе — генерал царской армии, — заметил Алеша. — В последней-то русско-турецкой войне.

— И совсем бы забыл Святослав Киев свой да русскую землю, — говорила сомнамбулически Ниночка. — Но... но... но...

— Это ты подарила ему рубин?

— Ну да, подарила, — также сомнамбулически ответила Ниночка. — Я тогда вошла в душу матери его — Ольги, великой княгини. Сижу на Киеве, правлю Русью, а степь наседает... то половцы, то хазары... а тут Русь на клоки, на семь клоков, князья друг на друга, как шакалы... А половцы прут, и нет уже сил держать город. И послала я Святославу серьгу, а в серьге — красную каплю, рубин. Как глаз вороний — вырванный и брошенный, это как весточка с оставленной князем родины. Помимо крови, пролитой Рюриковичами — дедом твоим князем Олегом, отцом твоим князем Игорем.

За стежку стоптанную узкую,
За землю русскую.
О, Русская земля! Ты уже за холмом...
Приди и защити ее, княже...

И он вернулся, и долго стоял на той стороне. А тут половцы, осада и сил уже никаких. И послала я гонца за Днепр:

— Решайся, княже... Когда я умру, тризну по мне не справляй!..

Хотя со степью и был договор, князь нарушил его ради матери. И степь на порогах убила его потому. А тут, едва я умерла, на высоком днепровском холме, по языческому обычаю, мой сын все равно устроил по мне, православной, тризну...

И тут, тряхнув головой, Нина поднялась во весь рост и очнулась.

— Что давали ему эти белые капли жемчужин? — спросил ее тут же Владимир.

— Белая Мантия, белое солнце, — раскрыла Нина глаза пошире. — Белая, белая Русь.

— А что дала алая капля — рубин?

— А алая капля, — прищурилась Ниночка, — это кровь, это сердце его, это борьба за жизнь...

— Сбегай-ка, — попросил Катерину Владимир. — Посмотри, не вернулись ли призраки наши во храм, на стенки эти, во фрески?

— Да вон же они! — махнула прямо перед собой энергичная Катерина. — Вон они, эти призраки, справляют по ком-то тризну. Дьяволиада какая-то, водят вокруг кострища свои хороводы.

РАССКАЗ ФРОСИ

А солнце садилось красной тарелкой — к ветру, конечно, к слому погоды, может быть, даже к буре, вещая Вальпургиеву ночь. Голуби, ходившие дотоле по кладбищу, по мертвым могилкам, брызнули ввысь — это грачи с лип кладбищенских спикировали, как стервятники, а потом тучей ринулись на вечернюю кормежку — в поля. А тут остались черные, неживые могилы. Под липами заверещал автомобильный мотор — ага, ночные «соломенные» охотники за солдатскими бирками и золотыми зубами. А белые голуби сновали тут по карнизу, перечеркивая зигзагами уходящее солнце. Или все это гробы на цепях, все это предки в них, словно в ладьях? Вот они, древляне князя-то Мала, в одной большой долбленой ладье на руках киевлян, влекомы по Боричеву верху, к яме. И участь их предрешена еще в райвоенкомате, откуда им принесут повестки на сражение с Дикой степью... Все повторимо, все ходит кругами...

— Они там гуляют, — сказала Фрося, поведя печально глазами по шабашу косцов на лугу, — а тут одиноко. На праздниках, при большом стечении, мне всегда одиноко...

— Парня тебе бы надо, а нет, отчего? — взяла под руку подругу Мария. — Любовника в треугольник.

— Ты прямо из Маркеса шпаришь, — отвернулась от нее Ниночка. — Одиночество — это примета рода.

— Мужик прет из нее, сатанизм, — жестковат был, даже беспощаден Володька. — Парни чувствуют это, мало женственности, кто же к ней подойдет-то?

— Д-да-а, — задергались губы у Фроси, — как что-нибудь, так ко мне, к Фроське, а как...

И она упала лицом в ладони к себе, задергала сухо плечами.

— Извинись, дурачок, — подтолкнула Володьку Мария. — Совсем мужики оборзели.

— Да что я? — оглядывался Володька теперь уже как-то растерянно. — Ну, извини, что ли, Фрося. Сексуальной надо быть. А то как шапку какую-то байбачью напялит, так и носит. Шапка отцова, что ли?

— А я, может, это... люблю... — всхлипывая, насторожилась, однако, Фрося.

— Кого?

— Отца своего.

— Ну и люби. А блузку сиреневую, как у Ниночки, красивую, вышитую гладью, носи. Вот такую!

— Ишь ты, пригляделся, — ударила по протянутой руке Володьку Мария. — Ладно, не кисни, — повернулась она к Фросе. — Рассказывай, твой черед.

— Пусть высветится, — сказал Иван, — черноту покажет свою, как это вот белое солнце в пустыне.

— Это ты про затмение, что ли? — насторожилась Фрося. — Так у меня все в порядке. Это ты светлоту свою покажи, как на нее темнота покушается.

— Это ты про нас, что ль? — поджала губы Катерина. — Ну, давай, лепи.

— Отца жаль, — вздохнула Фрося. — Такой молчун, постоять за себя не может... Вообще-то, все знают, отец мой — человек творческий. И учитель хороший, этого не отнять. Учебник школьный даже создал — по математике. Затем повести о нашей жизни начал писать, сколько их понаписал. В общем, опыт большой, но, к сожалению, как он сам говорит, «негативный»... Хемингуэй, говорит, свое поколение после первой мировой войны называл «потерянным поколением». А мы — дети войны — хуже того, «поколение обездоленных»...

— Это кто же его обездолил-то? — насторожились все тут. — Отца-то твоего — Федора Исаича?

— Значит, есть кому, коли так говорит, — отвернулась Фрося от всех к стене. — Вот послушайте... Как учитель отец мой за фермой был закреплен агитатором. Вот пришел он с газетами к дойке, накануне освобождения. Подождал, когда подоили, а одна доярка и говорит: «Опять, небось, будешь за ветеранов войны агитировать?» — «Ну и что?» — «Слушать, — говорит, — не хочу. Холодильники — им, ковры — им, квартирами не только детей, но и внуков уже обеспечили. А я дочь погибшего, моего отца косточки уж сгнили давно, — и мне ничегошеньки не положено. Всю жизню бьюсь, как рыба об лед, безотцовщина...»

— Это на какой же ферме? — спросил Иван.

— Да на Акинтьевской, — ответила Фрося.

— Ну и что, не давать ничего ветеранам?

— Давать. Но не внукам же! — резко ответила Фрося. — Или вот. Опять же отец рассказывал... Едет он как-то в автобусе из Мценска в Орел. Ей-богу, так было, исторический факт. Пригородный маршрут, народу битьмя, как селедки в бочке, специально так набивают, чтобы рейс обходился дешевле. Зато проигрывают на износе, на капремонте. А люди — черт с ними, скоты. Система такая, что при том режиме, что при этом. А вопрос еще и в том, что народ наш позволяет так с собой поступать. В Прибалтике, например, вот так людей не повезешь. А у нас, значит, можно. И снизу терпят, и сверху позволяют... экономию эту на людях... Ну, это я к слову.

И вот заходит в автобус военный пенсионер, по пиджаку — ордена и значки. И бух впереди на только что освободившееся место. «Сидим, едем, — говорит отец. — А женщина такого же возраста, даже старше, как стояла рядом, так и продолжает стоять. Ветеран ее толкнул, что ли, может быть, даже нечаянно, вот она ему и говорит: «Сидишь и сиди». А он ей: «Да пошла ты!» А она тогда ему и выложи: «Вот ты вошел и сразу же сел. А я ведь стою всю дорогу — женщина, вишь, по-

жилая уже да с больными ногами». А он ей: «А я ветеран, мне положено. А ты постоишь». Тогда она ему: «Вишь ты какой. Все захватил. Небось, и внуков своих всем обеспечил. А мне, дочери погибшего, ничего не положено. И на фронт горбячила, и росла без отца...»

Автобус набит, а тишина. Уши все топориком, навострились, такая дискуссия. Тут уж отец мой не выдержал и вступился за старую женщину. Кого-то попросил уступить местечко, посадил ее с больными ногами-то. А домой пришел разволнованный и давай высказываться... Учесть надо, что дело было еще при том режиме. Да и при этом все то же, без разницы...

— Вот я с книжками своими, бывало, суюсь в Москву, — говорит отец, — а там по издательствам да по журналам, бывало, одни фронтовики. Окопались, не подпускают, отстреливаются от нас таких, от детей войны. Тогда зачем, спрашивается, они освобождали нас, кровь свою проливали? Чтобы держать нас, детей и внуков своих, в черном теле? Что — своя рубашка ближе к телу?..

Помнится, отец так раскипятился. Уж я стала его успокаивать: «Чего это ты бочки-то катишь на фронтовиков, они же наши освободители». А он мне в ответ, как сейчас помню: «Во-первых, настоящие фронтовики-окопники вообще не вернулись или вскорости скончались от ран, от потери здоровья. А эти льготники — произведите учет и увидите, что в войну они были в основном тыловики. А во-вторых, вот и вы, — говорит, — ваше поколение уже, молодежь, на нас наседаете. Да что там, — насели! Как сговорились те и другие — ветераны и молодые. А мы посередке, как в банке консервной, а вернее, «слоеный пирог». Вот мы, — говорит, — и есть «обездоленное поколение». А кто же еще мы, разве не так?

— Шея у отца твоего кривая, дюже горбат был — отец-то твой, — тягостно как-то, с присвистом вздохнул Алексей.

— У самого шея, гляди, какая, — сурово сказал Иван. — Тоже мне, как у Натальи из «Тихого Дона»...

— Не пеняй на зеркало, коли рожа крива, — вступилась за Алешу Мария. — Да, Фрося?

— Может, с того мое одиночество, — сказала Фрося, приободрясь, — что энергия внутри меня добрая, белая мантия. Это силы извне временно солнце в нас холодят... Конечно, все это кратко, быстро проходит... Черное солнце постыло...

— Поостыло! Опять ты про затмение? — сказал четко, словно проснулся, Алеша.

Но все промолчали, не думая ни о чем. А пространство уже охватила ночь. Время незаметно сходило — кромешное, усиленное всякими рваными тучами, присмиревшими грачами на липах, вот насели, затаились — паскудные, на Перуновом Холме, вещая и предвещая.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ЧЕРНАЯ МАНТИЯ

«Что там у Нострадамуса сказано про этот год, этот день, эту ночь?» — «Что ты много болтаешь», — говорит мне жена. «Я иду по ковру... пока вру. Мы идем — пока врем... По-французски «же ве» — я иду, я живу. Я иду по ко... вру...» С той поры, как один поэт другого поэта бутылкой по голове, у того прорезались признаки гениальности; по Гофману — это «боговдохновенность», оригинальность и грандиозность, а бледность в лице была у меня всегда. Когда роман пишу — как дом на себя напяливаю, аж ноги, как у стула, подламываются. А стихи когда — нервы бритвой режу. Так вот перед романом — стихи прежде сыплются, а теперь перед стихами еще и песни, а потом уж стихи, а потом уж и проза... Да, вот что сказал Ломброзо: «Все, кому выпало на долю редкое счастье жить в обществе гениальных людей, поражались их способностью перетолковывать в дурную сторону каж-

дый поступок окружающих...» «Главнейшую причину недовольства жизнью избранных натур составляет закон динамизма и равновесия, управляющий также и нервной системой, по которому вслед за чрезмерной тратой или развитием силы следует ее чрезмерный упадок...» Вдохновление и впечатлительность — единственные орудия гения, а не демона, сатаны — Вельзевула, не к ночи будь сказано...

— Ну, хватит цитат, хватит, — говорят мне они там, в звоннице, мои герои. Тоже рвутся в бой, чтобы все их увидели.

— Да не хватит. Дайте хоть доскажу... Так вот, есть у нас тут одна поэтесса с интересом к итальянскому языку, так я для нее это вот специально: «Одна итальянская поэтесса Милли во время создания почти невольного, своих чудных (или чудных, без ударения — заметим) стихотворений, волнуется, кричит, поет, бегает взад и вперед и как будто находится в припадке эпилепсии. Так вот, наша Милли не так давно и коршуном стала витать. По заданию чьему-то или сама? Кто ж ее знает, что она в этот миг стихи сочиняет, представляете? А если сразу все начнут витать, то есть сочинять, — вот это и есть писательское собрание. Кстати, праправнук великого поэта сказал: «На Пушкине природа разрядилась, а на нас («ананас»), потомках его, отдыхает. До седьмого колена, хоть убейся, поэта не будет, лучше стихи не пиши...» Вот и вспомнишь эту Милли и ту — чудную или чудную особу, впрочем, как и жену мою, которая не понимает, что я, например, не хочу писать что-то, а оно само пишется, как гнездо птицей вьется...

— Ну, хватит, хватит тебе! Давай за рассказы, — это герои мне так твердят из моего сомнамбулического повествования, которое я пишу то днем во сне, то наяву ночью. — Заканчиваю, пардон! У Тургенева, заметим, как и у Гейне, была болезнь спинного мозга. Связанная с повышенной чувствительностью и определен-

ным образом жизни. В одном из своих писем в 1877 году Гейне писал: «Очень даже может быть, что это моя болезнь придала моим последним произведениям какой-то ненормальный оттенок». Ну, вроде как и у «таинственных повестей» Тургенева. Чтобы хотя немного утишить свои страдания, Гейне сочиняет стихи. В такие ужасные ночи, обезумев от боли, его головушка горькая мечется из стороны в сторону, «заставляя звенеть жестокой веселостью бубенчики довольно-таки изношенного дурацкого колпака...»

— Следующий круг, и кто первый? Ты, Мария?

РАССКАЗ МАРИИ

Все сгрудились на соломе, сидели кучечкой, вместе. А черные тучи давили. Луна зловеще вытаскивала из рваных этих своих несносных провалов беспокойство, интуицию и направляла их в бездны, в то смутно неизвестное всех идей и ощущений, что создавало Марракотовы тьмы и обвалы. Будет ночь глубока и страшна. Луна в черной вуали, стараясь развеять предчувствия, предотвратить это нечто, видно было, как испытывала лучами своими то нежное материнство к воробушкам этим на отсырелой соломе, о котором Мария и начала свой рассказ:

— Сияло солнце, а небо было все в пятнах. Вертолет поднял нас почти до Бога, и в то же время не оторвал от земли. Под нами было зеленое море тайги. Я сидела на месте первого пилота, а сам пилот, любезно уступивший мне место, ходил по салону, беседовал с пассажирами. Борт шел из Горноалтайска на Телецкое озеро.

Вот он завис над водой — белая роза побежала от центра, трава на берегу вытянулась, не знала, куда ей деваться. Когда мы ступили на твердую почву, нас встретила девушка лет восемнадцати:

— Боже мой! Стою здесь и не могу оторваться. Смотрите, какая же красота!

Мы огляделись и поразились: золото гор, синее лезвие вод, уходящее в медвежье ухо поселка, и кристальная тишина.

— Путешественник Гумбольдт записал: кто не видел голубого Горного Алтая, Телецкого озера, тот не видел ничего.

Это сказала все та же девушка.

— Господи! — всплеснула она руками. — Ну, почему красоты такой не видит моя мама?!

Этот всплеск души человеческой помнить буду всю жизнь. И, когда мне тревожно, черные тучи сгущаются, я вспоминаю и эту девушку, и Телецкое озеро, и вертолет за спиной, и белые домики поселка Артыбаш, — и легкие мои переполняет тот острый, хрустально-пихтовый воздух. Господи, ну почему хоть тут же стоявшие мужики совали мне в руки деньги, чтобы я купил им в ихнем же магазине бутылку спиртного...

— Ночь черная, а рассказ белый, однако, — заметил Иван.

— Луна белая, это вуаль на ней черная, — сказала Катерина.

— Она мистическая, для влюбленных, — вздохнула Ниночка. — Как у Гарсиа Лорки — зелень болотная, сомнамбулическая.

— А я все про девушку — с золотистой косой! — упрямо боднул головой Алеша. — Вот как будто про нее у Николая Рубцова, стихи такие «В глуши»:

«Когда душе моей
Сойдет успокоенье
С высоких, после гроз,
Немеркнущих небес,
Когда душе моей
Внушая поклоненье,
Идут стада дремать
Под ивовый навес,
Когда душе моей
Зеленым веет святость,
И полная река

Несет небесный свет, —
Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один:
Друзей со мною нет...

— О чем ты, Алеша? — вспыхнув, оборвалась тут же Ниночка. — Мы все друзья твои, рядом ведь, вместе.

— Не я это, это Рубцов, — улыбнулся Алеша.

— Нет, это ты, твоя аура, у Рубцова только внешние впечатления, — стояла на своем Ниночка. — А у тебя чувствуется родственность, связи какие-то невообразимые... поэтический пепел... Глядите, глядите, какие глаза у Алеши...

Действительно, окна глаз его, сначала со странной, мутновато-зеленой поверхностью, в ожидании луны мерцали в наплыве черноты самой ночи. И тут они стали вдруг гаснуть, а блеск опадать. Это жути ночные, прохлада, подсвеченная луной, вызывали дрожь всего его тела. И колотится все оно в диком ознобе, даже зубы слегка почернели, едва слышимо, тонко звенят, усиливаясь многократностью эха от этой трубы в звоннице, в колоколенке этой, устремленной в самую звездность. Да не только зубы его — весь рот уж зиял чернотой, зато слова его были светлы, излучали белую, почти материально осязаемую дневную энергию... Алеша, закрыв глаза помертвел...

— Что ты, Алеша! — испугались все. — Не рассказывай же, Мария, такие рассказы, когда они не по теме.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

— А что же по теме? — спросила Катя.

— Раз ночь, — пожала плечами Фрося, — значит, надо о черной мантии.

— Кабы не унесло, — испугался притворно Иван.

— Тебя не унесет, — успокоил его Володька.

— Может, это по теме — кони белые, кони черные, а

посередке апофеоз войны? — подстраивалась Катерина, и глаза ее присверкивали, переходили блеском в гибкие волосы, отражали луну бутылочно-мутного, зеленовато-кофейного цвета, всю в обрывах и перерывах.

Забусил дождь и стал сечь щеку, колокольню снаружи. Каменная кладка запахла сыростью, потянуло гнильем от реки, от кладбищенских сплинов.

— Уводи скорее отсюда, — поморщилась Ниночка. — От кладбищенской меланхолии. Туда, где звезды и апофеоз.

— Хорошо, — вздохнула Катерина. — Петербург вы знаете, Эрмитаж тоже, а Русский музей? Так вот, в Русском музее или, может быть, в Третьяковке...

— Да не все ли равно, — подал кто-то голос из тьмы.

— ...есть такая картина «Апофеоз войны» художника Верещагина. Это про тех, от кого отвернулась госпожа Удача.

Ваше благородие — госпожа Удача...
Для кого ты добрая, а кому иначе...

Это черепа, горы белых черепов на фоне пустыни. Господи! Как они накладываются во мне на живых. Но вот один сон, который я вижу каждый раз и в который никак не могу войти... Что это?.. Он, бывало, являлся мне ночью, когда я сплю и вижу дневные сны. А теперь и днем наяву... Вот и сейчас это не тучи несутся мимо — эти черные птицы-кони, это они заслоняют луну, которая в клочья рвется к нам сюда и не может прорваться...

— Луна для молодых, — забеспокоился кто-то там в углу, на соломе.

— Третьего декабря американцы передадут репортаж с красной планеты...

— С Марса?

— Репортаж тут ни при чем, Марс в красных тонах, а Луна зеленая.

— Мистическая, не болотная же... Далее, Катерина, что далее?

— И вот такая картина передо мной, — заговорила Катерина странным каким-то, разбавленным голосом. — Еще не нарисована, но уже есть, существует. Как бы поле Куликово. И, вообще, как бы Дикое поле. В неизвестно каком времени — при степняках ли еще, — необозримы пространства войны: и конь на переднем плане — белый. И конь на переднем плане — черный. Натянуты поводья; под белым, под черным — поверженный всадник, изрубленный. И никнет конь — седло сбито, обвяло тело. И так кони, кони, кони уже при последнем дыхании — во всю, во всю, во всю широкую степь...

Все кони, кони, седланные кони —
Стоят одни, по самый горизонт.
Ни ветерка. Ни звука. Ни агоний.
Цветы и гривы. Ковыли и фронт.

Строчки эти торчком стоят — кто-то вслух прочитал или, может, сами высветились вместе с конями?

— Что-то жутко мне, — сказала реально Ниночка. — Какой-то обрыв внутри. Будет гроза.

— Не цепляйся за белое, — ответил Иван, и он показался Ниночке черным, на черном коне, как Челубей. Но кто же тогда, каков Пересвет?..

— Алеша! — дергала она за рукав Алексея — божьего человека. А тот все проваливался в тартарары вслед за ее словами.

«Так что же это — белые кони, черные кони? Какой в этом смысл?»

— ...и вот я иду по степи, — продолжила Катерина, — а ветер уже начался где-то за Седмицей и несся сюда неистово, проходил сквозь звонницу. — Стою перед белым конем, а он уж не видит меня, глаза его долу и полузакрыты... и крылья белые режутся... ни на шаг он от всадника... Что это?..

— Верность, — вздохнула реальная Ниночка.

— Поэзия, — сказал Алексей. — Поэт сражен, а это его Пегас.

— Это все ангелы, — сказала вдруг такая всегда ироничная, материальная Фрося.

— Да что вы все путаете! — схватился за голову Владимир. — С ума тут с вами сойдешь!

— А ты плыви по течению, — смиренно сказал Алексей. — Не бунтуй, не народовольствуй.

— Какие мы умные, — совсем снизился голос Ивана.

— Я к черному подхожу, к черному коню, — изменила на трагический шепот свой Катерина.

— И что же? — замерли все на полудвижении к правде.

— А то, что все это... бесы! — скривилась в плаче Катюша. — Мне страшно, Мария, меня куда-то несет... Змеюшник кругом ведь... Конь черный и змеюшник вокруг всего распутный. Представляете, они извиваются — змеи, как волосы...

— Медузы Горгоны.

— Это нервы в тебе расшалились, — четко поставил диагноз Иван. — Долго была под напряжением. Очевидно, влюбилась — но безответно.

— А все-таки, что это? — возвысила голос свой Катерина, приведенная словами Ивана из высоких сфер в натуральную жизнь. — Все эти белые кони, черные кони и поле апофеоза войны? Так что же это, что?!

Сидели и вслушивались, как за стенами все разыгралось, стенало, мочило головы им беспросветным дождем. А тут, за каменной кладкой, было как у Христа за пазухой.

— Это все жизнь, ее диалектика, — усмехнулся Иван всем своим внутренним смыслам. — Вон Хрущев... Видали надгробие на Новодевичьем кладбище? Какая-то мистика скульптора Неизвестного. Белый мрамор, черный мрамор и — ничего посередке.

— Представьте себе, — в обычном своем елейно-мечтательном тоне пришел Алексей, однако, в себя, несмотря на усиление ветра, мозги всем переболтавшего. — Представьте, с того же Марса воздействие иных,

неизвестных нам сил? От этого надгробия Неизвестного останутся только известные камни.

— А черные?

— Сгинут.

— Так белые же на черных. И что же их будет удерживать?

— Хе-хе-хе, — рассмеялся Володька мелким своим, бесоватым смешочком, — а что бы вы хотели?

— Нам этого не понять, — сказала Фрося, прислушиваясь, как сучья трещат под ногой, очевидно, где-то на кладбище.

— А без войны можно? Без валютного кризиса?

— Вы мне мозги тут не пудрите! — вспыхнула Катерина. — Не для того сокровенное, чтобы свести все к нулю.

— Доллары — это в Москве, — оживились ребята. — Бочка пороховая. А тут у нас все пучком. «А на кладбище все спокойненько». Пятьсот тысяч ушли в 98-м и не вернулись...

— И куда?

— А в первое тысячелетие или в прошлое, к предкам. Чем глубже, тем выше, — усмехалась мрачно Мария.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

— Понято, понято, — подтвердила Ниночка. — Нас зовут на парад — через райвоенкомат.

А ветер стал уже таким сильным, что, казалось, земля вытянулась в струну, не говоря уже о деревьях — кладбищенских липах, которые, осатанев от воя, сделали кладбище немым, плоским, невыразительным. Зато воздух звенел, кажется, одной какой-то немыслимо пронзительной нотой. Она сверлила не только уши где-то во глубине, но и все тело, всю душу изымала из тебя одной этой дьявольской, одноколерно нацеленной нотой. Когда под вековой липой появилась машина с «соломенным» мотором, никто не услышал ее, просто

работы мотора не было слышно. Не слыхать было и людей, уже отворяющих врата храма.

Луна совсем обессилела и лишь слабо угадывалась. Мга подло сдавила ее, принижала своим безобразием. А черные кони метались, неслись и неслись...

— И как там дома сейчас? — робковато подала голос Ниночка. — Печку, небось, затопили.

— Ну да, и хлеб пекут, — отозвалась мечтательно Фрося. — Из села слыхать запахи свежего хлеба.

— Это из города, с хлебозавода, — задергал носом Владимир. — Это запах хлебозаводской.

— За «Орловский хлеб» дали госпремию, — сказал Иван. — Тоже изобретение.

— Неужели?

— Красота Форнарино, возлюбленной Рафаэля, вдохновляла художника. Особенно, когда он расписывал святого Петра.

— Неужели?

— Папа римский сделал художнику замечание, так после догонял его на карете — догнал уже на границе Папской области и пал перед ним на колени, умоляя вернуться.

— Как это несовременно.

— Красота — это белая мантия?

— Папа пал на колени перед красотой...

— А я котят люблю, — рассмеялась Ниночка. — Беру в руки, а они такие мяконькие, электрические.

— Кошки — это черная мантия, — мрачно сказала Катерина. — Ведьмы в них прячутся.

— Ну да, — рассмеялась Ниночка, просветлев както. — А почему же в новый дом в первую ночь пускают именно кошек? Вот мы года три назад дом построили... Хотите рассказ?

— Дом — это очаг, — сказала вразумительно Ниночка. — Мы свой дом строили, как храм божий, несколько лет. Все продали, спустили с себя, а дом поставили с оцинкованной крышей...

— Гордыня заела, можно было бы и попроще.

— И вот завтра, допустим, переселяться в дом, — стала решительно рассказывать Ниночка. — Говорят, кошку надо пустить, пусть переночует. А у нас кошки нет, какие кошки в дому без коровы? Мать моя собралась на улицу и говорит: какая встретится, такую и поймаю. А попался на дороге вот такусенький черненький котеночек. Мать принесла комочек, а бабушка ей: «Ну вот, чертенка притащила. Гляди теперь, кто следом явится». И тут соседка пришла что-то попросить. Бабка ей ничего не дала, а когда та ушла, даже след за ней перекрестила... Ну, и хотели мы котенка опять на дорогу. Такого тепленького, такого пушистенького. А я взяла его и сама занесла в новый дом. Утром бабка гремит ведрами: «Ведьму в дому поселила. Жди теперь пропасти...»

На месте, где кошка ночь проведет, и ставят обычно кровать. Я свою и поставила. Так бабка все, бывало, ворчит. «Несчастье, — говорит, — дура, себе накликала. Так и будет, Нинка, у тебя в жизни черное с белым путаться». Хоть чушь это все, суеверие деревенское, а все-таки для чего кошку пускают на ночь в новую хату? Как вы думаете, для чего? Какой в этом смысл?

И пауза. Момент истины. Только черные кони с неба летят, жженым пахнет. Да внизу, в храме, стали слышны голоса.

— Смысл-то есть, да глубоко зашифрован, — зашелестел Иван соломой сухой, усаживаясь как покрепче. — Ну, скажем, так... Вся земля, любой ее континент, — это как шкура тигра. Вся в полосах, вернее, в клетках. Полосы энергетические с юга на север, с запада на восток. Через два-три метра. А где перекресток — узел, энергетический блок. Кошка здорово его чует. Сидит, мурлычет на этом самом «кресте»... Поняла теперь, где ты спишь? На электростанции. Сколько энергии из недр тебе подается. Значит, сильная должна быть, счастливая...

— А черная кошка, — все еще сомневалась Ниночка, — как же?

— Черная ночь. Только пули свистят по степи, — запел Володька — дурная головушка. Ему вон куда собираться, а он песни распевает да Марусю за бок хватает, а заодно и вот ее — Ниночку.

— Отстань! — шлепает Ниночка его принародно по жадной, мужичьей руке, а сама втайне ждет, не протянется ль снова?

Кони черные, кони белые. И куда ж они только стремятся, и за что они только хватаются, эти белые, жадные кони? Когда по низу, когда по небу, по всей широкой степи, по всей-по всей Руси-матушке, — летят по ухабам, по оврагам глубоким сейчас эти белые, черные кони? Кто-то им дал под задницу где-то, вот они и летят, оглашенные, вакханалия этакая. И когда ж это кончится все, эти рваные тучи? Кто клепает их там и пускает сюда к нам из-за горизонта — из Америки, Нового Света? Ох, уж эти белые тройки — табуны, стада солнечные, долгогривые... И опять закачались гробы на стертых цепях. Не гробы это — ладьи долбленые, «чайки»-птицы на Руси языческой, еще той, изначальной, когда олеговичи ходили за буйное море щит прибивать ко вратам Цареграда. Это оттуда сюда и летит, вся светясь, святая София, а вокруг эти рваные тучи, эти черные, черные кони...

— Что вы видите? — спросила вдруг Ниночка, не потеряв интереса к Володькиной руке чуть пониже своего живота. — Море видите, чаек видите?

И опять пауза. Незаменимая. И внизу жуткий какой-то, душераздирающий крик. И опять запахло горелым. Пожар московский? Неужто костер развели прямо в храме? Одни въезжали сюда на конях, другие — варят похлебку.

— Я вижу, — скорбно ответил Алеша, — но что — не хочу говорить.

— Прорицатели вымерли, — усмехнулся Иван, — еще в Ассирии.

— А Джуна, а Ванга?

— Церкви должны пахнуть ладаном.

— Меж черным должно летать белое.

— Ничего, побелеют.

— А меж белыми — черные.

— Ничего, почернеют.

«Ого-го-го!» — раздалось и пошло гулять снизу где-то по храму.

И звон стекла оземь, и пьяный голос:

— Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей!

— Это про тебя, Мария?

Это люди из города, это бичи — бывшие интеллигентные человеки.

РАССКАЗ ФРОСИ

— Сотоны, дьяволиада какая-то, — буркнул под нос себе Алексей. — Сколько же зла разлито по земле.

— Сколько и всегда, — заметил Иван.

А Ниночка рассмеялась прямо в лицо Алеше:

— Все тебе дьяволы, черные силы мерещатся, ха-ха... не пеняй на зеркало, ха-ха-ха...

Алексей прислушивался к своему непониманию, к смеху ее, раскатившемуся зелеными горошинами вниз по лестнице и, кажется, ввысь. И вдруг дошло до него, лицо его как-то странно скорчилось, его согнуло в дугу. Не раздумывая, он бросился головой вперед и врезался бы в стенку, не заслони Володька собой этой стенки каменной. И, когда Алеша, отклонясь, едва не ринулся в пустой проем, он успел поймать его за воротник.

— Сдурел, что ли? — так и ахнули все.

А Ниночка уже подлетела к Алеше и притязала, липла к нему, к его слабо вздрагивающим плечам, всему его телу, а тот стоял перед всеми покорно, не глядя ни на кого, и воркотня какая-то голубиная брала его всего изнутри. И что же это такое, — ни люди тебя не простят, ни высшие силы, что уж так вдруг стало нехорошо, что ли, чтобы на такое решиться? Это грех, а

все живое должно умирать естественным образом, тем более человек, как существо, кровно связанное с наивысшими силами. И тут Ниночка стала вдруг целовать неистово его в лоб, глаза, щеки, губы, спускаясь все ниже, ниже...

— Ну, хватит вам! — остановил Володька этот экстаз. — Хватит лизаться-то.

И всем отчего-то стало противно, что этим двоим сделалось хорошо, лучше даже, чем им самим, хотя всего-то миг назад стояло на грани. О тэмпора, о морэ! И что за година такая, когда все меняется с такой, извините, поспешностью, когда все это накладывается на то, что расхлебывать будешь всю жизнь...

— А я все про дом думаю, — возникла из небытия Катерина.

— Про какой? Русский Дом «Селенга»?

— Наш Дом — Россия.

— Не надо так, — поморщилась Катерина. — Не убивайте иронией. По всем домам, которые разбивают сердца. И правительство правит, а президенты сидят. И президенты — резиденты. И так ведь нехорошо, когда такая вот ночь...

И все повернулись лицом к проему, за которым витийствовал ветер. Это он так свирепствовал, разрывая воздух и создавая то пробки в ушах, то область высокого давления, а то пустотой своей вызывая головокружение от успеха, ощущенье конца. И тут по колокольне стало бить чем-то твердым: листвой, мелкими сучьями; раздался сильнейший удар — это огромным, в полствола суком, грохнуло о колокольню...

— Леса летят, дома летят, села, — причитала Мария. — И все на нас, на нас.

— Гробы, призраки, ладьи, — прорезался иронично реальный голос то ли Ивана, то ли Фроси. — Языческая Русь... Киевская Русь... Господин Великий Новгород — первая наша республика...

— Черное путается с белым, язычество с правосла-

вием, живые и мертвые, день и ночь, лед и пламень...

— Однако Содомом и Гоморрой, — осмысленно-твердо тряхнула головой Евфросинья, — нас не собьешь! Про дом потом доскажу. Мой дом снижает не только противостояние, но и сам его уровень... — Представьте, весной, накануне ледохода, я оказалась в Орле у сестры. Допоздна засиделась, сижу и пишу, пишу...

— Влюбилась, что ли? Писала стихи? — отозвался Алеша. — Или научный трактат?

— Письмо.

— Домой?

— В третье тысячелетье.

— Ого!

И тут грохот какой-то раздался. Но я не обращаю внимания. Думаю, это лед на Оке у плотины взрывают, лед пропускают, чтобы не было наводнения.

А после грохота шипенье какое-то низом пошло. И вроде как пылью да газом в горле запершило, слащавость во рту. «Иприт... льюизит...» — мелькнуло в полусознании из россказней старого нашего учителя Залипая еще из времен первой мировой войны...

Утром глянули — дома соседнего как не бывало. Руины. Собак вызывали, людей искали. А ведь дом был, люди ведь жили. Эх, кабы здание-то строители строили, а то ведь «сапожники» — на последний этаж взгромоздили актовый зал, вот вам и весь террористический акт... И тогда, помню, случился во мне коренной перелом. «Что ж это мы, — думала я, — не ценим-то настоящую жизнь, клянем ее, все воспеваем прошлую, предвосхищаем будущую. Не живем в настоящем-то, а мучаемся, потом воздастся, дескать, когда предстанем перед Господом Богом... А нужно сегодня, сейчас, сию минуту, — разве не так?»

Вот о чем подумала я тогда, глядя то на разрушенный дом этот в городе, а то и на свой деревенский домишко, когда вернулась в свою Седмицу. Да и вообще на весь наш Дом всероссийский, на всю нашу Родину-

мать, на весь Дом всей нашей голубой планеты Земля...

— Ну ты даешь, Евфросинья! — изумился Иван. — А все сидишь втихаря, молчишь.

— Наша Земля — один белый большой такой самолет, он как дом, — сверкнула глазницами фосфорически Фрося. — И мы все летим в нем в общем подзвездном пространстве. Когда великая Тэтчер была премьером, все страны договорились, что в конце столетия, даже тысячелетия, все, каюк войне будет, крышка. Экология — главное. «Озоновые дыры», — это они доконают нас, все человечество, если ими не заняться срочно, сейчас же. И что же? Опять посредине Европы горят нефтяные терминалы...

Мою юность швырнуло в окопы,
Как букет в середину Европы.
Умираю в поре осенней
От предчувствий и опасений.

— Аполлинер... Аполли... Апо... а-а-а... — летело с Перунова Холма, с высокой звонницы по широкой степи, наполненной ветром, движением, трепетом идей и предметов в черных мантиях, белых одеждах.

Расходящееся сходится,
И возникает прекраснейшая из гармоний,
И все создается
Через борьбу.

— Аристотель... Аристо... Ари... а-а-а...

РАССКАЗ АЛЕШИ

Может ли быть красота в черной мантии или она всегда белая? А завтра какой будет она — эта черная, аспидно-черная ночь?

— Живописец Франчиа умер от восхищения, увидев одну из картин Рафаэля, — выпалил вдруг Алеша давно носимое во глубине. — И это случилось днем, когда и так видно, а солнечный луч пал на деяние кис-

ти Великого Мастера и вызвал гибель Великого Зрителя.

Дай Бог Дню быть длиннее, а Ночи короче.
Дай Бог Дню быть белее, а Ночи...

— Мне кажется, дело идет к рассвету, — высказалась Катерина, глядя на реальный Восток, за Седмицкий лес, откуда обычно поднимается солнце.

— И тьма уже мягче, — поддержал ее Алексей. — И дух меняется на плюс двойной с одинокого минуса. И высоко-высоко, как в чистилище, пребывает, с жидкого на густое перебивается экология сердца. И как только возникнет хотя бы краешек солнца, боюсь умереть от восхищения.

— Что ты, Алеша! — схватила его за рукав Ниночка, а Мария и Фрося встали прямо перед ним, глаза в глаза. — Не улетай, не улетай, как же будем мы без тебя?

— Ты не пой, соловей,
Под моим окном.
Улетай во леса
Моей Родины.

Может ли слово, озвончаясь, растворяться до бесконечности в музыке? В полифонии, когда все звучит, а каждая клеточка тела стенает, и слово жаждет внутренних звуков, возрождаясь и погибая опять. Едва Алеша стал напевать «Соловушку» на слова Алексея Кольцова, как тут же ветер сорвал ее с губ и унес неизвестно куда. И тут взбесились те, что внизу у костра, и на полу храма. Растеклась отборная брань, проклятья и оскорбления, да не сюда ли, в их адрес? И сколько же можно терпеть! Говорят, самый сильный протест раздается из груди слабых, скорее таких вот женственных, поэтичных натур. Противостояние Запада и Востока заменяется противостоянием «Север — Юг». Что, разве нельзя без этого?.. И, уже не сдерживая себя, Алеша заговорил как-то странно, как в трансе, в сомнамбулическом сне, создающем потоки вибраций.

— Вижу я, как потоки воды с расписанных стен, с живописных фресок храма хлещут, чтобы затопить ужас костра...

— Это секты какие-то Запада и Востока, начало и конец диалога.

— Это вода хрустальная, чистая, божественная. Она смеется над всем этим хламом и мусором, над обгорелыми головешками на полу храма.

— А все испытание православия, ниспосланное свыше. Катастрофа экологии над катастрофой войны...

— А поток уже выбрался за врата храма и потек по равнине...

И Алеша заговорил с полузакрытыми глазами, а когда снова открыл их, внутренний монолог перевел его из движения времени в неподвижность пространства. И тут он сказал совершенно реально, отчетливо, не улетев еще, в этом мире, где были и все:

— Слышите, эффект падающей воды? Это же наш Гремячий, что падает с Синей Скалы. Он изменил атмосферу, течение времени и течет сейчас к нам сюда, навстречу потоку из храма. И оба они сольются в единый рукав. Помните, как в народе зовется вода из Гремячего, когда она, пав, попадает в Зеленое блюдце?

— Святая вода.

— Девятая Пятница.

— И что там поныне?

— Икона, скамейки, корец для воды — и все это «Голубец».

— А что там было недавно?

— То камнем заваливали, то срывали бульдозером. А вода все текла, все пробивалась из недр земных, из скалы. Ее заточали в трубу и бросали за речку — на молочнотоварную ферму, а она все текла, все текла, и люди сделали «Голубец».

— Однако, здравствуйте, вода в нем не голубая.

— Какая же?

— Желтая.

— Желтая?

— Уже и не желтая.

— Красная?

— Бурая, как руда.

— Может, это железные руды, они обагрили воды?

— А почему же тогда, — сказал Алеша, — как где-то прольется кровь, так вода в «Голубце» краснеет? А как кровь большая прольется, так вовсе делается багровой? Все смывает поток со скалы и течет, как всегда. Смотрите, сюда направляется снова багряный поток...

— Где, где?

— Чуть выше кладбища, уже подбирается к липам.

— Ведь ночь же, хоть глаза коли.

— А те, что внизу, что жгут костер на полу храма, его видят, однако, — сказал Алеша. — Смотрите, как взволновались, какая пошла вакханалия вокруг костра, дикие пляски...

— Да они перепились!

— Какие бесы мечутся по стенкам святого храма.

— Да это костер, реальные тени.

— Глядите, поток багровый уже у ворот.

— Да это опрокинули флягу с краской.

— По пятнадцать с половиной тысяч себе планируют, а что народу?..

— Успокойся, Алеша! Милый, золотой!

Глаза у Алеши сверкали, а тело дрожало мелкой такой, неукротимой дрожью. А к храму подступила река уже даже красная, разве не видно?

— Видим, видим! — закричала Мария. — А если мы видим, увидят и все.

И тут пена пошла изо рта у Алеши, он скорчился, осел на колени и стал биться лбом о каменный выступ, чтобы сделать себе больнее, страшнее, хотя страшнее того, что увидел он сейчас в этом потоке, возможно, и не бывает. И воздел он руки к Небу тогда и так закричал, что перекрылись все ветры свистящие, все граи

на липах галдящие, тузы все по банкам стеклянно-бетонным сидящие, валеты во креслах смердящие:

— Боже! До чего допускаешь в своих владениях?!

И эхо пошло, покатилось за речку Седмицу по широкой степи, по городам и весям, по всей, всей Руси Великой. И кто-то открыл навстречу малую форточку и тут же захлопнул, а кто-то распахнул и окно. И, когда окно в Седмицах, услышав голос сына, открыла Алешина мать, она-то и закричала ответно от боли и сострадания, тут-то красно-кровавый поток перед самым храмом и остановился. Сжался весь, осветлился и вернулся, уже хрустальным, назад. К «Голубцу», к Зеленому блюдцу, к Колодцу Девятой Пятницы, чтобы оттуда, как и всегда, снова направить людям воды свои первозданной искренности и чистоты...

Алеша лежал без движения. Святая вода, святая, куда мы без нее! А Володька вскочил и, как ошалелый, метнулся вниз по лестнице в эту черную еще, но уже не кромешную ночь.

РАССКАЗ ИВАНА

— Ушел, однако, — вздохнул Иван. — А бутылки с собой не захватил.

— Принесет в корце, — сказала Мария, обеспокоенная уходом Володьки: «Как же это удастся ему пройти мимо тех, что бесились там, у костра?»

— Ничего, прошмыгнет, — вслух успокоила ее Катерина. «Что же тогда ему делать в горах?»

— Главное — линию не перейти, — сказала Ниночка.

— Демаркационную?

— Уже перешли, — буркнула под нос себе Фрося. — И средний возраст мужчины за пятьдесят.

— Только поэт Люций не вставал, когда входил Юлий Цезарь, — сказал Иван. — Ибо считал себя выше Цезаря в искусстве стихосложения.

— И что же Цезарь?

— Ему одному разрешал.

— А что сказал бы де Голлю в таком случае Наполеон? — спросила Фрося.

— «Мой генерал, хоть вы и выше меня на целую голову, я могу лишить вас этого преимущества», — хотелось съязвить Алеше, но Иван опередил его, объявив громогласно:

— Тут у нас по соседству... глава в Брянской области, сам будучи членом Союза, так ответил поэту: взял и срезал ему если не голову, так субсидии. Не издал книжку. И кто Цезарь, и кто поэт?

— Настоящий Цезарь, — сказала Мария, — издал бы.

— Господи! — всплеснул руками Иван. — Да где же они настоящие-то! Страна попугаев. В Петербурге, говорят, есть даже целая Академия.

— Это правда? — удивилась Фрося. — Кто сказал — белые попугаи?

— Нет, черные.

— А что — разве черные попугаи бывают?

— А академии? Где ты видела, Фросенька, чтобы академики были белыми попугаями?

— Так специальная академия-то, общественная.

— У нас специальная только Дума, а уж министрам надо крутиться.

— Господи! — во всю грудь вздохнула Мария. — Вот говорим, говорим тут, болтаем, а сами-то думаем все о ком — о Володьке. Прошмыгнул ли?

— Да уж так, — ответил Иван и резко поднялся с соломы. — Может, сбегать за ним?

Тут же все девчата повисли на нем: еще чего, последний парень уйдет, мужского духа не станет. А вдруг эти черти, что там внизу, сунутся сюда, на колокольню? Ведь Алеша не в счет. И Иван остался, не пошел за Володькой. Чем утешить их? Ничего, однако, на ум не приходило, все из рук вон валилось. Это все ветер мозги сверлит, волю парализует, «я ничего не могу, вот надо встать с соломы-то да и пойти сле-

дом, а не иду. Спуститься бы вниз, разогнать бы всю эту шоблу, а не спускаюсь, как истукан стою, без движения...»

— Слушай сюда, — сказал вслух Иван, — я говорил что-либо или мне показалось?

— Говорил, — тряхнула кудельками романтически Ниночка.

— Не говорил, — сказала реальная Фрося.

— А ты что скажешь? — повернулся Иван к Марии.

— Продолжай, — сказала Мария.

— Про что?

— Про барометр, — сказала Ниночка.

— А откуда ты знаешь? — удивился Иван. — Действительно, опять во лбу у меня появился барометр, это от хорошей погоды. А если погода изменится... Один врач-психиатр рассказал мне такую историю... Известный скрипач обратился к нему за помощью. Во время длительных изнурительно-тяжелых гастролей у скрипача слегка поехала крыша. И это выразилось в том, что во лбу у него вот так же обнаружился барометр, после одного из концертов. Барометр, как известно, определяет атмосферное давление. Хорошая, ясная, солнечная погода — и скрипачу хорошо. Концерт не страшит, музыка вдохновляет. Но ведь на афишах-то что пишут: «Концерт состоится при любой погоде». Это, когда концерт, как футбольный матч, под открытым небом, где-нибудь в парке. А если погода ни к черту? Барометр во лбу начинает стучать, как часы, как куранты, как башенные часы. Хоть криком кричи, вот тогда все и валится с рук.

Пришел скрипач к психиатру и все рассказал откровенно. И про барометр, и про все его козни, про заговор с кем-то из черного круга, лицо которого неуловимо. Вернее, смутно, как вообще-то абстрактное лицо зрителя в восьмом ряду. Скрипач в панике: «Бог мой, концерты под угрозой». Психиатр пораскинул мозгами, посоветовался с коллегой и говорит:

— Пожалте на операцию. Хирург барометр вам вырежет.

Хирург сделал вид, что вытащил из лба музыканта барометр, и скрипач успокоился. Концерты в том южном портовом городе шли своим чередом. И вот психиатр был приглашен скрипачом на один из заключительных концертов. И так скрипач играл перед ним прекрасно, воодушевленно, что врач, забыв правила игры, сказал музыканту в порыве дружеском после концерта:

— А ведь с барометром-то мы пошутили. Не было у вас, батеньки-матеньки, во лбу никакого барометра. Нет их во лбу, не бывает в природе, мой дорогой...

На другой день сильный ветер трепал по городу гастрольную афишу, поперек которой начертано было черным по белому: «Гастроли закончены в связи с болезнью артиста».

— Сильный ветер — это что? Бора? — нарушила молчание меланхолически Ниночка. — Дело было в Новороссийске?

— Какая разница! — вспыхнул Иван. — Главное — что ветер был. Такой же вот, как и сейчас. У чувствительных людей существует, извините, зависимость от внешних условий, они с ней не в силах бороться. Тот же Наполеон тоже не выносил самого легкого ветра. И очень любил тепло, приказывая топить камин даже в июле-месяце. Лев Толстой, Вольтер — то же самое. А Руссо, собираясь садиться за письменный стол, в жаркий полдень подставлял непокрытую голову под солнечные лучи...

— А Володьки что-то все нет, — беспокойна была Мария.

И тут же, сквозь сильный порыв ветра все услышали грубый топот шагов, скрип по лестнице — в проеме показался Володька.

— Уффф! — оскалится он в широченной улыбке и сходу плюхнулся на солому.

РАССКАЗ ВОЛОДЬКИ

Алеша очнулся, наконец, привстал и, странно озираясь вокруг себя, заметил рядом Володьку.

— Пришел? — сказал он монотонно. — А я за тобой наблюдал и все видел... Сначала не видел ты в этом беды, потом задурил не на шутку...

— В самом деле? — вздохнул с облегченьем Владимир. — Когда я шел туда, еще издали узрел под Синей Скалой ночничок. То тлела лампадка. С мышиный хвостик всего, но манит, властвует над тобой...

— И ты зачерпнул водицы, — сказал Алексей, — и испил из корца. И тотчас лампадка вспыхнула...

— Да, и высветила лицо, — покосился на Алексея Володька, — передо мной был старец. Старичок-боровичок, с деревянным посохом и весь в ореоле. Я плеснул на огонек из корца — и сиянье исчезло. Боровичок только вздохнул осуждающе... Что бы это значило?

— И посох исчез, — качал-раскачивал головой Алеша. — А в посохе заключена была тайна. В посохе перевитом, из трех лоз, были заключены три сестры. Это Надежда, Вера, Любовь. Ты потерял сестер своих, это нехорошо.

— Вот так и старик сказал мне: «Это нехорошо», — приподнялся на локте Володька. — И тогда я взял корец и зачерпнул снова. Но перед самым кладбищем, под Перуновым Холмом, кто-то черный пересек мне путь и толкнул под руку...

— Наверно, из тех, что жгли костер в церкви?

— Корец в руке удержался, — отвернулся Володька. — Однако святая вода плеснулась, по земле побежала...

— Багровый такой.

— Потек кровавый поток, — перебил Володьку Алеша.

— Все знаешь?

— Старичок-боровичок нашептал, — сказал, балан-

сируя между тем и этим миром, Алеша. — Явился в сон мой и рассказал... Так, девочки?

— Вы нас в свои аферы не втягивайте, отрезала, как всегда, прагматично-ироничная Фрося. — Съякшались тут с комбайнерами, летом зерно вместе с ними загоните и пьете всю зиму.

— Обижаешь, начальник, — усмехнулся Володька и показал Ивану из кармана бутылку.

— Где взял? — спросил Иван его автоматически.

— Клад отыскал.

— У старикашки отнял, — поморщился Алексей. — Кровь, небось, пролил, убивец? С чего бы этот алый поток?

— Мистик, черный князь, не опускайся так! — сказал Владимир, как отрубил.

— Пойду проверю, — порывался привстать Алеша, но Володька хлопнул его по затылку ладонью:

— Да сиди, где сидится. Вишь, те, что костер жгли, машину пошли заправлять, — убьют.

— И кто же все-таки старичок? Ну, что у «Голубца»-то?

— Сторож. Свыше приставлен.

— Откровенно если, я с ним прежде где-то встречался, — рассмеялся Володька. — Теперь уж и я почти что мужик, а тот мужичок был всегда старикашка. Это бывший лесник Кружилин, вот интересный дед. Помню с ним такой эпизод. Выхожу я из лесу, а он на опушке, в траве лежит. А я иду, значит, из Мурашихи с полным мешком грибов — опята попались. Смялось все на плече у меня, аж по спине потекло. «Во, — думаю, — как я друга обжал». Пошли в урочище вместе, но разминулись. Женщина только что мне навстречу и говорит: «Прошел твой дружок, с пяток грибков всего в сумаре». «А у меня, — думаю, — целый мешок». И тут этот Кружилин лежит в траве на опушке. Караулит лесные богатства от растащиловки.

— А ну-ка поди сюда, — говорит.

Подхожу.

— Ты Нижевяса внук, что ли?

— Ну, внук.

— С дедовым сыном — твоим родным дядькой Гаврюшей, дружили мы. Знаю, погиб на войне, хороший был человек. Надо же, второй раз воевали с немцами за один век... Перед первой мировой мобилизовали меня — в Виннице я оказался. В особом полку. Великий князь (Петром, что ли звали) нами командовал. А хулиган был, а матерщинник — спасу нет! Уж и сам царь, говорят, его увещевал, и царица. Ну все, в общем, высшее общество, а он все за свое.

Суббота, помню, или воскресенье в Виннице-то. Дворянство, приличные люди, разряженные барышни кисеями своими метут главный «прешпект», по сторонам постреливают глазенками. Ну, и пьют, конечно, квас, кто — сельтерскую, а кто, понимаешь, и шампанское.

А тут мы мимо как раз должны проходить. Вот наш командир — великий князь-то, хорохор, подкручивает усы да и запевале лихо этак:

— Мою, — говорит, — давай!

— Какую?

— Ту самую. Про Марусю.

Вот мы и гаркнули глоток в двести:

— Эх, Маруся, эх, Маруся!
Все бы прыгала, плясала —
Наплясалася!
Да на коня на вороного,
Да на меня да на хмельного,
Эх, да на пушку мою, колотушку мою
Эх, да нарвалася!

А сам сбоку — великий-то князь — по тротуарчику да чеканит нам:

— Эть-два, эть-два!
Трри — четырри-и!
Подтянули яйца-гири,
Солдатики вы мои, богатыри-и-и...
По чарке каждому, а то и по две!.. ух ты!..

Господи, и любили же мы его! И где он пропал в интересных недрах нашей истории? Башлык у него был черный, а черкеска — белая.

— Вот что старичок-полевичок этот рассказал мне когда-то, — сделал заключение Володька. — А я ему что про Винницу? Да что там ставка была у Гитлера во вторую мировую. И вот теперь только думаю, соображаю, что у старого николаевского солдата было тогда на уме в вопросе про белое и черное? Чего больше было в великом князе, как и во всей царской семье, в царе самом, во всей-всей прежней Расеюшке?..

К рассвету в звоннице захолодало. И не заметили, как рассвело. И ветер куда-то делся. И стали видны липы кладбищенские, где сломаны, а где обтрепаны. И куда только деваются все эти ночные черные силы, когда являются белые?

— Пойду гляну, кто лежит, кого ты ухлопал, — обернулся Иван к Володьке.

— Да вон машина «соломенная»! — вскрикнула Катерина. — Все трое живы — разбойники.

А солнце вставало большое и красное. И сразу же выпило тот ручей. А может быть, и все «три-четыре, братцы, дернули за гири». Да не может быть! Все может быть, все. А может и не быть.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. СУДНЫЙ ДЕНЬ

И они спали весь этот день и всю эту ночь. И настал день будущий, когда они проснулись и встали. А день был серый, хмарный, солнце и не предвещалось. И все-таки свет дневной цедился откуда-то, и это не воспламеняло, но и не остужало души. Как же мы прошли через мантию ночи и остались живы? От сгустившегося тумана только висели, пересверкивали капли-хрусталики на сырых липовых ветках, кап да кап, кап да кап — хоть в капель-канитель под

собой, хоть в расколотую головушку горькую — в трещинку, в самое темечко вроде как Степану Разину, о эти козни и казни средневековья! А через крышу церкви вислобокие капли кап да кап в черный круг костра на полу посредине Божьего храма... У Спасителя чуть ниже глаза держится малая капелька... Судный день, — каково оно будет в предпоследний, завтрашний день?..

Если истечь думой обо всем человечестве, дойдешь, в конце концов, и до себя. А если сразу пронзиться собой, не истечь никогда, человечество и без тебя обойдется. Нострадамус напустил туману на полог земной, а Зима, две Зимы, соединясь, вошли в тайну семи знаковых чисел и вышли оттуда в текущий 99-й, 2002 и 2035. И вот они новые испытания — затмение, звездопад, а мы еще живы, все живы, и как это понимать?.. Золотой Розенкрейц отделяет духовную оболочку от материальной, а мы не хотим отделяться... Душа моя — вертикаль, устремлена в голубое, а тело — горизонталь, зеленое по горизонту. И вместе тот самый крест — зеленое и голубое, что проходит через меня, сквозь меня в этот крест, в «Голубец» — родники земнородные.

И права была Великая Княгиня Ольга, проведшая нас через все тысячелетье, спасая, но и не давая рассыпаться по самобранной скатерти мира. И вот мы у истока нового тысячелетья, здесь и сейчас; каково оно будет здесь и потом? Просторы манят, глазищи окологлазят, и в нас самих — наш Крест Господний. Кто с кем, за кого и против кого? Судить будут грешников, дерзнувших огонь развести во святыне или забить святую воду камнями. Да очистятся люди от скверны, проникнутся сокровенным, воссоединятся друг с другом по духу?..

— Не судите, — изрекла по-библейски Мария, — да не судимы будете.

РАССКАЗ МАРИИ

Голова Марии все еще возложена на груди у Володьки, а сердце за ночь оттрепетало. Проснувшись, большущими глазами посмотрела дева на свет дневной и испытала томление. Где-то внутри ее тлела неясность, была несвобода. Она знала, что принадлежит Володьке, но сейчас никому не хотела принадлежать, ей просто хотелось быть самой по себе. «Он — мужчина, и без того он владеет всем, — думала она о Владимире, — хватит, чтобы владеть еще и тобой — женщиной». — «Но это же так естественно, ты из его ребра, — искушая, шептал ее внутренний голос, но она отрекалась от него, отмахнулась, как от пчелы сладкозвучной, от бесовски боевого полета шмеля. — Нет, я свободна, и это естественно. Чего выбирать Белоруссии и Украине — Россию, когда мы просто нерасторжимы, — одно?..»

— Видали?! — гаркнул в проем звонницы Иван. — Слыхали ль вы-ы-и-и?..

Черные птицы грачи шарахнулись с кладбищенских лип, но какая же птица не долетит до середины реки, они и пали где-то по горизонтали.

«Пал, а норов худ и дух ворона лап... Кирилл — лирик, лирик — Кирилл...»

— Чего мы должны слыхать? — приподнявшись, локтем оперлись о солому ребята.

— Говори! Говори же, Мария, — усмехнулся Иван, — свою часть истории...

— Мы — русские... мы — русичи, россияне, — во всю глубину своих легких вздохнула Мария. — Перед Розой Мира мы связаны одной нитью, и все века на одной ниточке все мы, но каждый, однако, норовит ее оборвать... Так было и есть... здесь и сейчас...

— Откуда это все у тебя? — удивился Алеша.

— От Ивана, — спокойно сказала Мария.

— От Ивана? — удивился Алеша. — Какого?

— Да не того, а другого, — качнула она главой. —

И от тебя, ты — мой Крест!.. Еще когда княгиня Ольга поняла, что наша зеленая горизонталь не может быть без вертикали — голубой, поднебесной... Так, да, Иван?

— Так, так...

— И Ольга призвала сюда крест, — сказала Мария, — и он осенил нас... как раз перед нашествием внутренних степняков — хулителей и совершителей для себя лично...

— Вся беда в том, — перебила ее Евфросинья, — что мы мечемся — то с Востока на Запад, то с Запада на Восток, и все вокруг себя и себя.

— Мы сами — камень, — изрек мрачновато Владимир. — Мы просто лежим посередке. И к камню сюда то с Востока, то с Запада тянет всех, как магнитом.

— Ты слишком воинственен, — сказал ему Алексей. — Нельзя же так, у нас же единый крест.

— Две церкви — сестры, — улыбнулась, как всегда ироничная, Фрося. — Но, кажется, сестры двоюродные?

— «Ярославна громко плачет в Путивле, на городской стене, причитая», — напомнила Мария известные строки из эпоса. — И отсылает княгиня плач свой почему-то не в Киев, а на Дунай... на нашу прародину...

— ...откуда мы 1200 лет шли до Днепра, до Киева, — уточнил Алеша. — И вот мы здесь и сейчас.

— Значит, сербы — это мы? — удивилась Катерина.

— Там и сейчас, — утвердил Алексей.

— Дайте хоть доскажу! — встала во весь рост Мария, и волосы — косы русые пали по сильным загорелым плечам. — Про что же я начала?.. Заметили, как ранними веснами откос под нашим селом, перед Козюлькиным лугом вспыхивает неукротимо...

— Изумрудно-зеленым?

— Это мать-мачеха. Снаружи она глянцевато-холодная — мачеха, а изнутри беловато-ворсистая, мягковато-теплая — мать.

— А на сыром, глинистом месте, — продолжала Ма-

рия, — чуть позже откос там же, перед Седмицким лугом, загорается сине-желтым...

— Это иван-да-марья!

— Да, — провела Мария пальцем по впалой груди Ивана.

— Да, это небесное и земное, — согласился не тот Иван, а другой, этот ни в чем никогда не соглашается, всегда думает лишь о себе. — Это вертикаль наша и горизонталь.

— Это крест, — утвердил кивком головы Алексей.

И Мария придвинулась не к тому — другому Ивану, стояла вплотную к нему — откровенная, выражая всем своим состоянием интерес к нему, внутреннее побуждение.

— Глядя на эти цветы, — сказала Мария, — я подумала, может ли быть без синего желтое? Вместе они так естественны, не отделить друг от друга.

— Как вертикаль от горизонтали?

— Мужчину от женщины?

— И креста в ином случае может не быть?

— Так, — счастливо засмеялась Мария. — И цветет каждую весну этот откос над речкой вот уже тысячи, тысячи лет.

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА

— Ну ты даешь! — сказал Володька, отодвигая от Ивана Марию.

Мария молчала, она слушала, как, потрескивая, сохла где-то на седмицком откосе скошенная трава. И чувствовала прилив невыразимого где-то во глубине и в то же время укор за еще не свершившееся, и ревность к Ниночке одолевала ее.

А серый денек так и не разыгрался. Стоял себе ровно и плоско, не переходя черты, не проявляя энергетичности. Владимир хорошо понимал их обеих, однако денек ему даже нравился.

— И вот такая легенда, я слышал ее от прабабки, — сказал он, прислушиваясь к биению нового сердца в Марии. — В продолжение той истории об иван-да-марье... Заметили? Первыми в наших местах выбираются из-под снега... подснежники, эти фиалки, синеглазые девы. Затем по буграм вспыхивают горицветы. А уже потом идут и примулы эти, баранчики. Это они высыпают себе по желтым полянам. Заметили, какой у баранчиков сладковато-терпкий, лекарственный запах? С детства помним вкус их мягких, гибко-зеленоватых стволов... Пацанами еще лазали мы по окопам, траншеям послевоенным. Искали поесть, но все батальонные мины попадались, артиллерийские снаряды — ржавые страшно. А страшное манит... И вот по краю траншей, помню, попалось мне столько баранчиков. И мы их едим, едим, бывало, набиваем животы, а дальше, знаем, пойдут анисы, сергибузы. К Троице ножка у баранчика деревенеет, а пока желтые бутончики мы обрываем, швыряем наземь, а зелень ствола едим. И солнце жарит, по желтому перебегать начинает белое, желтое с белым, белое с желтым. А вскоре станут цветы вовсе белыми, превратятся в корзиночки, тут и косить... Вот бабка мне и говорит:

— Глянь-ка, внучек, где желтое становится белым, а где дольше держится?

— И где же?

— А ближе к синему — цвету такому в лесу, к «хохлатке».

— В тени, значит.

— Не сказала бы, — заблестела бабулька своими такими веселыми глазками.

— А что же?

— А то, что и «хохлатка» дольше держится где? А возле желтого. Гляди, как тянется своим синим к баранчику...

— Так что это, бабушка? — говорю я. — Что все это значит?

— А если это любовь? — от лет своих воздыхает бабулька. — Она скорее всего и есть. Друг дружку держат, друг дружке лица не дают потерять. Баранчик белеет, «хохлатка» краснеет, буреет, однако вместе дотягивают до срока, и косят их уже вместе. Судьба...

— И что же дальше? — насторожились ребята, сплотились, лежат на соломе.

— Когда они порознь, — крутил Володька соломинкой, переламывая ее, а она все не поддавалась, — их судит Небо, меняет им даже цвета. Но вместе — и сила, и сама жизнь... Но годы идут, проходят века, и Небо все судит, а люди слабы и фальшивы, все хвалят себя...

— Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? —

запела Ниночка, ей подтянули:

— Но нельзя рябине к дубу перебраться.
Знать, ей, сиротине, век одной качаться...

— Раз нельзя, — рассказывала мне прабабушка, — перебраться друг к дружке, они взяли и перебрались на этот откос...

— Синее с желтым?

— Иван-да-марья?

— Синее — голубое, желтое — золотое, золотое с синим — зеленое... Голубое, — рассмеялся Алеша, — до Неба — моя вертикаль, а зеленое — по горизонту. Сквозь меня этот Крест, через сердце — эмаль, Фаберже, что ли, по Геллеспонту?

— А как звали ее?

— Мария.

— А прадеда?

— Иван, но не тот, а другой. От корней, не безродный.

— Иван да Марья, Богдан да Дарья, — воодушевился Володька. — И прожили они век своей жизни. И умерли в один месяц. Нажив пятнадцать детей.

— Ого! Да зачем же столько-то?

— Просторы-то, квадратные километры! И надо их обрабатывать. Одно слово — Россия! Один Краснояр-

ский край — зеленое море тайги — чего стоит. С юга до Северного полюса по территории несколько Франций. У нас просто не может быть «лишних» людей. Так, да?

— Так, так.

— Да, так, — сказал Алексей. — Однако только у нас, заметим, термин такой существует даже в литературе — «лишний человек». Почему? Разве могут быть люди «лишними», тем более лучшие? Евгений Онегин, Печорин... Григорий Мелехов... Дети войны — поколение обездоленных, «обездоленное поколение», не успели очахнуть — уж сбрасывают...

— И сбрасывают, и сбрасывают — людей, народы, целые поколения...

— А ведь не сохой пашем, способны производить сколько угодно, чего угодно. Куда же ты смотришь, иван-да-марья, — нерасторжимый цветок?..

Такие-то мысли витали в воздухе, как паутина, и сплетали в одно всех тут сидящих в церковной звоннице, и в то же времечко расплетали. Вот как Иван да Марья — и вместе, и врозь. А то все спорят, гутарят, все уши пробили: «Что такое демократия?» Народовластие мы уже знаем. А вот когда слышат каждую Марью, каждого Ивана видят в глаза. Синее и золотое, земное и поднебесное; голубое до неба — моя вертикаль,

А зеленое — по горизонту.
Сквозь меня этот крест...

Вот что такое Иван да Марья! Да, Маша? Да, да, мать моя — Марья Герасимовна. И отец мой большой — «граннэр», мой дед по отцу — Иосиф. Мария — Иосиф. Как мать с отцом у самого Иисуса Христа. И я под их высокой долонью...

— Слушайте сюда, — засмеялась вдруг Ниночка. — И первое же, что я сделаю, когда спущусь отсюда, с этой звонницы, так это побегу на откос. К иванам да марьям, от них идет счастье...

— Счастья нет, не бывает, — поджала тонкие губы свои Евфросинья. — Как это — тебе часть да побольше, а другому что?

— Совесть, — пролепетала несчастная Ниночка.

— Способна, однако, краснеть, — заметила Катерина. — Совести не потеряла.

— А кто потерял?

И тишина. И пауза. Главное — надо уметь держать паузу, наполняя ее содержанием. А паутина летела. А шмель входил в боевой разворот. А пчелочка златая купалась вовсю в сине-желтом на Седмицком нашем счастливом откосе. Иван да Марья, — сквозь меня этот крест... не клановые, народные титулы — от народа, а не от фонаря.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

— Это он рассказал мой рассказ, — выступила неожиданно Ниночка. — Это я когда-то ему рассказала.

— Подумаешь! — вспыхнул Володька. — Ну, тогда ты расскажи какой-нибудь мой. Хотя бы тот, помнишь, как за орехами ходили...

— О, они еще и за орехами вместе ходили, — хмыкнула Фрося.

— Не твое дело! — отрезал Володька. — Давай, — обратился он к Ниночке. — Наперекор шипу змеиному...

— И укусу пчелиному, — тут же подсказала Мария.

Ниночка сделала голосок свой ниже, грубее и начала. Хоть и Володькин рассказ, но от себя, от женского рода:

— За орехами мы пошли с ним...

— Уже слышали.

— Вот он мне и говорит: «Всем владеет город Владимир, Золотые Ворота в нем, как Триумфальная арка. Город был когда-то столицей Древней Руси. Но ушла столица обратно в Москву; декабристы ее хотели вернуть...» А я на это вот что Володьке сказала...

— Перевоплощайся, Нина, ты же артистка! — одернула ее Мария. — В египетскую гейшу перевоплощалась, а тут...

— Небось, Володька трахнул ее в орешнике-то, — буркнула Фрося.

— Ну и что! — одернул Фросю Володька. — Тебе-то что!

— А то, — осадила его Катерина. — Неплохо устроился: от Марии детей собрался иметь, а трахать — Ниночку.

— Тоже мне, судьи нашлись, — держался особо Володька. — Каждый делает, что умеет. Вот Фрося у нас ничего не умеет, и ее никто... не желает.

И тут произошло неожиданное. Фрося бросилась вперед и вцепилась бы Ниночке в лицо, но Мария, перехватив ее, остановила. Фрося разрыдалась у нее на руках, а Мария утешала ее, говорила ей, чтобы что-нибудь говорить:

— Ну дай и ты ему, этому негодяю, если тебе так хочется. Это ж бугай неостановимый.

Как ни странно, слова Марии успокоили Фросю. Она отошла тихонько в свой уголок и присела тихонько. А Ниночка как ни в чем не бывало продолжила свой рассказ:

— Вот он и говорит, Володька-то. Да, Володь?.. Что же это отцы нации напутали со столицами? Вот сколько было их на Руси: первая, как ни странно, не Киев, а Господин Великий Новгород. А потом уже Киев. А после Москва. Затем, как короткий промельк, — Владимир. И опять Москва. Петербург. И снова Москва. Так, Володь?

— Так, так.

— Что ж они бродят, эти столицы?

— Да Москва у нас все, Москва! — разозлился Володька. — Незыблемо.

— А сам говорил, что там все прогнило. Круги все, как ложные опята, — то царские, то сталинские, то хрущевские, брежневские. Вот, например, мэр Москвы, а живет не в Москве, не прописан даже, — съехидничала Ниночка.

— В мире нигде нет прописки, — заметил Володька. — Это остаток крепостничества, рудимент.

— Вот Обалденко в программе «Время» с вертолета еще разочек покажет, покажет, где и как мэр живет, — гнало Ниночку по колчам. — И тогда Лазаренко с его дачей под Киевом просто семечки. Вот этот мэр в Успенском...

— Соборе?

— Да ты что! В Успенском соборе Кремля царей венчали на царствие.

— А где же?

— В Подмосковье, где зеленое море тайги, — только вертолетом можно облететь.

— Ты ж это все напрямую про мэрию-то, — урезонивала ее Катерина. — Он же все-таки обустроил, почистил столицу, а то к Курскому вокзалу, бывало, не подойдешь, весь обоссан.

— А теперь, пожалста, в туалетик за три рубли...

— А ежели грошей нема?

— В карман соседу. Или в лифт соседнего дома.

— Во, спасибо мэру — Джавахарлалу Неру.

— Да у него же в Успенском-то ре-зи-денция!

— Какая резиденция? — это Ниночка завелась, как говорить начала — не от Володьки уже, а от себя, куда ее понесло. — Что он — фараон, что ли, египетский? Я мэра этого уважала, но это меня доконало. Фараоны в пирамидах живут, Миттеран — президент Франции — в городской пятикомнатной жил, бывало, в Париже. А мэру этому надо, как самому первому... а самый первый — президент, он единственный, он предвидит акции, ему надо несколько резиденций, как Хусейну...

— Ну, хватит, хватит тебе! — останавливал ее Володька.

— А что? — распалилась Ниночка, вот разошлась, как торговка на базаре, черта с два остановишь. — Это из Питера, говорят, Магадан видать.

— Магадан видать отовсюду, здесь и сегодня.

— Вот пусть они и видят — те, кто жеребцов в Германии покупает.

— А кто ж это?

— Да у кого целый ипподром в Успенском.

— Все тебе ипподромы да ипподромы! — вступилась за руководство Катерина. — Других тебе нет параллелей?

— Есть, — поджала Ниночка губы. — Да Москва далеко, а эти тут близко. «Вунтеры» — генералы песчаных карьеров, а генералы эти, небось, пострашнее всяких главнокомандующих.

— Ух, какая ты умная.

— А ты, Катерина, молчи, — оттолкнула ее Ниночка. — Сама лошадница, по жеребцам помираешь, а мэра, жеребца этого, на молодой женат, — защищаешь. А ведь он тебе не какой-нибудь однофамилец... или по ипподрому у него в столице кататься не собираешься?

— Дура, дура! Наговорила Бог знает чего. Магадан не знаю, но «Беломорканал» тебе обеспечен...

— Зато я не курю... фимиам этот, — засмеялась нервически Ниночка. — Мы из Древнего Египта, за пять тысяч лет мы там всего навидались. Мы даже фараонов, как «общественное питание — под огонь рабочей самокритики» ставили, это у нас дома тарелка такая, от отца еще моего — с тридцать седьмого года. С таким вот апофеозом! Я из нее и ем. И критикую иной раз нашу мамашу...

— Ну и где он теперь?

— Кто?

— Отец твой?

— А-а-а!.. Вот в лапы кому попадешь, — перевела разговор Мария и обернулась к Володьке. — Эта кнопка на всей твоей биографии польку-птичку сыграет. Слава Богу, вовремя разглядели.

— Думали, патриархат, — констатировал Володька, — а тут что у нас?

— Патриархат наверху, по начальству, — заюлила Ниночка. — А тут матриархат, да, Володь? Как ты думаешь?

— Он как орехов в рот набрал, — заметила Фрося.

— Он думает, — сказала Ниночка. — А когда думает, то молчит.

— Му-му! А ты всегда молчишь, когда думаешь?

— Не твое дело, коза. Летай себе самолетами Аэрофлота, зачем тебе еще и летчицей быть?

— Какой Аэрофлот, какие самолеты! Разлетелся твой Аэрофлот по кукурузе. Хрущев все предвидел, когда сеял кукурузу. Что самолеты на пузе разлягутся по кукурузе...

— Если б я была царица, —
Говорит одна сестрица, —
Я бы тот Аэрофлот
Весь вместила в самолет.

— А еще что?

— И всех остальных туда же. Чтоб улетели отсюда к чертовой матери! — напрямую рубила Ниночка. — Надоели все то со своей Чечней, то с обвалом 17 августа... и вообще, я только Спасскую башню одну и уважаю, да еще Кремль весь как исторический памятник архитектуры. Как иду по Каменному мосту, так с моста на него гляжу, не могу оторваться. А так, вообще-то, еще Золотые Ворота во Владимире люблю, да, Володь?

— Да, да! — наконец резко ответил Владимир Ниночке. — Дура!! Но — русская дура, натуральная! Ляпи, ляпуха!..

— Ну вот, — обрадовалась Ниночка, и грачи прилетели, а то черные птицы перестали что-то летать над кладбищем... Матриархат! Вот к чему подошли мы с вами, здесь и сегодня, сейчас, да Володь?

— Да!

РАССКАЗ ИВАНА

— Непристойно ведешь себя, — сказал Иван, — с Кремлем — хорошо, а вот про все остальное — неважно. Накаркаешься, ворона.

— А что я сказала-то, что я сказала? — заныла,

запричитала Ниночка. — В газетах пишут и не такое.

— А ты хоть читаешь газеты?

— Не-а, а кто их читает-то? Все теперь по телевизору. А газеты — для типографий, партий и разногласий. А я законопослушная. Мне что скажут, тому я и верю, да, Володь?

— Ух, какая ты, хе-хе-хе, египетская пирамида, — засмеялись все, грохнули, аж колокольню затрясло, а где-то поблизости (там, на дереве) вскрикнула и заикаться стала ворона, ворон с вороном — сладкая парочка. — Может, ты еще и го-су-дарственница?

— А что это?

— Ну, когда все для государства, а для человека — шиш с маслом.

— Нет, шиш, хоть и «с маслом», не надо нам, да, Володь?

— Да, — сказал грубовато Володька. — Да замолчи ты, несчастная, окоротись! Дай хоть Ивану рассказать свою историю.

— Это про что?

— Да все про то же — про Ивана да Марью.

— Ах, про цветы эти — желтые, синие? Дети — цветы нашей жизни.

— День-то какой-то серый, — поморщился Иван. — А про цветы вам уже рассказывали.

— А ты рассказ разукрась, расцвети красками.

— Ну, что тебе рассказать, Маруся? — А Мария уже подошла к нему и присела рядышком, даже чуть прослезилась, так что Володька засопел, даже зубами скрипнул. Но Ниночка тут же ширнула ему под бок кулачком в качестве действия в сторону патриархата из области матриархата. — Итак, про цветы... Я тоже легенду могу сочинить, здесь и сейчас, у нас на глазах прямо, можно?

— Валяй, — согласились ребята.

— Года два тому был я на школьной практике — на нашей Седмицкой ферме, матери помогал коров доить, — медленно, как-то врастяг начал Иван.

— А зачем тебе, если на врача собираешься?

— Для ума, — пояснил за него Володька. — Умный — хорошо выпутывается из ситуации, а мудрый — в нее не попадает... Помните, председателем был у нас Иван Васильевич?

— Анохин, что ль?

— Ну да, ён самый. Так вот, прихожу я однажды к нему в кабинет — деньги за мать получить, а у него на столе хвоя — лапа еловая. Стол верхом. А сам Иван Васильич сидит на локотках пригорюнясь. «В чем, князь, горесть и болесть?» — спрашивается. И тот отвечает: «Что, не знаешь? Опять коров кормить нечем. Неурожай на травы был да еше и солому пожгли с осени, дураки. А Запорожье, с кем дружим, за солому ломят... Вот сижу и думаю, если хвоей коров кормить, как «крокодилов», то желудок от смолы у них слипнется ай не слипнется? Если слипнется — Магадан уже виден, от такой химической реакции. А если не слипнется...» — «А не слипнется, — говорю, — и опять же Магадан тогда, но уже с Вадимом Козиным, за творческую находку». Вот покосился на меня он, как сейчас помню, да и говорит: «А почему?» — «А по кочану. Потому как творчество не там, где вытворяют, а там — где творят». Слюни у него так и потекли, как у быка испанского, на еловые лапы...

— Опять мы судим... уже председателя. Вот Коминтерн! — сказала Катерина. — А при Императрице Второй, моей тезке, на Руси судили не личности, а категории.

— День такой — Судный, — заметил Алеша. — Шестой день нашего календаря.

— Робинзон Крузо. Что — зарубки делаешь на колокольне?

— На лапах еловых, на лапах, — перенес Иван на себя внимание. — Да, вот зима кое-как и прошла. Додержали на веревках коров до апреля. А дальше творчески надо творить, а не опять вытворять с перспективой на

Магадан, это нам ни к чему. И тут забегал, засуетился этот Анохин, творческую активность начал будить в себе не зимой, а с весны уже, до косовицы трав. Созвал очередное совещание дедов. Один такой конгрессмен с хутора Синяя Рожа и посоветовал агронома ввести по травам, химикалии по лугам рассевать. Синяя Рожа (дедок этот, кличка такая по хутору) предложил простой и дешевенький, замечательный способ. Коварный, но адекватный.

Мария совсем уж обосновалась возле Ивана, оттеснив Ниночку, и все сочли это так же естественно, помичурински, как и доллар с рублем, которые, воссоединясь, создают исключительно дополнительный стимул.

— Когда же это наше «сидение» закончится? — всхлипнула Ниночка.

И так ей захотелось домой, восвояси, в родную свою Седмицу, а лучше, откровенно сказать, опять бы еще на тот самый берег крутой, недокошенный, где бы их с Иваном ожидало то самое, что и когда-то с Володькой.

— Да когда? Да хоть завтра. Завтра что у нас — воскресенье? А сегодня суббота?

— У нас нонче субботея,
У нас нонче субботея...
Радуница радуется —
В горле боль и ком.
В памяти родителей
Добрый военком.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

День оставался серым, но после полудня тучи вовсе остановились и резче духоту обозначили. Разморенные, лежали они на соломе, как рыба на берегу, хватая воздух, и плыли в поту.

— И сколько тут можно терпеть? — сказал все тот же женственный, немного капризный голос. Это была Мария. Она строила уже новые планы и не на колокольне, а где-то еще.

— А не терпи, — уклончиво ответил Володька, он понимал ее лучше других.

А со спины к Володьке уже прижималась Ниночка, от нее веяло флорой и фауной, Древним Египтом, крутой нильской волной. Сексуальные видения прямо-таки терзали ей душу, но Володька четко обозначил стеночку и не пропускал. С другой стороны, спиной к нему, лежала Катерина (пышное тело, кающаяся Магдалина, — бойтесь данаев, слегка обнаженных). Цель и задача Володькины состояли в том, чтобы повернуть следы обратно — в свои дополнительные внутренние ресурсы, чтобы справиться с этой степью широкой, дабы она, разморенная, тут же откликнулась на его повышенный сексуальный запрос.

— Прекрати, — попыталась укрыть Катерина спину свою одеялом, которого не было.

— Чего?

— На два фронта работать, — произнесла Катерина все так же невозмутимо.

— Все так работают — на два фронта, — ухмыльнулся Володька. —У Германии были Англия и Россия, у России — НАТО и...

— Нато Бампо, — перебила его Катерина, и спина ее обмякла, стала менее напряженной.

И посыпались вопросы к Володьке со всех сторон из соломы, уводящие его в сторону от намеченного наступления.

— А как звали коня Нато Бампо?

— А у Казбича, этого «немирного» кавказца?

Володька прижимал Ниночку, а по спине Катерину гладил, и та уже отвечала на вопросы к нему:

— А у Нато Бампо коня не было, — угибаясь, проваливалась спиной своей Катерина под рукой Володькиной.

— В университет бы ты не прошла, — многозначно заметил Алеша. — Был такой вопрос, говорят, на приемных экзаменах.

— Фру-Фру, — фыркнула в своем уголочке Фрося. — Спину еще он сломал ей на скачках.

— Кто — Нато Бампо?

— Двухполюсный мир!

— У тебя, Фрося, все дураки и дуры, — сказала лениво Ниночка. — Даже Мария. Со своим библейским именем и глубоко внутренним материнским содержанием.

— Я Марию обожаю, — буркнула Фрося. — Только Катьку не понимаю... Ну мужики — ладно, а вот вы куда смотрите, бабы?

— Так у нас же пока еще не биархат.

— Но уже и не матриархат?

— Да патриархат еще, патриархат! Но какой-то урезанный.

— Какой же он у него урезанный?

— У кого?

— У Володьки, у жеребца у этого со станичной конюшни.

— Только школу заканчивает, еще и в армии не служил, а уже свыше двадцати одного см... урезать!..

— Кать!

Пауза. Главное — держать паузу.

— Катя!!

Главное — держать опять-таки паузу.

— Катя, Катюша!

— Ну что тебе, божий ты человек!

— А вот стенки храма Божьего не только голос записывают, но еще и видимость. Торс свой хотя бы соломой укрыла и не придвигалась к Володьке-то. Грех на себя не бери, как Ниночка, эта египетская «санта» — святая...

— Я тоже женщина, — выступила Катерина. — И тоже ведь не святая, ну и что?

— Но ведь и ты из ребра Адама, как и Мария.

— Не из ребра! — отчеканила Катерина и выложила на всех: — Но жеребцов, представьте себе, люблю!

И все захлюпали, захлопали, захлопотали.

— Секс, однако, — внес Володька тоже свой вклад в общую копилку.

— Из ипподромных анекдотов, — представила Катерина свой сюжет шепелявым голосом Горина, что из «Белого попугая».

— Никулина давай самого! — потребовала общественность.

— Так Никулина нет уже.

— Но дело его живет.

— Чтобы Никулина изобразить, — сказала Катерина, — ого-го мозги какие нужны, преогромный талант... Вопрос ко всем: что такое матриархат? — И опять эта пауза пресловутая. Продолжение паузы. — Ладно, — сказала Катерина. — Тогда так, жеребец содержался на ипподромной конюшне. Секс для него был главное, а не бег по кривой, на рекорды. И назвали его тоже Сексом. Бывало, поставят перед ним на бегах кобыленку, так он за ней ни за что не отстанет, резвость любую покажет. Вот кобыленку подходящую подыскали ему — ну, как Лидия Скобликова — рекордсменка, что была у нас по конькам. По итогам столетия в мире первая, правда, американцы отодвинули ее и, как всегда, вперед выставили своего человека. Но не было ведь среди женщин резвее Лидии Скобликовой... Ну, и этой трехлетке не было равных на ипподроме. Бежит она, а Секс — этот Секстинский Мадонн — за ней шаг в шаг, ухо поймает и держит зубами. Тянется из последних сил, из гордыни мужской, хоть сдохнет, а не отстанет. И, если поставят на него в тотализаторе, то как сделают: перед самым финишем придержат ее, а его вперед пропустят. И Мадонн — победитель!..

Конкуренты пронюхали про все это и что, подлецы, удумали? Когда выезжала куда-то конюшня, ну, скажем, на летний отдых, в пионерские лагеря, они, изловчась, возьми и слегчи его на одно яйцо. И стал Секс уже не жеребец, а нутрец. Однозначно. Черное убрали,

белое оставили. И что же? Осенью снова ипподром, снова бега. Пустили перед Сексом-Мадонном ту самую кобыленку...

— Фру-Фру?

— Ну да. Значит, бежит перед ним эта Фру-Фру, и давай репой перед носом вилять, а он и на репу уже не реагирует. Так и пришел четвертым, вне призеров.

— Четвертым — ах! — вздох разочарования прошелестел по соломе. — Слышь, Володь? Без медали остался.

— Ну, и что Белый Попугай на это? Как реагировал? — прицепился к Катерине Володька. — И куда же теперь такого?

— Умные люди везде нужны, — сказала Катерина. — И на ипподромах тоже... Помороковав, они создали такое средство усиления. Кобыленку ту запускают, а сзади, на круп ей, сажают Белого Попугая. Белый Попугай видит перед собой бывшего жеребца и кричит ему (научили так):

— Нутрец! Нутрец! Тебе конец, конец!

Бывший жеребец раздражается, тянется зубами подлеца ухватить! Рвет из последнего — ух-хх!! А перед финишем попугай в одну сторону, кобыленка — в другую, и Секс опять первым ленту пересекает. Вот что такое матриархат и патриархат, мужское достоинство в действии.

— Какой тщеславный!

— Вот что такое Русь, понимаете, тройка. Вот мэр и привез себе нового жеребца, как не стало Никулина. Чтобы показывать резвость и без Белого Попугая. Однако без Юрия Никулина птица вечная, как мне кажется, долго не проживет.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ

— Это можно на стенке запечатлеть, — отреагировал Алексей. — Комикс, комедия, искусство, так сказать, второго плана. И где тут красота? — как сказал

бы Шарль Бодлер. — Слеза и смех — я выше их всегда!

— Слеза — это трагедия, а смех — это комедия, — высказалась Ниночка.

— Вот умница, эхо веков и всех мужиков.

— А знаешь что, Алеша? — сказал напрямую Володька. — Нечего юлить, говори все как есть, без обиняков. Хочу все знать, проникнуть в сокровенные тайны. Конец же столетия, даже тысячелетия, а мы все блудим... в потемках... в предначертаниях... То социологию нам подавай, то в социуме у нас все борьба, а где сам человек в разных сферах, интуициях и интонациях?

— Так его, Володь, так! — привскочила с соломы Ниночка в халатике своем нараспашку.

— Не показывай, блин...

— Да что ей показывать-то? Что предсказывал Нострадамус по Кавказу? — не выходил из роли своей Владимир. — Мы владеем ситуацией, но в одностороннем порядке, в ограниченностях мира однополярного. Давай распахивайся, Нинок. А то пожары, пожары, а как и чем их гасить?

— Сами дотлеют.

— Не сказал бы, — твердо стоял Алексей. — Мы, молодые, не агрессивны, а если и агрессивны, то больше по гороскопу, по уровню жизни.

— Легенду гони, свою версию.

— Про аленький цветок, что ли? — замялся Алеша, но взял себя в руки, и голос его стал наливаться силой таинственности и метаморфоз. — Заметили, как ребенок только что от груди, а уж тянется ручонкой своей к огоньку — к этому аленькому цветочку? Что влечет его — яркость, тепло, хранящееся в ощущениях недавно покинутых недр материнских? Но только дотронется, обожжет пальчик и никогда уже больше не потянется к этому красивому, но опасному огоньку. Так ведь, да?.. На заре человечества сидел у пещеры Мальчик и любовался закатом. Солнце висело красное, крупное — над вершиной Черной горы.

От Черного Камня на Земле, от Красного Камня в Небе тянуло теплом. И Мальчик полюбил Красный Камень за его Красоту, за переливы всяческих изменений, а с ним заодно и Небо. И ему захотелось туда, высоко-высоко, куда залетают птицы. Пришла Мать, принесла красный цветок. И положила его перед Мальчиком, и Мальчику стало вдруг так тепло, весело, хорошо, как недавно в утробе Матери. Пришел Отец с охоты на мамонта и прямо в аленький цветок положил огромную кость с мясом, и слюни у Мальчика потекли сами собой. И Мальчик взял эту огромную кость и протянул ко рту. Та часть кости с мясом, которая полежала в красном цветке, была вкуснее. И Мальчик стал есть эту часть, а не ту, которая не лежала в цветке.

Отец и Мать смотрели на своего Мальчика и любовались им. Каждый раз, насытясь, Мальчик швырял кость куда подальше, не обращая внимания на собак пещерных и кошек лесных, собравшихся у его ног. А они сверкали глазами то на Мальчика, то на алый цветок.

«Красиво-то как, особенно ночью, — думал Мальчик. — Они тоже любуются им».

И так лето сменяло зиму, а зима — лето. Однажды Мальчик заглянул в глаза Собаки и заметил какой-то особенный блеск. Объев, как всегда, свою кость особенно со стороны, побывавшей в красном цветке, Мальчик подумал отчего-то о Черной горе, откуда веяло холодом, и протянул кость другой, холодной стороной собаке.

— Мой сын будет охотником, — сказал Отец. — И Собака ему будет Другом.

И вот опять рдеет у пещеры Аленький Цветок. И опять огромная кость в руке у Мальчика. Мальчик объел ее и оставил немного мяса, и уже не с той стороны, что еще не лежала в алом цветке, и даже не с того боку, что лежал в цветке, но был черен и горьковат, сам похож цветом на Черную гору. Мальчик оставил розовый кусочек, так похожий на Алый Цветок, такой

кусочек хотелось съесть и самому. Однако он пересилил себя и отдал кость с этим кусочком мяса Собаке.

— Вот Сын мой и Человек, — сказала Мать.

И Солнце с одного боку вспыхнуло и потемнело. А Черная гора, с другого боку, улыбнулась и покраснела, осветясь Солнцем. С этого все и началось.

— С солнечного затмения, — уточнила Фрося.

— С восхода Солнца, — поправил ее Алексей.

— Ну, и что ты этим хочешь сказать? — скрутив солому в жгут, держал Владимир его наотлете.

— Крыши теперь не соломенные, — покачал головой Алексей. — Однако «соломенные» моторы... Алый Цветок у пещеры, откуда Мальчик смотрел на закат, разросся и рассыпался по земле... страшно красиво... Страшное — может ли быть в Красоте? Это знают лишь избранные, подключенные к третьему глазу...

Нострадамус назвал года испытаний. Кажется, в сентябре текущем мы пройдем через Бунт Поднебесья и, если останемся, будем жить долго. И все тогда будет зависеть только от нас. И звездопады, сама жизнь будут у нас другие, — так сказал Заратустра...

Володька спал, и Катерина спала. А Солнце уже шло за Синие Скалы. От речки Седмицы потек прохладительный воздух, и все засвиристело в лесу, заговорило, заскрипело ведьминым голосами, — это качались сухие осины. Просто жудостью веяло от говорящих осин, духи горизонтальные, перевитые вертикалью могил. Давно здесь живем...

— Эй, проспишь все царство небесное! — расталкивала Мария Володьку. — На закате спать нельзя, головушка будет бо-бо.

— А я что, я ничего! — вскочил Володька, водя одурело глазами по тлеющим лицам, на которых лежал налет уходящего солнца. Как огромный Алый Цветок, оно уходило за Синие Скалы, откуда к нам сюда приходили... Наполеон — 1812-й, Вильгельм — 1914-й, Гитлер —1941-й...

— Алеша! — толкала в плечо его Катерина. — «Эх, прррокачу-у-у! Пролечу, прозвеню бубенцами!» — Но это, кажется, уже не снилось ему, а грезилось наяву.

РАССКАЗ ФРОСИ

— Опять я последняя? — всхлипнула Фрося. — Все последняя и последняя, всегда и во всем. Вы меня не любите, а я вас люблю.

— Что ты, Фросенька-а-а, — лицемерно протянула тоненьким своим голосочком Ниночка. — Мы тебя о-бо-жаем.

— Я все одна и одна, — заплакала Фрося теперь уже откровенно, обхватив лицо ладонями и уткнувшись в свой уголок. — Все одна и одна.

— Ну, вот и поделись своим одиночеством, — подошел к ней Володька и положил ей на плечи руки.

— Не надо, — остановил его Алексей. — Это глубоко интимное. Белое с черным, черное с белым — как клавиши на рояле, по которым идем. Да вон же поле, по которому ходят... что ходит?..

Все глянули в крайний проем и увидели, как по зеленям сновали белые и черные птицы: это грачи с кладбищенских лип и голуби — божьи птахи слетелись сюда на кормежку вечернюю...

— Расскажи что-нибудь про них, Ниночка, — всматривался Алеша в сумеречное состояние поля.

— Про птичек? — перебила Ниночку Фрося. — Ну, что ж, про птичек так про птичек... Это случилось в большом, равнодушном городе, где живет, между прочим, и работает в университете тетка моя Алевтина. В прошлом месяце я приехала в город и заночевала у тетки. Вечером Алевтина приходит с работы невеселая, можно сказать, даже грустная.

— Чего это ты? — спрашиваю я.

— А сорок дней полета отмечали.

— Какого полета?

А у самой меня перед глазами, конечно, космонавтика, Юрий Гагарин. В крайнем случае, недавний перелет воздушного шара вокруг Земли по экватору. А Алевтина и говорит:

— Да сорок дней отметили.

— Кому?

— Коллеге. В общем, педагогу и человеку. Сорок дней тому, как выбросился из окна девятого этажа.

— Да ты что?!

— Истинный крест.

— Да ты что?!! — так и привстали в звоннице все сидящие на соломе. — С девятого? Из окна? Неужто жизнь так уж плоха, чтобы так вот... с девятого... СПИД, что ль, рак или наркомания?

— Вот и я такой же вопрос задала Алевтине.

— Да нет, — говорит Алевтина. — Все вроде в порядке было у него и на работе, и дома. В университете ему не так давно отметили юбилей. Действительно, все его уважали, даже любили. Ну, можно сбросить процентов тридцать на лицемерие... а все равно...

Французский язык преподавал. По молодости в Африке был; доллары привез, «Волгу» купил. С материальной стороны — все вроде в порядке. Жена в школе учительница, два сына — один еще школьник, другой уже определился, имеет работу...

— Так в чем же дело, Фрося? — удивились сидящие на соломе.

— А все вместе давайте думать: почему хоть? Ни Алевтина, ни я, да никто из коллег, представьте себе, не додумался: что толкнуло? Чем жизнь уж так не мила? — дрогнул голос у Фроси. — Ведь и так нас мало на этой просторной земле.

— Действительно, почему хоть? Чего ему не хватало? — слезы выступили на глазах у Ниночки. — Вот не знала его, а жалею.

— И студенты его жалеют, говорит Алевтина, — тяжело вздохнула Фрося. — А сама Алевтина даже

плакала... Вот мы все говорим: спешите делать людям добро! Он и делал его. Стихи, песни писал для «капустников». Всю душу, можно сказать, отдавал всем, кто вокруг него, особенно молодежи. Да и тем, кто постарше. И подвезет, бывало, на машине своей и отвезет. Сына Алевтининова — выпускника института — с вещичками на «Волге» своей отправлял на работу в деревню. Человек был чувствительный, тонкий...

— Может, в этом и кроется все? — высказался Алеша. — Как вы думаете?

— Старый декан, — продолжала Фрося, — по словам Алевтины, его за сына считал.

— Так в чем же все-таки дело?

— Квартиру получил не так давно, жил до того в пятиэтажке. Одному профессору дали новую, а ему передали профессорскую... Жил бы в старой — в пятиэтажке-то, жив бы остался, неоткуда было бы бросаться.

— Постойте, постойте, — сказал Иван. — Как передали профессорскую! Что же он век прожил, до юбилея дожил — и все в «хрущевке»? И передали ему квартиру «БУ» — «бывшую в употреблении». Так, выходит?

— Выходит, так, — пожала плечами Мария.

— Так, — подтвердила Катерина.

— Вот мы и подбираемся к истине, — продолжил свои рассуждения Иван. — А что же декан?

— Да декан, говорит Алевтина, особенно сожалеет, — продолжала Фрося. — Как по сыну горюет. Он же, говорит, имел «золотые руки», все умел, на все руки мастер. Когда декан обустраивал свою квартиру, так он же ему всю кухонную мебель сделал. Декан говорит, да что же он? Да мы бы ему помогли с кандидатской...

— А что — он и кандидатом не был?

— Алевтина говорит, не был. Без ученой степени, просто старший преподаватель.

— А вот поветрие такое пошло, — заметил Иван. — Без степени, а доценты, с кандидатской, без докторской — но профессора... Помните, Жириновский Владимир Вольфович: утром — стулья, вечером — доктор экономических, что ли, или философских наук? А то человек всю жизнь горбячит на диссертацию и только к закату доктор, когда уже помирать...

— Вот и у них на факультете, — продолжала Фрося, — одному без степени дали доцента. Тот был активным общественником...

— А что — разве этот, о ком идет речь, — шпиганул, как клинком, своим вопросом Иван, — что, разве этот... что погиб, не был активным?

— Вот! — сказал вдруг Алеша Ивану. — Вот куда тебе надо идти — ты же природный следователь. Папа, случайно, у тебя не юрист?

— Да, Фросенька, мой диагноз: лицемерие общества! — смотрел Иван со своей колокольни прямо перед собой во широкую степь. — Элементарно: гипертрофированное внимание к себе и невнимание к тонким, изящным натурам.

— Вот вам и одиночество, — с грустью сказал Алеша. — Спасибо, Фрося, Фросенька дорогая, ты нам открыла глаза...

И стало тихо. Так тихо, что слышалось, как где-то во глубине стучит чье-то сердце. И паутинка, зацепившись за край каната обрезанного некогда колокола, так трепетала, так отдавалась звукам, что атмосфера, кажется, грохотала, била во все колокола, просто набат гремел по погибшему человеку! Даже белые голуби — эти твари божьи, даже черные вороны, и те встряхнулись на липах и, прислушиваясь, огляделись по сторонам. Даже солнце, выглянув из-за краешка леса на миг, не захотело закатываться. Спаси, Боже, нас от одиночества. Не судите, люди, да не судимы будете... «обездоленное поколение...»

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ВОСКРЕСЕНИЕ

Наутро они выглянули из своей колоколенки и ничего не увидели. Туман, утро туманное. Белое, белое молоко.

— Значит, день разыграется, — прочистил глотку свою Иван. — Будет солнце.

— И какой ныне день недели? — сладко потянулась Мария. — Воскресенье?

— Да, воскресение.

— Что-то мы тут засиделись, — зашевелились и все остальные. — Слышите? Это с веток капель от тумана. От звонка до звонка, от колокола до колокола, от набата к набату.

— От воскресения к воскресению?

— К возрождению.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ

И чего нам не хватает в жизни, так это духовности, духа святого, национальной идеи. Ведь материальное все уже, кажется, есть. Одни недра у нас чего стоят. Однако же как во глубине недра эти, так они наши, а как вытащут — уже чьи-то, кому-то принадлежат. А ведь за них ухандокивались поколения. А конкретнее, что лучше — мало или много, часть или целое, личность или коллектив, чего больше в нас — Азии или Европы? Есть реклама такая, идет на первом канале: по лестнице ввысь куда-то по ступенькам, под самые облака, уходит вполне современный человек, наш человек; Русь, и куда же ты... несешься?

В Православие, Самодержавие, Народность.

За Веру, Царя и Отечество.

К Семье, Частной собственности и Государству.

Патриотизм, Государственность, Социальное согласие.

А что делать? И кто виноват?

А что, интересно, делать тем, кто виноват?

А тем — кто не виноват?

— Представьте себе, — сказал Алексей, — что храм наш — это антенна, уходящая в Магелланово облако. Мы в церковной звоннице — как в высшей части антенны. Слышите, как текут через нас токи земные, биотоки всего человечества — ввысь к богам мирозданческим, и уже через наш дух и тело все эти биотоки небесные притекают к Земле, к земным владениям, к людям. Сколько их за эпохи — целые армады сарматские и половецкие растворились в бессмертном евроазийском лике степи? И прах людской пополнил недра, а дух плывет в небеси, как «летучий голландец»...

— Алексей! Не говори так красиво, — поморщился Иван. — Конкретно — что, где, когда, почему и во имя чего?

— Вот тебе конкретно! — показал фигу Алеша. — Под нашим райцентром — ну, подле городка нашего — деревенька такая есть — Вавилоновка. Стоит себе века, никуда не девается. А ведь Вавилон-то извечный, всеобщий, строивший башню из глины до самого верха, давно уж рассыпался. Кстати, слово «Адам» (человек) в переводе с шумерского — «глина»... в глину мы и уходим...

— Ну и что? — сдвинул брови Иван.

— А то, — не отступал от своего Алексей, — что пора собирать камни. А то на Дунае уж начали бить в ту самую башню, и не только камнями.

— В какую башню?

— И в ту, и в эту.

— Но башня-то Вавилонская одна, а не две.

— Ну да, одна. Индо-европейская. Часть ее продвинулась в Европу и растворилась по границам кельтов и галлов. А эта звонница торчит костью в горле. И токи идут к ней с Востока, от Солнца (с прародины) и упадают на Запад...

— Крайняя точка запада — это Америка?

— Это на земле если. А если в душе?

— Нет, я больше так не могу, — поморщилась Фрося. — Это слишком абстрактно. А жизнь ведь конкретная, в художественных образах, так, Алеша? Вот ты и скажи, вернее, растолкуй нам историю Вавилона...

— Вы роль Испании знаете, — усмехнулся Алеша, — для Нового Света?

— Ну да, золотые галионы, корсары южных морей.

— И вот не так давно, в 1898 году, Испания потерпела жестокое поражение. Буквально была расстреляна в южных морях дальнобойной корабельной артиллерией янки. И Куба потеряна, и отошла половина территории Мексики к Штатам — Техас. Нация в кризисе, пали духом испанцы в метрополии, на материке. Всегда были в иллюзиях, что они великие, а тут — нате вам. И только поэты, настоящие из поэтов — они всегда и во всем идут наперекор. С них и началось «Движение 98-го». Порыв, оскорбленная честь и любовь. И Гарсиа Лорка был среди первых. Поэты и подняли камни Испании после дальнобойных орудий и положили в основание новых иллюзий.

«И страсть, и ненависть к Отчизне».
«То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».
«Испания, глубже, чем море, любая тропинка твоя!»
«Севилья ранит,
Кордова хоронит».

Вот «Дерево песен» великого Гарсиа Лорки, родившегося в 98-м, — в тот трагический год и расстрелянного, когда лично я, а не Алеша, родился. Один убит — у другого режется голос, это так у поэтов.

«Все дрожит
одинокая ветка,
от минувшего горя
и вчерашнего ветра.

Ночью девушка в поле
тосковала и пела —
и ловила ту ветку,
но поймать не успела.

Ах, луна на ущербе!
А поймать не успела.
Сотни серых соцветий
Оплели ее тело.

И сама она стала,
как певучая ветка,
дрожью давнего горя
и вчерашнего ветра».

— Я вижу это кольцо, золотое кольцо поэзии! — засмеялся Алеша в узкий проем звонницы так, что, встрепыхнувшись на липах, черные птицы грачи стали охлопывать себя крыльями, чтобы взлететь, да ведь не поэты, так и останутся тут, где были, жадно следя за полетом других. А в небесах красивы Магеллановы облака, бело-кипенные эскапады и сарматские кентавриады. — И в это кольцо золотое, кольцо, спустясь с Гималаев, пройдут они через Север Причерноморья и захлестнут Европу, а другая часть, пройдя по Северной Африке, вторгнется в Кордову... И вот они встретятся в Андалузии — Есенин и Лорка, и замкнут это золотое кольцо... И кто же это сказал?

«Если умру я —
не закрывайте балкона.
Дети едят апельсины
(я это вижу с балкона).
Жницы сжинают пшеницу
(я это слышу с балкона).
Если умру я —
не закрывайте балкона».

А это кто?

«До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди...»
«В этой жизни умирать не ново,
Да и жить, конечно, не новей».

И вот они вместе в этом своем золотом кольце, в общем сплаве.

«Никогда я не был на Босфоре...»
«Однако колоколам Кордовы
зорька рада.
В колокола Кордовы
бей, Гранада!»

«...Гранадская волость в Испании есть». «Он пел, озирая родные края: «Гранада, Гранада, Гранада моя!» Бейте же, колокола Кордовы, в год 98-й! Бейте же, колокола, и в наш 99-й! Вы видите, звонница наша шпилем уходит в опять уже синее Небо? Вы слышите, как наши колокола упали и раскололи Землю? «По ком звонит колокол?» Он звонит и по тебе. «Лучше жить стоя, чем умереть на коленях». «На том стояла и стоять будет Русская земля!»

РАССКАЗ ИВАНА

— Спасибо, Алеша, — сказала Мария.

— Спасибо, Мария, — сказал Иван.

— Спасибо, Алеша, Мария, Иван, — сказала Катерина. — Спасибо вам, люди. Спасибо, миры и народы... Спасибо, эпохи и континенты, серебряное эхо тишины.

И все они взяли друг друга за руки. И образовали огромное рондо вокруг всей Земли, которая стала до того маленькой, хрупкой и нежной в этом своем кольце человеческих рук. И зачем тогда Нато Бампо с Запада на Восток? И зачем эти белые, черные пятна в глазах Марии и всего оранжевого солнца, и даже зеленые тучи, грядущие с Востока? А что делать тем, кто виноват, оттого что «озоновые дыры» растут, а запахи олеандров и левкоев пропадают, исчезают надежды? Но даже «железная леди» обожала левкои...

— Для Рондо нужен характер, невероятные силы, — сказал Алексей. — С чего болеют люди — разрядятся на «озоновых дырах», клянутся, а не восполняют. И вот тебе — чума двадцатого века.

— Под Богом ходим, — сказала покорно Мария. — Так начертано, никуда не уйти.

И все клонилась она на плечи Ивану своей пышной, царственной грудью, хвостом виляла, подыгрывала во всем, даже противно было на это смотреть.

— Вот что, милая, — захотелось сказать Алеше что-нибудь наперекор.

Раздражение, как и у всех тут сидящих в этой кунсткамере, возможно, приобрело бы чудовищные размеры, истощая биоэнергетический ресурс и обращая его в сатанизм, да только солнце, да День седьмой, да разыгравшаяся натура не позволили им свалиться в «озоновые дыры», в эту черную яму, и улететь. Хорошенького хотелось, светленького, жизнеустойчивого, — «вот что, канальство, заманчиво!» И ждали Алексея — божьего человека. И он, как всякий лидер дневного света, хорошо чувствовал массу.

— Вот что, милая, моя дорогая, — повторил он Марии, жалея заодно и себя, и Володьку. — Кто самый крупный писатель страны в наше время?

— Ну, этот... как его... что вернулся из Америки.

— А почему?

— Да до хрена чего натворил.

— Вот именно, — рассмеялся Алеша. — Вот именно, уникальность, исключительность воли, подключенность. Все знают, что писатель заболел раком. Попал в подмосковном Степановском в раковый корпус. Все знают, он вышел оттуда живым. Однако не всем известно, не все же читали «Чистые пруды» другого писателя о том же Степановском, о враче-анестезиологе, лечившем писателя; тот жив до сих пор, а врача уже нет... Представьте, изгнать даже рак из себя! Запретить ему в себе развиваться! Так чем же можно было в себе ему противостоять в генноструктурном смысле?.. Что это — общение с духами, — что же это?..

«Душа воскресла, — считаю я, — после того, через что перешел он в «Последнем дне Ивана Денисовича».

Душа не позволила телу расслабиться и исчезнуть, не исполнив заветы... Ну, что скажет об этом Иван не Денисович? Кажется, пришла его очередь?»

— Фактический факт, — подмигнул Марии Иван и подал руку для рукопожатия не Алеше, а почему-то Володьке. — История такова. Сюжет все знают, у всех на слуху... Итак, ресурсы таинственности, мистические возможности человечества... Наш областной город ныне университетский. А когда-то в нем был пединститут и ректором некто А. — крупный такой, серьезный дядька, с шапкой рыжих, странно пуховых волос. Сам ушел на пенсию, в небытие. Зато дочка у него стала доктором наук, ученым. Причем — настоящим, с интуицией. И послали ее на гранты в Испанию, по специальности. А тут отец заболел, да той болезнью, которая вслух не произносится... Она там — а он тут, она там — а он тут. И вот уж совсем подходят концы ему, однако он все ждет ее, а она все там — а он все тут... Представляете?

— Ну-ну, — заинтересованно зашевелились все сидящие на соломе.

И солнце вроде глянуло ярче, и денек разыгрался. Магелланово облако уплывало куда-то в Испанию, а уже из Испании, скорее всего, в Америку, по всем срезам времени и пространства.

— Нет, вы себе этого представить не можете, — глядел Иван на одинокое белое облако, исчезающее за горизонтом. — У нас бабушка была прикована ровно на два года и три месяца. Так вот ее, утлую, надо было переворачивать, «утку» подставлять, содержать. А тут этот дядька — гигант тела при скудости мысли. Один пунктик засел в нем и пронзил: дождаться дочери!.. Прилетела птичка сегодня, а назавтра, придя в себя, он увидел ее и, отмучившись, отлетел... Она же знала все про отца и, однако, пробыла в Испании ровно столько, сколько ей было нужно...

Смерть или воскресение души?

Мария молчала. Катерина молчала. И Фрося молчала, пропуская кого-то вперед, уже не лицемеря. Первым завидуют, первых сшибают и изничтожают даже физически, и особенно среди граций, новаций и деградаций. Она это знала, они все уже это знали, хотя еще не получили, как говорится, даже «аттестат зрелости».

— А я думаю о Есенине и о Лорке, — сказал Алеша.

— Я думаю об Иосифе, — сказала Мария. — О Сиде.

— А я о Сексе, — откровенно сказала Катерина. — О быстрых секундах.

— А я все-таки о Кавказе, — сказал Володька, спазм сдавил ему горло.

— А ты, Фрося?

— А я — о себе, — покраснела Евфросинья и отвернулась.

Если хоть одному сердцу не позволю разбиться,
Я не напрасно жила...
Если хоть одной замерзшей птице
верну частицу тепла,
Я не напрасно жила.

Она сказала это когда-то. И поэтические грезы Эмили Дикинисон не расстались с Америкой, они спасли не ее, а штаты, сойдя к нам сюда с Магеллановых облаков. И через антенну восприняты нами все врозь и все вместе. И мы не напрасно живем. А ведь могли бы друг друга и перестрелять хотя бы глазами, передушить друг друга хотя бы в объятьях и выбросить из сердца вон и с колокольни долой... Если бы не Эмили Дикинисон...

— Секст Эмпирик, — засмеялся Иван, перехватывая инициативу.

«Секс», — молчали все остальные.

— Ну что, когда-нибудь мы уйдем домой отсюда?! — ребром поставила вопрос эта реальная, прагматичная Фрося. — Бабки моей надоело уж сумки сюда таскать.

Все только и думали об этом, а она одна выразила. И все покосились на Володьку: он-то чего помалкива-

ет? Ему на Кавказ собираться, а он себе на уме. Алексей под Богом ходит, в монастырь метит, в высшие сферы, у Ивана — какие-то льготы, дядька где-то в генштабе. И, кабы несколько ранее, уехал бы он за туманом на великие стройки. И только Володьке за всех отдувайся — ни льгот у него и ни «лапы», — тяни за всех, деревенька!..

И Иван помалкивает: что это такое «блат»? По-старому так и называется «блат». А ныне, черт знает что, «блат» не говорят, а только подразумевают, новые слова еще не устоялись, официального статуса не имеют...

— Пойду сбегаю к Синей Скале, — сказала эта всегда активная Фрося. — Водички святой принесу.

— И я с тобой, — увязалась Ниночка.

— И я, — как пробка, из соломы выскочила Катюша.

— Еще чего! — сказала, как отрезала, Фрося. — Жеребцы тут, а вы там? Без меня покатайтесь тут по ипподромчику.

— Лично я коллективным сексом не занимаюсь, — подобрала губы свои Катерина.

РАССКАЗ МАРИИ

— Нет, мы без рассказа вас не отпустим, — сказали ребята, сидящие на соломе. — Утром — стулья, вечером...

— ...звания, — засмеялась Фрося.

— Какие звания?

— Ну, заслуженного агронома.

— Ага, сеем разумное, доброе, вечное.

— А черные вороны на суку к нам прислушиваются.

— Прослушивают... перлюстрируют... тащат...

— Кто?

— Да воронье же.

Черный ворон, черный ворон,
Да ты не вейся над моею головой.
Да на добычу не надейся,

Эх да, черный ворон,
Я не твой!

— Любимая песня батьки Махно.

— А Колчака?

— О! Это интеллигент, морской офицер — адмирал... Когда расстреливали под Красноярском, попросил, говорят, гитару и лично спел «Глядя на луч пурпурного заката»...

— Красиво же умирать могут русские!

— А жить?

И пауза. Долгая пауза. Очень долгая пауза. Все дело, оказывается, в этой самой паузе — в молчании и умолчании. Ну, что же ты, Мария, молчишь? Рассказывай, дорогая, божественная, из чьего ребра и для чего, с какой целью ты создана?

— Из Володькиного, — вслух сказала Мария.

— Наблатыкалась-то как, посидела тут среди умных.

— Губа не дура, служанка теперь двух господ.

— Он был малый не дурак, но и дурак не малый.

— Да хватит вам, хватит!

— Это мелкая провокация, а так мы любим друг друга. Да, Володь? Вернее, да, Вань?

— Да вынь? Вынь да положь.

— Хоть вынь да положь, а гони, отец, денег на шубу. Дочь уж невеста.

— Трры-ты-ты, ты-ты, ты-ты!.. Все, реагируй, Мария, рассказывай. А то у нас не дождешься, когда сифон перекроется...

И Мария задумалась, представляя, что предстояло ей рассказать. А Магелланово облако высверкнуло в сознании и уплыло, но искра Божья осталась, — неизвестно чья, ее ли собственная, от отца-матери, или от кого еще, может, от Ивана или от Володьки, а все равно нельзя было ее осязать. Хотя бы подержаться за нее, ухватить за хвост, как комету, но не ту, что в августе должна пройти где-то близко в пределах Земли и рассыпаться в беспределах, а совсем махонькая — в

груди ее, мягкой и теплой, где-то внутри, где рождаются бессловесные чувства и ощущения... Мистика, Нострадамус беззнаковый... А еще говорят, «наблатыкалась, посидела тут среди умных», — а ну, полежи среди книг. А всего прочитала одну «Золотую философию» Павла Таранова...

— Ладно, — вслух сказала Мария, — вот вам на сегодня история... Так вот, чему я научилась тут, что приобрела, так это прозрение. Время научило разъединять и соединять, как мне вздумается. Чтобы видеть и предвидеть...

— Все такие умные стали тут за неделю, просто ужас, — задергались, зашевелили соломой ребята. — Ну, прямо хоть убивай.

— Чувствую себя пожившей, — кинула Мария свое сокровенное прямо перед собой в пустое пространство. — Не знаю, с кем дожила до преклонных лет — с Володькой или Ванюшей?

— С Иваном, Иваном! — подсказали ей всем коллективом. — Сама же сказала, Володька из Чечни не вернется.

— Ну, значит, такой разговор у нас ночью в постели. Представьте себе, это происходит не через десятилетия, а уже нынешней осенью...

— Президент, говорят, уйдет, — подсказал Алеша.

— И тут же 2000-й год от Рождества Христова настанет, — высказалась Фрося.

— Ну да, и Первый Президент отправится отмывать себя в Вифлеем, — соединила Мария известное с неизвестным и выдала третье — возможное, ею предположенное. — И вишни любимые привезут ему туда из Парижа, и слева сядет грузин, а справа — белорус. И это будут ему последние почести. Как и орден Рыцаря Гроба Господня, которому уже более пятисот лет... И станет он у нас своим «крестоносцем» за храм Спасителя в Москве, за спасение нас от неверия...

— И тевтонцы шли сюда... и танки двигались со крестами...

И пауза. А ответа нет. Отвечать будем после. За все сразу. При любой эстетике и погоде. Для чего это Первый Президент совершил свой «хадж»?

— А чтобы причислили к лику святых.

— ??

— А что же Иосиф?

— Какой? Библейский или... Сначала положили вместе, а потом вынесли. И черные, черные камни на белом.

— А у Хрущева?

— А черное и белое, белое и черное — равно.

— А этот? Ну, первый...

— Два белых на черном. Пятьсот тысяч в год... Скажите, ИЧК разве Восток?

— Восток.

— А куда Восток совершает свой «хадж»?

— Да в Мекку, к каабе.

— Когда-то камень был белоснежным, но почернел от горя людского и пережитищ...

— Да что вы мне все про первых-вторых! — вспыхнула и отвернулась к Ивану Мария. — Я просто устала от нашей бедности, землетрясений. Дайте покой...

— Ты быстро состарилась, мать, потеряла самое главное — инстинкт самосохранения, — сказал Иван. — Ева без Адама ничто, в одиночку не спастись... Когда шестимильярдный житель планеты окажется в таком же возрасте, как и мы сейчас, три черных камня лягут на один белый...

— Так, так, — задергались на соломе, запрыгали они попарно и поодиночке. «Так кто же все-таки прав — Мария или Иван? Если Мария — матриархат, то это уже пройдено, было. А если Иван — то это, как яблоко в райском саду: кому хочется откусить, а кому и не хочется...»

— Козлы! — разозлился Володька в конце концов. — Не в символах дело, это форма, а в содержании. Стареет тело, а если душа, то входит в нее сатанизм, ведь мы не так уж далеки от каннибализма... Как перепу-

ган был Робинзон, когда увидел след человечьей ноги на песке... Спасибо, Мария, за твой монолог. Но я, пожалуй, за диалог. Я, Маша, за воскресение...

РАССКАЗ НИНОЧКИ

И воскресный день продолжался. И казался длинным, таким длинным, ну просто нескончаемым, такой вот попался денек. Все успели: и проснуться с солнцем, и кое-чего перехватить из остатков еды, принесенной из дому бабкой Фросиной и самой Фросей. Успели и в степь широкую с высоты наглядеться, и в колокола грянуть мысленно, когда увидели мысленно же полчища летящих сюда на них степняков. И рассказы свои рассказать про то да про се. И все смешалось, забылось даже, с чего начиналось, да и не знали, чем все это кончится, а кабы знали, разве бы начинали?..

Вот Ниночка все возле Володьки крутится — гетера египетская, а Володя опять возле Марии из сексуальных соображений, а не возле этой мумии — «санты» этой из Древнего Египта. Хотя Ниночка — ладненькая такая, невысокенькая — ну, метр пятьдесят, ну от силы метр пятьдесят пять с гаком. Это как Врата Смирения в Вифлеемской пещере, где родился Христос, они там высотой каких-то метр двадцать. По одной версии — для того, чтобы иноверцы не могли въезжать в христианскую святыню на коне. А по другой — чтобы всяк входящий склонял голову перед Богом — Иисусом Христом... Под такую вот нишу должны ниц склонить себя все из тех, кто прибыл коснуться губами Звезды Вифлеемской — серебряной четырнадцатиконечной, по числу лет от Диоклетиана до Рождения Спасителя; латынью тут и означено: «Здесь от девы Марии родился Иисус Христос...»

— Ну, так что, Ниночка, ляжешь на солому или еще постоишь, стоя рассказ свой расскажешь?

— А о чем?

— Да о матриархате же, о женской эпохе.

— Не знаю, — откровенно уже оперлась о Володьку Ниночка. — В Древнем Египте, однако, фараонами были только мужчины.

— А Нефертити? Мужчина — глава, а женщина — шея...

— Я поняла вас, — прошла и присела в углу своем Ниночка. — И вот мой рассказ. Да, из тысячи дней и всего одной ночи... Это было давно, не после того, а за две тысячи лет. И, конечно же, в Древнем Египте. Володька еще не родился тут (да, Володь?), а я там уж была... Как известно, я жила в одном из самых роскошных дворцов, на берегу Нила. Каждое утро я подставляла грудь ветру пустыни, и он, пескоструйный, биясь в мое смуглое тело, совершал его омовение. А ветер от моря осушал на щеках моих тихие слезы. И вот однажды я увидела, как безлюдной улицей гонят бичами рабов. «Наверно, на юг, — подумала я. — В город мертвых, где строят усыпальницы для фараонов — эти египетские пирамиды». Один из рабов — самый худой, самый жалкий — упал предо мной, и бич рассек ему кожу плеча.

— Не смей! — кинулась я к биченосцу.

И я выбрала это жалкое, совершенно ничтожное существо, споря с самим Небом, с самими Богами. Я и тогда была молодой и страстной. И сила моя была в том, что мне и тогда никто ни в чем не перечил — ни биченосцы, ни даже над стражником стражники, ни в доме отца. Я выбрала, — вот и все! Самого падшего, ничтожного, жалкого, я — самая красивая, элегантная женщина Александрии... Однако что же произошло? Раб не хотел покоряться!.. Ну да, Володь, помнишь, ты не хотел покориться. Не захотел войти в мой дом, все стремился обратно туда, под бичи... Да, Володь, ты боялся тогда, но чего?..

— Красоты?

— Да нет, скорее обновления жизни, — пожала

плечами Ниночка. — Однажды, войдя ко мне, он сразу же стал стремиться куда-то на Север, откуда однажды принесло чудо — белую хрупкость снега, тающего на лету. И я предсказала, что он там... ну ты, Володь, там родишься... через три с половиной тысячи лет. И я еще раз захочу там родиться, чтобы быть всегда вместе с тобой...

— Врешь ты все это, — сказал Ниночке лениво Володька. — Не был я ни в каком Египте твоем, — ни тогда, ни сейчас.

— А розы?

— Что розы?

— А розы в саду моем — чайные, они же, царапнув, оставили тебе шрам на щеке. Вот, смотрите, неизгладимый след.

— Это след от собаки. Она полоснула клыком, — когда я крал ее у соседа, чтобы сшить себе шапку.

— А эти глаза?

— Что глаза?

— А эти глаза твои голубые? Они же стали такими от Голубого Нила, по которому мы с тобой стали плавать при закате в папирусной лодке?

— Они всегда такие, от матери, — усмехнулся Володька, ковыряя в зубе соломинкой. — Вон у Марии — если серые, так серые, а не голубые.

— При чем тут Мария? А эта кожа твоя на роже... ну, на лице?

— Что кожа?

— Да эта белая кожа лица твоего, — опустила голову Ниночка и покраснела. — Да я же две зимы и три лета возила тебя по Голубому Нилу — на юг в горы, к снегам Килиманджаро... И эта кожа побелела от снега.

— Ну, ты даешь, ха-ха, — рассмеялся Володька. — Просто-напросто черной она никогда не была. Что я тебе — озокерит? Все же я с утра умываюсь, — и ущипнул Ниночку за бок.

— Дурак, — отбив руку, четко выговорила Ниноч-

ка. — Каждый день умываться надо, а не раз в месяц.

— Не обязательно. Это для образованных, а мы пока без дипломов...

Вот так и заканчивался этот Ниночкин разговор на египетско-российскую тему, сюжетец из ее тысячи дней и одной ночи. — Но при чем тут «ночи», скажете вы, где тут «ночь»? По-вашему, все это было давно и неправда, и «днем», конечно, когда же еще? — «А по-моему, все наоборот, — сказала бы Ниночка, спроси ее тоньше как, поинтимнее, с долей трезвости и секса. — Так вот, по-египетски там, где ночь, — это день. А по-нашенски, по-русски, там, где день, — это ночь. Значит, тысяча дней и одна ночь — это все наоборот». — «Ну да, как и то, как и начать с того, чтобы вскочить на броню танка, а закончить «Песенкой про биржу»: «Стою на полустаночке, держу лимоны в баночке, а мимо пролетают поезда». — А что, разве не так?

— Ну, так что же дальше-то, а, Володь? — жалась к нему плечиком Ниночка из высших египетских соображений. — Вот уже неделя на исходе, как все мы тут. Воскресенье уже, сколько можно? Да ведь супчику уже захотелось...

— А пойдем-ка, милочка, сходим домой.

— Слышь? Опять где-то мотор. Опять эти самые... гробокопатели?!

— Все золото ищут, коронки рвут вместе с зубами.

— И, слава Богу, век двадцатый уходит. Зело был жесток и кровав.

— А век двадцать первый?

— Итак, корона на Солнце, протуберанцы. — «Товарищ полковник! Разрешите стать в строй? — Слушай мою команду: взя-я-ять ногу?! — Как ногу? — Ну, взять... эти, как их, протуберанцы в ранцы! — Есть, товарищ полковник. Но чем? Железными ложками или деревянными? — Нужно есть, дорогие мои, чтобы жить. Но не жить, чтобы есть...» — Кошмарная ситуация.

РАССКАЗ ВОЛОДЬКИ

— Товарищ полковник — это кто, это я? В будущем? — уставился в Ниночку жестким взглядом Володька.

— Нет, это полковник из анекдота, товарищ генерал, — рассмеялся Иван.

— Как, я уже генерал? — удивился Володька. — Еще и в военкомат не являлся, а уже генерал?

— А как дворянский недоросль Петруша Гринев. Не служил еще, а уже офицер. Солдат спит, а служба идет...

Вот так незаметно и начался последний Володькин рассказ о воскресении души.

— Понял тему, Володь? Давай.

— Хоть ни черта и не понял, что будет с нами даже через неделю, а не то, что через три месяца, — ухмыльнулся Володька. — Но давать надо! Берите демократии, сколько влезет, по самое горло. Это — эпиграф?..

Итак, продолжение следует. Да, братцы! И как я оказался там, в Древнем Египте, под бичами в колонне рабов? Это военнопленных с Северного Кавказа гнали, как вы понимаете, на строительство египетских пирамид. Однако, здрасссте!.. Помню хорошо, как сейчас помню, и улочку ту (что-то вроде улицы Расстрелли в Питере, такая гармоничная линия, одномерные здания, только понизу, помню, по асфальту яркий мелкий песок из раскаленной Сахары). Помню и дверцу из дома с беломраморной доской, а по ней надпись о том, что тут, мол, расположено знаменитое хореографическое училище. И вот из дверцы той, из училища, вываливается в мир этот из мира того хотя бы... Ниночка...

— Но она же на повара собирается, как она очутилась в хореографическом? — зашевелилась солома и где-то там, на моторе машины, и тут, под Фросей, в уголочке лежащей. И копыта уже не цокали внизу по каменным плитам храма, как капли дождя, это солома смягчала голоса и шаги. Кстати, солома на Руси

была всегда, а на крышах совсем ведь недавно — в каких-нибудь шестидесятых годах, не так ли? — неспа? Вот от чего мы пляшем — от соломы и печки...

— Да, ну и как же ты, Ниночка, оказалась в хореографическом?

— А как ты, Володя, полковником?

— Представьте себе, я собирался в хореографическое, — усмехнулся Володька. — К Махмуту Эсамбаеву или к Галине Улановой — не помню к кому...

— Ну да?

— Да, но что из этого вышло? Как рассказывал мне один приятель, — продолжал Володька, воодушевясь, с большой долей иронии приняв Ниночкин вызов, — все дело-то в случае. Шерше ля фам — ищите женщину, то есть все дело в матриархате, да, Ниночка?

— Да, — насторожась, разулыбалась искусственно Ниночка.

— Да-да, — сделала Фрося большие глаза.

— А ты, карась красноглазый, помолчи, — одернул ее Володька. — Мы с Ниночкой играем в Древний Египет, у нас с ней, как говорится, история с бородой, свои отношения. А ты погоди, не лезь поперек батьки в пекло. Да, Ниночка? У нас с тобой «постскриптум» — продолжение следует.

— Да-да, — тоже с некоторым удивлением смотрела на Владимира Ниночка. — И какая же у нас такая история, кроме, конечно, египетской, интересно?

— А такая, — тряхнул Володька оптимистически своей рыжей башкой. — Помнится, там, в твоем Древнем Египте, когда мы с тобой на папирусной лодке катались вокруг Килиманджаро, мне уже тогда надо было собираться на Север к себе, в это самое хореографическое имени Вагановой. Ищу ботинки, а одного нет. А босиком нельзя же по пустыне — раскаленный песок.

— Рабу можно, — не выдержав, вставила Ниночка.

— Так я уже был не раб, — я уже расковался, свободный человек. Мысли летят, как кони, да по башке,

как оглоблей, аж искры из глаз. А ботинка-то нет. Я — туда, я — сюда, где ботинок, твою дивизию?! А ты, как сейчас помню, стоишь, молчишь — нагишом, в пескоструйном своем костюме. Ничья интеллектуальная собственность. А у меня поездка на Север срывается, заграничная командировка, экзамен в это самое хореографическое...

— Эх ты, деревня! — не вынесла теперь уже Катерина. — Да где же ты видел, чтобы хоть один-единственный человек из деревни в такие училища попадал? Как и, скажем, в ИМО — Институт международных отношений, это как у Яшки-артиллериста: раз-два — и мимо!! Так вот, это же для элиты, для городских, это ихним чадам с трех-четырех лет мозги там компостировать начинают да руки-ноги выкручивать. А наш удел — военные училища, сельхозтехника, электродоильные аппараты...

— Вот я так это и понял, — захохотал Володька. — Плюнул я на этот ботинок, швырнул в угол да так босиком и явился в другое училище — военное, имени князя Игоря. Туда всех босых как раз принимали — в армии, мол, обуют, оденут да еще и на табак дадут. Вот так и стал я полковником у Святослава Рихтера.

— При чем тут... Рихтер? — обиделась Ниночка, за кого ее принимают.

— Ну, тогда не этого, а того Святослава... как фамилия?.. Ну, сына князя Игоря, который в плен попался к половцам, когда ходил с малой дружиной на Дикую степь.

— А не ходил князь Игорь на половцев и в плен, тем более, не попадал, — заметил Алеша. — Это так написали в эпосе песнетворцы Игоревы — Боян и Ходына. Но, как сказано у академиков, князь Игорь совершил не совсем удачный поход на Царьград. И я там был (в качестве полковника варяжского), мед-пиво пил, по усам текло, а в рот все как-то не попадало...

— Может, еврейская у тебя кровь-то? Так в каганат надо было, так хазары бы денег дали.

— Нет, варяжская кровь — викинговская, — отмахнулся Володька от него, как от слепня. — Я был полковником все же у викингов...

А пчела над ухом, а пчела над ухом, вот изгаляется, пчелочка златая.

— И опять Нинка меня подвела, — подмигнул Володька Марии как бывшей своей любовнице.

— И чем же я тебя подвела, интересно?

— А сапог хромовый — полковничий мой на мед случайно поставила, а он так и прилип, как припаяло. Там же юг, Византия, солнца навалом, как прижарило — намертво, все, сапог не оторвать. Князь Игорь уж в свиту меня зачисляет, я же полковник, чтобы ехать в Стамбул. К этим сразу двум царям византийским на одном-единственном ихнем престоле, а я — без сапог. Так и пришлось идтить босиком к ним туда на прием. И все мои тоже разулись из солидарности.

— А Ниночка?

— А Ниночка осталась на берегу. Берег на Золотом Роге называется Мама. А в Забайкалье — река такая, тоже Мама, но Правая Мама, где залегают золото и брильянты... Так Нина там осталась котлеты жарить...

— Где?

— На Маме, что у Золотого Рога.

— Господи! — задергались все на соломе. — Как растрепался, как перед смертью, перед концом света. Во брехло, ну и что дальше-то, дальше в твоей «двойной» бухгалтерии — реалиях и фантастике?

— А ничего, — надул и без того свои припухлые, нацелованные Марусей, губы Володька. — А то, что вернулись мы от греческих царей, а они мне тут же сапоги следом шлют. Один сапог новый, неразношенный — Константин Багрянородный, а другой сапог — этот, как его... ну тоже император, но победнее... но не хромовый сапог, а кирзовый, и размером поменьше. Я его тут же Ниночке подарил, да, Нин?.. Ух, и погуляли! Ух, и погул-ляли! На Маме-то... Как грянули казаки «Марусю»:

— Распрягайте, хлопцы, коней!..
Маруся, раз-два-три!..
Мару...

— Почему хоть про Марусю-то? — обиделась Ниночка. — А не про меня?

— А про тебя песни такой еще не написано, — загоготал Володька. — Про тебя грузины поют... про царицу чи Нину (Брегвадзе), чи Тамару (Церетели)... И, вообще, про кого хочу, про того и пою. Скользящий график — патриархат. Ночь и голос, душа и сердце, кого хочу — того дарю. Да, Мария?.. А все равно дядьку моего родного — материна брата — в Брест-Литовске в сорок первом убили. Полковником на заставу пограничную срочно послали при полном боевом, в сапогах, пока другие второй сапог под лавкой искали...

И тут гром нежданно-негаданно над колокольней как шандарахнет, словно набат, эхо аж с Северного Кавказа, даже в горле запершило, затрепыхалось что-то под ложечкой. И забусил дождь. И пчелочка златая как влетела в звонницу да как присела на плечо Фросе, так и давай кувыркаться, куражиться то над слухом — то над зрением, то к уху — то к глазу прицеливаться.

Пчелочка златая
Над челочкой кружит.
Около летает,
Весело жужжит.
У моей у Фроси
Русая коса.
Лента голубая
Ниже пояса.

— Ну и Володька! Вот расковался, удержу никакого! — выдала Фрося при всех внутренний свой порыв, а сама все побаивалась стервы этой, пчелы. Хоть в бронежилет от нее, хоть в рыцарские доспехи. — Вот, девки, что может его укротить!

— Типун тебе, пущай живет, — возразила Катерина.

— Но ведь кто-то уже нацелился.

— Не в того целит.

— Теперь дома, небось, уж едят гуся с горчицей, — вздохнула Фрося. — К воскресенью приготовили. Отцу — голову, маме — гузку, брату — бражки в кружку...

— А тебе, Фрося, крылышки, кры...

И тут как трахнет еще раз над головой, словно жар-птица — как метнется в проеме. Да еще раз, еще! Да еще разочек как прибабахнет!! Ажник в глазах всполохи, да серой как будто — паленым запахло.

А в груди-то как пошло эхо витками гулять от самого Северного Кавказа, от чисто внешнего по чисто внутреннему периметру всей нашей жизни, сверху вниз до самых глубин биоэнергетических. Эхо это вернется на исходные только к Новогодней ночи, когда начнут во дворах, на нашу голову, хлопать китайскими фейерверками... украшениями — «хлопавками»...

— Свят, свят, — бормочет кто-то в углу, кажется, Алеша.

— Гражданы, гражданы! — шепчет Иван неистово.

А девки сбились в кучку и молчат, безгреховные. И скачут половцы, докатываются сюда со стороны Византии черноморские волны. И с ними дядька Черномор с хоругвями белыми, а по белому — лики, все лики, а меж ними Катя... рина... рина... Марина...

Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина.
Я — бренная пена морская.

Эх, Алеша, Алеша — поэт аполлоновый! Укрой же меня от волны, от войны, от новой страны — чужой стороны, от меня самого — дионисийского, бренного, неубиенного!..

О Марина-рина, о Катерина!..
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной воскресаю!
Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская!

Морская — мирская, инородная — иногородняя. Я — Володька, Владимир, владею миром, но не владею, кажется, даже собой. Все эти волны, удары молнии сокрушают меня, и я, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Чужое ломит, а свое убивает... Сергей, помоги устоять, отстояться... Время твое пришло, биархат!..

Катерина! Гони свой рассказ... Пчелочка златая, пчелочка златая, весело летая...

Пучком соломы Володька вытер вспотевший лоб. На соломе отпечатались пальцы...

Гроздья грома и розги молний! Удары судьбы! Искры из глаз просыпались, качнулся Холм Перунов, зашаталась звонница, по стене ближе к трещинам брызнули «минусы», «Европа-плюс», а тут «минусы-минусы»...

В мгновение ока Володька обмахнул взглядом картину: Истамбул — Константинополь, берег Мамы, река Правая Мама: «Маруся, раз-два-три»... Пчела жужжавшая укусила Фросю, Фрося упала на солому, прикрылась рукой, — самые страшные, самые беспощадные пчелы — кавказские или из Африки, Южной Америки... Все просто офонарели. Молнии стояли в сверкании молний, молнии отложились на них. Три черных камня на белом...

— Катя, Катерина, ну давай же! — крикнул Володька.

Катерина побледнела и начала.

— Я за нее перескажу, — показала она на Фросю, ничком лежащую от укуса пчелы. — Вернее, от ее имени, пока она спит... Правда, она не боится ос, даже волка пчелиного — шершня, зато страшно боится пчел. Помните «Железную волю» Лескова? Немец такой, с

трезвым немецким характером — Гуго Карлович Пекторалис, тоже совсем не боялся ос. Согласно известной немецкой бережливости, он на дороге поднял нечто живое, серое, шевелящееся и сунул за пазуху. Оказалось — осы, они пригрелись, ожили и стали себя проявлять. А Гуго как раз состязался с русским купцом по части поедания блинов, кто кого переест. Немец ел и терпел этих ос, ел и терпел, как они ширяли, жиляли, пока не свалился замертво...

— А вот дед ее, — показала Катя снова на Фросю, — пришел с войны, из германского плена, шкелет шкелетом, едва живой. Пчелок развел, сажал их себе на руки, на поясницу — тем и спасся. А вот уже отец ее же, — в третий раз показала она на Фросю, — в материнскую породу пошел, так ему одного укуса пчелы было достаточно. Однажды едва откачали. Так он председателем был и на огород к себе ни ногой, жена на огороде работала. Ну, конечно, говорят про него, мол, начальство ты, председатель. А дело-то в чем — в полете пчелы. Рой однажды вот так повис над ним, покрутился черным винтом — так тот Богу душу едва не отдал. Думал — каюк, да, Фрось?..

Фрося и не шевельнулась. Лежала белая как полотно.

— Да, Фрось? — стали толкать ее, тормошить. — Что ты, как колода, обездвиженная и обезжизненная?

Про других-то рассказывали, а про себя и не думали. А тут подумали, да еще как! Испугались до смерти. За знамение какое-то приняли, за результаты ударов с неба по колокольне без громоотвода... Бедный, бедный Крузо! Куда тебя занесло? Даже Крузо на необитаемом острове вроде как поставил над хижиной шест...

— Слушай сюда, девки, надо за водой! — спохватился Володька — не президент, но все же первый тут, самый заводной, это он их сюда, на Перунов-то Холм, «смассовал».

— А может, наоборот, ее на себе туда? К ключу, к Синим Скалам, к святой-то воде?

— Ну давай.

— Однако там внизу, возле церкви, «мотор соломенный», эти варвары!

— А куда деваться.

Спустились по узенькой лестнице. Рыкнули ржавой петлей, отворяя врата. Едва за вратами почуяли землю ногами, как тут же положили Фросю пониже на травку. Тут же кто-то побежал за водой, а Катерина все же досказала свою историю:

— Вот Фрося от отца-то и стала такой. На пчел страшенным образом реагирующей. Девка прямо-таки замирает, как услышит пчелу. Вот хотя бы по телевизору «Полет шмеля» Римского-Корсакова — инструментальную картинку. Или эту сказку Пушкина про царя Салтана, как пчела в нос ужалила Бабариху. Или любой тонкий звук по телевизору, как начинают что-либо химичить просто технически, или ложь какую-либо особо тонкую строить, интригу направленную — 25-й кадр, так я и замираю, ужас охватывает... Нервная больно, не выдерживаю потрясения, как и Фрося...

— Вот почему она ироничная, как бы агрессивная.

— Да уж так, защита это, первая нападает.

Принесли воды от Синей Скалы. Покропили святой по Фросе — по рукам, по ногам, по платьишку. На лице после сосредоточились. Однако мутное море молчало. Мичман Малинкин миновал мыс Марии. — Мама, морковку моют? — Моют, милая, моют. — Мылом? — М-м-м-... Вместо «Мелодии» у нас тут в Орле опять Эм-Эм-Эм: «Мир мягкой мебели».

Это к тому ирония по отношению к Фросе, что не верится в худшее, ее же оружием пользуемся, клин вышибают клином.

РАССКАЗ ФРОСИ

Стоит перед Фросей Володька: неужто от малой пчелы помирают? Душой и мыслью переходит грань вместе с Фросей, молча лежащей. «Пчелочка златая, что значит

твое слово «минус»? Европа-плюс, а тут «минус». Какой в этом смысл?» — тут Володька склонился над ней.

— Какой? — шевельнулась Фрося, не открывая глаз. — Не как у всех — у меня отрицательный резус.

И пауза. И тишина. И вместе с воздухом истекают флора и фауна из нее едва слышимо. Володя над ней склоняется ниже, все ниже.

— Замуж нельзя... и детей нельзя... буду всю жизнь одинока... одиночество съедает...

И опять пауза все длиннее, все безвоздушнее. А Володя все ниже, все ближе к ее губам.

— Люблю тебя, — потянулась Фрося к нему губами. — Всегда любила... Только боялась... этот минус... пчелочка златая — она прекратит...

— Не смей, — коснулся Володя холодеющих губ.

И это придало ей сил, она заговорила горячо, прерывисто, словно в бреду:

— Я лечу на огромном солнцелете вокруг Земли. Потоки Солнца разгоняют летательный аппарат, и мчусь я со скоростью света...

Она захрипела, и голос ее стал глуше, прерывистее. Володя повторял за ней, чтобы слышали все:

— Я лечу птицей сама по себе, как на крыльях... Сама по себе.

— Я вижу горы, реки, долины, села и города... Села и города.

— И сквозь мантию предвижу истощенные недра... Пустые и истощенные.

— И серый ком шевелится на поверхности Земли — это уже пятнадцать мильярдов. Пятнадцать мильярдов.

— Я пчелочка златая лечу к палящему Солнцу, перелетаю на другие планеты... Пчелочка златая, на другие планеты.

— И со мной вы все, люди, люди... Спасите меня, я не хочу улета-а-ать!..

И пауза. И опять тишина. И где-то клекот мотора, в храме капает капля.

— Не улетай, Фрося! — закричала Мария и все они. — Пчелочка наша, не улетай!

— Не улетай, не улетай! — вторя, отвечали им гулкие стены, весь Перунов Холм, ветер с кладбищенских лип. Эти странные черные птицы грачи, с граем взмывшие перед натиском конницы из Дикого поля. Как они обволакивали ужасом своих черных крыльев, черными своими, странноприимными, половецкими граями...

Из-за кладбища сюда к ним вылетела та самая машина с «соломенным» мотором. Из машины высыпали ночные гости — гробокопатели с «соломенными» автоматами. Одновременно сюда же, на Перунов Холм, из степи вылетели конные лавы, всадники с «соломенными» же клинками. И прямо на глазах сабли эти скрестились с автоматами, а гробокопатели стали превращаться в кентавров... Какая разница, что на соломе, а что на сене — с Востока на Запад?..

Так, с конями слившись, они и въехали в Храм Божьей Матери, толкая впереди себя его — Володьку, и вроде всех их, даже Фросю. Это они взяли всех в заложники, приставили к алтарю...

— Спаси, Боже! Защити, Богородица!..

И тут в окна глянуло солнце, и грянули гимны — красивая такая, в сладком томлении музыка. Она заменила сразу все страхи и ужасы невыразимой грустью своей без слов, за которой угадывалось что-то свое, человеческое, христианское, может, даже что-то персидское, древнеегипетское, однако тоже направленное, как и «пи» в пирамиде Хеопса, в сторону Солнца...

Володька очнулся — глубокий, полуобморочный сон. Что это? Он — Владимир, а не может войти даже в храм Казанской Божьей Матери, Богородицы нашей — защитницы людской на Перуновом Холме? Все реально: ржавый замок на вратах, где-то за кладбищем урчанье мотора, а в кармане у него (да вот же она) повестка в райвоенкомат, к осени возможно свидание с Лермонтовским провалом...

— Слушай сюда, — сказал Владимир за спину себе сразу всем тут, реально присутствующим. — Ребята, а какой день недели сегодня?

— Воскресенье.

— Просто воскресенье? — удивился Владимир.

— Как всегда. Так и живем от воскресения к воскресению.

— Значит, воскресение нынешнее, а не завтрашнее? — добивался Володька. — Россия 99-го, как Испания 98-го...

— И сколько мы же тут?

— Да с полчаса, — сказала Катерина. — Перед дверью-то. Вон Иван побежал на ферму за ломом, откроем сейчас и войдем...

«Значит, не было никакой седмицы — этой недели тут, в этой звоннице? Этой повестки, бессонных ночей, мук танталовых! — облегченно вздохнул Володя. — Я все это придумал?» И спросил с облегчением:

— А что же Фрося?

— Что Фрося?

— Ну, что она — пчелочка наша златая?

— Да вон же воду несет из-под Синей Скалы, — сказала Мария. — Сейчас расстелем скатерть-самобранку прямо тут на траве и отметим...

— Что отметим? — спросил Володька все еще подозрительно. — Укус пчелы, благополучное возвращение?

— Троицу! — засмеялись все дружно. — Троицу, Троицу!!

А рыженькая Фрося уже сплела себе венок из одуванчиков — таких веселеньких, солнечных, изобильно представленных тут как в зеленой траве, так и во всей окружающей флоре. А девчата уже вели вокруг Рондо свое, хоровод всеобщий, всечеловеческий...

Володя стоял перед ними, его все еще качало, как ветром, туда-сюда, с земли на небо, с неба — на землю, из реальности — в область небытия. И грани эти стирались, были почти незаметны, неосязаемы. Однако ко-

стерок реально чадил, достархан по траве реально расстилали, и время брало свое. Истинно ведь, нет ничего временного, чтобы не стало потом постоянным. Замок на вратах сам собою открылся, да так и остался в ладони, едва Володька дернул его на себя.

«Князь Владимир крестил Русь в 988 году», — сообщала фреска на щербатой стене. А соломы в звоннице, может, и не было. Зато — это точно — перед глазами висел обрезанный конец от каната, значит, колокол все-таки был, вопиял. Так по ком звонит колокол? А по ком и звонил и звонить будет всегда, пока в мире жив будет хоть один пиит.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

— Как видите, выбраны два варианта из двух, один к одному, — сжался весь в комок Алексей. — И оба осуществимы: и к стенке поставили, и укусила пчела.

— Но это же перебор, в жизни так не бывает! — не согласилась Катерина.

— А жизнь вообще сплошная гипербола.

Все стояли и недоумевали: умный какой, о чем это он? Хотя все знали про все не хуже его.

— Я знаю, почему погибла Надежда К! — наконец, подал голос Володька. — Во всяком случае не от пчелы, укус ее был только поводом, а все дело в стрессе, в тонкости организма, в только что пережитом.

— Дураки! Фрося будет вечно жива! — осадил его тут же Иван.

Это было его первым, величайшим открытием, спроецированным на всю судьбу 99-го, окрашенного в грустные, неромантические тона.

— Вон оно, видите? Магелланово облако. Оно уплывает, плывет.

— Это душа ее.

— Пуховая, белая, нежная.

— Это душа.

И тут черные птицы на кладбищенских липах вспо-

лошились, взграяли на могилах, скорбью повеяло от многоликости предков, но белые голуби перекрыли воркованием серебро тишины. Много еще надо чего, чтобы золото инков вскрылось и поплыло за Магеллановым облаком, перебралось из поверхности внешней во внутренние покои. Они, эти движения, уже есть, существуют и уже движутся во благо наше, в эры невообразимые, в таинство поэтического космоса — нашего Водолея, куда входит и где будет неотвратимо царить уже в ближайшем подвижничестве равноапостольская и первопрестольная России звезда незакатная, а значит, люди, и наша с вами Звезда!..

— Откуда все живое берется — из Океана? — спросила вдруг Катерина. — Откуда клетка живая, мы все?

— Тебе бы все клетки, — подал голос Володька, зорко следя за беломраморным выражением ее лица. — А тут просторы...

— Просторы — это Небо, — засмеялась Ниночка. — Это божественно, а Океан — атеизм, это межвидовая борьба, такие глубины, из которых не выбраться.

— Как мы поумнели, — указал кто-то на Фросю, — а то на грани все рассуждали.

— Да разве же я с-с-смеюсь, — перекривилась, едва не заплакала Ниночка. — Это я так... я сама боюсь бездны...

И все боялись. Все глядели нервически, сдернутся эти черные врата с замчища и пойдут на них, словно грачи с кладбищенских лип, или так и останутся, замерев на воскресном телеканале, в этой вечерней уже полушафрановой мгле.

Если жить — Магелланово облако уйдет в голубое и растворится в неведомом. А если умереть? Глубины станут еще глубиннее, тоска — тоскливее, еще крикливее эти аспидные грачи... Открой же глаза-угли, разверни немыслимые уста! На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. А до утра еще далеко. Кабы крыша не прохудилась от страха... Боже, если ты есть, услышь меня, до чего допускаешь в своих владениях!..

— Я не батюшка, — сделал выдох Алеша из нутра своего спиритическим чем-то, аллегорическим, — а вот тянет чертяка меня на амвон.

— Это Чехов в тебе или артист Чеханков, говорят, тоже натура критическая, — осадил Алексея Иван. — А вот Иисус как родился в пещере, положили в ясли его молчащим, так и закончил свой путь на кресте молча.

— Мы — живы, — оправдывался Алеша. — Но — вначале Гомер, Шекспир, Лев Толстой, а уж после слово.

— Ну, и что потом?

— А ше-по-том.

— И всегда так, когда одни уходят, а другие являются на апостольские места, да еще молодые, эта власть будет уже непомерна.

— Да ты что? В начале было слово.

Они ждали, все ждали ее — первой звезды. Как бы на ночь перед Рождеством Христовым. Чтобы можно было хлебнуть скоромненького. И, когда взойдет она, звезда пленительного счастья, то хотя бы коснуться ее губами — одного из четырнадцати ее серебряных вифлеемских лучей. А она все не просыпалась, не подавала признаков жизни — эта вылитая пчелочка златая, эта ихняя чуть рыжеватая Фросенька. Сходила к Синей Скале и опять улеглась, отключилась... Господи! Уж и покропили ее водой из-под Синей Скалы, уж и дышать дышали ей в легкие, и иголкой в палец кололи, а она все лежала в своем безмерном, сомнамбулическом трансе. И щеки ее не резонировали от романса, а на губах лежал сырой полусожженный листок...

— Да что же это мы тут, — спохватилась Мария. — Да надо же ее к медичке, в медпункт! Загубим же девку!

— Га-а-аххх! — так и ахнули стены каменные, словно эхо веков, и колокол тысячепудовый с цепи сорвался, грянулся там же, где-то внизу, о землю.

Вот тут-то эти смоляные птицы грачи и отряхнули черный прах со своих плеч да и деру с кладбищенских лип за горизонт, а серые, блестящие от дождя, голые

ветки так и остались висеть, раскачиваться, розовея от предзакатных воспоминаний.

— Фрося-я-я-а-а-а... живи-и-и...

— Ша! — сказал Володька решительно. — Иду в военкомат — сдаваться на милость победителя...

— Ах, США-шша-ша-а? — качались ветки, а пчелочка златая не отвечала, и колоколенку не качало, она молчала. И только колокола звонили внутренне, каждый — в самом себе.

Пока колокола во глубине,
Земля всегда на нашей стороне.

Так по ком же звонит колокол? Сколько можно тризны справлять во язычестве своем на Перуновом Холме? Она замерла перед Володькой. Веки ее затрепетали, болезнь улетела вместе с грачами и отразилась в резком крыле радуги. И ветер донес из широкой степи слова любимой песни моей:

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте.

Они пришли сюда к храму своему и, не найдя себя по диагонали, усемерились силами друг от друга. Семь в квадрате, семью семь, чернобыльский вариант...

Да воспрянем Русью в себе и нами она воспрянется! Вспомним добрые старые времена, чтобы в новых не потеряться.

Черный ворон, ты не вейся
Над моею головой.
Эх, да на добычу не надейся,
Черный ворон — да я не твой.

Эко куда вознесло — на колокольню какую! Отзвонили свое — и с колокольни долой, отыскав друг друга, может быть, навсегда. Люди сходятся и расходятся, имена стираются, а холмы остаются. Они растут на наших костях.

Декабрь 1999 — февраль 2000,
г. Орел.

ИЗ МОЛИТВЫ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет настоящий день.

Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой.

Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не огорчая, никого не смущая.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение его. Руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, терпеть, прощать и любить.

Аминь.

СОДЕРЖАНИЕ

Акт свободы творчества (от автора). 3

ЛИПА ВЕКОВАЯ

Пятая заповедь блаженств 26
Земля моя добрая 27
Берестяные песни 31
Липа вековая 41
У толстовского родника 50
В парке старинном 60
Ключ-колодец 66
Перепелиное поле 80
Дарьюшка — последняя из хуторян 90
В примаках 110
Шептун-трава 125
Аксиньин свет 149
Соломенная грусть 158
Дитя человеческое 168
«Окно в Европу» 176
Кастальский ключ 186

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

Зеркальный эффект

В низенькой светелке 196
«Мадам Клико» 199
У самого бордюра 203
Портсигар с рубиновым орлом 206
«Черная вдова» 212
«Пчелочка златая» 216
«Темно-зеленый изумруд» (Перстень Пушкина) 221
Лауреат на паперти 230
И поставили на вид 238
Троянский конь (Благининские праздники) 242
«Влажные глаза» 244
Зеркальный эффект 246
Бутылка Колоскова 249
Три бочонка «Амонтильядо» 253

Как мужик двух султанов никак не прокормит 259
Черная кошка из горшка 264
«Утушка луговая» 269
«Тележка-то была в Париже, а ты, деревня, помолчи...» . 273
Как собачка съела шедевр 278
Портрет Есенина 282
Завтрак на траве 284
Что помнится 288
«Ежик» из Парижа (автобиографический рассказ) . . . 290
«Увидеть Москву...» 293
Брак по-французски 296
Счастливое лето 299
Встреча в Савойях 303
Это черное солнце 308

Скоро осень

Звезда между яблонь 315
«Разуй глаза» (лесная быль) 319
Большой заломный день 322
Человек, выросший из леса 326
Магнетизм белого 331
«Чудо природы» 336
Как побили собачку 339
Красные «виноградники» 343
«Выживем врозь...» 348
Первые ласточки 352
«На Щубайса похож...» 359
Цыганская шаль 363
Старые деньги 366
Шершневая война 369
Дело магарычевое 375
На ярмарке 377
Инвесторы 381
Банкир 385
Конец света — Леониды! 387
Про стулья (глупые рассказики) 390
Скоро осень 397
Эти красивые русские бабы 401
«Фирма веников не вяжет...» 404
«Хочу жить под Москвой...» 408

Серебряные рудники 411
Цветы на снегу 417
Белая мальва 420
Под березой 424
В лунную-лунную ночь 428
Ария Ленского (автобиографический рассказ) 435

ОЗАРЕНИЯ
(малые рассказы)

«Под Богом пою!..»

Когда хорошо на душе 442
Свечи трещат 443
«Черная дыра» 444
Русские японцы 444
Коммерческая тайна 445
«Насквозь вижу...» 446
Богатырь святорусский 446
«Лики святых» 447
Девятый вал 447
Русский язык 448
Шаги командора 449
Все рубим 449
Гений — это «боговдохновенный» 450
Озарения 450
Цветы для Селин 452
«Вставайте, граф!..» 452
Роскошь общения 453
Мелодия в сердце 454
«По волнам моей памяти» 455
Что сказал Наполеон 455
«Алло, мы ищем таланты!..» 456
Имени трамвая 456
Магнетическое сочетание 457
«Мы из хора Пятницкого» 457
Пулькин и Кулькин 458
В устье Ангары, у Байкала 459
Три сосны (о Пастернаке) 460
Рука на мавзолее 461
«Под Богом пою!..» 462

«Есенинские» очки

«Есенинские» очки 463
«Переживают люди и за меня, оказывается...» 464
«Се бьен» 465
Зерно, которого не перемолоть 466
Борода-борода — бородища 467
Звонница по-бальзаковски 467
Один к одному 468
Симфонию не растащить! 469
В поликлинике 470
Вот тебе и черный хлеб! 471
Соломоново решение 471
Поэма про медную кружечку 472
Точка отсчета 473
Фибры души 474
Наивысшее качество жизни 476
Национальное самосознание 477
Майоры 477
За словом в карман 478
Госдумовские кульбиты 478
Со значением 479
Тараканьи усищи 479
«Раскинуты крыла...» 480
Невыключенный микрофон 480
Письма на фронт 481
Шрам на губе 481
«Яблочное» электричество 482

Гранатовые истории
(рассказы дяди Симы)

Про свой дом 483
Про политику 484
Про матерьяльное положение 485
Свое видение 486
На конюшне 487
Про трех сыновей 488
Про чужой дом 488
Продолжение 490
Военная хитрость 492
«Помню!» 493

Высверки истории
(из генотипа русского народа)

Семь исходов 494
«Золотое кольцо» 495
Балчуг 496
Великий лекарь 496
Икра мятная 497
Красная нить 498
Мой гороскоп 498
Вербная неделя 499
Юрьев день 499
Кафтан по-псковски 500
Дары, потом налоги 500
Званые обеды 501
Отцокоталась муха золотая 501
Не княжья песня 502

Вёдреная погода

Вёдреная погода 503
Христина любовь 505
Все как на собаке 507
«Группа крови» 509
Пьяный месяц март 510
Истаявшая красота 510
Просто любовь 511
Когда мне плохо 511
Чудо необозримое 511

Меченые места

Глобус 512
Меченые места 512
На любой вкус 512
Невзирая на лица 513
Анисовые капли 514
Деньги за иконой 515
«Дорогая моя Москва...» 516
Метаморфозы 516
Под контролем 517
Родину потеряли 518

Серебро тишины

Серебро тишины 519
Эхо провинции 520
«Саженые» ягоды 520
Проучил 521
Пиктографическое письмо 522
Время такое — тягучее 523
Горькое и сладкое 523
Капитанская «ночка» 524
«Федор Стратилат» 525
На Байкале 526
Совпадение чувств 526

СЕДМИЦА
(повествование в рассказах, реальное — в мистическом освещении)

День первый. Любовь 532
День второй. Вера 556
День третий. Надежда 580
День четвертый. Белая мантия 608
День пятый. Черная мантия 637
День шестой. Судный день 663
День седьмой. Воскресение 690

Из молитвы оптинских старцев 722

Леонард Золотарев

ЛИПА ВЕКОВАЯ

Редактор *П. И. Родичев*
Художник *О. С. Маслов*
Технический редактор *Г. В. Скорикова*
Корректор *Н. П. Новикова*

Сдано в набор 20.10.2001 г. Подписано в печать 14.12.2001 г.
Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. п. л. 38,22. Тираж 1200 экз. Заказ №1435.

Издательство «Вешние воды».
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 1
Отпечатано в ОГУП «Орловская областная типография «Труд».
302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.

